ГЕНРИ ДЖЕЙМС

ЗОЛОТАЯ ЧАША



МИРОВАЯ КЛАССИКА

Золотая чаша
Генри Джеймс

Аннотация
Генри Джеймс. Золотая чаша
Часть первая. Князь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
Часть вторая. Княгинюшка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Аннотация

Мегги Вервер, дочь американского миллионера Адама Вервера, коллекционера и тонкого ценителя художественных ценностей, выходит замуж за князя Америго – молодого итальянца из обедневшего аристократического рода. Мегги влюблена и счастлива, однако ее тревожит мысль, что ее давно овдовевший отец, увлеченный совершенствованием своей коллекции, останется совсем один. Накануне свадьбы Мегги знакомит отца с давней подругой – очаровательной американкой Шарлоттой Стэнт, полагая, что тому пойдет на пользу общество молодой особы. Мегги не осознает, что, впуская в дом обольстительную женщину, рискует быть преданной и обманутой… Генри Джеймс (1843–1916), признанный классик американской литературы, мастер психологической прозы, описывает сложные взаимоотношения двух пар, связанных по прихоти судьбы узами любви, и отвечает на извечный вопрос: богатство – дар судьбы или проклятье?..

Генри Джеймс
Золотая чаша

© Перевод, «Центрполиграф», 2023
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2023

Часть первая
Князь

1

Князю нравилось бывать в Лондоне с тех самых пор, как он узнал этот город; князь принадлежал к числу тех современных римлян, что находят на берегах Темзы истинный образчик древнего государства, более убедительный, нежели оставленный ими на берегах Тибра. Воспитанный в мифологии великого Города, которому целый мир приносит дань, князь находил, что такая роль по своим масштабам подходит современному Лондону значительно лучше, нежели Риму наших дней. Если уж речь идет об Империи, говорил он себе, и если, будучи римлянином, человек стремится заново обрести, хотя бы отчасти, соответствующее мироощущение, предаваться этому занятию лучше всего на Лондонском мосту или даже в Гайд-парке в погожий майский денек.

Впрочем, в настоящую минуту, когда мы уделили ему свое внимание, князь направлялся не к одному из этих мест, предрасположенность к которым выражалась у него, в конце концов, не так уж однозначно. Он просто-напросто забрел на Бонд-стрит; воображение, стесненное сравнительно узкими рамками, вынуждало его время

от времени останавливаться перед какой-нибудь витриной, где массивные, тяжеловесные изделия из золота и серебра, украшенные или же обезображенные драгоценными камнями, кожей, сталью и бронзой, были навалены грудами, словно трофеи победоносных сражений дерзостной Империи в неких отдаленных землях. Впрочем, движения молодого человека не выказывали сколько-нибудь сосредоточенного внимания даже в тех случаях, когда остановка была вызвана внезапно мелькнувшим многообещающим отражением хорошенького личика, скрывающегося в тени громадной шляпки с лентами или под прозрачной сенью шелкового зонтика, наклоненного под немыслимым углом, в стоящем у обочины экипаже с откидным верхом. А между тем подобная рассеянность князя была весьма симптоматична, ибо, хотя лето подходило к концу и яркие краски улиц уже начинали тускнеть, все же в этот августовский день возможности, таящиеся в мелькающих личиках, оставались одним из ощутимых акцентов в пейзаже. Но дело в том, что князь был настроен чересчур беспокойно, чтобы сосредоточиться на какой-то одной идее, и уж менее всего была близка ему в эту минуту идея погони в какой бы то ни было форме.

Вот уже шесть месяцев не отдыхал он от погони, преследуя свою цель, как никогда прежде не случалось ему преследовать что-либо в своей жизни, и сейчас мы застаем его в минуту некоторой растерянности от осознания того, что погоня завершена. Преследование закончилось поимкой добычи — или, как предпочел бы выразиться князь, его усилия увенчались заслуженным успехом. Впрочем, пока эти мысли приводили его скорее в серьезное, нежели в ликующее расположение духа. Чувство отрезвленности, более приличествующее потерпевшему поражение, преобладало в его красивом лице с правильными, строгими чертами, и в то же время, как ни странно, лицо это представлялось — так сказать, в функциональном плане — почти сияющим, с этими темно-голубыми глазами, темными усами и выражением отнюдь не чрезмерно «иностранным» для английского взгляда; лишь изредка случалось кому-нибудь заметить, не слишком, впрочем, к месту, что он похож на «рафинированного» ирландца. Произошло же следующее: только что, в три часа пополудни, судьба его практически была решена, и пусть на данный момент это ни у кого не вызывало возражений, все же было в случившемся нечто, напоминающее

зловещий скрежет ключа, поворачивающегося в самом прочном на свете замке. Более того, в настоящее время ничего не оставалось делать, кроме как прочувствовать достигнутый результат, чем и занимался наш герой, бесцельно бродивший по городу. Как будто бракосочетание уже свершилось — с такой определенностью, благодаря усилиям поверенных, была в три часа пополудни назначена дата, и так мало оставалось дней до этой даты. В половине восьмого князю предстоял обед с юной леди, от имени которой — а также от имени ее отца — лондонские юристы пришли к столь отрадному согласию с его собственным поверенным в делах, беднягой Кальдерони, только что прибывшим из Рима и в эту минуту, видимо, переживавшим тот волшебный процесс, который называют «знакомиться с Лондоном», прежде чем вновь его покинуть со всей возможной поспешностью, причем «знакомство» осуществлялось под личным руководством самого мистера Вервера — мистера Вервера, чье беспечное отношение к собственным миллионам выразилось на этот раз в крайней нетребовательности при обсуждении условий брачного контракта. Более всего поразило князя именно проявление этой нетребовательности, вслед-

ствие коего Кальдерони в настоящую минуту любовался на львов вместо того, чтобы сопровождать его самого. Если и было сейчас у молодого человека какое-то определенное намерение, то состояло оно в том, чтобы стать более достойным зятем, нежели большинство его знакомых, выступавших в той же роли. Об этих знакомых, от которых предстояло ему так разительно отличаться, князь думал по-английски; мысленно он обозначал свое отличие от них английскими словами. Будучи знаком с этим языком с самого раннего детства, так что ни губам его, ни уху эти звуки нисколько не казались чуждыми, князь находил его весьма удобным для описания большинства жизненных отношений. Удобным — вот странность! — даже в случае отношений с самим собой, хотя и при сознании того, что со временем могут появиться в его жизни иные отношения, и в том числе более интимный вариант упомянутого выше, которые потребуют (и, может быть, крайне настоятельно) более широкого или более точного — какого же именно? — использования языковых средств. Мисс Вервер как-то заметила ему, что он слишком хорошо говорит по-английски, — это был единственный его недостаток, и даже ради нее он не смог заставить

себя говорить хуже. «Видишь ли, когда я говорю хуже, я говорю по-французски», — пояснил он, давая понять, что существуют особые случаи, несомненно, довольно низменного свойства, в которых этот язык наиболее уместен. Девушка усмотрела в его словах (немедленно высказав свое впечатление вслух) намек на ее собственные познания во французском языке, который она всегда мечтала освоить как следует, освоить еще лучше; не говоря уже о том, что молодой человек, очевидно, считал, будто его реплика выше ее понимания. На подобные замечания князь отвечал, — очень мягко и обаятельно, иных ответов еще не слышали от него участники столь недавно заключенного соглашения, — что он упражняется в американском языке, дабы беседовать с мистером Вервером, если можно так выразиться, на равных. Его будущий тесть, говорил князь, столь блестяще владеет этим наречием, что сам он при любой дискуссии оказывается в невыгодном положении; кроме того… а кроме того, он произнес в разговоре со своей невестой слова, которые она нашла решительно самыми трогательными из всего, сказанного им до сих пор.

— Знаешь ли, я считаю его истинным

galantuomo[1], «будьте уверены»! Вокруг полным-полно поддельных. Просто, по-моему, он лучший человек из всех, кого я видел в жизни.

— Что ж, милый, почему бы ему не быть таким? — весело ответила девушка.

Это-то и заставило князя призадуматься. Обстоятельства или, по крайней мере, большинство обстоятельств, сделавших мистера Вервера таким, каким он был, невольно заставляли пожалеть о том, сколько блестящих возможностей было растрачено практически впустую другими людьми из числа знакомых молодого человека, не сумевших достичь подобного результата.

— Ну, как сказать, — отозвался он, — ведь его «воспитание» могло бы, пожалуй, вызвать определенные сомнения.

— Папино воспитание? — Она никогда не задумывалась об этом. — По-моему, он не получил ровно никакого воспитания.

— Не получил такого, как мое… И даже такого, как твое.

— «Даже» — вот спасибо! — рассмеялась девушка.

— О, душа моя, ты бесподобно воспитана. Но

---

[1] Примечания: 1
Джентльмен (*ит.*). (*Здесь и далее прим. перев.*)

твой отец тоже по-своему человек воспитанный, это-то я понял. Так что не сомневайся. Вопрос в том, чего он добился благодаря этому.

— Он добился всего благодаря тому, что он такой хороший, — возразила на это наша юная дама.

— Ах, дорогая, думается мне, никто и никогда еще ничего не добился благодаря тому, что был хорошим. Быть по-настоящему хорошим — это такое качество, которое скорее мешает человеку добиться чего бы то ни было. — Князя забавляло, что собственные рассуждения настолько увлекли его. — Нет, все дело в его особом стиле. Это — его неотъемлемая черта.

Но девушка оставалась задумчивой.

— Это просто американский стиль, вот и все.

— Именно — вот и все! А я больше ничего и не говорю. Этот стиль ему подходит, а значит, на что-то он все-таки годится.

— Как ты думаешь, подойдет ли он тебе? — с улыбкой спросила Мегги Вервер.

На это у князя нашелся чрезвычайно удачный ответ:

— Если ты в самом деле хочешь это знать, так я думаю, душа моя, что мне уже ничто не может ни помочь, ни повредить — такому, какой я есть… Но

ты сама увидишь. Скажем, по крайней мере, что я — galantuomo, на что смиренно уповаю; в лучшем случае я похож на цыпленка, которого ощипали, распотрошили, мелко нарезали и приготовили с соусом «де воляй»; твой же отец — природная птица, разгуливающая по двору. Перья, движения, кукареканье: все это — те составные части, которых я лишен.

— Ах, еще бы — ведь цыпленка невозможно съесть живьем!

Князь нисколько не рассердился, но отвечал с большой решительностью:

— Ну, я-то как раз пытаюсь съесть твоего отца живьем, это единственный способ как следует его распробовать. И я намерен продолжать в том же духе, и поскольку особенно живым он бывает, когда говорит по-американски, то и я должен изучить этот диалект для полноты картины. Ни на каком другом языке он не мог бы нравиться так сильно.

Девушка продолжала отнекиваться, но это была лишь радостная игра.

— По-моему, он мог бы нравиться хоть на китайском.

— Это совершенно лишнее. Я хотел сказать, что он в каком-то смысле — продукт своей интона-

ции, неотделимой от него самого. Следовательно, моя симпатия отдана интонации — без которой он не мог бы существовать.

— О, этого ты еще наслушаешься, — рассмеялась она, — прежде, чем с нами покончишь.

Эти слова, по правде говоря, заставили его слегка нахмуриться.

— Объясни, будь так добра, что ты имеешь в виду, говоря, что я с вами «покончу»?

— Ну, узнаешь о нас все, что только можно узнать.

Князь сумел воспринять это как легкую шутку.

— Ах, любовь моя, с этого я начал! Мне кажется, я узнал достаточно, чтобы ничему уже не удивляться. А вот вы, между прочим, — продолжал он, — ничего на самом деле и не знаете. Я сделан из двух частей. — Что-то словно толкало князя продолжать. — Одна складывается из истории, из поступков, браков, преступлений, капризов и бесконечных глупостей, сотворенных другими, позорно растратившими, среди прочего, все те деньги, которые могли бы достаться мне. Все это записано: в буквальном смысле записано в толстые книги, хранящиеся по библиотекам, и все это столь же общедоступно, сколь и отвратительно. Любой может ознакомиться с этими

сведениями, и вы оба удивительным образом бестрепетно смотрели им в лицо. Но есть и другая часть, очень маленькая, конечно, по сравнению с первой, но такая, какая есть, она представляет собою то, что отличает лично меня, что никому не известно и никому не интересно — никому, кроме вас. Вот об этом вы пока ничего не знаете.

— К счастью, милый, — отважно заявила девушка, — чем бы иначе могла я занять себя в будущем?

Молодой человек до сих пор вспоминал удивительную ясность — он не мог подобрать другого слова — всего ее прелестного облика, когда она это сказала. Вспоминал он и то, как ответил с волнением:

— Говорят, самые счастливые царствования — те, у которых нет истории.

— О, я не боюсь истории! — Она всегда была в этом уверена. — Считай, что это худшая твоя часть, если хочешь, но, во всяком случае, очень заметная. Из-за чего же еще я и стала-то думать о тебе? — прибавила Мегги Вервер. — Уж наверное, ты заметил, что дело было вовсе не в том, что ты называешь своей неизвестной величиной, присущей только тебе. Нет, тут главное было — поколения твоих предков, безумства и

преступления, грабежи и зверства, и злобный папа римский — главное чудовище, которому посвящено столько томов из вашей семейной библиотеки. Хоть я пока прочла всего два или три, но с тем большим увлечением займусь остальными, как только у меня будет на это время. А следовательно, — повторила она свой вопрос, — где бы ты был без этих своих архивов, анналов и позорного прошлого?

Князь вспоминал, как ответил очень серьезно:

— Возможно, я был бы в значительно лучшем финансовом положении.

Впрочем, его реальное положение в этом плане настолько мало их заботило, что князь, к тому времени до глубины души прочувствовавший свою удачу, не запомнил ответа девушки. Ответ этот всего лишь окрасил нежным оттенком сладостные воды, в которые князь был погружен, словно туда подлили некую ароматическую эссенцию из хрустального флакона с золотою пробкой. Еще никому из его предшественников, даже печально знаменитому папе римскому, не довелось сидеть по самую шейку в подобной ванне. А это показывает, кстати говоря, что потомку столь древнего рода все-таки не дано уйти от истории. Разве не история, и притом именно

их родовая история, стала той основой, благодаря которой ему теперь представлялась возможность распоряжаться такими деньгами, какие и не снились его прародителю — строителю дворца? На этой волне возносился он в упоительную высь, Мегги же при случае прибавляла в приятно плещущие струи одну-другую утонченно расцвеченную каплю. То был цвет… чего именно? Чего же еще, если не удивительной, чисто американской доверчивости? То был цвет ее невинности и в то же время — ее пылкого воображения, окрашивающий все его отношения с этими людьми. И вот сейчас мы показываем читателю, как молодой человек перебирает свои воспоминания об этом разговоре, и припоминается ему то, что он сказал затем, ибо это был голос его удачи, умиротворяющий и неизменный.

— Вы, американцы, романтичны до невероятности.

— Ну, конечно. Поэтому у нас все так хорошо.

— Все? — переспросил он с сомнением.

— Все, что вообще есть хорошего. Весь мир, такой прекрасный, — или все то, что прекрасно в этом мире. Я хочу сказать, мы столько всего видим.

Он взглянул на нее, думая о том, что сама она

— одна из прекрасных, одна из прекраснейших вещей этого прекрасного мира. Но ответил он так:

— Вы слишком много видите, и это приводит иногда к большим осложнениям. По крайней мере, если не считать тех случаев, — поправился он, подумав, — когда вы видите слишком мало.

Но он не скрывал, что понимает ее мысль и что предостережение его было, пожалуй, излишним. В своей жизни князь достаточно повидал романтического вздора, но в этих людях как-то не было заметно ничего вздорного, ничего нельзя было поставить им в вину, кроме лишь невинных удовольствий — удовольствий, за которыми не следует наказания. Им доставляло радость воздавать должное окружающему без каких-либо потерь для себя самих. Забавно только, заметил князь со всем подобающим почтением, что ее отец, хоть он и старше, и мудрее, и мужчина вдобавок, в этом отношении ничуть не лучше — то есть не хуже — ее самой.

— Ах, он гораздо лучше, — воскликнула она, — в смысле гораздо хуже. Он неисправимый романтик по отношению к тому, что он ценит в жизни — и, по-моему, это прекрасно. Вот и его приезд сюда — я не знаю, что может быть романтичнее.

— Ты имеешь в виду то, что он задумал для своего родного города?

— Да, коллекция, музей, который он хочет подарить городу, — ты же знаешь, он только этим и занят. Это труд всей его жизни. Все его поступки подчинены одной цели.

Молодой человек в своем теперешнем расположении духа готов был вновь улыбнуться, как улыбнулся ей тогда.

— Той же цели подчинено и его согласие на наш брак?

— Да, милый, безусловно, — по крайней мере, в каком-то смысле, — ответила она. — Между прочим, Американ-Сити — не его родной город. Город моложе его, хоть он и не стар. Но он там начинал, у него осталось чувство к этому городу, и город вырос, как говорит папа, наподобие своего рода благотворительной программы. А ты — часть его коллекции, — объяснила она, — один из тех предметов, которые можно приобрести только здесь, за океаном. Ты — редкость, диковинка, нечто очень красивое, очень ценное. Может быть, не совсем уникальное, но настолько выдающееся, что найдется очень немного равных тебе. Ты принадлежишь к досконально изученному разряду явлений. Ты, что называется, музейный

экспонат.

— Понимаю. И, похоже, — отважился он, — я стою кучу денег.

— Понятия не имею, сколько ты стоишь, — серьезно ответила она, и он пришел в восторг от того, как она это сказала. На мгновение он даже сам себе показался вульгарным. Но постарался справиться с этим, как умел.

— А разве это не выяснилось бы, если бы пришлось расстаться со мной? В этом случае пришлось бы оценить мою стоимость.

Она окинула его взглядом своих чудесных глаз, словно его стоимость была для нее очевидна.

— Да, если ты имеешь в виду, чем я согласилась бы заплатить, лишь бы не потерять тебя.

И снова он вспоминал свой ответ.

— Не говори обо мне — это ведь ты не из нашего века. Ты — существо из более утонченной и бесстрашной эпохи, ты не посрамила бы и Чинквеченто[2]в час его наивысшего золотого расцвета. А я его недостоин, и, если бы не знал кое-какие из экспонатов твоего отца, мог бы, пожалуй, опасаться, что знатоки раскритикуют Американ-Сити в пух и прах. Уж не планируешь

---

[2] Примечания: 2

Чинквеченто (Cinquecento) (*um.*) — XVI век, расцвет итальянского Возрождения.

ли ты, — спросил он затем с комически-жалобной гримасой, — отправить меня туда на хранение, для пущей надежности?

— Что ж, возможно, до этого еще дойдет.

— Я готов ехать, куда ты пожелаешь.

— Сперва посмотрим — это случится только при крайней необходимости. Некоторые вещи, — продолжала она, — разумеется, особо крупные и неповоротливые, папа оставляет, и очень многие уже оставил, на хранение здесь и в Париже, в Италии, в Испании, в хранилищах, сейфах, банках, в самых замечательных тайниках. Мы с ним словно парочка пиратов — таких, знаешь, театральных пиратов, которые подмигивают друг другу и говорят «Ха-ха!», приближаясь к тому месту, где зарыты их сокровища. Наши сокровища зарыты практически повсюду, кроме тех вещей, которые нам нравится постоянно видеть, держать их при себе во время своих поездок. Это предметы поменьше, мы их расставляем в гостиницах и в снятых на время домах, чтобы те стали, по возможности, не такими уродливыми. Конечно, это опасно, приходится следить за их сохранностью. Но папа очень любит красивые вещи — любит, как он говорит, ради них самих, и готов рискнуть, лишь бы его окружали подобные

предметы. До сих пор нам необычайно везло, — не преминула заметить Мегги, — у нас еще ни разу ничего не украли. А ведь самые лучшие вещи часто бывают очень маленькими. Ты, наверное, знаешь, что ценность вещи чаще всего никак не связана с ее размером. Но у нас ничего не пропало, — закончила она свою речь, — даже самого крошечного предмета.

Князь рассмеялся:

— Мне нравится, в какую категорию ты меня поместила! Я буду одним из мелких предметов, которые вы с отцом распаковываете, чтобы украсить гостиничный номер или комнату в снятом на время доме, вот вроде этой чудесной комнаты, — чтобы поставить на полку рядом с семейными фотографиями и свежими журналами. Во всяком случае, я не настолько велик, чтобы меня закопать.

— О, — отозвалась она, — мы тебя не закопаем, милый, пока ты жив. Разве что для тебя отправиться в Американ-Сити — все равно что похоронить себя заживо.

— Прежде, чем высказываться по этому поводу, хотелось бы увидеть свою могилу.

Таким образом, ему все-таки удалось оставить за собой последнее слово; словесное состязание

на том и закончилось, если не считать одного замечания, которое просилось к нему на язык еще в начале разговора, но тогда он удержал эту реплику, которая теперь вернулась вновь.

— Я надеюсь, ты веришь одному, что касается меня, — не знаю, хорошее оно, плохое или никакое.

Даже ему самому эти слова показались чересчур торжественными, но Мегги ответила весело:

— Ах, не ограничивай меня, пожалуйста, только «одним»! Я во столько всего верю, что связано с тобой, — даже если большая часть меня разочарует, кое-что еще останется. Я уж об этом позаботилась. Я разделила свою веру на водонепроницаемые отсеки. Как-нибудь не потонем!

— Ты веришь, что я не лицемер? Ты понимаешь, что я никогда не лгу, не обманываю, не притворяюсь? Этот отсек, по крайней мере, достаточно водонепроницаемый?

Князь вспоминал, что этот вопрос, заданный с довольно сильным чувством, заставил ее на мгновение задержать на нем свой взгляд и вспыхнуть, как будто его слова прозвучали еще более странно, чем было задумано. Он сразу заметил, что всякий серьезный разговор о верности и правдивости, а точнее — об их отсутствии, заставал

Мегги врасплох, как будто для нее подобные мысли были совершенно новыми и непривычными. Он и раньше обращал на это внимание: то было чисто английское, чисто американское убеждение, что о сложных вещах, таких, как «любовь», можно говорить только в шутку. В подобные темы не следует «углубляться». Поэтому серьезный тон его вопроса прозвучал преждевременным, чтобы не сказать больше. Впрочем, подобный промах стоило совершить, хотя бы ради той чуть ли не преувеличенной шутливости, за которой она инстинктивно укрылась.

— Водонепроницаемый — самый большущий из отсеков? Да ведь там находится и каюта люкс, и главная палуба, и машинное отделение, и кладовка стюарда! Это, по сути, весь корабль и есть. Там и капитанский мостик, и весь багаж — хоть сейчас в плавание. — Она часто пользовалась такими сравнениями на пароходные и железнодорожные темы — это шло от близкого знакомства с самыми разными средствами сообщения, от опыта постоянных путешествий, в чем он пока не мог с ней тягаться; ему еще только предстояло освоиться с достижениями современной техники, и отчасти примечательность его положения состояла в том, что он способен был,

не дрогнув, предвкушать обилие всевозможной механики в своем ближайшем будущем.

В сущности, хотя он был вполне доволен своей помолвкой, а невесту находил очаровательной, но главная «романтика» заключалась для него именно в этой своеобразной особенности, что придавало определенную контрастность состоянию его души, и князь был достаточно умен, чтобы сознавать это. Он был достаточно умен, чтобы ощущать глубокое смирение, чтобы стремиться избегать малейшей жесткости или прожорливости, не настаивать на тех или иных выгодах, короче — всячески остерегаться высокомерия и жадности. Довольно странно, по правде говоря, что он ощущал эту последнюю опасность — и это, помимо всего прочего, может служить хорошей иллюстрацией его воззрений на опасности, идущие изнутри. По мнению князя, сам он был лишен вышеупомянутых пороков, что весьма его радовало. Однако весь его род был ими наделен в полной мере, а князь постоянно ощущал неразрывную связь со своими предками, обретающимися в его сознании, подобно неотвязному аромату, пропитавшему его одежду, руки, волосы, все его существо, будто после погружения в некую химическую субстанцию —

никаких конкретных проявлений ее воздействия не было заметно, и тем не менее князь все время ощущал свою беззащитность перед этим воздействием. Он прекрасно знал историю своего рода задолго до собственного рождения, знал во всех подробностях, и оттого источник воздействия не вызывал у него ни малейших сомнений. Князь спрашивал себя: если он осуждает все уродство своей семейной истории, что есть его осуждение, как не одна из сторон того смирения, которое он так тщательно в себе воспитывал? И что такое этот важнейший жизненный шаг, на который он только что решился, как не стремление положить начало новой истории, чтобы она, насколько это возможно, противоречила старой и даже попросту обесценила ее? Если доставшееся ему наследство никуда не годится, значит, нужно создать нечто совершенно иное. Он со всем смирением отдавал себе отчет в том, что материалом для такого созидания должны стать миллионы мистера Вервера. Больше ему не на что было рассчитывать; он уже пытался, но вынужден был посмотреть правде в лицо. При всем том он был не настолько уж смиренен, как если бы знал за собой какое-то особенное легкомыслие или глупость. У него была мысль, которая, возможно,

позабавит историка, изучающего жизнь этого молодого человека: если уж ты настолько глуп, чтобы ошибиться в подобном вопросе, то неизбежно сознаешь это. Итак, он не ошибается: его будущее, возможно, будет связано с наукой. Во всяком случае, ничто в нем самом не исключает такого исхода. Он готов вступить в союз с наукой — ибо что есть наука, как не отсутствие суеверий при условии наличия денег? Жизнь его будет полна разнообразной механики, которая служит противоядием от суеверий, которые, в свою очередь, происходят от архивов, по крайней мере в качестве побочного продукта. Князь размышлял об этих вещах — о том, что он, во всяком случае, не совсем никчемная личность и принимает достижения века грядущего, — пытаясь этими раздумьями возместить перекос в восприятии себя самого своей будущей женой и ее отцом. Минутами он содрогался, ловя себя на мысли о том, что ему простили бы и полную никчемность. Для этих нелепых людей он был бы достаточно хорош даже и в таком виде. Настолько нетребователен верверовский романтизм! Они, бедняжки, и не ведают, что такое значит — быть по-настоящему никчемным. Он-то знал — он все это видел, испытал, измерил и ощутил на себе. В сущности,

от этих воспоминаний следовало попросту отгородиться — вот точно так же, как только что на его глазах железная штора отгородила витрину рано закрывшейся лавки от затухающего летнего дня, с грохотом опустившись при повороте какого-нибудь там рычага. И снова его окружает механика, со всех сторон стеклянные витрины, деньги, власть, власть богатых людей. Что ж, он и сам теперь один из них, из богатых; он на их стороне или, в более приятной формулировке, они теперь на его стороне.

Нечто в этом духе бормотал он на ходу. Это было бы смешно, — подобная мораль из подобного источника, — если бы не соответствовало каким-то непонятным образом торжественности момента, той торжественности, давящее присутствие которой я попытался изобразить в начале своего рассказа. Также занимало его мысли намечавшееся в самом скором времени прибытие родичей. Он должен был встретить их на следующее утро на вокзале Чаринг-Кросс: младший брат — тот раньше старшего вступил в брак, но жена его, еврейской расы, однако с весомым приданым, достаточным, чтобы позолотить пилюлю, была по своему теперешнему положению лишена возможности путешество-

вать; сестра с мужем, самые англизированные из миланцев; дядюшка с материнской стороны, самый недействующий из дипломатов; и кузен, проживающий в Риме, дон Оттавио, самый никому не нужный из родственников и бывших депутатов, — жалкая горстка единокровной родни, намеревавшейся, несмотря на все мольбы Мегги о скромной свадьбе, сопровождать жениха к алтарю. Не слишком внушительный эскорт, но у самой Мегги, судя по всему, и того не наберется, ибо у нее, с одной стороны, не имеется достаточного количества родственников, а с другой — она не пожелала возместить их нехватку, приглашая на церемонию всех встречных и поперечных. Князь, заинтригованный таким подходом к делу, полностью ему покорился, усматривая в этом приятное свидетельство ее разборчивости, что весьма ему импонировало. Мегги объяснила, что у них с отцом нет близких родственников и не хочется заменять их искусственными, поддельными родичами, набранными с бору по сосенке. О, знакомых у них предостаточно, но брак — дело интимное. Если имеются родные, можно в придачу пригласить и знакомых, но нельзя приглашать только знакомых, лишь бы прикрыть наготу и создать видимость того, чего нет на

самом деле. Она точно знала, что имеет в виду и чего хочет, а он был вполне готов подчиниться, видя и в том и в другом доброе предзнаменование. Он ожидал найти в ней сильную личность, он желал этого; такой и должна быть его жена, и он не боялся, что личность окажется чересчур сильной. В свое время ему случалось иметь дело с людьми, наделенными сильным характером, а именно с тремя-четырьмя деятелями церкви и прежде всего с кардиналом, своим двоюродным дедушкой, принимавшим активное участие в его воспитании и обучении; и ничего огорчительного для князя из этого не воспоследовало. И потому он с радостью приветствовал проявления той же черты в характере девушки, которой предстояло стать для него самым близким человеком.

Итак, в настоящую минуту он испытывал такое ощущение, словно все бумаги у него находятся в полном порядке и счета подведены, как никогда прежде, остается только захлопнуть портфель. Несомненно, портфель этот сам собой раскроется вновь с приездом компании из Рима; может быть, даже раньше, нынче же вечером, во время обеда на Портленд-Плейс, где мистер Вервер раскинул свой шатер, подобно Александру Македонскому, окружившему себя богатствами, отнятыми у Да-

рия. Но в данную минуту, как я уже говорил, князя занимало, чем заполнить два-три часа, находившиеся в его непосредственном распоряжении. Он останавливался на углах, у перекрестков; на него волнами накатывало ощущение, о котором шла речь в начале нашей повести, источник которого был ясен, в отличие от исхода, — ощущение, что необходимо что-то сделать для себя, пока еще не поздно. Расскажи он об этом кому-нибудь из своих друзей, его подняли бы на смех. Не для себя разве, не для собственного ли блага собирается он взять в жены невероятно привлекательную девушку, чье очарование сочетается с самыми ощутимыми «перспективами»? Уж конечно, не только ради нее. Впрочем, князь был настолько склонен ощущать, не формулируя, что вскоре перед его мысленным взором явственно проступил образ друга, чье отношение нередко оказывалось ироничным. Отрешившись от мелькающих вокруг лиц, князь сосредоточился на этом своем внезапном порыве. Молодость и красоту пропускал он мимо себя, даже не повернув головы, но образ миссис Ассингем в скором времени заставил его окликнуть кеб. Ее-то молодость и красота в значительной мере ушли в прошлое, но застать ее дома (вещь вполне возможная) означало бы

«сделать» наконец то, на что еще оставалось время, а именно — придать некую осмысленность своему беспокойному состоянию и, тем самым, может быть, избавиться от этого досадного чувства. Да что там — стоило князю признаться про себя, что предстоящее паломничество стоит затраченных на него усилий — она жила довольно далеко, на длинной Кадоган-Плейс, — как он сразу почувствовал себя спокойнее. Весьма уместно будет формально поблагодарить ее, причем именно сейчас, рассуждал князь сам с собой по дороге, — видимо, это его и тревожило. Правда, он было на мгновение неправильно истолковал этот импульс, истолковал его как побуждение смотреть в другую сторону — не в ту, которой адресовались взятые им на себя обязательства.

Миссис Ассингем как раз и олицетворяла собой те самые обязательства — эта симпатичная дама послужила направляющей силой, приведшей их в движение. Она заложила основу его брака, точно так же, как предок, папа римский, заложил основу всего его рода; впрочем, князь довольно смутно представлял себе, чего ради она это сделала, разве что опять-таки из какого-то извращенного романтизма. Князь ее не подкупал, не подговаривал, ничего не дал ей взамен,

даже до сих пор не поблагодарил толком. Стало быть, если и была у нее, выражаясь вульгарно, какая-то корысть, то исключительно связанная с Верверами.

Но князь нашел в себе силы вспомнить, что он далек от мысли, будто миссис Ассингем получила банальное вознаграждение за свои хлопоты. Он абсолютно уверен, что ничего подобного не было, ибо если люди и вправду делятся на тех, кто берет подарки, и тех, кто не берет, то эта дама, безусловно, относится к правой стороне, к разряду гордецов. С другой стороны, в таком случае ее бескорыстие поистине чудовищно, ведь оно подразумевает бездонное доверие. Она замечательно дружески настроена по отношению к Мегги — можно даже сказать, что наличие такой подруги является для Мегги «даром судьбы», в числе прочих ее даров, но выразилась эта привязанность в том, что миссис Ассингем намеренно свела их вместе. Познакомившись с князем зимою в Риме, встретив его затем в Париже и с самого начала почувствовав к нему «симпатию», как она впоследствии откровенно ему рассказывала, миссис Ассингем мысленно предназначила его для своей юной подруги и, несомненно, в таком духе и представила его ей. Но симпатия по отношению к

Мегги — вот в этом-то все и дело! — немногого бы стоила, не будь рядом симпатии к самому князю. На чем же основывалось это непрошеное и ничем не вознагражденное чувство? Что хорошего мог он для нее сделать? (Очень похожий вопрос возникал и в отношении мистера Вервера.) В представлении князя вознаградить женщину (равно как и вызвать у нее интерес) значило — ухаживать за нею. Он же, насколько мог судить, ни минуты не ухаживал за миссис Ассингем, и она, он был уверен, ни на минуту не вообразила себе этого. В те дни ему нравилось отмечать про себя женщин, за которыми он не ухаживал: он видел в этом приятный символ нового этапа своей жизни, в отличие от того времени, когда он любил отмечать именно тех, за кем ухаживал. И при всем при том миссис Ассингем никогда не подавала ни малейшего намека на злость или обиду. Да видела ли она в нем вообще хоть какие-нибудь недостатки? Трудно понять, что движет этими людьми, и оттого становится даже немного страшно; это усиливает ощущение загадочности — единственное, что омрачает его удачу. Он вспомнил, как читал в детстве удивительную повесть Аллана По, соотечественника его будущей жены, — вот, между прочим, до-

казательство, что и у американца может быть воображение, — повесть о Гордоне Пиме, который, потерпев кораблекрушение и дрейфуя в маленькой лодочке по воле волн, подплыл так близко к северному полюсу — или к южному? — как никто еще до него не плавал, и вдруг оказался перед стеной белого тумана, похожей на занавес из ослепительного света, скрывающего все вокруг, подобно непроглядному мраку, но по цвету напоминающего молоко или свежевыпавший снег. Минутами у князя появлялось чувство, что его лодка тоже приближается к подобному таинственному явлению. Состояние духа его новых друзей, и в том числе миссис Ассингем, во многом походило на огромный белый занавес. Он больше привык к пунцовым драпировкам, даже до черноты, занавешивающим нечто темное и зловещее. Если за ними скрывались какие-то сюрпризы, то сюрпризы эти чаще всего бывали сопряжены со значительными потрясениями.

Впрочем, сейчас его окружали совершенно иные глубины, не грозившие как будто никакими потрясениями. Другое озадачивало князя — подыскивая подходящее название, он определил бы эту неизвестную величину как избыток доверия по отношению к его собственной особе.

Очень часто за прошедший месяц он с замиранием сердца вновь и вновь изумлялся тому, грубо выражаясь, какие надежды возлагают на него окружающие. Самое удивительное, что от него как будто не ждали каких-то определенных свершений, а скорее, просто-напросто с полной безмятежностью предполагали у него некие неназванные, но неисчислимые и необыкновенные достоинства. Словно князь был старинной монетой удивительной чеканки и небывалого по чистоте золота, с великолепным средневековым гербом, «стоимость» которой, выраженная в современных соверенах и полукронах, достаточно велика, но говорить о стоимости подобных монет попросту неуместно, так как ценность их гораздо глубже и тоньше. Этот образ отражал для князя открывавшееся перед ним будущее: сделаться чьей-то собственностью, ценность которой, однако, не исчерпывается стоимостью ее составных частей. А что это означает на практике, как не то, что ему никогда не придется проверить собственную стоимость? Как не то, что, пока его не «разменяют», ни он сам и ни кто-либо другой не сможет узнать, сколько он в состоянии предъявить фунтов, шиллингов и пенсов? В настоящую минуту ответа на эти во-

просы не было и быть не могло. Одно только было ясно: ему приписывают какие-то качества. Его принимают всерьез. Где-то там, в белом тумане, скрывается присущая им серьезность; она-то и заставляет их относиться к нему соответственно. Этим качеством наделена даже миссис Ассингем, одаренная чуть более ехидным характером, что она не раз доказывала на деле. Пока князь мог сказать только одно: он еще не сделал ничего, что могло бы разрушить чары. А что будет, если сегодня вечером он спросит ее напрямик, что скрывается за непроницаемым покровом? Это, по сути, было бы все равно что спросить, чего от него ждут. Она, скорее всего, скажет: «Ах, тут дело, знаешь ли, в том, каким мы ожидаем тебя видеть!» — а уж на это ему ровным счетом нечего будет ответить, кроме как признаться в полном своем неведении по этому поводу. Может быть, тогда чары развеются — если он скажет, что не имеет ни малейшего представления? Да и откуда было взяться такому представлению? Он и сам относился к себе серьезно, очень серьезно, но ведь тут не просто капризы и претензии. Со своей самооценкой он бы так или иначе справился, а вот они, что бы там ни говорили, рано или поздно захотят испытать его на практике. А поскольку

испытание на практике неизбежно находится в пропорции с нагромождением приписываемых ему достоинств, получаются такие масштабы, какие ему, во всяком случае, охватить не под силу. Кто, кроме миллиардера, может определить достойный эквивалент для миллиарда? Вот что на самом деле скрывается за таинственной завесой, но, выходя из кеба на Кадоган-Плейс, князь чувствовал, что немного приблизился к занавесу. И он дал себе слово по крайней мере попытаться отогнуть краешек.

2

— Сейчас не самое лучшее время, знаете ли, — сказал он Фанни Ассингем вслед за тем, как выразил свою радость по поводу того, что застал ее дома, а потом за чашечкой чая рассказал ей последние новости о документах, подписанных час тому назад высокими договаривающимися сторонами, и о телеграмме от родственников, которые прибыли накануне утром в Париж и от души радовались происходящему, бедняжечки.

— Мы по сравнению с вами люди простые, обыкновенная деревенская родня, — заметил он между прочим. — Для сестры с мужем Париж — это чуть ли не край света. А уж Лондон находится практически на другой планете. Для них Лондон — нечто вроде Мекки, как и для многих из нас, но нынче они впервые по-настоящему отправились с караваном в путь; до сих пор «старушка Англия» представлялась им преимущественно как своего рода лавка, торгующая изделиями из кожи и резины, в которые они и старались по возможности одеваться. А стало быть, вы увидите на их лицах бесконечные улыбки, на всех без исключения. Вы уж, пожалуйста, будьте с ними

помягче. Мегги просто бесподобна и готовится с размахом. Непременно хочет, чтобы sposi[3]и мой дядюшка поселились у нее. Остальные поедут ко мне. Я заказал для них комнаты в отеле — и это, кстати, напоминает мне о совершившейся час назад процедуре с торжественным подписанием всяческих важных бумаг.

— Неужели трусите? — спросила хозяйка дома со смехом.

— Ужасно трушу. Мне теперь остается одно: дожидаться, пока чудовище приблизится вплотную. Не лучшее время: болтаешься между небом и землей. Ничего еще не получил, но можешь все потерять. Мало ли что может случиться.

Она рассмеялась, и это на какую-то секунду вызвало у князя раздражение: ему почудилось, что смех доносится из-за белого занавеса. Иначе говоря, смех этот свидетельствовал о нерушимом душевном спокойствии миссис Ассингем и потому тревожил вместо того, чтобы успокаивать. А ведь князь для того и пришел сюда в своем мистическом нетерпении, чтобы его успокоили, умиротворили, дали всему происходящему такое объяснение, которое он мог бы понять и

---

[3] Примечания: 3
Супруги (*um.*).

принять.

— Так значит, — спросила миссис Ассингем, — вы называете брак чудовищем? Признаю, брак — дело довольно страшное, и это в лучшем случае, но, бога ради, не убегайте от него, если у вас на уме бегство.

— О, убежать сейчас значило бы — убежать от вас, — ответствовал князь. — Я вам уже достаточно часто повторял, что целиком полагаюсь на вас: вы поможете мне достойно пережить все это. — Ему понравилось, как она восприняла его слова, сидя в уголке дивана, понравилось настолько, что он более развернуто оформил словами свой порыв откровенности — если это и в самом деле была откровенность. — Я отправляюсь в великое путешествие по морям неведомого; корабль мой снаряжен, снасти налажены, груз уложен в трюм и набрана команда. Но вся беда в том, что я, как видно, не могу пуститься в плавание в одиночку. Необходимо, чтобы корабль мой был одним из пары, чтобы в безбрежном океане его повсюду сопровождал — как бишь это называется? — консорт. Я не прошу вас находиться постоянно вместе со мной на палубе, но мне необходимо видеть перед собою ваши паруса, чтобы не сбиться с курса. Сам я, торжественно заверяю вас, не

разбираюсь даже в показаниях компаса. Но я вполне в состоянии следовать за лоцманом. Вам придется быть моим лоцманом.

— А знаете вы разве, — спросила она, — куда я вас заведу?

— Да ведь до сих пор вы замечательно руководили мною. Без вас я бы и сюда не добрался. Вы снабдили меня кораблем и если не ввели за ручку на палубу, то, по крайней мере, великодушно проводили до самого дока. Ваш собственный корабль весьма кстати стоит у соседнего причала, вы не можете меня бросить на произвол судьбы в такой ответственный момент.

И снова она весело засмеялась — как показалось князю, даже чересчур весело; похоже, с удивлением заметил молодой человек, она тоже немного нервничает; короче говоря, она реагировала на его слова так, словно он не высказывал глубокие истины, а просто болтал всякий милый вздор для ее развлечения.

— Корабль, мой милый князь? — улыбнулась она. — Ну какой там у меня корабль? Этот маленький домик — вот и весь наш с Бобом корабль. Мы и за то благодарны судьбе. Мы долго бродили по свету, перебивались, можно сказать, с хлеба на воду, негде было даже голову преклонить. Но

вот, наконец, пришло время нам отдохнуть.

На это молодой человек откликнулся возмущенным протестом:

— И вы говорите об отдыхе — какой эгоизм! А меня толкаете на разные авантюры?

Она ласково покачала головой.

— Не на авантюры, упаси бог! В вашей жизни их уже было довольно, так же, как и в моей; я уж с самого начала так задумала, чтобы нам с вами больше не затевать ничего подобного. Моя последняя авантюра как раз и состояла в том, чтобы оказать вам ту небольшую услугу, о которой вы сейчас так мило говорили. Но по сути, все очень просто: я лишь препроводила вас к месту вашего отдыха. Вы говорите: корабли; но это совсем неподходящее сравнение. Будет вам мотаться по волнам, вы уже практически в гавани. — И закончила: — В гавани Золотых Островов.

Он огляделся по сторонам, как бы стараясь поточнее определить свое местонахождение, и, поколебавшись, произнес, похоже, совсем не то, что собирался:

— Ах, я прекрасно знаю, где я! Я прошу и умоляю не покидать меня, но пришел я, конечно, чтобы поблагодарить вас. Если сегодня впервые передо мной забрезжил конец предварительным

формальностям, то я, по крайней мере, глубоко сознаю, что без вас вообще ничего бы не было. Вы всему положили начало.

— Что ж, — сказала миссис Ассингем, — это было поразительно легко. Я ожидала гораздо больше трудностей, — улыбнулась она. — Вы, должно быть, заметили — все произошло простотаки само собой. Так же и продолжается, вы не могли этого не заметить.

Князь поспешил согласиться:

— О да, все замечательно! Но замысел принадлежит вам.

— Ах, князь, так ведь и вам тоже!

Он пристально посмотрел на нее:

— Вы подумали об этом раньше. И думали больше.

Она встретила его взгляд с таким выражением, словно он ее озадачил.

— Идея мне нравилась, если вы это хотите сказать. Но она, несомненно, вам и самому нравилась. Я утверждаю, что мне не пришлось вас долго уговаривать. Единственно, мне пришлось высказаться за вас, когда настало время.

— Так-то оно так, но теперь вы все же меня покидаете. Вы умываете руки, — продолжал князь. — Но это так легко не пройдет; я не поз-

волю вам меня бросить. — И он снова обвел взглядом красивую комнату, которую она называла своим последним прибежищем, местом отдохновения уставшей от мира четы, где ищет она покоя вместе со своим «Бобом». — Я буду помнить про этот уголок. Что бы вы там ни говорили, вы мне еще понадобитесь. Знаете ли, — торжественно объявил князь, — я вас ни на кого не променяю.

— Если вы боитесь, — а это, конечно, неправда, — зачем и меня стараетесь напугать? — спросила она, помолчав.

Он тоже помолчал с минуту, затем ответил вопросом на вопрос:

— Вы сказали, вам «нравилась» эта затея — сделать возможной мою помолвку. Я неизменно преклоняюсь перед вами за то, что вы ее осуществили, это прекрасно и незабываемо. Но еще больше — удивительно и загадочно. Почему, милая, чудная, почему вам это так нравилось?

— Даже не знаю, как отнестись к вашему вопросу, — ответила она. — Если вы до сих пор не поняли этого сами, что могут значить любые мои слова? Да разве же вы не чувствуете, — прибавила она, видя, что он безмолвствует, — разве не сознаете каждую минуту, какое совершенное

существо вам досталось, моими трудами?

— Каждую минуту сознаю с благодарностью. Но в этом-то и суть моего вопроса. Вы не только ради меня трудились, но и ради нее тоже. Вы решили ее судьбу, не только и столько мою. Вы цените ее так высоко, как вообще женщина может ценить другую женщину, и при этом, по вашим же собственным словам, вам было приятно способствовать тому, что связано с большим риском для нее.

Пока он говорил, она не отрывала от него взгляда, и в конце концов повторила свои прежние слова:

— Вы стараетесь меня напугать?

— Ах, что за глупость — это было бы слишком вульгарно. Очевидно, вы не понимаете ни моих благих намерений, ни моего смирения. Я до ужаса смиренен, — заявил молодой человек, — я чувствую это сегодня весь день, с тех пор, как все приготовления пришли к окончательному завершению. А вы упорно не принимаете меня всерьез.

Она по-прежнему пристально смотрела ему в лицо, как будто он в самом деле слегка ее встревожил.

— Ах вы, древние, глубокомысленные ита-

льянцы!

— Вот-вот, — живо откликнулся он, — этого я от вас и добивался. Теперь вы настроились более ответственно.

— Да уж, — подхватила она, — если вы «смиренны», то, должно быть, очень опасны. — Она помолчала; князь только улыбался. Потом сказала: — Я совершенно не намерена терять вас из виду. Но если бы даже это и случилось, по-моему, это было бы правильно.

— Благодарю вас, я только того и добивался. Все-таки я уверен, что с вами мне легче будет понять. Это единственное, чего мне не хватает. Я считаю себя человеком, замечательным во всех отношениях, кроме одного — я тупой. Я могу сделать практически все, что понимаю. Но сначала я должен понять. — И далее он пояснил: — Я нисколько не возражаю против того, чтобы мне объясняли и показывали. На самом деле, это мне даже нравится. Потому-то мне так необходимы и всегда будут необходимы ваши глаза. Вашими глазами я хочу смотреть, пусть даже с риском, что они покажут мне такое, что мне не понравится. Ведь тогда, — закончил он свою речь, — я буду знать. А то, что знаешь, не страшно.

Миссис Ассингем, очень может быть, только

и ждала — к чему он в конце концов придет, но заговорила она несколько нетерпеливо:

— О чем это вы толкуете?

Но он ответил не моргнув глазом:

— О том, что я честно и откровенно боюсь в один прекрасный день «промахнуться», сделать что-нибудь не то, даже не зная об этом. Именно в этом я всегда буду рассчитывать на вас — вы будете мне говорить, на каком я свете. Нет-нет, у вас, англичан, на этот счет какое-то чутье. А у нас нет. А если и есть, то не такое, как у вас. А потому… — Но с него было уже довольно, и он просто улыбнулся. — Ecco tutto![4]

Не приходится скрывать, что князь пустил в ход все свое обаяние, но ведь он и всегда ей нравился.

— Было бы очень интересно, — заметила она через минуту, — отыскать такое чутье, которым вы не обладаете.

Князь тут же привел пример, не сходя с места:

— Нравственное чутье, дорогая миссис Ассингем. Опять-таки в том виде, как вы его себе представляете. Я, разумеется, не лишен чего-то такого, что у нас, в милом дряхлом провинци-

---

[4] Примечания: 4
Вот так! (*ит.*)

альном Риме, успешно сходит за мораль. Но она так же непохожа на вашу, как винтовая каменная лестница, полуразрушенная к тому же, в каком-нибудь замке эпохи Кватроченто[5] — на скоростной лифт в одном из пятнадцатиэтажных небоскребов мистера Вервера. Ваше нравственное чувство приводится в действие паровой машиной и мгновенно поднимает вас ввысь, словно ракета. А наша лесенка — трудная, крутая, неосвещенная, и стольких не хватает на ней ступенек, что почти в любой ситуации гораздо проще бывает повернуть назад и тихонечко спуститься обратно.

— Рассчитывая, — улыбнулась миссис Ассингем, — подняться наверх каким-нибудь другим способом?

— Да-а… или вовсе не подниматься. Впрочем, — прибавил он, — об этом я предупреждал вас с самого начала.

— Макиавелли! — только и воскликнула она.

— Слишком много чести, сударыня. Будь у меня и вправду его гений! Хотя, если бы вы и в самом деле считали меня настолько изощренным, то не сказали бы об этом. Но это ничего, — закончил он

---

[5] Примечания: 5
Кватроченто (Quatrocento) (*ит.*) — XV век.

довольно жизнерадостно. — Главное, что я всегда могу обратиться к вам за помощью.

Засим они на несколько мгновений застыли, глаза в глаза; после чего миссис Ассингем спросила, воздержавшись от каких бы то ни было комментариев, не хочет ли князь еще чаю. Сколько угодно, отвечал он с готовностью, и затем насмешил ее, подробно развивая свою мысль, что у англичан чай подобен морали, которая у них «заваривается» кипятком в маленьком чайничке, так что чем больше пьешь, тем более высоконравственным становишься. Его балагурство послужило «мостиком», чтобы переменить тему, и миссис Ассингем принялась расспрашивать князя о его сестре и остальных, и, в частности, о том, что может сделать ее муж, полковник Ассингем, для прибывающих джентльменов, с которыми он готов немедленно увидеться, с позволения князя. Князь принялся шутить по поводу своей родни, рассказывал разные разности об их привычках, пародировал их манеры и делал предсказания насчет их поведения, утверждая, что таких ярких представителей стиля рококо еще не видали на Кадоган-Плейс. Миссис Ассингем объявила, что полюбит их за это без памяти, на что гость, в свою очередь, ответил новыми излияниями на тему

о том, как приятно иметь возможность во всем рассчитывать на нее. К этому времени он пробыл у нее минут двадцать; но раньше ему случалось задерживаться здесь гораздо дольше, а потому он и сейчас остался, как бы в знак своего почтения. Больше того, он остался, — вот истинный показатель значительности этой минуты, — невзирая на то нервно-тревожное состояние, которое пригнало его сюда и которое проявленный ею скептицизм не столько успокоил, сколько растравил еще больше. Успокоить его миссис Ассингем не сумела; весьма примечательна была минута, когда причина подобной неудачи на мгновение выглянула наружу. Князь не напугал ее, как она выразилась, — он чувствовал это совершенно отчетливо. Но ей было явно не по себе. Она нервничала, хотя и пыталась это скрыть. Она заметно растерялась, когда князь вошел в комнату вслед за тем, как было доложено о его приходе. Молодой человек убеждался в этом все больше и яснее, но отчего-то был доволен. Словно, придя сюда, он поступил даже более удачно, чем думал. Почему-то было важно — в этом-то все и дело! — чтобы в эту минуту миссис Ассингем чувствовала себя не в своей тарелке, чего не случалось с нею ни разу за все время их уже довольно долгого знакомства.

Наблюдая и выжидая, князь начинал ощущать, что ему и самому отчасти не по себе, так как и его сердце понемногу забилось в лихорадочном ритме — очень странно, ведь повод-то самый ничтожный. В конце концов, когда напряжение достигло высшей точки, они почти бросили притворяться — то есть обманывать друг друга при помощи внешней формы. Невысказанное поднялось на поверхность, и наступила критическая минута, — никто из них не мог бы сказать, как долго это продолжалось — когда они не произносили ни слова и лишь смотрели друг на друга в упор совершенно недопустимым образом. Можно было подумать, что они на пари играют в «молчанку», позируют фотографу или даже разыгрывают живую картину.

Стоило бы посмотреть на эту сцену какому-нибудь постороннему зрителю! Он, возможно, по-своему истолковал бы это глубинное общение без слов или хотя бы получил чисто эстетическое удовольствие, удовлетворив столь ценимое в наши дни чувство стиля — а это в наши дни почти то же самое, что и чувство прекрасного. Во всяком случае, нельзя отказать в наличии стиля темноволосой, аккуратно причесанной головке миссис Ассингем, чьи тугие черные кудри были уложены

в такое множество рядов, что соответствовали последней моде даже больше, чем ей хотелось бы. Относясь весьма настороженно ко всему, что бросается в глаза, она тем не менее вынуждена была мириться со своей яркой внешностью и по мере сил справляться с собственным обликом. Насыщенные краски, внушительный нос, черные, словно у актрисы, брови — все это вкупе с пышной фигурой, на которой уже заметна была печать «среднего возраста», придавало ей вид одной из дочерей юга или даже скорее востока, создания из мира гамаков и диванов, вскормленного шербетом и привыкшего повелевать толпами покорных рабов. Глядя на нее, можно было подумать, что ей в жизни не приходилось ничего делать, кроме как перебирать струны мандолины, раскинувшись среди подушек, или угощать любимую газель засахаренными фруктами. На самом же деле миссис Ассингем не была ни капризной еврейкой, ни томной креолкой; Нью-Йорк породил ее, а воспитала неизменная «Европа». Одевалась она в желтое и лиловое, утверждая, что лучше уж выглядеть похожей на царицу Савскую, чем на revendeuse[6]; по той же

[6] Примечания: 6
Перекупщица (*фр.*). 2 Г. Джеймс 33 «Золотая чаша»

причине она носила жемчуг в волосах и надевала к вечернему чаю алое с золотом платье, исходя из теории о том, что сама природа дала ей кричащую внешность, и следовательно, раз уж себя переделать невозможно, остается только заглушать собственную экзотичность экзотичностью одежды. И потому вся она была увешана и кругом обставлена всевозможными безделушками, явно поддельными, с удовольствием развлекая этим своих друзей. Друзья же охотно играли с ней в эту игру, основанную на различии между внешностью и характером. Характер живо отражался в сменяющих друг друга выражениях ее подвижного лица, убеждая наблюдателя в том, что она отнюдь не пассивно воспринимает все смешное в этом мире. Она наслаждалась теплой дружеской атмосферой, она жить без этого не могла, но из-под иерусалимских век смотрели глаза уроженки большого американского города. Одним словом, при всей своей поддельной праздности, поддельном безделье, поддельных жемчугах, пальмах, двориках и фонтанах была она человеком, для которого жизнь состоит из бесчисленных мелких подробностей, и подробности эти могла перебирать без конца, бесстрашно и неутомимо.

«Пусть я покажусь чересчур утонченной», — ее

любимая присказка, — тем не менее она была неизменно готова сочувствовать другим. Это было для нее безотказным способом занять себя и (опять-таки по ее собственному выражению) не давало закисать. В ее жизни имелось два зияющих пробела, которые следовало чем-то заполнить, и она сама говорила, что собирает в эти дыры обрывки светских знакомств, как пожилые дамы в Америке во времена ее молодости собирали в корзинки обрезки тканей, чтобы затем соорудить из них лоскутное одеяло. Одним из этих пробелов, нарушающих идеальную завершенность миссис Ассингем, было отсутствие детей; другим — недостаток богатства. Удивительно, но ни то ни другое совсем не бросалось в глаза. Сочувствие и любопытство помогали ей относиться к объектам своего интереса практически как к собственным детям; равным образом муж-англичанин, в период военной службы «заправлявший хозяйством» в своем батальоне, умел заставить домашнюю экономию расцвести пышным цветом, подобно розе. Полковник Боб через несколько лет после женитьбы оставил службу в армии, исчерпав, очевидно, все возможности обогащения собственного жизненного опыта в ее рядах, и мог теперь целиком посвятить

себя вышеупомянутой разновидности садоводства. Среди младшего поколения друзей этой парочки ходила легенда, настолько древняя, что она уже не подлежала никакой критике, будто сам этот в высшей степени удачный брак совершился на заре времен, когда девушки из Америки еще не считались «приемлемыми»; так что эта приятная чета проявила незаурядную смелость и оригинальность, вследствие чего могла теперь, на склоне лет, пользоваться славой своего рода первооткрывателей брачного Северо-Западного пути[7]. Про себя-то миссис Ассингем прекрасно знала, что ничего они не открыли: за многовековую историю, начиная с Покахонтас, не было ни дня, чтобы какой-нибудь английский юноша не потерял голову, а какая-нибудь американская девушка ничтоже сумняшеся не ответила на его чувство; но наша милая дама охотно принимала лавры первопроходца, ведь, в конце-то концов, она и вправду была на деле старейшиной ныне живущих представителей этого племени переселенцев женского пола, а главное — иные из подобных комбинаций и впрямь были делом ее

[7] Примечания: 7

Северо-Западный морской путь соединяет Атлантический океан с Тихим, впервые пройден Амундсеном в 1903–1906 гг.; попытки открытия пути велись в течение многих лет до описываемых событий.

рук, хотя и не в случае с Бобом. То была исключительная заслуга самого Боба, он додумался до нее совершенно самостоятельно, начиная с первого проблеска удивительной идеи, и во все последующие годы находил в этом неопровержимое доказательство своего умственного превосходства. А если и жена его проявляет недюжинный ум, так тем больше ему чести. Временами она и сама чувствовала, что он никак не мог допустить в ней какой бы то ни было ограниченности. Но истинное испытание для ума миссис Ассингем наступило, когда ее сегодняшний гость в конце концов произнес:

— Знаете, по-моему, вы плохо со мной обращаетесь. У вас есть что-то на душе, а вы мне ничего не рассказываете.

Следует также признать, что ее ответная улыбка оказалась, вне всякого сомнения, несколько неопределенной.

— Разве я обязана рассказывать вам все, что у меня на душе?

— Речь идет не обо всем, а только лишь о том, что может непосредственно касаться меня. Таких вещей вы не должны от меня скрывать. Вы же знаете, я хочу действовать чрезвычайно осторожно, все учитывать, чтобы не совершить

невзначай ошибки, которая могла бы задеть ее.

На это миссис Ассингем после маленькой заминки по какой-то непонятной причине переспросила:

— Ее?

— Ее и его. Обоих наших друзей. Мегги и ее отца.

— Меня и в самом деле кое-что беспокоит, — ответила через минуту миссис Ассингем. — Случилось нечто неожиданное. Но к вам все это, строго говоря, не имеет отношения.

Князь немедленно расхохотался, откинув голову назад.

— Что значит «строго говоря»? Мне в этом видится бездна смысла. Так выражаются люди, которые… которые выражаются неправильно. А я выражусь правильно. Что же такое случилось, связанное со мной?

Хозяйка дома тут же подхватила его интонацию.

— Ах, я буду только рада, если вы возьмете на себя свою долю. Шарлотта Стэнт в Лондоне. Только что приезжала ко мне.

— Мисс Стэнт? Да что вы говорите? — Князь недвусмысленно выразил удивление, встретившись со своей приятельницей взглядом, в

котором сквозило довольно ощутимое потрясение. — Она приехала из Америки? — спросил он быстро.

— Видимо, она приехала сегодня в полдень из Саутгемптона и остановилась в гостинице. Она заехала ко мне после ланча и просидела больше часа.

Молодой человек слушал с интересом, хотя и не настолько сильным, чтобы от этого пострадала его веселость.

— Так вы думаете, что в этом событии есть и моя доля? Какая же именно?

— Да какая хотите — вы ведь так настаивали, чтобы я с вами поделилась.

В ответ князь посмотрел на нее, сознавая всю нелогичность собственных слов, и миссис Ассингем заметила, что он покраснел. Но говорил он все так же небрежно.

— Ну, это я еще не знал, о чем речь.

— Не думали, что дело настолько плохо?

— По-вашему, дело очень плохо? — спросил молодой человек.

— Я сужу по тому, как это подействовало на вас, — улыбнулась миссис Ассингем.

Он колебался, по-прежнему чуть раскрасневшись, по-прежнему не сводя с нее глаз, все еще не

совсем придя в себя.

— Но вы признались, что обеспокоены.

— Да… Просто потому, что я ее совсем не ждала. Я думаю, — сказала миссис Ассингем, — что и Мегги ее не ждала.

Князь задумался; потом как будто обрадовался, что можно наконец сказать нечто абсолютно естественное и правдивое:

— Да, вы правы. Мегги ее не ждала. Но я уверен, — прибавил он, — что Мегги будет очень рада ее видеть.

— Это уж наверняка, — отвечала хозяйка дома с какой-то новой серьезностью.

— Она будет просто в восторге, — продолжал князь. — Мисс Стэнт от вас поехала к ней?

— Она поехала к себе в гостиницу, чтобы перевезти сюда свои вещи. Я не могла допустить, — сказала миссис Ассингем, — чтобы она оставалась одна в гостинице.

— Да, я понимаю.

— Раз уж она приехала, нужно, чтобы она жила у меня.

Князь осмыслил ее слова.

— Так она вот-вот явится сюда?

— Я жду ее с минуты на минуту. Если подождете, вы ее увидите.

— О, очаровательно! — тут же откликнулся князь, но слово это прозвучало так, словно им в последнюю минуту заменили нечто совсем другое. Оно показалось случайным, тогда как князь хотел, чтобы прозвучало твердо. Соответственно, он постарался проявить твердость в своих следующих словах. — Если бы не то, что должно произойти в ближайшие дни, Мегги, конечно, пригласила бы ее к себе.

Собственно говоря, — продолжал он простодушно, — все происходящее как раз дает причину для приглашения, разве нет?

Миссис Ассингем вместо ответа молча смотрела на него, и это, видимо, подействовало сильнее, чем любые слова, поскольку он задал, казалось бы, довольно непоследовательный вопрос:

— Зачем она приехала?

Его собеседница рассмеялась.

— Ну как же, именно за тем, о чем вы сейчас говорили. На вашу свадьбу!

— Мою? — удивился он.

— На свадьбу Мегги — это одно и то же. Приехала на ваше с Мегги великое событие. И потом, — сказала миссис Ассингем, — она ведь так одинока.

— Она назвала это в качестве причины?

— Право, не помню. Она привела столько разных причин. Бедняжка, у нее их предостаточно. Но одну я помню всегда без всяких напоминаний.

— Какую же? — У князя был такой вид, словно он должен бы догадаться, но не может.

— Да просто тот факт, что у нее нет дома — совершенно никакого дома. Она необычайно одинока.

Князь снова осмыслил ее слова.

— А также нету средств к жизни.

— Очень мало. Это-то, впрочем, не причина ей носиться туда-сюда по свету, при нынешних ценах на поезда и отели.

— Совсем наоборот. Но она не любит свою страну.

— Свою, дорогой мой друг? Какая же это «ее» страна! — Притяжательное местоимение, видимо, рассмешило хозяйку дома. — Она поехала туда и тут же вернулась, а там ей особенно нечего делать.

— Ах, сказав «ее», я с тем же успехом мог бы назвать эту страну моей, — светским тоном пояснил князь. — Уверяю вас, я уже чувствую, что этот великий континент в большей или меньшей степени принадлежит мне.

— Ну, это ваша точка зрения и ваше везение. Вам принадлежит — или скоро будет, по сути, принадлежать — весьма немаленькая часть этой страны. А у Шарлотты, по ее словам, нет никакого имущества в этом мире, за исключением двух огромнейших чемоданов — я разрешила ей перевезти сюда только один из них. Она обесценит в ваших глазах ваше богатство, — прибавила миссис Ассингем.

Он думал об этом, он думал обо всем, но воспользовался своим всегдашним выходом из положения — обратить все в шутку.

— Она приехала с коварными планами на мой счет? — И, словно почувствовав, что получилось все-таки чересчур серьезно, попытался заговорить о том, что как можно меньше касалось бы его самого: — Est-elle toujours aussi belle?[8]

Почему-то это казалось самой нейтральной темой в связи с Шарлоттой Стэнт.

Миссис Ассингем откликнулась вполне охотно:

— Она нисколько не изменилась. Вот человек, чья внешность, на мой взгляд, лучше всего воспринимается окружающими. Ею все восхи-

---

[8] Примечания: 8
Она все так же красива? (*фр.*)

щаются, кроме тех, кому она почему-либо не нравится. Ну и, конечно, ее критикуют.

— Ах, это несправедливо! — сказал князь.

— Критиковать ее? Ну, вот вам и ответ.

— Вот мне и ответ. — Он комически изобразил послушного ученика, успешно прикрыв минутное смущение демонстрацией благодарной покорности. — Я всего-навсего хотел сказать, что лучше, пожалуй, не относиться к мисс Стэнт критически. Когда кого-нибудь критикуешь, стоит только начать… — Он великодушно не закончил фразу.

— Вполне согласна с вами — лучше от этого воздерживаться, пока можно. Но если уж приходится…

— Да? — спросил он, поскольку она замолчала.

— Нужно по крайней мере знать, что у тебя на уме.

— Понимаю. А может быть, — улыбнулся он, — я сам не знаю, что у меня на уме.

— Вот как раз сейчас-то вам бы уж надо это знать. — Но миссис Ассингем не стала больше распространяться об этом, видимо устыдившись собственного тона. — Разумеется, вполне понятно, что она захотела приехать, ведь они с Мегги такие близкие подруги. Она поступила необду-

манно, но совершенно бескорыстно.

— Она поступила прекрасно, — сказал князь.

— Я говорю «бескорыстно» в том смысле, что она не посчиталась с расходами. Теперь ей придется, во всяком случае, их подсчитать, — продолжала миссис Ассингем, — но это не имеет значения.

Князь вполне понимал, как мало значения имеют в данном случае подобные вещи.

— Вы о ней позаботитесь.

— Я о ней позабочусь.

— Значит, все в порядке.

— Все в порядке, — сказала миссис Ассингем.

— Так о чем же вы беспокоитесь?

Она вскинулась, но лишь на мгновение.

— Я ни о чем не беспокоюсь — не больше вашего.

Темно-голубые глаза князя были очень красивы и в эту минуту больше всего на свете напоминали высокие окна на фасаде римского дворца работы одного из величайших старых архитекторов, распахнутые праздничным утром навстречу золотистому воздуху. В такие мгновения он сам походил на картину, на портрет какого-нибудь аристократа, который величественно возникает в окне под приветственные клики собравшейся

толпы, опираясь на подоконник, застланный драгоценными старинными тканями, — является не ради себя самого, но ради своих восхищенных подданных: нужно же им хоть изредка полюбоваться, разинув рот, на своего повелителя. Вот точно так же в выражении лица молодого человека возникало нечто живое, очень конкретное — отражение некой замечательной личности, истинного князя, правителя, воина, покровителя, одним своим появлением озаряющего великолепную архитектуру, придавая ей цель и смысл. Кто-то удачно сравнил эту особенность его лица с явлением призрака одного из самых гордых его предков. Кто бы ни был сей предок, в настоящую минуту князь как раз вышел к народу, то бишь к миссис Ассингем. Казалось, он осматривает панораму сияющего дня, облокотившись на узорчатые алые шелка. Он казался моложе своих лет; он смотрел рассеянно и невинно. Голос его зазвенел:

— Ах, я-то ничуть не беспокоюсь!

— Еще бы вы беспокоились, сэр! — откликнулась она. — У вас нет ни малейшего повода для беспокойства.

Он искренне согласился, что отыскать подходящий повод было бы чрезвычайно трудно. Они

так старались убедить друг друга в незамутненном спокойствии своей души, словно только что избежали опасности безвозвратно его утратить. Вот разве что, установив столь отрадный факт, неплохо было бы миссис Ассингем как-то объяснить свою довольно оригинальную манеру в начале беседы, и она заговорила об этом прежде, чем они сменили тему.

— Мое первое побуждение — относиться ко всему на свете таким образом, как будто я боюсь различных осложнений. Но я их не боюсь — на самом деле я люблю осложнения. Это моя стихия.

Князь не стал оспаривать такую трактовку. Сказал только:

— А если никаких осложнений нет?

Она возразила:

— Когда красивая, умная, необычная девушка приезжает погостить, это всегда осложнение.

Молодой человек взвесил ее слова, точно подобная постановка вопроса была для него совершенно нова.

— И долго она собирается гостить?

Его приятельница рассмеялась:

— Откуда я знаю? Вряд ли я могла ее об этом спросить.

— О, да. Вы не могли.

Но что-то в его тоне вызвало у нее новый приступ веселья.

— А вы, по-вашему, могли?

— Я? — Он задумался.

— Не могли бы вы вызнать у нее, для меня, — долго ли она намерена здесь пробыть?

Князь доблестно принял вызов.

— Пожалуй, если вы дадите мне такую возможность.

— Вот вам ваша возможность, — отозвалась миссис Ассингем, ибо в эту самую минуту услышала, как у дверей дома остановился кеб. — Она вернулась.

3

Это было сказано в шутку, но пока они в молчании ждали появления своей знакомой, молчание мало-помалу навеяло серьезность, и серьезность эта не рассеялась, даже когда князь снова заговорил. Все это время он был занят тем, что обдумывал сложившуюся ситуацию и принимал решение. Когда красивая, умная, необычная девушка приезжает погостить, это и вправду осложнение. Тут миссис Ассингем права. Но есть и другое: добрые отношения между обеими девушками еще со школьных дней и очевидная уверенность приехавшей в уместности своего появления.

— Знаете, она в любой момент может переехать к нам.

Миссис Ассингем отозвалась на его слова с иронией, не снисходящей до смеха:

— Вы хотели бы, чтобы она сопровождала вас в свадебном путешествии?

— О нет, на это время вы должны приютить ее у себя. А вот после — почему бы и нет?

Хозяйка дома с минуту молча смотрела на него; затем в коридоре послышался голос, и они

встали.

— Почему нет? Вы неподражаемы!

В следующее мгновение перед ними появилась Шарлотта Стэнт. Дворецкий встретил ее при выходе из экипажа и, как видно, своим ответом на вопрос, заданный на лестнице, предупредил ее о том, что миссис Ассингем не одна. Она не смотрела бы на эту леди так прямо и жизнерадостно, если бы не знала заранее, что и князь тоже здесь, — это продолжалось всего лишь мгновение, но позволило князю рассмотреть ее лучше, чем обернись она сразу же к нему. Он прекрасно подмечал все эти детали и не преминул воспользоваться представившимся случаем. Таким образом, на несколько секунд его обозрению была явлена высокая, полная сил, очаровательная девушка, показавшаяся по первому впечатлению воплощением своей полной приключений жизни; все в ней — движения, жесты, живой и яркий, и в то же время чрезвычайно удачный, наряд, от аккуратной шляпки, которая была ей удивительно к лицу, до оттенка рыжевато-коричневых башмаков, — все говорило о таких вещах, как волны и ветер, и таможни, далекие страны и долгие путешествия, умение справляться с дорожными трудностями и рожденная опытом

привычка к бесстрашию. В то же время он понимал, что в основе всего этого лежит отнюдь не тип «волевой» женщины, как можно было бы ожидать. Он за свою жизнь повидал довольно англоязычных дам и внимательно проанализировал достаточно подобных характеров, чтобы сразу же заметить разницу. Кроме того, у него уже была возможность составить представление о силе характера этой молодой леди. Имелись основания предполагать, что сила эта велика, но ни в коем случае не в ущерб игре ее неповторимого, неизменно занятного личного вкуса. Это качество в настоящую минуту сверкало, подобно лучу света, — возможно, она сознательно пустила его в ход, чтобы успокоить встревоженные глаза князя. Он видел ее в сиянии этого света: обращаясь исключительно к хозяйке дома, она словно поднимала над собой лампу, зажженную исключительно ради него. В этом свете ему было видно все, и прежде всего — что она существует в мире одновременно с ним самим и так непоправимо близко; факт, выступивший вдруг резко и четко, даже более четко, чем факт его предстоящей женитьбы, хотя и вкупе с другими моментами, мелкими, второстепенными, с теми особенностями лица и внешности, о которых говорила миссис

Ассингем как о предмете для критики. Таковы они и были, увиденные им вновь и тем самым немедленно утверждающие свою связь с ним. Строгий критический разбор, во всяком случае, сближает. Безусловно, у него могло составиться лишь одно мнение на этот счет, ввиду всего уже известного.

Итак, если обратиться к неуклюжим количественным меркам, лицо у нее было слишком узкое и слишком длинное, глаза невелики, зато рот никак не назовешь маленьким: полные губы и крепкие, самую чуточку выступающие вперед зубы — впрочем, ровные и ослепительно-белые. Но странное дело, сейчас он воспринимал эти черты Шарлотты Стэнт как будто свое собственное имущество, словно набор предметов из длинного перечня, которые были надолго убраны «на хранение» в шкаф, упакованные и надписанные. Пока она разговаривала с миссис Ассингем, дверца шкафа сама собой приоткрылась; князь вынимал памятные сувениры один за другим, и с каждой минутой все сильнее казалось, что она специально дает ему на это время. Он снова увидел, что ее пышные волосы можно, шаблонно выражаясь, назвать каштановыми, но при «критическом разборе» в них становился заметен рыжеватый

оттенок осенних листьев — совершенно неописуемый цвет, которого князь не встречал больше ни у кого, минутами придававший ей сходство с лесной охотницей. Он видел рукава ее жакета, закрывающие запястья, но опять-таки различал, что руки под слоем ткани круглы и грациозны той сверкающей стройностью, которую так любили флорентийские скульпторы великой эпохи, выражая ее зримую упругость в своем старом серебре и старой бронзе. Он знал ее узкие ладони, знал длинные пальцы, цвет и форму ногтей, знал особую красоту ее движений, плавную линию спины, идеальную слаженность всех составных частей, словно у какого-то удивительно изысканного музыкального инструмента, у предмета, созданного для выставок и премий. А лучше всего была ему знакома необыкновенно тонкая, гибкая талия, будто стебель роскошно распустившегося цветка; здесь можно также представить себе длинный шелковый кошелек, полный золотых монет, но схваченный посередине золотым кольцом, сквозь которое его продели, когда он был еще наполовину пустым. За несколько мгновений, пока она не повернулась к нему, князь будто успел взвесить этот кошелек в руке и даже услышал тихое позвякивание металла. А когда

она наконец обернулась, в ее глазах отразилось понимание того, что с ним происходит. Она не придала большого значения этой неожиданной встрече, вот разве только ее понимающий взгляд мог придать значение практически чему угодно. Если со спины она напоминала охотницу, то, подойдя ближе, показалась ему — может быть, и не вполне правильно — скорее похожей на музу. Но сказала она просто:

— Вот видите, вы еще от меня не избавились. Как поживает душечка Мегги?

Случилось так, что очень скоро молодому человеку без всяких усилий с его стороны сама собой представилась возможность задать вопрос, подсказанный ему миссис Ассингем. В течение нескольких минут, пожелай он того, князь был волен поинтересоваться у молодой леди, долго ли она планирует с ними пробыть. Дело в том, что миссис Ассингем вдруг потребовалось уйти по каким-то мелким домашним делам, предоставив своих гостей самим себе.

— Миссис Беттерман там? — спросила она Шарлотту, имея в виду какую-то из служанок, которой было поручено встретить ее и принять у нее чемоданы. На это Шарлотта ответила, что видела только дворецкого и нашла его весьма

любезным. Она уверяла, что о ее багаже можно не беспокоиться, но хозяйка дома мгновенно вскочила с подушек; видимо, упущение миссис Беттерман было более серьезно, чем могло показаться непосвященному. Короче говоря, дело требовало ее немедленного вмешательства, хоть гостья и воскликнула: «Давайте я пойду!» — и долго с улыбкой сокрушалась о том, что из-за нее возникли такие хлопоты. В эту минуту князю стало абсолютно ясно, что и ему пора уходить; заботы о размещении мисс Стэнт никоим образом его не касались, оставалось только удалиться… если не было особых причин задерживаться. Но причина у него имелась, это было не менее ясно. Князь не ушел, и надо сказать, уже довольно давно ему не приходилось действовать столь осознанно и целенаправленно. Даже больше: от него потребовалось определенное усилие воли, какое чаще всего сопутствует поступкам человека, борющегося за идею. Идея была налицо и состояла в том, чтобы выяснить нечто, чрезвычайно его интересовавшее, причем выяснить не завтра, не когда-нибудь в будущем, короче говоря, без долгих гаданий и ожиданий, а, по возможности, еще прежде, чем он покинет этот дом. К тому же собственное любопытство сочеталось в данном

случае с поручением миссис Ассингем. Князь ни за что бы не признался, что задерживается с целью задать бестактный вопрос: нет никакой бестактности в том, что у него имеются собственные мотивы. Если уж на то пошло, скорее было бы бестактно покинуть старую знакомую, не перемолвившись с ней словечком.

Вот он и получил полную возможность перемолвиться с нею словечком, ибо уход миссис Ассингем многое упростил. Небольшой домашний кризис продолжался меньше, чем мы о нем рассказываем; затянись он надолго, князю, естественно, пришлось бы взяться за шляпу. Оказавшись наедине с Шарлоттой, он отчего-то был рад, что не совершил столь непродуманного поступка. Он придерживался правила ничего не делать впопыхах, видя в этом особого рода постоянство, точно так же, как постоянство принимал за своего рода достоинство. А разве он не вправе обладать чувством собственного достоинства, будучи с избытком одарен чистой совестью, которая есть основа этого приятного качества? Он не делал ничего предосудительного — собственно говоря, он вообще ничего не делал. Повидав в своей жизни, как уже упоминалось, множество женщин, он мог наблюдать, как сам

бы выразился, постоянно повторяющийся феномен, столь же неизбежный, как восход солнца или наступление дня такого-то святого, и состоящий в том, что женщина непременно так или иначе себя выдаст. Она делает это неизменно, неотвратимо, она просто не может иначе. В этом ее природа, ее жизнь, а мужчине остается лишь дожидаться, не шевельнув и пальцем. В этом его преимущество, преимущество каждого мужчины: ему достаточно запастись терпением, и все наладится само собой, просто-таки, можно сказать, вопреки его воле. Ну и, соответственно, предсказуемость поступков женщины — это ее слабость, такое же несчастье, как красота. Отсюда и возникает та смесь жалости и жадности, из которой, собственно, и состоит отношение к ней любого мужчины, если он не совсем уже бессмысленное животное. Это и дает мужчине основание угождать женщине и в то же время быть к ней снисходительным. Она, конечно, старается как-то прикрыть свои действия, замаскировать и приукрасить, проявляя при этих ухищрениях огромную изобретательность, с коей сравниться может только лишь ее малодушие: она готова выдать свои поступки за что угодно, только не за то, что они представляют собой в действитель-

ности. Чем, по всей видимости, и занималась в настоящую минуту Шарлотта Стэнт; в этом, несомненно, заключалась подоплека каждого ее движения и взгляда. Она — женщина двадцатого века, она следует своему предначертанию, но ее предначертание отчасти и в том, чтобы обеспечивать соблюдение условностей, ему же остается только выяснить, как она намерена действовать. Он готов ей помочь, готов действовать с нею заодно — в разумных пределах; единственно, нужно понять, какие именно условности следует соблюсти и каким образом это лучше всего сделать. Сделать и соблюсти должна, разумеется, она; сам он, слава богу, никаких безумств не совершал и скрывать ему нечего, кроме идеальной гармонии между поступками и долгом.

Как бы там ни было, когда за их приятельницей закрылась дверь, они остались стоять друг против друга с натянутой улыбкой, словно каждый дожидался, пока другой задаст тон разговора. В напряженном молчании молодой человек отдавал себе отчет в том, что испытывал бы куда более сильный страх, если бы не чувствовал, что она и сама боится. Но ей было труднее — она боялась себя, в то время как он боялся только ее. Бросится ли она в его объятия, сделает еще

что-нибудь столь же удивительное? Она хочет увидеть, что сделает он, — сказала ему без слов эта причудливая минута, — чтобы самой действовать соответственно. А что он может сделать, кроме как дать ей понять, что он готов абсолютно на все, лишь бы помочь ей с честью выйти из сложившейся ситуации? Даже если она кинется к нему в объятия, он все-таки ей поможет — поможет сгладить, забыть, никогда не вспоминать, а следовательно, и не жалеть. На самом деле все получилось по-другому, хотя напряжение князя ушло не сразу, убывая понемногу и очень постепенно.

— Как чудесно вернуться сюда! — сказала она наконец; больше ничего, да и то мог сказать всякий другой. Но эти слова вместе с несколькими другими, последовавшими в ответ на его реплику, великолепно задали направление, а тон ее и вся манера ничем не указывали на истинное положение вещей. Малодушие, по сути очевидное для него, ни в коей мере не проглядывало наружу, и очень скоро князю стало ясно, что, если уж она возьмется за дело, на нее можно целиком и полностью положиться. Очень хорошо, того только ему и надо. Тем больше причин восхищаться ею. Шарлотта прежде всего постаралась

создать впечатление, что она, как говорится, не обязана отчитываться князю, — да, собственно, и никому другому, — в мотивах своих поступков и передвижений. Она — очаровательная девушка, которая была когда-то с ним знакома, но в то же время у очаровательной девушки имеется собственная жизнь. Эту свою идею она подняла поистине на недосягаемую высоту — выше, еще выше! Ну что ж, он от нее не отстанет; нет такой высоты, чтобы оказалась слишком высока для них, будь это даже самая головокружительная вершина на свете. И они, кажется, в самом деле достигли той самой головокружительной высоты, когда Шарлотта почти что извинилась за свой внезапный приезд.

— Я все думала о Мегги и в конце концов страшно соскучилась по ней. Я хотела увидеть ее счастливой, и вряд ли скромность не позволит вам сказать, что такой я ее и увижу.

— Ну конечно, она счастлива, слава богу! Но, знаете ли, это почти страшно — счастье такого юного, доброго и великодушного существа. Это немного пугает. Но ее хранит Пречистая Дева и все святые, — сказал князь.

— Разумеется, они ее хранят. Она — самая чудесная душечка на свете. Но этого я вам могу и не

объяснять, — прибавила девушка.

— О, — серьезно ответил князь, — я чувствую, что еще многое должен узнать о ней. — И добавил: — Она будет ужасно рада, что вы приехали.

— Ах, я вам совершенно не нужна! — улыбнулась Шарлотта. — Нынче ее час. Ее великий час. Очень часто приходится видеть, как много это значит для девушки. Но в том-то все и дело! Я хочу сказать, что не хотела пропустить такое событие.

Князь взглянул на нее ласково и понимающе.

— Вы ничего не должны пропустить. — Он принял подачу и теперь вполне мог поддерживать заданный тон — нужно было только показать ему, что от него требуется. Камертоном стало счастье его будущей жены, за которую так рада ее старинная приятельница. О да, это было великолепно, особенно потому, что явилось перед ним внезапно в столь искреннем и благородном порыве. Что-то в глазах Шарлотты словно умоляло воспринять ее слова в соответствующем духе. Он готов был воспринимать их в любом духе, какого она пожелает, и постарался дать ей это понять — возможно, памятуя о том, как Мегги дорожит этой дружбой. Эта дружба парила на крыльях пылкого юношеского воображения и была, по

мнению князя, самым живым и ярким чувством в ее жизни, — разумеется, не считая всепоглощающей преданности отцу, — пока не забрезжило иное чувство, источником которого стал он сам. Насколько он знал, Мегги не пригласила Шарлотту на свадьбу — ей и в голову не пришло заставить подругу совершить ради каких-то нескольких часов утомительное и дорогостоящее путешествие. Но она постоянно поддерживала с ней связь, чуть ли не каждую неделю сообщала новости о себе, несмотря на все приготовления и хлопоты. «Ах, я как раз пишу Шарлотте; вот бы вам познакомиться с нею поближе» — он и сейчас еще слышал эти слова, так часто звучавшие за последнее время, и снова со странным чувством отмечал про себя, что высказанное ею пожелание несколько излишне, о чем он как-то до сих пор не собрался ей сказать. Шарлотта старше и, возможно, умнее — во всяком случае, ничем не связана, так почему бы ей не ответить на такую стойкую привязанность чем-то большим, нежели обыкновенные вежливые формальности? Правда, женские взаимоотношения — весьма причудливая материя, и, пожалуй, в подобной ситуации князь не рискнул бы довериться одной из своих молодых соотечественниц. В своих соображениях

он полагался на огромную разницу между расами, хотя было бы довольно трудно определить национальную принадлежность этой молодой дамы. В ней не замечалось явно выраженных черт, типичных для какой-то определенной нации; то было штучное изделие, истинная редкость. Ее непохожесть на других, ее одиночество и недостаток средств — читай: отсутствие родни и других преимуществ — придавали ей, вместе взятые, некую удивительную нейтральность, служа как бы маленьким социальным капиталом для этой девушки, такой отстраненной от всех и в то же время все подмечающей вокруг себя. Иного капитала и не могло быть у одинокой общительной молодой особы, и это при том, что мало кому из них удавалось достичь подобного успеха, да и самой Шарлотте в этом помогал некий особый дар, трудно определимый словами, своеобразная игра природы.

Дело тут было не в ее удивительном чутье к иностранным языкам, которыми она жонглировала, как фокусник на манеже жонглирует шариками, обручами или зажженными факелами, — по крайней мере, не только в нем, ибо князю случалось знавать полиглотов почти столь же всеобъемлющих дарований, чьи достиже-

ния, однако, отнюдь не делали их интересными людьми. Если уж на то пошло, он и сам был полиглотом, точно так же, как многие из его друзей и родственников; для них, и более всех — для него, изучение языков было вопросом обыкновенного удобства. А у этой девушки владение языками было прекрасно само по себе и даже словно таило какую-то загадку; так, по крайней мере, представлялось князю, когда ему являлось в ее устах редчайшее среди варваров достоинство — безупречное владение итальянским. Он встречал несколько человек, чаще всего мужчин, кому удавалось с приятностью изъясняться на его родном языке, но ни у кого, ни у мужчин, ни у женщин, не замечал он такого безошибочного, почти мистического инстинкта к этому наречию, как у Шарлотты. Он вспомнил, как при первом знакомстве она ничем не проявила этого, как будто естественной средой общения для них был английский, в котором князь нисколько не уступал ей самой. И лишь случайно, услышав, как она при нем разговаривала с кем-то другим, князь понял, что у них имеется и другая возможность, и даже значительно более приятная, поскольку ему доставляло огромное удовольствие подкарауливать у нее ошибки, которых она никогда не

допускала. Загадку нимало не прояснял рассказ Шарлотты о ее появлении на свет во Флоренции и флорентийском детстве: родители, родом из великой страны, но уже из поколения упадка, развращенные поддельные полиглоты, тосканская кормилица — самое раннее детское воспоминание; слуги на вилле, милые contadini[9]из поместья, маленькие девочки и еще какие-то крестьяне из соседнего поместья, все невзрачное, но оттого еще более прелестное окружение первых лет ее жизни, и в том числе благочестивые сестры бедного монастыря, затерянного в холмах Тосканы — монастыря, еще более невзрачного, чем все остальное, но в той же мере и более прелестного, где она проводила свои школьные годы вплоть до начала следующего жизненного этапа, когда она оказалась в куда более величественном учебном заведении в Париже, и туда же поступила Мегги, насмерть перепуганная, за три года до того, как Шарлотта окончила учебу, продолжавшуюся пять лет. Подобные воспоминания позволяли, разумеется, понять, как были заложены основы, но князь все же утверждал, что в крови Шарлотты и в ее речи сказывается какой-то отдаленный,

[9] Примечания: 9
Крестьяне (*ит.*).

сугубо партикулярный предок — если угодно, хоть бы и с холмов Тосканы. Она ничего не знала ни о каком предке, но очень мило приняла предложенную князем теорию, словно один из тех маленьких подарков, которыми подпитывается дружба. Впрочем, теперь все это смешалось воедино и довольно естественным образом привело к предположению, которое князь позволил себе со всей возможной деликатностью высказать вслух:

— Мне кажется, вам не особенно понравилась ваша родная страна?

Они решили пока ограничиться в беседе английским языком.

— Боюсь, она мне не особенно родная. К тому же там ровным счетом никого не волнует, нравится она кому-то или не нравится — это личное дело каждого. Но мне она не понравилась, — сказала Шарлотта Стэнт.

— Не слишком многообещающая перспектива для меня, верно? — сказал князь.

— Вы имеете в виду — потому что вы туда поедете?

— О да, разумеется, мы туда поедем. Я очень хочу поехать.

Она помолчала.

— Но — сейчас? Сразу?

— Через месяц-другой. Кажется, возникла такая идея. — Тут ему померещилось, что в ее лице что-то промелькнуло, заставив его сказать: — Разве Мегги вам не написала?

— Она не писала, что вы поедете немедленно. Но вы, конечно, должны ехать. И, конечно, должны пробыть там как можно дольше, — прибавила Шарлотта легким тоном.

— Так ли вы сами поступили? — засмеялся князь. — Пробыли как можно дольше?

— О, мне так показалось… Но у меня не было там никаких «интересов». А у вас будут, и в самых больших масштабах. Эта страна создана для интересов, — сказала Шарлотта. — Будь их у меня хоть несколько штук, я, безусловно, не уехала бы оттуда.

Князь выждал с минуту; они все еще не садились.

— Так значит, ваши интересы здесь, а не там?

— О, мои! — Девушка улыбнулась. — Где бы ни были, они не занимают много места.

То, как она это сказала, и как эта реплика отразилась на ней, подвигло князя произнести речь, которая всего несколько минут назад показалась бы рискованной и сомнительного вкуса. Произне-

сенные Шарлоттой слова все изменили, и князь положительно воспрянул духом, ощутив, что ему позволено высказаться честно и откровенно. Это было для них обоих проявлением наивысшего мужества.

— Знаете, все это время я считал вполне вероятным, что вы надумаете выйти замуж.

Она на мгновение задержала на нем взгляд, и в эти несколько секунд князь испугался, не испортил ли все дело.

— Выйти замуж, за кого?

— Ну, за какого-нибудь доброго, милого, умного, богатого американца.

И вновь он рисковал нарушить хрупкое равновесие… Но Шарлотта держалась поистине великолепно.

— Я испробовала все возможности, какие мне только попадались. Я очень старалась. Я откровенно давала понять, что ради того и приехала. Может быть, чересчур откровенно. Но все было напрасно. Мне пришлось признать свое поражение. Никто не захотел взять меня в жены. — Тут она как будто пожалела, что ему приходится слушать о ее неудаче. Ее заботило, как он к этому отнесется; если он разочарован, нужно его утешить. — Знаете, поимка мужа — это все-таки не

вопрос жизни и смерти, — улыбнулась она.

— Ах, жизнь и смерть… — рассеянно протянул князь.

— По-вашему, я должна ждать чего-то большего от жизни? — спросила Шарлотта. — А разве моя жизнь так уж несносна, пусть даже мне не суждено разделить ее с кем-нибудь? Мою жизнь тоже можно как-то наполнить. Знаете, в наше время положение незамужней женщины имеет свои преимущества.

— Преимущества по сравнению с чем?

— С просто существованием — а это, между прочим, может значить очень многое. Не исключаются и привязанности к вполне определенным людям, а именно — к друзьям. Я, например, необыкновенно привязана к Мегги. Я ее просто обожаю. Могла бы я обожать ее сильнее, выйдя замуж за одного из тех достойных людей, о которых вы говорили?

Князь рассмеялся:

— Вероятно, вы стали бы сильнее обожать его!

— Ах, но ведь речь сейчас не об этом? — откликнулась она.

— Дорогой мой друг, — возразил князь, — речь всегда идет об одном: как сделать по возможности лучше самому себе и при этом не навредить

другим.

К этому времени у князя появилось ощущение прочной почвы под ногами, и потому он продолжал, как бы стремясь открыто проявить это свое ощущение:

— Итак, я рискну снова выразить надежду, что вы выйдете замуж за какого-нибудь отличного парня; еще добавлю: я уверен, что этот брак даст вам еще больше преимуществ, как вы выражаетесь, нежели все прогрессивные достижения наших дней.

Вначале она только посмотрела на него и, кажется, безропотно приняла бы его рекомендации, вот только присутствовала в этой безропотности весьма ощутимая доля насмешки.

— Благодарю вас, — просто сказала она, но в эту минуту вернулась их приятельница.

Не приходится отрицать, что, войдя в комнату, улыбающаяся миссис Ассингем бросила на них зоркий взгляд, и, может быть, заметив это, Шарлотта для верности переадресовала вопрос ей:

— Князь выражает надежду, что я еще выйду замуж за хорошего человека.

Неизвестно, подействовало ли это на миссис Ассингем, но князь при этих словах еще больше приободрился. Ему ничего не грозит — вот что,

вкратце, означали ее слова, он же того только и добивался. Почувствовав себя в безопасности, князь был способен даже шутить почти на любую тему.

— Это все только из-за того, о чем рассказывала мне мисс Стэнт, — объяснил он хозяйке дома. — Должны же мы поддерживать в ней боевой дух? — Если шутка и вышла грубоватой, по крайней мере, не он ее начал — во всяком случае, не в шутливом тоне; это Шарлотта превратила все в шутку, заговорив с миссис Ассингем. — Она говорит, что предпринимала некие попытки в Америке, но потерпела неудачу.

Миссис Ассингем как-то не ожидала от него подобного тона, но постаралась ответить в подобающем стиле.

— Ну что ж, — заметила она, обращаясь к молодому человеку, — если уж вы так заинтересовались, вы и должны это устроить.

— А вы должны нам помочь, душенька, — хладнокровно заявила Шарлотта, — вы ведь раньше так замечательно помогали устраивать такие вещи.

И не успела миссис Ассингем ответить на столь неожиданную просьбу, как Шарлотта снова обратилась к князю, затронув гораздо более близкую

ему тему:

— А ваша-то свадьба в пятницу? В субботу?

— В пятницу — о нет! За кого вы нас принимаете? Мы соблюдаем все пошлые приметы до единой. В субботу, будьте любезны, в Часовне[10], в три часа, в присутствии ровно дюжины свидетелей.

— Дюжины — считая меня?

Пораженный, князь расхохотался.

— С вами получается тринадцать. Так не годится!

— Ни в коем случае, — отозвалась Шарлотта, — если вы увлекаетесь «предзнаменованиями». Так мне не приходить?

— Боже мой, что вы! Мы что-нибудь придумаем. Пригласим еще какую-нибудь старушку для ровного счета. Не правда ли, следовало бы держать запас старушек специально на такой случай?

Возвращение миссис Ассингем ясно указывало на то, что пора, наконец, удалиться; князь снова взялся за шляпу и подошел попрощаться к хозяйке дома. Но, уходя, он еще раз обратился к Шарлотте.

---

[10] Примечания: 10

Имеется в виду Бромптон Оратори, лондонская часовня Святого Филиппа Нери, католическая церковь в стиле итальянского Возрождения. Знаменита своими службами в сопровождении органной музыки.

— Я ужинаю сегодня у мистера Вервера. Что-нибудь передать?

Девушка как будто немного растерялась.

— Мистеру Верверу?

— Нет, Мегги — чтобы вам повидаться с ней завтра утром. Я знаю, ей этого захочется.

— Тогда я приду завтра утром… Спасибо.

— Наверное, она пошлет за вами, — продолжал князь. — Я хочу сказать — пошлет экипаж.

— Ах, спасибо, не нужно. Я могу доехать за пенни на омнибусе, правда? — повернулась она к миссис Ассингем.

— Нет, послушайте! — воскликнул князь, но миссис Ассингем благодушно взирала на свою гостью.

— Да, золотко, и я вам этот пенни обеспечу. Она доберется, — прибавила добрая леди, обращаясь к их общему другу.

Но пока он прощался, Шарлотте пришла в голову новая мысль.

— Князь, я хочу вас попросить о большом одолжении. Я хочу успеть до субботы приготовить для Мегги свадебный подарок.

— Нет, послушайте! — снова воскликнул молодой человек, как бы умоляя не беспокоиться понапрасну.

— Ах, я непременно должна, — продолжала Шарлотта. — На самом деле, я, в сущности, для этого и приехала. В Америке я не смогла достать то, что задумала.

Миссис Ассингем слегка встревожилась:

— Что же вы такое задумали, душечка?

Но Шарлотта смотрела только на молодого человека.

— Вот как раз это князь и поможет мне решить, если только он будет таким хорошим.

— А я, — спросила миссис Ассингем, — не могу помочь вам решить?

— Разумеется, дорогая, мы это обязательно обсудим. — При этом она не отрывала взгляда от князя. — Но я прошу его сделать такую милость — пройтись со мной по магазинам. Я хочу, чтобы он согласился судить и выбирать вместе со мной. Если, конечно, вы можете потратить на это час времени, — сказала она. — Это и есть то большое одолжение, о котором я говорила.

Князь поднял брови, улыбаясь чарующей улыбкой.

— И ради этого вы приехали из Америки? Ну, в таком случае я, разумеется, должен найти время! — Он улыбался чарующей улыбкой, но на самом деле, сказать по правде, он совсем не ожи-

дал ничего подобного. Это так плохо вязалось со всем остальным, что князь почему-то перестал чувствовать себя в безопасности. Обнадеживало лишь то, что просьба была высказана открыто, на людях. Впрочем, очень быстро князь сообразил, что открытость в данном случае — лучший вариант. В следующий миг ему даже показалось, что именно это и требуется; что может лучше обозначить верную основу для их отношений? Присутствие миссис Ассингем придавало всему происходящему полнейшую благопристойность, и эта дама немедленно доказала, что и сама придерживается именно такого мнения.

— Ну, конечно, князь, — рассмеялась она, — вы должны найти время!

Этими словами она как бы давала им «добро» от лица друзей, общественного мнения, нравственного закона, общепринятого представления о пределах дозволенного для будущих мужей и бог знает чего еще, и потому князь только сказал Шарлотте, что специально зайдет утром на Портленд-Плейс, чтобы застать ее там и договориться о встрече, после чего отправился прочь, унося с собой отчетливое ощущение, что, как он сам выразился, точно знает, как обстоят дела. Для этого он и затягивал свой визит. Дела же обстояли

вполне приемлемо.

4

— Я что-то не совсем понял, дорогая, — обратился к своей жене полковник Ассингем вечером того дня, когда приехала Шарлотта. — Должен сказать, я как-то не совсем понимаю, почему ты так терзаешься из-за всего этого. В конце-то концов, ты здесь ни при чем, верно? Я, во всяком случае, ни при чем, чтоб мне провалиться!

Час был поздний, и молодая леди, которая утром этого же дня сошла с корабля в Саутгемптоне, пересела на «специальный пароход», а затем поселилась в гостинице только лишь для того, чтобы пару часов спустя перебраться в частный дом, к этому времени, надо надеяться, уже мирно отдыхала от трудов праведных. К обеду явились двое гостей, довольно потрепанные жизнью братья по оружию времен доблестной молодости полковника, с которыми тот случайно повстречался накануне. Когда обед закончился и джентльмены присоединились к дамам в гостиной, Шарлотта уже ушла к себе, сославшись на усталость. Зато отважные вояки, увлекшись разговором, просидели до одиннадцати: миссис Ассингем, хоть и утверждала, что утратила

всякие иллюзии по отношению к военным, но была неизменно неотразима для старых солдат; а поскольку полковник вернулся домой перед самым обедом и едва успел переодеться, то у них лишь сейчас появилась возможность обсудить ситуацию, создавшуюся, как ему только что было поведано, в результате приезда гостьи. Собственно говоря, было уже за полночь, слуг отправили спать, грохот колес уже не раздавался за окном, распахнутым в августовскую ночь; все это время Роберт Ассингем терпеливо знакомился с фактами, которые ему следовало узнать. Но его отношение ко всему происходящему вполне выразили вышеприведенные слова. Чтоб его черти взяли, он снимает с себя всякую ответственность, — полковник любил и часто употреблял оба эти выражения. Самый простодушный, самый здравомыслящий, самый доброжелательный из людей, он имел пристрастие к ужаснейшему сквернословию. Жена однажды заметила ему по этому поводу, что его ругань напоминает ей одного отставного генерала: она однажды видела собственными глазами, как тот играл с оловянными солдатиками, вел победоносные сражения, осаждал и уничтожал неприятеля, увлеченно манипулируя маленькими дере-

вянными крепостями и оловянным войском. Необузданность в речах заменяла ее мужу оловянных солдатиков — то был его способ играть в войну. Таким безобидным образом полковник на склоне лет удовлетворял свои воинственные инстинкты; нехорошие слова, нагромождаемые в достаточном количестве, могли воплощать собой батальоны, эскадроны, гром канонады и сокрушительные атаки легкой кавалерии. Это было естественно, это было очаровательно — романтика, к которой и жена полковника не оставалась равнодушной, романтика походной жизни и непрестанного грохота орудий. Это была битва до конца, битва не на жизнь, а на смерть, только никого по-настоящему не убивали.

Полковнику повезло меньше — несмотря на все богатство своего лексикона, он так до сих пор и не сумел определить любимую игру своей жены; он мог лишь, следуя ее собственной философии, предоставить ей полную самостоятельность в этом вопросе. Снова и снова полковник засиживался допоздна, обсуждая с нею всевозможные ситуации, в изобилии возникавшие в ее более утонченном сознании, но при этом неизменно подчеркивал, что ни одна ситуация в ее жизни не может иметь к нему никакого отношения. Пусть

она ввязывается хоть в пятьдесят ситуаций одновременно, если ей это нравится — в конце концов, этим любят баловаться на досуге все женщины, будучи всегда уверены, что, как только та или иная ситуация серьезно им надоест, обязательно найдется мужчина, который их вызволит. Полковник же ни за какие коврижки не соглашался участвовать в какой бы то ни было ситуации, ни сам по себе, ни даже вместе с женой. Таким образом, он наблюдал жену в ее родной стихии примерно так же, как в свое время случалось ему наблюдать в «Аквариуме» некую знаменитость, та прославленная леди в облегающем купальнике крутила сальто и выделывала всевозможные штуки в бассейне с водой, представлявшемся до чрезвычайности холодным и неуютным на взгляд любого зрителя, не относящегося к семейству амфибий. Так и нынче ночью он слушал свою спутницу жизни, покуривая трубочку на сон грядущий и любуясь ее выступлением, словно заплатил шиллинг за входной билет. Впрочем, он по такому случаю желал получить нечто стоящее за свои деньги. В чем же это, во имя всех чудес, она так упорно себя винит? Что, по ее мнению, может случиться и что такое может натворить эта бедная девушка, если даже она и стремится

вообще что-то сотворить? Если уж на то пошло, что такого страшного может быть у нее на уме?

— Если бы она мне в этом отчиталась сразу же по прибытии, — отвечала мужу миссис Ассингем, — я, разумеется, без труда бы все узнала. Но она не сделала мне такого одолжения и не похоже, чтобы собиралась сделать в будущем. Одно ясно наверняка: она неспроста приехала. Она хочет, — неторопливо развивала свою мысль миссис Ассингем, — снова увидеться с князем. Это-то меня ничуть не беспокоит. Я хочу сказать, этот факт сам по себе, как факт, не вызывает беспокойства. Но вот о чем я себя спрашиваю: для чего ей это нужно?

— Что толку спрашивать себя, если ты знаешь, что ты этого не знаешь? — Полковник привольно откинулся на спинку кресла; щиколотка одной ноги покоилась на колене другой, а глаза с вниманием обозревали изящную форму необыкновенно стройной ступни, мерно покачивавшейся и облаченной в тонкий черный шелковый трикотаж и лаковую кожу. Эта конечность словно демонстрировала свою приверженность строгой воинской дисциплине, так все в ней было идеально, блестяще, аккуратно и туго затянуто, словно солдат на параде. Она даже как бы намекала,

что, будь она чуточку менее совершенна, кто-нибудь неизбежно отправился бы на гауптвахту или, по крайней мере, подвергся бы штрафу с вычетом соответствующей суммы из денежного довольствия. Вообще Боба Ассингема отличала необыкновенная худоба, не имеющая абсолютно ничего общего с физическим истощением, худоба, проистекающая, возможно, от повеления высших сил в целях пущего удобства транпортировки и размещения на постой, и, по сути дела, едва не выходящая за рамки нормы. В еде он себе не отказывал, о чем было прекрасно известно большинству его друзей, и все же оставался неизменно худым, словно изможденным, и впалые щеки полковника производили поистине зловещее впечатление. Соответственно, и одежда на нем болталась, а поскольку полковник Ассингем предпочитал ткани необычных светлых оттенков и причудливой фактуры, напоминающей на вид китайские циновки, — и где он только их откапывал? — то одеяния его наводили на мысли о тропических островах, вызывая невольный образ губернатора, который правит вверенной ему территорией, расположившись в плетеном кресле на просторной веранде. Круглая голова с гладко зачесанными волосами и сединой особого

оттенка походила на перевернутый серебряный горшок; скулы и щеточка усов достойны были Аттилы, предводителя гуннов. Глубоко посаженные глаза, обведенные темными кругами, голубели, словно цветочки, сорванные не далее как сегодняшним утром. Он знал о жизни все, что только можно знать, считая ее, в основном, вопросом чисто финансового устройства. Жена упрекала его в недостатке как нравственной, так и интеллектуальной чуткости, а точнее — в полном отсутствии того и другого. Полковник никогда не пытался хотя бы понять, что она имела в виду, да это было и не важно, ибо при всем при том он ухитрялся прекрасно уживаться с окружающими. Людские слабости и причуды не удивляли и не шокировали его — да что там, почти даже не забавляли, и это, возможно, единственное, чего он был лишен в своей вполне успешной жизни; все вышеупомянутое он принимал за данность, ничему не ужасаясь и все раскладывая по полочкам, прикидывая шансы и подводя итоги.

Может быть, прежде, в странах с невероятным климатом, в военных кампаниях, полных жестокости и вседозволенности, он повидал такие удивительные вещи, что ему уже нечему было учиться. Впрочем, он был вполне доволен жиз-

нью, при всей своей любви к преувеличениям во время домашних споров, и, как ни странно, отличался необычайной добротой, словно бы никак не связанной с его прошлым опытом. При необходимости он прекрасно справлялся с жизненными трудностями, держась от них на расстоянии.

Именно так он обходился и со своей женой, зная, что большую часть ее высказываний можно попросту оставить без внимания. Из соображений семейной экономии полковник редактировал игру ее ума точно так же, как с огрызком карандаша в руке он правил ее многочисленные и многословные телеграммы. Наименее загадочным представлялся ему его клуб, куда он был принят в качестве управляющего — пожалуй, слишком даже дотошного — и где управлял, исходя из принципа полного проникновения. В сущности, его клубная деятельность представляла собой шедевр редакционной правки. Возвращаясь к уже сказанному, можно отметить, что примерно тот же процесс он предполагал применить в данную минуту к воззрениям миссис Ассингем по поводу сложившейся ситуации, то есть по поводу различных возможностей, связанных с Шарлоттой Стэнт, и их собственного отношения к происходящему. Они не станут бездумно тратить

на это весь свой скромный капитал тревожного любопытства; нельзя же, в самом деле, за один миг израсходовать любовно накопленный запас. Кроме того, ему нравилась Шарлотта: с ней было легко ладить, она не доставляла хлопот в качестве гостьи и по своему инстинктивному неприятию лишних трат была гораздо ближе к характеру полковника, нежели его собственная жена. Ему было чуть ли не проще разговаривать с нею о Фанни, чем с Фанни — о Шарлотте. Но сейчас от него требовалось именно это последнее, и полковник старался как мог, до того даже, что повторил только что заданный вопрос:

— Если не можешь придумать, чего тебе следует бояться, подожди, пока не придумаешь. Тогда у тебя гораздо лучше получится. А то, если не хочется слишком долго ждать, узнай у нее. Меня не спрашивай. Возьми и спроси ее саму.

Миссис Ассингем, как мы знаем, решительно отрицала способность своего мужа к какой бы то ни было игре ума и потому могла себе позволить отнестись к подобным репликам, как к ничего не значащей жестикуляции или нервному тику. Она с привычной снисходительностью игнорировала их, но больше ей не с кем было поговорить об этих насущных и сугубо интимных вопросах.

— Ее дружба с Мегги невероятно все усложняет. Потому что, — размышляла она вслух, — это так естественно.

— Так, может, она из-за того и приехала?

— Она приехала, — продолжала свои размышления миссис Ассингем, — потому что ей не понравилось в Америке. Для нее там нет места — она не нашла там сочувствия. У нее не было гармонии с людьми, которых она там встретила. Наконец, это ясно до безобразия: она просто не может там жить, при ее средствах. А здесь все-таки каким-то образом может.

— Ты хочешь сказать, таким образом, чтобы жить у нас?

— Или еще у кого-то. Она не может вечно жить в гостях, да и не хочет. Если бы даже и захотела, она для этого слишком хороша. Но она может, она должна рано или поздно поселиться у них. Мегги ее пригласит — Мегги ее заставит. К тому же она и сама захочет.

— Так почему ты не можешь считать, что она для этого и приехала, — спросил полковник, — и успокоиться на этом?

— Как я могу успокоиться, как? — продолжала жена, словно не слыша его. — Это меня преследует!

— А что такого?

— Чтобы прошлое вдруг вернулось именно теперь? — говорила миссис Ассингем в мрачном раздумье. — Что же будет, как же теперь будет?

— Все будет прекрасно, я бы сказал, и незачем заламывать руки. Да когда это было, дорогая, — заметил полковник, закуривая, — чтобы нечто, задуманное и устроенное тобой, не вышло просто замечательно?

— Ах, не я все это устроила! — немедленно откликнулась она. — Не я ее вернула.

— Ты думала, она останется там до конца своих дней, чтобы сделать тебе одолжение?

— Ничего подобного. Пусть бы приехала после того, как они поженятся, я совсем не против. Все дело в том, что она приехала раньше. — И тут же прибавила совершенно непоследовательно: — Мне ее так жаль. Конечно, радоваться ей нечему. Но я не понимаю, что за причуда ее толкает. Не было никакой необходимости ей встречаться со всем этим лицом к лицу — ведь не ради самоистязания она это делает! То-то и оно — мне почти кажется, что это она меня наказывает!

— А может, так оно и есть? — сказал Боб Ассингем. — Черт возьми, считай, что она тебя наказывает, и делу конец. Заодно и мне наказа-

ние, — прибавил он.

Но миссис Ассингем еще далеко не покончила с этой темой. Она заявила, что у данной ситуации много разных сторон, и ни одну из них, по справедливости, нельзя упускать из виду.

— Вот, например, я ни на минуту не думаю, что она плохая. Ни за что, никогда! — воскликнула миссис Ассингем. — Этого я о ней не думаю.

— Ну, так разве этого недостаточно?

Миссис Ассингем ясно дала понять, что ничего не будет достаточно, пока ей не дадут развить свою мысль до конца.

— У нее нет сознательного намерения создавать какие-то сложности. Она действительно считает Мегги душечкой, и это чистая правда — а кто так не считает? Она не способна намеренно повредить хотя бы волосок на ее голове. Но она здесь — вот отсюда и все наши проблемы, — закончила миссис Ассингем.

Ее супруг еще какое-то время молча курил.

— Да что вообще между ними было, скажи на милость?

— Между князем и Шарлоттой? Да ничего… Единственное только — им пришлось понять, осознать, что ничего не может быть. В этом весь их маленький роман… Даже — их маленькая

трагедия.

— Но что же они все-таки сделали, черт подери?

— Сделали? Полюбили друг друга, но потом поняли, что ничего не может быть, и отказались друг от друга.

— Так в чем же роман?

— Да вот в этом — в крушении надежд, в том, что они нашли в себе мужество посмотреть фактам в лицо.

— Каким фактам? — добивался полковник.

— Ну, прежде всего — что ни у него, ни у нее не было средств, чтобы пожениться. Если бы у нее были хоть какие-то деньги — я хочу сказать, столько, чтобы хватило на двоих, — я уверена, он бы решился на это.

Муж ограничился тем, что издал какой-то невнятный звук, и она тут же поправилась:

— Я хочу сказать, если бы у него самого были хоть какие-то деньги… Или чуточку больше…. Хоть какие-то деньги по княжеским меркам. Они бы сделали, что могли, — миссис Ассингем отдавала им должное, — если б была малейшая возможность. Но никаких возможностей не было, и Шарлотта, надо сказать к ее чести, поняла это. Ему необходимы были деньги, это был вопрос

жизни и смерти. Да и радости мало выйти за него нищего — вернее, сделать его нищим. У нее хватило ума это понять, и у него тоже.

— И этот их разумный поступок ты называешь романом?

Она на мгновение задержала на нем взгляд.

— Что же тебе еще?

— А разве ему, — вопросил полковник, — ничего больше не было нужно? Или, если уж на то пошло, самой бедолаге Шарлотте?

Миссис Ассингем все не отрывала от него взгляда, и в этом как будто крылась половина ответа.

— Они были безоглядно влюблены. Она могла бы стать его… — Миссис Ассингем умолкла и даже ненадолго задумалась. — Она могла бы стать ему кем угодно, только не женой.

— Но не стала, — промолвил полковник сквозь клубы дыма.

— Не стала, — эхом отозвалась миссис Ассингем.

Эхо, негромкое, но глубокое, на минуту заполнило всю комнату. Полковник как будто прислушивался, пока оно не затихло, затем снова заговорил:

— Почему ты так уверена?

Она помолчала, но в конце концов ответила с

полной решительностью:

— Не хватило бы времени.

Полковник усмехнулся такому доводу — возможно, он ожидал чего-то совсем другого.

— Разве на это требуется так уж много времени?

Но миссис Ассингем оставалась по-прежнему серьезной.

— Больше, чем у них было.

Полковник отстраненно подивился:

— С чего вдруг такая нехватка времени?

И затем, пока она молча раздумывала, словно вспоминая все, переживая заново и соединяя между собой обрывки, он спросил:

— Ты хочешь сказать, что тут вмешалась ты со своей блестящей идеей?

На это она сразу же ответила, как будто отвечала в какой-то мере себе самой:

— Ничего подобного… Тогда еще нет. Но ты, конечно, помнишь, — продолжала она, — как все это происходило, примерно год назад. Они расстались, когда он еще и не слышал о Мегги.

— А почему он ничего не слышал о ней от самой Шарлотты?

— Потому что она никогда о ней не говорила.

— Это тоже она тебе рассказала? — поинтересо-

вался полковник.

— Я сейчас говорю не о том, что она мне рассказывала, — возразила его жена. — Что она рассказала, это одно. А я сейчас говорю о том, что сама знаю. Это совсем другое.

— Другими словами, ты считаешь, что она тебе врет? — добродушно осведомился Боб Ассингем.

Миссис Ассингем отмахнулась от столь грубого вопроса.

— В то время она даже имени Мегги не упоминала.

Она говорила с такой уверенностью, что полковника вдруг осенило.

— Так, значит, это он тебе сказал?

Поколебавшись мгновение, она призналась:

— Да, он.

— А он не врет?

— Нет… Нужно отдать ему должное. Я уверена, что он абсолютно не врет. Если бы я так не думала, — провозгласила, как бы оправдываясь, миссис Ассингем, — я не стала бы иметь с ним никакого дела, я хочу сказать — в данном отношении. Он джентльмен — джентльмен вполне, настолько, насколько это требуется. К тому же он бы ничего от этого не выиграл. Что немаловажно, — прибавила она, — даже и для джентльмена.

Это я рассказала ему о Мегги, в прошлом мае тому исполнился ровно год. Раньше он о ней ничего не слышал.

— Значит, дело серьезное, — сказал полковник.

Миссис Ассингем наскоро обдумала его слова.

— Ты хочешь сказать, серьезное для меня?

— О, для тебя-то все «серьезно», это уж само собой, иначе о чем же мы тут толкуем? Для Шарлотты дело было серьезное. И для Мегги серьезное. Опять-таки было — когда он ее наконец увидел. Или когда она его увидела.

— Не думай, что тебе удается так уж сильно меня мучить, — помолчав, снова заговорила она, — потому что ты не можешь придумать ничего такого, о чем я уже тысячу раз не передумала, и еще потому, что я думаю о таких вещах, которые тебе даже в голову не придут. Все это было бы очень серьезно, — признала миссис Ассингем, — если бы не было так правильно. Тебе не понять, — продолжала она, — но ведь мы приехали в Рим еще до конца февраля.

Полковник от души с ней согласился:

— Дорогая, мне вообще ничего не понять в этой жизни.

Его жена, видимо, при необходимости понима-

ла в этой жизни абсолютно все.

— Шарлотта в том году была там с самого начала ноября, а потом неожиданно уехала, ты же помнишь, около десятого апреля. А собиралась остаться дольше, — собиралась в какой-то мере ради нас, естественно; тем более что должны были наконец приехать Верверы, которых ждали всю зиму, а они все откладывали и откладывали. И приезжали-то они, — во всяком случае, Мегги, — в основном для того, чтобы повидаться с Шарлоттой и, главное, побыть с нею там. И вдруг все изменилось, потому что Шарлотта уехала во Флоренцию. Ты ничего не помнишь — она собралась и уехала в одночасье. Привела какие-то причины, но мне и тогда это показалось странным. Я так и чувствовала: наверняка что-то произошло. Беда в том, что хоть я кое-что знала, но знала недостаточно. Я не знала, что их отношения были, как ты выражаешься, «на грани» — то есть я не знала, до какой степени «на грани». Бедная девочка просто-напросто спасалась бегством.

Полковник слушал внимательнее, чем показывал, и это было заметно по его тону.

— Спасалась?

— Ну, наверное, и его тоже спасала. Позже я

все это поняла — теперь-то я все понимаю! Он непременно пожалел бы — он не хотел причинить ей боль.

— Как же, — расхохотался полковник. — Все они, как правило, ничего такого не хотят!

— Во всяком случае, — продолжала его жена, — Шарлотта спаслась — оба они спаслись. Им всего лишь нужно было посмотреть правде в глаза. Брак между ними был невозможен, а если так, чем скорее они окажутся по разные стороны Апеннин, тем лучше. Правда, им потребовалось какое-то время, чтобы все это почувствовать и сообразить. Они постоянно встречались, и не всегда на людях. Во всю ту зиму они встречались гораздо чаще, чем об этом было известно — хотя и так немало было известно. Во всяком случае, больше, чем я тогда воображала, хотя не знаю, что, в сущности, изменилось бы от этого для меня. Он мне понравился, показался очаровательным с самого первого знакомства. И вот, больше года прошло, а он пока ничем не испортил впечатления. А ведь он мог сделать разные вещи… Какие многие из мужчин проделали бы с легкостью. Поэтому я в него верю. Я с самого начала подумала, что так будет, и не ошиблась. И потому я говорю себе, — провозгласила она, как будто зачитывая

итог, сумму длинного столбца цифр, — я говорю себе: все-таки я была не совсем уж дурочкой.

— А я разве говорил, что была? Да что там, — заявил Боб Ассингем, — им теперь нужно только одно: чтобы их оставили в покое. Теперь это их проблема; они ее купили, оплатили и забрали из магазина. Она уже больше не твоя.

— О какой именно проблеме ты говоришь? — уточнила миссис Ассингем.

С минуту полковник молча курил, потом застонал:

— Господи, их что, много?

— Есть проблема Мегги с князем, а есть — князя с Шарлоттой.

— О, да, и еще, — насмешливо фыркнул полковник, — проблема Шарлотты с князем.

— Еще — Мегги с Шарлоттой, — продолжала жена, — а также моя с Мегги. И еще, пожалуй, — моя с Шарлоттой. Да, — задумчиво проговорила она, — с Шарлоттой у меня, безусловно, проблема. Короче говоря, хватает, как видишь. Но я намерена не терять головы.

— И все эти проблемы мы должны решить сегодня вечером? — поинтересовался полковник.

— И все бы погибло, пойди дела по-другому — если бы я сделала какую-нибудь глупость, — с

жаром продолжала миссис Ассингем, пропустив вопрос мимо ушей. — Я бы этого не вынесла. Но чистая совесть придает мне сил. Никто не может ни в чем меня упрекнуть. Верверы отправились в Рим одни. Шарлотта, проведя с ними несколько дней во Флоренции, приняла решение насчет Америки. Мегги, должно быть, ей помогла; наверное, сделала ей хороший подарок, и это многое упростило. Шарлотта, расставшись с ними, прибыла в Англию, «присоединилась» к кому-то, не помню уже, к кому, и отплыла в Нью-Йорк. У меня еще хранится ее письмо из Милана, где она об этом рассказывает; в то время я не знала, что за этим стоит, но все равно почувствовала, что она начинает новую жизнь. Во всяком случае, это, безусловно, очистило атмосферу — я имею в виду атмосферу милого старого Рима, которой все мы были пропитаны. Теперь у меня были развязаны руки. И когда я познакомила тех двоих, для меня даже вопроса не стояло о ком-нибудь другом. Больше того, и для них такого вопроса тоже не стояло. Вот, теперь ты знаешь мою позицию, — закончила она.

Тут она поднялась с места, словно эти слова были голубым лучом дневного света, к которому она мучительно пробивалась сквозь какой-то

темный тоннель, а ее восторженно зазвеневший голос вместе с вновь обретенной уверенностью можно было бы уподобить пронзительному свистку паровоза, вырвавшегося на простор.

Она прошлась по комнате, выглянула на мгновение в августовскую ночь, остановилась перед одной, другой вазой с цветами. Решительно, похоже было, что она доказала все, что требовалось доказать, как будто успех затеянной ею операции стал неожиданностью для нее самой. Возможно, прежние расчеты были не свободны от ошибок, но новые окончательно разрешили все сомнения. Муж, как ни странно, остался сидеть, где сидел, и, казалось, совершенно не вникал в результаты ее рассуждений. Ее энтузиазм его только смешил, и точно так же его не увлек порыв ее восторга; возможно, он не хотел признаваться, что всерьез заинтересовался этой историей.

— Ты хочешь сказать, — спросил он вскоре, — что князь уже забыл Шарлотту?

Она круто обернулась, словно он нажал какую-то пружину.

— Само собой, он хотел забыть — и это лучшее, что он мог сделать. — Как видно, миссис Ассингем действительно поняла все до конца и могла объяснить во всех подробностях. — У него до-

стало на это сил, и он взялся за дело наилучшим образом. При этом не забывай, как все мы в то время относились к Мегги.

— Она очень мила, но мне она всегда казалась прежде всего девушкой, получающей миллион годового дохода. Если ты намекаешь, что он именно так к ней и относился, то ты, безусловно, права. Согласен, ему, видимо, было совсем нетрудно забыть Шарлотту.

Миссис Ассингем вскинулась, но лишь на мгновение.

— А я никогда и не говорила, будто ему не нравились деньги Мегги, и чем дальше, тем больше.

— А я никогда не говорил, будто они мне и самому бы не понравились, — отпарировал Боб Ассингем. Еще с минуту он курил в полной неподвижности. — Сколько из этого известно Мегги?

— Сколько? — Она как будто прикидывала, как лучше выразить количество — в квартах или галлонах. — Ей известно то, что Шарлотта рассказала ей во Флоренции.

— А что ей рассказала Шарлотта?

— Очень немного.

— Почему ты так уверена?

— Да потому, что она не могла ей рассказать. — Миссис Ассингем снизошла до объяснения. — Не-

которые вещи, дорогой, — разве сам ты этого не чувствуешь, при всей своей толстокожести? — некоторые вещи никто не мог бы рассказать Мегги. Есть такие вещи, честное слово, что я и сейчас не решилась бы ей рассказать.

Полковник курил и думал.

— Это бы ее настолько шокировало?

— Это бы настолько ее напугало. Она бы так страдала — по-своему, тихо и незаметно. Она рождена, чтобы не знать никакого зла. И не должна узнать никогда.

Боб Ассингем рассмеялся странным угрюмым смешком. Этот звук заставил его жену замереть перед ним.

— Замечательно мы принялись за столь благое дело!

Но миссис Ассингем не отступила:

— Ни за что мы не принялись! Дело уже сделалось. Все сделалось в ту самую минуту, когда он подошел к нашему экипажу тогда, на Вилле Боргезе. Это был ее второй или третий день в Риме. Помнишь, ты ушел куда-то с мистером Вервером, а князь сел к нам в экипаж, а потом еще вернулся с нами к чаю. Они встретились, они увидели друг друга, остальное произошло само собой. Помнится, все началось практически в ту самую поездку.

Как водится в Риме, какой-то человек окликнул его прямо с улицы, когда мы заворачивали за угол, и так Мегги узнала, что одно из имен князя, полученных при крещении, которым его всегда называли в семье, — Америго. Ты, вероятно, не знаешь, хоть и прожил со мной всю жизнь, что так звали некоего предприимчивого человека, который четыреста лет назад или около того пересек океан вслед за Колумбом, и, в отличие от Колумба, ему повезло сделаться крестным отцом нового континента; оттого-то мысль хоть отдаленно породниться с ним до сих пор волнует наши бесхитростные сердца.

Обычное для полковника мрачноватое добродушие неизменно помогало ему невозмутимо переносить от своей жены весьма частые обвинения в невежестве по части всего, касающегося ее родины; и даже теперь в эти темные глубины проник лишь косвенный луч вопроса, в котором каким-то чудом прозвучало одно лишь любопытство без малейшего намека на смущение:

— Где же тут родство?

Ответ был наготове.

— По женской линии — через одну жившую в далекой древности благодетельную даму: она была из потомков того предприимчивого субъ-

екта, поддельного первооткрывателя, и ее князь имеет счастье числить среди своих предков. Одна из ветвей того, первооткрывательского семейства достигла таких высот, что они могли себе позволить вступать в брак с представителями семейства князя, а увенчанное славой имя мореплавателя стало, естественно, весьма популярно среди них, им нарекали одного из сыновей в каждом поколении. Я все это говорю к тому, что, помню, я еще тогда заметила, насколько это имя способствовало князю в отношениях с милыми Верверами. Едва Мегги его услышала, как это знакомство приобрело в ее глазах романтическую окраску. Ее воображение в один миг восполнило все недостающие детали. Я так и сказала себе: «Это знак, что он победит». Конечно, на его счастье, тут имели место и все прочие нужные знаки. В самом деле, — сказала миссис Ассингем, — имя подействовало, практически как острие клина. И еще я подумала, — закончила она свою речь, — что тут прелестно проявилась свойственная Верверам непосредственность.

Полковник внимательно слушал, но высказался весьма прозаически:

— Видно, Америго знал, что делал. Я имею в виду не того, древнего Америго.

— Я уж знаю, что ты имеешь в виду! — бесстрашно бросила миссис Ассингем.

— Тот, древний, — многозначительно прибавил полковник, — не единственный в семье первооткрыватель.

— Ах, да сколько угодно! Если он открыл Америку или прослыл открывателем, то и его потомки в свое время должны были открыть американцев. И в частности, один из них, безусловно, должен был открыть, какие мы патриоты.

— Это не тот ли самый, — осведомился полковник, — который открыл так называемое родство?

Миссис Ассингем сурово взглянула на мужа.

— Родство вполне реально — абсолютно точный исторический факт. Твои инсинуации всего лишь свидетельствуют о твоем цинизме. Неужели ты не понимаешь, — воскликнула она, — что история подобной семьи хорошо известна и прослеживается от самого корня вместе со всеми своими ответвлениями?

— А, ну и ладно, — сказал Боб Ассингем.

— Сходи в Британский музей, — предложила ему спутница жизни с большим воодушевлением.

— И что я там буду делать?

— Там есть целый огромный зал, или отдел, или как там это называется, заполненный книгами, посвященными исключительно семейству князя. Можешь сам посмотреть.

— А ты сама смотрела?

Миссис Ассингем замялась, но только на мгновение.

— Конечно, я ходила туда как-то с Мегги. Мы, так сказать, искали по нему материалы. Сотрудники библиотеки были весьма любезны. — И она вернулась в основное русло, с которого ее ненадолго сбил полковник. — Во всяком случае, эффект был произведен, чары начали действовать еще в Риме, с той самой первой нашей совместной прогулки. После этого мне просто оставалось как можно лучше использовать ситуацию. А ситуация и без того складывалась как нельзя лучше, — поспешила прибавить миссис Ассингем, — и я совершенно не считала себя обязанной ее портить. И сегодня в подобной ситуации я поступила бы точно так же. Я действовала по обстоятельствам, какими они тогда мне представлялись, — на самом деле они и сейчас не кажутся мне другими. Мне все это нравилось, я ожидала от этого только добра, и даже теперь, — объявила она с жаром, — ничто не заставит меня

думать иначе.

— Ничто и никогда не могло заставить тебя думать то, чего тебе не хочется, — заметил, попыхивая трубкой, полковник, по-прежнему развалившийся в кресле. — У тебя просто бесценная способность думать то, что ты пожелаешь. Вот только тебе постоянно хочется думать до ужаса противоположные вещи. А на самом деле случилось то, — продолжал он, — что ты сама отчаянно влюбилась в князя, а поскольку убрать меня с дороги тебе было не под силу, пришлось действовать окольным путем. Как и Шарлотта, ты не могла выйти за него замуж, зато могла женить его на ком-нибудь другом — все-таки это будет князь, и будет свадьба. Ты могла сосватать ему свою маленькую приятельницу — против нее-то не было никаких возражений.

— Мало сказать — никаких возражений, были и положительные причины, и все преотличные, все просто очаровательные. — Она даже не пыталась опровергать его разоблачения касательно своих мотивов, причем это умолчание, явно осознанное, по-видимому, ничего ей не стоило. — Все-таки князь и все-таки свадьба, слава тебе господи. И так оно будет всегда, с Божьей помощью. Год назад я была по-настоящему счастлива,

что могу им помочь, и до сих пор счастлива.

— Так о чем же ты беспокоишься?

— Я спокойна, — сказала Фанни Ассингем.

Полковник посмотрел на нее со своей обычной бесстрастной прямотой. Она вновь заходила по комнате, подчеркивая своими метаниями только что прозвучавшее заявление о спокойствии. Он сперва молчал, как будто удовлетворился ее ответом, но это продолжалось недолго.

— По твоим же словам, Шарлотта не все могла ей рассказать. Как ты сама-то это понимаешь? Как ты понимаешь то, что и князь ничего ей не рассказал? Допустим, можно понять, что некоторые вещи ей рассказать невозможно, раз уж, ты говоришь, ее так легко напугать и шокировать. — Он высказывал свои возражения не торопясь, с паузами, давая ей время прекратить свои блуждания по комнате и снова подойти к нему. Но она все еще продолжала блуждать, когда он завершил свой вопрос: — Если между ними не было ничего такого, чему не следовало быть, до тех пор, пока Шарлотта не сбежала — сбежала, ты говоришь, именно для того, чтобы ничего подобного не произошло, что ж тогда такого было настолько ужасного, что об этом и рассказать нельзя?

После такого вопроса миссис Ассингем еще

немного походила по комнате и, даже остановившись, уклонилась от прямого ответа.

— Ты, кажется, хотел, чтобы я успокоилась.

— Я этого и хочу, вот и стараюсь тебя успокоить, чтобы ты больше не волновалась. Можешь ты мне ответить и на этом успокоиться?

Миссис Ассингем подумала — и решила попробовать.

— Я очень хорошо чувствую, что Шарлотта не хочет рассказывать о том, как ей пришлось «пуститься в бега», и именно по тем причинам, о которых мы сейчас говорили, пусть даже бегство помогло ей добиться того, чего она добивалась.

— А, ну, если бегство помогло ей добиться, чего она добивалась… — Но полковник не окончил фразы, «если» повисло в воздухе, а жена его не подхватила. Так оно и висело какое-то время, пока полковник не заговорил снова. — В таком случае остается удивляться только одному: чего ради она теперь к нему вернулась?

— Не скажи! Она вернулась не к нему. На самом деле — не к нему.

— Я скажу все, что твоей душеньке будет угодно. Но это мне не поможет, если ты сама того не скажешь.

— Дорогой, тебе ничто не поможет, — не оста-

лась в долгу миссис Ассингем. — Тебя, по сути, ничто не волнует. Тебе лишь бы насмехаться над тем, что я не желаю умыть руки…

— А я думал, ты как раз это и собираешься сделать, раз все обстоит так хорошо и правильно.

Но миссис Ассингем продолжала без запинки, поскольку ей уже случалось много раз высказываться на эту тему.

— На самом деле ты ко всему равнодушен, ты абсолютно безнравственный. Ты участвовал в захвате и разграблении городов и наверняка совершал ужасные вещи. Но я не стану волноваться по этому поводу, вот тебе! — рассмеялась она.

Полковник стерпел ее смех, но по-прежнему упорно гнул свое.

— Ну а я ставлю на бедняжку Шарлотту.

— «Ставишь» на нее?

— На то, что она лучше всех знает, чего хочет.

— О, в этом-то я не сомневаюсь. Она, безусловно, знает, чего хочет. — И тут миссис Ассингем предъявила эту загадочную величину, словно зрелый итог своих блужданий и размышлений. Во все время их разговора она нащупывала нить и вот наконец поймала. — Она хочет быть несравненной.

— Она такая и есть, — заметил полковник по-

чти цинично.

— Она хочет, — теперь уже миссис Ассингем крепко держала нить в руках, — она хочет быть лучше всех, и она на это способна.

— Способна хотеть?

— Способна осуществить свою идею.

— И в чем же заключается ее идея?

— Позаботиться о Мегги.

Боб Ассингем слегка удивился:

— В чем позаботиться?

— Во всем. Она знает князя. А Мегги не знает. Нет, — признала миссис Ассингем, — не знает, наша душечка.

— Выходит, Шарлотта приехала давать ей уроки?

Фанни Ассингем продолжала развивать свою мысль:

— Она добилась для него этого огромного события. То есть год назад она практически добилась этого. Во всяком случае, практически помогла ему самому этого добиться и помогла мне ему помочь. Она уехала, она не вернулась, она отпустила его на свободу; а что такое это ее молчание по отношению к Мегги, как не прямая помощь ему? Если бы она все рассказала во Флоренции, если бы поведала свою грустную историю, если бы верну-

лась — в любой момент раньше, чем несколько недель назад, если бы не поехала в Нью-Йорк и не просидела там достаточное время, если бы она не сделала всего этого, то сейчас, конечно, все было бы по-другому. Она знает князя, — повторила миссис Ассингем. И даже прибавила то, что уже отмечала прежде: — А Мегги, наша душечка, его не знает.

Ее охватил какой-то восторженный, прямотаки вещий порыв, и тем глубже пришлось ей упасть, спускаясь до уровня низменного здравомыслия своего мужа.

— Другими словами, Мегги по незнанию грозит опасность? Так значит, все-таки опасность имеется?

— Не будет никакой опасности, потому что Шарлотта все это понимает. Вот откуда у нее явилась эта идея, что она способна на героизм, на истинное величие души. Она способна, она сможет. — Славная леди уже вся так и лучилась. — Так она это видит: стать для своего лучшего друга залогом абсолютной безопасности.

Боб Ассингем напряженно задумался.

— А кого из них ты называешь ее лучшим другом?

Фанни Ассингем нетерпеливо тряхнула голо-

вой.

— Сам догадывайся! — Но она уже всем сердцем приняла открывшуюся ей великую истину. — Поэтому мы должны стать для нее опорой.

— «Для нее»?

— Ты и я. Мы с тобой должны стать опорой для Шарлотты. Наша задача — помочь ей перенести все это.

— Перенести свое величие души?

— Свое благородное одиночество. Только — это-то и есть самое главное! — она не должна остаться одинокой. Все будет совсем замечательно, если она выйдет замуж.

— Стало быть, мы должны выдать ее замуж?

— Мы должны выдать ее замуж. Это будет мой великий подвиг, — продолжала миссис Ассингем, вдохновляясь все больше и больше. — Это все искупит.

— Что искупит?

Но она молчала, и полковнику снова потребовались разъяснения.

— Если все так замечательно, при чем тут искупление?

— Ну, на случай, если я нечаянно причинила зло кому-то из них. Если вдруг я совершила ошибку.

— Ты ее искупишь тем, что совершишь другую? — И поскольку она опять не торопилась с ответом: — Мне показалось, ты сейчас говорила в основном о том, в чем ты вполне уверена.

— Ни в чем никогда нельзя быть абсолютно уверенным. Всегда существуют разные возможности.

— Так если мы можем только каждый раз стрелять в белый свет, как в копеечку, зачем постоянно лезть в чужие дела?

Тут она снова взглянула на него.

— Хорош бы ты был, дорогой, если бы я не полезла в твои дела!

— А, это совсем не то. Я был твой, собственный. Я был твой, — сказал полковник, — потому что ничего не имел против.

— Ну, так и эти люди ничего не имеют против. Они тоже мои — в том смысле, что я их ужасно люблю. И еще в том смысле, — продолжала она, — что, по-моему, они тоже меня любят не меньше. Между нами существуют общие отношения, это реальность, и прекрасная реальность; все мы перемешались, так сказать, и теперь уже поздно пытаться что-то изменить. Приходится жить в этом и с этим. Поэтому нужно позаботиться, чтобы Шарлотта нашла хорошего мужа и как можно

скорее — я просто не могу иначе! Это решит все проблемы. — И поскольку муж все-таки смотрел недоверчиво, миссис Ассингем пояснила: — Под проблемами я подразумеваю малейшие тревоги, какие у меня еще могли остаться. В сущности, это мой долг, и я не успокоюсь, пока не исполню своего долга. — К этому времени она успела взвинтить себя до какого-то экстаза. — Если понадобится, я посвящу этому всю свою жизнь на ближайшие год-два. Тогда я буду знать: я сделала все, что могла.

До него, наконец, дошло.

— Ты считаешь, нет пределов тому, что ты «можешь»?

— Я не говорю, что нет пределов, и вообще ничего такого не говорю! Я говорю, что у нас неплохие шансы — достаточно, чтобы надеяться. А почему бы им не быть, ведь речь-то, в конце концов, идет не о ком-нибудь, а о Шарлотте.

— Твое «в конце концов» означает, что она в конце концов влюбилась в кого-то другого?

Полковник задал вопрос очень тихо, явно рассчитывая произвести убийственный эффект, но его жена даже не запнулась.

— Она не настолько влюблена, чтобы не захотела выйти замуж. Как раз сейчас ей этого особенно

хочется.

— Это она тебе сказала?

— Нет пока. Еще рано. Но она скажет. Но мне и говорить не нужно. Ее замужество докажет, что все правда.

— Что правда?

— Все, что я говорю, правда.

— Кому докажет?

— Да хотя бы мне. С меня будет довольно, что я помогу ей. Это докажет, — помолчав, снова заговорила миссис Ассингем, — что она исцелилась. Что она примирилась со сложившейся ситуацией.

Полковник удостоил это высказывание долгой затяжки из своей трубки.

— А ситуация будет состоять в том, что она сделает то единственное, что может ей помочь основательно замести следы?

Жена посмотрела на него, на этого славного суховатого человека, словно теперь, наконец, он позволил себе настоящую вульгарность.

— То единственное, что может ей помочь выйти на новый путь. И прежде всего, это будет мудро и правильно. Это лучше всего даст ей возможность проявить величие души.

Полковник медленно выпустил струйку дыма.

— И тем самым даст тебе наилучшую возможность проявить величие души заодно с ней?

— Во всяком случае, я постараюсь, насколько смогу.

Боб Ассингем встал.

— И ты еще называешь меня безнравственным?

Тут уж миссис Ассингем на мгновение растерялась.

— Могу назвать тебя глупым, если угодно. Но, знаешь ли, глупость, доведенная до определенного предела, это и есть безнравственность. Ведь что такое нравственность, если не высочайший интеллект? — Этого он не умел ей сказать, и она закончила весьма решительно: — Кроме того, даже в самом худшем случае, все это так увлекательно!

— О, ну, если дело только в этом…

Подразумевалось, что в таком случае у них найдется общая почва; но она не поддалась и на эту провокацию.

— Ах, — проговорила миссис Ассингем, уже стоя на пороге, — для меня это слово значит совсем не то же самое, что для тебя. Спокойной ночи!

И она погасила электрический свет. В ответ полковник как-то странно, отрывисто простонал,

почти можно сказать — хмыкнул. По-видимому, это слово для него действительно что-то значило.

5

— А теперь я должна тебе кое-что сказать, потому что я хочу быть абсолютно честной. — Так, несколько зловеще, начала разговор Шарлотта, когда они оказались в Гайд-парке. — Я не желаю притворяться и не могу притворяться ни минутой дольше. Можешь думать обо мне, что хочешь, мне все равно. Я знала, что так и будет, и теперь вижу, насколько мне это безразлично. Я для этого приехала. На самом деле — только для этого. Для этого, — повторила она.

От ее тона князь остановился на полном ходу.

— Для «этого»? — Он говорил так, словно не очень ясно представлял, о чем идет речь, и, во всяком случае, не придавал этому большого значения.

Но она-то была намерена придать этому как можно больше значения.

— Чтобы провести один час наедине с тобой.

Ночью шел сильный дождь, и хотя мостовая уже просохла благодаря все очищающему ветерку, августовское утро было прохладное и пасмурное, с нависшими тучами и посвежевшим воздухом. Многолиственная зелень парка

стала как будто еще гуще, от земли поднимался запах здоровой поливки, смывшей пыль и разные менее приятные ароматы. Едва они вошли в парк, Шарлотта огляделась вокруг, словно здоровалась со всем окружающим, как со старым знакомцем: даже здесь, в самом сердце Лондона, день стоял типично английский, благоуханный, умытый дождем. Как будто он ее ждал, как будто она его знала, узнавала, любила его, как будто отчасти ради него вернулась сюда. Впрочем, эти тонкости едва ли были доступны восприятию непонятливого итальянца; для такого требуется осененный благодатью американец, точно так же, как и для многого другого нужно быть осененным благодатью американцем, лишь бы только не требовалось при этом оставаться в Америке, благодатной или не очень. По предварительной договоренности князь заехал за гостьей миссис Ассингем на Кадоган-Плейс в половине одиннадцатого, и вскоре они уже прошлись вдвоем по Слоун-стрит и, не задерживаясь, вступили в Гайд-парк со стороны Найтсбриджа. Соответствующее соглашение было достигнуто через пару дней как неизбежно вытекающее из просьбы Шарлотты, высказанной в те первые минуты в гостиной миссис Ассингем. Просьба девушки за пару дней

нисколько не потеряла своей силы — напротив, все как будто способствовало тому, чтобы выказать ее в более ярком свете, и было совершенно очевидно, что тут неуместны какие бы то ни было возражения. Да и кому было возражать, если уж миссис Ассингем, зная все, не вмешивалась и не проявляла ни малейшего неодобрения? Об этом спрашивал себя молодой человек, вполне явственно ощущая, как легко ему выставить себя на посмешище. Одно, по крайней мере, ясно — он не станет с самого начала показывать свой страх. Да если поначалу он и испытывал страх, это чувство уже заметно притупилось; так, в целом, удачно, можно сказать — благоприятно, подействовал на него двухдневный промежуток.

В течение этого времени князь занимался главным образом тем, что активно принимал у себя гостей, съехавшихся на свадьбу, а Мегги с неменьшим увлечением общалась с подругой, которая по ее настойчивому приглашению проводила целые часы на Портленд-Плейс. Мегги пока еще не пригласила ее окончательно переселиться к ним, поскольку это было бы не совсем удобно, но когда бы князь ни заглянул сюда, Шарлотта вместе с другими, с его собственными гостями, присутствовала за завтраком, за чаем, за обедом,

за всеми этими беспрерывными трапезами — никогда еще в жизни князю не приходилось столько есть. Если за все это время, вплоть до настоящего часа, он ни разу не виделся с Шарлоттой наедине дольше, чем на минуту, так ведь и с Мегги тоже, а если уж он не виделся с Мегги, самая естественная вещь на свете — не видеться с Шарлоттой. Единственная минута-исключение состоялась, когда они мимолетно отстали от остальных на широкой лестнице дома на Портленд-Плейс, и этого Шарлотте хватило, чтобы напомнить ему об их плане — настолько она была уверена в его готовности. Если они вообще намерены сделать это, то время поджимает. Все привезли с собой подарки; его родные привезли просто чудесные вещи: откуда у них, как у них еще сохранились подобные сокровища? Одна она ничего не привезла, и ей очень стыдно; но даже зрелище прочих великолепных даров не может отпугнуть ее. Она найдет подарок по своим возможностям, а князь ей поможет, помня при этом, что Мегги ничего не должна знать. Князь постарался растянуть минуту, чтобы измыслить резон, а затем рискнул высказать свой резон вслух. Рискнул — потому что он мог ее обидеть, уязвить ее гордость, если гордость у нее была именно такого рода. Но уж

если она так и так будет уязвлена, не все ли равно, каким именно образом? К тому же именно такого рода гордостью Шарлотта не страдала. И потому его слабое сопротивление на лестнице было легким ровно настолько, чтобы быть вообще возможным.

— Мне очень не хочется, чтобы вы тратили свои деньги — и на такую цель, в конце-то концов.

Она стояла на ступеньку-другую ниже князя и, глядя на него снизу вверх в сиянии люстры под высоким сводчатым потолком холла, водила ладонью по полированным перилам красного дерева, опирающимся на чугунную кованую решетку в английском стиле восемнадцатого века.

— Из-за того, что у меня их, по-вашему, очень мало? Нет, денег у меня достаточно — во всяком случае, на час нам хватит. Достаточно, — улыбнулась она, — это же целый пир! И притом, — сказала Шарлотта, — разумеется, о дорогом подарке нет и речи, Мегги ведь и так по горло в сокровищах. Я не стремлюсь с кем-то соревноваться, кого-то затмевать. Само собой, чего у нее только нет по части бесценных вещей? Мой подарок волей-неволей должен оказаться приношением бедняка. Пусть это будет нечто такое, что вот именно не подарит ей никто из богачей, а

поскольку она и сама чересчур богата, чтобы покупать подобные вещи, то им у нее и взяться неоткуда! — Похоже, Шарлотта много об этом думала. — Но раз уж мой подарок не может быть изысканным, он должен быть забавным — за чем-то в этом духе мы и будем охотиться. Охота в дебрях Лондона, это уже само по себе забавно.

Князь отчетливо запомнил, как поразило его это ее словечко.

— «Забавно»?

— О, я не имела в виду комическую игрушку — я имела в виду какую-нибудь вещицу, обладающую шармом. Но чтобы она была абсолютно на месте в своей сравнительной дешевизне. Вот что я называю забавным, — объяснила Шарлотта. — Когда-то, — прибавила она еще, — вы мне помогали дешево покупать разные вещи в Риме. Вы замечательно умеете сбивать цену. Нечего и говорить, что я храню их до сих пор — все те удачные покупки, которыми я обязана вам. В августе в Лондоне тоже можно сделать удачную покупку.

— Ах, но я совсем не разбираюсь в английских методах совершения покупок и, по правде сказать, нахожу их скучными. — В этих скромных пределах он позволил себе возразить, поднимаясь вместе с нею по лестнице. — Тех милых

бедных римлян я хорошо понимал.

— Это они вас понимали, потому вам и нравилось, — засмеялась она. — А здесь увлекает как раз то, что нас не понимают. Будет весело, вот увидите.

Если он еще продолжал колебаться, то лишь потому, что тема допускала небольшое колебание.

— Веселье, разумеется, должно заключаться в том, чтобы разыскать подарок, как мы и собирались.

— Конечно, и я о том же говорю.

— Ну а если они не захотят сбавить цену?

— Тогда мы немного уступим. Всегда что-нибудь можно придумать. А кроме того, князь, — продолжала она, — я ведь, если на то пошло, не совсем еще нищая. Я не все могу себе позволить, — странная девушка, она сказала это так легко, — но кое-что все-таки могу. — На верхней ступеньке лестницы она остановилась опять. — Я экономила.

Тут князь по-настоящему усомнился:

— В Америке?

— Да, именно там — все для той же цели. И знаете, — закончила она, — не нужно откладывать дальше, чем до завтра.

Вот и все, что случилось в тот раз, разве что еще

десяток слов прибавить. И все это время князь отчетливо ощущал, что просить пощады бесполезно; это значило бы лишь усугубить ситуацию. С тем, что есть, он еще как-нибудь справится, но он готов был сделать что угодно, только бы не усугублять. Кроме того, жаль вынуждать Шарлотту к мольбам. Он ее вынудил, она умоляла его, а этого не допускала своеобразная деликатность князя. Вот так и получилось то, что получилось: князь всеми своими силами отдался стратегии неусугубления. Он продолжал в том же духе даже и тогда, когда Шарлотта заметила, — да еще таким тоном, словно в этом и состояла самая суть дела, — что Мегги ничего не должна знать. По крайней мере, половина всего интереса заключается в том, чтобы Мегги ничего не заподозрила, и потому князь должен скрыть от нее, и Шарлотта тоже скроет, что они куда-то ходили вместе и вообще хоть на пять минут встречались наедине. Короче говоря, для их затеи жизненно необходима полная секретность; Шарлотта воззвала к его доброте, прося не выдавать ее. Сказать по правде, подобная просьба накануне свадьбы слегка тревожила: одно дело — случайная встреча в доме миссис Ассингем, и совсем другое — вот так договариваться о том, чтобы провести утро вдвоем,

почти как когда-то в Риме, и практически в столь же интимном духе. О тех нескольких минутах на Кадоган-Плейс он в тот же вечер рассказал Мегги, хотя и не упомянул об отлучке миссис Ассингем, равно как и о предложении, которое их приятельница успела высказать за этот краткий промежуток времени. Но что послужило причиной его попытки уклониться от участия в каком бы то ни было подарке, в каком бы то ни было секрете, что заставило его, стоя на верхней площадке лестницы, замяться ровно настолько, чтобы Шарлотта успела заметить его колебание, так это ощущение явного сходства между ее маленьким планом и теми их прошлыми встречами, от которых он теперь совершенно отрешился — во всяком случае, хотел отрешиться. Похоже было, как будто что-то начинается вновь, а уж к этому князь никак не стремился. Вся сила, вся красота его нынешней позиции состояла в том, что он начинает все с нуля, и то, что начинается, будет чем-то абсолютно новым. Эти обрывочные мысли промелькнули так быстро, что к тому времени, как Шарлотта прочла их на его лице, князь уже ясно видел образуемый ими смысл. Шарлотта, едва прочтя, бросила им ответный вызов: «Так вы хотите пойти и все рассказать ей?» — отчего

они сделались почему-то смехотворными. Тогда князь поскорее вернулся к своей прежней тактике — как можно меньше «суетиться попусту». Демонстрировать угрызения совести, очевидно, означает «суетиться попусту», и в свете этой истины князь немедленно ухватился за спасительный принцип, неизменно помогающий в любой ситуации.

Этот принцип очень прост и состоит в том, чтобы вести себя с девушкой просто — до крайнего предела простоты. Это все покрывает. В частности, скрывает, с какой готовностью князь покорился очевидному, а именно: то, о чем она просит, такая малость по сравнению с тем, что она отдает. Это его тронуло — ведь Шарлотта в эту минуту, стоя с ним лицом к лицу, явила ему всю полноту своего отречения. Она действительно отрекалась — отрекалась от всего и даже не старалась подчеркнуть, как много все это для нее значило. Требовала она только одного — сохранить в тайне назначенную встречу. И это в обмен на «все», все, от чего она отказывается, — поистине, пустяк! И потому князь позволил себе подчиниться ее руководству. Так быстро он подчинился, в своем великодушном озарении, любому повороту дела, какой придется ей по ду-

ше, что его покорность начала проявляться еще прежде, чем они ушли из парка. В соответствии с этим им вскоре потребовалось ненадолго присесть на дешевые платные стулья и осмотреться; минут десять они провели таким образом под одним из самых раскидистых деревьев парка. Прогуливаясь, они перешли на подстриженную траву, промытую дождем, после того, как убедились, что она уже просохла. Стулья стояли спинками к широкой аллее, главной дорожке и к виду на Парк-Лейн, лицом к обширному зеленому газону, словно подчеркивающему их свободу. Это позволило Шарлотте еще яснее выразить свою позицию — временную позицию, — и, возможно, оттого она и выбрала так внезапно именно это место, завидев его издали. Князь вначале остался стоять перед ней, как бы напоминая о необходимости не терять времени даром, на чем она сама прежде настаивала; но после того, как Шарлотта произнесла несколько слов, ему ничего не оставалось, как вернуться к своему обычному добродушию. Этой уступкой он как бы давал понять, что, если он в конце концов согласился на ее предложение, надеясь найти во всем этом нечто «забавное», то и любая зародившаяся у нее идея должна способствовать тому же результату.

Вследствие чего, дабы не противоречить самому себе, князю пришлось воспринимать как нечто забавное ту правду, которая была правдой для Шарлотты и которую она повторяла снова и снова.

— Мне безразлично, что вы обо мне подумаете, я прошу вас только об одном и ни о чем больше. Я просто хотела это сказать, только и всего; я хочу знать, что сказала вам это. Еще раз увидеть вас, быть с вами, вот как сейчас и как бывало раньше, на один-единственный час — или, скажем, на два, — вот о чем я думала долгие недели. Само собой, я имею в виду — сделать это до… До того, как случится то, что вы планируете. Так что, как видите, все зависело от того, успею ли я вовремя, — продолжала она, не сводя с него глаз. — Если бы не получилось приехать сейчас, я бы, наверное, и совсем не приехала. Может быть, даже вообще никогда. Раз уж я здесь, я останусь, но там, за океаном, были моменты, когда я совершенно отчаивалась. Было нелегко, по некоторым причинам, но дело обстояло так: или это, или ничего. Как видите, я боролась не напрасно. После… О, после мне не нужно! Нет, разумеется, — улыбнулась она, — будет просто чудесно видеться с вами даже и после, в любое время, но

я никогда в жизни не стала бы приезжать ради этого. А сейчас — другое дело. Этого я и хотела. Я этого добилась. Это останется у меня навсегда. Конечно, я бы всего лишилась, — говорила Шарлотта, — пожелай вы лишить меня этого. Если бы вы решили, что я веду себя ужасно, если бы отказались прийти, все мои планы, разумеется, в ту же минуту «накрылись» бы. Пришлось рискнуть. Но вы не обманули моих надежд. Вот что я хотела вам сказать. Мне не просто нужно было провести с вами время, я хотела, чтобы вы знали. Я хотела, — говорила она медленно, тихо, с легкой дрожью в голосе, но ни на миг не сбиваясь со смысла и сути, — я хотела, чтобы вы поняли. То есть, чтобы услышали. Пожалуй, мне безразлично, поймете вы или нет. Если я ничего у вас не прошу, значит, нельзя просить и этого. Что вы можете подумать обо мне, не имеет ни малейшего значения. Я только хочу, чтобы это всегда было с вами, чтобы вы никуда не могли от этого уйти: я добилась своего. Я не буду говорить о том, что вы сделали, можете умолять, сколько вашей душе угодно. Я говорю только одно: я была здесь, с вами — там, где мы сейчас, и так, как мы сейчас, когда я говорю вам это. Иными словами, я полностью выдала себя, и готова сделать это,

ничего не требуя взамен. Вот и все.

Она замолчала, — видимо, высказала все, что хотела сказать, — но пока еще не двигалась с места, словно давая ему несколько минут, чтобы ее слова проникли как следует; проникли в прислушивающийся воздух, в приглядывающееся к ним пространство, в умную приветливость природы, насколько можно было считать природой все окружающее — опошленное, лондонизированное насквозь; проникнуть, если на то пошло, хоть в ее собственные уши, только не в сознание ее пассивного и осторожного собеседника. Его сознание уделило ей ровно столько внимания, сколько было возможно; красивое лицо, чуть настороженное, но выражающее прежде всего вежливый интерес к «забавному», успешно играло свою роль. Впрочем, в глубине души он цеплялся за то, за что удобнее всего было уцепиться: за тот факт, что она отпускает его, решительно и окончательно отпускает. Похоже, она даже не требует от него ответа; и вот он улыбался ей, как бы благодаря за информацию, замкнув свои уста для тех беспорядочных, невразумительных протестов и возражений, что поднимались у него изнутри. Шарлотта наконец заговорила сама:

— Вы, может быть, спросите, что я с этого буду

иметь. Но это уж мое дело.

На самом деле он не хотел знать даже этого, или же, придерживаясь своей стратегии наибольшей безопасности, держал себя так, будто это его не интересует, и длил спасительное молчание. То, что Шарлотта так хотела высказать, было, по-видимому, уже сказано, и князь обрадовался завершению этого эпизода — никогда во всю свою жизнь ему не случалось так мало участвовать в разговоре. Засим они двинулись дальше, беседуя на более отвлеченные темы, что, естественно, принесло князю большое облегчение; больше ему не приходилось теряться в поисках подходящих слов. Атмосфера, так сказать, очистилась; теперь можно было поговорить об их непосредственной задаче, о богатых возможностях Лондона в этом плане, о том, как приятно бродить по этому удивительному городу, о магазинах, о разнообразных интересных штучках, замеченных каждым из них в прошлом во время подобных блужданий. Каждый поражался обширным познаниям другого; особенно князя изумляло, насколько хорошо Шарлотта знает Лондон. Он сам гордился своими познаниями, гордился тем, что сплошь и рядом может подсказать кебмену дорогу — такая уж у него была причуда, вполне созвучная его англо-

мании, отличавшейся, в конце концов, скорее протяженностью, нежели глубиной. Когда его спутница, вспоминая свои прошлые приезды и прошлые прогулки, говорила о таких местах, где он никогда не бывал, и о вещах, ему до сих пор неизвестных, князь отчасти чувствовал себя чуточку униженным. Он мог бы даже ощутить легкое раздражение, если бы все это не пробуждало в нем такого интереса. Шарлотта предстала перед ним в совершенно новом свете. Ее странное свойство чувствовать себя как дома в любой точке мира князь в свое время заметил еще в Риме, но оно, безусловно, проявилось ярче на более обширной лондонской сцене. Рим по сравнению с Лондоном — всего лишь деревушка, семейное сборище, старосветский спинет, на котором можно сыграть одной рукой. Когда они дошли до Мраморной арки, князю уже казалось, что она показывает ему какую-то новую, незнакомую сторону города, что существенно помогало «забавляться». Совсем нетрудно будет найти верный тон, вверяясь ее руководству.

Стоит им только заспорить, откровенно и беспристрастно, о шансах и направлениях, о цене и подлинности, и положение будет с блеском спасено. Тем не менее, как выяснилось, оба едино-

душно избегали лавок и магазинчиков, которые могли быть известны Мегги. Шарлотта сразу же напомнила об этом, как о чем-то само собой разумеющемся, заранее поставив условием: они не будут заходить ни в один из магазинов, где князь уже бывал когда-нибудь с Мегги.

Большой разницы это не составило: хотя князь в течение прошедшего месяца весьма часто сопровождал свою будущую жену в походах за покупками, цель этих походов составляли, как правило, отнюдь не antiquarii[11], как называл их князь заодно с Шарлоттой. Мегги попросту не было нужды покупать что-либо иначе, как на Бонд-стрит: следствие деятельности ее отца в этой отрасли торговли. Мистер Вервер, один из величайших в мире коллекционеров предметов искусства, не оставлял своей дочери случая ходить одной по антикварным лавкам; он редко имел дело с магазинами, чаще приобретал произведения искусства частным порядком, получая их издалека. Великие люди по всей Европе искали знакомства с ним; никто не знал, сколько высокопоставленных, невероятно высокопоставленных лиц в обстановке строжайшей секретности, как

[11] Примечания: 11
Антиквары (*ит.*).

водится в подобных случаях, обращались к нему как к одному из очень немногих покупателей, способных заплатить требуемую цену. Таким образом, князь и Шарлотта с легкостью договорились избегать торных путей Верверов, как дочери, так и отца. Существенно только одно: обсуждая этот вопрос, они впервые заговорили о Мегги. Шарлотта еще в парке затронула эту тему — именно она начала разговор с полной невозмутимостью, что было, конечно, довольно удивительно, если вспомнить ее речи всего лишь десять минут назад. Снова она предстала перед своим спутником в новой тональности — как он сам бы выразился, в новом свете. Князь, хоть и не подавал виду, в глубине души восхищался простотой и легкостью этого перехода, который она не взяла на себя труд ни отметить, ни объяснить. Совершился переход все на том же газоне; Шарлотта внезапно остановилась перед князем со словами:

— Ей, конечно, сгодилось бы что угодно, она ведь такая душечка. Хоть бы даже я вздумала преподнести ей подушечку для булавок с дешевой распродажи на Бейкер-стрит.

— Вот и я о том же, — рассмеялся князь этому намеку на их отрывочный разговор на Портленд-

Плейс. — Именно это я и предлагал.

Между тем Шарлотта и внимания не обратила на его напоминание. Она продолжала свое:

— Но это же не довод. Если так рассуждать, никто ничего не стал бы для нее делать. Я хочу сказать, — пояснила Шарлотта, — если бы все начали злоупотреблять особенностями ее характера.

— Ее характера?

— Не нужно злоупотреблять особенностями ее характера, — продолжала девушка, все так же пропуская мимо ушей реплику князя. — Так нельзя, если не ради нее, то хотя бы ради себя. С нею всегда можно сэкономить массу хлопот.

Шарлотта говорила задумчиво, не отрывая взгляда от лица собеседника. Можно было подумать, что она с чисто практической заботой ведет речь о каком-то человеке, который князю сравнительно мало знаком.

— Во всяком случае, она никому не причиняет хлопот, что верно, то верно, — проговорил князь. И прибавил, как будто его слова прозвучали недостаточно определенно: — У нее на это, прости господи, эгоизма не хватит.

— И я то же самое хотела сказать, — немедленно подхватила Шарлотта. — У нее не хватает

эгоизма. Просто нет никакой необходимости что-то делать для нее, абсолютно никакой. Она такая скромная, — углубляла свою мысль Шарлотта, — и всегда обходится малым. То есть, если кто-то ее любит… Или, вернее, нужно было сказать — если она кого-то любит. Тогда она все оставляет без внимания.

Князь слегка сдвинул брови, словно отдавая все же дань серьезности.

— Что оставляет?

— Да все — все, что вы могли сделать, но не сделали. Она все оставляет без внимания, кроме только своего собственного желания быть доброй к вам. Она требует усилий только от себя самой, ни от кого другого… Если еще ей вообще приходится требовать. Но ей особенно и не приходится. У нее все получается само собой. И это ужасно.

Князь внимательно слушал, но, блюдя приличия, не высказывал своего мнения.

— Ужасно?

— Ну, если только вы сами не будете почти таким же хорошим, как она. Она создает для человека слишком благоприятные условия. Нужно иметь большой запас порядочности, чтобы такое выдержать. А такой порядочности нет ни у кого, — тем же тоном продолжала Шарлотта, — нет

такого порядочного, такого хорошего человека, чтобы все это выдержал. Разве что если обратиться к религии или к чему-нибудь в этом роде. Предаться молитве и посту, словом — стараться изо всех сил. Уж мы-то с вами точно не такие, — сказала Шарлотта.

Князь добросовестно размышлял с минуту.

— Недостаточно хорошие, чтобы это выдержать?

— По крайней мере, мы недостаточно хороши, чтобы не почувствовать такой нагрузки. По-моему, мы с вами из тех, кого легко избаловать.

Ее собеседник, опять-таки блюдя приличия, поддержал дискуссию:

— Право, не знаю. Разве любовь к ней не может укрепить ту самую порядочность, ослабленную ее любовью к вам, ее «порядочностью»?

— Ах, разумеется, должно быть, все так и есть.

Но все-таки она сумела заинтересовать его своим вопросом.

— Я понимаю, что вы имели в виду: все дело в том, что, если уж она кому доверяет, то доверяет беспредельно.

— Да, в этом все и дело, — согласилась Шарлотта Стэнт.

— А почему, — спросил князь почти ласково, —

почему это так ужасно?

Ему никак не удавалось этого понять.

— Потому что так всегда бывает, когда человека невольно жалеешь.

— Нет, если вместе с этим хочешь и помочь.

— Да, но если нельзя помочь?

— Можно. Помочь всегда можно. То есть, — прибавил он со знанием дела, — если любишь этого человека. А ведь мы с вами говорим как раз об этом.

— Да, — согласилась она в общем и целом. — Значит, все сводится к тому, чтобы мы отказались избаловаться.

— Конечно. Но ведь к этому и вообще все сводится, — со смехом прибавил князь, — вся ваша так называемая «порядочность».

С минуту она молча шла рядом с ним. Потом рассудительно проговорила:

— Именно это я и хотела сказать.

6

Продавец из антикварной лавчонки, где некоторое время спустя они задержались особенно долго — мелкий, но интересный торговец на одной из улочек Блумсбери, отличавшийся особого рода настойчивостью, без навязчивости, поскольку практически без слов, но в то же время необыкновенно убедительной, — так вот, этот персонаж устремил на посетителей взгляд совершенно удивительной пары глаз, переводя его с одного на другую, пока те рассматривали изделие, которым торговец явно больше всего рассчитывал их соблазнить. Они зашли к нему в последнюю очередь, ибо время их уже практически истекло, причем не меньше часа из этого времени, с той минуты, когда они уселись в наемный экипаж у Мраморной арки, не принесло ровно никаких результатов, если не считать того развлечения, которого они с самого начала ожидали от этой вылазки. Конечно, предполагалось, что развлечение будет состоять в поиске подарка, но подразумевалось также и обретение вышеупомянутого подарка, каковое явилось бы излишним только в том случае, если бы состо-

ялось чересчур скоро. Теперь же вопрос стоял следующим образом: найдут ли они что-нибудь вообще? Об этом они и спрашивали друг друга, стоя посреди антикварной лавочки в Блумсбери и сосредоточив на себе пристальное внимание торговца. Очевидно, он сам был владелец магазинчика и предан своему делу всей душой. Очень может быть, что главным в своем деле он почитал особый секрет — держаться с посетителями настолько тактично, что это как бы набрасывало на их взаимоотношения некий покров торжественности. У него было не так уж много вещей для продажи, не сравнить с изобилием «трухи», виденной ими в других местах, и нашим знакомцам на первый взгляд даже показался выбор столь скудным, при очевидно невысоких ценах, что это чуть ли не вызывало жалость.

При более внимательном взгляде впечатление оказалось иным. Правда, показывали им все больше мелкие предметы, кое-что было взято из маленькой оконной витрины, что-то — из шкафчика за прилавком, сумрачно темневшего в углу, несмотря на стеклянные дверцы, но каждая предъявленная вещь, пусть и скромно, говорила сама за себя, и вскоре амбиции хозяина стали достаточно ясны. Ассортимент у него был весьма

разнородный и уж никак не поражал великолепием, но все-таки приятно отличался от всего, что они видели до сих пор.

Впоследствии Шарлотта, переполненная впечатлениями, отчасти поделилась ими со своим спутником — опять-таки в целях развлечения, и среди прочих у нее сложилось впечатление, что самым диковинным экспонатом был сам владелец лавки. Князь отвечал на это, что владельца он не рассмотрел; Шарлотте и прежде случалось замечать, — о чем она не преминула сообщить князю, — что он попросту не видит людей ниже определенного общественного уровня. Для него один торговец ничем не отличается от другого — удивительная непоследовательность для человека, подмечавшего так много там, где он давал себе труд что-то заметить. Нижестоящих он воспринимал как данность. Для него все кошки были серы в ночи их низменного положения, или как бы там еще ни назвать. Он, разумеется, не желал им зла, но воспринимал их так, будто поле его зрения ограничивалось только уровнем его собственной возвышенной главы. Для Шарлотты же поле зрения охватывало всех соприкасавшихся с нею людей, в этом князь убедился своими глазами: она замечала нищих попрошаек, помнила

слуг, узнавала кебменов; прогуливаясь вместе с ним, она часто подмечала красоту в чумазых детишках, восхищалась «типажами» у лавчонок мелочных торговцев. Вот и на этот раз она сочла интересным антиквара — отчасти оттого, что он с такой нежностью относился к своему товару, отчасти оттого, что он с такой нежностью отнесся… к ним самим.

— Он привязан к своим произведениям искусства, он их любит, — говорила Шарлотта, — и дело не только в том, что он любит их продавать, а может, даже и совсем не в этом. Я думаю, он с удовольствием оставил бы их у себя, если бы мог. Во всяком случае, ему хочется продавать их правильным покупателям. Мы, очевидно, правильные покупатели, он их умеет отличать на вид; вот потому-то, как я сказала, можно было уловить, — по крайней мере, я уловила, — что мы ему понравились. Разве вы не видели, — нетерпеливо спрашивала она, — как он смотрел на нас, как он вглядывался? Сомневаюсь, чтобы на вас или на меня когда-нибудь еще так смотрели. Да, он нас запомнил! — Она говорила об этом чуть ли не с тревогой. — Но, в конце концов, все это потому, — возможно, она просто успокаивала саму себя? — потому, что с его вкусом (а у него

есть вкус) он нам обрадовался, мы его поразили, он составил о нас определенное представление. Наверное, это часто бывает; мы ведь красивы, правда? А он разбирается в красоте. И потом, у него такая манера… Как он ничего не произносит губами, а сам так близко придвигает лицо — и видно: знает, что вы при этом чувствуете. Ну и манера!

Один за другим являлись перед ними изделия недурного старинного золота, старинного серебра, старинной бронзы, произведения старых резчиков и ювелиров. В конце концов весь прилавок оказался уставлен ими, а легкие тонкие пальцы хозяина с аккуратно подстриженными ногтями время от времени задевали их, касались мимолетно, нервно, любовно, как пальцы шахматного игрока задерживаются на мгновение возле фигуры, над которой он еще только раздумывает — то ли сделает ход, то ли не станет. Это были маленькие вычурные безделушки, украшения, подвески, медальоны, броши, пряжки, все, на что только можно пристроить тусклый бриллиант, бескровный рубин, жемчужину, чересчур крупную или чересчур матовую, чтобы цениться достаточно высоко; миниатюры в оправе, украшенной алмазами, давно уже утра-

тившими ослепительный блеск; табакерки, то ли полученные в дар, то ли пожалованные кому-то великими людьми слишком уж сомнительного свойства; чашки, подносы, подсвечники, невольно вызывающие мысль о билетиках закладной лавки, обтрепанных, побуревших, вполне годившихся, сохранись они до наших дней, самим стать драгоценными диковинками. Скромную группу предметов дополняли несколько изящных памятных медалей, посвященных невесть какому выдающемуся событию; один-другой классический памятник, вещицы начала века; изделия времен консульства, времен Наполеона, храмы, обелиски, арки, воспроизведенные в крошечном размере. К этому прибавились причудливые перстни с резными камнями в технике intaglio, аметистами, карбункулами, каждое покоится на выцветшем атласе в коробочке с плохо действующей защелкой, каждое в должной мере наделено поэтичностью и все же недостаточно привлекательно. Посетители смотрели, перебирали, рассеянно делали вид, будто обдумывают… Но в самом их внимании сквозил скептицизм, насколько это допускали правила учтивости. Они не могли не согласиться, и в самом скором времени, сколь абсурдно было бы поднести Мегги

в дар образчик из этой коллекции. Вся беда в том, что подобный подарок оказался бы претенциозным, не будучи при этом «хорош»: драгоценности такого рода слишком обычны, чтобы служить проявлением вдохновенного вкуса дарителя, и в то же время слишком примитивны, чтобы понравиться в качестве знака доброго расположения. Вот уже больше двух часов князь с Шарлоттой рыскали по городу, но так ничего и не нашли. Пришлось Шарлотте с шутливым огорчением признать:

— Если уж дарить нечто в этом духе, такая вещь могла бы хоть что-нибудь стоить только в одном случае — если дарят что-то свое.

— Ессо![12] — откликнулся князь. — Вот видите!

За спиной у торговца выстроились разнокалиберные стенные шкафчики. Шарлотта видела, как он открывал некоторые из них, и взгляд ее задерживался на тех, чьи дверцы до сих пор не отворялись. Но она уже готова была считать ошибкой, что они заглянули сюда.

— Здесь нет ничего, что она могла бы надеть.

Ее спутник ответил не сразу.

— А как вы думаете… есть здесь что-то такое…

---

[12] Примечания: 12
Ну вот! (*ит.*)

что вы могли бы?..

Она так и вздрогнула. Во всяком случае, она даже не взглянула на безделушки. Она посмотрела прямо ему в лицо.

— Нет.

— А! — негромко воскликнул князь.

— Так вы надумали что-то мне подарить? — спросила Шарлотта.

— Почему бы нет? Небольшой подарок на память.

— На память — но о чем?

— А вот «об этом», как вы сами говорите. О нашей маленькой вылазке.

— О, я-то говорю, но ведь все дело как раз в том, что я ничего от вас не прошу. Так где же логика? — осведомилась она, но уже с улыбкой.

— Ах, логика! — рассмеялся он.

— Но логика — это все. По крайней мере, я так чувствую. Подарок на память от вас… от вас — мне… это подарок на память ни о чем. Ему не о чем напоминать.

— О, дорогая! — невнятно запротестовал князь.

Тем временем хозяин заведения стоял тут же, не отводя от них глаз, и хотя в ту минуту девушку больше всего на свете интересовала беседа, она снова встретилась с ним взглядом. Ей было

приятно, что иностранный язык, на котором велся разговор, скрывает от владельца, о чем они говорят. Вполне могло показаться, что они просто обсуждают возможную покупку, поскольку князь как раз держал в руке одну из табакерок.

— Вы не вспоминаете о прошлом, — продолжала она, обращаясь к своему спутнику. — Это я вспоминаю.

Князь поднял крышку табакерки и заглянул внутрь с сосредоточенным вниманием.

— Вы хотите сказать, что вы были бы не прочь…

— Не прочь?..

— Что-то подарить мне?

На этот раз она умолкла надолго, а когда снова заговорила, могло показаться, что она, как ни странно, обращается к торговцу.

— Вы мне позволите?..

— Нет, — сказал князь в табакерку.

— Вы не приняли бы от меня подарок?

— Нет, — точно так же повторил он.

Она протяжно выдохнула — словно осторожный вздох.

— Но вы угадали, что было у меня на уме. Этого я и хотела. — И прибавила: — Я на это надеялась.

Князь отложил табакерку, занимавшую его

взгляд. Очевидно, он по-прежнему не замечал пристального интереса хозяина лавки.

— Так вы для этого позвали меня с собой?

— Это уж только мое дело, — отозвалась она. — Значит, ничего не получится?

— Не получится, cara mia[13].

— Совсем невозможно?

— Совсем невозможно. — И князь взял с прилавка брошку.

Вновь наступила пауза. Хозяин лавки молча ждал.

— Если я соглашусь принять от вас одну из этих прелестных вещичек, что мне с ней потом делать?

Возможно, князь наконец почувствовал легкое раздражение; он даже рассеянно глянул на хозяина, точно тот мог каким-то образом понять их беседу.

— Носить ее, per bacco![14]

— Помилуйте, где же? Под одеждой?

— Да где хотите. Впрочем, — прибавил князь, — не стоит и говорить об этом.

— Говорить об этом стоит только потому, —

---

[13] Примечания: 13
Дорогая моя (*ит.*).

[14] Примечания: 14
Черт возьми! (*ит.*)

улыбнулась она, — что вы сами начали, mio caro. Я задала вполне разумный вопрос. Осуществима ли ваша идея, зависит от того, что вы на него ответите. Если я нацеплю одну из этих вещичек, чтобы сделать вам приятное, как, по-вашему, могу я затем явиться домой и сказать Мегги, что это — ваш подарок?

Болтая между собой, они, случалось, в шутку употребляли эпитет «древнеримский». Когда-то он, дурачась, объяснял ей таким образом решительно все. Но ничто и никогда не выглядело настолько древнеримским, как пожатие его плеч в эту минуту.

— Не вижу, почему нет?

— Потому что, если вспомнить наше решение, будет совершенно невозможно объяснить ей повод.

— Повод? — недоуменно переспросил князь.

— По какому случаю подарок. По случаю нашей прогулки вдвоем по городу, о которой мы не должны рассказывать.

— Ах да, — заметил князь, помолчав. — Припоминаю, мы решили не говорить об этом.

— Конечно, ведь вы обещали. А одно с другим связано, как видите. Поэтому лучше не настаивайте.

Снова он, не глядя, положил безделушку на прилавок, после чего, наконец, обернулся к Шарлотте — обернулся чуточку устало, даже чуточку нетерпеливо.

— Я не настаиваю.

На время вопрос был закрыт, но тут же стало ясно, что все это нисколько не помогло им сдвинуться с мертвой точки. Тороговец стоял, не шелохнувшись в своем безмерном терпении, безмолвно способствуя разговору, едва ли не равнозначный ироническому комментарию. Князь отвернулся, будто ему больше нечего было добавить, двинулся к стеклянной двери и с неменьшим терпением принялся рассматривать улицу. Вдруг торговец нарушил молчание, обратившись к Шарлотте со следующими знаменательными словами:

— Disgraziatamente, signora principessa[15], — проговорил он с грустью, — вы видели слишком много…

Князь круто обернулся. Знаменательным был не столько смысл произнесенных слов, сколько сами эти слова, сказанные на самом неожиданном и беглом итальянском. Шарлотта обменялась

---

[15] Примечания: 15

К сожалению, госпожа княгиня (*ит.*).

с князем столь же стремительным взглядом; оба они на минуту застыли. За это время взглядами они выразили несколько вещей сразу: и беззвучное восклицание по поводу того, что злосчастный хозяин, как выяснилось, прекрасно понял весь разговор, не говоря уже о том невозможном титуле, которым он наделил Шарлотту, и взаимное уверение, что это все равно ничего не значит. Князь, не отходя от двери, заговорил с владельцем:

— Так вы итальянец?

Но ответ прозвучал по-английски:

— О боже мой, нет.

— Вы англичанин?

На сей раз отвечено было по-итальянски, с усмешкой и чрезвычайно кратко:

— Che![16]

Торговец практически отмахнулся от вопроса, немедленно повернулся к шкафчику, доселе остававшемуся закрытым, и, отперев замок, извлек оттуда квадратную шкатулку, дюймов двадцать в высоту, крытую потертой кожей. Шкатулку он поставил на прилавок, откинул пару крючочков, поднял крышку и вынул из уютного гнездышка

---

[16] Примечания: 16
Как же! (*ит.*)

сосуд для питья, размером не то чтобы громадный, но побольше обычной чашки, сделанный, судя по виду, не то из старого золота, не то из какого-то другого материала, покрытого толстым слоем позолоты. Держа этот предмет очень нежно и церемонно, торговец установил его на маленькой атласной салфетке.

— Моя золотая чаша, — проговорил он, и эти слова в его устах прозвучали так, словно они все объясняли. Он предоставил выдающемуся произведению искусства говорить за себя — а что произведение «выдающееся», стало ясно как-то само собой. Простой, но удивительно изящный сосуд на круглой ножке с невысоким основанием, чуть расширяющимся книзу. Чаша, хотя и неглубокая, оправдывала такое название не только своей формой, но и оттенком поверхности. Можно было вообразить, что это большой кубок, уменьшенный по высоте наполовину, отчего очертания его только выиграли. Если он отлит из чистого золота, это действительно впечатляет и вполне может отпугнуть экономного покупателя. Шарлотта тут же бережно взяла чашу в руки, тогда как князь, отойдя на несколько шагов от окна, наблюдал издалека.

Шарлотта не ожидала, что чаша окажется та-

кой тяжелой.

— Золото? Настоящее золото? — спросила она торговца.

Тот чуть выждал.

— Присмотритесь получше. Может быть, вы поймете.

Она всмотрелась, подняв чашу обеими стройными руками, обернувшись к свету.

— Может быть, для такого изделия она стоит дешево, но для меня, боюсь, слишком дорогая.

— Что ж, — сказал торговец, — я могу отдать ее дешевле настоящей цены. Видите ли, мне она досталась дешевле.

— Так сколько?

Снова он выжидал, взирая все так же невозмутимо.

— Значит, вам понравилось?

Шарлотта обернулась к своему другу:

— А вам нравится?

Князь, не подходя ближе, взглянул на владельца:

— Cos'e?[17]

— Если вы непременно хотите знать, signori

---

[17] Примечания: 17
Что это? (*ит.*)

miei[18], это всего-навсего чистейший хрусталь.

— Разумеется, мы хотим знать, per Dio![19] — воскликнул князь. Но тут же опять отвернулся и вновь занял свой пост у стеклянной двери.

Шарлотта поставила чашу. Девушка явно была очарована.

— Вы хотите сказать, она вырезана из цельного куска хрусталя?

— Если и нет, ручаюсь, вы никогда в жизни не найдете, где соединяются части.

Шарлотта изумилась:

— Даже если соскрести позолоту?

Торговец почтительно дал понять, что она его насмешила.

— Позолоту нельзя соскрести, она слишком хорошо наложена. Не знаю, когда это было сделано, и как — тоже не знаю. Но это был прекрасный старый мастер и прекрасная старинная технология.

Шарлотта, откровенно любуясь чашей, наконец-то ответила улыбкой на улыбку хозяина.

— Забытое искусство?

— Скажем, забытое искусство.

— Но к какой же эпохе относится все изделие?

---

[18] Примечания: 18
Господа мои (*um.*).

[19] Примечания: 19
Клянусь Богом! (*um.*)

— Скажем так же — к забытой эпохе.

Девушка задумалась.

— Если это такая драгоценность, отчего же стоит так дешево?

И снова торговец замедлил с ответом, но тут князь потерял терпение.

— Я подожду вас на воздухе, — сказал он своей спутнице.

Хотя он говорил без раздражения, но в подтверждение своих слов сразу же вышел на улицу, и в следующую минуту оставшиеся внутри увидели, как он остановился спиной к витрине и с философским спокойствием закурил свежую сигарету. Шарлотта не стала торопиться: она знала, как он любит лондонскую уличную жизнь на свой забавный итальянский лад.

Тем временем хозяин в конце концов ответил на ее вопрос:

— Ах, она у меня уже давно и все никак не продается. Думаю, я хранил ее для вас, сударыня.

— Хранили для меня, потому что думали, я не догадаюсь, в чем ее изъян?

Торговец все так же прямо смотрел ей в лицо, словно всего лишь следуя игре ее ума.

— А в чем ее изъян?

— О, это не я вам, это вы мне должны сказать,

как совесть подскажет. Само собой, я понимаю, что-то должно быть.

— Но если вы сами не можете заметить, то как будто ничего и нет?

— А может быть, я замечу, как только уплачу за нее?

— Нет, — упорствовал хозяин, — если заплатите не слишком много.

— Что вы называете «не слишком много»?

— Ну… Пятнадцать фунтов — что скажете?

— Скажу, — не задумываясь, ответила Шарлотта, — что это, безусловно, многовато.

Торговец покачал головой, медленно и печально, но непреклонно.

— Это моя цена, сударыня. Если вещь вам понравилась, думаю, она вполне могла бы стать вашей. Это не многовато. Скорее, маловато. Почти даром. Больше уступить не могу.

Шарлотта, продолжая сопротивляться, в недоумении склонилась над чашей.

— Значит, ничего не выйдет. Я не могу столько потратить.

— Ах, — возразил торговец, — на подарок всегда можно потратить больше, чем на себя самого.

Он говорил так вкрадчиво, что Шарлотта даже не подумала, что называется, поставить его на

место.

— Ну, конечно, если только в подарок…

— Это был бы прелестный подарок.

— А разве можно, — спросила Шарлотта, — дарить вещь, о которой знаешь, что в ней имеется изъян?

— Достаточно всего лишь предупредить об этом, — улыбнулся человечек. — Этим вы докажете чистоту своих намерений.

— И предоставлю тому, кому дарю, самостоятельно отыскивать дефект?

— Он не отыщет… Если речь идет о джентльмене.

— Я не имела в виду какого-то определенного человека, — сказала Шарлотта.

— Ну, кто бы ни был. Пусть он будет знать, пусть будет пытаться. Он не найдет.

Шарлотта не сводила с торговца глаз, как будто, хоть его загадочные речи ее не удовлетворили, чаша околдовала ее.

— Даже если эта штука вдруг развалится на куски? — И поскольку торговец молчал: — Даже если он потом скажет мне: «Золотая чаша разбита»?

Хозяин все молчал и вдруг улыбнулся самой странной из своих улыбок.

— А-а, если кто-то захочет ее разбить…

Шарлотта рассмеялась; выражение лица маленького торговца привело ее в восторг.

— Вы хотите сказать, ее можно разбить молотком?

— Да, если иначе не получится. А можно просто бросить с силой… скажем, на мраморный пол.

— О, мраморные полы!.. — Впрочем, вполне возможно, что она думала об этом, ведь мраморные полы в самом деле были связаны со многим… с ее… и его древним Римом, с дворцами, которым принадлежало его прошлое, а немножко и ее, с его возможным будущим, со всей роскошной обстановкой его женитьбы, с богатством Верверов. Но были и другие вещи, и все они вместе на несколько минут завладели ее воображением.

— А разве хрусталь бьется — если это настоящий хрусталь? Я думала, его главное достоинство — прочность?

Ее собеседник уточнил:

— Главное достоинство хрусталя в том, что это хрусталь. Но прочность хрусталя, безусловно, придает ему надежности. Хрусталь не бьется, как низкое стекло. Он разламывается по трещине — если только в нем имеется трещина.

— А! — выдохнула Шарлотта с живым интересом. — Если есть трещина. — Она снова

вгляделась в чашу. — Так здесь есть трещина, да? Хрусталь может треснуть?

— По особым линиям, по своим собственным законам.

— Вы хотите сказать, если есть какое-то слабое место?

Вместо ответа, торговец, помедлив, снова взял чашу в руки, поднял повыше и легонько ударил по ней ключом. Раздался нежнейший, чистейший звон.

— Где же слабое место?

Шарлотта оценила его довод.

— Ах, для меня вопрос только в цене. Я, видите ли, бедна — очень бедна. Но все равно, спасибо, я подумаю.

Князь за окном наконец обернулся и, словно проверяя, не ушла ли она, всматривался в полутемную внутренность лавки.

— Чаша мне нравится, — сказал Шарлотта. — Я хочу ее купить. Но нужно решить, сколько я могу потратить.

Торговец смирился с отказом не без любезности:

— Очень хорошо, я придержу ее для вас.

Четверть часа пролетела быстро и была отмечена некой странностью. Шарлотта почувствовала

это, едва свежий воздух и своеобразные картины улиц Блумсбери вновь завладели ею, словно противоборствуя скопившимся в ней впечатлениям. Но упомянутая странность могла показаться мелочью в сравнении с другим следствием этой интерлюдии, которое бросилось в глаза Шарлотте, не успели они еще далеко уйти от антикварной лавки. Следствие это состояло в том, что по какому-то молчаливому согласию, словно следуя некой необъяснимой неизбежности, князь и Шарлотта совершенно оставили идею о дальнейших поисках. Ничего не было сказано, но больше они уже не искали подарка для Мегги, не упоминая о нем ни словом. Князь заговорил первым и совсем о другом.

— Надеюсь, вы в конце концов сообразили, в чем было дело с чашей.

— Совсем нет, я ничего не заметила. Вернее, заметила только одно: чем больше я на нее смотрела, тем больше она мне нравилась. Если бы не ваше упрямство, вот был бы чудесный случай вам порадовать меня, приняв чашу в подарок.

При этих словах князь взглянул на нее так серьезно, как не смотрел во все это утро.

— Вы серьезно предлагаете? Вы не разыгрываете меня?

Она удивилась:

— Какой тут может быть розыгрыш?

Князь посмотрел еще пристальнее:

— Неужели вы действительно так и не поняли?

— Чего не поняла?

— В чем изъян чаши, конечно. Вы столько времени смотрели и ничего не увидели?

Она только еще шире раскрыла глаза.

— А вы-то как увидели, с улицы?

— Я увидел еще прежде, чем вышел на улицу. Поэтому и ушел. Мне не хотелось устраивать еще одну сцену при этом проходимце. Я думал, вы и сами быстро догадаетесь.

— Разве он проходимец? — спросила Шарлотта. — Он спросил такую умеренную цену. — Она помолчала минуту. — Пять фунтов. Право, недорого.

Князь не сводил с нее глаз.

— Пять фунтов?

— Пять фунтов.

Возможно, князь не поверил, но, по-видимому, ее слова только подтвердили его мнение.

— За такой подарок и пяти шиллингов было бы много. Если бы даже чаша стоила вам всего пять пенсов, и то я не принял бы ее от вас.

— Так в чем же ее изъян? — спросила Шарлотта.

— Да ведь она с трещиной!

В его устах это прозвучало так резко и строго, что Шарлотта чуть не вздрогнула, залившись краской, как будто не сомневалась в его правоте, хотя откуда у него такая уверенность?

— Вы утверждаете, даже не посмотрев?

— Я смотрел. Я видел эту вещь. Она говорит сама за себя. Неудивительно, что стоит дешево.

— Но она такая красивая, — с волнением настаивала Шарлотта, словно от его слов чаша приобрела для нее особый интерес.

— Конечно, красивая. В этом и опасность.

Тут Шарлотту внезапно осенило, и князь предстал перед ней в новом и ярком свете. Отблеск этого света лег и на ее лицо, озарившееся улыбкой.

— Опасность… Понимаю! Оттого, что вы суеверны?

— Per Dio! Конечно, я суеверен! Трещина есть трещина — а дурной знак есть дурной знак.

— Так вы боитесь…

— Per bacco!

— За свое счастье?

— За свое счастье.

— За свою безопасность?

— За свою безопасность.

Она сделала крохотную паузу.

— За свой брак?

— За свой брак. За все вместе.

Шарлотта снова задумалась.

— В таком случае, слава богу, что мы знаем об этой трещине! Но если все может погибнуть из-за трещинки, о которой мы и не подозреваем… — И она опять улыбнулась печальной улыбкой. — Значит, нам больше нельзя ничего друг другу дарить.

Подумав, князь нашел ответ.

— О, но такие вещи всегда знаешь. По крайней мере, я знаю — инстинктивно. И никогда не ошибаюсь. Это защитит меня от всего.

Было довольно забавно, как он это произнес, но Шарлотте князь еще больше нравился благодаря таким замашкам. Она считала, что они прекрасно гармонируют с его образом вообще — а точнее, в частности. Но заговорила она с легкой досадой:

— А что же защитит меня?

— Я, во всем, что в моих силах. Во всяком случае, от меня вам ничего не грозит, — отвечал князь уже вполне добродушно. — Все, что вы только соблаговолите принять от меня… — Но он умолк.

— Да?

— Будет абсолютно безупречно.

— Это прекрасно, — не сразу ответила она. — Но к чему попусту говорить о том, чтобы я приняла что-то от вас, если вы не хотите ничего принять от меня?

О, на это у него нашелся ответ еще получше.

— Вы ставите невыполнимое условие. Я имею в виду — чтобы я сохранил ваш подарок в тайне.

Что ж, Шарлотта еще раз обдумала свое условие — и тут же, не сходя с места, отказалась от него, разочарованно тряхнув головой, — эта мысль была ей так приятна. Как все-таки все сложно!

— Ах, мое «условие»! Я за него не держусь. Можете кричать на всех углах обо всех моих поступках.

— О, ну тогда совсем другое дело, — рассмеялся он.

Но было уже поздно.

— Ах, все равно. Мне так понравилась чаша. Но раз уж она не годится, пусть ничего не будет.

Князь снова задумался, став еще серьезнее, чем прежде, но вскоре заметил:

— Однако придет день, когда мне хотелось бы сделать вам подарок.

Она озадаченно переспросила:

— Какой день?

— День, когда вы сами выйдете замуж. Ведь вы выйдете. Серьезно, вы должны выйти замуж.

Она не стала спорить, но в ответ, словно нажали какую-то пружину, у нее вырвалось:

— Чтобы у вас стало легче на душе?

Удивительное дело — он ответил честно:

— Да, у меня станет легче на душе. Но вот и ваш кеб, — прибавил князь.

Он махнул рукой, экипаж стремительно подкатил. Шарлотта не подала руки на прощание, просто приготовилась сесть в наемную карету. Но сперва она произнесла слова, назревавшие во все время ожидания:

— Что ж, пожалуй, стоит выйти замуж ради того, чтобы можно было без помех получить что-нибудь от вас.

7

В то осеннее воскресенье в поместье «Фоунз» можно было наблюдать, как Адам Вервер рывком распахнул дверь бильярдной — точнее говоря, это можно было бы наблюдать, окажись поблизости хотя бы один зритель. Впрочем, мистер Вервер потому и растворил дверь с такой энергией и столь же энергично захлопнул ее вновь, что здесь можно было хоть ненадолго остаться одному, уединиться с пачкой писем, газет и прочей, еще не распечатанной, корреспонденцией, на которую он не удосужился бросить взгляд за завтраком, равно как и после оного. В просторном квадратном чисто убранном помещении было совершенно пусто, из больших светлых окон открывался вид на террасу, сад, на парк и леса за его пределами, на сверкающий пруд и темную линию горизонта, на синеющие вдали холмы и на деревушку с возвышающейся над нею колокольней в резкой тени облаков, и от всего этого, вместе взятого, в то недолгое время, пока остальные пребывали в церкви, у мистера Вервера возникало ощущение, как будто весь этот мир принадлежит только ему одному. И все же

нам дано на краткий миг разделить с мистером Вервером обладание вселенной; самый факт его, как он сам бы выразился, побега к одиночеству, его бесшумной, чуть ли не на цыпочках, пробежки по запутанным коридорам, пробуждает наш интерес и заставляет нарушить уединение этого джентльмена, вторгаясь к нему с непрошеным вниманием — вниманием доброжелательным и даже сочувственным. Ибо, заметим здесь же, этот добрейшей души человек, как правило, позволял себе задуматься о собственных удобствах лишь после того, как посвятит достаточно усилий заботе об удобствах других людей. Можно также упомянуть о том, что категория «других людей» в представлении мистера Вервера являлась весьма многочисленной — такая уж была натура у этого человека, и хотя в его жизни существовала всего одна-единственная прочная привязанность, одно истинно глубокое чувство, один основополагающий долг, чрезвычайно редко случалось, чтобы в течение сколько-нибудь значительного промежутка времени он не ощущал своих обязательств по отношению к окружающим; никак не удавалось ему достигнуть мысленным взором того предела, где заканчивается многоцветная масса страждущего человечества, пестреющая

концентрическими кругами разнообразных оттенков, в зависимости от интенсивности и настоятельности требований того или иного лица, никак не получалось разглядеть границу, за которой простирается блаженная белизна. Признаться, временами краски теряли для него свою яркость, но до сих пор ему еще ни разу не удавалось уловить точку, далее которой оттенки положительно отсутствуют.

Потому и образовалась у мистера Вервера эта маленькая привычка, его самый заветный секрет, которого он не доверил даже Мегги, хотя и чувствовал, что она его понимает (по его глубокому убеждению, Мегги понимала решительно все), потому-то и выработалась невинная уловка: притворяться иногда, будто нет у него никакой совести, или, по крайней мере, будто он на какое-то время сделался совершенно нечувствителен к велениям долга. Очень немногие из окружающих были достаточно близки к мистеру Верверу, чтобы застичь его за этой игрой — в их число входила, к примеру, миссис Ассингем, — и они воспринимали этот маленький каприз с тем снисхождением к человеческим причудам, а сказать по правде — с тем умилением, какое вызывает взрослый человек, бережно хранящий

какую-нибудь детскую игрушку. Позволяя себе изредка небольшую «передышку», он сопровождал подобный поступок трогательным виноватым взглядом, каким смотрит сорокасемилетний мужчина, застигнутый с подобным сувениром детских лет в руках, за попыткой приделать голову сломанному оловянному солдатику или проверить, исправен ли затвор деревянного ружьеца. В сущности, это служило ему своеобразной имитацией порока, в коей он время от времени практиковался, очень может быть, просто-напросто для забавы. Впрочем, несмотря на постоянную практику, мистер Вервер так и не смог окончательно закоснеть в грехе, ибо эти наивно-коварные интерлюдии неизменно оказывались чрезвычайно краткими. Сам же и виноват — своими руками запечатлел на себе клеймо человека, которого в любую минуту можно отвлекать абсолютно безнаказанно. В том и состояло главное чудо, что человек, которого, пользуясь расхожим оборотом речи, постоянно отвлекают, столького сумел достичь в своей жизни, да притом еще так быстро. Очевидно, был у него некий особый дар. Где-то в самой глубине его бесхитростной души мерцала огненная искра, подобно тому, как сияет светильник перед

алтарем в сумрачной перспективе собора; не угаснув в пору молодости и ранней зрелости под шквалами суровых американских ветров, примера и возможности, светильник озарял разум мистера Вервера, превратив это стройное здание в удивительную мастерскую удачи. Из окон этого загадочного, почти анонимного заведения даже в минуты наивысшего накала не лился свет, заметный глазу праздных зевак; на самом же деле, надо думать, в иные годы его незримые горнила раскалялись добела, но тайну этого процесса сам владелец кузницы не мог бы никому объяснить, даже если бы и хотел.

Могучая пульсация пламени, особое действие умственного жара, доведенного до высшей точки и в то же самое время каким-то непостижимым образом удерживаемого в строго определенных границах, — в самих этих вещах заключалась огромность явления; они составляли единое целое с механизмом, отлаженным до невообразимого совершенства, они порождали ту невиданную мощь приобретательства, которая, будучи запущена в действие, приводила любую операцию к неизменному успеху. Как бы там ни было, придется нам пока удовлетвориться этим, довольно невнятным, объяснением яркого жиз-

ненного феномена; очевидно, было бы неразумно объяснять экономические достижения нашего друга одной лишь приятностью его душевного склада. Разумеется, приятный характер всегда способствует успеху и часто даже служит основой значительных накоплений, но разум все же тщится восстановить фатально отсутствующие связующие звенья между столь несомненной последовательностью, чтобы не сказать хуже, в одной области, и безмерной рассеянностью в любой другой сфере деятельности. Богатое воображение — разве может оно не быть губительным в мире деловых людей, если только не вымуштровано до такой степени, чтобы ничем не отличаться от полного однообразия? Стало быть, мистер Вервер в течение определенного периода, когда, как это ни удивительно, ни единого года не было потрачено зря, скрывал незримое однообразие в глубине мерцающего облака, переливающегося всеми цветами радуги. Облако служило ему естественной оболочкой — так сказать, просторным одеянием, сотканным из характера и общего тона этого человека. Сей покров не сказать чтобы окутывал своего владельца чрезмерно пышными складками, однако же прощупывался абсолютно безошибочно. Сло-

вом, мистер Вервер и по сию пору принужден был симулировать цинизм, дабы обеспечить несколько редких мгновений наедине с собой. Впрочем, на самом деле он был не способен притворяться сколько-нибудь долгое время и никогда, пожалуй, не проявлял своего неумения столь ярко, как сегодня, смирившись перед неизбежным — а именно перед вторжением по истечении не более четверти часа того самого элемента своих обязанностей по отношению к человечеству, от которого — и это он прекрасно сознавал — никуда не денешься. Четверть часа — ровно столько, и ни минутой более, удавалось ему побыть эгоистом при обычных обстоятельствах. Миссис Рэнс отворила дверь бильярдной не так решительно, как только что совершил это сам мистер Вервер, — зато при виде его она оживилась значительно больше, чем случилось с ним самим при виде пустого коридора. Тут-то он вспомнил, что неделю назад имел неосторожность установить прецедент, позволивший возникнуть подобной ситуации. В этом он должен был отдать справедливость миссис Рэнс, как поступал постоянно по отношению к тому или другому из своих ближних. В прошлое воскресенье он остался дома и не пошел в церковь, дав тем

самым возможность любому желающему застичь себя врасплох. Самая простая штука на свете — для этого миссис Рэнс достаточно было всего-навсего самой остаться дома. Мистеру Верверу и в голову не пришло прибегнуть к каким-либо ухищрениям, чтобы обеспечить ее отсутствие — ведь тогда было бы некрасиво самому остаться дома. Если люди, проживающие под его кровом, не вправе уклониться от посещения церкви, откуда же, по справедливости, возьмется подобное право у него самого? Коварство мистера Вервера не заходило далее простейшей уловки — перебраться из библиотеки в бильярдную, поскольку именно в библиотеке застала его в прошлый раз и, что вполне естественно, почтила своим обществом его гостья — или гостья дочери, или гостья барышень Латч, он и сам не знал точно, кем ее следует считать. Вспоминая теперь предыдущий, так сказать, визит миссис Рэнс, весьма продолжительный, мистер Вервер невольно склонялся к мысли, что закон повторяемости событий уже в достаточной мере воплотился в жизнь.

В тот раз она провела с ним все утро и все еще находилась в библиотеке, когда возвратились из церкви остальные. Она весьма прохладно отнеслась к предложению мистера Вервера про-

гуляться по саду, словно усмотрев в этом некий зловредный умысел, чуть ли не какое-то вероломство. Но что же такое было у нее на уме, в какой роли желала она его увидеть, помимо уже навязанной ему роли терпеливого, неизменно заботливого хозяина, ни на минуту не забывающего, что гостья прибыла к ним как лицо почти постороннее, не слишком желанное и не слишком-то усердно званое, — а значит, следует особенно печься о том, как бы не задеть как-нибудь ненароком ее чувства! Барышни Латч, сестрицы со Среднего Запада, явились погостить, будучи старинными приятельницами Мегги, а уж миссис Рэнс находилась здесь, по крайней мере поначалу, всего лишь как приятельница сестер Латч.

Эта дама постоянно подчеркивала, что сама она родом не со Среднего Запада, а из маленького, уютного штата — Нью-Джерси, Род-Айленда, а может Делавэра, мистер Вервер толком уже не помнил, откуда именно, несмотря на все ее настойчивые упоминания об этом. Отдадим должное мистеру Верверу: не в его характере было задумываться о том, не воспоследует ли далее появление в их компании какой-нибудь приятельницы миссис Рэнс; отчасти причиной

тому было сложившееся у него впечатление, что миссис Рэнс скорее стремится удалить отсюда обеих мисс Латч, нежели прибавить еще новых гостей к собравшемуся обществу, отчасти же, и даже в большей степени, то, что подобный иронический вопрос скорее мог прийти в голову окружающим, нежели самому мистеру Верверу. Так уж он был устроен от природы: люди, причинявшие ему те или иные неудобства, не порождали в нем враждебного чувства. Впрочем, он вообще чрезвычайно редко испытывал подобные чувства по отношению к кому бы то ни было, что, несомненно, объясняется тем, сколь мало было в его жизни вышеупомянутых неудобств. Случись мистеру Верверу задуматься об этом, он бы признал, что самым большим неудобством была для него склонность окружающих полагать само собой разумеющимся, будто, владея деньгами, он в то же самое время владеет и неограниченными возможностями. Его теснили со всех сторон предположениями о присущем ему могуществе. Всякому хочется приобщиться к власти, вот и получается, что могущество следует по возможности скрывать. Но подобное утаивание, да еще в целях низкой самообороны, несомненно, могло серьезно дискредитировать все его жизненные

побуждения, а между тем репутация некоего всесильного существа, хотя и сильно осложняет жизнь, все же не настолько, чтобы служить предметом жалоб для мужественного человека. Притом жалобы — предмет роскоши, а стало быть, они могут повлечь за собой обвинение в жадности, которого мистер Вервер страшился пуще всего на свете. Другое обвинение, постоянно преследовавшее его, — будто он способен на какие-то невероятные свершения, — не имело бы под собой решительно никаких оснований, если бы он сам не проявил в свое время явную и доказуемую наклонность к роскоши. Так или иначе, уста его были замкнуты при помощи некой пружины, соединенной вдобавок еще и с глазами мистера Вервера. Эти последние показывали все то, что ему удалось «совершить», показывали также, где он в результате оказался: на самой вершине горы всевозможных трудностей, горы высокой, крутой и спиралевидной. Начав взбираться на эту гору в двадцатилетнем возрасте, мистер Вервер добрался до венчающей ее платформы, откуда можно смотреть, если угодно, сверху вниз на царства земные и где способны поместиться не более полудюжины человек со всего мира.

Между тем в описываемую минуту мистер

Вервер созерцал не царства земные, а приближение миссис Рэнс, причем у него и мысли не мелькнуло приписать ее появление низменному чувству алчности — да что там, ему бы даже не пришло в голову усмехнуться, видя ее очевидную целеустремленность. По-настоящему бесподобно было бы, случись ей вообразить, будто он скрылся из библиотеки со специальной целью сбить ее со следа — собственно говоря, еще совсем немного, и это было бы не так уж далеко от истины. Мистер Вервер с трудом нашел в себе силы не поддаться смущению, невзирая на свой богатый жизненный опыт; несколько легче было загладить свой поступок. Если на то пошло, бильярдная — отнюдь не такое уж естественное, равно как и не такое уж изысканное место пребывания для номинального главы большого поместья, даже безотносительно к тому, что гостья, вопреки его опасениям, совершенно не собиралась устраивать по этому поводу сцену. Вздумай она открыто упрекнуть его, мистер Вервер тут же на месте просто распался бы на части, но ему хватило минуты, чтобы сообразить, что этого можно не бояться. Быть может, она предпочла ради придания особого смысла этой встрече принять как должное или даже каким-то образом обыграть

причуду мистера Вервера? Придать ей, к примеру, романтический или даже комический оттенок? Во всяком случае, миссис Рэнс решила держать себя как ни в чем не бывало, пусть даже между ними простирается, подобно пескам пустыни, необъятный бильярдный стол, затянутый суровым полотном. Она не могла пересечь пустыню, зато прекрасно могла обойти ее кругом. Так она и сделала. Пожелай мистер Вервер по-прежнему использовать этот предмет обстановки в качестве оборонительного сооружения, ему пришлось бы бегать вокруг стола, увертываясь от преследования, словно затеяв какую-то детскую игру в припадке абсолютно неподобающей резвости. Разумеется, подобного оборота событий допускать ни в коем случае не следовало. На какое-то мгновение мистеру Верверу померещилось, что гостья сейчас предложит ему покатать бильярдные шары. Уж с этой угрозой он как-нибудь да справится. А почему, собственно, он помышляет об обороне, в материальном или в каком-либо ином плане? Откуда эти мысли о грозящих ему опасностях? Единственная реальная опасность, способная заставить его похолодеть, заключается в возможности брачных поползновений со стороны гостьи. К счастью, она не властна затро-

нуть эту пугающую тему, ибо у нее уже имеется муж, что при необходимости можно доказать без особого труда.

Правда, муж имеется всего лишь в Америке, в Техасе, в Небраске, Аризоне или где-то там еще, в туманной дали, которая здесь, в старинном поместье «Фоунз» в графстве Кент, представляется практически нереальной — так, невнятное и неопределенное нечто, затерянное в великой безводной пустыне дешевых разводов. Она относилась к бедняге как к своему батраку, презренному холопу, почти и не вспоминала о нем, но его существование как таковое не подвергалось сомнению. Барышни Латч имели когда-то случай видеть его во плоти, о чем и не преминули исправно сообщить при первой возможности; впрочем, допрошенные по отдельности, дали противоречивые описания его наружности. Но, если уж на то пошло, это были трудности исключительно самой миссис Рэнс, для прочих же ее пребывающий в отдалении супруг мог служить самой что ни на есть надежной опорой. И все же подобная безупречная логика не приносила мистеру Верверу того успокоения, какого можно было ожидать. Его страшила не только угроза, но и сама идея угрозы — иными словами, он

страшился самого себя. Миссис Рэнс воздвиглась перед ним прежде всего как символ — символ того немыслимого подвига, который ему рано или поздно предстоит совершить, а именно — сказать «нет». Мистер Вервер жил в постоянном ужасе перед такой перспективой. Настанет миг, когда ему будет сделано брачное предложение, — это всего лишь вопрос времени, — и тогда ему придется сделать то, что делать чрезвычайно неприятно. Иногда он почти готов был надеяться, что ответит иначе. Но он слишком хорошо себя знал, чтобы обманываться: с холодной и безрадостной уверенностью мистер Вервер сознавал, где именно в критическую минуту он проведет черту. Все эти перемены в его жизни произошли после замужества Мегги, сделавшего ее еще более счастливой — хотя, по мнению мистера Вервера, она и раньше была вполне счастлива. Прежде ему как будто не приходилось сталкиваться с подобными трудностями. Они попросту не возникали на его пути, причем, похоже, именно стараниями Мегги. Она была всего лишь его дочерью — оставалась ею в полной мере и поныне, но в каких-то отношениях она защищала его, словно была чем-то большим. Он и сам не знал, как много она для него делала, хотя знал о многом и восхищался от

души. Теперь она делала для него еще больше, считая, что должна как-то возместить ему перемену в его жизни, но и ситуация изменилась, требуя именно таких добавочных усилий.

Поначалу все это было не так заметно. Проведя двенадцать месяцев в Америке, Мегги с князем вновь поселились в Англии, хотя и в виде пробы, но у мистера Вервера появилось ощущение, что домашняя атмосфера посветлела и очистилась, словно раздвинулись горизонты и вокруг открылись какие-то огромные перспективы. Как будто одно присутствие зятя, еще прежде, чем он сделался зятем, каким-то образом заполнило собой пейзаж, отгораживая будущее — впрочем, очень красиво и изысканно, ни в коей мере не причиняя неудобств; вот и теперь, при более близком знакомстве, он во многом оставался «главным фактором»: небо сделалось шире, даль — необъятней, передний план раздался в стороны, дабы соответствовать его масштабам. Конечно, поначалу скромная старомодная семья, состоявшая из Мегги и мистера Вервера, сильно напоминала уютную маленькую площадь в центре старинного города, куда ни с того ни с сего вдвинулся, скажем, величественный храм

работы Палладио[20] — строение с обширным фасадом, изобилующим архитектурными излишествами, — и рядом с ним все окружающее пространство временно уменьшилось в размерах: и свободный промежуток перед постройкой, и проходы по бокам, сзади, с востока, со стороны улицы… Да и то, по правде говоря, совершилось в высшей степени чинно и благопристойно, ведь глаз знатока или просто человека понимающего всегда оценит по достоинству высокий стиль фасада и присущее ему несомненное качество. Трудно сказать, возможно ли было предсказать заранее то, что произошло потом, — во всяком случае, чудо свершилось не в одночасье, а очень медленно, постепенно, так легко и незаметно, что отсюда, из обширного поместья «Фоунз», окруженного лесами, с домом, где было, по слухам, чуть ли не восемьдесят комнат, с громадным парком, с раскинувшимся на многие акры садом и с великолепным искусственным озером — хотя оно-то как раз, пожалуй, казалось немного смешным человеку, привыкшему к Великим озерам, — словом, с этого наблюдательного пункта было совершенно невозможно разглядеть, как

[20] Примечания: 20
Итальянский архитектор XVI в.

же осуществилась перемена. Грандиозный храм по-прежнему возвышался все на том же месте, однако площадь сумела приспособиться к его присутствию. Солнце освещало ее в полную силу, ветерок овевал ее без помех, ничто не мешало проходу многочисленной публики, вид с восточной стороны был в своем роде ничуть не хуже, чем с западной, а посередине расположился боковой вход, тоже по-своему монументальный и декоративный, как оно и полагается во всех порядочных церквах. Нечто подобное получилось и у князя в его отношениях с тестем — оставаясь существенным элементом пейзажа, он совершенно перестал заслонять окружающую перспективу.

Мистер Вервер, заметим далее, не успел достаточно встревожиться, чтобы осознать в подробностях свою нынешнюю успокоенность; тем не менее он был вполне способен в доверительном разговоре поделиться с подходящим собеседником своими соображениями по поводу данного процесса.

Кстати, подходящий собеседник не замедлил явиться в лице Фанни Ассингем. Она не впервые удостоилась откровенности мистера Вервера и на этот раз, несомненно, выслушала его с неослабным вниманием и со всеми возмож-

ными гарантиями сохранения тайны. Так вот, суть дела сводилась к одному-единственному основополагающему факту, а именно: князь, по милости благосклонной судьбы, оказался абсолютно лишен всякой угловатости. Мистер Вервер употреблял именно это слово, говоря о муже своей дочери. Он вообще часто употреблял подобные обороты при обсуждении человеческих и общественных взаимоотношений, словно выдуманные им определения озаряли мир каким-то особым светом или, по крайней мере, освещали ему путь, хотя частенько их смысл оставался для собеседника довольно неясным. Правда, в разговоре с миссис Ассингем мистер Вервер никогда не мог быть ни в чем уверен в отношении смысла: она почти никогда с ним не спорила, соглашаясь с ним практически во всем, окружала его такой планомерной и целенаправленной заботой, — можно подумать, сказал он ей однажды в сердцах, будто она нянчит больного ребенка.

Он упрекнул ее в том, что она не принимает его всерьез, а она ответила, — словно в ее устах такое заявление не могло его испугать, — что относится к нему с религиозным обожанием. И снова засмеялась, как смеялась раньше, когда он так удачно определил одним словом счастливый исход сво-

их взаимоотношений с князем, — возможно, ее смех прозвучал особенно странно оттого, что она ничуть не подвергала сомнению уместность этого слова в данном контексте. Впрочем, ее восторг по поводу такого открытия не мог, разумеется, сравниться с восторгом самого мистера Вервера.

Он так радовался, что едва удерживался, чтобы не прочесть публично мораль на тему: что могло бы случиться, возникни между ними хоть малейшее трение. Однажды он весьма откровенно заговорил об этом с самим объектом своих умозаключений, а именно с князем, не скрыл, как высоко ценит эту его специфическую особенность, и даже позволил себе упомянуть, какой опасности они избежали благодаря тому, что у них так замечательно сложились отношения. Окажись князь угловатым — ах, кто знает, что могло бы случиться тогда? Мистер Вервер изрекал это с таким видом, — так же, как и в разговоре с миссис Ассингем, — будто совершенно точно представлял себе, что подразумевается под определением «угловатый».

Для него это понятие, очевидно, представлялось абсолютно четким и ясным. Возможно, это слово воплощало собой для мистера Вервера острые углы и жесткие грани, всю каменную колючесть,

строгую и величественную геометричность того самого палладиевского храма. Во всяком случае, он до последней черточки ценил и ощущал, какое это блаженство — соприкосновение с другой человеческой личностью, которая чудесным образом подставляет для соприкосновения лишь самые податливые очертания и округлые контуры. «Ты совершенно круглый, мой мальчик, — говорил ему мистер Вервер, — целиком и полностью, во всех отношениях, разнообразно и неисчерпаемо круглый, а ведь мог бы оказаться отвратительно квадратным. Если уж на то пошло, я вполне допускаю, — прибавлял тут мистер Вервер, — что в основе своей ты и есть квадратный — уж не знаю, отвратительно или нет. Твоя квадратность не вызывает отвращения, потому что во всех деталях ты кругл до безобразия, вот что я хочу тебе сказать. Это чувствуется прямо-таки на ощупь — по крайней мере, я так чувствую. Допустим, был бы ты весь из таких мелких фасеток пирамидальной формы, вроде как стены того замечательного Дворца дожей в Венеции, — это совершенно прелестно в архитектуре, но страшно неудобно в человеке, с которым приходится тесно общаться, особенно в близком родственнике. Так и вижу эти выступающие ромбики

алмазного гранения, они способны оцарапать до крови нежные стороны человеческой души. Оцарапаться об алмазы, конечно, лучше, чем о что-нибудь другое, но ведь при этом человек, примерно говоря, превращается в котлету. А ты, друг мой, — чистейший хрусталь идеальный формы для совместной жизни. Я тебе говорю начистоту, так, как мне это представляется, — думаю, ты уловил мою мысль». И князь действительно уловил — к этому времени он уже привык ловить на лету все, что само идет в руки. Пожалуй, ничто так не подтверждало представление мистера Вервера об обтекаемом характере его зятя, как та легкость, с которой скользили по его поверхности тяжелые золотые капли задушевных излияний тестя. Они не застревали в трещинах, не скапливались в углублениях, лишь на миг окрашивали сияющими отблесками его идеальную гладкость. Иными словами, молодой человек улыбался без тени смущения, хотя, похоже, не вполне понимая, с чем именно соглашается, отчасти из принципа, отчасти в силу привычки. Ему было приятно видеть, что все обстоит просто замечательно, а почему это так — дело десятое.

Со времени женитьбы князя окружали люди, постоянно стремившиеся все объяснять и

приводить всевозможные резоны, — никогда в жизни не приходилось ему выслушивать столько объяснений. Вообще говоря, этим он главным образом и отличался от них, а ведь жена и тесть были, в конце концов, всего лишь первыми из тех людей, среди кого ему отныне приходилось жить. Он до сих пор никогда не знал заранее, как подействует на них его поведение в той или иной ситуации. Очень часто они замечательным образом придавали его словам смысл, какого он вовсе не имел в виду, и столь же часто, не менее замечательным образом, абсолютно не улавливали того, что он как раз имел в виду. Он объяснял это для себя, как и раньше, общими словами: «У нас с ними разные ценности». Под этим князь понимал разную меру значения, придаваемого вещам. По-видимому, его «округлость» имеет значение, поскольку они ее не ожидали, а вернее, не помышляли о ней; между тем в его прежнем, оставшемся далеко позади мире округлость предполагалась чем-то само собой разумеющимся, причем в значительно больших масштабах, так что легкость в общении совершенно никого не удивляла: не удивляются же люди, что им с легкостью удается подняться на второй этаж дома, где имеется лестница. В тот раз князь довольно

ловко выкрутился, отвечая на восхищенные речи мистера Вервера. Можно даже предположить, что сравнение, придуманное тестем, пробудило в нем одно особенное воспоминание — оттого он так легко и быстро нашелся с ответом. «О, если уж я — хрусталь, приятно слышать, что идеальный. Насколько я знаю, в хрустале часто встречаются изъяны — разные сколы и трещины, и в этом случае он очень недорого стоит!» Он удержался от того, чтобы придать своей шутке чересчур многозначительный оттенок, прибавив, что уж он-то, во всяком случае, обошелся им недешево. Мистер Вервер, со своей стороны, также не воспользовался представившейся возможностью, что, несомненно, свидетельствует о хорошем вкусе, царившем в их отношениях. Нас же в эту минуту больше всего интересует именно отношение мистера Вервера к подобным нюансам, а также тот факт, что он выразил свое удовольствие по случаю отсутствия трения, уподобив характер Америго драгоценному произведению искусства. Драгоценные произведения искусства, великие полотна древних живописцев, выдающиеся «изделия» из золота, серебра, эмали, майолики, слоновой кости и бронзы так давно копились и множились вокруг мистера Вервера

и так безраздельно занимали его мысли, служа предметом восхищения и приобретения, что и в отношении князя он невольно опирался на свой художественный инстинкт, специфический ненасытный аппетит коллекционера.

Если оставить в стороне впечатление, какое произвел на саму Мегги искатель ее руки, мистер Вервер видел в нем все несомненные отличительные признаки первоклассного произведения искусства, подлинность которого не подлежит сомнению. Уж в таких-то вещах Адам Вервер к тому времени разбирался, как никто; в глубине души он был абсолютно убежден, что ни один человек в Европе и Америке не застрахован так надежно, как он, от грубых ошибок по этой части. Он никогда вслух не претендовал на непогрешимость, это было не в его характере; но, помимо естественных привязанностей, не было в его жизни большей радости, чем внезапное открытие в самом себе несомненных задатков тонкого ценителя. Его, как и многих других, в свое время поразил до глубины души сонет Китса о переживаниях мужественного Кортеса на берегу Тихого океана, но, может быть, никто другой из читателей не воплотил настолько скрупулезно в жизнь великолепный поэтический образ. Этот образ так

соответствовал состоянию духа мистера Вервера, когда перед ним распахнулся его собственный Тихий океан! Достаточно оказалось раза два перечитать бессмертные строки, чтобы они навеки запечатлелись в его памяти. Его «снежной вершиной»[21]стал тот нежданный час, преобразивший всю его жизнь, когда он с внутренним безмолвным вздохом, напоминающим тихий стон испуганной страсти, вдруг увидел перед собою целый мир и понял, что может завоевать этот мир, стоит только попытаться. Словно в книге жизни открылась новая страница — как будто одно легкое прикосновение перевернуло лист, доселе не шелохнувшийся, и от этого движения в лицо повеяло дыханием Золотых островов. С той минуты поиски сокровищ Золотых островов заполнили все его будущее, и что удивительнее всего — мысли об этом были даже слаще самого действия. Эти мысли роднили понятие Гения — или, по крайней мере, Вкуса — с чем-то в нем самом, с некой до сих пор дремавшей способ-

---

[21] Примечания: 21

Так счастлив Кортес был, чей взор орлиный
Однажды различил над гладью вод
Безмолвных Андов снежные вершины.

«После первого чтения чапменовского „Гомера“». Перевод В. Микушевича.

ностью восприятия, открывшейся ему теперь с такой неожиданной силой, словно сдвинув весь его интеллектуальный горизонт простым поворотом винта. Внезапно он оказался равен великим людям прошлых времен, создателям и ценителям прекрасного. И ведь не сказать, чтобы он обретался настолько уж ниже великих мастеров. Прежде в нем ничего подобного не замечалось — не замечалось категорически, прямо-таки пугающе; теперь же он наконец понял, чего ему не хватало даже при самом грандиозном успехе; за одну потрясающую ночь его жизненный путь обрел долгожданный смысл.

Озарение пришло к мистеру Верверу во время его первой поездки в Европу после смерти жены, когда дочери исполнилось десять лет, и он даже сумел проанализировать, почему в прошлое путешествие, в первый год после свадьбы, светоч остался скрыт от него. В тот раз он тоже «покупал», по мере возможности, но покупал, в основном, ради хрупкого взволнованного существа рядом с собой. У нее, конечно, были свои предпочтения, но они касались исключительно искусства с Рю де ля Пэ, в те времена изумлявшего их обоих, — а именно дорогостоящих изделий портных и ювелиров. Она трепетала от восторга — бледный

озадаченный призрак, на самом-то деле белый надломленный цветок, перехваченный, чуточку гротескно в свете его нового виWдения, пышным атласным «бантом» парижских бульваров, — но восторги ее посвящались преимущественно лентам, оборкам и изысканным тканям, этим трогательным свидетельствам растерянности новобрачных, ошеломленных разнообразием открывшихся перед ними возможностей.

Мистер Вервер до сих пор вздрагивал, вспоминая, как бедняжка, им же поощряемая, бросалась очертя голову в бездну покупок и любопытства. Эти блуждающие образы отодвигали ее в какую-то сумеречную даль, а ему не хотелось настолько отдаляться от их общего прошлого, от той юношеской любви. К тому же при внимательном рассмотрении приходилось признать, что матушка Мегги, как ни странно, страдала не столько от недостатка художественного чувства, сколько от неумения приложить его как должно, применяя его беспорядочно и азартно, пользуясь им как оправданием невинных излишеств, любые укоры в отношении коих философическое время в конце концов неизбежно должно было смягчить. Они так любили друг друга, что мистер Вервер расплачивался за это временным отказом

от высшего разума. Сколь убоги, сколь гнусны, сколь нечестивы были эти хитроумные украшательства, казавшиеся ему до прихода озарения такими очаровательными! Этот тихоня, склонный к размышлениям и копанию в прошлом, приверженец безмолвных радостей, а равно и легкая добыча безмолвных страданий, иногда задумывался даже: что стало бы с его интеллектом в той специфической области, которой он с течением времени все больше посвящал себя, если бы странная прихоть судьбы не устранила влияние жены из его жизни? Неужели, увлеченный любовью, он последовал бы за нею в бесплодную пустыню заблуждений? Помешала бы она ему покорить свою головокружительную вершину или же сама поднялась вслед за ним в эти горные выси, где он мог бы поделиться с ней своим открытием, как Кортес со своими товарищами? Насколько можно судить, среди спутников Кортеса не было ни одной настоящей леди; исходя из этого исторического факта, мистер Вервер и выводил свое заключение.

8

Во всяком случае, одна истина, касающаяся тех непросвещенных лет и притом куда менее огорчительная, не ускользнула от него. Опять-таки удивительная причуда судьбы: годы невежества были, оказывается, необходимы для того, чтобы стали возможными годы озарения. Он и сам поначалу не сознавал, насколько мудрая рука направляла его в сторону приобретательства определенного рода в качестве идеальной прелюдии к приобретательству совершенно другого характера, и прелюдия эта была бы слабой и неполноценной, будь он при этом менее искренен. Относительная слепота придавала ему искренность, а последняя, в свою очередь, создала плодородную почву, на которой и расцвела высшая идея. Нужно было, чтобы он полюбил тяжкий труд в кузнице, полюбил копить и полировать оружие и доспехи.

По крайней мере, ему необходимо было верить, что он все это любит, точно так же, как он верил, что ему нравятся трансцендентное исчисление и игра на бирже, создание «интересов», удушающих чьи-то еще интересы, оголтелая

вульгарность — первым куда-то добежать (или откуда-то выбежать). На самом деле, конечно, все было совсем не так. Все это время высшая идея росла и зрела там, в глубине, в теплой жирной почве. А он и не знал, что стоит, ходит и работает на том самом месте, где она зарыта, и сама по себе его удача в делах так и осталась бы голым, безжизненным фактом, не пробейся к свету дня первый нежный, острый росток. И вот, с одной стороны — уродство, миновавшее середину его жизни, с другой, по всему, — красота, которая еще может увенчать ее закат. Несомненно, он не заслужил такого счастья, но когда человек счастлив, нетрудно потерять меру. Пусть сложным, запутанным путем, но все-таки он отыскал свое место, а уж с тех пор, как занял его… бывает ли на свете путь прямее? Его проект снискал одобрение всего цивилизованного мира; мало того — сам этот проект и есть цивилизация в самой конкретной, конструктивной, концентрированной форме. Мистер Вервер собственными руками воздвиг его, словно здание, построенное на скале, и из распахнутых дверей и окон этого здания будет сиять для истомленных духовной жаждой миллионов высшее, высочайшее знание, озаряя все вокруг. В этом доме, задуманном по-

началу как подарок жителям его родного штата и города, ставшего ему родным (он, как никто, мог измерить и оценить, насколько остро нуждаются они в освобождении из тенет уродливого), в этом музее из музеев, в этом дворце искусств, предназначенном стать компактным, по образу и подобию древнегреческого храма, вместилищем сокровищ, по тщательности отбора равных святыне, — там ныне обитал его дух, наверстывал упущенное время, как выразился бы сам мистер Вервер, и маячил под колоннами портика в приятном ожидании финального ритуала.

Предстояла «церемония открытия» — августейшее освящение музея. Мистер Вервер отлично сознавал, что его воображение, преодолевая пространство, опережает разум: оставалось еще многое сделать, прежде чем поразить публику первым эффектным мероприятием. Уже заложен фундамент, поднимаются стены, однако столь возвышенное начинание требует не грубой спешки, но самого терпеливого и почтительного отношения. Мистер Вервер изменил бы самому себе, если бы при воплощении своего замысла обошелся без маленького хотя бы промедления, придающего должное величие памятнику исповедуемой им религии, его всепоглощающей

страсти — стремлению к совершенству любой ценой. Он пока еще ведать не ведал, чем все этого кончится, зато был замечательно уверен в том, с чего он ни в коем случае не намерен начинать. Он не намерен начинать по-мелкому — он начнет с размахом; а черту, отделяющую одно от другого, он едва ли мог определить словами, даже если бы захотел. В тщеславии своем подражая улитке, он не потрудился отметить комический элемент выпускавшихся типографским способом обращений, каковые ежедневно «набирались», отпечатывались крупным шрифтом и рассылались гражданам, поставщикам и потребителям, проживающим в этом и сопредельных штатах. Если продолжить наше ироническое сравнение, улитка сделалась для мистера Вервера привлекательнейшим представителем животного мира, с чем и было отчасти связано его возвращение в Англию, которое мы сейчас имеем удовольствие наблюдать. Тем самым мистер Вервер подчеркнул именно то, что ему хотелось подчеркнуть: в данном вопросе он ни у кого не собирается спрашивать совета. Провести еще пару лет в Европе, в непосредственной близости от событий и возможностей, освежить свои представления о тенденциях на рынке искусства — это отвечало

соображениям высокой мудрости, того особого рода просвещенной убежденности, которой он стремился придерживаться. На поверхностный взгляд дело не стоило того, чтобы задерживать целую семью — ведь после рождения внука у них получилась уже настоящая семья; а потому мистер Вервер перестал отныне полагаться на внешнюю видимость, за исключением только одной-единственной области. Его заботило, чтобы произведение искусства было «похоже с виду» на работы мастера, которому его приписывают (может быть, с целью обмана), но в остальном он, вообще говоря, перестал судить о жизни по ее внешним качествам.

Жизнь в целом он воспринимал теперь с иной точки зрения: не как коллекционер, а, скорее, как дедушка. Из всех бесценных миниатюрных произведений искусства, какие приходилось ему держать в руках, ни одно не могло сравниться с Принчипино[22], первенцем его дочери. Итальянское наименование ребенка представлялось мистеру Верверу бесконечно забавным. Его можно было укачивать, тормошить, чуть ли уже не подбрасывать в воздух, что, разумеется, совер-

[22] Примечания: 22
Маленький князь (*ит.*).

шенно недопустимо в обращении с подобными ему по своей уникальности ранними изделиями в технике pâte tendre[23]. Можно было забрать крошечного, отчаянно цепляющегося малыша из рук няньки, многократно отражаясь в стеклянных дверцах высоких шкафов, неодобрительно взирающих на такое осквернение своего утонченного содержимого. Была в этих новых отношениях какая-то благодать, несомненно, еще укрепившая представления мистера Вервера о том, что самым прямым и закономерным безмолвным ответом общественному осуждению стало особое мироощущение — ни больше ни меньше, так он говорил, — обретенное им за эти безмятежные недели в «Фоунз». Особое мироощущение — вот и все, что ему требовалось от этих недель, и он это получил даже сверх ожиданий, несмотря на миссис Рэнс и барышень Латч, несмотря на слегка тревожащую мысль, что Фанни Ассингем в своих отношениях с ним чего-то недоговаривает, несмотря на полное, словно переливающаяся через край чаша вина, осознание того, что, коль скоро он дал согласие на брак дочери, изменив тем самым свою жизнь, так все окружающее и

[23] Примечания: 23
Мягкий фарфор (*фр.*) — фарфор, изготовленный по особой технологии.

есть олицетворенное согласие, брак в действии, короче говоря — воплощение переменившейся жизни. Можно было припомнить свое собственное ощущение женатого состояния — все это еще не так прочно ушло в прошлое, чтобы стать недосягаемым даже для неясных воспоминаний. Он полагал, что они с женой — и прежде всего она — были женаты настолько, насколько это вообще возможно, не хуже других, и все-таки сомневался, заслуживал ли их союз этого названия, была ли в нем та красота, какой одарена пара, находящаяся ныне перед его глазами. В особенности после рождения у них мальчика в Нью-Йорке — кульминации их недавней поездки в Америку, завершившейся столь удачно, — мистер Вервер был уверен, что счастливая чета обогнала их, уносясь в такие дали, в такие выси, куда его воображение, во всяком случае, отказывалось следовать за ними. Примечательна одна особенность характерного для мистера Вервера немого восторга, характерного, прежде всего, для его скромности, — пробудившееся по прошествии стольких лет странное и смутное подозрение: а была ли мать Мегги, в конце концов, способна на максимум? Мистер Вервер имел в виду максимум нежности, как он понимал эти сло-

ва: максимальное погружение в сознание того, что они женаты. Мегги-то была на это способна; в ту пору Мегги и сама была божественный, восхитительный максимум. Он видел в ней это ежедневно, проникаясь своеобразным деликатным почтением, почти доходившим до какого-то религиозного преклонения перед красотой и святостью их отношений. О да, она была своей матерью — но и еще чем-то сверх того; очередное открытие так подействовало на него, что он уже готов был видеть в ней что угодно сверх того, чем была ее мать.

Ловя практически каждую спокойную минуту, он заново переживал долгий процесс, каким пришел к разнообразию своих сегодняшних интересов — пришел, как «нахальный» молодой человек приходит к работодателю без всяких рекомендаций или заводит знакомство, может быть даже — настоящего друга, заговорив с прохожим на улице. Для мистера Вервера настоящим другом во всей это истории стал его собственный разум, с которым никто его специально не знакомил. Он сам постучался в двери этого сугубо частного жилища и, сказать по правде, далеко не сразу получил ответ на свой призыв; он долго ждал, уходил и возвращался снова, а когда нако-

нец вошел внутрь, сделал это, смущенно вертя в руках шляпу, словно застенчивый незнакомец, а не то — подобрав отмычку, аки тать в нощи. Лишь со временем набрался он уверенности, но уж когда почувствовал себя в доме хозяином, то поселился здесь навсегда. Нужно признать, он гордился, что преуспел в этом. Гордиться жалким источником своего успеха, гордиться деньгами значило бы гордиться тем, что досталось ему, по сравнению, слишком уж легко. Истинная отрада для души — преодоление препятствий, а главным препятствием, из-за скромности мистера Вервера, стало для него — поверить в себя. И с этой задачей он сумел справиться, сумел найти решение, что и давало ему теперь почву под ногами, озаряя радостью его дни, и, когда ему хотелось, чтобы на душе «захорошело», как говорят в Американ-Сити, достаточно было еще раз мысленно проследить проделанный огромный путь. К этому, в сущности, все и сводилось: то была его дорога, не чье-нибудь чужое свершение, низко и мерзостно выдаваемое за свое. Одна только мысль о том, от какого рабства он был избавлен, позволяла мистеру Верверу уважать себя, даже от души восхищаться собой как абсолютно свободным человеком. В любой момент

можно было нажать тончайшую пружину, отзывавшуюся на самое легкое прикосновение: воспоминание о том, как засияла перед ним заря свободы, подобная восходу солнца в розовом серебре, однажды зимой, которую проводил он во Флоренции, Риме и Неаполе, три года спустя после смерти жены. Особенно вспоминалось ему озарение в Риме, схожее с блистанием утреннего неба в предрассветной тишине. В этом городе, древнем обиталище пап и князей, внезапное осознание собственных способностей ударило в голову мистеру Верверу. Он был простой американский гражданин, остановившийся в отеле, где частенько проживали до двадцати таких, как он, но никакой князь, никакой папа римский, по его глубокому убеждению, не проникал так глубоко в самую суть понятия «Покровитель искусств». Право, ему было стыдно за них, если не сказать — страшно. Выше всего он вознесся, читая книгу Германа Гримма, где Юлию Второму и Льву Десятому давалась «оценка» на основе их обращения с Микеланджело. Куда им было до простого американца! — по крайней мере, в тех случаях, когда сей персонаж не оказывался слишком прост, чтобы быть Адамом Вервером. Более того, можно, без сомнения, утверждать, что

результаты подобных сравнений, ударяя в голову мистера Вервера, там же порой и оставались. Свобода видеть, в которую составной частью входили и те самые сравнения, неуклонно росла и росла — да и могло ли быть иначе?

Возможно, она даже слишком заменила для него вообще всякую свободу. К примеру, этой свободы его никто не лишал и во время эпизода с кознями миссис Рэнс, с бильярдной и воскресным утром — кстати, мы что-то уж очень отклонились в сторону от этого происшествия. Во всяком случае, практически все прочие жизненные свободы находились под контролем миссис Рэнс, как в настоящем, так и на ближайшее будущее: свобода провести этот час, как пожелается, свобода хоть ненадолго забыть о том, что в случае внезапного брачного предложения (причем не только со стороны данной претендентки, но и всякой другой также) он, конечно, не сваляет дурака, однако испытание все-таки предстоит весьма тяжелое; а в частности — свобода спокойно перебирать письма и журналы, вдали от всех, лишь по звуку определяя местонахождение стозевого чудовища, с завидным постоянством упражнявшего по его поводу свои легкие. Миссис Рэнс оставалась с ним, пока остальные не вернулись из церкви,

и к этому времени стало еще более ясно, что его испытание — когда оно настанет — будет в самом деле чрезвычайно малоприятным. Почему-то у него сложилось впечатление, будто миссис Рэнс сама не вполне сознает свое преимущество, сделавшись невольным символом злополучного недочета мистера Вервера, заключающегося в отсутствии жены, которой можно было бы переадресовывать все и всяческие поползновения. А миссис Рэнс, насколько он мог судить, буквально распирало от самых непредвиденных поползновений, причем такого сорта, что справиться с ними в одиночку было абсолютно нереально. И когда гостья говорила, или все равно что говорила: «Я, видите ли, ограничена в своих возможностях из-за мистера Рэнса, а еще из-за того, что я такая гордая и утонченная, а вот кабы не мистер Рэнс, да не гордая утонченность!..» — в такие минуты, говорю я, эти неведомые возможности заполняли грядущее шорохом и шелестом, шелестом пышных юбок, многостраничных надушенных писем и голосов, очень разных, но схожих в одном, и не так уж важно, в какой именно области гулко шелестящей местности они учились добиваться своего.

Как выяснилось, супруги Ассингем и барышни

Латч решили прогуляться по парку до старинной церквушки «на территории поместья», такой прелестной в своей простоте, что наш друг нередко ловил себя на мысли: вот бы поместить ее, прямо как есть, в стеклянную витрину и перенести в какой-нибудь из его выставочных залов; Мегги же уговорила своего мужа, привычного к подобной практике, отправиться вместе с нею в экипаже чуть подальше, к ближайшему алтарю, пускай довольно скромному, католической веры, которой придерживались и Мегги, и ее покойная мать и приверженцем которой мистер Вервер охотно позволял считать себя самого, очистив и подготовив таким образом сцену, без которой пьеса ее замужества, возможно, так и не была бы разыграна.

В конце концов, одновременно возвратившись домой, все разрозненные богомольцы встретились у порога и какое-то время бесцельно бродили из комнаты в комнату, после чего принялись отыскивать оставшуюся дома парочку. Поиски привели их к дверям бильярдной, и, когда эти двери распахнулись, впуская вновь прибывших, с Адамом Вервером произошла очень странная вещь. Право, это было поразительно: новое понимание расцвело для него в мгновение ока,

как будто распустился от одного-единственного дыхания невиданный цветок. Дыханием, между прочим, оказалось не что иное, как выражение глаз его дочери, в которых он ясно увидел, как ей открывается решительно все, что происходило в ее отсутствие: как миссис Рэнс настигла его в этом отдаленном уголке и как он в обычном для себя духе и в весьма характерной форме покорился возникшему осложнению — словом, Мегги окончательно утвердилась в одной из тревожащих ее мыслей. Правда, мысль эта, хоть Мегги ни с кем ею не делилась, посетила не ее одну; лицо Фанни Ассингем в ту минуту тоже не было загадкой для мистера Вервера, да и барышни Латч смотрели во все глаза — ровным счетом четыре прекрасных глаза, сверкающие каким-то необычным блеском. За исключением князя, да еще полковника, которому было все равно, так что он даже не заметил реакции остальных, — все они что-то поняли или, по крайней мере, подумали о том же, о чем и Мегги, а именно: что миссис Рэнс давно уже замышляла нечто подобное и только выжидала удобного случая. Судя по легкому оттенку испуга во взорах барышень Латч, их мысленному взору сейчас представлялась огромная энергия, непреодолимо утверждающая себя.

Если уж на то пошло, положение барышень Латч было до невероятности смешным: они сами, без всякого злого умысла, ввели в дом миссис Рэнч, воодушевленные тем неоспоримым фактом, что когда-то им довелось собственными глазами лицезреть мистера Рэнча; и вот, можно сказать, из подаренного ими букета (а миссис Рэнс — тот еще букет!) неожиданно показалась ядовитая змея. Мистер Вервер прямо-таки ощущал подозрения барышень Латч, столь сильные, что это даже отчасти бросало тень на его собственное чувство приличия.

Впрочем, все это он заметил мельком; как я уже намекал, по-настоящему важно было только одно: его безмолвный обмен взглядами с Мегги. Лишь в ее тревоге таилась истинная глубина, отчего перед мистером Вервером распахнулись неожиданные горизонты, необъятно широкие именно в силу своей новизны. Разве это случалось в их совместном прошлом, чтобы она, пускай без единого слова, беспокоилась за него отдельно от себя? Были у них общие страхи, были и общие радости, но Мегги, во всяком случае, и тревожилась, и радовалась за обоих поровну. И вдруг возникает вопрос, касающийся только его одного, и этот беззвучный взрыв стал для них

своеобразной вехой. Получается, он сделался теперь ее заботой, даже в каком-то смысле — ее обузой, как нечто, совершенно отдельное от нее, а раньше просто жил в самой глубине ее сердца, в самой сердцевине ее жизни, слишком глубоко, если уж на то пошло, чтобы отделить его от себя или даже противопоставить, — словом, чтобы смотреть на него объективно. Но время в конце концов совершило это; отношения между ними необратимо изменились, и снова мистер Вервер видел, как его дочь начинает осознавать эту перемену. Тем самым и для него все стало яснее, и дело тут было не просто в какой-то там миссис Рэнс. И для Мегги тоже гостья вдруг из неудобного осложнения одним махом превратилась в символ, чуть ли не дар судьбы. Теперь, когда они с Америго женаты, когда они — Князь и Княгиня, вокруг ее отца образовалась пустота, освободилось место в пределах досягаемости других, и другие не замедлили обратить на это внимание. А заодно и он сам обратил на это внимание в ту самую минуту, пока Мегги стояла перед ним, прежде чем заговорить; больше того, догадываясь о том, что увидела она, мистер Вервер догадывался и о том, что она догадывается о его прозрении.

Можно еще добавить, что это была бы самая

яркая из его догадок, не будь рядом Фанни Ассингем. Мистер Вервер ясно видел по ее лицу: ко всему прочему, Фанни со свойственной ей наблюдательностью тоже увидела то, что открылось им обоим.

9

Безмолвное взаимопонимание в таких широких масштабах, несомненно, достойно изумления, и, признаться, мы, может быть, забежали вперед, приписав действующим лицам разыгравшейся на наших глазах сцены выводы, к которым они пришли гораздо позднее. И все же тихие минуты, которые отец и дочь провели наедине в тот день, немного времени спустя, были почти полностью посвящены открытиям, сделанным ими в момент подспудной напряженности при появлении вернувшихся из церкви. Ни до ланча, ни сразу после между ними ни о чем таком не упоминалось, если только не усматривать особого значения в том, что они так долго медлили со встречей. После ланча — а по воскресным дням этот обычай соблюдался особенно строго, по причинам, связанным с некоторыми вопросами домашнего хозяйства, находившимися в ведении Мегги, — княгинюшка имела обыкновение проводить час-другой с малышом, причем часто заставала в его комнатах отца, или же тот чуть раньше или чуть позже приходил к ней туда. Как бы его ни отвлекали, посещение

внука совершалось неизменно, и это не считая визитов внука к дедушке, не менее регулярных и упорядоченных, и в придачу встреч-«огрызочков», как называл их мистер Вервер, от случая к случаю, при всякой возможности, а чаще всего — на террасе, в саду или в парке, где Принчипино дышал свежим воздухом, расположившись с большой важностью и торжественностью в своей коляске, под сенью изящного кружевного зонтика и в сопровождении неподкупной особы женского пола. Владения детской занимали чуть ли не целое крыло огромного дома, и доступ туда был так труден, словно эти апартаменты располагались в королевском дворце, а малыш был наследником престола. Разговоры, происходившие в урочный час в этом святилище, неизменно посвящались его главному обитателю, если не были обращены непосредственно к нему, а все прочие темы, оставшись в полном небрежении, научились держаться в тени и не высовываться понапрасну. В лучшем случае посторонние темы могли быть допущены, если были как-то связаны с будущим мальчика, с его прошлым или всепоглощающим настоящим, но им не давалось ни единого шанса заявить о своих собственных достоинствах или пожаловаться на недостаток

внимания к себе. Пожалуй, именно эти встречи больше всего создавали у взрослых участников ощущение, что жизнь не только не разлучила их, но и объединила друг с другом еще крепче, еще теснее — мы уже упоминали об этом с точки зрения Адама Вервера. Разумеется, всем давно известно, что прелестный младенец может стать связующим звеном между мужем и женою, а вот Мегги с отцом ухитрились превратить бесценное создание в связующее звено между мамочкой и дедом. В результате Принчипино, случайный свидетель этого процесса, вполне мог остаться злосчастным полусироткой, лишенным, на жалость всем окружающим, ближайшего родителя мужеского пола.

Объединившись в истовом благочестивом преклонении, Мегги с отцом просто не имели возможности поговорить о том, чем может стать князь для своего сына — ведь в его отсутствие для него всегда находилась замена. Притом же ни у кого не возникало сомнений на его счет. Он обожал возиться с ребенком у всех на глазах, с чисто итальянской непосредственностью, когда находил возможность уделить ему внимание; во всяком случае, на глазах у Мегги, которой в целом чаще представлялся случай побеседовать

с мужем о причудах отца, нежели с отцом — о причудах мужа. Адам Вервер, со своей стороны, смотрел на происходящее со спокойной душой. Он был глубоко убежден, что его зять любит его внука, прежде всего потому, что — то ли под действием инстинкта, то ли по велению традиций — вышеупомянутый зять произвел на свет ребенка настолько неотразимого, что его невозможно было не любить. Но больше всего способствовала гармонии, царившей в их взаимоотношениях, невысказанная готовность молодого человека признать право на существование и за дедушкиной традицией — что уж там, традиция за традицию! Эта традиция, или что бы там ни было, давно уже закрепилась и за самой княгинюшкой. Америго же воздавал ей должное, тактично отступая в сторону. Короче говоря, в своих воззрениях по поводу собственного сына князь так же удачно огибал острые углы, как и во всех других случаях; и мистер Вервер, пожалуй, никогда так ясно не ощущал себя неким удивительным явлением природы в глазах своего зятя, как в эти часы, безнаказанно проводимые в детской. Как будто подобное проявление собственничества со стороны дедушки лишь служило князю дополнительным объектом для наблюдения и изучения.

Мистер Вервер понимал, что дело здесь в одной особенности характера князя, подмеченной им раньше: князь был решительно не способен делать выводы по поводу того, что его касалось.

Ему все нужно было объяснять — впрочем, он всегда замечательно воспринимал объяснения. В конце концов, это главное: бедняжка очень старался понять и принять. Если уж на то пошло, откуда нам знать, что лошадь, которая не пугается трактора, не испугается, скажем, духового оркестра? Может, она с детства привычна к тракторам, а к духовым оркестрам не привыкла. Так же и князь мало-помалу, месяц за месяцем пытался уяснить для себя привычки отца своей жены. Вот еще одна деталь установлена: среди его привычек — романтическое отношение к маленьким князьям. Кто бы мог подумать и где же этому предел? Одного лишь опасался мистер Вервер: как бы не разочаровать князя, показав себя недостаточно странным. Он чувствовал, что проявляет себя слишком уж с положительной стороны в этом плане. Он только теперь начал узнавать, сам дивясь и забавляясь, как много, оказывается, у него привычек. Хоть бы князю удалось напасть на что-нибудь такое, к чему он непривычен! Мистер Вервер полагал, что это не

нарушило бы безупречной гладкости их взаимоотношений, зато, возможно, немного придало бы им интереса.

Во всяком случае, в настоящий момент отцу и дочери было ясно одно: они просто знали, что им пока что хочется быть вместе — так сказать, любой ценой. И эта потребность вывела их из дома, подальше от собравшихся вместе друзей, заставив направиться, незаметно для других, по тенистой аллее так называемого старого сада, старого — благодаря старомодной формальности его облика, высоким рядам вечнозеленого самшита, подстриженным тисам и кирпичным стенам, одновременно лиловым и розоватым от дряхлости. Они вышли через дверцу в стене, дверцу, над которой была укреплена каменная дощечка с надписью старинным шрифтом — «1713»; теперь перед ними оказалась небольшая белая калитка, ослепительно белая и чистая среди пышной зелени, и вот наконец они добрались до тихого уголка, где росли самые величественные деревья. В незапамятные времена кто-то установил скамейку под огромным дубом, возвышающимся на холме, позади которого почва резко уходила вниз, повышаясь снова уже на достаточно далеком расстоянии, отгораживая это место от всего

мира и замыкая его вдали лесистым горизонтом. Благословенное лето еще не совсем ушло, и низко стоящее солнце, пронизывая негустую тень, бросало яркие световые блики; Мегги, собираясь выходить, захватила с собой солнечный зонтик и теперь держала его над своей очаровательной непокрытой головкой. Этот зонтик вкупе с широкополой соломенной шляпой, которую отец Мегги в последнее время завел обыкновение носить сдвинутой на затылок, придавал их прогулке особую определенность и целенаправленность. Они знали эту скамью, часто восхищались ею, называя «уединенной» — им очень нравилось это слово; и, задержавшись около нее, могли бы улыбнуться над тем, как, должно быть, удивляются остальные, гадая, куда они подевались (вот только настроение у них было слишком серьезное, и, вообще, такие вещи очень быстро потеряли для них всякое значение).

Удовольствие, которое они испытывали при мысли о собственном безразличии к мнению гостей по поводу такого пренебрежения церемониями, — о чем говорило оно, если не о том, что, как правило, эти люди думали главным образом о других? Каждый знал за другим суеверную боязнь «обидеть» кого-нибудь, но, очень может

быть, как раз в эту самую минуту оба спрашивали себя, а вернее — друг друга, должно ли это стать последним шагом в их развитии? Уж во всяком случае, за чаем, накрытым в самом подходящем месте на западной террасе, народу хватает — в придачу к Ассингемам, барышням Латч и миссис Рэнс наверняка присутствуют еще четыре-пять персон, в том числе очень хорошенькая мисс Мэддок, типичная ирландка, которую давно и много расхваливали и наконец привели в гости. Все эти люди приходили или приезжали из расположенных по соседству домов, среди коих было и временное скромное жилище их домовладельца, поселившегося там в целях экономии на время, пока сдавалась внаем усадьба его предков, и обитавшего, таким образом, в пределах видимости источника своих доходов. Придется этой компании в кои-то веки самой позаботиться о себе. Что уж там, на Фанни Ассингем всегда можно положиться: она не уронит честь мистера Вервера и его дочери, поддержит их репутацию гостеприимных хозяев, и даже сумеет как-нибудь оправдать их отсутствие в глазах Америго, если тот вдруг ни с того ни с сего забеспокоится — кто их знает, этих чудаков-итальянцев! Княгинюшка прекрасно знала, что их приятельница

всегда может повлиять на Америго, неизменно восприимчивого к ее объяснениям, уверениям и уговорам. В сущности, он, похоже, стал еще больше полагаться на нее в этом плане с тех пор, как для него началась, по его собственному выражению, новая жизнь. Для Мегги не было тайной, — княгинюшка даже часто весело шутила по этому поводу, — что она не умеет объяснять так хорошо, как миссис Ассингем, а князь любит объяснения, он их просто-таки коллекционирует, как коллекционируют экслибрисы или почтовые марки, а стало быть, нужно тем или другим способом обеспечить ему это удовольствие. Князь, похоже, до поры до времени не извлекал из накопившихся объяснений никакой практической пользы. Скорее они выполняли чисто декоративную роль, доставляя невинное развлечение из разряда тех, что были ему особенно по душе, и в этом так ярко проявлялась его прелестная, приятнейшая особенность — чуть ленивое безразличие к более порочным и даже просто более утонченным забавам.

Так или иначе, отец с дочерью мало-помалу признали с веселой и непринужденной откровенностью, что дорогая Фанни — также не оставшаяся в неведении относительно этого

факта — выполняет в их семейном кругу определенную функцию, причем отнюдь не всегда чисто номинальную. Можно подумать, она взяла на себя определенные обязательства: являться по первому зову, ведя за собой своего милого, меланхоличного полковника, как только такая необходимость возникала по ходу беседы, а чаще, надо полагать, в минуты праздности. Вследствие чего она стала значительно чаще присутствовать в доме; достойные супруги постоянно приезжали в гости, их визиты затягивались надолго, не вызывая возражений даже для виду. Сам Америго характеризовал смысл ее приезда такими словами: она действует на него успокаивающе. Толкование, можно сказать, просто идеальное, будь в характере Америго заметна хоть малейшая склонность волноваться по какому бы то ни было поводу. Фанни всячески преуменьшала свою роль, утверждая, что для ручного, домашнего ягненка с розовой ленточкой на шее вовсе не нужен тюремщик. Такое животное не требуется сторожить; в крайнем случае, его требуется обучать. В соответствии с этим она признавала, что просвещает князя — чем Мегги, само собой разумеется, никак не могла заниматься и превосходно это понимала. Дело кончилось

тем, что Фанни была доверена забота о князе в чисто интеллектуальном плане. Слава богу, в распоряжении Мегги оставалась еще достаточно обширная и разнообразная сфера деятельности, и на князя, фигурально выражаясь, обрушивались целые лавины розовых ленточек. По сути, роли распределились следующим образом: миссис Ассингем печется о спокойствии князя, а тем временем его жена и тесть скромно наслаждаются своим маленьким пикником; кстати сказать, всем участникам собравшегося в поместье кружка это было не менее необходимо, нежели тем двоим, чьего общества остальные сегодня лишились чуть ли не в первый раз за все это время. Мегги знала, что рядом с ней князь в состоянии выносить практически любые чудачества странных английских типов, которые вызывали у него невыносимую скуку, поскольку были совершенно не похожи на него самого. В таких ситуациях жена способна оказать мужу самую что ни на есть реальную и ощутимую поддержку. Но столь же ясно Мегги сознавала, что в ее отсутствие князь едва ли в силах выдержать близкое столкновение с британцами. Как он будет двигаться, говорить и, прежде всего, выглядеть, — он, который умеет выглядеть так чудесно со своим аристократически

красивым лицом, — каков он будет, оставшись в одиночестве среди существ, повергающих его в полное недоумение? Взять хоть ближайших соседей — иные из них очень могли повергнуть в недоумение; вот только у самой Мегги тоже была маленькая странность, ничуть не сердившая князя: чем они были страннее, тем больше нравились ей. Это у нее наследственное, утверждал, посмеиваясь, князь, — такое пристрастие к chinoiseries[24]; но в тот вечер это ее ничуть не смущало — пусть справляется с ее китайцами, как умеет.

Будь подобные моменты немного чаще, они всякий раз напоминали бы Мегги поразившие ее однажды слова миссис Ассингем насчет того самого аппетита на объяснения, который мы только что имели случай подметить в характере Америго. Не то чтобы княгиня согласилась быть обязанной кому-то другому, пусть даже такой умнице, как ее подруга, пониманием чего бы то ни было в характере своего мужа, — как будто она сама бы не разглядела! — но Мегги всегда умела принимать с благодарностью четкую формулировку тех истин, какие сама она, угадывая чутьем,

---

[24] Примечания: 24
Китайские безделушки (*фр.*).

не могла выразить словами; Мегги отлично знала за собой ужасную склонность вечно говорить не то, что надо. Потому только и находила она в себе силы жить в постоянном сознании факта, столь недвусмысленно высказанного их общей утешительницей: князь с какой-то неведомой но, безусловно, высокой целью копит всевозможные ответы на свои вопросы, все впечатления и обобщения, какие ему удается собрать; он хранит их и лелеет, чтобы ружье его оказалось заряженным на полную катушку в тот день, когда понадобится из него выстрелить. Он хочет сперва разузнать абсолютно все о предмете в целом, а там уж бесчисленные накопленные им факты найдут свое применение. Он знает, что делает, и, будьте уверены, в конце концов произведет весьма заметный шумовой эффект. И миссис Ассингем еще раз повторила: князь знает, что делает. Мегги запомнила эту удачно найденную формулу и в случае чего могла напомнить себе: Америго знает, что делает. Пусть он временами кажется рассеянным, невнимательным, даже скучающим; так случалось в отсутствие ее отца, с которым князь, кажется, не мог быть никаким другим, кроме как почтительно-заинтересованным, — князь вдруг давал выход своей природной

веселости, принимаясь петь или просто издавать какие-то причудливо-бессмысленные звуки, то выражающие незамутненную безмятежность духа, то фантастически жалобные.

Иногда он с полной откровенностью начинал распространяться о том, что у него на родине еще осталась кое-какая собственность: дом в Риме — главная его привязанность в жизни, большой черный дворец, Палаццо Неро, как с нежностью именовал его князь; и еще вилла в Сабинских горах, которую Мегги видела во время их помолвки и по которой страстно тосковала; и сам Кастелло, замок, о котором князь всегда говорил, что он «примостился на скале», — Мегги знала, что когда-то замок гордо возвышался на горном склоне, синея вдали, главою всего княжества. Случалось другое настроение, и князь бурно радовался, что все эти владения находятся так далеко; нельзя сказать, чтобы он бесповоротно их потерял, но все они были обременены бесконечными арендами и опеками, строптивыми жильцами, словом, совершенно недоступны для использования, и это еще не считая целой тучи закладных, давным-давно похоронивших всю вышеперечисленную недвижимость под пеплом гнева и тщетных сожалений, толщиною никак не меньше того слоя,

что накрыл собою когда-то города у подножия Везувия, так что любые попытки восстановить одно из имений оказывались сродни медленным и мучительным археологическим раскопкам. Но вдруг настроение князя разом менялось, и он чуть ли не плакал навзрыд, горюя о своем потерянном рае, обзывая себя безмозглым болваном за то, что никак не может решиться на жертвы, необходимые, чтобы вновь обрести утраченную вотчину, — жертвы, впрочем, пришлось бы в случае чего приносить не кому иному, как мистеру Верверу.

В то же время было между мужем и женой нечто необыкновенно умиротворяющее — нечто незыблемое, чему можно только радоваться. Дело в том, что Мегги никогда так не восхищалась князем, никогда не казался он ей таким душераздирающе прекрасным, умным, неотразимым, — именно таким, каким впервые явился перед ней, очаровав раз и навсегда, — как в те минуты, когда другие женщины при виде его прямо у нее на глазах тоже превращались в какую-то безвольную массу. Любимой темой для шуток в самые сокровенные моменты для них было: как это удачно, и сколько свободы дает обоим. Мегги доходила до того, чтобы заявить: даже если князь в один прекрасный

день напьется пьяным и поколотит ее, стоит ей увидеть его в окружении ненавистных соперниц, это зрелище мигом приведет ее в чувство. Так что ему будет проще простого поддерживать в ней влюбленность. В такие легкомысленные минуты князь соглашался, что это совсем нетрудно, тем более что, будучи устроен весьма примитивно, он знает лишь один способ обращения с представительницами прекрасного пола — и с чего бы ему этого стыдиться? Они должны быть действительно прекрасны, ведь он очень привередлив и придерживается самых высоких стандартов, но если уж они достаточно прекрасны, чтобы с ними вообще можно было иметь дело, что может сделать порядочный и гуманный человек, как не проявить самый обыкновенный интерес к их красоте? Его интерес, неизменно отвечала она, совсем даже не «обыкновенный», да и вообще во всем этом нет ничего обыкновенного, напротив, сплошные причудливые узоры самых удивительных оттенков. Во всяком случае, исходный постулат установили со всей отчетливостью: всевозможные мисс Мэддок нашей жизни могут быть вполне уверены в своей значимости для него. Мегги с безмятежным спокойствием не раз говорила об этом и отцу, чтобы он тоже мог раз-

делить с ними шутку. При ее нежном и мягком характере было вполне естественно подумать о том, какую радость может ему доставить при случае ее доверительная откровенность. Такая уж у нее была установка — она постоянно придумывала себе всяческие правила, о ком-нибудь заботилась, о чем-то хлопотала. Конечно, она не все могла рассказать отцу словами о себе и Америго, о том, как они счастливы вместе, о самых глубоких глубинах, а что-то было понятно и без слов, но много было и другого — истинного и забавного, что вполне можно было пристроить к делу, по мнению Мегги, успевшей выстроить для себя изощреннейшую систему подобающего дочернего поведения.

Вся природа словно притихла, пока Мегги медлила в стороне от всех, наедине со своим спутником; безмятежность эта подразумевала многое: такой безупречный, такой роскошный покой раскинулся вокруг, что, будь они чуточку беднее духом, можно было заподозрить дерзкую гордыню в подобной легкости непоколебимого доверия. Но как раз гордыни-то в них не было — мы не такие, могли уверенно сказать про себя эти двое. Они были просто счастливы и смиренно благодарны, и не стыдились отдавать себе

отчет в том, что великое — велико, хорошее — хорошо, надежное — надежно, а потому не позволяли себе унижать свое счастье трусостью, что было бы ничуть не лучше, чем унижать его наглой самоуверенностью. Они были достойны своего счастья, и, вглядываясь в них напоследок, мы видим, что каждый хочет, чтобы другой почувствовал это, и вот в задумчивой встрече их взглядов угадывается и тает, как тихий вздох в вечернем воздухе, выражение словно какой-то беспомощности перед собственным блаженством. Они понимали, что все правильно и все оправдано, но, быть может, они спрашивали себя в некоторой растерянности: что же делать дальше с чем-то настолько совершенным? Они создали это совершенство, взлелеяли и упрочили его, они поместили его в этом доме, полном достоинства, и увенчали всевозможным комфортом, но не настало ли для них то мгновение, — или, по крайней мере, для нас, глядящих, как они стоят перед лицом своей судьбы, — когда приходит понимание того, что «правильно» — это еще далеко не все? Иначе почему через малое время с губ Мегги слетели слова, выражающие неприкрытое сомнение, как отголосок неясной боли, возникшей несколько часов назад.

— В конце концов, что такое они хотят тебе сделать?

Также и для княгинюшки слово «они» обозначало грозно надвинувшиеся силы, символом которых стала миссис Рэнс, и отец улыбнулся в ответ. На душе у него вдруг сделалось легко, он даже не потрудился притвориться, будто не понимает смысла ее вопроса. Смысл — раз уж она заговорила — был вполне ясен; впрочем, тут еще не было оснований разворачивать мощную оборонительную кампанию. Беседа потекла свободнее, и вскоре Мегги подала новую мысль, сказав:

— На самом деле случилось то, что пропорции для нас изменились.

Мистер Вервер столь же молчаливо принял и это, несколько загадочное, замечание; не стал он возражать даже и тогда, когда она прибавила, что все было бы не так уж страшно, не будь он так ужасающе молод. Слабый звук протеста вырвался у него, лишь когда она заявила вслед за этим, что, мол, ей бы надо было подождать, как порядочной дочери. Но тут же и сама признала, что ждать пришлось бы слишком долго — то бишь, если бы она стала дожидаться, пока он состарится. Но все-таки выход есть.

— Раз уж ты такой неотразимый юноша, придется нам посмотреть правде в лицо, никуда не денешься. Та женщина заставила меня понять это. А будут и другие.

10

Все-таки, оказывается, большое облегчение — вот так говорить обо всем этом. — Да, будут и другие. Но ты меня поддержишь.

Мегги помолчала в нерешительности.

— Ты хочешь сказать — если ты сдашься?

— Нет-нет. Пока я буду отбиваться.

И снова Мегги замолчала, а когда заговорила опять, слова ее прозвучали как-то отрывисто.

— А разве обязательно постоянно отбиваться?

Он не вздрогнул — сказалась привычка находить гармонию во всем, сказанном ею. Собственно говоря, весь облик мистера Вервера свидетельствовал о том, что бесконечно отбиваться ему не так уж и подходит, будь эта реакция врожденной или благоприобретенной. Посмотреть на него — так, похоже, ему еще долго придется этим заниматься, ведь желающих-то хоть отбавляй. По виду не заметно, чтобы век его приближался к концу и чувства ему изменяли, и не важно, что он невысокий, щуплый, немного похож на простачка и в осанке никакого величия. Сила его, хоть в наступлении, хоть в сопротивлении, и в прошлом, и на будущее измеряется не ростом, и

не весом, и никаким другим вульгарным количественным показателем. Больше того, было в нем нечто такое, благодаря чему в любой сцене с участием группы людей мистер Вервер отодвигался на задний план, просто-таки зримо и вполне сознательно сторонясь огней рампы.

Ни в коем случае не хотел бы он оказаться режиссером или автором пьесы, чье место — на просцениуме; в крайнем случае мог бы финансировать постановку, приглядывая из-за кулис за поступлением прибыли, но отнюдь не скрывая скудости своих познаний о тайнах лицедейства. Ростом едва ли выше собственной дочери, он не превосходил ее полнотою, вопреки расхожему мнению, приравнивающему полноту к солидности. Мистер Вервер довольно рано лишился большей части жестких, мелко курчавящихся волос, оставивших по себе память в виде небольшой аккуратной бородки, которая была чересчур компактна, чтобы именоваться «пышной», однако же покрывала не только подбородок, но и щеки, и верхнюю губу, словно возмещая тем самым отсутствие иных отличительных знаков. Аккуратное, бесцветное лицо, наделенное лишь самыми необходимыми чертами, — при его описании первым делом приходило на ум слово

«ясный» и образ чистенькой, приличной комнатки, старательно выметенной и не заставленной мебелью, но обладающей одним специфическим достоинством, замечаемым практически сразу: парой больших незанавешенных окон. Такие уж были глаза у Адама Вервера, что впускали равно утренний и вечерний свет в невероятных количествах, и в то же время зрительно расширяли скромное помещение за счет открывающегося из них вида, который был неизменно «обширным», даже если видны были всего лишь звезды. Густого и переменчивого синего цвета, не будучи романтически огромными, глаза его все же отличались удивительной юношеской красотой и странной рассеянностью взгляда — не знаешь, чему они больше открыты, то ли зрению своего обладателя, то ли твоему собственному взору. Так или иначе, эти глаза придавали неповторимый облик своему окружению, как выражаются агенты по недвижимости; они никого не оставляли без внимания, постоянно двигались в поисках возможного общения, взаимопонимания, какого-то неведомого открытия, впереди ли, позади ли себя. Прочие элементы внешности старались держаться в тени, и особенно ненавязчиво было платье нашего друга, ибо одевался он в раз и

навсегда заведенном стиле, словно стесняясь совершать излишние траты. Круглый год и по всякому случаю он носил одну и ту же черную визитку по моде времен своей молодости, одни и те же сдержанно-элегантные брюки в черно-белую клетку, идеально гармонирующие, по глубочайшему убеждению мистера Вервера, с синим атласным галстуком в белый горошек, а впадину живота, независимо от климата и времени года, неизменно прикрывал белый жилет из парусины. И вот теперь он спрашивал:

— Ты бы в самом деле хотела, чтобы я женился?

Он как будто говорил: раз уж этого хочет его дочь, возможно, это действительно неплохая идея, и, коли на то пошло, он готов хоть сейчас ее осуществить, пусть только дочка выскажется определенно.

Но Мегги еще не была готова высказаться определенно, хотя, пока она раздумывала, ей, по-видимому, пришла в голову некая истина, которую стоило произнести вслух.

— У меня такое чувство, что из-за меня что-то стало неправильно, а раньше было правильно. Было правильно, что ты не женишься и не собираешься. И еще, — рассуждала она, — казалось

совершенно естественным, что даже вопроса об этом не возникает. Но из-за меня все переменилось. Теперь вопрос возникает. Будет возникать.

— Ты думаешь, я с этим не справлюсь? — отозвался мистер Вервер тоном жизнерадостной задумчивости.

— Видишь, из-за моего поступка тебе теперь приходится бороться с разными трудностями.

Ему была приятна ее забота, и, когда она села рядом, он обнял ее одной рукой.

— Я не чувствую, чтобы ты «ушла» очень уж далеко. Рукой подать.

— Знаешь, — продолжала она, — по-моему, это как-то нечестно, что я вот так бросила тебя на произвол судьбы. Если из-за меня у тебя начались такие перемены, я не могу о них не думать.

— И что же ты думаешь, милая? — спросил он снисходительно.

— Сама еще не знаю. Нужно разобраться. Надо нам с тобой подумать вместе, как мы всегда делали. Я вот что хочу сказать, — заговорила она после паузы, — мне кажется, я должна предложить тебе какую-то альтернативу. Надо что-то придумать для тебя.

— Альтернативу чему?

— Да вот тому, что тебе просто приходится об-

ходиться без того, что ты потерял, и никто ничего не сделал по этому поводу.

— Что же такое я потерял?

Она подумала с минуту, как будто все яснее видела что-то, только не находила слов.

— Ну, не знаю — то, что раньше позволяло нам не думать о таких вещах. Как будто тебя нельзя было, что называется, выбросить на рынок, потому что ты был как бы женат на мне. Или как будто я невольно охраняла тебя, потому что была замужем за тобой. А теперь я замужем за другим, и в результате ты остался неженатым. И тебя можно на ком-то женить, все равно, на ком. Им просто-напросто непонятно, почему тебе на них не жениться.

— А разве недостаточно, что мне этого не хочется? — спросил он мягко.

— Достаточно-то достаточно, только слишком уж хлопотно. Для тебя хлопотно. Это будет вечный бой. Ты спрашиваешь, что такое ты потерял, — продолжала свои объяснения Мегги. — Потерял то, что раньше у тебя не было этих хлопот и тебе не приходилось принимать бой. Вот что ты потерял. Счастье просто быть таким, какой ты есть, потому что я была такая, как была. Вот чего ты лишился.

— Стало быть, по-твоему, — помолчав, отозвался ее отец, — мне следует жениться только ради того, чтобы стало как раньше?

Он говорил отстраненным тоном, словно всего лишь хотел позабавить ее, демонстрируя свою готовность пойти ей навстречу, и в самом деле сумел добиться отрывистого смешка, несмотря на всю ее серьезность.

— Просто не думай, что я тебя не пойму, если ты все-таки это сделаешь. Я пойму. Вот и все, — тихо сказала княгинюшка.

Мистер Вервер доброжелательно обдумал ее слова.

— Но ведь ты не стала бы требовать, чтобы я женился на женщине, которая мне совсем не нравится?

— Ах, папа, — вздохнула она, — ты и сам знаешь, что я стала бы и чего не стала бы. Я хочу только одного: если когда-нибудь тебе кто-нибудь понравится, не сомневайся, я всегда буду сознавать, что это я тебя до этого довела. Ты всегда будешь знать, что я знаю, что я во всем виновата.

— Другими словами, — продолжил он со своей обычной обстоятельностью, — ты готова взять на себя все последствия?

Мегги раздумывала не более минуты.

— Все хорошие последствия я отдам тебе, а себе возьму плохие.

— Что ж, это благородно. — Он притянул ее поближе и нежно обнял. — Примерно этого я от тебя и ожидал. Значит, будем считать, что мы квиты. Если когда-нибудь появится необходимость тебе выполнить свои обязательства, я дам тебе знать. А пока должен ли я понимать так, — снова заговорил он вскоре, — что, хоть ты и готова поддержать меня в поражении, но не готова, или не настолько готова, поддержать меня в обороне? Я должен стать истинным мучеником, прежде чем ты как следует воодушевишься?

Мегги возразила:

— Знаешь, если ты сам этого захочешь, это будет не поражение.

— Тогда зачем мне твоя поддержка? Я откажусь от борьбы, только если сам захочу. Но дело в том, что мне не хочется хотеть. Разве что, — поправился он, — если я буду совсем уж уверен, но это не кажется очень вероятным. Не хотелось бы заставлять себя думать, что хочу, когда на самом деле это не так. Иногда мне приходилось поступать так по другим поводам, — признался он и закончил: — Неприятно, когда тебя вынуждают

совершить ошибку.

— Ах, но это же ужасно, — откликнулась она, — что тебе приходится этого бояться или просто думать о такой возможности. В конце-то концов, разве это не доказывает, — спросила Мегги, — что где-то там, глубоко-глубоко, тебе действительно чего-то не хватает? Разве это не доказывает, что ты на самом деле оказался в уязвимом положении?

— Может быть, оно и так, — отвечал отец, оправдываясь неизвестно в чем. — А еще это доказывает, по-моему, что в нашей теперешней жизни полным-полно жутко очаровательных женщин.

С минуту Мегги обдумывала это высказывание, но быстро перешла от общего к частному:

— Ты считаешь миссис Рэнс очаровательной?

— Во всяком случае, жуткой. Это одно и то же, когда они начинают плести свои чары. Мне кажется, она способна на все.

— Ну, от нее-то я тебе помогу отбиться, — решительно сказала княгинюшка, — если это все, что тебе нужно. Просто смешно, — продолжала она, не дав ему ответить, — что миссис Рэнс вообще оказалась здесь. Впрочем, надо сказать, вся наша жизнь какая-то смешная. Все дело в том, — про-

должала Мегги, развивая свою мысль, — что по отношению к другим людям мы, по-моему, вовсе не живем — по крайней мере, вполовину так не живем, как могли бы. И по-моему, Америго тоже так думает. И Фанни Ассингем тоже, я просто уверена в этом.

Мистер Вервер задумался, как бы желая оказать должное уважение вышеупомянутым особам.

— А как они хотят чтобы мы жили?

— Ах, мне кажется, они смотрят на это немного по-разному. Милая Фанни считает, что нам следует жить более широко.

— Более широко? — рассеянно переспросил он. — И Америго, говоришь, тоже так думает?

— О да, — быстро ответила она, — но для Америго это не имеет значения. Я хочу сказать, ему все равно, как мы поступим. Он считает, что это наше дело — решать, как мы смотрим на жизнь. А Фанни считает, — продолжала Мегги, — что он замечательный. В смысле, замечательно, что он принимает все таким, как есть, мирится с «социальной ограниченностью» нашей жизни, не скучает без тех вещей, которых лишился из-за нас.

Мистер Вервер насторожился:

— Если он без них не скучает, в его великоду-

шии нет ничего особенно замечательного.

— Вот и я так думаю! Если бы ему чего-то по-настоящему не хватало, а он все-таки был всегда милым и не жаловался, тогда, конечно, он был бы чем-то вроде неоцененного героя. Он вполне способен быть героем и станет, если понадобится. Но причиной должно быть что-то посерьезнее, а не просто наша скучная жизнь. Я уж знаю, в чем он действительно замечательный. — На этом она примолкла, но в конце концов закончила тем, с чего и начала: — Все-таки мы ведь не обязаны делать разные глупости. Если нужно жить более широко, как считает Фанни, так мы можем и широко. Что нам мешает?

— Это что, наш непременный нравственный долг? — осведомился Адам Вервер.

— Да нет, это для развлечения.

— Чьего? Для развлечения Фанни?

— Для общего развлечения; но Фанни, надо думать, будет развлекаться больше других. — Мегги помолчала; она как будто еще что-то хотела добавить и в конце концов высказалась: — Если вдуматься, это и для твоего развлечения тоже. — И отважно продолжила: — В конце концов, не надо долго думать, чтобы сообразить, что можно сделать для тебя гораздо больше того, что

делается.

Мистер Вервер издал какой-то странный неопределенный звук.

— А тебе не кажется, что ты уже очень много делаешь, когда приходишь и вот так разговариваешь здесь со мной?

— Ах, — улыбаясь ему, ответила дочь, — мы придаем этому слишком большое значение! — И тут же объяснила: — Это все хорошо, это естественно, но тут нет ничего особенно выдающегося. Мы забываем, что мы свободны, как воздух.

— Но это же замечательно, — взмолился мистер Вервер.

— Да, если мы и действуем соответственно. А если нет, то нет.

Она по-прежнему улыбалась, и мистер Вервер видел ее улыбку, но все же ему снова стало не по себе; его поразила сила чувства, угадывающаяся за шутливым тоном.

— Что ты хочешь сделать для меня? — поинтересовался он. И, поскольку она молчала, добавил: — Ты что-то задумала.

Его вдруг осенило: она же с самого начала разговора о чем-то умалчивала, и он это смутно сознавал, а временами даже не так уж смутно, хотя и уважал, вообще говоря, теоретически ее

новообретенное право на недоговоренности и тайны. С самого начала какое-то беспокойство таилось в ее глазах… И то, как она то и дело задумывалась, забывая обо всем вокруг, — должна этому быть какая-то причина. Мистер Вервер больше не сомневался.

— Ты что-то такое прячешь в рукаве.

Молчит — значит, он прав!

— Я тебе скажу, и ты поймешь. В рукаве — только в том смысле, что дело в письме, которое я получила сегодня утром. Да, я о нем думала весь день. Спрашивала себя, честно ли это будет, если я — вот сейчас — попрошу тебя вытерпеть еще одну женщину.

Он почувствовал некоторое облегчение, но такая забота с ее стороны отчасти внушала тревогу.

— «Вытерпеть»?

— Ну, не будешь ли ты против того, чтобы она приехала…

Мистер Вервер широко раскрыл глаза — и тут же расхохотался.

— Это зависит от того, кто она!

— Ага, вот видишь! Я как раз и опасаюсь, что именно с ней у тебя будет больше забот. То есть, что ты способен перестараться, по своей доброте.

Мистер Вервер слегка качнул ногой.

— А она на что способна по своей доброте?

— Ну-у, — отозвалась дочь, — ты, в общем, и сам знаешь, на что способна Шарлотта Стэнт.

— Шарлотта? Так это она приезжает?

— Судя по ее письму, ей бы очень хотелось, чтобы мы ее пригласили.

Мистер Вервер не сводил с дочери глаз, словно дожидаясь продолжения. Но, по-видимому, все уже было сказано, и напряжение ушло из его лица. Если дело только в этом, тогда все просто.

— Боже мой, почему же нет?

Лицо у Мегги снова просветлело, но уже совсем по-другому.

— Это не очень бестактно?

— Пригласить ее?

— Предлагать это тебе.

— Чтобы я ее пригласил?

Вопрос был остаточным следствием недоумения мистера Вервера, но повлек за собою уже собственные следствия. Мегги удивилась, потом задумалась, потом вспыхнула, словно обрадовавшись новой идее:

— Если бы ты мог, это было бы просто чудесно!

Очевидно, его случайные слова подсказали Мегги мысль, которая вначале не приходила ей

в голову.

— Ты хочешь, чтобы я сам ей написал?

— Да, так будет учтивее. Это будет просто бесподобно. Конечно, — прибавила Мегги, — если ты правда это можешь.

Он как будто удивился на мгновение, почему бы ему правда не мочь, и вообще, с чего бы он стал говорить неправду? Кажется, он всегда был честен с подругой дочери.

— Дорогое мое дитя, — ответил он, — не думаю, чтобы я боялся Шарлотту.

— Ох, вот это мне очень приятно слышать. Если ты не боишься, совсем, ну вот ни чуточки, я ее сразу же приглашу.

— Кстати, где она обретается? — Он сказал это таким тоном, словно уже очень давно не думал о Шарлотте и никто при нем не произносил ее имени. В сущности, он о ней попросту позабыл, а теперь снова вспомнил, добродушно и немного забавляясь.

— Она в Бретани, в одном маленьком курортном местечке, гостит у каких-то знакомых, я их не знаю. Вечно она у кого-нибудь гостит — ей, бедненькой, приходится, даже если это люди, которые, бывает, не слишком ей нравятся.

— Мы-то ей, кажется, нравимся, — заметил

Адам Вервер.

— Да, к счастью, нравимся. И если бы я не боялась испортить тебе настроение, — прибавила Мегги, — я бы даже сказала, что ты ей нравишься не меньше других.

— Почему это должно испортить мне настроение?

— Ах, ты и сам понимаешь. О чем же еще мы тут говорили? Когда ты кому-нибудь нравишься, тебе это слишком дорого обходится. Потому я и не решалась рассказать тебе о письме.

Мистер Вервер воззрился на дочь с таким видом, словно внезапно перестал понимать, о чем речь.

— Да ведь Шарлотта — когда приезжала раньше — ровным счетом ничего мне не стоила!

— Нет… Разве что расходы «на прокорм», — улыбнулась Мегги.

— Ну, так я совсем не против ее «прокормить», если дело только в этом.

Но княгинюшка, как видно, решилась быть добросовестной до конца.

— Может, и не только. Я почему подумала, что было бы неплохо ее пригласить? При ней все сразу переменится.

— А что тут такого, если это будет перемена к

лучшему?

— Ага, вот то-то и оно! — И княгинюшка улыбнулась, словно празднуя маленькую победу своего хитроумия. — Ты признаешь, что возможна перемена к лучшему, — значит, все-таки не все у нас так потрясающе хорошо и замечательно. Я хочу сказать, мы — как семья — не настолько довольны жизнью и веселимся меньше, чем могли бы. Сам видишь, можно было бы жить более широко.

— А разве при Шарлотте Стэнт мы станем жить более широко? — удивился отец.

На это Мегги, пристально посмотрев на него, дала поразительный ответ:

— Да, я думаю — да. Гораздо более широко.

Мистер Вервер призадумался. Если это намек, тем более следует проявить понимание.

— Потому что она такая красавица?

— Нет, папа, — ответила княгинюшка почти торжественно. — Потому что она такая замечательная.

— «Замечательная»?..

— Замечательная — по природе, по характеру, по духу. По всей своей жизни.

— Да ну? — эхом отозвался мистер Вервер. — Что же она такого замечательного совершила…

в своей жизни?

— О, она всегда такая храбрая, такая умная, — сказала Мегги. — Может, с виду это не так уж и много, но при ее обстоятельствах не всякая девушка смогла бы остаться такой. У нее ведь, считай, нет ни одной родной души на свете. Только знакомые, которые ее эксплуатируют, каждый по-своему, и дальние родственники — эти до того боятся, как бы она не стала их эксплуатировать, что стараются встречаться с ней как можно реже.

Мистер Вервер был поражен — и, как всегда, немедленно сделал практические выводы.

— Если мы пригласим ее, чтобы улучшить свою жизнь, не получится ли, что мы тоже ее эксплуатируем?

Княгинюшка так и вскинулась — но лишь на мгновение.

— Мы же ее старые-старые друзья, и потом, ей самой от нас тоже есть польза. Я, по крайней мере, что бы ни случилось, буду восхищаться ею куда больше, чем эксплуатировать.

— Понимаю. Это всегда полезно.

Мегги как будто слегка озадачили его слова.

— Ну, конечно. И она это знает. То есть она знает, как я восхищаюсь ее мужеством и ее умом.

Она ничего на свете не боится, но никогда не позволяет себе вольностей, все равно как если бы умирала от страха. И еще — она такая интересная. Очень много людей, у которых есть самые разные достоинства, а вот этого — нету, ну вот нисколечко. — Тут княгинюшке словно вдруг приоткрылась некая истина. — Я, конечно, тоже не позволяю себе вольностей, но я-то ведь постоянно умираю от страха. Я так живу.

— Ну что ты, радость моя! — растерянно пробормотал отец.

— Да-да, я живу в постоянном ужасе, — повторила Мегги. — Я — маленькое ползучее насекомое.

— Тебе не удастся меня убедить, будто ты хуже Шарлотты Стэнт.

— Может, я и не хуже, но я не такая замечательная, а мы сейчас говорим именно об этом. У нее замечательное воображение, замечательные взгляды на все на свете, а главное — замечательная совесть! — Пожалуй, никогда еще отец не слышал от Мегги такого непререкаемого тона. Никогда еще дочь не требовала от него принять на веру ее слова, как абсолютную истину. — За душой у нее ни гроша, но дело совсем не в этом. А вернее, — поспешно поправилась Мегги, — в этом-то все и дело! Потому что ее это совершенно

не волнует. Она никогда не жалуется, только смеется над своей бедностью. Никто не знает, как трудно ей живется.

Похоже, такая непривычная убежденность в устах собственного дитятка подействовала на мистера Вервера довольно неожиданным образом.

— Почему же ты никогда не рассказывала об этом раньше?

— Да ведь мы и всегда знали?..

— Пожалуй, — согласился мистер Вервер. — Надо думать, мы успели ее неплохо изучить.

— Ну конечно! Мы уже давно воспринимаем ее как что-то само собой разумеющееся. Но со временем многое меняется, и мне кажется, на этот раз я ее полюблю еще сильнее, чем раньше. Я сама многое пережила, я повзрослела, стала лучше разбираться во всем. Да, на этот раз, — объявила княгинюшка с возвышенной и непринужденной уверенностью, — я сумею разглядеть в Шарлотте гораздо больше, чем видела до сих пор.

— Что ж, постараюсь последовать твоему примеру. Да я и раньше, — припомнил мистер Вервер, — считал, что из всех твоих подруг она лучше всего тебе подходит.

Но Мегги так увлеклась новым для себя занятием, — составлением самостоятельных сужде-

ний, — что почти не слышала отца. Она целиком погрузилась в собственные раздумья, мысленно перебирая разнообразные выдающиеся поступки Шарлотты.

— Вот, например: я абсолютно уверена, что ей бы очень хотелось выйти замуж. Обычно женщина, которая пыталась, но так и не смогла выйти замуж, бывает очень смешна.

Это заставило мистера Вервера насторожиться:

— А она «пыталась»?

— Были такие случаи, что она бы этого хотела.

— Но не смогла?

— Вообще-то в Европе бедным девушкам это довольно редко удается. Особенно американкам, — прибавила Мегги все с тем же многозначительным видом.

Что ж, теперь отец понимал ее вполне.

— Ты хочешь сказать, — намекнул он, — что на богатых американках женятся чаще, чем на бедных?

Мегги добродушно взглянула на него.

— Может, и так, но ты меня этим не проймешь. Если существует возможность, что меня одурачили, то такие люди, как Шарлотта, станут только лучше ко мне относиться. Мне тоже совсем не

трудно не быть смешной, — глубокомысленно пояснила она, — только совсем по-другому. Наверное, я очень легко могла бы оказаться смешной, если бы стала себя вести так, как будто совершила невесть какой подвиг. Во всяком случае, Шарлотта ничего не сделала для того, чтобы выйти замуж, это всякому видно и, само собой, немного странно, а все-таки никто, кроме разве самого последнего наглеца и грубияна, не подаст и виду, что что-то не так. Вот что значит, когда в человеке есть нечто — ему все сходит с рук.

Молчание мистера Вервера недвусмысленно показывало, что дочери удалось заинтересовать его своим рассказом. А когда он заговорил, это стало еще заметнее.

— Ты и это тоже имела в виду, называя Шарлотту «замечательной»?

— О, — сказала Мегги, — это одно из ее достоинств. Но у нее их так много.

И снова отец ненадолго задумался.

— За кого же это она пыталась выйти замуж?

Мегги тоже помолчала, словно ради пущего эффекта, но затем как будто передумала или наткнулась на какое-то препятствие.

— Видишь ли, я не совсем уверена…

— Тогда откуда ты знаешь?

— Да я не то чтобы знаю... — И снова она поправилась, очень серьезно и выразительно: — Я сама догадалась.

— Но догадалась-то, наверное, о каком-то определенном человеке?

Опять молчание.

— Мне как-то не хочется называть имена и даты, даже про себя. Пусть это останется скрыто. По-моему, был некто, и не один раз, но я с ним незнакома, и не хочу, и не нужно мне его знать. Во всяком случае, все это в прошлом и совсем меня не касается, только я уважаю ее за это еще больше.

Мистер Вервер не стал спорить, но сделал маленькую оговорку:

— Не понимаю, как можно уважать, не зная всех фактов.

— А разве нельзя уважать просто, вообще, за достоинство? Я хочу сказать, за то, что человек достойно переносит несчастье.

— Для этого нужно сперва постулировать несчастье.

— О, это я могу, — сказала Мегги. — Разве это не несчастье, когда такой замечательный человек пропадает зря? И притом не ноет, не жалуется, даже как будто не знает об этом?

Сперва вопрос, видимо, произвел на мистера Вервера сильное впечатление, но вскоре новое соображение позволило взглянуть на дело по-другому.

— Значит, нужно, чтобы она не пропадала зря. У нас, по крайней мере, она не пропадет.

Лицо Мегги снова осветилось благодарностью.

— Большего мне и не нужно, досточтимый сэр!

Вопрос был решен, на том разговор и закончился бы, но мистер Вервер вдруг сам вернулся к нему.

— Как по-твоему, сколько раз она пыталась?

И снова Мэгги ответила уклончиво, как будто не могла, не хотела высказываться с грубой определенностью на такую деликатную тему:

— Ах, я не говорю, что она так уж активно пыталась…

Мистер Вервер был озадачен.

— Как же тогда получилось, что ей не удалось?

— Просто она страдала, вот как. Она любила и теряла, — добавила княгинюшка.

Но у мистера Вервера еще остались кое-какие неясности.

— А все-таки, сколько раз?

Мегги колебалась, но наконец правда выплыла наружу.

— Разве одного раза мало? Вполне достаточно, чтобы постараться быть к ней добрее.

Отец выслушал без возражений, только попытался нащупать твердую почву в свете вновь открывшихся обстоятельств.

— Неужели она совсем ничего тебе не рассказывала?

— О господи, нет!

Он удивился:

— Значит, девушки не рассказывают друг другу?

— Ты намекаешь, что именно этого все от них ждут? — Мегги смотрела на него, снова раскрасневшись, поколебалась еще немного. — А молодые люди — рассказывают? — спросила она.

Мистер Вервер коротко рассмеялся.

— Милая ты моя, да откуда мне знать, как поступают молодые люди?

— А мне, папочка, откуда знать, как поступают вульгарные девушки?

— Понимаю… понимаю… — поспешно ответил он.

Но она через минуту заговорила опять, как будто сердясь на себя за непозволительную резкость:

— По крайней мере, там, где много гордости,

говорят мало, больше молчат. Сказать по правде, не знаю, как бы я повела себя, если бы была одинокой и несчастной — ведь какие у меня в жизни горести, и говорить-то не о чем! Я даже не знаю, гордая ли я. Мне кажется, такой вопрос просто ни разу не возникал.

— О, я думаю, ты гордая, Мег, — жизнерадостно перебил отец. — Я хочу сказать: по-моему, гордости у тебя хватает.

— Ну, в таком случае, надеюсь, у меня и смирения хватает. Может, я бы легко могла сломаться под ударами судьбы. Откуда мне знать? Ты хоть понимаешь, папа, что у меня в жизни не было ни одной серьезной беды?

Он внимательно и спокойно посмотрел на нее.

— Кому и знать, как не мне?

— А если беда случится, уж ты-то об этом узнаешь! — воскликнула она с коротким смешком, очень напомнившим — и, видимо, не без причины, — его собственный смех минуту назад. — Во всяком случае, я не стала бы рассказывать ей ничего по-настоящему ужасного для меня. Раны, которых стыдишься, — это действительно ужасно! По крайней мере, — спохватилась она, — я так думаю; я же сказала — откуда мне знать? Я не хочу знать! — воскликнула она страстно. — И

радости, и горести могут быть священны. Но на всякий случай можно постараться быть добрее, — продолжала Мегги, — если это будет правильно — сразу почувствуется.

С этими словами она встала. Она стояла перед ним, а он видел ее такой, какой видел всегда; острота восприятия не притупилась за долгие годы, наоборот, ее отточила извечная привычка коллекционера постоянно собирать, сортировать, сравнивать между собой изысканные произведения искусства, различать тонкие градации изящного. Так могла бы выглядеть какая-нибудь стройная, утонченная, красиво задрапированная позднеантичная статуя из залов Ватикана или Капитолия, редкостная, как музыкальная нота, и бессмертная, как звено цепи, неожиданно ожившая под дуновением современности, но при всей внезапной свободе складок и движений, разлученных после стольких веков со своим пьедесталом, сохранившая безупречную, идеальную безмятежность скульптуры: рассеянные невидящие глаза, гладко причесанная безымянная головка, легкая, бесстрастная поступь существа из далекой, утерянной эры, странствующего через столетия, подобно изображениям на потертом рельефе вокруг драгоценной вазы. Бывали

минуты, когда родная дочь представлялась мистеру Верверу одной из таких фигур, упрощенно, «обобщенно» грациозных, словно чуть заметный жест, поворот головы или неуловимое изменение позы превращало ее в мифическое существо, что-то вроде нимфы. Чуждый самомнению, мистер Вервер не сознавал, что превращение происходило главным образом в его собственной голове, по той единственной причине, что он ценил драгоценные вазы превыше всего на свете, за исключением только драгоценных дочерей. И, что еще более существенно, он часто испытывал это чувство, одновременно вполне отдавая себе отчет в том, что Мегги, хотя и очень хорошенькая, кажется окружающим чересчур «благонравной». Сама миссис Рэнс в порыве энтузиазма, случалось, применяла к ней этот эпитет. Помнил он также, как однажды кто-то при нем несколько бесцеремонно заметил, что Мегги похожа на монашенку, а она ответила, что рада слышать это и непременно попробует ею стать. И, наконец, ему было прекрасно известно, что Мегги, привыкшая, благодаря долгому и тесному общению с высоким искусством, относиться к веяниям моды со сдержанным пренебрежением, не завивала волосы и гладко зачесывала их на висках, точно так же, как

в свое время ее мать, начисто лишенная какой бы то ни было мифологичности. Нимфы и монахини — это, безусловно, два совершенно разных типа существ, но мистер Вервер, дабы доставить себе удовольствие, оставлял без внимания доводы логики. Что ни говори, а эта игра воображения так прочно вошла у него в привычку, что он способен был впитывать зрительные впечатления, даже думая в то же время о чем-то другом. Вот и сейчас, пока Мегги стояла перед ним, он глубоко задумался, и эти раздумья вызвали к жизни новый вопрос, а тот, в свою очередь, повлек за собой целую череду вопросов.

— Так, по-твоему, она пережила именно то, о чем ты только что говорила?

— Пережила?..

— Да, то есть — любила так сильно, что теперь, как ты говоришь, для нее «все потеряно»?

Мегги ответила быстро, почти не задумываясь:

— О нет! Ничего не потеряно. Ничего ведь и не было.

— Понимаю. Нужно, чтобы было что терять. Своего рода закон перспективы.

Мегги знать не знала никаких законов, но продолжала с глубокой убежденностью:

— Например, еще не потеряна возможность

помочь ей.

— О, в таком случае мы поможем ей, чем только сможем. Я с удовольствием ей напишу, — сказал мистер Вервер.

— Ангел! — ответила Мегги, глядя на него радостно и нежно.

Возможно, она была права, однако необходимо уточнить — ангел был не лишен обычного человеческого любопытства.

— Она когда-нибудь говорила тебе, что я ей очень нравлюсь?

— Конечно, говорила, но я не буду тебя баловать. Отчасти за это я ее и люблю — и довольно с тебя!

— Ну, тогда и в самом деле для нее еще ничего не потеряно, — заметил мистер Вервер с долей иронии.

— Ох, она, слава богу, не влюблена в тебя! Я же с самого начала сказала: этого ты можешь не бояться.

Он просто шутил, но от ее утешения сделался серьезен, словно считая нужным немедленно разубедить Мегги, преувеличивающую его опасения.

— Милая, для меня она всегда была просто маленькой девочкой.

— Ах, она уже не маленькая девочка, — сказала княгинюшка.

— В таком случае я ей напишу, как блестящей светской женщине.

— Она такая и есть!

К этому времени мистер Вервер тоже поднялся, и какое-то время они оба стояли, глядя друг на друга, точно и впрямь договорились о чем-то. Они пришли сюда, чтобы побыть немного вдвоем, но вышло из этого нечто значительно большее. И суть этого «нечто» замечательно выразили слова, какими мистер Вервер ответил на порывистое восклицание своей дочери:

— Что ж, княгинюшка, у нее имеется великолепный друг в твоем лице.

Мегги на мгновение задумалась. Не было смысла отрицать столь очевидную истину.

— Знаешь, о чем я на самом деле думаю? — спросила она.

Мистер Вервер ждал, стоя под ее взглядом, выражающим нескрываемое удовольствие от внезапно обретенной свободы говорить. И тут же доказал, что он не такой уж тупица, неожиданно угадав ответ.

— Ну как же, о том, чтобы самой подыскать ей наконец-то мужа.

— Умница! — улыбнулась Мегги. — Но придется основательно поискать, — прибавила она.

— Так давай поищем вместе, прямо здесь, — сказал ее отец, и они направились назад, к дому.

11

Миссис Ассингем с полковником покинули «Фоунз» в конце сентября, но позднее вернулись опять. С тех пор прошло недели две, и вот они снова уезжают; на сей раз их возвращение в Лондон связано с разными обстоятельствами, на которые только лишь намекается, но не говорится открыто. Барышни Латч и миссис Рэнс с появлением Шарлотты также поторопились завершить свое пребывание в поместье, несмотря на многочисленные и неопределенные приглашения приезжать еще — их отголоски, кажется, и посейчас звучат в просторном холле с галереей, каменным полом и дубовыми панелями по стенам, служившем одним из наиболее примечательных украшений усадьбы. На этом самом месте — не успел еще угаснуть октябрьский вечереющий день — Фанни Ассингем провела несколько минут в беседе с гостеприимным хозяином, после чего объявила об их с мужем окончательном отъезде, испытывая в то же время сильное искушение произнести несколько продуманных слов к вопросу о напрасном сотрясении воздуха. В распахнутые двойные двери

дома был виден туманный осенний закат — тот чудесный золотой час, когда стихает ветер и все вокруг замирает в ожидании; в его лучах Адам Вервер встретился со своей задушевной приятельницей, собиравшейся собственноручно бросить в почтовый ящик пухлую пачку писем. Засим они вместе вышли из дома и провели на террасе полчаса, которые оба вспоминали позднее как подлинное прощание людей, чьи дороги бесповоротно расходятся.

Если подумать, такое впечатление сложилось у мистера Вервера под воздействием ровно трех слов, произнесенных миссис Ассингем по адресу Шарлотты Стэнт. Шарлотта просто-напросто «вымела их вон» — вот эти три слова, подводящие итог первых октябрьских дней в Кенте, полных золотого покоя, наконец-то представшего в полной своей красе, словно в ответ на появление этой молодой леди. Именно в эти дни, как было замечено, миссис Рэнс и барышни Латч начали собираться восвояси, и, что интересно, с их отъездом пришло ощущение правильности происходящего. Как хорошо, что усадьба снята на такой долгий срок, и сколько радостей еще готовит им щедрая на урожаи осень! Урок был усвоен прочно, и миссис Ассингем очень верно

подметила: без Шарлотты он мог быть усвоен не более, чем наполовину.

Уж конечно, этому не научили бы миссис Рэнс и барышни Латч, задержись они здесь надолго, что одно время казалось весьма вероятным. Таким образом, ненавязчивое вмешательство Шарлотты стало реальным фактором, действующим незримо, но оттого ничуть не менее активно, и мистер Вервер с удивлением чувствовал, как слова Фанни Ассингем (которыми она, впрочем, не ограничилась) отзываются в нем предощущением чего-то поистине непреодолимого. Он уже начинал понемногу понимать механизм действия этой высшей силы и с удовольствием воскрешал в памяти эффектное зрелище ее применения — разумеется, не питая ни малейшей враждебности к трем милым дамам, прогостившим у него весьма порядочное время. Изумительная Шарлотта! Она не шумела, не скандалила. Мистер Вервер сперва даже и не заметил, что рядом с ним нечто происходит — а происходило-то все под ее умелым руководством. «Они почуяли ее, и пламя их обратилось в дым», — обронила миссис Ассингем, заставив его глубоко задуматься уже тогда, во время их прощальной прогулки по террасе. После того долгого разговора с Мегги, когда было реше-

но, что он сам отправит приглашение ее подруге, у мистера Вервера сформировалось какое-то странное пристрастие, как он сам бы выразился: ему нравилось слушать, как другие говорят при нем об этой девушке — так сказать, слушать, что может быть о ней сказано; как если бы у него на глазах некий выдающийся художник создавал ее портрет и можно было смотреть, как ложатся на холст все новые и новые мазки. Миссис Ассингем тоже добавила несколько чрезвычайно тонких штрихов, и теперь перед мистером Вервером возник образ, совершенно непохожий на девочку, что играла вместе с маленькой Мегги в те далекие дни, когда ему случалось отечески поучать обеих малышек, чтобы они не очень шумели и не ели слишком много варенья. Фанни призналась даже, что, глядя на стремительное победоносное шествие Шарлотты, невольно испытала легкую жалость к их давешним гостьям.

— В глубине души мне было их так жаль, что я старалась помалкивать о своих впечатлениях, пока они еще были здесь, чтобы никого не натолкнуть на разные мысли — ни Мегги, ни князя, ни вас, ни даже саму Шарлотту, — если только вы сами случайно не заметите. Вы, по-видимому, не заметили, и теперь, наверное, думаете, что я

чудачка. Но это совсем не так, я следила очень внимательно. Было просто видно, как бедняжки постепенно начинают понимать, что они обречены. Так, наверное, могли смотреть друг на друга придворные Борджиа, когда кто-нибудь из них, отведав вина по приглашению главы рода, вдруг начинал чувствовать себя немного не в своей тарелке. Конечно, мое сравнение чуточку хромает, ведь я ни в коем случае не хочу сказать, что Шарлотта сознательно подсыпала яд им в бокалы. Она сама была им ядом в том смысле, что она для них несовместима с жизнью, — но она об этом совершенно не подозревает.

— Ах, она об этом не подозревает? — переспросил мистер Вервер с живым интересом.

— По крайней мере, я думаю, что не подозревает. — Миссис Ассингем была вынуждена признать, что не расспрашивала об этом Шарлотту. — Не стану скрывать — я не могу сказать с уверенностью, что известно Шарлотте о тех или иных предметах. Конечно, она, как и большинство людей, не любит причинять боль другим, даже если это женщины; она предпочитает, чтобы им с нею было легко и приятно. Она, как и все приятные люди, любит, чтобы ее любили.

— Ах вот как, она любит, чтобы ее любили? —

повторил мистер Вервер.

— Но в то же время ей наверняка хотелось помочь нам — чтобы нам стало легко и приятно. То есть, чтобы вам… и чтобы Мегги перестала беспокоиться из-за вас. Вот в этом смысле можно сказать, что у нее был план. Но насколько эффективно все сработает — это она поняла только потом, уже после; я просто уверена, что не до.

И снова мистер Вервер не счел возможным оставить ее слова без всякой реакции.

— А, так она хотела помочь нам? Помочь мне?

— Ну как же, — отозвалась миссис Ассингем после минутной запинки, — разве вас это удивляет?

Он задумался не больше, чем на мгновение.

— О нет, нисколько!

— Шарлотта ведь такая умница. Она, конечно, как приехала, сразу поняла, что к чему. Ей не требовалось, чтобы мы все по очереди прокрадывались ночью к ней в комнату или уводили ее в поля, поведать свою трепетную повесть. Я думаю, она даже немного раздражалась.

— На этих бедняжек? — уточнил мистер Вервер, не дождавшись продолжения.

— Да нет, на то, что вы сами не можете так, как она… Особенно вы. Я, например, ни на минуту

не сомневаюсь, что она считает вас слишком мягкосердечным.

— О, она считает меня слишком мягкосердечным?

— Со стороны вполне может показаться, что ее специально вызвали, чтобы справиться с ситуацией. В конце концов, ей всего только и понадобилось быть милой с вами.

— Э-э… Со мной? — сказал Адам Вервер.

Позднее он припоминал, что его приятельница откровенно рассмеялась над его ошарашенным тоном.

— С вами и со всеми остальными. Ей достаточно было просто быть собой, такой, какая она есть, во всем без исключения. Если она очаровательна, что она может с этим поделать? Вот только этим она и «действовала», как действует вино семейки Борджиа. Было просто-таки видно, как до них доходит, насколько очаровательной может быть женщина, непохожая на них — и настолько непохожая! Видно было, как они начинают понимать и переглядываться, и вдруг падают духом и решают убраться прочь. Ведь им волей-неволей пришлось уяснить, что она и есть настоящее.

— А, значит, она и есть настоящее? — Мистер Вервер не успел еще уяснить это столь же осно-

вательно, как барышни Латч и миссис Рэнс, и теперь могло показаться, что он делает некую уступку. — Понятно, понятно… — Теперь уж он это уяснил, но не без поползновения разобраться все-таки, что же это такое — «настоящее». — А что вы… э-э… конкретно под этим понимаете?

Миссис Ассингем лишь на миг затруднилась с ответом.

— Да как же — именно то, чем стремятся быть все эти дамы, но, глядя на нее, понимают, что такими им никогда не стать.

— О, конечно — никогда!

От этого разговора осталось отчетливое ощущение, с течением времени лишь углублявшееся и усугублявшееся: ощущение, что в жизни мистера Вервера, — в определенной ее области, обычно именуемой «роскошью человеческого общения», — вновь появился тот предмет обстановки, который классификаторы относят к разряду «настоящее», и появился как раз в тот момент, когда он нашел в себе силы в таком именно духе воспринимать замужество своей дочери. Элемент реальности, к тому же освещенный дополнительным светом прожекторов, таил в себе то же очарование, которое сильнее всего привлекало мистера Вервера в самых удачных «находках», а

главное — как ничто другое занимал этого обаятельного джентльмена и поддерживал в нем вкус к жизни. Пожалуй, будь у нас время задуматься над этим, подобный подход мог бы показаться довольно странным: считать равноценными столь несхожие предметы движимого имущества, как, скажем, старые персидские ковры и новые знакомые; особенно если учесть, что и сам симпатичнейший мистер Вервер отчасти сознавал, что в качестве дегустатора жизни устроен удивительно экономно. Все, что намеревался пригубить, он помещал в один и тот же маленький стаканчик, словно всегда и везде носил с собою в качестве орудия своего ремесла крошечную емкость граненого стекла, украшенную тонкой резьбой, выполненной по давно забытой технологии, и упакованную в старинный сафьяновый футляр с золотым тиснением, изображающим герб ныне свергнутой династии. Такой способ восприятия он в свое время применил к Америго и к некоему Бернардино Луини, с которым тогда же познакомился, — и ту же методику применял теперь к Шарлотте Стэнт, равно как и к необыкновенному комплекту восточной керамики, о котором он совсем недавно прослышал, с которым была связана какая-то увлекательная легенда и о кото-

ром, к большому удовольствию мистера Вервера, можно было получить дальнейшие сведения от некоего мистера Гутерман-Зойса из Брайтона. Эстетический принцип был заложен в самой глубине души мистера Вервера, где и горел холодным неподвижным пламенем, питаясь почти исключительно материями, непосредственно с ним связанными: идеей пластической красоты (с последующим приобретением в собственность), зримого совершенства предмета в ряду подобных ему предметов; словом, хотя «всепожирающая стихия огня» в целом имеет тенденцию распространяться вширь, в случае мистера Вервера вся прочая духовная обстановка, расставленная скупо и скромно, но неосознанно-тщательно ухоженная, избежала возгорания, так часто случающегося при небрежном обращении с огнем на языческих алтарях. Иначе говоря, Адам Вервер вызубрил до последней строчки урок, какой преподают наши органы чувств, не вызывая при этом ни малейшего возмущения в своем налаженном хозяйстве. В этом плане он напоминал тех любимцев Фортуны, холостяков или просто джентльменов в поисках удовольствий, что ухитряются так ловко проводить к себе в дом компрометирующих особ, что даже самая строгая

домоправительница, занятая своими делами в нижнем этаже, не находит повода подать заявление об уходе.

Впрочем, наше сравнение несколько вольно, что едва ли оправдывается обстоятельствами, хотя, пожалуй, мы его все-таки сохраним ради его грубо-негативного значения. В скором времени и по причинам сугубо внутреннего характера случилось так, что не минули еще первые десять дней ноября, как мистер Вервер остался в поместье практически наедине со своей юной приятельницей. Америго и Мегги довольно неожиданно попросили отпустить их на месяц за границу, поелику самому мистеру Верверу, слава богу, уже ничто не угрожало, притом же и было кому его развлекать. В душе у князя шевельнулся весьма естественный порыв; его устоявшаяся жизнь была восхитительно скучна, а стало быть, в общем и целом вполне его устраивала, но внезапно молодого человека потянуло в родные края, и Мегги с бесконечным восхищением пересказывала отцу, как красиво он описывал ей это чувство. Он сравнил его с «серенадой» — тихой музыкой, что раздается, тревожа ночной покой, за окнами спящего дома. Робко и жалобно звучит она, и все же, слыша ее, невозможно сомкнуть

глаза, и вот, подойдя на цыпочках, выглядываешь — и видишь внизу неясный силуэт с мандолиной в руках, окутанный сумрачным одеянием; фигура поднимает к окну молящие глаза, и ты узнаешь проникновенный голос навеки возлюбленной Италии. К этому зову нельзя не прислушаться рано или поздно. Печальный призрак неотступно преследует тебя смутной и скорбной тенью, словно дух человека, которому ты причинил зло, и взывает об утешении. Утешить же его, очевидно, можно было только одним способом, поскольку все эти вычурные речи, по сути, сводились к одному простому факту: нашему превосходному римлянину пришла фантазия снова повидать Рим. Так мы поедем ненадолго, правда? И Мегги принялась пылко уговаривать отца, причем приводила коварный аргумент, изрядно его позабавивший, о котором мистер Вервер, посмеиваясь, рассказал Шарлотте Стэнт, успев привыкнуть общаться с нею по самым разным поводам. Аргумент же был такой: если подумать, Америго никогда раньше ни о чем ее не просил.

— Само собой, она не считает того раза, когда он попросил ее выйти за него замуж, — прибавил мистер Вервер с добродушной насмешкой, но тут же оказалось, что Шарлотта не меньше его

самого растрогана простотою Мегги и полностью разделяет его отношение к делу. Пусть бы даже князь каждый божий день о чем-нибудь просил жену, это же не причина отказывать дорогому бедняжке в поездке на родину, раз уж его охватила столь восхитительная ностальгия.

А посему мистер Вервер без всяких экивоков дал следующий совет: пусть благоразумная — слишком даже благоразумная! — парочка прихватит заодно три-четыре недельки в Париже; ибо Париж неизменно приходил на ум мистеру Верверу как идеальное решение любых проблем. Если они это сделают, на пути туда или обратно, как захочется, Шарлотта с мистером Вервером смогут ненадолго присоединиться к ним — хотя, разумеется, совсем не потому, чтобы они заскучали, оставшись вдвоем, прибавил он с большим чувством. Сказать по правде, какое-то время судьба всей идеи висела на волоске под натиском разрушительного анализа со стороны Мегги, оказавшейся перед выбором: стать ли ей противоестественной дочерью или противоестественной матерью. Выбрав первый вариант, она пожелала узнать, что будет с Принчипино, если с ним не останется никого, кроме слуг. Вопрос прозвучал устрашающе, но вскоре, как часто случалось с ее

вопросами, сник и увял еще быстрее, чем появился: на время отъезда молодой четы следовало доверить царственную колыбельку неусыпным заботам миссис Нобль и доктора Брэди. Если бы Мегги не верила так истово в безмерные добродетели няньки, чья опытность сама по себе могла заменить младенцу самую пышную подушку, а внимание и забота простирались над ним, словно полог, с которого свисают щедрыми складками многочисленные воспоминания долгих лет работы, — если бы Мегги не поддерживала эта вера, она, скорее всего, отправила бы мужа путешествовать в одиночку. Точно так же, если бы милейший — так она его аттестовала — сельский доктор не проявил глубочайшую мудрость, безропотно беседуя с ней целыми часами, особенно в дождливые дни и в прямой пропорции к частоте своих визитов, совершавшихся в любую погоду, с готовностью обсуждая всевозможные причины и следствия, а также результаты собственного опыта, накопленного при выращивании пяти отпрысков, то вряд ли Мегги согласилась бы удовлетвориться такой малостью, как присутствие рядом с малышом родного дедушки и своей блестящей подруги. Но поскольку ее страхи, как видим, понемногу улеглись, эти скромные персо-

ны могли с легким сердцем нести возложенное на них бремя, всемерно помогая друг другу. И, надо сказать, взаимная помощь оказалась очень кстати, ибо миссис Нобль внезапно предстала перед ними в величественном и грозном обличье.

Теперь мистер Вервер регулярно встречался со своей молодой приятельницей в дневной детской — очень похоже на то, как прежде встречался здесь с любящей мамочкой, поскольку Шарлотта, видимо, обещала Мегги не оставлять дитя без наблюдения и старалась в своих ежедневных письмах сообщать, по возможности, самые свежие новости. Отчеты составлялись весьма добросовестно, о чем Шарлотта не преминула рассказать мистеру Верверу с тем, довольно примечательным, результатом, что сам он письма писать перестал, отчасти потому, что Шарлотта и так «все о нем рассказывает», — о чем она также поставила его в известность, — отчасти же ему просто было приятно, что кто-то взял на себя долю его обязанностей и, как говорится, «позаботился» о нем. Оказавшись вдруг связан общими домашними хлопотами с этой умной и обаятельной девушкой, да еще в своем собственном доме — почему-то от этого происходящее воспринималось острее и глубже, — мистер Вервер

словно увидел ее новыми глазами и с интересом наблюдал, куда заведет его эта непривычная общность интересов. Он с немалым удовольствием убеждался в том, насколько права была Фанни Ассингем, когда говорила в их последнюю встречу, что такая девушка, как Шарлотта, может многое изменить в его жизни. Что-то уже изменилось в их упростившемся существовании, и весьма значительно, хотя, в отличие от Фанни, ему не с кем было ее сравнивать — не было уже ни миссис Рэнс, ни Китти и Дотти Латч, рядом с которыми, по диагнозу Фанни, она ощущалась такой настоящей. Она была безусловно настоящей по совершенно другим причинам, и со временем мистеру Верверу даже начало казаться немного смешным, что миссис Ассингем потребовались такие сложные построения, чтобы намекнуть ему об этом. Она была просто по-человечески настоящей, очень мило и по-домашнему, и особенно — в те моменты, которые мы только что подсматривали украдкой, когда миссис Нобль ясно давала им обоим понять, что в отсутствие королевы-матери она, и только она, является регентшей королевства и наставницей наследного принца. Она обходилась с ними так надменно, словно они были в лучшем случае парочкой

никому не нужных придворных вельмож, раззолоченных знатных бездельников, допущенных к малому королевскому выходу, но не имеющих никакого отношения к делам государственным, которые начинаются и заканчиваются в детской. В такой ситуации оставалось одно: скромно удалиться в отведенные им покои, чтобы там дружно грустить о своей почетной незначительности, отпуская по адресу истинной вершительницы дворцовых судеб едкие остроты, достойные какого-нибудь камергера эпохи рококо, желчно нюхающего табак в окружении фарфоровых собачек.

По вечерам после обеда Шарлотта Стэнт играла ему на рояле; не нуждаясь в нотах, она исполняла одну за другой его «любимые вещицы», — их было очень много, — исполняла легко и без запинки, а если и запнется, то мгновенно поправлялась, стоило ему лишь напеть обрывок мелодии. Она могла сыграть абсолютно что угодно, и хотя утверждала каждый раз, что играет отвратительно, но у мистера Вервера осталось смутное ощущение, что играет она великолепно и что точно так же могла бы она, стройная, гибкая и сильная, и сдержанно-страстная, играть в лаун-теннис или бесконечно долго вальсировать,

ни разу не сбившись с такта. О музыке, в отличие от прочих своих любимых предметов, мистер Вервер имел довольно неясное представление, но когда он сидел в затененном уголке на диване и курил, курил, неизменно курил, в просторной гостиной усадьбы «Фоунз», как и везде, сигары своей молодости, навевающие аромат воспоминаний, — итак, когда он сидел и слушал игру Шарлотты, перед которой на рояле не лежали ноты, а стояли только зажженные свечи, ярко освещая всю картину, в такие минуты эта неясность расстилалась вокруг него бесконечным ковром, восхитительно мягким и пушистым под любопытствующей рукой. Подобное времяпрепровождение вполне заменяло беседу, но когда они наконец прощались на ночь, в воздухе как будто еще слышались отзвуки долгих разговоров. Они расходились в разные стороны, посреди притихшего дома, не совсем непринужденно, но и без явной неловкости, держа в руках высокие тонкие свечи, подмигивающие в темноте, чаще всего — так поздно, что уже все слуги успевали торжественно удалиться на покой.

Но несмотря на поздний час, однажды в конце октября, наш друг успел расслышать словечко-другое в еще не успевшем затихнуть океане

других голосов, и это слово или два удивительным образом показались ему круглее и громче всех сопутствующих им звуков. Он задержался, делая вид, будто запирает оставленное открытым окно, уже попрощавшись со своей спутницей и провожая взглядом ее свечу, мерцающую на лестнице. Самому ему не хотелось спать; он взял в прихожей шляпу, набросил на плечи плащ, раскурил очередную сигару, вышел через окно гостиной, доходящее до самого пола, на террасу и целый час расхаживал взад и вперед под яркими осенними звездами. Здесь он ходил когда-то солнечным полднем с Фанни Ассингем, и теперь снова видел перед собой ту прогулку, ту женщину с ее намеками, видел так ясно, как никогда прежде. Мистер Вервер размышлял, рассеянно, почти взволнованно, о самых разных вещах, чей волнующий характер отчасти и убедил его в том, что уснуть удастся не скоро. Одно время ему мнилось даже, что он совсем не заснет, пока не забрезжит перед ним какой-то новый свет, какая-то идея, — может быть, просто удачное слово, в котором он давно уже нуждается, но до сих пор только тщетно нащупывает, особенно в последний день или два. «Так вы в самом деле поедете, если мы отправимся с утра пораньше?» — вот,

в сущности, и все, что он сказал Шарлотте, когда она забирала свечу на ночь. А она ответила: «Боже мой, почему бы и нет, если мне совершенно нечем больше заняться, да к тому же это доставит мне огромнейшее удовольствие?» Тем и ограничился ее вклад в эту маленькую сцену. Собственно говоря, незачем даже называть это сценой, пусть бы даже и самой маленькой, хотя мистер Вервер плохо понимал, почему не возникло даже отдаленного намека на сцену, когда Шарлотта остановилась на середине лестницы и сказала, глядя на него сверху вниз, что обещает обойтись в поездке одной лишь мочалкой да зубной щеткой. Во всяком случае, пока он ходил по террасе, его окружали знакомые образы, да в придачу еще два-три новых и непривычных, а среди первых не последнее место занимало уже упомянутое нами ощущение, что к нему относятся с уважением и заботой, — одно из мелких, но весомых преимуществ, связанных со статусом тестя. Прежде мистер Вервер полагал, что секрет этого бальзама известен одному лишь Америго, видимо, в силу каких-то наследственных привилегий; теперь же он начал подозревать, что молодой человек по доброте душевной поделился своими познаниями с Шарлоттой. Как уж это у

нее получалось, бог ее знает, но она обращалась к безмолвно-благодарному хозяину дома с тем же уважительным вниманием и точно так же умела подчеркнуть его значительность. Даже наедине с самим собой мистер Вервер находил, что это очень неуклюжий способ выразить схожесть приятного впечатления, какое они на него производили; он задерживался на этом мыслями только потому, что такое счастливое совпадение заставляло смутно объединять их, предполагая некую общность традиций, воспитания, такта или как там еще это называется. Чуть ли не начинало казаться, — если бы можно было вообразить подобные отношения между ними, — что Америго «натаскал» в соответствующем духе их общую приятельницу, или, может, она просто проявила одну из сторон своего совершенства, столь милого сердцу Фанни Ассингем, внимательно наблюдая за поведением князя и успев усвоить его систему за то недолгое время, что все они провели вместе до отъезда путешественников. Возможно, мистер Вервер ломал себе голову над тем, чем же именно они так похожи друг на друга в своем обращении с ним, какой возвышенный, освященный временем обычай берут за образец, руководствуясь им в тех случаях, когда пресло-

вутую «значительность» нельзя ни слишком уж грубо провозглашать, ни слишком уж грубо обесценивать. Трудность здесь, разумеется, заключается в том, что эти вещи невозможно понять человеку, который сам никогда не был выдающейся личностью — каким-нибудь папой римским, королем, президентом, генералом или хотя бы гениальным писателем.

Столкнувшись с подобным вопросом, равно как и с некоторыми другими, возникавшими перед ним снова и снова, мистер Вервер останавливался, опирался о старинный парапет и погружался в глубокое раздумье. Он никак не мог прийти к определенному мнению по поводу множества беспокоящих его предметов, потому и метался в поисках идеи, таящейся в недрах необъятной ночной прохлады, одно дуновение которой примирит между собой все противоречия и позволит ему воспарить, не касаясь земли, в долгожданной безмятежности духа. Однако на деле он неизменно возвращался, с тревожным чувством, к одному соображению, более глубокому, чем прочие: вступив в новые, близкие отношения с другим человеком, он в каком-то смысле откажется от дочери или, по крайней мере, отдалится от нее. Он как будто придаст законченную и явную форму

идее о том, что ее замужество неизбежно должно было разлучить их; он придаст форму идее о том, что ему причинен ущерб или, по крайней мере, неудобства, которые требуется возместить.

А самое главное — может показаться, что он разделяет мнение, которое не раз высказывала сама Мегги со свойственным ей великодушием: будто он пострадал — выражаясь несколько преувеличенно — от ее руки. Если она и преувеличивала, то, по крайней мере, искренне, а причиной всему было то, что Мегги, по ее собственным словам (опять же с некоторой долей преувеличения), всегда представляла себе его, чувствовала и говорила о нем, как о молодом человеке.

Можно было подумать, что зло, причиненное ею отцу, дополнительно усугубляется тем обстоятельством, что ему предстоит мучиться еще долгие годы. Она принесла в жертву своего родителя, жемчужину среди родителей, по возрасту — своего ровесника; будь он нормальных родительских лет, все было бы далеко не так страшно. Но он не такой как все, он — равный ей, ее сверстник, и потому поступок ее обременен столь тяжкими и затяжными последствиями. Он боялся дохнуть холодом на пышное цветение ее духовного сада, и вот, наконец, перед ним

вспыхнул свет.

Один поворот — и выход из лабиринта распахнулся так широко и неожиданно, что мистер Вервер, пораженный, на минуту задержал дыхание. Позднее он вспоминал, как озарилась для него осенняя ночь, как ясно стало видно все вокруг: просторная терраса, на которой он стоял, другие террасы, пониже, с ведущими к ним ступенями, сады, парк, озеро, далекий лес — все словно озарилось невероятным полуночным солнцем. Все было открытием для него в ту минуту в удивительно новом, будто невесомом мире, где знакомые предметы вдруг обрели непривычную четкость очертаний и как будто увеличились в размерах, требуя внимания, громко заявляя о своей красоте, индивидуальности, значительности и еще бог весть о чем. Галлюцинация, или как там ее ни назвать, продолжалась недолго, но вполне достаточно, чтобы у мистера Вервера захватило дух. Но потрясение немедленно поблекло рядом с ослепительной яркостью следующей мысли, что явилась вслед за первой: если уж чему-то и стоит удивляться, так только тому, что он так долго шел к своему открытию. Вот уже несколько дней он ощупью мучительно искал то, что лежало под ногами, и был слеп исключительно потому, что

по глупости все время смотрел вдаль. А решение сидело возле его очага, откуда и смотрит теперь прямо ему в лицо.

Стоило один раз понять это, как все противоречия разрешились сами собой. Лучи воссиявшего света сошлись в одной сверкающей точке: его предназначение на всю будущую жизнь сводится к тому, чтобы постепенно заставить Мегги отказаться от мысли, будто она покинула своего отца. Мало того что задача эта гуманна и вполне выполнима, что переход может совершиться легко и безболезненно для Мегги, — еще одна идея захватила мистера Вервера, он испытывал волнение, вдохновение, подъем. Ведь в его распоряжении вполне реальное средство осуществить свою благородную задачу! Он может успокоить свое дитя, обеспечить свое и ее будущее, если вступит в брак, столь же удачный, говоря относительно, как и ее собственное замужество. Наслаждаясь освежающей новизной такого подхода, мистер Вервер понемногу осознавал глубокий смысл недавних треволнений. Он сразу понял, что Шарлотта может внести свою лепту, не понимал только, в чем должна состоять эта лепта. Наконец, все великолепнейшим образом прояснилось, мистер Вервер просто поставил себе цель: напра-

вить досуг их юной приятельницы на благое дело заботы о душевном покое его дочери. Прохладная ночная тьма вновь сомкнулась вокруг него, но в сознании по-прежнему царила полная ясность. И не в том дело, что решение так точно подошло к загадке, а в том, что загадка идеально подходила к решению. Средство, которое было ему так необходимо, могло ведь и не найтись. О, конечно, если Шарлотта ответит отказом, применить это средство не удастся; но, раз уж все так сошлось, одно к одному, стоит по крайней мере попробовать. Зато какой будет успех, мелькнуло напоследок, если он не только успокоит Мегги, но и сам станет в равной степени счастлив! Право, еще никогда в жизни ему не приходила в голову такая удачная мысль. Помышлять о чем-то подобном ради себя одного, даже при том, какие чувства посещали его в последнее время, даже отдавая должное всем этим чувствам, — нет, невозможно. Но ради ребенка… О, это совсем другое дело!

12

Совсем другое дело, и с особой отчетливостью эта разница выяснилась в Брайтоне. За три изумительных дня, проведенных там с Шарлоттой, мистер Вервер получил еще более глубокое — хотя, безусловно, все-таки далеко не полное — представление о преимуществах своего грандиозного плана. Пока он только лишь присматривался к своей идее, поворачивая ее то одной, то другой стороной, как, бывало, осматривал какой-нибудь хрупкий античный кувшин или поправлял на стене картину в раме, чтобы стекло не давало бликов на свету. А тем временем разнообразные привходящие соображения в пользу его проекта, не зависящие от мистера Вервера и потому обреченные оставаться в значительной мере неясными, пока он не «откроется» ей, — эти тонкие материи, говорю я, буквально множились у него на глазах, словно свежий брайтонский воздух и солнечное брайтонское побережье придавали им некую соблазнительную осязаемость. На этом предварительном этапе ему нравилось думать, что он может «открыться» и сделает это. Романтическое выражение само по себе словно

пускало в ход механизм ассоциаций с повестями и пьесами, где красивые, пылкие молодые люди в военной форме, лосинах, плащах, высоких сапогах то и дело употребляли это слово в своих монологах.

Весь первый день мистера Вервера неотступно преследовало чувство, что он непременно должен совершить великий шаг прежде, чем закончится день второй. Это и заставило мистера Вервера сказать своей спутнице, что, пожалуй, стоило бы пробыть здесь дольше запланированных одного-двух дней. Во всяком случае, ему хотелось получше прощупать почву, и в этом отношении он явно мало-помалу продвигался вперед. Все говорило о том, что действует он не темною ночью, а ясным солнечным утром; не в спешке, суете и лихорадке, каковые опасности столь часто подстерегают заблудших на пути страсти, а планомерно и целеустремленно.

Возможно, планомерность не так увлекательна, как страсть, но зато позволяет большего достигнуть и лучше справляться с различными непредвиденными обстоятельствами, а это немаловажное достоинство. Сезон, что называется, «начался»; обычное место сбора здешнего общества, громадная, продуваемая всеми ветрами

гостиница кишела разнообразными «типажами» (излюбленное словечко Шарлотты) и переполнялась оглушительным шумом, в котором тонула, тщетно соревнуясь с непрестанно хлопающими пробками, безумная музыка позлащенных и щедро увешанных аксельбантами оркестров, хорватских, далматских, карпатских, ностальгирующих и безудержно-экзотических. От такого, безусловно, нетрудно было растеряться, но друзья наши оказались на высоте и испытывали только лишь веселое удивление. В благородном уединении «Фоунз» они накопили — по крайней мере, мистер Вервер накопил — малую толику терпимости, каковую и мог теперь израсходовать на буйную пестроту светской жизни. Поместье «Фоунз», каким воспринимал его мистер Вервер и что подтверждали также Мегги и Фанни Ассингем, находилось вдали от мира, теперь же вся окружающая обстановка, где даже море превратилось в огромный грохочущий аттракцион с аквариумами и катанием на лодках, создавала у него ощущение, будто он находится в центре вселенной. Ничто на свете не могло бы настолько полно воплотить ту пульсацию жизни, о которой еще дома было единодушно решено постараться больше не забывать. Отчасти вышеупомянутую

пульсацию жизни привносила в их дом Шарлотта, и теперь бывали минуты, когда ее спутник, быть может, чувствовал себя в долгу у этой леди за проведенную ею предварительную подготовку. Грубо выражаясь, он «привез» ее с собой, но со стороны вполне могло показаться, что это как раз она, более живая, более любопытная ко всему, более энергичная, более насмешливая, водит его за собой, показывая местные достопримечательности. Если подумать, его никогда еще никуда не водили: наоборот, он всех водил, и чаще всего — Мегги. Непривычное ощущение, несомненно, стало для мистера Вервера своеобразной вехой, отмечая начало очередного, как принято деликатно выражаться, «жизненного этапа» — весьма лестное и приятное пассивное состояние, которое могло бы стать — а почему нет? — одной из радостей будущего.

Мистер Гутерман-Зойс оказался на следующий день — ибо наш друг решил не торопиться со встречей — замечательно приветливым, общительным молодым человеком, который прямо-таки светился радушием. Он занимал небольшой аккуратный домик, довольно далеко от побережья, и жил в лоне своего семейства, что сразу же бросалось в глаза. Посетителей

немедленно познакомили с целой толпой леди и джентльменов постарше и помоложе, а также детишек, побольше и поменьше, которые ничуть не менее хозяина дома блистали гостеприимством. На первый взгляд могло показаться, будто эти люди собрались здесь по случаю дня рождения или еще какого-то ежегодного и свято соблюдаемого праздника, хотя впоследствии выяснилось, что все они — члены тихого домашнего кружка, обязанные своим пропитанием непосредственно мистеру Гутерман-Зойсу. Поверхностному наблюдателю этот последний мог показаться всего лишь бойким юнцом не более тридцати лет отроду, в безупречном костюме, однако же вокруг него толпилось многочисленное потомство — числом одиннадцать, признался он без малейшего намека на жалобу; одиннадцать чистеньких смуглых личиков, но с такими древними бесстрастными глазами по обеим сторонам от столь же древних и бесстрастных носов! Они теснились рядом с отцом, пока тот беседовал с великим американским коллекционером, с которым давно мечтал познакомиться и чья очаровательная спутница, красивая, открытая, дружелюбная молодая леди (по-видимому, миссис Вервер) замечала и разнокалиберных детишек, и толстых тетушек

с серьгами в ушах, и лоснящихся фамильярных дядюшек, демонстрирующих замашки истинных кокни наряду с неподражаемым акцентом, равно как и неподражаемым высокомерием, но по части элегантности значительно уступавших главе фирмы; короче говоря, она подмечала и обстановку дома, и предъявленное на обозрение сокровище, подмечала решительно все, словно в силу привычки, порожденной житейской мудростью, высоко ценила любые «забавные» впечатления. Мистеру Верверу тогда же пришло в голову, что такая наблюдательность, способность необыкновенно быстро улавливать смешное на каждом шагу, в будущем и правда может многое изменить в подобных визитах, в обычной для него охоте за возможными драгоценными находками, в неуемном любопытстве его раз и навсегда установившейся мономании. Эти походы могли бы стать совершенно другими, более легкомысленными, более увлекательными, словом — настоящим развлечением. Именно такие предчувствия одолевали мистера Вервера, когда мистер Гутерман-Зойс, проявляя прозорливость, какую трудно было в нем предположить, пригласил почетных гостей в соседнее помещение; прочие родичи, словно сговорившись, отстали у

порога. Здесь вниманию мистера Вервера немедленно были представлены предметы искусства, ради которых он, собственно, и приехал; но случалось ли когда в прошлом, чтобы в подобной ситуации он так мало думал о выставленных на обозрение сокровищах и так много — об одном из присутствующих рядом лиц, к тому же не имеющем никакого отношения к делу? Такого рода заведения были ему не в диковинку; иногда они принимали облик обычной мещанской гостиной, чуточку зловещей и мрачноватой из-за северного освещения, в каких обычно обитают курортные мошенники, а то могли обернуться и еще более безобидной — или еще более коварной — личиной. Мистер Вервер везде побывал, все обрыскал и обшарил, вплоть до того, что рисковал иногда, как сам он считал, жизнью, здоровьем и честью; но было ли когда такое место, где перед ним выкладывали бесценные изделия, вынимая их одно за другим из запертых на три замка, но притом частенько весьма вульгарных выдвижных ящиков и мягких футляров старинного восточного шелка, эффектно расставляя их и раскладывая, а он в рассеянности растекался мыслями, словно какой-нибудь полоумный?

Со стороны ничего нельзя было заметить — о,

это-то он знал наверное! Но сам он сделал в этот миг сразу два открытия, и одно из них едва ли могло считаться приятным, поскольку сильно его смутило. Поистине, у мистера Гутерман-Зойса была чрезвычайно своеобразная манера выкладывать карты на стол: он совершенно точно угадывал, чего не следует говорить в этот критический момент такому человеку, как мистер Вервер, болтовню же заменял выразительностью движений, бесконечно снуя от некоего безликого предмета обстановки из красного дерева к столу, который, упиваясь собственным добродетельным бескорыстием, накрылся выцветшей хлопчатобумажной скатертью в тонах темно-бордовом и индиго, навевавшей мирные картины патриархальных чаепитий. Дамасские изразцы с неимоверной нежностью извлекались из оберток один за другим, оказавшись наконец разложены во всем блеске освященной временем гармонии, но созерцающий их посетитель выносил свою оценку и принимал решение, почти не задумываясь, что едва ли не граничило с легкомыслием в человеке, который всегда утверждал без малейшего стеснения, что в подобных делах значительная доля удовольствия заключается в том, чтобы как следует «поторговаться». Неопи-

суемо древняя аметистово-синяя глазурь — на нее, кажется, и дохнуть-то страшно, как на щеку царствующей особы; о ней не могло быть двух мнений, но мистер Вервер, пожалуй, впервые в жизни принимал решение одним лишь разумом, столь же утонченным, как и разложенные перед ним совершенства; в остальном все его существо до последнего дюйма было захвачено одной мыслью: через час или два он должен «открыться». Слишком скоро предстояло ему сжечь свои корабли, чтобы сейчас, как это было у него в обычае, наслаждаться, перебирая возможные приобретения уверенными и чуткими пальцами. Почему-то это угадывалось уже в самом присутствии Шарлотты, не хуже самого мистера Гутерман-Зойса одаренной умением молчать, когда нужно, но при этом неизменно сохраняющей такую всеобъемлющую непринужденность, что припасенный на будущее критический отзыв начинал казаться благоуханным даром, уподобляясь ласкам, которые обещает влюбленному его возлюбленная, или пышному свадебному букету, который подружки невесты терпеливо держат у нее за спиной. Никак иначе невозможно объяснить, почему он ловил себя на том, что думает о столь многих отрадных вещах, только не о своей

удачной покупке и весьма значительной цифре, указанной в чеке; и каким образом чуть позже, когда они вернулись в первую комнату, где их вновь обступили многочисленные домочадцы, мистер Вервер оказался вовлечен в круг общего восторга, центром которого была Шарлотта, грациозно принимавшая и восхищенные взгляды со всех сторон, и портвейн с тяжелым, плотным кексом, придавшие только что заключенной сделке, как она заметила позднее, оттенок какого-то мистического древнееврейского обряда.

Зойса одаренной умением молчать, когда нужно, но при этом неизменно сохраняющей такую всеобъемлющую непринужденность, что припасенный на будущее критический отзыв начинал казаться благоуханным даром, уподобляясь ласкам, которые обещает влюбленному его возлюбленная, или пышному свадебному букету, который подружки невесты терпеливо держат у нее за спиной. Никак иначе невозможно объяснить, почему он ловил себя на том, что думает о столь многих отрадных вещах, только не о своей удачной покупке и весьма значительной цифре, указанной в чеке; и каким образом чуть позже, когда они вернулись в первую комнату, где их вновь обступили многочисленные домочадцы,

мистер Вервер оказался вовлечен в круг общего восторга, центром которого была Шарлотта, грациозно принимавшая и восхищенные взгляды со всех сторон, и портвейн с тяжелым, плотным кексом, придавшие только что заключенной сделке, как она заметила позднее, оттенок какого-то мистического древнееврейского обряда.

Этими наблюдениями она поделилась с ним на обратном пути, когда они направлялись в сгущающихся сумерках назад, навстречу морскому бризу и бурлящему прибою, к шуму, и треску, и сверкающим магазинам, что придают особую остроту обольстительной улыбке, нарисованной на маске ночи. Так они шли, все приближаясь, как это представлялось мистеру Верверу, к тому месту, где сгорят его корабли, и ему грезилось, что багровые отсветы этого пожара своим мрачным величием подчеркнут чистоту его побуждений. В то же время давала себя знать особого рода чувствительность, часто одолевавшая его, из-за чего мистеру Верверу начало казаться, — как ни трудно в это поверить, — будто между ними установились некие сентиментальные узы, долг учтивости или же, напротив, кара за отсутствие таковой, и все это только из-за того, что он подверг свою спутницу испытанию жестким

северным светом, какого и следовало ожидать в той сугубо деловой обстановке, в комнате, где они остались наедине с сокровищем и его владельцем. Ей пришлось выслушать, как была названа сумма, которой он способен не устрашиться. Если вспомнить, какую степень близости она уже бесповоротно допустила в своих отношениях с ним, и прибавить к этому, что с ее стороны не последовало ровным счетом никаких восклицаний или возражений при оглашении той внушительной цифры, за которую мистер Вервер, со своей стороны, не счел нужным извиняться, — напрашивается неизбежный вывод: теперь осталось сделать еще только один шаг. Порядочный человек не станет вот так совать свои деньги, да к тому же такую чудовищную сумму, под нос бедной девушке, — которая, в каком-то смысле, из-за бедности своей и оказалась-то у него в гостях, — если он не готов взять на себя определенную ответственность, логически вытекающую из ситуации. И это отнюдь не становится менее истинным оттого, что двадцать минут спустя, когда факел уже пущен в ход, да притом с известной долей настойчивости, исход дела оказывается вдруг далеко не так очевиден, как представлялось вначале. Мистер Вервер

открылся — он открылся ей, пока они сидели рядышком на скамейке, расположенной в стороне от других, которую он приметил во время одной из предыдущих прогулок и мысленно приберегал именно для этой минуты; сюда он постепенно, но неуклонно направлял Шарлотту в течение последней четверти часа, занятой чрезвычайно интересными репликами и паузами, исполненными скрытого значения. У подножия могучих утесов, на которых, белея оштукатуренными стенами, приютился живописный городок, между рокочущим прибоем, подступающим приливом и пронзительными звездами, что мало-помалу загорались впереди и вверху, преобладало все-таки ощущение покоя и безопасности от фонарей, скамеек, мощеных дорожек, говоривших о близости большого скопления людей, в данный момент готовящихся в очередной раз торжественно приступить к сниманию крышек с блюд.

— На мой взгляд, мы прекрасно провели вместе эти несколько дней, так что, надеюсь, вы не будете слишком удивлены, если я спрошу, могли бы ли вы найти возможным считать меня своим мужем?

Словно зная заранее, что она, безусловно, не ответит сразу, что правила хорошего тона ни в

коем случае не позволят немедленно дать ответ — не важно, положительный, отрицательный ли, — мистер Вервер прибавил еще несколько слов. Обдумывая заранее предстоящий разговор, он пришел к выводу, что это будет необходимо. Он только что задал вопрос, после которого уже не было пути назад, принеся тем самым символическую жертву в виде сожженных кораблей, сказанное же вслед за тем долженствовало обозначать собою добавочную порцию запала, чтобы обреченная флотилия уж наверняка сгорела дотла.

— Это не внезапное решение, и, возможно, вы могли почувствовать, что дело идет к этому. Я размышлял о браке с тех пор, как мы уехали из «Фоунз» — на самом деле, все началось еще там.

Он говорил медленно, желая дать ей время как следует подумать; тем более что, слушая, она была вынуждена смотреть ему в лицо и была при этом замечательно хороша — немаловажное и само по себе приятное следствие. Во всяком случае, она, кажется, не была шокирована, — впрочем, и то сошло бы за вполне уместную застенчивость. Мистер Вервер готов был дать ей сколько угодно времени на размышления.

— Не думайте, пожалуйста, будто я забываю,

что я уже не молод.

— Ах, вот уж нет! На самом деле я старше вас. Вы-то как раз молоды.

Это были ее первые слова, и, судя по тону, каким они были сказаны, она успела как следует подумать. Ответ не совсем по существу, но, по крайней мере, доброжелательный, а это главное. Она заговорила снова, все с той же доброжелательностью в ясном тихом голосе и бесстрашным выражением лица.

— Я тоже глубоко убеждена, что это были прекрасные дни. Я не была бы так благодарна за них, если бы не догадывалась, более или менее, к чему они ведут. — Почему-то у мистера Вервера возникло ощущение, словно она сделала шаг ему навстречу, продолжая в то же время неподвижно стоять на месте. Несомненно, все это означало только одно: она раздумывает, серьезно и рассудительно. Именно этого он и хотел. Если она будет раздумывать достаточно долго, то, скорее всего, додумается до того, к чему он стремится. — Мне кажется, — продолжала она, — это вам необходимо сначала убедиться, уверены ли вы.

— О, я-то уверен, — сказал Адам Вервер. — Я никогда не говорю о важных вещах, не будучи вполне уверен. Так что, если вы сами в состоянии

представить себе такой брак, то и беспокоиться не о чем.

Снова она долго молчала и как будто пыталась представить себе это, не пряча от него глаз, в сумерках, пронизанных светом уличных фонарей, под вздохами ласкового, чуть влажного зюйд-веста. Но через минуту итог ее раздумий выразился всего лишь следующими словами:

— Не стану скрывать, я считаю, что замужество — это хорошо. Я хочу сказать, хорошо для меня, — продолжала она, — потому что у меня совсем никого нет на свете. Надоела эта ужасная бесприютность. Хочется, чтобы был свой дом, какая-то своя жизнь. Чтобы были какие-то причины делать одно, а не другое… Причины, которые касаются не только одной меня. На самом деле, — сказала она так искренне, чуть ли не с болью, но и так откровенно, что чуть ли не с юмором, — на самом деле мне, знаете ли, хочется замуж. Тут все дело… Ну, в состоянии.

— В состоянии? — недоуменно переспросил он.

— Я хочу сказать, в семейном положении. Мое мне не нравится. «Мисс» — так чудовищно звучит, если только обращаются не к продавщице. Я не хочу превратиться в кошмарную английскую старую деву.

— О, вам хочется, чтобы кто-то о вас заботился. Что ж, очень хорошо, я буду о вас заботиться.

— Да, наверное, речь идет приблизительно об этом. Только я не понимаю, почему для такой малости, — она улыбнулась, — для того, чтобы всего лишь изменить свое семейное положение, я должна сделать так много.

— Так много — выйти замуж именно за меня, а не за кого-нибудь другого?

Она все улыбалась с необыкновенной прямотой.

— Того, что мне нужно, можно добиться и не такой ценой.

— Вы считаете, это для вас слишком много?

— Да, — ответила она, помолчав. — Я считаю, что это очень много.

И тут, хотя она говорила так мягко, с истинной деликатностью, и он чувствовал, что немало преуспел на своем пути, — но тут вдруг что-то словно разладилось, и он уже плохо понимал, как обстоят дела между ними. И, конечно, он сразу подумал о разнице в возрасте, пускай она так великодушно и так упрямо умалчивает об этом. Он ей в отцы годится!

— Да, конечно, в этом моя беда. Я далеко не идеал, я вам не ровня, с вашей молодостью и

красотой. Вы всегда рассматривали меня совершенно в другом свете. Сейчас это говорит против меня, и тут уж ничего не поделаешь.

Но она медленно покачала головой, возражая ему так мягко, как будто даже печально, и еще прежде, чем она заговорила, он уже смутно предчувствовал, что у нее готово какое-то другое, более глубокое возражение, рядом с которым его доводы покажутся незначительными.

— Вы меня не поняли. Я думала о том, что все это будет значить для вас.

О, теперь дело проясняется!

— Не стоит об этом думать. Я хорошо знаю, что это будет значить для меня.

Но она опять покачала головой.

— Едва ли вы это знаете. Едва ли вы можете знать.

— А почему нет, позвольте спросить, если я так хорошо знаю вас? Если я стар, в этом есть хоть то достоинство, что я имел возможность давно и долго наблюдать за вами.

— И вы думаете, что «знаете» меня? — спросила Шарлотта Стэнт.

Мистер Вервер запнулся: интонация Шарлотты и взгляд, сопровождавший вопрос, вполне могли озадачить. Но поставленная перед самим собой

твердая цель, уже совершенный необратимый поступок, розоватые отсветы пылающих кораблей, недвусмысленное потрескивание пламени за спиною — все это подталкивало его куда сильнее, чем любые ее предостережения. К тому же в розовых отсветах сама Шарлотта рисовалась так привлекательно… Мистера Вервера, конечно, ни в коем случае нельзя назвать необузданным, но и напугать его было не так-то легко.

— А если даже я и соглашусь с вами, разве это не столь же сильный довод, чтобы мне узнать вас лучше?

Она по-прежнему смотрела ему прямо в лицо, как будто ее вынуждала к этому честность, но в то же время и какая-то странная жалость.

— Откуда вам знать, что вы этого действительно хотите, даже если бы и удалось? — В первый момент ответ показался довольно невразумительным, и она сразу это почувствовала. — Я имею в виду, что некоторые вещи узнаешь слишком поздно.

— Я думаю, — быстро ответил он, — что вы мне еще больше нравитесь оттого, что говорите все это. Должно же для вас что-то значить, что вы мне нравитесь, — прибавил он.

— Это значит для меня всё. Но вы твердо увере-

ны, что не видите никакого другого способа?

Тут он и вправду широко раскрыл глаза.

— Какого еще способа?..

— О, я не знаю другого человека на свете, кто умел бы проявлять доброту столькими разными способами, как вы.

— Ну, так считайте, — отозвался он, — что ради вас я просто соединил их все вместе.

И снова она посмотрела на него долгим взглядом, как бы для того, чтобы никто не мог сказать, что она не дала ему времени или скрыла от него, так сказать, хотя бы дюйм своей особы. Ее долг — открыть ему хотя бы это. Она как будто старалась проявить какую-то странную добросовестность, и мистер Вервер сам толком не знал, какие чувства это у него вызывает. В целом, все-таки, восхищение.

— Вы очень честны.

— К тому стремлюсь. Не понимаю, — прибавила она, — чем вам не нравится ваша жизнь, такая, какая есть. Я не могу не спрашивать себя, не могу не спросить вас, — продолжала Шарлотта, — действительно ли вы настолько вольны в своих поступках, как думаете по обычному своему великодушию? Разве не нужно подумать немного и о других? По крайней мере, разве я не должна

подумать о Мегги ради нашей с ней дружбы — да просто ради приличия? — После чего она пояснила, с подчеркнутой мягкостью, как бы для того, чтобы не показалось, будто она поучает мистера Вервера, в чем состоит его долг: — Мегги для вас — всё, так было всегда. Вы совершенно уверены, что в вашей жизни есть место…

— Для еще одной дочери? Это вы хотели сказать?

Она не стала слишком распространяться об этом, но он быстро уловил смысл ее слов.

Впрочем, она не смутилась.

— Для еще одной молодой женщины, почти ее ровесницы, с кем у нее всю жизнь были совсем другие отношения, которые после вашей женитьбы неизбежно изменятся.

— А разве обязательно на всю жизнь оставаться только отцом, и ничего более? — спросил он чуть ли не с яростью. Но тут же продолжал, не дав ей времени ответить: — Вы говорите о переменах, но они уже произошли, и Мегги понимает это лучше всех. Она понимает, как много изменилось из-за ее замужества — изменилось для меня. Она постоянно думает об этом, не знает ни минуты покоя. Вот я как раз и пытаюсь дать ей покой, — объяснил мистер Вервер. — Одному мне не под

силу, но с вашей помощью я могу это сделать. Вы можете сделать так, чтобы она была совершенно спокойна на мой счет.

— На ваш счет? — эхом отозвалась Шарлотта. — А как насчет самой Мегги?

— О, если она будет спокойна за меня, остальное наладится само собой. Всё в ваших руках, — объявил мистер Вервер. — Вы сделаете так, чтобы Мегги раз и навсегда выбросила из головы всякие мысли о том, будто она меня покинула.

Теперь в лице Шарлотты зажегся несомненный интерес, но вот еще одно свидетельство ее честности, о которой говорил мистер Вервер, — она сочла необходимым проследить ход его рассуждений во всех подробностях.

— Так, может быть, вы и вправду чувствовали себя покинутым, что дошли уже до «таких», как я?

— Что ж, я готов это допустить, если одновременно сумею убедить вас, что теперь вполне утешен.

— Но на самом деле, — настаивала Шарлотта, — чувствовали вы себя таким?

— Утешенным? — переспросил мистер Вервер.

— Покинутым!

— Нет, не чувствовал. Но если ей приходят

в голову такие мысли... — Иными словами, достаточно уже одного того, что подобные мысли приходят ей в голову. Впрочем, уже через минуту такая формулировка собственных побудительных мотивов, видимо, показалась мистеру Верверу несколько слабоватой, и он добавил еще один штрих: — Я хотел сказать — раз уж мне пришла в голову такая мысль. Видите ли, эта мысль мне очень нравится.

— О да, мысль чудесная, замечательная. Но, быть может, — заметила Шарлотта, — этого маловато для женитьбы?

— Отчего же, дорогое мое дитя? Ведь мужчина, как правило, женится ради идеи, разве нет?

Шарлотта задумчиво взглянула на него, словно хотела сказать, что это, пожалуй, еще большой вопрос или, по крайней мере, продолжение вопроса, непосредственно их занимающего.

— А разве все не зависит в значительной степени от того, что это за идея? — Она как будто хотела сказать, что по поводу женитьбы идеи могут быть самыми разными; но тут же оставила эту тему, задав еще один вопрос: — Не получается ли у вас так, что вы уговариваете меня дать согласие ради Мегги? Как-то мне не кажется, — заметила Шарлотта, — что все это так уж ее утешит, да и

настолько ли она нуждается в утешении?

— А что она с такой готовностью оставила нас вдвоем, это ни о чем вам не говорит?

Ах, напротив, говорит о многом!

— Она была готова оставить нас вдвоем, потому что у нее не оставалось другого выхода. Князю захотелось уехать, и она уехала с ним — она не могла поступить иначе.

— Совершенно верно! Так вот, если вы сочтете возможным принять мое предложение, то в будущем она сможет «уезжать с ним», когда ей только заблагорассудится.

Шарлотта примолкла, как будто рассматривая столь благую перспективу с точки зрения Мегги, после чего сделала небольшую уступку:

— Я вижу, вы основательно все продумали!

— Разумеется, я все продумал — только этим и занимался в последнее время! Она уже давно ничему так не радовалась, как тому, что вы теперь рядом со мной.

— Я должна быть рядом с вами, — сказала Шарлотта, — потому что ей так спокойнее?

— Но ей действительно так спокойнее! — воскликнул Адам Вервер. — Если сами не видите, спросите ее.

— Спросить ее? — изумленно отозвалась де-

вушка.

— Ну конечно, прямо так и спросите. Скажите ей, что вы мне не верите.

Она все еще колебалась.

— Вы предлагаете написать ей письмо?

— Безусловно. И как можно скорее. Завтра.

— Ах, я, наверное, не смогу, — сказала Шарлотта Стэнт; ее, казалось, позабавила такая резкая перемена темы. — Когда я ей пишу, то обычно рассказываю о том, хорошо ли кушает Принчипино, и о визитах доктора Брэди.

— Прекрасно; в таком случае задайте ей вопрос лично. Поедем в Париж и повидаемся с ними, не откладывая.

Тут Шарлотта вскочила так порывисто, что ее движение было похоже на безмолвный вскрик; но что она хотела сказать, так и осталось невысказанным. Она стояла, не сводя с него глаз, — он же продолжал сидеть, как будто нуждаясь в опоре, словно это помогало возносить к ней свою мольбу. Но вот ей пришло в голову нечто новое, и она милостиво поделилась с ним своим впечатлением.

— Знаете, по-моему, я вам действительно немного «нравлюсь».

— Благодарю вас, — сказал Адам Вервер. — Так

вы поговорите с ней сами?

Шарлотта все еще колебалась.

— Вы говорите, мы поедем к ним туда?

— Сразу же, как только вернемся в «Фоунз». И будем ждать их там, если понадобится, пока они не приедут.

— Ждать их… в «Фоунз»?

— Ждать их в Париже. Это будет само по себе очаровательно.

— Вы возите меня по таким приятным местам… — Она подумала еще немного. — Вы предлагаете мне чудесные вещи.

— Только благодаря вам они становятся приятными и чудесными. Каким с вами стал Брайтон!..

— Ах, — возразила она почти нежно, — что я делаю такого особенного?

— Вы обещаете мне то, в чем я так нуждаюсь. Ведь вы обещаете мне, — настойчиво повторил он, вставая, — обещаете, что поступите так, как скажет Мегги?

Ах, для этого нужна полная уверенность.

— Вы хотите сказать — если она меня об этом попросит?

Ему как будто передалось ее настроение. Нужна полная уверенность. Но разве он и так не

уверен?

— Она вам скажет. Она будет говорить за меня.

Похоже, он ее наконец убедил.

— Очень хорошо. Можно до тех пор мы больше не будем говорить об этом?

Мистер Вервер засунул руки в карманы и выразительно приподнял плечи, выказав тем самым известную долю разочарования. Но вскоре к нему вернулась его обычная мягкость и образцовое терпение.

— Конечно, я не стану торопить вас. Тем более что проведу это время вместе с вами, — улыбнулся он. — Может быть, если мы будем постоянно рядом, вы поймете. Я хочу сказать: поймете, насколько вы нужны мне.

— Я уже понимаю, — заметила Шарлотта, — насколько вы убедили себя в этом. — Но она не могла не повторить еще раз: — К несчастью, это далеко не все.

— Ну, тогда — насколько вы поможете наладить жизнь Мегги.

— «Наладить»? — эхом откликнулась она, словно это слово слишком многое значило. И тихонько протянула с сомнением: — О-о! — пока они шли прочь, рука об руку.

13

Мистер Вервер сказал Шарлотте, что им придется прождать в Париже с неделю, но ожидание не оказалось тягостным. Он написал письмо дочери, правда, не из Брайтона, а сразу после возвращения в «Фоунз», где они провели всего сорок восемь часов, и снова отправились в путь.

В ответ на такую новость Мегги прислала из Рима телеграмму, которую доставили мистеру Верверу в полдень, на четвертый их день в Париже, и которую он принес Шарлотте, расположившейся во дворике отеля, откуда они собирались вместе направиться на полуденную трапезу. Отправленное из «Фоунз» письмо на нескольких страницах, в котором мистер Вервер намеревался без всяких недомолвок, чуть ли даже не с триумфом сообщить свое известие, — оказалось не так-то просто составить. Он даже не ожидал, что это будет так трудно, хотя и отдавал себе отчет в важности и значительности этого документа. Впрочем, причина крылась, несомненно, исключительно в его собственном осознании необыкновенного значения происходящего, благодаря чему посланию отчасти

передалось нетерпение самого мистера Вервера. Пока что главным результатом знаменательного разговора стало изменившееся отношение мистера Вервера к его молодой приятельнице, а также не менее ощутимая перемена в ее отношении к нему, и все это несмотря на то, что он больше не пытался «открыть» запретную тему, не говорил даже о депеше, отправленной в Рим. Между ними царила деликатность, сплошная деликатность — подразумевалось, что Шарлотту не следует больше тревожить, пока Мегги не успокоит ее сомнений.

Но именно из-за этой деликатности и возникла между ними такая напряженность в Париже, который оказался очень похож на Брайтон, усиленный стократ. Мистер Вервер, наверное, мог бы объяснить это неопределенностью текущего момента. Все вышеназванные факторы действовали весьма специфическим образом; тут собрались воедино множество всяческих умолчаний и предосторожностей, двадцать разнообразных намеков и треволнений — мистер Вервер едва ли умел определить их словами; и все же они заставляли на каждом шагу признавать реальность ситуации и смиряться с нею. Он временно оставил попытки убедить Шарлотту, дожидаясь,

пока другое лицо придет ему на помощь; и все-таки то, что произошло между ними, подвело их к чему-то новому, и никто другой уже не мог этого ни умалить, ни преувеличить. Что удивительно — все эти обстоятельства вынуждали больше думать об условностях и о соблюдении приличий, которыми они с таким удовольствием пренебрегали до той знаменательной прогулки вдоль брайтонского пляжа. Мистер Вервер полагал, — или мог бы прийти к такому выводу, будь он в состоянии рассуждать хладнокровно, — что дело тут в самом Париже; в этом городе таятся особые, глубинные голоса и предостережения, и, если позволить себе «лишнее», он устраивает на вашем пути коварные западни, прикрытые сверху цветами, заманивая вас и провоцируя на дальнейшие излишества. Странные видения носятся в здешнем воздухе, и если не остережешься, как раз и примешь личину одного из них. Он же стремился иметь всегда лишь одну личину: образ джентльмена, честно играющего в любую игру, с какой столкнет его жизнь, — и потому, получив послание Мегги, возрадовался несколько даже непоследовательно. Сочиняя свое сообщение из «Фоунз», он долго грыз авторучку, изрядно помучился по разным поводам, — смущался, пы-

тался угадать, достаточно ли Мегги подготовлена к столь внезапным переменам, да мало ли что еще, — и все-таки предпочитал, чтобы период ожидания поскорее закончился и с приездом княжеской четы дело наконец решилось в ту или другую сторону. Все-таки есть нечто обидное для человека в его возрасте, когда его берут, как выражаются в магазинах, на пробу, вплоть до одобрения заказчика. Несомненно, Мегги, равно как и Шарлотта, ни в коем случае этого не желает, и Шарлотта, в свою очередь, равно как и Мегги, далека от того, чтобы недооценивать его. Она заставляет его терзаться, бедняжка, просто из-за своей чрезмерной совестливости.

Всемерно отдавая ей должное, мистер Вервер тем не менее с радостью сознавал, что близится конец его испытаниям; больше ему не придется делать вид, будто он считает возможными какие-либо вопросы и колебания. Чем больше он размышлял, тем больше убеждался, что этим уродливым сомнениям нет места в рассматриваемом деле. Пожалуй, ему легче было бы перенести, скажи Шарлотта прямо, что он ей недостаточно нравится. Услышать такое было бы неприятно, но он сумел бы это понять и примириться с поражением. Он ей нравился — ничто не сви-

детельствовало об обратном, и потому мистер Вервер тревожился не только за себя, но и за нее тоже. Когда он вручил ей телеграмму, Шарлотта пристально взглянула на него, и этот взгляд, хоть в глубине его угадывался какой-то смутный страх, пожалуй, лучше всего убедил мистера Вервера, что он ей в должной мере симпатичен — так сказать, как мужчина. Он ничего не сказал — за него, и даже лучше его, говорили слова, которые прочитала вслух Шарлотта, поднявшаяся с места при его появлении. «Выезжаем сегодня вечером любим радуемся за вас». Вот они, эти слова; чего же ей еще? Но, отдавая ему обратно развернутый листок, она не сказала, что этого достаточно, — впрочем, в следующую секунду он понял, что ее молчание, возможно, как-то связано с тем, что она чуть заметно побледнела. От этого ее прекрасные, необыкновенные глаза (мистер Вервер был искренне убежден, что всегда считал их такими) показались еще темнее; и снова она словно отдавала себя ему на обозрение, чтобы быть неизменно честной, позволяя ему рассмотреть с неспешностью, доходящей до неприличия, как он действует на ее душевное состояние. Увидев, что волнение мешает Шарлотте говорить, мистер Вервер был глубоко растроган, ведь это

доказывало, что она все же надеялась, хотя почти ничего не высказывала вслух. С минуту они стояли неподвижно, и он успел заключить, что, да, значит, он ей симпатичен — симпатичен настолько, что даже вспыхнул от удовольствия, думая об этом, хотя и называл себя стариком. От удовольствия и заговорил первым:

— Вы убеждаетесь понемногу?

И все-таки, ах, все-таки ей нужно было еще немного подумать.

— Видимо, мы их всполошили. К чему такая спешка?

— Потому что они хотят нас поздравить. Они хотят своими глазами увидеть наше счастье, — сказал Адам Вервер.

И снова она сомневалась, и на этот раз тоже не стала скрывать от него своих сомнений.

— Настолько уж сильно хотят?

— Вы считаете, слишком сильно?

Она продолжала размышлять вслух:

— Они собирались выехать только на следующей неделе.

— И что с того? Разве сложившаяся ситуация не заслуживает небольшой жертвы? Мы можем вернуться в Рим вместе с ними, как только вы пожелаете.

От этих слов она на мгновение застыла — он уже видел однажды такую реакцию, не совсем понятную для него, когда говорил о том, что они могли бы сделать вместе в некоем гипотетическом случае.

— Заслуживает небольшой жертвы — ради кого? Ради нас, естественно, о да, — проговорила Шарлотта. — Мы хотим их повидать ради своих собственных причин. То есть вы хотите, — прибавила она с довольно загадочной улыбкой.

— И вы тоже, дорогая, и вы тоже! — отважно провозгласил мистер Вервер.

— Ну да, я тоже, — согласилась она без дальнейших возражений. — Но ведь для нас от этой встречи что-то зависит.

— Да уж! А для них разве ничего не зависит?

— Что может для них зависеть, ведь они, как видно, не намерены пресечь наши отношения? Я еще могла бы себе представить, что они бросятся сюда с превентивными целями. Но такая бурная радость, энтузиазм, который не позволяет ждать и дня! Должна признаться, — заметила Шарлотта, — меня это несколько озадачивает. Можете считать меня неблагодарной и подозрительной, — прибавила она, — но этого просто не может быть, чтобы князь захотел вернуться

раньше времени. Он так хотел этой поездки.

Мистер Вервер обдумал ее слова.

— Так ведь поездка состоялась, разве нет?

— Да, ровно настолько, чтобы успеть прочувствовать, как ему там хорошо. Кроме того, — сказала Шарлотта, — он, возможно, видит ситуацию совсем не в таком розовом свете, как, по вашему мнению, видит ее Мегги. Вряд ли он ожидал, что вы ни с того ни с сего преподнесете его жене выскочку-мачеху.

Адам Вервер посмотрел на нее очень серьезно.

— В таком случае, боюсь, придется ему примириться с тем, с чем готова примириться его жена, — просто потому, что она с этим согласна, если уж он не может придумать никакой иной причины. Как-нибудь он это переживет, — объявил мистер Вервер.

Шарлотта на мгновение подняла глаза, пораженная его тоном, и вдруг сказала:

— Дайте взглянуть еще раз, — и взяла у него сложенный листок, который мистер Вервер все еще держал в руке. Заново перечитав телеграмму, Шарлотта спросила: — Может быть, все это — просто способ потянуть время, не хуже всякого другого?

Снова мистер Вервер воззрился на нее в изум-

лении, но тут же со своим характерным жестом, который она уже не раз у него подмечала в минуты растерянности, — приподнятые вверх плечи одновременно с направленным вниз движением рук, заложенных в карманы, — резко отвернулся и отошел в сторону, не произнося ни слова. В состоянии, близком к отчаянию, он пересек дворик отеля — перекрытый арками, отделанный изразцами, надежно защищенный от громких звуков и грубых зрелищ, обогреваемый, отделанный позолотой, увешанный драпировками, только что не устланный коврами, с экзотическими деревьями в кадках, экзотическими дамами в креслах, с общим налетом экзотики и незримого присутствия парящей, чуть трепеща крылышками, неотступной, обволакивающей парижской атмосферы, — дворик этот был похож на некое просторное помещение, вроде приемной врача, дантиста, хирурга, где томятся, мучаясь одновременно страхом и нетерпением, варвары, ожидающие назначенной ампутации или удаления всевозможных наростов и ненужных придатков избыточного варварства. Мистер Вервер дошел до ворот, и тут к нему вернулся обычный оптимизм, казалось, еще обострившийся от одного только здешнего воздуха. Улыбаясь,

мистер Вервер возвратился к Шарлотте.

— Вам очень трудно представить себе, что, когда мужчина так сильно влюблен, как Америго, для него естественно чувствовать то же, что чувствует его жена, верить тому, чему она верит, желать того, чего желает она? Разумеется, если к тому нет никаких особых препятствий.

Это подействовало. Шарлотта с готовностью согласилась признать, что такая возможность выглядит вполне естественной.

— Да, если человек безмерно влюблен, можно представить себе все, что угодно.

— А разве Америго не безмерно влюблен?

Она ответила не сразу, словно подыскивала подходящее слово, чтобы выразить меру чувств Америго, но в конце концов повторила вслед за мистером Вервером:

— Безмерно.

— Вот видите!

Но она по-прежнему улыбалась — она все еще не вполне соглашалась с ним.

— Это еще не все, что требуется.

— Чего же больше?

— А вот что — его жена должна суметь добиться, чтобы он действительно поверил, что она действительно верит. — И Шарлотта поясни-

ла еще более ясно и логично: — Насколько он по-настоящему поверит, в данном случае будет зависеть от того, насколько она по-настоящему верит. Например, — продолжала Шарлотта, — князь, может быть, пришел к выводу, что Мегги, как правило, стремится всегда и во всем угождать вашим желаниям. Возможно, он учитывает, что на его памяти она никогда не поступала иначе.

— Что ж, — сказал Адам Вервер, — чем это может его испугать? Какая такая ужасная катастрофа разразилась из-за этой особенности в характере Мегги?

— Да как раз вот эта! — С этими словами Шарлотта как будто выпрямилась во весь рост, представ перед ним прямой и открытой, как никогда раньше.

— Сам по себе наш маленький вопрос? — Глядя на нее в эту минуту, он так разволновался, что мог разве только мягко удивиться в ответ. — Может быть, имеет смысл немного подождать, прежде чем называть его катастрофой?

Шарлотта в самом деле подождала с ответом, хотя, безусловно, и не столь долгий срок, какой имел в виду мистер Вервер. Но когда минута истекла, Шарлотта заговорила все так же мягко:

— Чего вы намерены ждать, милый друг?

Вопрос повис в воздухе. Тем временем оба смотрели друг на друга так внимательно, точно каждый выискивал в другом признаки откровенной иронии. И в самом деле, эти признаки проявились настолько явно в лице мистера Вервера, что Шарлотта, словно стыдясь произведенного эффекта, и в то же время как будто вынужденная наконец извлечь на свет божий нечто, до сих пор тщательно скрываемое, внезапно резко изменила тактику, приведя чрезвычайно логичный довод:

— Вы, может быть, не обратили внимания, но я никак не могла не заметить, что, вопреки всем вашим предположениям — нашим предположениям, если угодно, — Мегги пишет о своей радости только вам одному. Ко мне она не обращается с излияниями и восторгами.

Это был сильный аргумент, и мистер Вервер невольно запнулся, глядя на нее расширенными глазами. Но, как и прежде, сохранил присутствие духа — не говоря уже о добродушном чувстве юмора.

— Вы жалуетесь как раз на то, что окончательно решает дело. Она уже считает, что мы — одно!

Бог с ней, с логикой; умеет он все-таки сказать!.. Шарлотте вдруг страшно захотелось сделать ему

приятное. Так она и поступила, очень просто и недвусмысленно.

— Знаете, вы мне и правда нравитесь.

Что же могло из этого воспоследовать, как не то, что мистер Вервер еще пуще взыграл духом?

— Я понял, в чем дело. Вы не успокоитесь, пока не получите «добро» от самого князя. Пойду-ка я, — объявил счастливец, — протелеграфирую ему по секрету, что вам хотелось бы получить от него несколько слов, ответ оплачен.

А Шарлотта на это, очевидно, могла только улыбнуться опять:

— Какой именно ответ оплачен — его или мой?

— О, я с радостью оплачу любой ваш ответ, пусть в нем будет сколько угодно слов. — Он добавил, продолжая шутку: — И не стану требовать, чтобы вы показали мне свое послание.

Она ответила в тон:

— А послание князя показать потребуете?

— Ни в коем случае. Можете сохранить его в глубокой тайне.

Он говорил так, словно и впрямь собрался телеграфировать князю, но тут Шарлотта, видимо, решила, что шутка зашла слишком далеко и теперь слегка отдает дурным тоном.

— Все это ничего не значит. Разве только он сам захочет прислать мне несколько слов. Но с чего бы такая мысль пришла ему в голову? — спросила Шарлотта.

— В самом деле, не с чего, — подхватил мистер Вервер. — Он ведь не знает о вашей патологической щепетильности.

Шарлотта не была в этом так уверена, но вслух согласилась:

— Да, это ему пока что неизвестно. Может быть, когда-нибудь он с этим столкнется, но пока еще нет. Во всяком случае, я готова применить к нему презумпцию невиновности. — На этом, по мнению Шарлотты, дело как будто прояснилось, но тут же ее вновь охватило беспокойство. — Зато у Мегги нет такого преимущества, она-то знает о моей патологии.

— Что ж, — сказал Адам Вервер, которого все это наконец слегка утомило, — я думаю, она вам еще напишет.

Об этом столько говорилось, что он и сам начал понемногу ощущать, что такое упущение со стороны его дочери в самом деле несколько странно. А ведь Мегги ни разу в жизни не случалось делать что-то неправильное дольше трех минут подряд.

— Ах, я же не утверждаю, будто у меня есть

на это право, — сделала Шарлотта довольно причудливую оговорку — и ее слова как будто подтолкнули мистера Вервера.

— Очень хорошо: я и сам бы этого хотел.

И тут, словно растроганная тем, что он с таким постоянством принимает ее точку зрения, и притом более или менее вопреки самому себе, Шарлотта доказала, что она тоже способна пойти ему навстречу.

— Я говорю об этом только потому, что Мегги всегда и во всем безупречна, а тут вдруг ей не хватило великодушия. Она, конечно, не обязана, — продолжала Шарлотта, — но если все-таки напишет (вот вы же считаете, что мы еще можем этого ожидать), это будет завершающий штрих. Это будет прекрасно.

— Тогда пошли завтракать. — Мистер Вервер глянул на часы. — Письмо будет здесь, когда мы вернемся.

— А если не будет, — улыбнулась Шарлотта, оглядываясь по сторонам в поисках боа из перьев, которое она отложила, сойдя вниз, — если не будет, что ж, значит, для полного счастья нам не хватило сущего пустяка.

Он увидел ее боа на ручке кресла, с которого она поднялась ему навстречу, и подал ей, стара-

ясь держать повыше, чтобы чудесная пушистая мягкость касалась лица — ибо это было дивное изделие Парижа, купленное накануне под его непосредственным покровительством. Но прежде, чем отдать боа Шарлотте, он на мгновение задержал его в руке.

— Так вы обещаете не беспокоиться больше?

Она задумалась, глядя на его восхитительный подарок.

— Обещаю.

— Никогда-никогда?

— Никогда-никогда.

— Не забудьте, — прибавил он, в подкрепление своей просьбы, — не забудьте, в своем послании к вам она, естественно, будет говорить и от имени мужа, еще больше, чем в телеграмме, адресованной мне.

Только одно слово вызвало возражение Шарлотты:

— «Естественно»?

— Конечно, ведь наш брак, понимаете ли, создает для него совершенно новую родственную связь по отношению к вам, или для вас — по отношению к нему, в то время как мое с ним родство нисколько не меняется. Стало быть, у него найдется что сказать вам по этому поводу.

— По поводу того, что я становлюсь его тещей… или мачехой… или кем там я теперь ему буду? — С минуту она раздумывала об этом, отчасти забавляясь. — О да, надо думать, у молодого джентльмена найдется что сказать девушке по такому поводу!

— Что ж, пусть Америго будет для вас смешным или серьезным, как вам больше нравится; в любом случае все это будет содержаться в его послании к вам. — Девушка не ответила, снова обратив на него свой странный глубокий взгляд, оценивающий и в то же время нежный, и мистер Вервер, словно чем-то смутно встревоженный, задал еще один вопрос: — Разве он не прелесть, как по-вашему?

— О да, он — прелесть, — сказала Шарлотта Стэнт. — Иначе я бы и не волновалась.

— И я тоже! — поддержал ее мистер Вервер.

— Ах, но вы и не волнуетесь. Вам не о чем волноваться, не то что мне. Верх глупости — волноваться хоть на крошечку больше, чем необходимо. Будь я на вашем месте, — продолжала она, — будь у меня хоть малюсенькая доля того, что есть у вас для счастья, силы и покоя, понадобилось бы очень и очень немало, чтобы вывести меня из равновесия. Просто не знаю, —

сказала она, — о чем бы я стала беспокоиться, если только это не грозило бы моей удаче.

— Я вас вполне понимаю, но не зависит ли это от того, — осведомился мистер Вервер, — что называть удачей? Я сейчас именно говорил о своей удаче. Я буду выше любых треволнений, только вы сперва успокойте мою душу. На душе должно быть спокойно, лишь тогда у человека действительно есть все то, что вы перечислили. Все эти вещи не дают истинного удовлетворения, — объяснил мистер Вервер, — наоборот, они обретают смысл, если имеется что-то еще — то, чего мне как раз и не хватает. Вы сами это увидите, если подарите мне то, о чем я прошу.

Она взяла свое боа, накинула на плечи и смотрела теперь в другую сторону, заинтересовавшись чем-то совершенно посторонним, хотя все уже разошлись завтракать, дворик опустел, и, если бы нашим друзьям вздумалось, они могли бы без помех разговаривать хоть в полный голос. Шарлотта уже была готова идти, но тут ей попался на глаза ничем не примечательный юноша в форменном платье — несомненно, посыльный с «Почты и Телеграфа». Он приблизился со стороны улицы к укрепленному форпосту, где обитала консьержка, и вручил ей некую грамоту, извле-

ченную из небольшого патронташа, висящего у него на боку. Привратница, беседуя с ним на пороге, заметила в то же время заинтересованный взгляд Шарлотты и в ту же минуту направилась к нашим друзьям — ленты ее чепца развевались, а широкая улыбка ничуть не уступала ослепительно-белому фартуку. Она высоко подняла над головой телеграмму и дружески уточнила, передавая депешу из рук в руки:

— Cette fous-ci pour madame![25]

Засим она столь же доброжелательно удалилась, оставив Шарлотту обладательницей телеграммы.

Шарлотта не сразу вскрыла послание. Она снова устремила взгляд на своего спутника, который не замедлил торжествующе воскликнуть:

— А, вот видите!

Тогда она без слова разорвала конверт и целую минуту молча изучала содержимое, как было и с предыдущим посланием, которое показал ей сам мистер Вервер. Сейчас он наблюдал за ней, не задавая вопросов, и в конце концов Шарлотта подняла глаза.

— Я подарю вам то, что вы просите, — просто

---

[25] Примечания: 25
На этот раз для мадам! (*фр.*)

сказала она.

Выражение лица у нее было странное — но с каких это пор женщина не вправе выглядеть необычно в минуту безоговорочной капитуляции? Он ответил ей не менее долгим взглядом и благодарным молчанием. Итак, в течение нескольких минут между ними больше ничего не происходило. Теперь они понимали друг друга вполне. Он уже чувствовал, что она принесла покой в его душу. Но был еще некий существенный факт: ее саму успокоила Мегги. Словом, как ни крути, а где бы он был, если бы не Мегги? Она соединила их, словно скрепила две детали неведомого механизма, защелкнув серебряную пружинку; глаза мистера Вервера затуманились благодарностью, а Шарлотта все так же стояла перед ним, и выражение ее лица казалось еще страннее сквозь эту пелену. Однако же он улыбнулся, несмотря на туман, застилающий глаза:

— Что только делает для меня мое дитя!..

И все так же, то есть по-прежнему через пелену, он скорее увидел, нежели услышал ответ Шарлотты. Она держала развернутую телеграмму в руке, но смотрела только на него.

— Это не от Мегги. От князя.

— Да ну! — весело воскликнул мистер Вер-

вер. — Вот это лучше всего!

— Этого достаточно.

— Спасибо вам за то, что вы так считаете! — И прибавил: — Этого достаточно для разрешения нашего вопроса, но, пожалуй, недостаточно для завтрака? Déjeunons[26].

Но она не двинулась с места, оставив его призыв без внимания, по-прежнему с бумагой в руке.

— Разве вы не хотите прочесть?

Он задумался на мгновение.

— Нет, если вы довольны. Мне ни к чему.

Шарлотта все-таки дала ему еще шанс, как бы для очистки совести.

— Можете взглянуть, если хотите.

Он снова заколебался, но скорее из добродушия, нежели из любопытства.

— Это смешно?

Тут, наконец, она снова опустила глаза, чуть плотнее сжала губы.

— Нет. Я бы сказала, скорее серьезно.

— А, ну тогда я не стану читать.

— Очень серьезно, — сказала Шарлотта Стэнт.

— Ну вот, а я что вам говорил? — радостно спросил он, когда они вместе двинулись прочь.

---

[26] Примечания: 26
Идемте завтракать (*фр.*).

Вместо ответа, прежде чем взять его под руку, она скомкала бумагу и сунула ее в карман.

14

Шарлотта остановилась на середине «монументальной» лестницы, поджидая своего спутника, который спустился вниз, к чему его обязывала обыкновенная учтивость, и который знает, где ее найти, выполнив свой долг. Тем временем Шарлотта, находясь у всех на виду, отнюдь не старалась привлечь всеобщее внимание; впрочем, это нисколько ее не смутило бы, ведь она уже далеко не в первый раз выходила на люди со своей новой, великолепной уверенностью в себе. Года два уже знала она, как не знала никогда раньше, что это значит — выглядеть «хорошо»; и ведь она давно уже предчувствовала, что выглядеть так — в ее силах. В такой, например, вечер, как сегодня, званый вечер в полном блеске лондонского весеннего сезона, все необходимые условия присутствовали в избытке, и Шарлотта ощущала это всеми своими нервами, всем своим воображением, всеми обострившимися чувствами. Быть может, никогда еще ее вера в себя не была настолько оправдана, как в эту минуту, когда мы снова возвращаемся к ней, когда она, глянув случайно вверх, наталкивается на спокойный

взгляд полковника Ассингема, который стоит, опираясь локтями о широкие перила галереи, идущей над лестницей, и, встретившись с ней глазами, машет рукой с самым простодушным дружелюбием. Хотя Шарлотту занимают сейчас совсем другие мысли, простота этого приветственного знака представляется ей самой тихой нотой среди громовых аккордов этого вечера — как будто струну или клавишу прижали на мгновение пальцем, прервав ее вибрацию, чтобы раздался глухой, притушенный звук. Раз он здесь, значит, и Фанни приехала, хотя Шарлотта еще не успела ее увидеть. Вот, пожалуй, и все, что можно предположить по этому случаю.

А между тем разнообразнейшие предположения просто-таки носились в воздухе, и многие из них как раз и способствовали созданию тех условий, благодаря которым этот час для нашей молодой дамы сверкал такими яркими красками. Она и сама сверкала и искрилась, и все сходилось одно к одному: свет, пестрота и шум; несравненные бриллианты, так горделиво красовавшиеся на ее головке; другие каменья, другие совершенства внешности и наряда, так удачно соединившиеся в ее облике, подтверждая на практике теорию о том, что ей не хватало лишь

материалов для работы и что никакие материалы не могут быть слишком драгоценны для нее; добавим под конец подобное аромату изысканного цветка небрежное самообладание, пьянящее упоение этой решительной минутой. Ибо она не отказывалась признать, что минута была решительная, и это самообладание, несомненно, помогало ей обрести нужную степень уверенности, нужный оттенок безразличия, нужное выражение лица и прежде всего, так чувствовала Шарлотта, нужное отношение к предоставленной ей возможности счастья — если только сама эта возможность в своем неожиданном размахе не содержала первопричину происходящего. Поток благопристойных кутил, шурша и блистая, в шелесте шлейфов, в мерцании орденов и звяканье сабель, но при всем том поражающий невнятностью и невразумительностью речи, двойной струей прибывающих и отбывающих обтекал неподвижно стоящую на лестнице Шарлотту, минуя ее, то и дело слегка задевая ее на ходу, беззастенчиво разглядывая, изредка предлагая протянутую руку, обрывок разговора; кое-кто даже останавливался на минуту, не получая, впрочем, поощрения. Шарлотта не нуждалась в поддержке, ни у кого не просила защиты и покро-

вительства. Ей нравилось стоять вот так, пусть немного беззащитной из-за отсутствия спутника, бестрепетно встречая отблески подозрений и осуждения, мелькающие на тусклом глянце лощеных лондонских лиц. Если уж говорить о беззащитности, так беззащитней всего она была перед собственными догадками и открытиями. Она намеренно оставалась в стороне, надеясь, что никто не задержится возле нее с разговором; ей пришло на ум особым образом отметить некое значительное событие, случившееся только что. Шарлотта уже знала, как именно его следует отметить, и то, чем она занималась сейчас, вполне могло служить началом.

А потому, когда Шарлотта увидела вскоре с высоты своего наблюдательного пункта, что князь возвращается, ей показалось, будто все помещение сделалось вдруг шире, и выше, и куда более подходящим для торжественных моментов; взметнулся вверх свод потолка со свисающими с него люстрами, лестничные пролеты раскинулись величественно и вальяжно, мраморные карнизы застыли в трепещущей неподвижности, во множестве небывалом завиднелись в толпе представители царствующих домов Англии и Европы, и вся символика «парадного» приема

предстала как никогда зримой и в то же время утонченной. Без сомнения, эти явления проистекали в большой степени от причин давно известных: простое зрелище Америго среди толпы, пускай само по себе достаточно эффектное, всегда порождало целую бурю в ее душе; но были у нее и свои резоны, которые Шарлотта не пыталась утаить, напротив, демонстрировала сознательно и открыто, точно так же, как свою гордо поднятую голову, увенчанную диадемой, как свой сложенный веер, как свое надменно-равнодушное одиночество; и когда князь приблизился к ней и она смогла взять его под руку, определяя тем самым их отношение друг к другу, — тогда она почувствовала, что все было сделано правильно. Она, конечно, полагала, что со стороны можно разглядеть лишь немногие из движущих ею побуждений, а именно — наиболее очевидные из них; и все же ей было отчасти жаль, что другие не могут угадать, какие неисчерпаемые силы черпает она в одном лишь взгляде на зятя своего мужа, как поддерживает ее его неосознанное превосходство над мельтешащими вокруг мелкими слагаемыми большого света. Как будто, расставшись с ним хотя бы ненадолго, она не то забывала, не то отказывалась верить,

что его вид так действует на нее, и каждая новая встреча становится для нее потрясением, заставляя предположить некую загадочную связь с оккультными источниками обновления. Что он делает с собой в то время, пока она его не видит, почему каждый раз появляется таким, как назвала бы она, «еще более»? Он выше любого cabotinage[27], и все-таки чем-то напоминает актера, который между выходами на сцену забегает в гримерку и, глядя в зеркало, торопливо поправляет грим, подгоняемый необходимостью произвести должное впечатление на зрителей.

Вот сейчас, например, — и десяти минут не прошло, как князь ушел от нее, а уже успел стать еще более привлекательным, чем тот человек, с кем она так рада была здесь остаться. Эта истина предстала перед нею во всей своей наглядности, пока князь любезно сопровождал ее наверх, у всех на глазах. Как бы им ни хотелось затеряться в толпе, он просто не мог не бросаться в глаза, бедный, необыкновенный; и когда она, поднимаясь по лестнице, снова перевела взгляд выше, туда, где Боб Ассингем все еще стоял на галерее и все еще смотрел на нее сверху вниз, она вдруг по-

[27] Примечания: 27
Комедиантство (*фр.*).

няла, что даже рада этому одинокому свидетелю упавшего на нее отраженного блеска, несмотря ни на какие предостережения слабо протестующих внутренних голосов.

Он был всегда одинок на званых вечерах, душка полковник — не суждено ему было пожинать в подобных местах плоды урожая, взращенного дома; но он как будто вовсе не придавал этому значения, нечувствительно переносил тяготы светской жизни и с таким безразличием перемещался среди гостей, что его вполне можно было принять за какое-нибудь должностное лицо приличной наружности, отвечающее за полицейскую охрану или электрическое освещение. Для миссис Вервер, как мы вскоре увидим, его присутствие имело вполне определенный смысл, хоть он, казалось, совершенно непритворно ничего не замечал вокруг; впрочем, от этого ее отвага не настолько пострадала, чтобы не призвать его мысленно в свидетели того удивительного факта, что за прошедшие несколько минут князь не прибегал к помощи каких-либо колдовских чар, а всего лишь проводил до экипажа Мегги, решившую пораньше уехать домой. Предупрежденная, во всяком случае, о вероятном присутствии Фанни, Шарлотта какое-то мгновение испытывала

двойственные эмоции: ощущение, что этот новый фактор необходимо каким-то образом учесть, что-то нужно по этому поводу сделать, а такие мысли толкали к благоразумию, к малодушной осмотрительности, к стараниям по возможности избежать встречи, — и совсем иное, нетерпеливое чувство, в скором времени взявшее верх: пусть уж подозревают, выспрашивают, предъявляют обвинения, только бы скорее, скорее покончить с неприятным моментом, только бы доказать самой себе, не говоря уже о миссис Ассингем, что все можно обернуть к лучшему; словом, только бы, как говорят, «разобраться» со всеми сомнениями. Да у самой Шарлотты и не было, в сущности, никаких сомнений, но какое-то внутреннее чувство подсказывало ей, что у Фанни они наверняка возникнут и что от такой подруги она должна принять все, что угодно. Можно, конечно, вернуть нежеланный подарок, очень бережно, нежно, с самыми церемонными уверениями в глубочайшей своей признательности, но после всего, что миссис Ассингем для нее сделала, она обязана, по крайней мере, развернуть обертки и осмотреть их содержимое.

Сегодня, как нарочно (дай-то бог, чтобы долго еще так не случалось!), понадобится вся ее твер-

дость, чтобы провести беседу в нужном ключе; Шарлотта чувствовала это все яснее с каждой уходящей минутой, она уж сама знала, почему. После недолгого молчания она сказала князю:

— Останьтесь со мной; не позволяйте никому увести вас; потому что я хочу, да, я хочу, чтобы она увидела нас вместе, и чем скорее, тем лучше.

Она сказала это, чтобы удержать его рядом с собой, хотя его постоянно отвлекали, и на ее слова он ответил недоуменным взглядом. Пришлось ей объяснить: она хочет, чтобы их увидела Фанни Ассингем, которая, скорее всего, тоже здесь, потому что полковник никуда без нее не выезжает, а приехав куда-нибудь с нею вместе, неизменно предоставляет спутнице жизни самой заботиться о себе. Когда же Америго удивился в ответ: «Увидеть нас вместе? Да зачем? Разве она раньше не видела нас вместе?» — пришлось ему втолковать: то, что было раньше, сейчас не имеет значения, сейчас все по-другому; она знает, что говорит. «Какая ты странная, cara mia», — обронил он снисходительно, но спорить не стал. Пусть он находил ее странной, а все-таки, прогуливаясь по залам, он держался с нею рядом, не поддаваясь ни на какие приманки, и даже сказал что-то о том (он и раньше часто говорил это), как удобна

в таких случаях своеобразная лондонская «толчея», когда медленно прогуливающаяся масса леди и джентльменов образует причудливые и бессмысленные водовороты, плавно перетекающие один в другой, словно боясь как-нибудь нечаянно втянуться в настоящий разговор, хотя эта ужасная угроза еще ни разу не осуществилась. Конечно, она странная, Шарлотта и сама это знала; иначе и быть не может, когда она увязла в такой странной ситуации, да и он тоже, если уж на то пошло. Она уже признала про себя, как мы отмечали выше, что для них для всех наступает решительная минута; а такие минуты, хотя по большей части действуют угнетающе, — по крайней мере, именно такими они, как правило, оказывались для нее, — все же иногда бывают захватывающими до восторга.

Чуть позднее, в отдаленном уголке, куда, завидев незанятый диванчик, миссис Ассингем довольно настойчиво увлекла Шарлотту, это впечатление вместо того, чтобы ослабнуть, стало даже несколько острее. Шарлотта сказала Фанни напрямик: да, она здесь вдвоем с Америго; Мегги приехала с ними, но минут через десять передумала и отправилась домой.

— А вы решили остаться, без нее? — спросила

ее старшая подруга; и ответ Шарлотты определил для них, как и ожидала эта последняя, настоятельную необходимость беседы с глазу на глаз, вследствие чего Фанни и совершила свой замечательный бросок в сторону диванчика.

Да, они решили остаться, и Мегги, разумеется, уехала одна, потому что ее отец, как обычно, не смог приехать.

— Как обычно?.. — с каким-то сомнением переспросила миссис Ассингем, давая понять, что прежде не замечала за мистером Вервером подобного уклонения от светской жизни.

Во всяком случае, ответствовала Шарлотта, в последнее время он совсем разлюбил выбираться из дому — хотя сегодня, призналась она, он сослался на нездоровье. Мегги хотела остаться с ним (они с князем обедали в городе, а затем заехали на Портленд-Плейс и закончили тем, что прихватили с собой Шарлотту, Мегги же поехала, только чтобы угодить отцу). Она долго уговаривала их ехать вдвоем, без нее, но уступила уговорам мистера Вервера. Пришлось долго дожидаться в экипаже, а когда они наконец попали в дом и поднялись по лестнице, Мегги охватили мучительные угрызения совести; она ничего не желала слушать, и теперь, закончила Шарлотта,

эти двое наверняка устроили себе маленький домашний праздник. Но это ничего, с той же уверенностью продолжала Шарлотта, больше всего на свете они любят такие посиделки украдкой: скромное угощение, долгие разговоры, «я к тебе приеду завтра», «нет, лучше я к тебе», видимость возвращения к прежней жизни. Они, наши душечки, иногда так похожи на детишек, которые играют «в гости», играют «в мистера Томпсона и миссис Фейн», и каждый надеется, что другой и в самом деле останется к чаю. Шарлотта не сомневалась, что, вернувшись домой, еще застанет там Мегги — так миссис Вервер завершила свой ответ на вопрос любимой подруги. После чего у нее осталось впечатление, что она дала своей собеседнице достаточно пищи для размышлений и что наблюдать это оказалось еще приятнее, чем она ожидала. Ей и самой было о чем подумать, а глядя на Фанни, можно было задуматься о многом.

— Ты сказала, что твой муж болен? Так болен, что не мог приехать?

— Нет, моя дорогая, не думаю. Если бы он был очень болен, я бы его не оставила.

— Но ведь Мегги забеспокоилась? — спросила миссис Ассингем.

— Ты же знаешь, она беспокоится по всякому поводу. Она боится, не грипп ли это — он им болел уже несколько раз, правда, никогда ничего серьезного.

— А ты не боишься?

Шарлотта на мгновение примолкла. Ей уже не раз приходило в голову, что было бы, пожалуй, полезно поговорить, что называется, «начистоту» с той, к кому она привыкла обращаться с самыми сокровенными своими затруднениями, и вот представляется такая соблазнительная возможность — может быть, даже не столько представляется, сколько весьма настойчиво навязывается. К тому же Фанни ведь в глубине души отчасти ожидает, даже в глубине души отчасти желает чего-то в таком роде, и будет просто-таки разочарована, если не получит теперь же кусок, который можно сунуть в зубы ее беспокойному воображению — той привычке культивировать собственные страхи, с какой нашей юной приятельнице уже приходилось сталкиваться, — а именно страх, не зашла ли она «слишком далеко» в своем безудержном стремлении вмешиваться в чужие жизни. Мало-помалу Шарлотта начинала догадываться путем логических умозаключений, что супруги Ассингем, бесцельно блуждая вместе

с прочими гостями по залам и галереям, в какой-то момент случайно встретились друг с другом; это случилось уже после того, как полковник, облокотившись о перила, наблюдал ее прилюдное воссоединение с князем в ярком свете рампы. Несомненно, сама его скупость на слова по такому случаю просто обязана была высечь искру любопытства у его жены, что всегда и происходило; он же, зная ее отношение к подобным вещам, вероятно, бросил ей небольшую кость, рассказав о том, что двое ее молодых друзей «встречаются». Он прекрасно знал, — так, по крайней мере, великодушно предположила Шарлотта, — что она ни с кем не встречается, но и она знала, что при данных обстоятельствах неизбежно должна была стать жертвой остроумной беседы этой неподражаемой парочки. Также и князь вынужден был принести ее в жертву, поскольку к нему обратился посол и увел его беседовать с неким лицом королевской крови; после этого Шарлотта минут пять разговаривала с сэром Джоном Бриндером, который пришел с послом, но под каким-то довольно неуклюжим предлогом задержался возле нее. И тут их заметили одновременно Фанни Ассингем и кто-то еще, кого она не знала, но кто был знаком и с миссис Ассингем, и с сэром Джоном.

Шарлотта предоставила подруге с присущим ей мастерством «замкнуть» этих двоих друг на друга и найти способ отвести ее в сторонку. Вот и вся предыстория, в результате которой Шарлотта в настоящую минуту стремительно начинала осознавать, что ей подарен драгоценный шанс сказать свое слово и что такая возможность может еще не скоро представиться вновь. За словом же не придется далеко ходить; оно у нее наготове, точное, ясное и верное, а главное — ее собственное. Она сама к этому пришла, никто ей не помогал, даже Америго — уж во всяком случае, не Америго, он не захотел бы иметь к этому никакого отношения. Если сейчас она откровенно выскажет Фанни Ассингем все, что у нее на душе, это, как ничто другое, поможет ей продвинуться в том направлении, откуда для нее недавно забрезжил свет. Направление это — в сторону большей свободы лично для себя; ни о чем другом она и не думает. После недолгого созерцания лица миссис Ассингем, выражающего почти неприличную заинтересованность, представившийся шанс начал казаться Шарлотте настолько бесценным, что мы могли бы сравнить ее, в эту минуту наивысшего напряжения чувств, с женщиной, которая, держа в руке маленькое зеркальце, придирчиво разгля-

дывает свое отражение, поворачивая голову и так и этак. Словом, отвечая на последний вопрос Фанни, Шарлотта в то же время прикидывала в уме ценность вышеупомянутого шанса:

— Помнишь, что ты мне сказала на днях по какому-то поводу? Что я, по-твоему, вообще ничего не боюсь? Вот и не спрашивай теперь, моя дорогая!

— Неужто я не могу даже спросить, — возразила миссис Ассингем, — как здоровье твоего бедного мужа?

— Конечно, душенька. Только, когда ты спрашиваешь так, будто думаешь, что я не знаю, что думать, мне хочется, чтобы ты поняла, что я прекрасно знаю, что мне думать.

Миссис Ассингем помолчала, хлопая глазами, потом все-таки рискнула.

— А тебе не кажется, что, если уж кому-то возвращаться к нему, больному, так скорее всего — тебе?

Что ж, на это она ответит, исходя из самых возвышенных соображений. Самые возвышенные соображения — это добросердечие, искренность, ясность и, очевидно, истинная правда.

— Как было бы хорошо, если бы мы не могли быть совершенно откровенными и милыми

друг с другом, верно? Тогда мы совсем ни о чем не говорили бы. Но ведь это было бы ужасно, и пока, к счастью, до этого не дошло. Ты можешь спрашивать меня обо всем на свете, потому что, видишь ли, ты не можешь меня расстроить.

— Ах, милая Шарлотта, — рассмеялась Фанни Ассингем, — я вовсе не хочу тебя расстроить.

— Любовь моя, ты и не могла бы, даже если бы считала, что это необходимо, — вот и все, что я хотела сказать. И никто не может, и тут совершенно нет никакой моей заслуги; просто так получилось, что мое положение до невозможности определенное, как у булавки, которую воткнули в подушечку по самую головку! И деваться мне некуда — большей определенности и вообразить нельзя. Так уж все у меня сложилось!

Право же, Фанни никогда еще не приходилось слышать таких выразительных речей, притом произнесенных с такой решительностью. В глазах у нее засветилось какое-то тревожное понимание, которое она, впрочем, постаралась скрыть, по своим собственным причинам.

— Да, наверное, но разговоры о том, как ты представляешь себе свое положение — это не ответ на мой вопрос. Признаться, — прибавила миссис Ассингем, — это скорее повод еще больше

настаивать на ответе. Ты говоришь, мы с тобой «откровенны» друг с другом. А как же иначе? Если Мегги уехала, потому что слишком сильно тревожилась за отца, и при этом согласилась, чтобы ее муж появился здесь с тобой, разве не стоит обсудить причину ее тревоги?

— Если и не стоит, — откликнулась Шарлотта, — так только потому, что причина очевидна. Для меня это не причина, как и тогда, когда я согласилась с решением Адама, чтобы я поехала сегодня без него; а я абсолютно всегда соглашаюсь с его решениями. Но это, конечно, не меняет того факта, что дочь моего мужа считает, что именно она, а не его жена, должна находиться при нем во время болезни, именно она должна пожертвовать своим развлечением, притом что у этой дочери имеется свой собственный муж тут же рядом. — После чего Шарлотта прибавила в виде пояснения: — Мне остается только осознать простую истину: с точки зрения Мегги, в целом, отцы ценятся выше, чем мужья. А мое положение таково, — закончила она, — что я — ты ведь понимаешь? — не могу с этим не считаться.

Слегка задыхаясь, но стараясь не показывать этого, миссис Ассингем повернулась, точно на пружинке.

— Если ты пытаешься намекнуть, будто она не любит князя всем сердцем!..

— Я не говорю, что она не любит его всем сердцем. Я говорю, что она не думает о нем, и только. Одно не обязательно следует из другого. Такая уж у нее любовь, — сказала Шарлотта. — И почему бы нам с ним, в конце концов, не появляться вместе на людях, как ты это называешь? Нам с ним, дорогая, — улыбнулась она, — уже случалось раньше появляться вместе на людях.

Приятельница молча смотрела на нее и вдруг выпалила:

— Ты должна быть абсолютно счастлива. Тебя окружают такие хорошие люди!

На этот раз Шарлотта замерла в полной неподвижности; впрочем, через минуту ее лицо просветлело, обретая вновь свое прежнее сияние, изысканное и самую чуточку жесткое.

— Разве может человек сказать вслух о себе самом такую опасную и хвастливую бессмыслицу? Гораздо благоразумнее, если это скажет о тебе кто-нибудь другой, кто готов по доброте душевной взять на себя подобную ответственность; тогда можно проявить свое хорошее воспитание, воздержавшись от возражений. Я, во всяком случае, возражать не стану — не доставлю тебе

такого огорчения… или чего уж там еще.

— Честное слово, дорогая, я от всего сердца надеюсь, что не станешь! — И старшая из подруг облегчила душу звонким смехом, прозвучавшим несколько громче, чем можно было ожидать, учитывая, что дамы приложили столько стараний к тому, чтобы побеседовать, не привлекая к себе внимания.

Ее демонстративная реплика не произвела ровно никакого впечатления на Шарлотту.

— Мы так долго отсутствовали после свадьбы, еще и несколько месяцев провели в Америке — Мегги до сих пор наверстывает упущенное за время разлуки, всячески показывает, как скучала по нему. Ей его не хватало; несмотря ни на что, общение с ним для нее и сейчас — первая жизненная необходимость. Она изо всех сил старается проводить с ним как можно больше времени: тут минутка, там минутка, набегает очень даже немало. С тех пор, как мы поселились раздельно — все же так во всех отношениях удобнее, — поспешно заверила Шарлотта, — она, право, видится с ним чаще, чем когда они жили в одном и том же доме. Чтобы устроить это, Мегги пускается на разные ухищрения, чего ей не приходилось делать, пока они жили вместе. Но она любит манипулировать

людьми, — ровным голосом продолжала Шарлотта, — это как раз в ее характере, и в результате раздельное ведение хозяйства их только сближает. Сегодня, например, по сути, все получилось так, как она подстроила. Ей нравится, когда они с ним проводят время вдвоем. И ему тоже так больше нравится, — объявила наша юная дама. — Поэтому я и говорю, что положение мое вполне определенное — или, иными словами, я занимаю в доме вполне определенное место. А в таких случаях главное, как говорится, «знать свое место». А как тебе кажется, — неожиданно закончила она, — ведь в этой ситуации и князь, выходит, тоже занимает вполне определенное место?

У Фанни Ассингем было такое чувство, словно ее интеллекту поднесли громадное блюдо, нагруженное всевозможной снедью, и пригласили попировать всласть — такие многозначительные нотки пронизывали удивительную речь Шарлотты. Но в то же время Фанни отчетливо ощущала, что сразу наброситься на угощение — не говоря уже о том, что на это сейчас просто не хватит времени, — значило бы толкнуть руку дающего, смешать красиво разложенные деликатесы… в общем, выражаясь вульгарным языком, основа-

тельно насвинячить. Поразмыслив, она уцепила с блюда одну-единственную сочную сливу.

— И по этому поводу уже тебе приходится пускаться на разные ухищрения?

— Само собой разумеется, мне приходится пускаться на ухищрения.

— И князю тоже? Если он оказался в такой же ситуации?

— Право, я думаю, ему приходится ухищряться не меньше моего.

— И он тоже, — поинтересовалась миссис Ассингем, — наверстывает упущенное?

Вопрос сам собой сорвался с губ, словно она соблазнилась еще одним заманчивым кусочком на блюде. Едва он прозвучал, как Фанни поняла, что выдала свои мысли, которые пока предпочитала хранить про себя. Но ей тут же стало ясно, что теперь нужно стоять на своем любой ценой, и притом, чем проще действовать, тем лучше. А высшая простота — в смелости.

— Я хотела сказать: наверстывает, навещая тебя?

Но Шарлотта, как определила бы это ее подруга, и глазом не моргнула. Она покачала головой, но жест этот был изысканно-мягким.

— Он никогда ко мне не приходит.

— О! — сказала Фанни Ассингем, чувствуя себя довольно глупо.

— Вот так уж. А знаешь, могло быть совсем по-другому.

— По-другому? — Фанни все еще пребывала в недоумении.

На этот раз ее собеседница пропустила вопрос мимо ушей, задержав свой взгляд в дальнем конце комнаты. Там снова показался князь, все еще в обществе посла; их остановил какой-то старичок в военной форме, очевидно, высокий чин, весь увешанный орденами и медалями. Это дало Шарлотте время продолжить свою мысль.

— Он не был у нас уже три месяца. — И словно услышав наконец последнее слово своей приятельницы: — Да, «по-другому». Он устраивается по-другому. И я бы могла, в сложившейся ситуации, — прибавила она. — Просто нелепость, что мы с ним не встречаемся.

— Но сегодня, как я поняла, — заметила Фанни Ассингем, — вы с ним встретились.

— Да… Более или менее. Но я имела в виду, что в сложившейся ситуации я могла бы приезжать к нему.

— И приезжаешь? — спросила Фанни с почти неуместной торжественностью.

Шарлотта заметила излишний пафос и на мгновение приостановила орудийный огонь, то ли уловив серьезность момента, то ли найдя в нем изрядную долю иронии.

— Случалось. Но все это само по себе ничего не значит, — сказала Шарлотта. — Я рассказываю об этом только для того, чтобы ты поняла, как у нас обстоят дела. Впрочем, я говорю только о себе — дела князя меня не касаются.

— У тебя дела обстоят идеально, — объявила, подумав, миссис Ассингем.

— Я и не спорю. В общем и целом, видимо, так и есть. Я же говорю: я не жалуюсь. Просто приходится действовать соответственно.

— «Действовать»? — Несмотря на все старания, голос миссис Ассингем чуть заметно дрогнул.

— Дорогая, но ведь примириться с ситуацией — это тоже действие? Я примирилась. Тебе хочется, чтобы я сделала еще меньше?

— Мне хочется, чтобы ты поверила, что тебе очень повезло в жизни.

— Ты это называешь «меньше»? — спросила Шарлотта с улыбкой. — По-моему, с точки зрения личной свободы это, наоборот, больше. А впрочем, называй, как тебе нравится.

— По крайней мере, — нетерпение миссис

Ассингем наконец взяло верх над ее самоконтролем, — по крайней мере, не следует придавать слишком большое значение своей личной свободе.

— Не знаю, что ты называешь «слишком»… Как могу я придавать этому больше значения, чем есть на самом деле? Ты сама очень быстро почувствовала бы то же, если бы полковник давал тебе столько воли. Ты ведь намного лучше меня знаешь все на свете, так не мне тебе объяснять, откуда берется такая свобода. Лично ты, само собой разумеется, — продолжала Шарлотта, — не нуждаешься в свободе и не страдаешь от ее отсутствия. Твой муж не обращается с тобой так, как будто ты значишь для него меньше, чем какая-то другая женщина.

— Ах, не говори мне о других женщинах! — Фанни уже, не таясь, ловила ртом воздух. — Неужели ты называешь совершенно естественную заботу мистера Вервера о родной дочери…

— Самым сильным чувством, на которое он способен? — немедленно подхватила Шарлотта. — Безусловно, так и есть — и это при том, что я перепробовала все, что только могла придумать, чтобы сделать его способным на большее. Я добросовестно старалась изо всех сил, месяц

за месяцем только над этим и ломала голову. Но ничего не получилось, сегодня вечером мне это показали особенно убедительно. И все-таки, — продолжала она, — я надеялась, несмотря ни на что, ведь, как я сказала тебе с самого начала, меня предупреждали заранее. — И так как по лицу подруги было ясно видно, что она ничего такого не припоминает: — Он мне сказал, зачем я ему нужна: я могу пригодиться, чтобы помочь ей. — Тут лицо Шарлотты просияло изумительной улыбкой. — Вот я и пригодилась!

У Фанни Ассингем едва не сорвалось с языка, что это-то как раз она видит меньше всего; в самом деле, она была на волосок от того, чтобы сказать: «По-моему, ты, напротив, совершенно не помогла ему осуществить его замысел, раз, по твоим словам, Мегги теперь тревожится о нем еще больше, чем раньше. Каким это образом после применения столь мощных лекарственных средств нежелательные симптомы сохраняются в полном объеме?» Но в последний момент Фанни удержалась, памятуя в первую очередь о том, что речь идет о вещах столь глубоких, что она пока еще не решалась их опасаться; что «тут многое кроется», на что она не смела даже намекать — а уж намеки для нее привычная сфера. И вот, чтобы

не подумали, будто она понимает нечто такое, чего никак не может допустить, и допускает нечто такое, что никак не может одобрить и уж тем более ни в коем случае не может посоветовать, Фанни Ассингем применила следующую уловку: сделала вид, будто не желает поместить свое мнение ни на ту, ни на другую чашу весов. Беда только в том, что, как сразу же почувствовала сама Фанни, она применила это средство слишком уж радикально. Выразилось это в том, что она чересчур порывисто вскочила с места, отметая любые аргументы:

— Душенька, я просто представить себе не могу, о чем это ты!

Тогда и Шарлотта стремительно поднялась, словно встречая вызов, и в первый раз за время их разговора кровь бросилась ей в лицо. На мгновение у нее сделался такой вид, как перед тем — у ее спутницы: словно двадцать возражений рвались с ее губ, отталкивая друг дружку. Но если уж Шарлотте приходилось выбирать, она всегда выбирала самый действенный вариант. На этот раз выбор был сделан особенно удачно, поскольку слова ее прозвучали не с гневом, но с грустью:

— Значит, ты от меня отрекаешься?

— Отрекаюсь?!

— Ты покидаешь меня в такую минуту, когда, мне кажется, я больше всего заслуживаю верного друга? Если так, то ты поступаешь несправедливо, Фанни. Я даже думаю, — продолжала она, — что ты поступаешь довольно жестоко. По-моему, это недостойно тебя — стараться поссориться со мной, чтобы прикрыть собственное дезертирство.

Все это было сказано с благородной сдержанностью; в эту минуту Шарлотта являла собой картину горького разочарования, озаренную бледным возвышенным светом, образ существа, терпеливого и одинокого в своем величии — впечатление настолько неизгладимое, что она могла довершить дело, оставив за собой, как говорят в таких случаях, последнее слово, но не испортив его даже малейшей ноткой вульгарного торжества. Она всего лишь довела до конца свое рассуждение, исключительно ради выяснения истины.

— Ссора со мной означает только одно: ты отказываешь мне в праве соблюдать условия сделки, — сказала Шарлотта, отвернувшись.

Она повернулась навстречу князю и послу: они закончили свой разговор с фельдмаршалом и уже подошли совсем близко, и даже обратились

к ней с какими-то словами, которые не могли проникнуть сквозь золотую сияющую пелену, временно окутавшую ее сознание. Она все-таки сумела высказать то, что необходимо было высказать, весьма недвусмысленно, раз и навсегда; больше об этом говорить не придется. Ее успех отразился на лицах двух мужчин, занимающих столь высокое положение в обществе, невольно восхищенных исходящим от нее необыкновенным светом. Вначале она просто любовалась этим отражением, не замечая, что у бедняжки Фанни это же чувство приняло, пожалуй, менее адекватную форму — бедняжке Фанни оставалось лишь таращить глаза на итог предъявленного ей «счета», в несколько штрихов начертанного мелом на стене! Затем Шарлотта наконец разобрала, что говорит ей по-французски посол и, по-видимому, уже не в первый раз.

— Пожелание касательно вашего присутствия, мадам, было высказано en très haut lieu[28], и я взял на себя ответственность, не говоря уже — честь, в качестве вашего почтительного друга позаботиться о том, чтобы не подвергать излишнему испытанию августейшее нетерпение.

---

[28] Примечания: 28
В очень высоких сферах (*фр.*).

Иначе говоря, величайшая из возможных особ, если следовать причудливой формуле, принятой в тех слоях общества, где обретаются величайшие возможные особы, «посылает за ней». Шарлотта в изумлении спросила:

— Зачем это я ему понадобилась? — После чего почувствовала, не глядя, удесятерившуюся растерянность Фанни и услышала, как князь произнес властно и даже довольно сухо:

— Нужно идти немедленно — это высочайшее повеление.

Посол, также обладающий определенными полномочиями, уже успел каким-то образом подхватить ее под руку, и она удалилась вместе с ним, смутно сознавая, что князь, продолжая говорить с ней, обернулся к Фанни Ассингем. Он объяснит позже — а кроме того, Шарлотта поймет и сама. Но Фанни Ассингем он адресовал свой смех — видимо, в знак того, что такому надежному другу не нужны никакие объяснения.

15

Тем не менее следует заметить, что такое предположение было весьма слабо обосновано, в чем князь сейчас же и убедился. Оставшись с ним наедине, миссис Ассингем немедленно доказала свою неподкупность:

— За Шарлоттой посылают через вас?

— Нет, моя дорогая; через посла, как вы сами видели.

— Ах, но ведь в последние четверть часа вы с послом для всех — словно единое целое. Он — ваш посланник. — Чем дольше Фанни рассматривала этот вопрос, тем больше ей в нем открывалось. — А ее объединяют с вами; она как бы ваш довесок.

— О, «довесок», — развеселился князь, — cara mia, что за наименование! Скажите лучше: мое украшение и моя гордость! И такое обстоятельство настолько необычно для тещи, что вы, конечно, не станете к этому придираться.

— На мой взгляд, у вас и без нее найдется чем украсить себя — и чем гордиться, это уж наверняка. И никакая она вам не теща, — заметила миссис Ассингем, — а в подобных случаях эти тонкие различия имеют огромное значение.

Между вами совершенно нет никакого родства, и если в высших сферах о ней знают только то, что она выходит в свет вместе с вами, тогда… тогда!..

И она умолкла, как бы сраженная чрезмерно ярким видением.

— Тогда, что тогда? — дружелюбно поинтересовался князь.

— В таком случае лучше бы о ней совсем ничего не знали!

— Но я вас уверяю, сейчас я о ней и слова не сказал. Не думаете же вы, будто я спросил, не желают ли там ее видеть? — насмешливо осведомился молодой человек. — Неужели вам еще нужно объяснять, что Шарлотта всегда и везде говорит сама за себя? А особенно — в такой обстановке, как сегодня, и когда она выглядит так, как нынче вечером. Как можно ее не заметить? Как может не быть у нее «успеха»? Кроме того, — прибавил он, а миссис Ассингем не мешала ему говорить, только пристально всматривалась в его лицо, словно желая увидеть, как именно он это скажет, — кроме того, мы с ней действительно принадлежим к одному семейству, к одному… Как это у вас называют? К одной «фирме». Учитывая, в каком близком родстве состоят наши sposi, мы с нею уж никак не просто знакомые. Мы с ней

в одной лодке. — И князь улыбнулся с приятной откровенностью, придававшей совершенно особенный оттенок его пылкой речи.

От Фанни Ассингем не ускользнул особый смысл его интонации, заставившей ее на какое-то мгновение искать убежища в том уголке сознания, где она могла сказать себе самой: как хорошо, что она не влюблена в такого человека! Точно так же, как прежде с Шарлоттой, она пришла в смятение от разрыва между тем, что приходилось понимать, и тем, о чем можно было говорить, между тем, что чувствовала, и тем, что могла показать собеседнику.

— Просто, мне кажется, очень важно, чтобы… Теперь, когда вы все поселились здесь более или менее надолго… Чтобы Шарлотта была представлена, чтобы она появлялась в обществе именно как жена своего мужа, и никак иначе. Я не знаю, что вы имеете в виду, говоря «в одной лодке». Шарлотта, естественно, находится в лодке мистера Вервера.

— Помилуйте, а разве я не в той же лодке мистера Вервера? Да ведь если бы не лодка мистера Вервера, я сейчас был бы… — и быстрым, чисто итальянским жестом князь выразительно указал какую-то глубочайшую из глубин, — там, на са-

мом, самом дне.

Она, конечно, поняла, о чем он говорил: о том, что потребовался немалый ломоть от громадного состояния его тестя, дабы обеспечить ему ту среду, в которой он только и мог существовать в силу роковых обстоятельств своего происхождения. От этого напоминания всколыхнулись в ней и другие мысли: как странно, что иные люди, пусть даже одаренные несомненными достоинствами, так непомерно высоко ценятся — «котируются», сказали бы на бирже, — и, может быть, еще страннее, что иногда почему-то ни у кого не вызывает внутреннего протеста явная необоснованность такой завышенной оценки. Она сейчас думала или, по крайней мере, чувствовала исключительно за себя саму; она вовсе не находит данный образчик вышеупомянутого класса менее приятным из-за того, что он позволяет другому человеку поддерживать его на плаву: отчасти потому, что его приятность принадлежит к числу тех приятностей, которые просто не могут нравиться меньше, каким бы испытаниям их ни подвергали, отчасти же потому, что ему, видимо, совесть все-таки велит хоть что-то дать в ответ на оказанные ему услуги. Слов нет, князь потребовал огромных расходов,

но до сегодняшнего дня Фанни не сомневалась, что он намерен безупречным поведением приблизительно сравнять счет. И ведь он выполнил свое намерение, всем своим образом жизни, самым воздухом, которым дышал, чуть ли даже не мыслями своими неизменно следуя вкусам и пожеланиям своей жены и ее отца; до самого последнего времени Фанни была в этом настолько уверена, что не раз позволяла себе поделиться с ним своей радостью по этому поводу. Это, конечно, говорит в его пользу; но Фанни почему-то была необъяснимым образом обескуражена такой его способностью удержаться на твердой почве правды, да еще так неопровержимо доказать ей это. Что он признает свои обязательства — это, разумеется, немаловажно, но в самом по себе его прочном сцеплении с реальностью как будто кроется какой-то зловещий намек. Намек этот словно выглядывал, дразнясь и гримасничая, из следующих же слов князя, пускай и сказанных с великолепной небрежностью:

— А то, что облагодетельствовал нас один и тот же человек, — разве это не объединяет нас с Шарлоттой? — И тут же пояснил, для пущей глубины впечатления: — Мне иногда кажется, будто он и ей тоже приходится тестем. Как

будто он спас нас обоих, и это уже само по себе образует связующее звено в нашей жизни или, во всяком случае, в наших сердцах. Помните ли, — не унимался князь, — как она неожиданно приехала к вам, перед самой моей свадьбой, и мы с вами так весело шутили, мол, хорошо бы и ей удачно выйти замуж? — И поскольку в выражении лица его приятельницы, опять-таки как перед тем с Шарлоттой, так и реял черный флаг полнейшего отрицания всего на свете: — По-моему, с этого все и началось, а кончилось тем, что она оказалась там, где оказалась. Мы были совершенно правы, и она тоже. Все так прекрасно сложилось — стало быть, именно это и было нужно. Мы посоветовали ей, так сказать, удачно выйти замуж практически любой ценой, она же поймала нас на слове, сделав такой выбор, что удачнее и быть не может. А мы ведь этого и хотели, разве нет? Чтобы она нашла хорошего мужа — так она и сделала. На мой взгляд, трудно было бы найти лучшего — если только оставить за ней право воспринимать ситуацию по-своему. Конечно, если вы не признаете за ней такого права, тогда дело другое. Ее встречное требование — известная доля личной свободы, не выходящая за рамки приличий, — я считаю, этим она

вполне удовлетворится. Вы, может быть, скажете: это очень мило с ее стороны, — но, по-моему, ее притязания весьма скромны. Она намерена пользоваться своей свободой совершенно безо всякого retentissement[29]. Думаю, эта привилегия будет ей дана очень тихо, и так же тихо она будет ею наслаждаться. Понимаете, «лодка», — старательно и подробно разъяснил князь, — большую часть времени проводит на привязи у причала или, если угодно, стоит на якоре посреди реки. Мне приходится время от времени выскакивать из нее, чтобы размять ноги, и если вы на минуту задумаетесь об этом, то заметите, что Шарлотта попросту вынуждена изредка делать то же самое. Никто даже не старается добраться до причала: довольно и того, чтобы нырнуть в реку головой вниз и немножечко поплескаться в волнах. И если мы остались сегодня здесь, вместе, и если я случайно обратил на нее внимание тех наших родовитых друзей (признаю вашу правоту — это действительно стало практическим итогом нашей маленькой совместной махинации), будем считать, что это еще один безобидный нырок с палубы, жизненно необходимый для нас обоих.

---

[29] Примечания: 29
Шумиха, огласка (*фр.*).

Почему бы не принять подобные прогулки как неизбежность — прежде всего потому, что они не несут угрозы жизни и здоровью? Мы не утонем, не пойдем ко дну; во всяком случае, за себя я отвечаю. Да и миссис Вервер, нужно отдать ей справедливость, явно умеет плавать.

Князь вполне мог бы продолжать в том же духе, поскольку Фанни не прерывала его. Ни за что на свете она не согласилась бы перебить его сейчас. Она восхищалась его красноречием и, можно сказать, ловила каждую каплю этого драгоценного нектара, дабы немедленно закупорить в бутылку для долгого хранения. В самом деле, мерцающий хрусталь ее глубочайшего внимания мгновенно подхватывал эти капли, и она уже представляла, как впоследствии подвергнет их тонкому химическому анализу в укромной лаборатории своих раздумий. И больше того: были моменты, когда взгляды их встречались, и в глазах князя читалось что-то, до поры неназываемое, что-то странное, трудноуловимое, противоречащее его словам, что-то, что выдавало их с головой, мерцая в самой глубине, словно бы мольба — может ли это быть? — о понимании и сочувствии. С чем же сравнить это невероятное нечто? Неужто, сколь ни груба подобная аналогия для такого

загадочного явления, неужто это была некая квинтэссенция подмигивания, своего рода намек — мол, когда-нибудь, при более подходящем случае, мы еще поговорим по-настоящему, и тогда-то разговор окажется гораздо более интересным… Если эта далекая багровая искорка, представлявшаяся воображению Фанни отсветом фонаря приближающегося поезда, увиденного из глубины длинного тоннеля, не являлась всего лишь ignis fatuus[30], чисто субъективным феноменом, значит, ее переливчатый свет прямо указывал на то, о чем князь предлагал догадаться миссис Ассингем. Между тем в какой-то момент было сказано и по-настоящему об интересующей их теме; тут не могло быть никакой ошибки. Это случилось, когда князь, все с тем же безупречным самообладанием, присовокупил к своему удачному сравнению другое, еще более удачное — последний штрих, которого только и не хватало для полноты картины.

— Для того, чтобы миссис Вервер знали в обществе исключительно как жену своего мужа, недостает одной-единственной малости. Неплохо, если бы и его самого знали — или по крайней

---

[30] Примечания: 30
Блуждающий огонек (*лат.*).

мере чуточку чаще видели — как мужа своей жены. Вы, должно быть, уже и сами заметили, что у него есть свои привычки и свои причуды, а также собственные предпочтения — на что он, безусловно, имеет полное право. Он такой прекрасный, такой идеальный отец и, конечно, именно благодаря этому, такой доброжелательный, щедрый, замечательный тесть, что было бы просто низостью с моей стороны браться критиковать его. Но вам я могу промолвить словечко, ведь вы умны и всегда так чудесно понимаете, что вам хотят сказать.

Князь умолк на мгновение, как будто и это одно словечко было не так-то просто выговорить, не покажи она хотя бы знаком, что готова его выслушать. Но ничто не могло бы заставить ее подать этот знак; Фанни вдруг поняла, что еще никогда в жизни не стояла так неподвижно, внутренне затаившись. Она чувствовала себя, как та лошадь из пословицы, которую подвели к воде (и ведь по ее собственной вине!), но черпала силы в сознании, что никто не в силах принудить ее пить[31]. Иными словами, ее приглашали понять, она же не осмеливалась дышать из страха, как

[31] Примечания: 31

Английская пословица: «Можно подвести лошадь к воде, но нельзя заставить ее пить».

бы нечаянно не выдать, что уже понимает, и все это по той веской причине, что она наконец и в самом деле испугалась. В то же время она остро ощущала полнейшую уверенность, что знает заранее, какими будут его следующие слова, словно бы слышит их прежде, чем они прозвучали, уже ощущает во рту их горький вкус. Но ее собеседник, движимый собственными, совершенно непохожими побуждениями, не смутился ее молчанием.

— Чего я никак не могу понять, так это зачем ему вообще понадобилось жениться — ведь ему и без этого превосходно жилось.

Вот оно! Фанни знала, что так будет и что ей будет очень тяжело это слышать, по тем самым причинам, которые теперь стучали в ее сердце. Но она твердо решила, что не примет страданий, как говорили когда-то о святых мучениках; не позволит себе страдать на публике, отвратительно и беспомощно, а избежать этого можно только одним способом: закончить разговор как можно быстрее, сделать вид, будто считает тему исчерпанной, и скрыться. Ей вдруг страшно захотелось домой — так же сильно, как час или два назад хотелось приехать сюда. Хотелось оставить позади и свой вопрос, и парочку, воплотившую

его так неожиданно и так живо. Но обратиться в беспорядочное бегство… Ужасно! Разговор приобрел в ее глазах характер смертельной опасности — в нем на каждом шагу разверзались пропасти, из которых бил ослепительный свет; а открыто признать опасность — это худшее, что только может быть. На самом же деле худшее наступило, пока она пыталась сообразить, как бы ей поскорее уйти и в то же время суметь уклониться от открытого признания. Мысленные терзания отразились у нее на лице, и вот тогда она пропала.

— Боюсь, — заметил князь, — я вас чем-то огорчил, и за это прошу у вас прощения. Мы с вами всегда так хорошо разговаривали; меня это привлекало больше всего, с самого начала.

Ничто не могло довершить ее поражение так, как эта особенная интонация. Теперь Фанни знала, что отдана ему на милость, и князь не замедлил показать, что и он это знает.

— Все равно, мы еще будем с вами разговаривать, лучше прежнего. Я не смогу без этого обойтись. Помните, что я вам сказал однажды, за несколько дней до свадьбы? Я окружен новыми вещами, загадками, условностями, ожиданиями, предположениями, совершенно не похожими на все, что я знал раньше, — только вы можете

мне помочь справиться с этим, вы, моя первая покровительница, моя волшебница-крестная. Умоляю вас, поверьте, — прибавил он, — что я и по сей день на вас надеюсь.

К счастью, в следующий миг ей явилась новая мысль: найти поддержку в самой его настойчивости. С этим она смогла, по крайней мере, поднять голову и заговорить.

— Ах, но ведь вы справились, давно уже справились. А если нет, так должны были.

— Ну, если должен, так тем больше резона вам помогать мне по-прежнему. Потому что, я вас уверяю, в одиночку я решительно ни на что не способен. Новые вещи, или большинство из них, так и остались для меня до сих пор новыми. Загадки, ожидания и предположения большей частью все так же недоступны моему пониманию. Раз уж мы с вами так удачно снова встретились, вы должны позволить мне навестить вас как можно скорее. Будьте такой милой, подарите мне часок своего времени. Если вы откажете мне в этом, — и тут он открыто намекнул на ее затянувшееся молчание, — я буду думать, что вы своим непроницаемым взглядом отрицаете свою ответственность.

От этих слов вся ее сдержанность разом разле-

телась вдребезги. Она еще могла наедине с собой обращаться мыслями к непомерной тяжести на душе, но от прикосновения чужой руки давление груза стало нестерпимым.

— Ах, я действительно отрицаю — нет у меня никакой ответственности перед вами. А если и была, я с ней давно покончила.

Все это время с его лица не сходила сердечная улыбка, но теперь он снова впился в нее взглядом.

— Перед кем же вы признаете свою ответственность?

— Ах, mio caro, это уж, если на то пошло, мое дело!

Он смотрел все так же пристально.

— Так вы от меня отрекаетесь?

О том же самом спрашивала ее Шарлотта десятью минутами раньше. Фанни глубоко потрясло, что и он задал такой же вопрос. У нее чуть было не вырвалось в ответ: «Да что вы, сговорились с нею, что ли?» Позднее она очень радовалась, что удержалась вовремя. Впрочем, то, что она произнесла, было, пожалуй, не лучше.

— Просто не знаю, как вас понимать.

Он сказал:

— Вы должны, по крайней мере, принять меня.

— О, прошу вас, не раньше, чем я буду к этому готова!

И хотя она сумела рассмеяться, все-таки невольно отвернулась. Никогда еще она не отворачивалась от него прежде, и от этого совершенно отчетливо почувствовала, что на самом деле его боится.

16

Позднее, когда наемный экипаж после затяжной перебранки, терзавшей Фанни Ассингем мучительным нетерпением, наконец удалось извлечь из длинного ряда подобных ему транспортных средств, она укатила вместе с мужем в ночь, где получила возможность укутаться спасительной темнотой и перевести дух. Перед этим ей пришлось выстоять целый час в безжалостном свете собственных ошибок, бьющем прямо в лицо. Главным ее ощущением было, что она в свое время действительно приложила руку к судьбе этих людей, и теперь ее усилия приносят свои плоды, а в будущем могут принести еще и не такой урожай. Вначале она молча предавалась мрачным размышлениям, забившись в угол кареты, как бы пряча лицо, беззащитное перед чужими взглядами, в успокаивающих объятиях равнодушного ночного города, безлюдных улиц, запертых магазинов, домов с потушенными огнями, мелькающих за окном экипажа.

Какое блаженство: никто в этом сонном мире не обращает на нее внимания и не бросает ей упреков. Здесь, в отличие от другого, только

что покинутого ею мира, никто не узнает рано или поздно, что она наделала, разве только если последствия в конце концов окажутся совсем уж сенсационными. Несколько минут она сосредоточенно рассматривала эту последнюю возможность, изнемогая от страха; и когда карета, резко завернув за угол, вдруг оказалась в луче фонарика, которым полисмен в порыве служебного рвения прогуливался по фасаду дома на противоположной стороне улицы, Фанни так и вздрогнула и тут же сама рассердилась на себя за то, что позволила себе поддаться слепому ужасу. Да, это уже был настоящий ужас, до смешного несоразмерный ничтожному поводу. Это нужно немедленно прекратить, только тогда можно будет попытаться понять, на каком она свете. Стоило принять решение, и сразу стало легче. Вглядываясь в маячившую перед ней зловещую перспективу, Фанни вдруг поняла, что не может дать имени своему страху. Ощущение, что она что-то видит, было очень сильным, но Фанни цеплялась за единственное утешение: непонятно, что именно она видит. От этого уже нетрудно было перейти к убеждению, что ее руки не обагрены виной, ведь будь она и в самом деле первопричиной всего происходящего,

то, несомненно, лучше понимала бы результат своих действий. А это, в свою очередь, уже шаг к такому соображению: если твое отношение к чему-либо является настолько косвенным, что его не удается проследить, то и сожалеть о нем нет необходимости. Когда карета подъезжала к Кадоган-Плейс, Фанни уже пришла к выводу, что не могла бы быть настолько любопытной, как ей того хотелось, если бы не была уверена в своей полной невиновности. Но был один момент посреди сумрачной пустыни Итон-сквер, когда она не выдержала и нарушила молчание.

— Вот только слишком уж они оправдываются, этого бы совсем не нужно. Только из-за этого я и волнуюсь. Беда в том, что у них столько находится доводов в свое оправдание!

Ее муж, как обычно, раскуривал сигару и, казалось, был поглощен этим не меньше, чем Фанни — своими тревогами.

— Хочешь сказать, из-за этого ты начинаешь думать, что у тебя таких доводов не найдется?

Так как она на это ничего не ответила, полковник прибавил:

— А чего же ты ожидала? Парню абсолютно нечем заняться.

Своим молчанием Фанни, видимо, давала по-

нять, что находит это утверждение легковесным. Как всегда бывало, мысли ее бежали по совершенно иному руслу. Когда они с мужем оказывались вдвоем, он всегда умел ее разговорить, но разговаривала она как будто с кем-то другим, а на самом деле чаще всего — с собой. Но без него ей никогда бы не удалось так разговаривать с самой собой.

— Он вел себя безупречно, причем с самого-самого начала. Я все время восхищалась им за это и говорила ему об этом при всякой возможности. А значит, значит… — Но тут она смолкла, погрузившись в раздумье.

— А значит, он имеет право и взбрыкнуть для разнообразия?

— Главное, конечно, не в том, что они ведут себя безупречно по отдельности, — продолжала Фанни, не давая себя сбить. — Важно, чтобы они все делали, как полагается, когда они вместе, а это совсем другое дело.

— И что же, по-твоему, — заинтересовался полковник, — полагается им делать, когда они вместе? Я бы сказал, чем меньше они будут делать, тем лучше, если уж ты придаешь этому такое значение.

На этот раз жена, по-видимому, его услышала.

— Я придаю этому совсем не то значение, кото-

рое ты имеешь в виду. И совсем не обязательно, дорогой, — прибавила она, — говорить о них разные гадости. К ним такие вещи меньше всего имеют отношение.

— Я никогда не говорю гадостей ни о ком, кроме моей сумасбродной женушки, — возразил полковник. — Я ничего не имею против наших друзей — в том виде, как я сам их вижу. Но вот чего мне никак не снести — так это твоих оценок. А уж когда ты подводишь общий итог… — Конец фразы рассеялся в воздухе вместе с клубом дыма.

— Общий итог — не твоя забота, не тебе ведь платить по счетам. — И Фанни снова оторвалась от грешной земли, увлекаемая ввысь собственными мыслями. — Самое замечательное, что, когда все это, с нею, так неожиданно затеялось, он не испугался. Если бы испугался, то легко мог бы помешать. И я бы тоже могла, если бы увидела, что он боится… если бы не увидела, что он не боится, — сказала миссис Ассингем. — И помешала бы непременно, — объявила она. — Правда, для нее, конечно, такой шанс был слишком хорош, чтобы отказаться. И мне понравилось, что он не стал лишать ее этого шанса из страха перед собственной натурой. Просто чудесно, что ей так повезло. Единственное только могло быть, если

бы сама Шарлотта не смогла решиться. Тогда, если бы у нее не хватило уверенности, было бы о чем говорить. Но уверенности у нее неограниченный запас.

— Ты спрашивала, сколько именно? — терпеливо проворчал Боб Ассингем.

Задавая вопрос, он по привычке почти не ожидал ответа, но на этот раз ему, видимо, удалось нажать какую-то чувствительную пружину.

— Ни в коем случае! Момент был не такой, чтобы «спрашивать». Спрашивать уже значит предполагать, а момент был для предположений совсем неподходящий. Приходилось судить самой, и как можно незаметнее. И вот, говорю тебе, я рассудила, что Шарлотта считает, ей это по силам. И за это она тогда была так благодарна, при ее-то гордости! Я даже растрогалась. Я ей никогда не прощу, если она забудет, кому она всем этим обязана.

— То бишь миссис Ассингем?

Фанни ответила не сразу — в конце концов, имеются и другие возможности.

— Самой Мегги, конечно, изумительной крошке Мегги.

— Стало быть, Мегги тоже изумительная? — Полковник угрюмо смотрел в окно.

Его жена бросила точно такой же взгляд в свое окошко.

— Пожалуй, я начинаю видеть в ней больше, чем ожидала, — хотя я, конечно, всегда считала ее чудесной девочкой. Но если собрать вместе много всякого разного, можно невзначай предположить, что она прямо-таки необыкновенная.

— Ну, если можно, ты наверняка так и сделаешь, — покорно согласился полковник.

Фанни снова промолчала. Через минуту она опять не выдержала:

— В сущности, я, право, начинаю думать, что Мегги — наше главное утешение. За это и держусь. Мегги вытащит нас из этой истории. На самом деле у нее просто не остается другого выхода. И она сможет, я знаю.

Шаг за шагом завершила она свои рассуждения. Логика Фанни произвела такое впечатление на ее мужа, что он отозвался из своего угла довольно эксцентрическим восклицанием, которым в последнее время часто облегчал свои чувства и которому, по глубокому убеждению Фанни, послужили образцом очаровательные, хотя и несколько своеобычные туземные словечки мистера Вервера:

— Господи ты боже мой!

— Но если у нее получится, — продолжала миссис Ассингем, — значит, она очень даже необыкновенная — о чем я и говорю. Но на самом деле я не так уж уверена, — прибавила она, — кому Шарлотта, по чести, больше всего обязана. Я хочу сказать, я даже не уверена, что это сам наш лапочка-идеалист не от мира сего, взявший ее в жены.

— Вот уж это вряд ли, любовь моя, — живо откликнулся полковник. — Шарлотта — жена лапочки-идеалиста не от мира сего!.. — И снова одна только сигара оказалась в состоянии выразить его мысль.

— Но ведь, если подумать, именно этим она как будто собиралась сделаться сама? — Для полноты картины Фанни решила обратиться к воспоминаниям.

Полковник рот раскрыл.

— Лапочка-идеалист не от мира сего — сама Шарлотта?!

— Намерения у нее были вполне искренние, — просто подтвердила жена. — Ошибки тут быть не может — совершенно искренние. Вопрос только в том, много ли осталось от этих намерений.

— А, понимаю: еще один вопрос, которого ты не можешь ей задать. Ты как будто играешь в

какую-то игру со множеством правил, — заметил полковник Ассингем. — Только не очень понятно, кто тебя осудит, если ты их нарушишь? Или это такая загадка, которую нужно решить в три отгадки, наподобие рождественской игры в фанты? — Но поскольку все его издевки отскакивали от Фанни, нисколько не задевая ее, он прибавил еще: — И сколько же должно остаться от чего бишь там такого, чтоб хватило для твоих далекоидущих выводов?

— Я не отступлюсь, — с мрачной решимостью провозгласила Фанни Ассингем, — пока в моем распоряжении есть хотя бы обрывок величиной с ноготь. Но, к счастью, до этого еще не дошло.

Она опять замолчала, окидывая мысленным взором новые, широкие перспективы, внезапно возникшие из размышлений об обязательствах миссис Вервер по отношению к Мегги.

— Даже не будь она в долгу перед всеми остальными, довольно и одного князя, чтобы удержать ее на прямом пути. Ведь что на самом деле сделал князь? — вопросила Фанни саму себя. — Князь великодушно поверил в нее! Он принял на веру: если она соглашается, значит, чувствует в себе достаточно сил. После этого, клянусь, — провозгласила миссис Ассингем, — она просто обязана

оправдать его веру в нее, она ни на минуту не должна забывать о его благе. А если это не станет для нее законом, тогда… Тогда она настоящее чудовище! Я, конечно, имею в виду его веру в то, что она не станет вмешиваться в его жизнь — как он сам не стал вмешиваться в решающий момент.

Карета приближалась к дому. Возможно чувствуя, что последняя возможность ускользает от него, полковник высказал вслух следующую свою мысль так откровенно, что почти удивил этим жену. Обычно их объединяло главным образом утомленное терпение полковника, позволявшего себе, в лучшем случае, снисходительно-безнадежную нотку. Но сейчас он — небывалое дело! — пошел на компромисс с самим собой, практически признавшись, что следил за ходом ее рассуждений. Короче говоря, он в буквальном смысле слова задал разумный, чуть ли даже не сочувственный вопрос:

— Благодарность князю за то, что не стал совать ей палки в колеса — такой, по-твоему, если правильно посмотреть, должен быть балласт в ее лодке?

— Если правильно посмотреть, — подхватила Фанни, подчеркнув оговоренное им условие.

— А не зависит ли это от того, как смотрит на

дело сама Шарлотта?

— Нет, ни от чего это не зависит. Потому что смотреть на это можно только одним образом, хоть с точки зрения долга, хоть с точки зрения деликатности.

— Ах, деликатности! — довольно грубо пробурчал полковник.

— Я имею в виду самую высшую ее форму: нравственную. Шарлотта вполне способна это понять. Как ни посмотри, нравственная деликатность требует, чтобы она оставила его в покое.

— Значит, ты уже решила, что всему виной бедняжка Шарлотта? — неожиданно поинтересовался муж.

Специально ли он хотел произвести на нее такое впечатление, неизвестно, но этот вопрос заставил Фанни резко обернуться. Она опять потеряла равновесие, бог знает почему, утратила только что обретенное спокойствие.

— А ты уже решил иначе? Так тебе все-таки показалось, что там действительно что-то есть?

Ее внезапное движение, видимо, заставило полковника снова отступить. Стоило подойти поближе, сразу стало ясно, что вопрос чрезвычайно взрывоопасный, от него так и веяло жаром.

— Может быть, этим она и занимается: дока-

зывает ему, что намерена оставить его в покое; доказывает изо дня в день.

— Разве она это хотела доказать, когда дожидалась его сегодня на лестнице, как ты мне живописал?

— Дорогая, неужели я в самом деле что-то живописал? — удивился полковник, непривычный к подобным отзывам о себе самом.

— Да, в виде исключения! Теми немногими словами, которыми мы успели перемолвиться после того, как ты наблюдал за ними на лестнице, тебе удалось нарисовать довольно яркую картину. Конечно, ты рассказал очень мало, ни на что другое ты не способен даже под страхом смерти; но я увидела, что у тебя, как это ни странно, сложилось определенное впечатление, а значит, должно было произойти нечто из ряда вон выходящее, чтобы ты настолько выдал себя.

Она открыто нападала на полковника, надеясь этим разоблачением хоть как-то утолить собственное мучительное беспокойство. Теперь ей стало еще яснее, что он был чем-то поражен — даже он, бедненький-злосчастненький; следовательно, было чему поражаться. Она пыталась загнать его в угол, вырвать у него все, что он успел разглядеть своим немудрящим взглядом:

в простоте-то и была вся ценность. От такого взгляда, чувствовала Фанни, ничто не укроется, и все эти сведения окажутся в ее распоряжении.

— Ну же, милый, признайся: ты подумал то, что подумал. Не мог не подумать после того, что видел. Большего я и не прошу. И на сей раз твое мнение ничем не хуже моего, и ты не можешь утверждать, как обычно, будто я слишком увлекаюсь. Я, наоборот, отстала от тебя. Но я вижу, — закончила Фанни, — где находишься ты, и за это весьма тебе обязана. Ты дал мне point de dèpart[32], отдельную от меня, а мне того и было нужно. Теперь я смогу тебя обогнать.

Пока она говорила, эпипаж остановился у подъезда, и вот еще один факт, полный скрытого значения: полковник не сделал попытки выйти из кареты, хотя сидел с нужной стороны. Поскольку муж и жена предпочитали сами отпирать дверь ключом, слуги уже отправились спать, а поскольку их не сопровождал лакей, кучер спокойно дожидался, пока его пассажиры надумают сойти. Вот Боб Ассингем и выжидал целую минуту, сознавая, что необходимо дать какой-то содержательный ответ, нельзя просто повер-

[32] Примечания: 32
Отправная точка (*фр.*).

нуться спиной, следуя первому побуждению. Он не отвернулся, но продолжал неподвижно смотреть прямо перед собой. Между тем жена его уже сделала все должные выводы из его неподвижности, и этого с нее было вполне достаточно. Она знала, что он никогда не принимал ее слова всерьез; и вот теперь упускает такую возможность продемонстрировать это — что может быть красноречивее?

— Предоставь все дело им, — проронил он наконец.

— Предоставить?.. — удивилась она.

— Оставь их в покое. Они найдут выход.

— Ты хочешь сказать, они найдут способ делать все, что захотят? Ах вот ты как!

— Они найдут выход, только по-своему, — довольно загадочно заявил полковник.

Его слова поразили Фанни: помимо того, что такое высказывание проливало свет на хорошо ей знакомую бесчувственность полковника, оно к тому же яснее ясного указывало на скрытый смысл его речей. Смысл поистине удивительный!

— Так вот о чем ты думаешь: они, мол, так ловко сумеют устроиться, что никто ничего не узнает? По-твоему, мы должны прикрывать их, и больше

от нас ничего не требуется?

Но полковник, все так же неподвижно сидевший на своем месте, не поддался на провокацию и не стал вдаваться в объяснения. Объяснения слишком уж похожи на теории, а в теориях недолго и заблудиться. Он знал только то, что говорил, а тем, что он говорил, исчерпывались возможности заскорузлого старого вояки. Тем не менее он хотел непременно довести свою мысль до сознания Фанни и ради этого задержался еще на минуту. Но ограничился тем, что в третий раз повторил то же самое:

— Они найдут выход, только по-своему.

С тем и вышел из кареты.

О да, на этот раз миссис Ассингем была по-настоящему поражена и молча смотрела, не трогаясь с места, как он поднимается на крыльцо, отпирает дверь… В прихожей горел свет, и, когда полковник оглянулся, его высокая поджарая фигура с лихо заломленным на кавалерийский манер шапокляком обрисовалась на фоне распахнутой двери, словно подчеркивая дьявольский смысл его слов. Как правило, отворив входную дверь, он возвращался за женой, так что теперь казалось, он стыдится подойти к ней. Он смотрел на нее издали, она же, все еще не выйдя из эки-

пажа, мысленно взвешивала его утверждение, и вдруг вся картина словно озарилась для нее ослепительно-ярким светом. Не это ли было написано и на лице князя, не это ли выглядывало из-под всего, что он ей наговорил? И тут же, одно к одному, тот насмешливый бесенок, чье лукавое присутствие уловила она с такой тревогой? Одним словом, не старался ли князь внушить ей, что они «найдут выход, только по-своему»? Тон ее мужа чем-то очень напоминал выражение лица Америго, когда он так странно глянул на нее поверх плеча джентльмена, стоявшего между ними. В тот момент она не поняла этого взгляда — но, может быть, понимает теперь, читая в нем стремление каким-то образом подкупить ее? Но ее не подкупишь! Фанни слышала, как муж окликает ее: «Ну, что там такое стряслось?» — но не торопилась отвечать, напоминая себе о своем решении ничего не бояться. «Стряслось»? Ну как же, столько всего стряслось, что ей чуть не стало дурно. Она никак не ожидала, что князь может дрогнуть. Можно еще было предположить, что Шарлотта поколеблется — Фанни почему-то казалось, что с этим справиться было бы легче. И совсем другое дело, если князь дошел до такого. Выходит, они друг друга стоят! От этого она

почувствовала себя совершенно беспомощной. Полковник, видя, что время идет, а она все никак не выходит, вернулся и буквально вытащил жену из экипажа. Они стояли на тротуаре, в свете уличного фонаря, и само их молчание словно служило знаком чего-то очень серьезного. В молчании он подал ей руку, в молчании они медленно поднялись по ступенькам, тихо и дружно, словно какие-нибудь безобидные старичок и старушка, только что пережившие горькое разочарование. Похоже, будто они возвращаются с похорон, а не то смиренно приближаются к дому скорби. В самом деле, что она намерена делать дома, как не похоронить, по возможности пристойно, свою ошибку?

17

Таким образом, выходило, что они вполне могут вместе наслаждаться своей неограниченной свободой, стоило только правильно понять ситуацию. Естественно, Шарлотта первым делом приняла меры к тому, чтобы князь правильно понял ситуацию. Она находила множество возможностей разъяснить ему, как это для них важно, а поскольку свойственная ей неукротимая ирония препятствовала смирению или, по крайней мере, обостряла ум, то Шарлотта каждый раз подыскивала другие слова, доказывая, что приличия при этом останутся в совершенной сохранности. Просто поразительно, как она с самого начала заботилась о приличиях!

Иногда она говорила, что следует руководствоваться чувством такта — как будто этого достаточно, чтобы осветить им путь; в другой раз, слушая ее, он ловил себя на мысли, что они могут проложить себе дорогу только путем мучительных раздумий и весьма вольного, чтобы не сказать — оригинального, толкования всевозможных знаков. То она говорила так, будто на каждом повороте их поджидают до смешного

четкие указатели; то — будто дорога петляет самыми запутанными закоулками и путникам приходится пробираться по кустам и буеракам. Случалось ей даже высказываться в таком смысле, что, мол, ситуация у них беспрецедентная, а потому в небесах над ними не светит ни одной путеводной звезды.

— Что делать? — переспросила она однажды, во время одного из скрытных, хотя и недолгих, разговоров, какие случались у них с князем после ее возвращения из Америки, куда она отправилась с мужем сразу после свадьбы; поездка эта была предрешена с такой же неизбежностью, как и не менее странное путешествие, последовавшее за свадьбой князя. — Да ведь в этом-то и вся невероятная, совершенно бесподобная красота нашего положения: нам ничего не нужно «делать» в жизни! Разве не так? Разумеется, не считая разных неизбежных повседневностей, которые сводятся к одному: не делать глупостей больше, чем необходимо. Только и всего — но без этого никогда не обходится. Конечно, многое было сделано и еще будет делаться, но это все их рук дело; речь идет исключительно о том, что они сделали с нами.

И далее она разъяснила, что им остается только примириться с судьбой, по возможности ти-

хо и спокойно. Безусловно, никогда еще двое честнейших молодых людей с самыми благими намерениями не оказывались в таком странном положении, сделавшись жертвами столь необыкновенных обстоятельств, против воли принуждающих их к тесному общению, которого они всеми силами стараются избежать.

Между тем Шарлотта не раз потом вспоминала особенный долгий безмолвный взгляд князя в ответ на эти речи о тщетных попытках спастись. Долго не могла она забыть то невысказанное, что промелькнуло в ответ на ее слова, в глубине его неотразимо прекрасных глаз, и при этом с гордостью и радостью думала о том, как сумела тут же на месте уничтожить сомнение, вопрос, вызов или что еще там могло быть в его взгляде. Он явно ослабил свою бдительность, позволив себе проявить удивление по поводу того, что они, оказывается, так ревностно боролись с судьбой, и Шарлотта, конечно, отлично понимала, что именно он имел в виду и чуть было не высказал вслух, но все-таки, к счастью, удержался. Мужчины — такие грубые животные, при всякой возможности начинают спорить; как будто им от этого какая-то польза! Но князь отличается от других — он один из немногих, кто способен

вовремя остановиться. Вот это и есть истинная деликатность в мужчине. Он мог бы ляпнуть, не подумав: «Когда намечалось твое удивительное замужество, разве мы „всеми силами старались избежать“ его?» Конечно, он с обычной своей учтивостью употребил бы множественное число, взяв на себя долю ответственности, как дань памяти о телеграмме, которую она получила в Париже после того, как мистер Вервер сообщил в Рим об их помолвке. Эту телеграмму с одобрением предстоящего события, причем одобрением отнюдь не равнодушным, Шарлотта так и не уничтожила; никогда и никому ее не показывала, но хранила чрезвычайно бережно, в надежном месте, изредка доставала и перечитывала. «Итак, à la guerre comme à la guerre[33], — говорилось там по-французски. — Мы должны строить свою жизнь по собственному разумению; но я восхищаюсь вашим мужеством и почти удивляюсь своему». Смысл послания оставался для нее не вполне ясным. Можно было понимать его так, что и без нее князю приходится тяжеленько; трудно каждый день строить хорошую мину при плохой игре, а если они снова станут близкими соседя-

[33] Примечания: 33
На войне как на войне (*фр.*).

ми, ему придется все время быть настороже. С другой стороны, его слова могли означать, что он вполне счастлив, и потому, если она воображает, будто представляет для него какую-то опасность, пусть знает, что он готов к бою, закален и уверен в себе.

Когда он приехал в Париж вместе с женой, Шарлотта не стала спрашивать у него объяснений, и сам он тоже не спросил, сохранила ли она документ. Подразумевалось, что он выше этого, и точно так же ниже достоинства Шарлотты было упомянуть (по собственной инициативе), что она сразу же честно предложила показать телеграмму мистеру Верверу, и скажи он слово, она бы немедленно это сделала. Она не соизволила обратить внимание своего спутника на то обстоятельство, что, покажи она телеграмму, ее помолвка, по всей вероятности, на этом бы и закончилась; что все ее будущее в ту минуту висело на волоске и дело решила лишь деликатность мистера Вервера (видимо, так следует это называть); таким образом, в вопросе об ответственности ее позиция абсолютно неуязвима.

Что касается самого князя, поначалу время, в том ограниченном количестве, в каком оно им было отпущено, работало на него — в том смысле,

что времени этого было попросту недостаточно, чтобы сделать неверный шаг. Зато теперь этот бывший союзник, по-видимому, подстроил им засаду, с бесконечным терпением выжидая своего часа. Время, как ничто другое на свете, рождает разлуки, задержки и проволочки; но, к несчастью, эти преимущества теряют свою силу, когда времени становится так много, что не знаешь, куда его девать. Семейная жизнь, в целом, отнимала значительно меньше времени, чем можно было ожидать, что было довольно странно, учитывая специфические особенности именно этого брака. Впрочем, князь понимал, что здесь есть своя логика, которая обеспечивает этой истине особую основательность. Безусловно, мистер Вервер очень помогал ему в семейной жизни; в этом-то, в сущности, все и дело. Мистер Вервер оказывал помощь с необыкновенной благожелательностью — да и было ли иначе хоть в чем-нибудь с самой первой их встречи? Все эти четыре-пять лет князь только и жил благодеяниями мистера Вервера: еще одна, столь же очевидная истина, разбирать ли их по отдельности или свалить все вместе в один общий котел благодарности и вскипятить на медленном огне для получения питательного бульона. Несомненно, князь более склонялся

к последнему, но все же время от времени извлекал из своего варева один-другой кусочек, дабы распробовать их по отдельности. Что удивительно, одна «вкусняшка» в последнее время нравилась ему все больше и больше, и касалось это его новой тещи. Не один месяц прошел, пока князь как следует распробовал сей деликатес; вначале он не умел дать имя самому весомому из благодеяний; но когда это имя наконец открылось ему, он уже практически только и жил сознанием, что беспроблемное существование ему обеспечено. Одним словом, мистер Вервер взял на себя заботу о его взаимоотношениях с Мегги точно так же, как брал на себя все другие заботы. Благодаря ему князь мог не беспокоиться насчет своей семейной жизни, как не беспокоился теперь по поводу своего банковского счета. Последнее достигалось за счет налаженных связей мистера Вервера с банкирами, первое — за счет его идеального взаимопонимания с дочерью. Взаимопонимание это, совершенно очевидно, носило характер глубокой духовной близости, напоминая этим финансово-коммерческие отношения, основанные на глубинной общности денежных интересов. Сходство отражалось и в чрезвычайной схожести характеров, что могло

бы, пожалуй, раздражать, но, к счастью, скорее забавляло князя. Все эти люди, — в своих рассуждениях князь, не мудрствуя лукаво, сваливал в одну кучу капиталистов, банкиров, отошедших от дел бизнесменов, выдающихся коллекционеров произведений искусства, американских тестей, американских отцов, прелестных американских дочек и прелестных американских женушек, — все эти люди принадлежат, так сказать, к единой группе счастливчиков; они общаются между собой, обмениваются новостями, они говорят на одном языке, оказывают друг другу «услуги». Разумеется, в какой-то момент наш молодой друг пришел к выводу, что и их с Мегги отношения улаживаются на той же основе. А в этом, в конце концов, и есть вся суть дела. Забавная складывается ситуация. Их семейная жизнь оказалась под вопросом, но и решение находится тут же, перед глазами. Что ж, князь не против, ведь мистер Вервер старается ради Мегги, а Мегги не возражает, потому что он старается ради ее мужа.

Тем не менее, как мы уже замечали, время не всегда работало на князя, и, пожалуй, это стало особенно заметно однажды пасмурным днем, когда по странному, но не сказать чтобы беспрецедентному случаю, вышеописанные

размышления явили себя князю как единственный способ заполнения досуга, ими же, кажется, предстояло наполнить большой квадратный дом на Портленд-Плейс, тогда как на самом деле они вполне свободно поместились в одной из маленьких гостиных. Князь заглянул сюда, думая застать княгиню за чаем, но хотя на столике у камина разместился сверкающий чайный сервиз, хозяйки столика не было видно. Князь ждал ее, если можно назвать это занятие ожиданием, снова и снова меряя шагами пространство натертого до блеска пола. Он не мог бы назвать сколько-нибудь неотложной причины для встречи, но в силу какого-то извращенного упрямства оставался на месте только потому, что прошло уже полчаса, а она все не появлялась. Возможно, он чувствовал, что здесь скорее, чем в любом другом месте, на него снизойдет озарение. Само по себе такое умозаключение — не повод для веселья в минуту тоскливого маленького кризиса; но расхаживая взад и вперед и в особенности останавливаясь каждый раз у одного из высоких окон, выходящих на парадный фасад дома, князь мало-помалу ощутил ускоренное биение духовного пульса. Впрочем, едва ли эта пульсация выражала страстное нетерпение или же горечь

разочарования: больше всего, пожалуй, такое трепетание души напоминало ту набегающую волнами прозрачную ясность, сквозь которую понемногу проступает рассвет, озаряя наконец восток розовым сиянием дня. На этот раз сияние разливалось исключительно в сфере разума, освещенные им бескрайние просторы принадлежали к царству мысли. В материальном же мире картина была совершенно другая. Мартовский денек, судя по тому, что можно было увидеть из окна, ненароком возвратился к осени. Дождь шел уже много часов, и все приобрело один и тот же цвет в мрачном, бессмысленном маскараде: и дождь, и воздух, и уличная грязь, и ряд домов на противоположной стороне улицы, и вообще жизнь окрасились в неописуемый грязно-бурый оттенок. В глазах молодого человека, выглянувшего в очередной раз в окно, этот безрадостный пейзаж не оживил поначалу даже медленно ползущий наемный экипаж. Подчиняясь, должно быть, распоряжению невидимого пассажира, экипаж неуклюже свернул влево, подъехал к тротуару и в конце концов, грузно колыхаясь, остановился перед окнами князя. Особа, скрывавшаяся внутри, совершила свой выход значительно более грациозно, и оказалось, что это дама, которая,

оставив экипаж дожидаться и даже не поднимая над головой зонтика, в один миг пересекла залитый водой промежуток, отделяющий ее от входа. Мелькнула и исчезла; но князь на своем наблюдательном посту успел узнать ее и на несколько секунд застыл в неподвижности.

Шарлотта Стэнт, в такой час, в обшарпанном кебе и дождевом плаще! Шарлотта Стэнт явилась перед ним в минуту особой ясности его особого внутреннего зрения: от такого точного попадания по времени князь вздрогнул, словно от удара. Стоя в ожидании, он с необыкновенной остротой ощущал, что она приехала, чтобы встретиться с ним, встретиться наедине; впрочем, через несколько минут его уверенность немного ослабла. Может быть, она не собирается задерживаться здесь, а может быть, приехала к Мегги; возможно, узнав внизу, что княгинюшка еще не вернулась, просто черкнет два-три слова на визитной карточке. Что ж, посмотрим; во всяком случае, он возьмет себя в руки и пока ничего не станет делать. Мысль о невмешательстве внезапно завладела им; ей, конечно, скажут, что он дома, но если она все-таки придет к нему, пусть это будет целиком и полностью по ее собственной воле. Решение предоставить ей свободу выбора было тем более

примечательно, что князь, хоть и не предпринимал никаких шагов, в глубине души все-таки отчаянно надеялся. Ее появление здесь вопреки обстоятельствам, на поверхностный взгляд совершенно неблагоприятствующим, удивительно гармонировало с другими обстоятельствами, далеко не поверхностного свойства, и это в глазах князя придавало особое значение ее приходу.

Это значение каким-то образом еще усиливалось самоотверженным решением князя, а еще — тем фактом, что, как ни прислушивался, он не услышал захлопывающейся парадной двери и не увидел Шарлотту, возвращающуюся к своему экипажу. Напряжение достигло апогея, когда князь всеми обострившимися чувствами угадал, что она поднимается вслед за дворецким по лестнице и уже ступила на площадку, куда выходит дверь его комнаты. Если бы можно было еще хоть сколько-нибудь усилить этот накал чувств, дело довершила бы воцарившаяся вновь тишина за дверью, словно Шарлотта сказала слуге: «Подождите минутку!» Но когда дворецкий пропустил ее в комнату, приблизился к чайному столику, чтобы зажечь спиртовку под чайником, а затем с нарочитой медлительностью принялся возиться с дровами в очаге, она мгновенно помогла князю

без затруднений спуститься с высот нервного напряжения и разрешить, по крайней мере на время, вопрос о Мегги. Пока дворецкий находился в комнате, дело обстояло так: она приехала повидать Мегги и, несмотря на упорное нежелание достойного служителя пролить свет на возможное возвращение хозяйки дома, останется ее ждать, уютно устроившись у огня. Но едва только они остались вдвоем, как она мгновенно, словно огненно-красная стремительная ракета, перескочила от формальностей к фактам, стоя перед ним и глядя прямо ему в глаза:

— Что же еще, мой дорогой, что же еще нам остается?

Он как будто только сейчас вдруг понял, почему испытывал такие странные чувства несколько часов кряду — как будто в одну минуту ему стало ясно то, чего он еще не знал, даже когда за дверью раздавалось ее дыхание, учащенное от ходьбы по лестнице. И все-таки он знал, что она знает еще больше — само собой, в смысле знаков и презнаменований, относящихся к ним. Возможные альтернативы (он сам не смог бы сказать, как называть их — решения, соглашения?) открылись ему вместе с осязаемой реальностью ее присутствия: как она стояла у камина, как смотрела,

словно сквозь сознание своего преимущества, опираясь правой рукой на мраморную каминную доску, левой придерживая юбку и протянув ножку к огню, чтобы обсушиться. Прошло несколько минут. Князь не мог бы объяснить, какие недостающие звенья восстановились в цепи, через какие провалы были перекинуты мосты, поскольку ему на память не приходил ни один случай в Риме, с которого могла быть так удивительно точно скопирована эта картина. То есть он не помнил, чтобы она когда-нибудь приходила к нему в дождь и облепленный грязью кеб ждал у дверей, и хотя она оставила внизу свой дождевик, все же странно красноречиво — да, и положительно живописно, ввиду всех обстоятельств — было ее скучное темное платье и черная, аскетического фасона шляпка. Шляпка и платье как будто навязывали своей обладательнице свойственный им возраст и высоконравственные принципы, и такое насмешливое безразличие к этим назойливым моралистам играло на ее лице, красивом и свежем после дождя… Воспоминания о том давнем времени необъяснимо оживали для него, как никогда прежде, словно прошлое встречалось с будущим у него на глазах, в тесном слиянии рук и губ, и так теснили бедное настоящее, что

совсем его затуркали — ничего-то от бедняжки не осталось, чтобы жаловаться или ужасаться.

Словом, случилось так, что судьба легким движением руки поставила Шарлотту лицом к лицу с князем: несомненно, вначале долго подводила их к этому шаг за шагом, незаметно для сознания, и в конце концов одарила необыкновенной свободой, близкой к идеалу, ибо магическая паутина соткалась сама собой, без всяких усилий с их стороны, чуть ли не вовсе без их участия. Но при всем этом пробивался через окутывающее их ощущение безопасности тот тихий предостерегающий голосок, к которому князь прислушивался накануне своей свадьбы, прислушивался с беспокойством совсем иного рода. Не раз и не два с тех пор ему слабо слышался этот голос, говоривший о том, отчего он все никак не умолкает; но сейчас его негромкая музыка внезапно загремела, наполняя собою комнату. А причина тому была очень проста, и князь успел с нею сжиться, не прошло и четверти часа: новообретенная истина о полной их безопасности стала для этой музыки как нельзя более удачным вместилищем, давая ей неограниченный простор, но в то же время обволакивая ее бережно и мягко, словно бы восхитительно пухлой пуховой периной. В то утро

в парке все-таки не обошлось без тщательно скрываемого отголоска гнева и сомнения, тогда как сегодня та же тема звучала подчеркнуто уверенно. Для того Шарлотта и пришла, чтобы подчеркнуть эту уверенность, и если даже начала не с этого, вскоре цель ее визита неудержимо дала о себе знать. В этом был смысл вопроса, заданного Шарлоттой, как только они остались одни, хотя в тот момент князь уклонился от ответа, словно не вполне ее понял; в этом был смысл всего, вплоть до продуманной эксцентричности шаткой колымаги и продуманной убогости бесцветного платья. Эти чудачества помогли ему обойти более насущный вопрос. Можно было покамест поинтересоваться, что стало с ее собственным экипажем и почему она не воспользовалась им в такую погоду.

— Это как раз из-за погоды, — объяснила она. — Просто захотелось почувствовать себя так, как раньше, когда я могла делать все, что хочу.

18

Сказаны эти слова были с такой прямотой, что князь сразу увидел, насколько они правдивы; но все-таки эта правда немного озадачила его.

— Разве тебе нравилось мотаться по городу с такими неудобствами?

— Сейчас мне кажется, что тогда мне все нравилось. По крайней мере, приятно снова испытать прежние ощущения, — сказала она, стоя у камина. — Они возвращаются… возвращаются… Все возвращается, — продолжала Шарлотта. — А впрочем, — закончила она, — тебе это тоже знакомо.

Он стоял рядом с ней, руки в карманах; но смотрел не на нее. Он упорно смотрел на чайный столик.

— Ах, мне не хватает твоего мужества. И потом, — рассмеялся князь, — по-моему, вся моя жизнь проходит в двухколесных экипажах. Но тебе, должно быть, ужасно хочется чаю, — поспешно прибавил он, — позволь, налью тебе чашечку покрепче.

Он занялся чаем. Шарлотта уселась на пододвинутый им низенький стул там же, где стояла,

продолжая говорить, а он подавал ей то, чего ей хотелось. Он ходил взад-вперед, налил и себе чаю, время шло, и становилось все яснее, что Шарлотта пришла сюда с вполне осознанной целью нечто сообщить — как бы отобразить это нечто на четком циферблате ситуации. Однако же создавалось впечатление, что разговор ведется на самом высоком уровне осмысления, в холодной разреженной атмосфере тончайших различий, глубочайшей искренности, величайшей философичности. Не столь существенно, что за факты отбирались и тщательно выстраивались по ходу обсуждения; пока важнее было вместе понять, как им надлежит действовать дальше. А для этого как раз нынешняя встреча могла оказаться в высшей степени полезной.

— Дело не в том, что тебе не хватает моего мужества, — сказала Шарлотта. — Скорее, я думаю, тебе не хватает моего воображения. Если, конечно, в итоге не окажется, — прибавила она, — что тебе не хватает моего интеллекта. Но этого я не стану бояться, пока не увижу собственными глазами. — И тут она повторила свои же слова, но на этот раз более недвусмысленно: — Впрочем, ты и сам знал, ты сегодня знал, что я приеду. А уж коли ты это знал, значит, ты знаешь все.

Так говорила Шарлотта, а если князь даже и теперь не уловил ее мысль, так, может быть, оттого, что она снова предлагала ему ту благообразную, выжидательно-доброжелательную личину, которую он представил ей на обозрение в прошлую знаменательную встречу и впечатление от которой она, можно сказать, носила с тех пор на шее, точно драгоценную медаль — пускай не освященную благословением папы римского. Как бы то ни было, сейчас она снова заговорила о себе, и оба ни словом не упомянули свой предыдущий многозначительный разговор.

— А главное, — сказала Шарлотта, — все это так романтично.

— Что, пить со мной чай у камина? Ну, на это, я думаю, даже моего интеллекта хватит.

— О, дело не только в этом. А если я провела сегодняшний день лучше, чем ты, так это, наверное, потому, что я, если вдуматься, на самом деле храбрее тебя. Понимаешь, тебе скучно с самим собой. А мне — нисколько. Нисколько, нисколько, — повторила она.

— Как раз для того, чтобы терпеть скуку наедине с собой, — возразил князь, — и нужно большое мужество.

— Так ведь пассивное, а не активное. А моя

романтика — активная, если хочешь знать. Я сегодня весь день бегала по городу. Это, кажется, так и называется — набег? Я знаю это ощущение. — Она помолчала и вдруг, словно сорвавшись с места: — А ты, разве ты совсем не выходил?

Он по-прежнему стоял, засунув руки в карманы.

— Для чего мне выходить?

— О, для чего люди в нашем положении вообще что-то делают? Но ты такой замечательный, замечательный во всех отношениях. Ты умеешь жить. Мы, все остальные, по сравнению с тобой — бессмысленные животные. Нам вечно нужно что-нибудь «делать». И все-таки, — продолжала Шарлотта, — если бы ты выходил, то мог разминуться со мной, а этого ты ни в коем случае не хотел, я уверена, хоть и не признаешься; и прежде всего, ты упустил бы возможность испытать то приятное чувство, по поводу которого я и пришла тебя поздравить, и можешь сколько угодно делать недоумевающее лицо. Наконец-то я могу это сказать! Во всяком случае, в такой день, как сегодня, ты просто не можешь не понимать, на каком ты свете.

Она ждала: вот сейчас он подтвердит ее слова или, наоборот, прикинется, будто знать ничего

не знает, — но он только глубоко вздохнул, издав что-то похожее на стон нетерпения, словно отметая в сторону вопрос о том, на каком он свете и что он понимает, и возвращаясь к теме самой гостьи, Шарлотты Вервер, сидевшей в эту минуту против него. Несколько минут они смотрели друг на друга долгим взглядом, пока длился безмолвный разговор, успевший в итоге значительно продвинуться. Это очень ясно чувствовалось, когда Шарлотта заговорила опять:

— Да, все так необыкновенно; ни в сказке сказать, ни пером описать. Я правда уверена, что ничего подобного никогда не случалось с двумя людьми, которые хотят только сделать, как лучше. А следовательно, нужно принимать жизнь такой, как она есть, верно?

Она задавала вопрос с еще большей прямотой, чем раньше, но князь и теперь не дал ясного ответа. Заметив, что она уже допила свой чай, он забрал у нее чашку, поставил на стол, спросил, не хочет ли Шарлотта еще чего-нибудь, а когда она ответила: «Нет, спасибо», снова подошел к огню, поправил в очаге полено аккуратным, но чуточку слишком энергичным толчком. Тем временем Шарлотта вновь поднялась и уже стоя повторила свои слова, впервые произнесенные вслух с такой

откровенностью:

— Что же делать, что еще нам остается делать?

Но и на этот раз князь не поддержал ее.

— Где ты побывала сегодня? — спросил он, словно из пустого вежливого интереса к ее прогулке.

— Везде, где только возможно. Но ни с кем не видалась. Не хотелось никого видеть; мне нужно было подумать. Несколько раз возвращалась домой. Три раза; а потом уезжала опять. Кебмен, верно, принял меня за сумасшедшую. Это очень забавно! Когда станем рассчитываться, я буду ему должна кучу денег, он столько в жизни не видел. Я побывала, мой дорогой, — продолжала она, — в Британском музее; ты знаешь, я его обожаю. Была в Национальной галерее, еще заглянула в десяток старых книжных лавок, там попадаются настоящие сокровища, потом перекусила, неизвестно кому назло, в забегаловке в Холборне. Хотела поехать в Тауэр, но это все-таки слишком далеко, так уверял мой старичок-извозчик. Непременно сходила бы в зоопарк, если бы не было слишком мокро — это все он же упросил меня поостеречься. Но ты не поверишь — я все же успела посетить собор Святого Павла! Такие дни, — подытожила она, — обходятся недешево. Помимо платы за кеб, я еще накупила уйму книг. — И сразу переменила

тему: — Просто интересно, когда ты в последний раз их видел? — И, поскольку для ее собеседника такой переход оказался чересчур внезапным: — Я имею в виду Мегги и ребенка. Полагаю, ты знаешь, что он с ней.

— О да, я знаю, что он с ней. Я видел их сегодня утром.

— И они изложили тебе свои планы?

— Она сказала, что повезет его, как обычно, da nonno[34].

— На весь день?

Князь колебался, но постепенно его сдержанность как будто немного ослабла.

— Она не говорила. А я не спрашивал.

— Что ж, — продолжала Шарлотта, — это не могло быть позднее половины одиннадцатого — я хочу сказать, когда ты их видел. На Итон-сквер они прибыли еще до одиннадцати. Ты знаешь, у нас с Адамом не в обычае формальный завтрак; мы пьем чай у себя в спальнях — по крайней мере, я. Но ланч подается рано, и сегодня я видела мужа около полудня, он показывал малышу книжку с картинками. Мегги устроила их, потом оставила вдвоем, а сама уехала. Взяла карету; он собирался

---

[34] Примечания: 34
К дедушке (*ит.*).

куда-то, но она вызвалась съездить вместо него.

Князь наконец проявил легкий интерес:

— Взяла твою карету?

— Не знаю, которую, да это и не важно. Одной каретой больше, одной меньше, не в этом дело, — улыбнулась Шарлотта. — Да и кеб не проблема. Так приятно, — заметила она, — что наши проблемы не касаются никаких противных вульгарностей. — Она дала ему время согласиться с ее словами, и, хотя князь молчал, почему-то казалось, что он с ней заодно. — Я поехала в город — мне так захотелось. У меня была одна мысль. Мне показалось, что это важно. Так и было — так и есть, действительно важно. Теперь я знаю, чего не знала раньше — как они к нам относятся. Никак иначе я не могла в этом убедиться.

— Они доверяют, — обронил князь.

Сказал за нее.

— Они доверяют. — И она принялась объяснять более подробно, еще раз припомнила, как три раза возвращалась домой среди своих беспорядочных метаний по Лондону, возвращалась из любопытства и даже небольшой тревоги. У нее был ключ от входной двери, хотя она редко им пользовалась. Одна из немногих вещей, раздражавших Адама, — слуги, выстроившиеся

навытяжку в прихожей, когда хозяева возвращаются под утро. — Поэтому я могла каждый раз тихонько зайти в дом, оставив кеб дожидаться снаружи, и незаметно убедиться, что Мегги все еще там. Я приезжала, уезжала, а им и невдомек. Как они думают, куда я девалась на целый день? Я имею в виду не сентиментальный или там нравственный аспект, а просто даже физически, в самом вещественном смысле, как женщина, уехавшая невесть куда, как порядочная жена, которая никому не делает ничего плохого, как лучшая в мире мачеха, в конце концов! Или, по крайней мере, просто как хозяйка дома, не совсем лишенная сознательности. Даже они, при всех их странностях, — воскликнула Шарлотта, — должны же иногда думать о таких вещах!

— О, они очень много о нас думают, — сказал князь. И самым естественным образом с упоминания о количестве перешел на качество. — Они очень высокого мнения о нас. Особенно о тебе.

— Ах, не надо все сваливать на меня! — улыбнулась Шарлотта.

Но ведь она только что сама с похвальным усердием подготовила почву. Князь всего лишь следовал за нею.

— Это из-за того, что все знают твою порядоч-

ность.

— Ах, спасибо за «все знают»! — Она все еще улыбалась.

— Все знают, какая ты удивительно умная, удивительно обаятельная. И как ты благодаря этому продвинулась в жизни. Я имею в виду — здесь, в этой жизни. Ты для них Выдающаяся личность, а Выдающиеся личности приходят и уходят, как им вздумается.

— Вот уж нет, милый, — тут ты ошибаешься! — И Шарлотта рассмеялась: они перешли на более легкий тон. — С Выдающимися личностями такого не бывает. Они всегда окружены заботой и вниманием. Они не приходят с запасным ключом, а торжественно прибывают с фанфарами и литаврами! А если отправятся куда-нибудь в наемной колымаге, шуму будет еще больше. Вот ты, если уж на то пошло, caro mio, — сказала Шарлотта, — по-настоящему Выдающаяся личность.

— Ах, — запротестовал в свою очередь князь, — не надо сваливать все на меня! Что ты хоть скажешь, когда доберешься до дома? — спросил он.

— Очень просто: скажу, что была здесь.

— Целый день?

— Да, целый день. Старалась скрасить твое оди-

ночество. Да как мы сможем вообще что-нибудь понять, — воскликнула она, — пока не осознаем, что именно так им хочется думать? А ты, к общей радости, скрашиваешь мое одиночество, и все довольны. Нужно научиться принимать их такими, как они есть.

Князь подумал немного над этим, беспокойно расхаживая по комнате, но ни на минуту не отводя глаз от Шарлотты, и вдруг выпалил, казалось бы, без всякой связи, но с неожиданной силой:

— Как я могу не замечать, прежде всего остального, что они оба беззаветно любят моего мальчика? — Шарлотта, как будто слегка растерявшись, не нашлась с ответом, и это не ускользнуло от князя. — И с твоими было бы то же самое.

— Ах, если бы у меня были… Я верила и надеялась, что это случится, — сказала Шарлотта. — Так было бы лучше. Может быть, тогда все было бы по-другому. Он тоже так думал, бедненький, — думал, что это может быть. Я уверена, он хотел этого и надеялся. Но тут нет моей вины, — прибавила она, — просто так уж получилось. — Она проговорила все это медленно и раздельно, печально и очень серьезно, понимая, что ее друг вправе ждать от нее откровенности. С минуту помолчала и все-таки закончила, словно желая,

чтобы все стало ясно раз и навсегда: — А теперь я совсем уверена. Этого никогда не будет.

Князь отозвался не сразу:

— Никогда?

— Никогда.

Они говорили не то чтобы торжественно, но со своего рода уважением к теме, не терпящей расплывчатости.

— Вероятно, так было бы лучше, — добавила Шарлотта. — Но в жизни все складывается по-разному… И оттого, — вывела она заключение, — нам особенно одиноко.

Князь слегка удивился:

— Тебе особенно одиноко.

— О, — снова возразила она, — не надо сваливать все на меня! Я уверена, Мегги стала бы заниматься его ребенком так же безоглядно, как он занимается твоим. Да будь у меня хоть десять детей, они и то не смогли бы удержать наших с тобою sposi вдали друг от друга!

Шарлотта улыбнулась, как будто ее саму насмешил столь смелый образ, но для князя все это, видимо, все-таки было важно, и она снова заговорила серьезно:

— Это очень странно, если хочешь, но мы с тобой невероятно одиноки.

Он продолжал рассеянно ходить по комнате, но временами снова останавливался перед ней с какой-то смущенной непринужденностью, держа руки в карманах. Так он стоял и при ее последних словах, которые заставили его запрокинуть голову и уставиться в потолок, словно обдумывая что-то.

— А как ты скажешь, чем ты занимался весь день? — спросила тем временем Шарлотта. Тут он снова перевел на нее взгляд и все свое внимание, а она пояснила свой вопрос: — Я хочу сказать, когда она вернется. Вернется же она когда-нибудь? По-моему, нужно, чтобы мы говорили одно и то же.

Он снова задумался.

— Но не могу же я притвориться, будто со мной было то, чего не было.

— О, чего именно не было? Нету сейчас?

Ее вопрос прозвучал, пока они стояли лицом к лицу, и прежде чем ответить, князь пристально посмотрел ей в глаза.

— В таком случае нужно, по крайней мере, делать одно и то же, иначе выйдет слишком уж глупо. Похоже, придется нам вступить в сговор.

— Да уж, похоже на то! — Ее брови, плечи взлетели вверх, словно его слова сняли камень с ее

души. — О большем я и не прошу. Придется нам вступить в сговор. Видит бог, они-то поступают именно так!

Итак, он наконец понял, и, казалось бы, его согласие решило дело. Но все-таки это, видимо, было для него чересчур, и князь вдруг спустился с небес на землю, совершенно неожиданно для Шарлотты.

— Беда в том, что я их совсем не понимаю и никогда не пойму. Я и раньше не понимал, но думал, что научусь. Я очень надеялся, и поначалу казалось, Фанни Ассингем сможет мне помочь.

— О, Фанни Ассингем! — сказала Шарлотта Вервер.

Ее тон удивил князя.

— Ради нас она готова на все!

На это Шарлотта вначале ничего не сказала, как будто потому, что слишком много чувствовала. Потом снисходительно покачала головой:

— Ей нас не понять.

Князь на минуту задумался, словно искал выход из положения.

— В таком случае она готова на все ради них.

— И мы тоже, но от этого не легче. Она уже сломалась. Мы выше ее понимания. На самом деле, мой дорогой, — прибавила Шарлотта, — Фанни

Ассингем вообще не имеет значения.

Князь снова колебался:

— Разве только, чтобы позаботиться о них…

— Ах, — немедленно отозвалась Шарлотта, — разве это не наше дело? Только наше и ничье другое? — В ней словно вдруг вспыхнула гордость за эту привилегию и в то же время долг. — По-моему, нам не нужна ничья помощь.

В ее словах слышалось благородство, которое ничуть не становилось хуже из-за того, что проявлялось таким необычным образом; искренность Шарлотты проглядывала сквозь причудливые формы, какие волей-неволей принимали все их старания оберегать отца и дочь. На князя это подействовало так, будто в нем самом лопнула какая-то непрочная пружина. Он и сам все время думал об этих вещах; привилегия, долг, открывающиеся возможности — из всего этого образовалась интонация, посредством которой князь намеревался доказать Шарлотте, что и он сознает свою ответственность в сложившейся своеобразной ситуации. Чтобы не выйти совсем уж круглым дураком, требовалось измыслить наконец какую-то идею, которая могла бы послужить ему руководством к действию. Именно такую идею предложила Шарлотта. Она опе-

редила его, но поскольку ее вариант в своем неописуемом совершенстве не оставлял желать ничего лучшего, князь был на нее не в обиде. Он смотрел на Шарлотту, и лицо его медленно озарилось взволнованным пониманием; и в блеске этой, можно сказать, просветленности князь преподнес свой ответ, как не менее драгоценный дар:

— Они необыкновенно счастливы.

О, Шарлотта была с этим полностью согласна:

— Как в раю!

— Это самое главное, — прибавил князь. — Так что не имеет значения, если мы чего-то не понимаем. Кроме того, ты-то понимаешь достаточно.

— Может быть, я понимаю своего мужа, — подтвердила она после короткого молчания. — Твою жену — нет.

— У вас хотя бы общая нация, более или менее. Общие традиции, воспитание, вы из одного теста в смысле морали. Это сближает тебя с ними. А я, как ни старался найти у себя что-то общее с ними, находил все меньше и меньше. В конце концов начало казаться, что общего так мало, что и говорить не о чем. Ничего не могу с этим поделать: я слишком отличаюсь от них.

— Зато, — Шарлотта наконец произнесла самое

важное, — не слишком отличаешься от меня.

— Не знаю… Ведь мы не муж и жена. В браке многое становится заметно. Возможно, если бы мы поженились, — сказал князь, — ты бы обнаружила, что нас разделяет пропасть.

— Ах, если все зависит от этого, — улыбнулась она, — то я в полной безопасности… Да и ты тоже. И притом мы уже не раз имели возможность убедиться, и даже говорили об этом друг другу: они очень, очень простые. Этому трудно поверить, — прибавила она, — но, когда уж поверишь, становится легче действовать. Я, по крайней мере, кажется, наконец осознала это. Я не боюсь.

Князь не совсем ее понял:

— Чего не боишься?

— Ну, вообще, совершить какую-нибудь ужасную ошибку. Особенно связанную с тем, что они так не похожи на нас. Они такие милые!

— О, еще бы!

— Ну так вот. Я же говорю: я не могу влезть в кожу Мегги. Она мне не по размеру; я в ней не смогла бы дышать. Но я готова на все, лишь бы защитить ее от всяческих синяков. Она тоже милая, — продолжала Шарлотта, — но мой муж, вот уж, истинно, святая простота!

Несколько минут князь размышлял о святой

простоте мистера Вервера.

— Не скажу, что я могу выбрать между ними. Ночью все кошки серы. Я вижу только, что по очень многим причинам мы должны относиться к ним определенным образом. И, надо отдать нам справедливость, так мы к ним и относимся. Мы осознанно заботимся о них…

— Буквально каждую минуту, — сказала Шарлотта, никогда не отступавшая перед фактами. — И для этого мы должны доверять друг другу!..

— О да, как доверяют святым в небесах. К счастью, — поспешно прибавил князь, — нам можно доверять. — И на этих словах руки их нашли друг друга, словно скрепляя договор взаимного доверия. — Все это просто замечательно!

Шарлотта торжественно и крепко пожала его руку.

— Это прекрасно!

Целую минуту они стояли рядом, в таком прочном единении и таком тесном противостоянии, как никогда еще не бывало в их легкомысленном прошлом. Сперва они молчали, только смотрели друг другу в лицо, только сжимали друг другу руку, только встречались друг с другом взглядами.

— Это — святое, — сказал он наконец.

— Это — святое, — выдохнула она.

Они принесли свой обет, отдавая и принимая, и сила этой клятвы еще больше сблизила их. И вдруг, как узкая горная речка срывается в море, все рванулось, обрушилось, подалось, рассыпалось и перемешалось. Губы искали губы, требуя и отвечая, отвечая и требуя; в бешеном порыве, разрешившемся через мгновение самым долгим и бездонным из молчаний, они скрепили свою клятву печатью страсти.

19

Как мы видели, князь принял на веру слова Шарлотты о том, что Фанни Ассингем теперь не имеет значения. Это «теперь» князь добавил сам, как дань своим предыдущим впечатлениям на разных этапах; и хотя свое согласие он выражал преимущественно молчанием, молчание было настолько красноречиво, что он после этого несколько дней откладывал визит, который обещал своей закадычной приятельнице во время той встречи в министерстве иностранных дел. Тем не менее ему было бы очень жаль окончательно отказаться от представления о себе и о ней как о преданном ученике и доброй наставнице — отношения, в сущности, одинаково удобные для них обоих. Конечно, именно он больше всего настаивал на таком распределении ролей, поскольку стремился к знаниям значительно сильнее, чем она — к просветительской деятельности; но он снова и снова повторял ей, что без нее никогда в жизни не достиг бы того, чего достиг, а она не умела полностью скрыть, как приятно было бы ей поверить ему, даже когда вопрос о том, чего именно он достиг, оказался

скорее закрыт, нежели открыт для обсуждения. Сказать по правде, до этого вечера им ни разу не случалось обсуждать его, как тогда, на приеме, и князь впервые с некоторым разочарованием почувствовал, что милой даме чего-то не хватает, что он прежде отчего-то предполагал в ней. Он и сейчас затруднился бы сказать, чего же не хватает; а если она и вправду «сломалась», по выражению Шарлотты, не так уж существенно, какие именно детали вышли из строя. Все это, по сути, одно и то же: недостаток мужества, недостаток дружбы или просто-напросто недостаток такта; разве все это не сводится в конечном счете к недостатку ума? Вот уж чего князь не ожидал от нее, ведь это просто другое наименование для торжества глупости. Всему виной реплика Шарлотты, что они «выше ее понимания»; а он-то всегда верил, что присущая Фанни Ассингем легкость воображения поможет ей остаться с ним до конца. Ему претило подыскивать какие-то ярлыки для обнаружившейся в ней нехватки веры, но, размышляя на досуге о тех, кто способен по-настоящему — или, по крайней мере, не теряя изящества — хранить верность дружбе, он невольно предполагал наличие у них смелой фантазии, неподвластной мелким условностям. Он

сам, возникни такая необходимость, не побоялся бы поддержать славную миссис Ассингем и даже почти жалел, что такой приятной необходимости не предвидится. Вот, опять-таки, в чем беда с этими людьми, которыми он окружен со времени своей женитьбы: в общении с ними воображение требуется только для того, чтобы гадать, как это они ухитряются не давать практически никакой пищи для воображения. Иногда ему приходило в голову, что с такими людьми и дружить-то толком невозможно: нет чарующих секретов, чтобы выслушивать их в минуту душевного доверия и потом хранить в строжайшей тайне. Выражаясь вульгарно, он мог бы сказать, что ради них не требуется лгать и хитрить; выражаясь юмористически, он мог бы сказать, что из-за них не приходится сидеть с кинжалом в засаде или трудолюбиво готовить отравленную чашу. Эти маленькие услуги, согласно романтической традиции, равно уместны как в любви, так и в ненависти. Но он говорил себе со смехом, — если только тут есть что-нибудь смешное, — что раз и навсегда повернулся спиной к подобным вещам.

Между тем Фанни, по-видимому, часто бывала на Итон-сквер. Князь узнал об этом от своей гостьи, которая в то время не менее часто приез-

жала на Портленд-Плейс, а чаще всего — к чаю; хотя говорить о миссис Ассингем им было как будто и ни к чему, ведь они так единодушно пришли к выводу, что Фанни для них — пройденный этап. Сама миссис Ассингем не пыталась приблизиться к арене этих разговоров и умолчаний; как видно, она считала, что на данный момент для ее дружеской заботы может найтись более обширное поле деятельности на Итон-сквер. И в самом деле, на Итон-сквер она находила все и всех, кроме только одного князя, который в последнее время там почти не появлялся, а если и наведывался изредка, то как-то случайно не встречался с той единственной особой, с кем у него возникло небольшое отчуждение. Могло показаться просто каким-то чудом, если не знать, что князь с помощью Шарлотты глубоко проникся своеобразием ситуации, — могло показаться неописуемо удивительным, что при наличии, на первый взгляд, столь веских причин для отчуждения никто еще ни от кого не отдалился. От души восхищаясь Мегги, миссис Ассингем уже знала, как легче всего сблизиться с нею, а если что-то смущало ее в связи с Шарлоттой, то Фанни успела научиться избегать тех мыслей по этому поводу, которые могли бы привести к чересчур пла-

чевным результатам. Конечно, печально было наблюдать ее частые отлучки из дому, и именно здесь, на Итон-сквер, оказалось удобнее всего изучать эту особенность ее семейного уклада. Но Фанни и сама, по собственным соображениям, избегала Портленд-Плейс — это было довольно заметно; так что она, возможно, и не знала, часто ли Шарлотта там бывает, или же глава тамошнего семейства и впрямь проводит свои дни в одиночестве. В крайнем случае прикрытием для всех неясностей всеобъемлющим оправданием времяпрепровождения миссис Вервер в течение дня могло служить то обстоятельство, что на данном этапе она по общему согласию занималась «светской жизнью» от имени семьи, а точнее говоря — обеих семей. К тому времени ее гениальность по части представительства в широком мире и в самом высоком стиле успела проявиться в полном блеске. В обоих семействах очень быстро пришли к выводу, ничуть не завидуя, что Шарлотта одарена загадочным умением «блистать в обществе», тогда как княгинюшке это решительно не дано, хоть она и милая, и добрая, и усердная хозяйка, и вообще чудеснейшее создание, да еще и княгиня в придачу; ну не дано, и все тут, и никогда не будет дано, и лучше сразу

махнуть рукой на такие вещи; то ли она выше этого, то ли ниже, то ли просто в стороне, то ли не способна, то ли не склонна — это, в сущности, не имеет значения. Довольно и того, что представительские функции досталось исполнять Шарлотте, с охотой ли или просто по необходимости; такое решение полностью соответствовало ее проверенным способностям, а также ее преданности семейству. Она вошла в семью с ясно выраженной готовностью делать все, что от нее потребуется, «не задавая вопросов», и в качестве первого акта доброй воли взяла на себя бремя заботы о списке светских визитов, который Мегги, предоставленная самой себе, — а вернее, не столько себе, сколько Принчипино, — непростительно запустила.

Словом, Шарлотта не только жизнерадостно шагнула на ступальное колесо лондонского большого света, но и успокоила совесть оставшихся троих, заявляя, будто получает удовольствие от этого каторжного труда благодаря «фривольной стороне» своей натуры, если это не слишком уж суровое наименование для свойственного человеку приятного любопытства. Возможно, на деле ей порой приходилось скучновато в бесплодной пустыне высшего общества, попадались иногда

скверные четверть часа, подобно фальшивым монетам среди обесценившейся валюты; к этому она из принципа относилась легко, словно и не была достаточно умна, чтобы различить подделку. Князь как-то сделал ей комплимент по этому поводу, вскоре после ее возвращения из Америки, где она, по рассказам очевидцев, проявила замечательное умение держать удар; неизменно веселая, плечом к плечу с мужем, она выносила все, с чем им приходилось сталкиваться — а сталкиваться приходилось порой с такими вещами, что не поддаются никакому описанию; и это при том, что в прошлый свой приезд, еще до замужества, когда на кон были поставлены только лишь ее собственные интересы, Шарлотта отказалась от борьбы. После воссоединения обоих семейств у миссис Вервер появился естественный повод для встреч с зятем своего мужа: они обсуждали свои американские приключения, сравнивали впечатления и воспоминания. Потому-то Шарлотте и удалось так быстро объяснить князю свою точку зрения; хотя он не скрывал, что некоторые ее выражения его позабавили.

— Приходится выполнять все, что от тебя ждут, а как же иначе? — спрашивала она. — Ведь это, очевидно, одно из условий сделки. Этот брак дал

мне так много, — она ни на минуту не пыталась отрицать, что брак дал ей очень «много» и что она сознает это, — я бы не заслуживала никакого снисхождения, если бы стала скупиться в ответ. Наоборот, отдавать все, что только можешь, — этого требует порядочность, и честь, и достоинство. А эти качества, к твоему сведению, — мои божки, которым я поклоняюсь, иконы, на которые молюсь. Да, я не какое-нибудь низкое животное, — завершила она свою речь, — вот увидишь, какая я!

И он видел: видел, как она день за днем, месяц за месяцем добросовестно отрабатывает долг благодарности. Взятые на себя обязанности она выполняла умело и с блеском, обеспечивая тем самым приятную и беззаботную жизнь своему мужу и дочери своего мужа. А пожалуй, и больше того — она дала им возможность значительно повысить меру этой приятности и беззаботности. Они, грубо выражаясь, поручили ей заниматься «мирскими делами» семьи, и она настолько гениально справлялась со своей задачей, что остальные трое отошли от дел куда более радикально, чем намеревались вначале. В соответствии с этим саму Шарлотту мало-помалу освободили от прочих, более скромных обязанностей, а

следовательно, эти мелкие домашние хлопоты вполне логично перешли к Мегги, которой они давались куда легче и естественнее. И, не менее естественно, именно Мегги досталось латать прорехи, оставленные Шарлоттой на Итон-сквер. Непритязательное занятие, но это было Мегги как раз по душе. А милому Америго, созданию из той же великосветской породы, несомненно, было временами тесно в узких рамках домашних забот — и вот она, самая очаровательная задача для Шарлотты, лишь бы только удалось достаточно вразумительно довести ее до сознания самой Шарлотты.

Что ж, в те дни, о которых мы ведем сейчас рассказ, князь как раз пришел к выводу, что Шарлотта, видимо, успешно осознала вышеупомянутую задачу; такое заключение довершило для него картину, сложившуюся из всевозможных образов и размышлений, заполнявших его досуг, из тех метаний и стараний прийти к взаимному согласию с собственной совестью, которые мы попытались внятно изложить на этих страницах. Такие мысли составляли ему компанию — и небезуспешно, если принять во внимание его возможности в этом плане, — пока князь оттачивал до наивысшей ясности разработанный

им самим принцип, на основании коего он и воздерживался как от поездок к Фанни на Кадоган-Плейс, так и от чрезмерно частого появления на Итон-сквер. Последнее было бы ошибкой, так как лишило бы его возможности максимально использовать преобладающие там бесхитростные теории о его и Шарлотты умонастроениях. То, что преобладают именно бесхитростные теории, он в конце концов вынужден был признать окончательно и бесповоротно, под давлением многочисленных доказательств; а между тем, исходя из простейшей предусмотрительности, обыкновенной житейской бережливости, никакие крупицы знаний не должны пропадать зря.

Одним словом, проводить слишком много времени на Итон-сквер значило бы показать, что ему, в отличие от его ослепительной приятельницы, не хватает других занятий в жизни. А ведь только благодаря наличию у него достаточного количества других занятий, а вернее — у него и у нее вместе, и возникала та странная и восхитительная ситуация, в которой все становится возможным, как они это называли, беседуя друг с другом. И ситуация эта усугублялась тем, что по еще одному восхитительному капризу судьбы понятие «в жизни» включало в себя Порт-

ленд-Плейс, отнюдь не включая в той же мере Итон-сквер. Впрочем, следует сразу же уточнить, что в итон-скверском жилище могли порой встрепенуться и, спохватившись, разослать по разным адресам дюжину приглашений. Незадолго до Пасхи один из таких случайных порывов слегка потревожил благоденствие нашего молодого человека. Мегги с весьма похвальным вниманием к вопросам светских условностей считала, что ее отец обязан время от времени давать обеды для тщательно продуманного состава гостей. Мистер Вервер, как всегда, органически не способный не оправдать чьих-то ожиданий, в полном согласии с дочерью считал, что его жена обязана давать такие обеды. Сама Шарлотта утверждала, что в этом отношении они вольны, как птицы небесные, обосновывая свое мнение тем, что всякий будто бы обиженный недостатком внимания с их стороны примчится, сияя улыбками, по первому запоздалому зову. И в самом деле, по наблюдениям Америго, эти банкеты-извинения неизменно сияли улыбками; он находил что-то очень трогательное в этих мирных островках посреди лондонской bousculade[35], что-то по-

[35] Примечания: 35
Толчея (*фр.*).

своему утонченное, какую-то тихую прелесть и человечность. Гости приходили, прибегали со всех ног, и тут же попадали под воздействие этой мягкой кротости; грубые эмоции толпы, побуждения бессердечного любопытства оставлялись вместе с шалями и пальто у подножия изысканной лестницы. Прием, который должен был состояться за несколько дней до Пасхи и на котором Мегги с князем полагалось неукоснительно присутствовать, посвящался выполнению менее настоятельных обязательств, и, может быть, оттого больше обычного отзывался почти пасторальными радостными нотами: солидный, блестящий, скучный обед с доброжелательными взглядами и тихим бормотанием чрезвычайно учтивых, хотя и весьма высокопоставленных гостей, большей частью — пожилых супружеских пар, чьи имена так внушительно звучат в устах лакея, объявляющего об их прибытии, и кого так удобно рассаживать за столом в строгом соответствии с их положением в иерархии. После обеда предполагался небольшой инструментальный концерт; как было известно князю, Мегги очень волновалась, занимаясь подготовкой концерта, и часто обращалась за советом к Шарлотте, причем обеим доставляла безмерное удовольствие

платежеспособность мистера Вервера.

Ассингемы тоже были приглашены по праву давности, хоть и находились на самой нижней ступеньке общественной лестницы — и супруга полковника, невзирая на свое скромное положение в обществе, занимала мысли князя, как никто другой из присутствующих, за исключением Шарлотты. Шарлотта занимала его мысли прежде всего потому, что выглядела такой безудержно молодой и высоко держала среди окружающих, людей преимущественно почтенного возраста, факел респектабельной юности и знамя тактичного изящества; а во-вторых, если участники сегодняшнего обеда и выделяли каким-то образом хозяйку дома, то по какой-то чрезвычайно странной и необъяснимой причине, хотя, несомненно, без злого умысла единодушно выбирали на эту роль Мегги. Князь, разумеется, знал, что его жена тоже наделена вполне выраженной индивидуальностью, но не мог понять, как получается, что проявлением этой индивидуальности, причем совершенно неосознанным, становится выражение всепоглощающей озабоченности успехом праздника. Он хорошо знал и другие черты ее облика, заметные в любое время, а особенно на Итон-сквер: сходство с отцом, становившееся

особенно ярким в минуты нежности, словно аромат распускающегося цветка; особенность, подмеченную им еще в Риме, в первые суматошные дни после их обручения, когда он сравнил ее с отдыхающей маленькой танцовщицей, такой легкой в движениях, присевшей для передышки на скамью, слегка запыхавшись и даже как будто виновато; и наконец, скорее по аналогии, нежели по истинному сходству, он приравнивал ее к длинной череде довольно безликих образов жен и матерей своего древнего рода. Если собирательным идеалом этой линии могла служить римская матрона, то Мегги, надо думать, годам к пятидесяти обретет присущую этому персонажу основательность, хотя, наверное, все-таки будет отчасти напоминать Корнелию в миниатюре. Однако со временем князь прозрел и убедился в том, что миссис Вервер тоже присутствует на сцене в качестве незаметного, но оттого не менее изысканного дополнения, неясным и отдаленным намеком на присвоенные ей полномочия. Короче говоря, представлялось совершенно загадочным и необъяснимым, какое именно место в происходящем отведено миссис Вервер. Ее положение жены хозяина дома, ее более решительная осанка, ее более спокойная улыбка, ее

менее обильные драгоценности — все это меркло в сравнении с взволнованной заботой, пылавшей в Мегги, подобно маленькому, но яркому пламени, зажигая на ее щеках предательский румянец, который, впрочем, ничуть ее не портил. Сегодня день ее отца; будет ли он удачным или неудачным — это будет удача или неудача отца, и потому вопроса важнее не могло быть на свете. Даже со стороны было видно, как она изнывает под гнетом тревожного ожидания и как все заметнее в ней становятся отцовские черточки — в выражении лица, в движениях, в интонациях. Все это было очень мило и даже забавно, но тем теснее объединяло этих двоих, словно бы и не разделенных двойным супружеством. Какое бы место за столом ни занимала княгинюшка, все равно в этом доме она всегда, неизменно и непоправимо останется Мегги Вервер. Это впечатление неотступно преследовало князя. В сущности, вполне естественно было бы ему задуматься, не производит ли и мистер Вервер подобного впечатления, когда обедает в гостях у дочери.

Впрочем, если даже подобные мысли и мелькали у князя задним числом, их нетрудно было пресечь; ибо в эту минуту Америго с небывалой

прежде ясностью уверился в том, что его удивительный тесть ни в коей мере не обладает способностью выглядеть по-разному при разных обстоятельствах. Все в нем было просто до ошеломления, и тем исчерпывался вопрос о его внешности, насколько она вообще у него имелась, в чем, вообще говоря, можно было и усомниться. Нашему молодому человеку, который, как мы вскоре увидим, развлекался в тот вечер самыми разными труднообъяснимыми способами, — так вот, ему было забавно наблюдать, насколько все прочие, количественные составные элементы хозяина дома, такие как способности, собственность, удобства и благорасположение ко всему на свете, еще преумноженные легендами, ходившими о нем в обществе, не зависят от качественного фактора, не нуждаются в личностном выражении. Количество было разлито в воздухе, где его ясно ощущали достойные господа, собравшиеся в тот вечер в его доме, качество же мистера Вервера состояло для них практически целиком в этой всепроникаемости. Был он худ, скромен, с ясным взглядом, и если его глазам было чуждо выражение страха, то не случалось им и вспыхивать дерзким вызовом; не было у него широких плеч, грудь не выпячивалась колесом, цвет лица

нельзя было назвать свежим, и макушка уже облысела; и все-таки, восседая во главе стола, он был невероятно похож на маленького мальчика, который принимает гостей, сам стесняясь собственной знатности, — так похож, что просто не мог не быть одним из великих мира сего, представителем некой могущественной силы, точно так же, как малолетний король является представителем своей династии. Америго уже давно усвоил такой взгляд на тестя, находя в нем своего рода прибежище, сегодня же его впечатление всего лишь стало сильнее. Прибежище это с тех пор, как обе семьи снова оказались в Англии, заменяло князю ту чисто человеческую общность, которая, по его ожиданиям, могла возникнуть между ними, но так и не созрела в полной мере. Он встречал через стол взгляд честных глаз, одинаковых у отца и дочери, встречал позднее тот же взгляд в музыкальной комнате, но читал в этих глазах не более того, что успел изучить в течение первых месяцев, в период, когда он чувствовал себя чересчур старательным учеником, усердно усваивающим термины и условные обозначения, которые впоследствии остаются абсолютными и неизменными. Взгляд был прямым и спокойным, но никогда не задерживался на лице собесед-

ника и не проникал вглубь, и у князя мелькала причудливая мысль, что с таким же выражением этот взгляд устремляется на какой-нибудь чек, полученный от делового партнера и готовый к отправке банкиру. На чек смотрят лишь затем, чтобы проверить обозначенную на нем сумму — вот так же и князя время от времени бегло осматривали на предмет уточнения его номинала. Он как будто подлежал постоянно повторяющейся оплате; будучи уже помещен в банк в качестве ценного вклада, он мог бесконечное число раз быть заново перечисляем на счет, к вящей радости вкладчика. Более того, молодому человеку вовсе не хотелось, чтобы стоимость его снизилась. Безусловно, он не назначал себе цену: «сумма» была определена самим мистером Вервером. Однако же сумме необходимо было соответствовать, и никогда еще князь не ощущал этого так остро, как нынче вечером. Решительно, ему могло бы стать не по себе, не будь гарантией успеха их единодушное согласие с Шарлоттой. Князь невольно то и дело встречался взглядом с Шарлоттой, и было не менее заметно, как она то и дело встречается взглядом со своим мужем. Князь чувствовал каждым биением своего сердца, что и ей передаются те же впечатления. Это объеди-

няло их прочнее некуда, несмотря на ненужную показную разлуку, и два других лица, и весь этот вечер, люди, огни, цветы, лицемерные разговоры, восхитительная музыка, все это вместе образовывало таинственный золотой мост между ними, опасно раскачивающийся, иногда почти до головокружения, ибо верховным законом их близости должно было отныне стать: «не навреди» — никогда не забывать об осторожности, не нанести осознанно рану.

20

Нас, однако, главным образом интересует другое: в течение нескольких вечеров, отделенных от приема на Итон-сквер коротким промежутком времени, у князя оставалось ощущение какого-то осадка, от которого было чрезвычайно трудно отделаться. То был привкус едкого питья из чаши, поданной ему рукой Фанни Ассингем по окончании обеда, когда квартет, разместившийся в музыкальной комнате, пробуждая у собравшихся тончайшие движения души, весьма кстати вынуждал самих собравшихся сохранять неподвижность. После того как закончилось исполнение второй пьесы, миссис Ассингем сообщила своему молодому другу, что гений Брамса взволновал ее свыше всяких сил, и, прогуливаясь якобы бесцельно рука об руку с князем, отвела его в сторонку, где они имели возможность разговаривать, не проявляя неуважения к музыке. Князь провел с нею двадцать минут — все оставшееся время концерта — в не столь романтичном электрическом свете одной из пустых комнат, за приятной и, как выразился бы он сам, чрезвычайно плодотворной беседой, и эти двадцать минут

определили для него восприятие других событий, произошедших позднее. Вышеупомянутые более поздние события тогда еще только обсуждались; для того-то она и искала случая перемолвиться с ним словечком без помех. В ее небрежно-легком тоне чуткое ухо князя различило отчетливые тревожные нотки. Прежде чем уединиться с ним, Фанни Ассингем успела потихоньку разведать некоторые обстоятельства, касающиеся того вопроса, о котором им следовало поговорить. Все это было сказано без всяких предисловий и так внезапно, что почти нуждалось в объяснениях. Затем возникло ощущение, что сама внезапность и служит объяснением — что, в свою очередь, повлекло за собою легкую неловкость.

— Знаете ли вы, что они все-таки решили не ехать в Мэтчем; а если они не поедут… По крайней мере, если Мегги не поедет… Вы, я думаю, не поедете один?

И вот, по удивительному повороту судьбы, именно в Мэтчеме в пасхальные дни князь мысленно заново переживал этот разговор — по сути, в значительной мере предрешивший все последующее. Князь уже не первый раз гостил в английском загородном доме, давно научился вести себя очень по-английски и в достаточной мере на

английский лад; если эти визиты не доставляли ему безумного наслаждения, то, по крайней мере, он получал от них не меньше удовольствия, чем представители славной нации, которые общими усилиями изобрели их когда-то, в глубине времен, и до сих пор, в затянувшийся полдень своего истового служения, продолжали единодушно, пусть даже и немного машинально, соблюдать этот старинный обычай. Притом же именно во время таких визитов особенно проявлялась свойственная князю привычка словно бы отстраняться от происходящего, наблюдая окружающее критически-насмешливым внутренним взором; внешне оставаясь полноправным участником, князь замыкался в себе, словно уходя в некую отдаленную часть своей души, которую нисколько не интересуют события, разыгрывающиеся на переднем плане. Телом он неизменно участвовал во всевозможных занятиях первого плана, как то: стрельба, верховая езда, гольф, пешие прогулки по изысканным диагоналям луговых тропинок или же вокруг бильярдных столов с кармашками по углам; стойко переносил такие испытания, как игра в бридж, завтраки, ланчи, чаи и обеды, и вершина повседневных занятий — ежевечернее

сборище вкруг bottigliera[36], как называл князь переполненный до отказа поднос с бутылками; наконец, исправно отдавал светскому общению весьма необременительную дань красноречия, остроумия и жестикуляции. Но при этом очень часто чувствовал, что какая-то его часть остается в стороне; напротив, когда он был один или с близкими людьми, или, например, с одной только миссис Вервер, он и двигался, и говорил, и слушал как единое целое.

«Английское общество», как сказал бы князь, словно раскраивало его на две половины, и часто в такие минуты он сам себе напоминал человека, который обладает неким сверкающим украшением в виде звезды или ордена, настолько заметным и ярким, что без этого его личность неполна, но, замечая, что носить подобные предметы в обществе не принято, вынужден постоянно отцеплять его от своей одежды и с невеселой усмешкой прятать в карман. Сверкающая звезда князя была, без сомнения, не что иное, как свойственная ему тонкость ума и чувств; как бы то ни было, князю в последнее время часто приходилось ограничиваться тем, чтобы вертеть

---

[36] Примечания: 36
Винный погреб (*ит.*).

любимую безделушку в руке незаметно для посторонних глаз — что на деле принимало форму беспокойной игры воспоминаний и вышивания затейливых узоров по мысленной канве. Пока он на Итон-сквер наслаждался беседой со своей старинной приятельницей, произошло что-то очень значительное: вспоминая об этом, князь все больше убеждался, что она тогда впервые преподнесла ему небольшую дозу вранья. Он сам не знал, почему эта мелочь приобрела для него такое значение. Фанни никогда еще не лгала ему — хотя бы потому, что не видела в этом необходимости с точки зрения приличий, логики или морали. Едва она предложила ему вопрос, что он будет делать (подразумевалось: что будет делать также и Шарлотта) в случае, если Мегги и мистер Вервер все-таки отклонят приглашение, которое они уже дня два, покорившись судьбе, намеревались принять; едва она выказала любопытство по поводу того, какую линию поведения изберут для себя остальные двое, будучи предоставлены самим себе, сразу стало видно: ей очень не хочется, чтобы показалось, будто она выспрашивает. Выдав свое беспокойство, которое князь уже имел случай заметить три недели назад, Фанни спохватилась и посчитала необходимым привести

хоть мало-мальски внятную причину для своего вопроса; и князь, ощущая мимолетное чувство жалости, наблюдал, как она тщетно пытается нашарить наугад подходящий повод, но, увы, безрезультатно. Сжалившись над нею, князь тут же на месте изобрел для нее такую причину, преподнеся свою находку так же непринужденно, как подают даме оброненный цветок.

— Вы спрашиваете, не откажусь ли также и я от поездки, потому что от этого могут зависеть ваши с полковником планы?

Вопрос практически подразумевал утвердительный ответ, хотя разговор с Шарлоттой не оставил у князя впечатления, что Ассингемы тоже приглашены в Мэтчем. Удивительное дело: за прошедшее с тех пор время эта деятельная парочка ухитрилась добиться, чтобы их внесли в золотой список; никогда прежде, заметим справедливости ради, князь не замечал за Фанни ничего подобного. Это только доказывает, что она умела действовать чрезвычайно успешно, если хотела.

Так или иначе, стоило князю во исполнение решения, принятого в результате долгих переговоров между Портленд-Плейс и Итон-сквер, погрузиться в великолепное гостеприимство

Мэтчема, как многое стало ему понятно, и все сходилось одно к одному; тем более что и миссис Вервер была там же, рядом, и можно было обмениваться с нею мыслями и впечатлениями. Вместительный дом, полный гостей, давал простор для разнообразных новых комбинаций, для усиленной игры возможных сближений, и, разумеется, ни в коем случае не следовало допускать, чтобы кому-то могло показаться, будто он специально искал случая встретиться здесь со своей приятельницей, на безопасном расстоянии от его и ее sposi. Пожалуй, было несколько смело с их стороны приехать поодиночке для поддержания светских связей семьи — проявление легкой эксцентричности, позволявшей отсутствующим членам вышеупомянутой семьи так легко относиться к их свободным привычкам. Безусловно, привычку столь часто появляться на людях вдвоем могли счесть смешной, но, с другой стороны, приятно было сознавать, что при их высоком общественном положении и учитывая обнадеживающие традиции этого гостеприимного дома, где не принято было осуждать кого бы то ни было, любой избранный ими образ действий всего лишь сочтут смешным, да и то разве только в самом крайнем случае. Уже в который

раз наши друзья восхищались неоценимыми преимуществами принадлежности к высшему свету, который не считается ни с чем, кроме собственной утонченной чувствительности, взирая поверх голов разнообразной мелюзги низкого происхождения; да притом еще и к собственной чувствительности здесь принято относиться, как к самому милому, дружелюбному, неофициальному и прямо-таки ручному участнику всеобщего альянса. Вопрос о том, что «думает» кто-то о ком-нибудь другом, а особенно о ком-нибудь другом с кем-нибудь другим, не обсуждался в этих сиятельных чертогах, а следовательно, не вызывал ни малейшей неловкости, и потому Общественное Осуждение, сей грозный дух, вечно витающий с весами в руках над злополучными смертными, представал здесь в образе всеми презираемого, тишайшего и смиреннейшего бедного родственника — конечно, нисколько не уступающего другим по части предков, только вот немного замызганного с виду (несомненно, в связи с некоторой малочисленностью своего гардероба); горемыке предписано соблюдать воздержанность в еде и сидеть тише мыши, дабы заржавленная машина правосудия ни единым звяканьем не выдавала своего присутствия, — на

этих условиях ему выделена каморка под самой крышей и местечко за приставным столиком возле буфета. Довольно забавно, что при такой свободе нравов в этот раз, как и всегда, неукоснительно соблюдалась видимость того, что князь присутствует здесь исключительно от лица княгини, которая, к великому сожалению, снова не смогла отлучиться из дому, а миссис Вервер столь же неукоснительно являла собой воплощение пребывающего вдали мужа, принося чрезвычайно изысканные извинения за его отсутствие: он, дескать, скромнейший, приятнейший в общении человек, когда находится среди своих сокровищ, но уже давно идет молва об одной его особенности — привыкнув к высоким стандартам собственного дома и собирающегося там избранного общества, он не в силах перенести пестроту разношерстной публики, с какой приходится сталкиваться даже в тех домах, где мнят себя сливками общества; подобная обстановка раздражает его и вгоняет в тоску, вынуждая тем самым соблюдать разборчивость в визитах. Всем было известно, как удачно удаются подобные совместные миссии умному зятю и его очаровательной теще, и никого это не волновало — лишь бы только не нарушалось подобающее равнове-

сие между достаточностью и избыточностью.

А между тем благородная красота поместья, полнокровный, щедрый на солнце и ветер английский апрель, задыхающийся в нетерпеливом порыве, порою даже начинающий брыкаться и вопить во всю силу легких, подобно младенцу Геркулесу, который не желает, чтобы его одевали; да еще в придачу бесстрашие молодости и красоты, дерзкая удачливость и неуемная жажда жизни, в таком изобилии рассыпанные среди гостей, что бедняжки Ассингемы, сравнительно более зрелого возраста и сравнительно менее блистающие роскошью, единственные грозили нарушить фальшивой нотой общую гармонию, — все это сливалось в единый вихрь, заставляя слегка кружиться голову, в то время как положение князя, почти гротескное по своей вопиющей неприкрытости, живо напоминало чью-то изощренную насмешку. В огромном сверкающем доме всякий голос словно звал к удовольствиям, ловко уклоняющимся от возмездия; каждое эхо бросало вызов затруднениям, сомнениям и опасностям; откуда ни посмотри, сияющая картина так и манила жить минутой, забыв обо всем, а ведь то была всего только первая ступенька волшебных чар, впереди же поджидало еще многое и

многое. Ибо в этом удивительном мире правили волшебные чары, улыбка богов и благосклонных небесных сил, и был только один способ встретить этот мир достойно, встретить его красиво, да что там — попросту умно: нужно было верить его обещаниям и отважно принимать все его случайности и превратности. Здесь требовались — к этому, по сути, сводилось все дело — прежде всего стойкость духа и веселый нрав, и никогда еще, даже в самые беззаботные минуты прежней римской жизни, не случалось князю с такой очевидностью убеждаться, насколько это полезные качества — полезные, по крайности, для того, чтобы поддержать человека в трудную минуту. Несомненно, в прежней римской жизни было больше поэзии, но, оглядываясь назад, князь видел прошлое словно парящим в воздухе среди каких-то неясно мерцающих горизонтов, туманным и полупрозрачным, с громадными лениво-равнодушными пробелами, не поддающимися никакому разумному объяснению.

Настоящее же, вольготно раскинувшееся вокруг, прочно стояло обеими ногами на земле под звуки торжествующих труб и, что более существенно, с бездонным кошелем полновесных, блестящих британских соверенов в руках. А по-

сему стойкость духа и веселый нрав воплощали собою веяние времени; хотя мы, со своей стороны, полагаем немаловажным, что Америго в глубине души испытывал некоторое раздражение от столь необычайной легкости восприятия.

Он сравнивал четкость открывающейся перед ним картины с тем удивительным состоянием души, которое заменяло его жене восприятие реальности во всем, связанном с его собственными поступками, — это было нечто вроде старательно культивируемого безоглядного доверия, выпестованного с неумолимым упорством, хоть и без малейшего злого умысла. У князя такой взгляд на вещи вызывал недоумение, смешанное с иронией, становившейся временами настолько острой, что ее просто невозможно было хранить про себя.

Не то чтобы в Мэтчеме позволило себе, как говорят, «произойти» нечто из ряда вон выходящее, нечто чудовищное, нечто, заслуживающее особого внимания; были всего лишь мимолетные мгновения, когда упомянутое выше веяние времени, дохнув Америго прямо в лицо, исторгало внезапный легкомысленный возглас: «А что, интересно, они сказали бы об этом?» «Они» — это, разумеется, были Мегги и ее отец, тоскующие

— насколько они вообще соизволяли тосковать — на скучной Итон-сквер, но притом пребывающие в невозмутимой уверенности, будто с идеальной точностью знают, чем занимаются сейчас их искушенные в делах света спутники жизни. Ввиду всего изложенного приходится предположить, что отец с дочерью ровным счетом ничего стоящего не знали, будь то идеально или цинично; возможно, бедняжки не были бы так несносны, признай они однажды, раз и навсегда, что знание им совершенно не нужно и даже просто-напросто недоступно благодаря своеобразному устройству их организма. Они были славные дети, благослови их Господь, и дети славных детей, и даже маленький Принчипино благодаря своему смешанному происхождению вполне мог показаться самым взрослым и здравомыслящим человеком из этой троицы.

Главная трудность ежедневного общения с Мегги, в частности, состояла в том, что ее незамутненному воображению явно были чужды любые догадки о присутствии в ее жизни каких бы то ни было отклонений от нормы. Окажись ее муж или, по крайней мере, жена ее отца скроены по издавна установившемуся верверовскому образцу — вот это было бы действительно отклонение

от нормы! Будь они на самом деле скроены таким образом, им и вправду было бы не место в Мэтчеме ни на каких условиях; в противном же случае им было там не место на вполне специфических условиях — а именно на чрезвычайно нелепом условии полного и неукоснительного соответствия принципам Итон-сквер. В самой глубине необъяснимого беспокойства, которое переполняло нашего молодого человека и которое мы, за неимением лучшего обозначения, назвали «раздражением», — в сокровенной глубине смутно ощущаемой ложности собственного положения, тлела красная искорка: неистребимое сознание более высокого и прекрасного закона бытия. Бывает, что человек становится смешным, будучи бессилен что-либо изменить — к примеру, если жена выставляет его на посмешище самым обычным из всех возможных способов. Но в этом-то и все дело: бедняжка Мегги ухитрилась изобрести совершенно новый, весьма необычный способ, и тем не менее, безропотно приняв предложенные ему правила существования, князь оказался бы до невозможности смешон. Если тебя систематически подталкивают к другой женщине, которая к тому же необычайно тебе нравится, и мало того — вышеупомянутое подталкивание совершается

именно таким образом, чтобы выставить тебя не то слабаком, не то простофилей, — в такой передряге только от тебя самого зависит, сумеешь ли ты сохранить достоинство. Собственно говоря, смешнее всего тут было гротескное столкновение двух диаметрально противоположных взглядов на жизнь. В самом деле, какому истинному galantuomo[37]— по крайней мере, как представлял себе эту породу людей Америго со всей глубиной и силой убеждения, — какому истинному galantuomo не бросилась бы в лицо краска стыда, случись ему проводить столько времени в обществе такой женщины, как миссис Вервер, не выходя при этом из состояния младенческой невинности, подобно нашим прародителям до грехопадения. Пожалуй, этот «гротескный взгляд на жизнь», как выразился бы Америго, не заслуживал столь бурной реакции; князь, будучи опять же человеком светским, старался по мере сил относиться к нему снисходительно. Но тем не менее у князя, равно как и у его очаровательной спутницы, был только один способ выразить свое сочувствие, смешанное с жалостью. Единственно друг с другом могли они поделиться своими

[37] Примечания: 37
Светский человек (*ит.*).

мыслями на этот счет, зато делали это охотно и со вкусом, что, к счастью, более чем позволяли природные дарования Америго и Шарлотты.

Не было разве для них подобное единодушие в буквальном смысле слова единственным способом не оказаться неблагодарными? Насколько успешно удавалось обоим избегать этого порока, свидетельствует восхитительное чувство общности, какое бывает у заговорщиков, воцарившееся между ними во время той знаменательной загородной поездки.

21

А посему, когда в беседе с Фанни Ассингем промелькнуло мимолетно-озабоченное воспоминание об Итон-сквер (что примечательно — ни в коем случае не о Портленд-Плейс!), князь жизнерадостно воскликнул:

— Ну что стали бы делать здесь наши любезные супруги? Нет, вы подумайте серьезно, что они стали бы здесь делать?

Подобная откровенность могла показаться довольно безрассудной, если бы не одно обстоятельство: князь незаметно даже для себя самого привык смотреть на свою приятельницу как на человека, в котором за последнее время заметно поубавилось обличительского пыла. Разумеется, своей репликой князь дал ей повод поинтересоваться в ответ: «Но если им было бы здесь так уж скверно, как можете вы находить удовольствие в здешней жизни?» Но, не говоря уже о том, что задавать такие вопросы по меньше мере бессмысленно, Фанни, похоже, и сама уже была готова разделить оптимистическую уверенность Америго. Были у него и свои предположения касательно источника этой неожиданной кротости

— предположения, вполне согласующиеся с тем, как быстро Фанни пошла на попятный после давешнего обеда у мистера Вервера. Князь не пускал в ход дипломатических ухищрений, не пытался ни запугать, ни подкупить свою добрую приятельницу — ведь ее отношение к происходящему могло принести пользу, только лишь будучи абсолютно искренним; и все же Америго чувствовал, что прочно держит Фанни Ассингем в руках, а добился он этого исключительно просто, инстинктивно сжалившись над ее страданиями, едва различимыми для постороннего глаза. Он всего-навсего догадался, что она ощущает себя, по модному нынче словечку, «в стороне от событий», в стороне от хрустального потока и дорогостоящего пейзажа, и такой-то малостью он с чарующим дружелюбием искупил для Фанни все мучительные последствия ее роковой ошибки, как могли бы это назвать грубые, вульгарные люди. В конце концов, ее ошибка состояла всего только в желании оправдать себя в его глазах. Ради этого она взяла на себя роль единственной замарашки в собравшейся компании, о чем и не замедлила объявить во всеуслышание, не прошло еще и получаса после вечернего чаепития. На фоне здешнего размаха все ее мизерные

достижения, все изящные чудачества, авторитет местного масштаба, своеобразное чувство юмора и не менее своеобразный гардероб (а ведь где-то там, среди друзей, эти две последние особенности вызывали восхищение уже потому, что принадлежали ей, милой Фанни Ассингем) — все эти качества и многие другие представлялись теперь совершенно ничтожными; пяти минут оказалось достаточно, чтобы окончательно и бесповоротно низвергнуть ее с пьедестала. На Кадоган-Плейс славная леди была, на худой конец, хотя бы живописна (у нее вошло в привычку называть себя «уроженкой» Слоун-стрит), тогда как в Мэтчеме она могла быть только жуткой, кошмарной и никакой другой. И такое несчастье решилась она навлечь на свою голову ради чистого и возвышенного чувства дружбы. Дабы доказать князю, что она вовсе не собирается шпионить за ним (повод для слежки был бы слишком уж серьезный), Фанни Ассингем присоединилась к нему в погоне за развлечениями. Так, и только так могла она проявить свою полную незаинтересованность. Князь прекрасно видел, что мотивы ее поступка вполне великодушны. Разве что очень недоброжелательный человек мог бы поставить ей в вину хотя бы тень назойливого любопытства. А

потому, когда Фанни жаловалась ему, какой замарашкой чувствует себя даже перед собственной горничной, которая немилосердно тычет ей это в глаза ежеутренне и ежевечерне, — князь и не подумал сказать: «Вот видите, что вы натворили; сами виноваты, душенька!» Нет, он поступил совершенно по-другому. Сам занимая выдающееся положение в здешнем обществе (Фанни говорила ему, что никогда еще не видела его настолько окруженным всеобщим преклонением), он и ее извлек из мрака безвестности или, хуже того, единодушного осмеяния, вытащил на свет и возвеличил, всячески подчеркивая то, что было в ней бесспорно хорошего, а именно — остроту ума. До сих пор в Мэтчеме лишь весьма смутно догадывались о том, что острота ума может иметь какую-то ценность сама по себе, вне связи со статностью фигуры и цветом лица, способностями к «бриджу» и наличием жемчужного ожерелья, пусть бы даже взятого в кредит; таким образом, приятное обращение с нею князя — она назвала его всего лишь приятным, но при этом слезы навернулись у нее на глаза — его обращение не только сослужило службу милой женщине, но и пошло на пользу обществу.

— Она понимает, — заметил князь, обсуждая

вышеизложенное с миссис Вервер. — Она понимает все, что ей следует понимать. Времени на это понадобилось немало, но в конце концов она уяснила для себя, что мы желаем только одного: дать им возможность жить так, как им нравится, в тишине и покое, и прежде всего — с ощущением безопасности, которое им так необходимо. Фанни, конечно, не может прямо посоветовать нам использовать сложившуюся ситуацию, как умеем; не может же она так и сказать, всеми словами: «Не думайте обо мне, я тоже буду справляться, как умею, а вы себе устраивайтесь, как знаете, и живите, как приходится». Такого я от нее не жду, да это и ни к чему. Но ее тон и вся манера яснее ясного говорят о том, что она в нас верит и не сомневается: мы по-своему будем так же внимательны, так же предусмотрительны, так же скрупулезны в своей заботе, как и она — в своей. Таким образом, — подытожил князь, — с нею, можно сказать, дело практически улажено.

Шарлотта, впрочем, ни словом не поддержала его блаженной уверенности. Когда бы князь ни возвращался к своим выводам, подчеркивая их очевидность, или их важность, или что бы то ни было еще, она ничем не помогала ему в его умозаключениях. Она позволила князю раза два

или три самому провести до конца всю цепочку рассуждений, и лишь накануне отъезда ясно и недвусмысленно высказалась в ответ. Они на минутку остались вдвоем в просторном холле за полчаса до обеда. Эта нехитрая комбинация уже удавалась им прежде: достаточно было подождать, пока остальные гости разбредутся по своим комнатам переодеваться к обеду, самим же быть готовыми провести процедуру облачения с такой скоростью, чтобы одними из первых явиться к столу в вечерних туалетах. Итак, в холле было пусто; наступило недолгое затишье перед тем, как сюда нагрянет армия горничных, сметающих пыль и поправляющих диванные подушки. А пока в дальнем углу, у затухающего камина можно было при известном умении вполне убедительно изобразить случайную встречу. И самое главное — здесь, в эти пойманные украдкой мгновения они могли дышать так близко, совсем рядом друг с другом, что все прочие ощущения отступали на второй план; сама интенсивность единения и чуткой настороженности становилась равноценной заменой физическому прикосновению. Эти растянутые во времени мгновения вполне могли сойти за воплощение небесного блаженства, эти медленные сближения ничем не уступали

продолжительным ласкам. Настоль насыщены эмоциями были эти укромные эпизоды, что всякая словесная беседа, а особенно беседа о других людях, могла только принизить их, и потому голос молодой дамы прозвучал чуточку суховато:

— Очень любезно с ее стороны доверять нам, милый. Но что еще ей остается?

— А что обычно делают люди, когда не доверяют кому-то? Дают заметить свое недоверие.

— Но кому же они дают заметить?

— Да хоть мне, например.

— А тебя это могло бы обеспокоить?

Князь выказал легкое удивление:

— А тебя разве нет?

— Если бы она дала тебе заметить?.. Нет, — ответила Шарлотта. — Я могла бы беспокоиться только об одном: как бы ты невзначай не позволил ей что-нибудь заметить. — И прибавила: — Понимаешь, она может заметить, что ты боишься.

— Я боюсь только тебя иногда — так, самую малость, — помолчав, проговорил князь. — Но этого я Фанни ни за что не покажу.

Впрочем, ему уже было ясно, что Шарлотту нисколько не заботит, много ли замечает Фанни Ассингем. Ни разу еще до сих пор она не высказывала этого так откровенно.

— Боже мой, да что она может нам сделать? Она никому и словом обмолвиться не посмеет. Просто не может себе этого позволить, ведь тогда она бы первая пропала. — И, видя, что князь не поспевает за ходом ее мысли: — Что ни говори, все возвращается к ней. С нее все началось. Она познакомила тебя с Мегги. Это она устроила ваш брак.

Возможно, князь готов был возразить, но лишь заметил через минуту с улыбкой беглой, но многозначительной:

— Нельзя ли также сказать, что и твой брак во многом — дело ее рук? Полагаю, это было задумано как своего рода восстановление справедливости?

Настала очередь Шарлотты слегка замяться. Но на этот раз она еще быстрее нашлась с ответом:

— Я вовсе не имела в виду, будто тут было что восстанавливать. Все случилось так, как и должно было случиться, и я говорю не о том, что она тревожится за нас с тобой. Я говорю о том, что в обоих случаях она позволила себе вмешаться в их судьбы, и теперь это ее связывает по рукам и ногам. Она не может явиться к ним и возвестить: «Мне, конечно, очень неловко, дорогие мои бедняжки, но я действовала непродуманно и, как

выяснилось, ошиблась».

Князь обдумал слова собеседницы, внимательно глядя на нее.

— Тем более что она не ошиблась. Она поступила правильно. Вообще, все правильно, — прибавил он, — и пускай так и остается.

— Вот и я то же говорю.

Но князю было еще мало; он счел нужным продолжить свое рассуждение для пущей ясности — пожалуй, даже чрезмерной.

— Мы счастливы, и они счастливы. Что еще тут можно пожелать? Что ей еще нужно, этой Фанни Ассингем?

— Ах, мой милый, — откликнулась Шарлотта, — разве я говорю, будто ей что-нибудь нужно? Я только сказала, что с ней уже все решено, что своим поступком она сама загнала себя в угол и теперь вынуждена занимать соответствующую позицию. А вот тебя, кажется, очень тревожит, как бы она не наделала бед, к которым мы должны быть готовы. — Чрезвычайно логичные доводы Шарлотты сопровождались странной холодной улыбкой. — Да ведь мы и без того готовы ко всему, а уж Фанни придется принимать нас такими, какие мы есть. Раз начав дело, продолжать в том же духе — вот ее приговор. Она, бедняжка, обречена

поддерживать в себе настроение доброжелательного оптимизма. К счастью, это у нее в крови. Она рождена утешать и сглаживать острые углы. И вот теперь, — тихонько рассмеялась миссис Вервер, — ей представляется возможность развернуться вовсю!

— Стало быть, все ее уверения могут быть, мягко говоря, неискренними? Возможно, это просто маска, прикрывающая сомнения и страхи ради того, чтобы выиграть время?

Задавая этот вопрос, князь как будто снова встревожился, вызвав тем самым легкое нетерпение Шарлотты.

— Ты постоянно твердишь о подобных вещах, словно они нас каким-то образом касаются. Мне, во всяком случае, совершенно нет дела до ее сомнений, и страхов, и прочих ее переживаний. Пусть сама справляется со своими чувствами. Для меня вполне достаточно того, что она на самом деле слишком боится за себя и потому никогда ничего не заметит и ничего не скажет. Так что нам бояться нечего, будь мы даже последними трусами и тупицами — а ведь это совсем не так.

Слова Шарлотты могли прозвучать немного жестко, если бы их не смягчило просветлевшее лицо, озарившееся неожиданно нежным сияни-

ем. Никогда еще оно так открыто не отражало ее радость по поводу выпавшего им редкостного везения. На мгновение показалось даже, будто она произнесла вслух то, о чем не дозволено говорить, — это часто случается, ибо лицо человека одарено более тонким пониманием, нежели язык, а потому от него чаще можно ожидать подобной неосмотрительности. Очень возможно, что в следующую минуту она заметила, как вздрогнул ее спутник, заранее страшась услышать слово, уже готовое сорваться с ее губ; безусловно, князю все еще было свойственно ценить многие приятные вещи, отнюдь не испытывая при этом желания называть их по именам. Но даже если миссис Вервер вполне отдавала себе отчет во всех этих нюансах, как иначе могла она обозначить свою самую простую и сильную мысль? Только лишь дав ей то определение, которое как нельзя лучше к ней подходило. Что Шарлотта и сделала, хотя и не преминула инстинктивно отдать дань хорошему вкусу, от которого до сих пор они не уклонялись ни на волос.

— Не прозвучи это так вульгарно, я могла бы сказать, что нам прямо-таки фатально ничего не грозит. А все потому, что ничего не грозит им. А им не грозит, потому что как же может быть

иначе, ведь, вмешавшись с самого начала в их судьбу, Фанни теперь просто не переживет, если не обеспечит благополучного продолжения. И потому она неизбежно будет на нашей стороне, — обронила Шарлотта с улыбкой. — Волей-неволей мы с ней заодно.

Что ж, подумал князь, она очень доходчиво изложила суть дела. С какой стороны ни посмотри, все сходится.

— Да, понимаю. Волей-неволей мы заодно.

Шарлотта повела плечами — жест, не лишенный изящества.

— Cosa volete?[38]— Эффект получился прекрасный, исполненный более чем римского благородства. — Безусловно, случай из ряда вон выдающийся.

Князь не сводил с нее глаз.

— Случай выдающийся. Едва ли такое часто случается, — заметил он.

— Скорее всего, никогда, никогда, ни с кем больше. По крайней мере, — улыбнулась она, — признаюсь, мне хочется так думать. Так могло быть только с нами.

— Только с нами, по всей вероятности.

---

[38] Примечания: 38
Что же вы хотите? (*ит.*)

Speriamo[39]. — Помолчав, он прибавил, словно откликаясь на некие безмолвные ассоциации: — Бедная Фанни!

Но Шарлотта уже встрепенулась, взглянув на стенные часы, и предостерегающе махнула рукой. Плавным шагом она отправилась переодеваться. Князь смотрел, как она поднимется по лестнице, провожал ее глазами, пока она не скрылась, бросив на прощание всего один быстрый взгляд через плечо. Но, видимо, что-то он все же увидел такое, что заставило его повторить чуть слышно свое последнее восклицание:

— Бедная, бедная Фанни!

В полном соответствии с этими человеколюбивыми словами на следующее утро, когда гости, проживающие в Мэтчеме, разбрелись кто куда, князь серьезно задумался о социальной стороне проблемы своего возвращения. По многим причинам было абсолютно невозможно ему вернуться в город вместе с Ассингемами; по тем же самым причинам невозможно было вернуться в город никаким иным способом, кроме того, который князь приватно и, можно сказать, пристально разрабатывал в течение последних

---

[39] Примечания: 39
Будем надеяться (*ит.*).

двадцати четырех часов. Итог этих раздумий был ему уже чрезвычайно дорог, вследствие чего, как он надеялся, ему удалось сразу взять верный тон, отклоняя предположение своей старшей приятельницы (также, впрочем, не слишком настойчивое и достаточно тактичное), что им с Шарлоттой будет очень удобно вернуться тем же поездом, что и ей с полковником, разместившись в том же самом купе. Тактичность миссис Ассингем выразилась именно в том, что она распространила свое приглашение на миссис Вервер. Никогда еще не проявляла она так ярко свое чутье на тончайшие нюансы светских приличий, как сейчас, с такой легкостью соглашаясь допустить, что джентльмен с Портленд-Плейс и леди с Итон-сквер вправе путешествовать вместе, вполне открыто и без малейшей неловкости. Что касается вышеупомянутой леди, Фанни Ассингем целых четыре дня воздерживалась от поползновений к ней подступиться, но князь случайно оказался свидетелем очередной попытки в последний вечер их пребывания в Мэтчеме, когда гости уже собирались разъезжаться по домам. Как водится, обсуждали расписание поездов и всевозможные варианты совместного отбытия, и тут-то бедная Фанни рискнула ненавязчиво

обратиться к миссис Вервер.

— Вы с князем, душечка моя… — начала она не моргнув глазом; она уже считала само собой разумеющимся, что молодые люди уедут вместе на виду у всех, и объявила, что они с Бобом готовы по дружбе выехать любым поездом, лишь бы составить им компанию. — Право, у меня такое чувство, словно мы с вами почти и не виделись за все это время…

Нет, какая все-таки чарующая непосредственность! Но именно в этот момент молодой человек как будто позаимствовал у своей старшей приятельницы сокровенное искусство находить единственно верную интонацию, поступая при этом по-своему. Практически без единого слова, без какого бы то ни было обмена условными сигналами они с Шарлоттой настроились на одну волну. Отвечая со всей возможной сердечностью на приглашение дорогой подруги, Шарлотта ухитрилась сообщить князю свою мысль так ясно, словно помахала в окошко белым платком.

— Вы ужасно добры, душенька. Ехать всем вместе было бы просто чудесно! Но прошу вас, не беспокойтесь из-за нас, поезжайте, как вам будет удобнее. Мы с Америго решили задержаться до ланча.

Американо, чей слух ее слова ласкали нежным золотым звоном, быстро отвернулся, дабы к нему не могли тут же обратиться с уговорами, и еще — от изумления: каких только высот не достигнет ясновидение на крыльях общего чувства! Шарлотта озвучила в точности тот самый довод, который припас он сам именно на такой случай, а ведь они не сговаривались, просто невысказанная потребность друг в друге становилась между ними все глубже. Богу известно, он не нуждался в наставлениях Шарлотты по этому поводу, он и сам слишком даже ясно сознавал, чего хочет; но она только что преподала ему урок прямоты и ясности. Шарлотта не прибавила ни единого штриха для усиления правдоподобия, не пускалась в ненужные объяснения и вообще держалась с той великолепной надменностью, какая свойственна женщинам в ее положении. Она дала миссис Ассингем достойный отпор, не унизившись до излишних оправданий, а главное — явила скрытному, но оттого не менее напряженному вниманию князя образ, сверкнувший подобно зеркалу, играющему солнечными зайчиками. Для него в ту минуту сей образ воплотил собою все, и особенно — мысль, что давно уже превратилась у него в настоящее наваждение, а

теперь сделалась особенно настойчивой, найдя в Шарлотте равный себе полет воображения. К этому времени сознанием князя с почти мучительной ясностью овладела некая истина чрезвычайно утонченного свойства, сияние которой, очевидно, не обошло и Шарлотту; истина же состояла в следующем: в последние несколько дней судьба предоставила им такой уникальный случай, что только они сами будут виноваты, коли не извлекут из него нечто еще более прекрасное и замечательное. Голос этой истины уже твердил им ежечасно, что все происходящее имеет глубокий смысл, которым может быть напоено их обоюдное сознание, подобно тому, как измученный жаждой путник после изнурительного путешествия к едва виднеющемуся на горизонте далекому оазису припадает наконец к обетованному источнику в пустыне. Да, день за днем приносил им новое блаженство, оставляя его вкус на губах — в духовном смысле, но все же они пока еще не показали себя достойными своей удачи. Как подняться на должную высоту одним решительным рывком — вот что занимало князя, проходя подтекстом за всеми прочими помыслами; и в своих мысленных исканиях, словно блуждая в романтическом лесу, пронизанном

солнечными бликами, он внезапно встретился с Шарлоттой лицом к лицу. И с этой минуты такое духовное единение снизошло на них, что пять минут спустя князь в точности тем же тоном, что прежде Шарлотта, выразил миссис Ассингем свои искренние сожаления по поводу несостоявшегося совместного возвращения в Лондон.

Вдруг оказалось, что это самая простая вещь на свете; более того, князь чувствовал, что отныне его уже никогда не покинет это ощущение легкости и спокойной уверенности в общении с Фанни. В сущности, он пошел даже дальше Шарлотты, выставив саму эту леди в качестве побудительной причины своей задержки. Она, мол, вынуждена остаться до ланча из любезности по отношению к хозяйке дома, вследствие чего он также вынужден остаться, чтобы сопровождать ее на обратном пути, как того требует приличие.

Доставить ее целой и невредимой на Итон-сквер — его святая обязанность. Разумеется, весьма печально, что из-за этого приходится лишиться общества своих дорогих друзей, но он ни о чем не жалеет — ведь, помимо того, что оказать эту услугу ему только в радость, такой самоотверженный поступок, несомненно, обрадует Мегги и мистера Вервера.

У князя даже хватило отваги намекнуть, что его жена и тесть пока еще не вполне оценили, как ревностно он блюдет свой первейший — так уж сложилось в последнее время — домашний долг. А посему он должен прилагать все силы, чтобы они это наконец заметили. После чего князь прибавил столь же недвусмысленно, что они с Шарлоттой вернутся домой к обеду. Он не присовокупил, что будет просто «чудесно», если у Фанни по приезде в Лондон найдется минутка заглянуть на Итон-сквер и сообщить, что они героически преодолели трудности обратного пути, но, во всяком случае, такая мысль чрезвычайно явственно предстала перед его внутренним взором, вплоть до эпитета, характеризующего сей дружеский акт. В целом уверенность князя по отношению к Фанни временами ослабевала, и, несмотря ни на какие соблазны, ему отнюдь не было бы приятно, если бы она заподозрила в нем хоть тень сознательного «нахальства». Все дело в том, что он всегда безжалостно пользовался заботой и симпатией тонко чувствующих натур; понадобилось долгое общение с английской нацией, чтобы окончательно отучить себя от маленьких предрассудков, какие обыкновенно сопутствуют дружбе. Миссис Ассингем сама пер-

вая объявила, что не преминет «отчитаться»; собственно говоря, по мнению князя, она просто изумительно сумела ввернуть это сообщение. Несомненно, милая Фанни успела достичь поистине головокружительных успехов за короткий промежуток времени между приглашением, обращенным к Шарлотте, и последующей беседой с Америго.

Не более чем на пять минут отстранилась она от общего разговора, удалившись в свой шатер для раздумий, и это показывает, среди прочего, какое сильное впечатление произвела на нее Шарлотта. И вот она появилась из шатра, снова во всеоружии; хотя трудно было бы сказать, чем больше отдавал ее разговор с князем — громом битвы или белым флагом перемирия? Так или иначе, переговоры закончились быстро в силу самодостаточности ее дружеского великодушия.

— Так, значит, я заеду к нашим друзьям, приглашу их на ланч. Я скажу им, когда вас ждать.

— Это будет очень мило. Скажите, что у нас все в порядке.

— В порядке — то самое слово. К этому я ничего не могла бы прибавить, — улыбнулась миссис Ассингем.

— Несомненно. — Но этот момент показался

князю немаловажным. — Полагаю, и убавить тоже?

— Ни в коем случае! — Фанни рассмеялась и тут же отвернулась.

Но они подняли эту тему еще раз, столь же бестрепетно, на следующее утро, уже после завтрака, в толчее отъезжающих экипажей и беспорядочных прощальных пожеланий.

— Пожалуй, я отошлю горничную домой с Юстонского вокзала, — сообщила о своих намерениях Фанни, — а сама прямо поеду на Итон-сквер. Чтобы у вас было спокойно на душе.

— О, я думаю, у нас и так спокойно на душе, — парировал князь. — Во всяком случае, скажите, что мы стойко держимся.

— Стойко держитесь — очень хорошо. И Шарлотта вернется к обеду?

— К обеду. Вряд ли мы задержимся еще на одну ночь.

— Что ж, в таком случае, желаю вам, по крайней мере, приятно провести день.

— О, — рассмеялся князь, — мы уж постараемся!

Засим, поскольку объявили их экипаж, Ассингемы укатили.

22

Для князя после вышеописанного обмена репликами словно расчистились какие-то новые горизонты, и последующие полчаса, пока он прогуливался и курил на террасе — день был восхитительный, — прошли в ощущении необыкновенной полноты бытия. Безусловно, тому было много причин, но если представить себе это время и это место в виде великолепной картины, написанной рукой гения, поднесенной в дар в качестве лучшего украшения изысканной коллекции, уже покрытой лаком и оправленной в раму, — хоть сейчас на стену! — то главным достоинством этой картины в глазах князя был именно тот факт, что он является ее полным и безраздельным владыкой. Слабая попытка бедненькой Фанни Ассингем оспорить его владычество закончилась ничем. Облокотившись на старинную мраморную баллюстраду, так напоминавшую иные, еще более благородные террасы, виденные им в Италии, князь размышлял, среди прочего, о том, что с Фанни Ассингем благополучно покончено — благополучно, в том числе, и для нее самой; теперь она мчится по

направлению к Лондону в полном благополучии и в грохочущем вагоне и уже не имеет ровно никакого касательства к происходящему. И еще у него мелькнула мысль (в те дни воображение князя, по многим причинам, разыгралось, как никогда), что в целом он больше выиграл, нежели потерял от своих знакомств с женщинами. В тех мистических гроссбухах, какие ведут по этой части даже люди совсем не деловые, скопилось настолько существенное сальдо в его пользу, что можно уже было считать данное правило доказанным фактом. Вот и сейчас — чем заняты эти удивительные создания, как не стараниями перещеголять одна другую в заботе о его интересах? Начиная с самой Мегги — а она по-своему самая удивительная из всех — и вплоть до хозяйки дома, где он в настоящий момент находится, которой очень кстати пришло в голову задержать у себя Шарлотту для каких-то своих целей и притом добавить с замечательным радушием: почему бы и зятю Шарлоттиного мужа не погостить еще чуть-чуть, ведь у него, надо думать, нет никаких срочных дел? По крайней мере, сказала леди Каслдин, он сможет проследить, чтобы с нею не случилось ничего ужасного ни здесь, ни на изобилующей опасностями дороге

в город; а если вдруг окажется, что они слегка превысили отведенный им на эту поездку срок, то будет гораздо удобнее совершить такое нарушение сообща. Вернувшись домой, каждый сможет свалить вину на другого. Мало того, леди Каслдин, как и Мегги, как и Фанни Ассингем, как и сама Шарлотта, действовала исключительно по собственному почину, без малейшего нажима со стороны князя. Все они руководствовались неким неясным чувством, в котором разве что Шарлотта отдавала себе отчет, — смутным ощущением, что Америго по своему характеру, по своей натуре, как джентльмен, короче говоря, достоин своего поразительного везения.

Но было в тот день у него на уме и многое другое, и все вместе сливалось в общую картину, может быть, немного неразборчивую, но, безусловно, радующую глаз. Вокруг открывался необъятный простор, и башни трех кафедральных соборов, расположенных в трех разных графствах, как кто-то успел уже объяснить князю, прибавляли свой тусклый серебряный блеск к богатой палитре чарующего пейзажа… Но не потому ли князь так остро ощущал сейчас прелесть этого вида, что леди Каслдин пригласила и еще одного господина погостить долее других, придав тем самым

особый смысл происходящему? Эта деталь окончательно расставила все по местам и, более того, настолько позабавила князя, что, пока он в ожидании расхаживал по террасе, улыбка не сходила с его лица. Гостеприимная хозяйка задержала Шарлотту, потому что ей нужно было задержать мистера Блинта, а задержать мистера Блинта, хотя он явно был весьма расположен угождать ей всеми возможными способами, было никак нельзя, не набросив на сей поступок дополнительных пышных драпировок. Каслдин уехал в Лондон, дом был в полном ее распоряжении, ей припал каприз провести тихое, спокойное утро наедине с мистером Блинтом, ловким и любезным молодым человеком, значительно моложе ее светлости, который восхитительно играет и поет (играет даже в бридж и поет как комические английские, так и трагические французские песни). И для полного счастья не хватает лишь присутствия (читай: отсутствия) еще парочки удачно выбранных друзей. Князь, посмеиваясь, думал о том, что он, по-видимому, представляет собой удачный выбор. Настроения ему не испортила даже другая мысль, явившаяся вслед за первой и уже не раз приходившая ему в голову за время его жизни в Англии: снова ему напоминают, что он посто-

ронний, иностранец, простой представитель своей жены и тестя, стоящий до такой степени в стороне от движущих пружин разнообразных событий, что его можно при случае использовать для сравнительно пустячных дел. Никто другой из гостей не мог быть столь полезен ее светлости; движущие пружины разъехались ранними поездами, являя собой отменно смазанные детали великого общественно-политического и административного агрегата, и первый среди них — сам лорд Каслдин, составлявший в упомянутом агрегате весьма крупную деталь, что довольно странно, если учесть внешний облик и душевные качества этого персонажа. Что касается князя, великого и мудрого римлянина, то если в его жизни и были какие-то движущие пружины, то совсем иного порядка, вследствие чего он и был низведен на уровень не особенно выдающейся запасной детали.

Тот факт, что это осознание «сниженного» уровня нисколько не помешало князю наслаждаться минутой, многое может сказать о его чувствах. Правда, ему не давали забыть о принесенных жертвах, вплоть до отречения, ради удобства жены, от истинного своего положения в свете, в результате чего приходилось терпеть пренебре-

жительное к себе отношение со стороны людей, в сущности, стоящих ниже его. Но высокий дух способен воспарить над подобными вещами, забавляясь причудливой игрой разнообразных фактов, начиная от комической невнятицы английских светских условностей и кончая тем, что в душе его хранится нечто поистине прекрасное, гармоничное и ни от чего на свете не зависящее, нечто, принадлежащее только ему одному. Невозможно было принимать всерьез мистера Блинта — тот, по большому счету, был здесь куда более посторонним, чем даже римский князь, добровольно согласившийся отступиться от всех преимуществ своего титула. Но незачем было и пытаться выяснить, как могла сблизиться с ним такая женщина, как леди Каслдин, ибо этот вопрос, по мнению князя, опять-таки уводил в бездонные глубины свойственной англичанам двусмысленности. Князь, как говорится, «хорошо» их знал; жил с ними, гостил у них, вместе с ними обедал, охотился, стрелял и проделывал разные другие вещи, и тем не менее со временем вопросов без ответа касательно англичан становилось скорее больше, а не меньше. В конечном счете у князя осталось лишь одно прочное впечатление от своего опыта общения с этой необъясни-

мой нацией. Они терпеть не могут les situations nettes[40] — в чем в чем, а в этом он был абсолютно уверен. Англичане стараются уклоняться от них любыми средствами; их национальный гений и главное национальное достижение состоят в том, чтобы неукоснительно избегать подобных ситуаций. Сами они с изрядным самодовольством называют эту свою особенность «похвальным духом компромисса». Вышеназванным духом была пропитана вся атмосфера вокруг князя, из-за него приобретали особый оттенок земля и воздух, солнечный свет и краски летнего дня, поля, холмы и небеса, голубовато-зеленые графства и холодные башни соборов. При взгляде на подобную картину невольно приходило на ум, что такой взгляд на жизнь оказался весьма и весьма удачен, позволив стране занять прочную, основательную позицию, радующую глаз и, надо полагать, вызывающую зависть у прочих, менее сдержанных народов. Но именно потому даже и после долгого знакомства трудно было временами не изумляться, замечая такую затхлость в свежести и такую свежесть в затхлости, столько невинности в пороке и столько порока в невин-

---

[40] Примечания: 40

Ситуации, которые можно трактовать однозначно (*фр.*).

ности. Знавал князь иные мраморные террасы, окруженные иными лиловыми просторами, где он в точности знал бы, что думать, и мог бы, по крайней мере, насладиться такой интеллектуальной мелочью, как угадывание соответствия между видимостью и ее скрытым значением. Правду сказать, в нынешних условиях пытливому уму представлялась более сложная, а потому и более интересная задача; но, к несчастью, князю было известно по опыту, что любые логические ухищрения чаще всего заводили здесь в тупик, оставляя исследователя в полном и окончательном недоумении. К тому же все окружающее интересовало князя лишь в той мере, в какой непосредственно его касалось.

Мечта леди Каслдин провести утро с мистером Блинтом, несомненно, уже начала претворяться в жизнь, приняв форму совместного «разучивания» какой-нибудь музыкальной пьесы за фортепьяно в одной из многочисленных малых комнат, не предназначенных для стадного времяпрепровождения. Итак, ее желание сбылось. Тем естественнее спросить себя: где же Шарлотта? Князь никак не мог предположить, чтобы у нее хватило бестактности изображать при них третьего лишнего, простую зрительницу при

столь гармоничном дуэте. Словом, роскошный летний день расцветал перед князем, подобно огромному благоуханному цветку — оставалось лишь протянуть руку и сорвать его. Но поднести цветок нужно было непременно Шарлотте, и вот, расхаживая по террасе, откуда были частично видны два крыла дома, князь запрокидывал голову, разглядывая окна, распахнутые навстречу апрельскому утру, и гадал, за которым из них расположена комната его приятельницы. И его вопрос вскоре получил ответ: Шарлотта возникла в окне, словно услыхала, как прервались шаги князя на каменных плитах. Она взглянула вниз, опираясь на подоконник, и так стояла с минуту, улыбаясь Америго. Он сразу заметил, что на ней надеты шляпка и жакет — похоже, она собиралась не просто присоединиться к нему на террасе, с непокрытой красивой головкой и зонтиком от солнца, но готова была предпринять какие-то более масштабные шаги. Князь и сам еще со вчерашнего вечера сосредоточенно обдумывал некий более масштабный шаг, хотя и не успел пока проработать наиболее сложные его моменты; но ему ни разу не представилась возможность поговорить об этом с Шарлоттой, и ее появление в окне доказывало, что она удивительным

образом обо всем догадалась сама. Им и раньше случалось вот так, не сговариваясь, подумать об одном и том же. Если такие вот непредусмотренные, но в то же время безошибочно точные совпадения свидетельствуют о том, что двое людей, если воспользоваться расхожим выражением, «предназначены друг для друга», значит, еще не бывало в мире настолько правильного союза. Собственно говоря, чаще всего Шарлотта оказывалась даже намного правильнее князя: оба одновременно осознавали необходимость того или иного действия, но Шарлотта, как правило, более ясно видела способ его осуществления. Так и сейчас, ее долгий взгляд на князя из старинного серого окна, сама посадка ее шляпки, цвет шейного платка, медлительная безмолвная улыбка — все это заставило князя словно заново с особой остротой ощутить, что на Шарлотту можно положиться. Его рука уже готова была протянуться, чтобы сорвать пышно распустившийся цветок этого удивительного дня, но что значило бы ослепительное мгновение, не будь ее умная рука уже ответно протянута навстречу? И вот мгновение длилось, и оба знали без слов, что чаша их полна; и эту чашу они принимали и удерживали взглядами, и, пригубив, воздавали ей хвалу. Но минута

прошла; князь нарушил молчание:

— Сюда бы еще луну, мандолину и немножко опасности, и выйдет настоящая серенада!

— Ах, ну тогда, — весело отозвалась Шарлотта, — пусть будет хотя бы это!

Она отцепила от своего платья роскошный белый бутон, разлучив его с другим таким же, и бросила вниз, князю.

Князь поймал бутон на лету и, вдев в петлицу, снова устремил взгляд вверх.

— Спускайся скорее! — позвал он по-итальянски, негромким грудным голосом.

— Vengo, vengo![41] — пропела она таким же ясным голосом, но как будто более беспечно, и тут же скрылась, оставив князя дожидаться ее прихода.

Он снова прошелся по террасе, то и дело останавливаясь и задерживая взгляд, как и прежде, на чуть более насыщенных по тону участках размытых акварельных далей, обозначающих собою отдаленные кафедральные города. Добрую половину ночи в ушах князя отдавалось имя одного из них, с его огромным храмом, с его гостеприимством, с манящими на горизонте высокими

---

[41] Примечания: 41
Иду, иду! (*ит.*)

башнями, с его английской историей и чарующим обликом, и имя его стало всего лишь другим, удобным названием для того обостренного ощущения полноты бытия, что трепетало сейчас в душе князя. «Глостер, Глостер, Глостер», — повторял он про себя, точно в этом слове наиболее полно выразился высочайший смысл всей его прошлой жизни. А смысл сводился к тому, что положение его по-прежнему оставалось неподражаемо гармоничным, и сия истина озаряла и князя, и Шарлотту своим ослепительным сиянием. Вся окружающая обстановка прямо-таки кричала об этом; о том же шептало, овевая их, нежное дыхание утра. Теперь Америго знал, для чего так терпеливо соблюдал столь безропотное послушание с самых первых дней своей женитьбы, для чего стольким поступился, для чего решился переносить такую невыносимую скуку; для чего, в каком-то смысле, продал себя и по собственной воле оказался в situation nette. На все пошел он единственно ради того, чтобы вот в эту минуту держать в руках свою… свободу — иначе не скажешь! — подобно огромной, идеально округлой сверкающей жемчужине. Он не строил тайных козней, не пускался на коварные ухищрения, он просто взял то, что было ему дано:

чудесная, редкостная жемчужина сама упала ему в руки. Вот она перед ним, словно наяву, и сделалась еще больше, еще драгоценнее, когда из маленькой боковой двери показалась миссис Вервер. Молча она направилась к нему, и он шагнул к ней навстречу; фасад старинного здания был велик, и оттого их сближение как бы распалось на несколько этапов, постепенно овладевая сознанием. Лишь когда она подошла совсем близко, князь воскликнул свое:

— Глостер, Глостер, Глостер, — и еще: — Посмотри вон туда!

Она прекрасно знала, куда нужно смотреть.

— Да; не правда ли, он один из лучших? Там есть монастырь, не то колокольня, не то еще что-то… — И хотя губы ее улыбались, взгляд, обращенный к нему, казался почти торжественным в своем приятии судьбы. — Не то гробница какого-то из древних королей.

— Непременно нужно посетить древнего короля; совершенно необходимо «осмотреть» собор, — сказал князь, — мы должны изучить его вдоль и поперек. Ах, — вздохнул он полной грудью, — нужно как следует использовать такой случай! — И снова он заглянул в самую глубину ее глаз. — Сегодняшний день — словно огромная

золотая чаша, и мы должны осушить ее вместе.

— Я, как всегда, чувствую то же, что и ты; поэтому я всегда знаю, что ты чувствуешь, хоть бы и за десять миль! Но помнишь ли ты, — спросила Шарлотта вдруг, — кстати о золотых чашах, помнишь ту красивую чашу, настоящую, которую я предложила тебе когда-то, давным-давно, а ты не захотел принять? Как раз перед твоей свадьбой, — уточнила она, воскрешая для него тот день, — позолоченная хрустальная чаша в маленькой антикварной лавке в Блумсбери?

— О да! — Но ее слова удивили князя, воспоминание потребовало от него легкого усилия. — Зловредная надтреснутая вещица, которую ты порывалась мне всучить при пособничестве жуликоватого еврея, понимающего по-итальянски! Надеюсь, — прибавил он с улыбкой, — ты не хочешь сказать, что и сегодняшний великолепный случай тоже с трещиной?

Разговаривали они, естественно, скорее тихо, нежели громко, поскольку на террасу, где они стояли, выходило множество окон, хотя и на порядочном расстоянии. От этого каждому слышалось в голосе другого нечто неторопливое и вдумчивое.

— Не слишком ли большое значение ты прида-

ешь «трещинам» и не слишком ли их боишься? А я готова рискнуть, меня трещины не пугают, — сказала Шарлотта. — Я часто вспоминала ту чашу и маленького жуликоватого еврея. Интересно, удалось ему с ней расстаться? Он произвел на меня большое впечатление.

— Не сомневаюсь, что ты тоже произвела на него большое впечатление. Думается мне, если бы ты снова заглянула к нему, оказалось бы, что он хранит это сокровище специально для тебя. А что касается трещин, — продолжал князь, — вы, англичане, ты говорила на днях, как-то очень изящно их называете — «изъян внутри лютни»? Можешь рисковать сколько угодно, только не от моего имени. — Он произнес это очень весело, сохраняя обычную свою, лишь чуть-чуть дрогнувшую невозмутимость. — Я, как ты знаешь, привержен суевериям. Именно поэтому, — прибавил Америго, — я совершенно точно знаю, что нам повезет. Сегодня все приметы до единой на нашей стороне.

Шарлотта молчала, опираясь на парапет, обратив лицо в сторону головокружительного пейзажа, но в следующую минуту князь заметил, что глаза у нее закрыты.

— А я привержена только одному. — Ее рука

лежала на теплом от солнца камне, и поскольку они стояли спиной к дому, князь накрыл ее руку своей. — Тебе, — сказала Шарлотта. — Я привержена только тебе.

Так они стояли какое-то время, пока князь не заговорил снова, сопровождая свои слова соответствующим жестом.

— Главная примета, которой нам бы надо придерживаться, — это, знаешь ли, мои наручные часы. Уже одиннадцать, — он успел взглянуть на циферблат, — и если мы останемся здесь на ланч, не пропадет ли у нас весь день?

Глаза Шарлотты широко раскрылись.

— Совершенно ни к чему оставаться на ланч. Разве ты не заметил, что я совсем готова?

Он заметил, но у нее всегда имелась в запасе какая-нибудь неожиданность.

— Хочешь сказать, ты сумела устроить?..

— Все устроилось очень легко. Горничная отвезет мои вещи в город. Тебе осталось только отправить своего человека с багажом, они могут поехать вместе.

— Значит, мы можем ехать прямо сейчас?

Она снизошла до разъяснений.

— Я договорилась, чтобы один из экипажей вернулся за нами. Он, вероятно, уже здесь. На

твоей стороне суеверия, — улыбнулась Шарлотта, — а на моей — четкая организация. Спорим, мое средство надежнее!

— Так ты уже думала… про Глостер, — проговорил пораженный князь.

Шарлотта замялась, но только для виду.

— Я подумала, что ты об этом подумаешь. Слава богу, у нас с тобой бывают такие совпадения. Вот, если угодно, источник суеверий! Просто прекрасно, — продолжала она, — что это будет именно Глостер. Как ты произносишь: Глостер, Глостер — похоже на старинную песню. Словом, я уверена, в Глостере будет чудесно. Там несложно будет перекусить, прислугу и багаж мы сбыли с рук, и у нас еще останется по крайней мере три или четыре часа. Мы можем оттуда послать телеграмму, — закончила она свою речь.

Все это было высказано очень тихо, и точно так же князь был вынужден приглушить свое восхищение.

— Так значит, леди Каслдин?..

— И думать не думала оставлять нас на ланч.

Князь все еще пытался осмыслить:

— О чем же она думала?

— О мистере Блинте, глупенький, исключительно о мистере Блинте. — Шарлотта непринуж-

денно улыбнулась князю. — Неужели я должна растолковывать тебе по слогам, что мы ей совершенно ни к чему? Ей только и было нужно показать остальным, что мы здесь, что она не остается с ним наедине. Теперь дело сделано, все разъехались, и она, конечно, сама прекрасно понимает…

— «Понимает»? — словно эхо, откликнулся князь.

— О, понимает, что мы обожаем соборы и при всяком удобном случае обязательно в них заглядываем или любуемся ими со стороны, что дома у нас именно этого ожидают и будут страшно разочарованы, если мы упустим такую возможность. Ведь мы forestieri[42], — уточнила миссис Вервер, — вот тебе сильнейшая побудительная причина… Если бы у нас и без того не хватало причин.

Князь был не в силах отвести от Шарлотты глаз.

— И даже поезд уже наметила?

— И даже поезд. С Паддингтонского вокзала, обратный, шесть пятьдесят. Остается море времени; можно будет пообедать дома, и поскольку

---

[42] Примечания: 42
Иностранцы (*um.*).

Мегги, конечно, окажется на Итон-сквер, я и тебя приглашаю.

Несколько минут он все глядел на нее, прежде чем заговорить:

— Премного благодарен, буду очень рад. — И тут же добавил: — А поезд на Глостер?

— Местный, одиннадцать двадцать две, с несколькими остановками, но в целом скорость хорошая, уж не помню сколько миль в час. Так что время у нас есть, нужно только с толком его использовать.

Князь встряхнулся, словно сбрасывая с себя чары. Пока они шли к двери, из которой раньше появилась Шарлотта, князь снова взглянул на часы, но не удержался, чтобы не остановиться еще раз — у него еще оставались вопросы по поводу не до конца разгаданных чудес.

— Ты сама посмотрела расписание, хоть я тебя не просил?

— Ах, мой милый, — рассмеялась она, — я же видела, как ты листал справочник Брэдшоу! Тут нужна англо-саксонская кровь!

— «Кровь»? — переспросил он. — Да в тебе есть кровь любой расы! — Тут она остановилась. — Ты пугающе неподражаема!

Что ж, можно и так назвать, если ему это нра-

вится.

— Я и название гостиницы знаю.

— Какое же?

— Их там две, ты увидишь. Но я выбрала ту, которую надо. И гробницу, кажется, я помню, — улыбнулась Шарлотта.

— Ах, гробницу! — Ему сойдет любая гробница. — Но я хотел сказать: я так любовно приберегал для тебя свою блестящую идею, а ты уже и сама до нее додумалась!

— Можешь приберегать для меня свои идеи, сколько душе угодно. Но почему ты думаешь, — поинтересовалась Шарлотта, — будто можешь уберечь их от меня?

— Уже не думаю. Что же я стану делать, если когда-нибудь мне захочется что-нибудь от тебя скрыть?

— Ах, обещаю тебе, я буду необыкновенно тупа во всем, чего мне не хотелось бы знать. — Они уже подошли к двери; Шарлотта приостановилась, чтобы пояснить: — Все эти дни, вчера, позавчера, сегодня утром, мне хотелось всего.

Ну, с этим-то как раз полный порядок.

— Ты получишь все.

23

По прибытии в город Фанни осуществила свою вторую идею: завезла полковника в клуб к ланчу, горничную отправила в кебе на Кадоган-Плейс вместе со всеми пожитками. Супруги весь день были непрестанно чем-то заняты, так что почти и не встречались до самого вечера. Обедали они вместе, у знакомых, но по дороге туда и обратно им словно и нечего было сказать друг другу. Фанни ушла в свои мысли глубже, чем в лимонного цвета накидку, окутывавшую ее обнаженные плечи, а муж, как обычно бывало в подобных случаях, успешно поддерживал взаимное молчание. В последнее время их беседы вообще отличались долгими паузами и резкими переменами темы. Одна из таких бесед, неожиданно для обоих, состоялась около полуночи.

Миссис Ассингем, несколько утомленная, возвратилась домой и, поднявшись на второй этаж, в изнеможении упала в огромное золоченое кресло в венецианском стиле, стоявшее на площадке у входа в гостиную. Там она восседала в глубокой задумчивости, превратив кресло в подобие некоего трона медитации. Учитывая восточные

мотивы, присущие внешности Фанни, ее вполне можно было принять за сфинкса, собравшегося наконец заговорить после неисчислимых столетий безмолвия. Полковник, в свою очередь сильно напоминая усталого пилигрима пустыни, раскинувшего свою палатку у подножия монументального изваяния, отправился произвести рекогносцировку в гостиной. Как было у него заведено, он окинул окна и оконные запоры взглядом хозяина и одновременно распорядителя, главнокомандующего и рядового налогоплательщика, после чего вернулся к жене и с минуту постоял возле нее, выжидая. Но она и сама словно чего-то ждала и только смотрела на него снизу вверх с непроницаемым лицом. Все эти маневры местного значения, эта выжидательная тактика чем-то напоминали их прежние насыщенные беседы, общение путем взаимного непонимания, так затруднившееся в последнее время. Они словно поддразнивали друг друга, желая показать, что в случае возникновения серьезных неприятностей все недомолвки моментально исчезнут; в то же время в воздухе витала неясно подразумеваемая убежденность в том, что ничего столь вульгарного, как серьезные неприятности, в ближайшее время не предвидится.

Коли уж на то пошло, судя по выражению лица миссис Ассингем, эта леди смутно подозревала, что ей наконец удалось внушить своему мужу более тонкое осознание сложившейся ситуации, причем именно той ситуации, существование которой она столь непоследовательно готовилась категорически отрицать. Но такое сознание — нежный цветок, настолько хрупкий, что на него и дышать-то надо с осторожностью; именно так Фанни и поступила. Она знала — ему можно не объяснять, что она провела весь день у своих друзей на Итон-сквер и что причиной тому — впечатления, накопленные в Мэтчеме, набранные там буквально корзинами, подобно гроздьям спелого розового винограда; сей процесс, разумеется, не мог быть не замечен полковником и был воспринят им с тактичностью, которая вполне могла сойти за торжественность. В то же время такая торжественность ни к чему его не обязывала, вот разве только своим поведением он словно признавался в том, что отдает себе отчет в наличии неких подводных течений. Он явно полагал, что Фанни пустилась в плавание в какие-то глубокие воды, и, хотя не говорил ни слова, все-таки старался не упускать ее из виду. Во все время ее авантюры полковник не покидал берегов таин-

ственного озера, но занял такую позицию, чтобы жена могла в любой момент подать ему сигнал бедствия. Такая необходимость могла бы возникнуть, если вдруг в ее баркасе откроется течь, и вот тогда-то долг велел бы ему, не раздумывая, спешить на помощь. Пока же оставалось лишь смотреть, как она скользит по темной воде, да гадать, не означает ли ее безмолвный пристальный взгляд в эту минуту, что доски баркаса уже разошлись. Он стоял перед ней с таким выражением готовности, словно мысленно уже стягивал куртку и жилет, намереваясь броситься вплавь. Но не успев еще кинуться в воду, — то бишь не успев задать вопрос, — полковник не без облегчения заметил, что Фанни уже направляется к земле. Он смотрел, как она подгребает все ближе и ближе, и в конце концов ощутил, как лодка ткнулась о берег. Толчок был весьма ощутимый, и вот Фанни ступила на прибрежный песок.

— Мы с тобой совершенно ошибались. Там ничего нет.

— Ничего?.. — Он как бы подал ей руку, помогая взобраться по крутому обрыву.

— Между князем и Шарлоттой Вервер. Я немного беспокоилась, но теперь я полностью убедилась. Я ошиблась, целиком и полностью.

Там ничего нет.

— А я думал, — сказал Боб Ассингем, — что ты это и утверждала с самого начала. Ты клятвенно гарантировала их порядочность.

— Нет, я пока еще ничего не гарантировала, кроме своей собственной привычки тревожиться обо всем на свете. У меня до сих пор не было случая понаблюдать и рассудить, — серьезно продолжала Фанни, не вставая с кресла. — Там, в гостях, у меня была такая возможность, даже если я по неразумию не замечала ничего в другое время, — прибавила она с чувством. — И вот теперь я по-настоящему разглядела. И теперь я знаю. — Она повторила эти слова, восседая с высоко поднятой головой на престоле непогрешимости. — Теперь я знаю.

Полковник выслушал, но ответил не сразу:

— Ты хочешь сказать, они тебе говорили…

— Нет, я, конечно, не хочу сказать подобной глупости. Во-первых, я их не спрашивала, а во-вторых, в деле такого рода их слово ничего не значит.

— О, нам они бы сообщили, — сказал полковник, руководствуясь своей причудливой логикой.

Какой-то миг Фанни смотрела совсем с преж-

ним раздражением, как он ломит напрямик через ее ухоженные клумбы, но все-таки заставила себя ограничиться лишь сдержанной иронией.

— В таком случае, когда они тебе скажут, будь так добр, дай мне знать.

Полковник вздернул подбородок, проверил щетину тыльной стороной руки, косясь одним глазом на жену.

— Ах, я же не говорил, будто они обязательно мне доложат, когда перейдут черту.

— Надеюсь, они обязательно будут держать язык за зубами, что бы ни случилось. Сейчас я говорю только о своих личных впечатлениях. Для меня этого достаточно. — И после минутной паузы Фанни Ассингем воскликнула: — Они просто удивительные!

— В самом деле, — согласился муж. — По-моему, тоже.

— Ты восхищался бы ими еще больше, если бы знал. Но ты не знаешь, потому что не видишь. У них сложились совершенно необыкновенные обстоятельства! — Именно это, по ее мнению, ускользнуло от полковника.

— Совершенно?..

— Совершенно невероятные! В это трудно поверить — если не хочешь видеть. Но это их и

спасает. Они все принимают всерьез.

Полковник с трудом поспевал за ходом мысли жены.

— Принимают всерьез сложившиеся обстоятельства?

— Их невероятность. Поэтому и становится можно поверить.

— Имеешь в виду, что ты можешь поверить?

Снова Фанни несколько мгновений молча смотрела на мужа.

— Они сами в это верят. Они принимают ситуацию такой, как она есть. И это их спасает, — закончила миссис Ассингем.

— А что, если «как она есть» означает просто-напросто возможность для них…

— Это возможность для них сделать то, о чем я говорила тебе в самый первый приезд Шарлотты. Это для них возможность осуществить ее идею, которую я уже тогда в ней угадала.

Полковник напряг память.

— Ох, твои догадки по поводу того, какие у кого идеи! — По-видимому, ее догадки продефилировали сейчас перед его мысленным взором наподобие некой туманной процессии, и при всех своих наилучших намерениях он мог лишь созерцать их вереницу, теряясь перед ее огром-

ностью. — Ты сейчас говоришь о чем-то таком, на чем твоя душенька могла бы успокоиться?

И вновь она с минуту молча сверкала на него глазами.

— Ко мне вернулась вера, и это…

— Да? — подбодрил он, поскольку она замолчала.

— И это доказывает, что я права. Уверяю тебя, одно время моя вера очень сильно поколебалась. Но теперь я снова дома, и намерена здесь и оставаться, — провозгласила Фанни Ассингем. — Они замечательные, — объявила она.

— Шарлотта с князем?

— Шарлотта с князем. Этим они и замечательны. А главная красота в том, — пояснила Фанни, — что они за них боятся. Я хочу сказать, боятся за других.

— За Мегги и мистера Вервера? — Разобраться во всем этом было нелегко. — Что же их так пугает?

— Они сами.

Полковник изумился:

— Они сами? Мегги с мистером Вервером?

Миссис Ассингем растолковала с бесконечным терпением:

— Да, их слепоты они тоже боятся. Но больше

всего — той опасности, которая им угрожает.

Полковник обмозговал и это:

— Стало быть, опасность — это слепота…

— Опасность — то положение, в котором они очутились. Все составляющие… Наверное, можно уж тебе не объяснять? К счастью, в их положении можно найти что угодно, только не слепоту; я имею в виду, с их стороны. Слепотой грешит прежде всего ее муж.

Полковник застыл на месте. Нет, он все-таки доберется до сути дела!

— Чей муж?

— Муж миссис Вервер, — продолжала свое миссис Ассингем. — Он из них наиболее слеп. Они это видят, они это чувствуют. Но и жена его тоже слепа.

— Чья жена? — вопросил полковник. И, так как Фанни лишь продолжала молча и мрачно смотреть на него в упор вопреки своим оптимистичным заверениям, предположил: — Жена князя?

— Мегги, она самая, — отозвалась Фанни, как будто разговаривая сама с собой.

Полковник выдержал паузу.

— Думаешь, Мегги так уж слепа?

— Речь не о том, что я думаю. Речь о том, чем

руководствуются Шарлотта с князем, а у них больше возможностей судить.

Полковник снова удивился:

— По-твоему, у них больше возможностей судить? Ты так в этом уверена?

— Ну, как же, — возразила жена, — что такое вся эта необыкновенная ситуация, их необыкновенные отношения, как не одна большая возможность?

— Дорогая, эта большая возможность, все эти необыкновенные ситуации и отношения открыты для тебя точно так же, как и для них.

— С одним отличием, милый, — отвечала она, воодушевляясь, — а именно: все это, если угодно, не мои дела. Я смотрю на них со стороны, но сама, слава богу, не сижу в той же лодке. Зато сегодня, — прибавила миссис Ассингем, — сегодня на Итон-сквер я все как следует разглядела.

— И что же ты увидела?

Но Фанни снова пришла в задумчивость.

— Ах, очень многое. Даже больше, чем раньше. Боже, помоги мне! Я словно смотрела их глазами — я имею в виду двоих других. Как будто что-то такое случилось, — не знаю, что, разве только те дни вместе с ними в гостях так подействовали, — отчего происходящее стало яснее, или это просто

у меня в глазах прояснилось.

Впрочем, в глазах бедняжки, обращенных к собеседнику, отражалась не какая-то особая прозорливость, а нечто, хорошо знакомое полковнику по долгому опыту. Очевидно, ей хотелось убедить его в том, что все обстоит как нельзя лучше, но для этой цели, как видно, были совершенно необходимы две большие сверкающие слезинки. Они оказали на Боба Ассингема свое обычное действие: он понял, что нужно позволить ей убедить себя, причем именно так, как ей того хочется. Он готов был согласиться с доводами жены, как только сумеет уловить ход ее рассуждений. Вся беда в том, что рассуждения ее развиваются совершенно непредсказуемо, с самыми неожиданными зигзагами и поворотами. Вот, например, удивительный поворот — слова Фанни о том, что ей открылось во время сегодняшнего визита.

— Я как будто понимала даже лучше, чем они сами, что их заставляет…

— Что их заставляет?.. — подсказал полковник, поскольку Фанни вдруг умолкла.

— Что заставляет князя и Шарлотту относиться ко всему этому именно так, а не иначе. Очень возможно, им было довольно трудно понять, как

к этому нужно относиться. Можно даже сказать в их защиту, что они это поняли далеко не сразу. Но сегодня, говорю тебе, — продолжала она, — я словно вдруг каким-то ужасным образом начала видеть их глазами.

При этих словах Фанни вскочила, словно желая отряхнуться от столь противоестественного явления. Но она осталась стоять на слабо освещенной лестничной площадке. Полковник, неизменно сухощавый и поджарый, с характерной белизной горных снегов в области галстука, жилета и воротника рубашки, наблюдал за женой, и оба они в этот поздний час, посреди притихшего дома, могли сойти за парочку авантюристов, которых носит по всему свету и которые в трудную минуту решились искать себе полночного пристанища в каком-то Богом забытом углу. Взгляд Фанни машинально скользил по картинам и безделушкам, чересчур обильно украшавшим стены лестницы и площадки и в силу долгой привычки уже не способных вызвать ни приязни, ни сожаления у своих владельцев.

— Я вполне могу вообразить, как все у них получилось, — сказала Фанни. — Понять это очень легко. Но я не хочу оказаться неправой, — воскликнула она тут же. — Ни в коем случае не хочу

оказаться неправой!

— Ошибиться, ты хотела сказать?

Ничего подобного! Она прекрасно знала, что хотела сказать.

— Я никогда не ошибаюсь. Но — мысленно — я совершаю преступления. — Она заговорила с большим чувством: — Я — ужасный человек. Иногда мне как будто становится безразлично, что я сделала или о чем думаю, воображаю, чего боюсь, с чем смиряюсь. Когда я чувствую, что сделала бы то же самое снова, что я и сама способна совершить что угодно!

— Дорогая! — вставил полковник, перебивая ее пылкую речь.

— Да, если бы ты довел до того, что во мне проснется моя «натура». Но, к счастью для тебя, до этого пока ни разу не доходило. Но я ни в коем случае не хочу защищать их или оправдывать, — объявила она внезапно.

Ее собеседник призадумался над этими словами.

— От чего же их защищать? Ведь ты, похоже, окончательно уверилась, что они ничего предосудительного не совершили.

Фанни слабо встрепенулась.

— Просто я неожиданно испугалась. То есть

встревожилась: вдруг Мегги что-нибудь такое подумает.

— Но ведь, по твоим словам, вся суть как раз в том, что Мегги ничего такого не думает?

И снова Фанни ответила не сразу.

— В этом совсем не «вся» суть. Я вообще уже не знаю, можно ли тут увидеть «всю» суть. Столько всего носится в воздухе…

— Ах, в воздухе! — суховато вздохнул полковник.

— Но ведь то, что носится в воздухе, рано или поздно всегда спускается на землю, правда? А Мегги, — продолжала миссис Ассингем, — очень своеобразная девочка. Раз уж я сегодня столько всего увидела нового для себя, то и ее увидела тоже как-то по-новому, сама толком не знаю, почему.

— Почему бы это? — И так как жена промолчала: — Были какие-то признаки? Она держалась не так, как обычно?

— Она всегда необычная, настолько не похожа на других, что трудно было бы заметить, если она вдруг станет не похожа на саму себя. Но глядя на нее, — заметила Фанни после короткой паузы, — я начала по-другому о ней думать. Она отвезла меня домой.

— Домой, сюда?

— Сперва на Портленд-Плейс. Захватила меня с собой, уезжая от отца; она ведь иногда все-таки оттуда уезжает. Это чтобы нам с ней не расставаться подольше. Но она не отпустила экипаж и после того, как угостила меня чаем, сама приехала со мной сюда. Тоже чтобы подольше побыть вместе. Потом отправилась домой, хотя я передала ей записку от князя о том, что они с Шарлоттой собираются приехать, если успеют, на Итон-сквер к обеду, и Мегги предлагалось тоже остаться. Ты же знаешь, у нее там все есть, одежда и прочее.

На самом деле полковник этого не знал, но постарался проявить понятливость.

— Ты хочешь сказать, у нее нашлась бы смена одежды?

— Двадцать смен, если угодно. В сущности, Мегги наряжается для своего отца не меньше, чем для себя или для мужа. И всегда так было. У нее есть своя комната в доме, совсем как до замужества, и точно так же у малыша там имеется вторая детская, и миссис Нобль, приезжая с ними, чувствует себя там совершенно как дома. До такой степени, что если бы Шарлотта захотела пригласить каких-нибудь своих подруг, ей было бы попросту негде их разместить в собственном доме.

Это Боб Ассингем вполне мог оценить, ибо ему и самому приходилось прилагать немало усилий, чтобы размещать у себя гостей с наименьшими затратами.

— Мегги с ребенком настолько там распространились?

— Мегги с ребенком настолько там распространились.

Ну-ну, подумал полковник.

— Действительно, довольно чудноW.

— Вот и я о том же толкую. — Фанни, видимо, была благодарна за удачно подсказанное слово. — Я больше ничего не говорю, но это определенно «чудноW».

Прошла минута, прежде чем полковник уловил скрытый смысл ее слов.

— «Больше»? Что же тут может быть «больше»?

— Могло быть так, что она несчастна, вот и утешается по-своему. Потому что, будь Мегги и в самом деле несчастна, — рассуждала миссис Ассингем, — именно так она и стала бы утешаться. Но как может она быть несчастной, ведь, я абсолютно убеждена, она по-прежнему обожает своего мужа?

Полковник позволил себе слегка раскинуть

мозгами.

— Ну, раз уж она так счастлива, в чем тогда дело, скажи, ради бога?

Жена так и вцепилась в него:

— Значит, по-твоему, она все-таки втайне страдает?

Но Боб Ассингем только развел руками:

— Дорогая, тебе лучше знать. Я тут ничего не могу предположить.

— Какой ты гадкий! — Судя по ее тону, подразумевалось, что обычно он не настолько гадкий. — Ты сам признал, что все это «чудно́».

И снова ей удалось ненадолго удержать его внимание.

— А что, Шарлотта жаловалась на нехватку места для своих гостей?

— Нет, насколько мне известно, ни единым словом. Это не в ее привычках. Да и кому бы она стала жаловаться? — прибавила миссис Ассингем.

— Так ведь ты всегда у нее под рукой?

— Ах, я! Мы с Шарлоттой в последнее время… — Она умолкла, давая понять, что эта страница закрыта и говорить тут больше не о чем. — И все-таки, видишь, я отдаю ей должное. Я все больше и больше понимаю, какая она необыкновенная.

На лицо полковника легла тень, словно эхо от

звука этого эпитета.

— Если все они вместе и порознь такие необыкновенные, почему бы нам не умыть руки, и ну их совсем?

Но Фанни отреагировала так, словно нынешние их заботы были слишком реальны для столь неуместного возвращения к легкому тону. Грозно сверкающие глаза ясно указывали на состояние нервной системы миссис Ассингем, и полковник поспешил отступить, нащупывая более твердую почву. Прежде он говорил с точки зрения простого человека, но теперь ему следовало стать чем-то большим.

— Ну, тогда у нее, то есть у Шарлотты, всегда под рукой имеется муж?..

— Пожаловаться мужу? Да она скорее умрет!

— О! — И лицо полковника Ассингема вытянулось при одной мысли о подобной крайности. — Ну, тогда у нее есть князь?

— О, в таких делах он не в счет.

— А я-то думал, из-за него как раз весь сыр-бор разгорелся.

Но миссис Ассингем во всем умела находить тонкие различия.

— Он не тот человек, которому можно надоедать с жалобами. В этом-то все и дело: она

никогда, ни под каким видом не станет ему надоедать. Кто-кто, но уж никак не Шарлотта!

И Фанни привычным жестом тряхнула головой, словно воздавая дань восхищения величию духа миссис Вервер, — никто другой, пожалуй, не отмечал столь красноречиво редкостные достоинства этой выдающейся леди.

— Ага, только Мегги! — К этим словам полковник присовокупил тихий булькающий смешок. Но ему снова не удалось застать жену врасплох.

— Нет, не только Мегги. Очень многие люди в Лондоне надоедают ему, да и неудивительно!

— Стало быть, Мегги всего-навсего надоедает больше других? — Но полковник тут же позабыл свой вопрос, пораженный другой мыслью, чье зерно незадолго перед тем заронила в его мозг миссис Ассингем. — Ты тут говорила, что они, мол, должны были вернуться к обеду, «если успеют». Значит, ты считаешь возможным, что они до сих пор не приехали?

По этому вопросу Фанни явно чувствовала свою ответственность, но этого, как видно, оказалось недостаточно, чтобы удержаться от обсуждения интересной темы.

— По-моему, теперь уже ничего нельзя считать невозможным для них, при их исключительно

честных намерениях.

— Честных намерениях? — критически повторил полковник слова, которые и впрямь звучали несколько странно.

— При их ложном положении. Это, в сущности, одно и то же. — И Фанни продолжала, восполняя решительностью недостаток логики: — Например, как я понимаю, очень может быть, что они еще не приехали.

Полковнику оставалось только подивиться, как же она все это понимает.

— Может быть, они куда-нибудь дернули вдвоем?

— Может быть, просто заночевали в Мэтчеме. Может быть, оба дали телеграмму домой, уже после того, как мы с Мегги расстались. Один бог знает, что они могли сделать! — Вдруг Фанни еще больше воспламенилась, словно внутри у нее сработала некая спусковая пружина, и взволнованные чувства вырвались наружу невнятным горестным воплем: — Что бы они там ни сделали, я этого никогда не узнаю. Никогда, никогда! Потому что не хочу, и ничто меня не заставит! Пусть делают, что хотят. Но я так старалась, чтобы им всем было лучше!

Она выкрикнула последние слова, не в силах

сдержать дрожь в голосе, и тут же хлынули слезы, хотя Фанни во время своей вспышки отвернулась от мужа, как будто желая скрыть их от него. Она направилась в неосвещенную гостиную. Как раз перед тем полковник поднял здесь штору, и в комнату просачивался слабый свет уличных фонарей. Возле этого окна и остановилась Фанни, прижавшись лбом к стеклу. Полковник с вытянувшимся лицом смотрел ей в спину, не зная, на что решиться. Возможно, он прикидывал, до какой степени его жена успела запутаться в делах этих людей помимо того, что было ему уже известно. Но услышать, как она плачет и в то же время отчаянно силится подавить рыдания, — этого полковник не вынес. Обычно она не сдерживала слез, и в таких случаях все было гораздо легче. Боб Ассингем подошел к жене, обнял за плечи, привлек ее голову к себе на грудь. Она всхлипнула, но не отстранилась. Постепенно терпеливая ласка полковника успокоила ее. Как ни странно, этот маленький всплеск эмоций не положил конец разговору. Внезапный взрыв чувств Фанни словно открыл какие-то новые горизонты, и между мужем и женой как будто что-то прояснилось, хотя ни слова больше не было сказано. Несколько минут они смотрели

сквозь затуманенное окно, выходящее в мир человеческих бедствий и забот; через это окно падал бледный луч света, играя на хрустале и позолоте, на всей пышной, цветастой обстановке гостиной миссис Ассингем. То, что только что произошло между ними — и ее полный муки крик, и его изумление, и его доброта, и главное, несколько мгновений их общего молчания, когда они словно погрузились, взявшись за руки, в то таинственное озеро, по которому, как мы уже имели случай намекнуть, Фанни прежде плавала в одиночку, а полковник лишь наблюдал, стоя на берегу, — все это было прекрасно, потому что теперь они могли разговаривать по-настоящему, потому что оформилась наконец некая прочная основа. В чем же состояла эта основа, как не в том, что князя и Шарлотту необходимо спасти — насколько можно спасти людей, которым, как Фанни продолжала твердить с непоколебимой убежденностью, ровным счетом ничего не угрожает? И это само по себе каким-то образом их спасало, с точки зрения Фанни, — так уж устроен женский ум. Полковник теперь обращался с нею очень бережно, как бы давая знать, что усвоил подсказку, а большего ему и не требовалось. Это оставалось совершенно очевидным даже тогда,

когда Боб Ассингем снова завел речь о том, что Фанни сказала по поводу своей последней встречи с Мегги.

— Я, знаешь ли, не совсем понимаю, какие выводы ты из этого делаешь и почему.

Когда он таким образом выражал свои мысли, казалось, что он вполне понимает затронутые в их беседе глубины.

24

— Я могу сказать только одно, — отвечала Фанни. — Что-то такое в ее лице, в ее голосе, во всем ее облике подействовало на меня, как никогда прежде, и в первую очередь потому, что она явно изо всех сил старалась казаться спокойной и естественной — а она, бедняжка, все делает очень добросовестно. Если человек всегда ведет себя естественно, и вдруг ты видишь жалкие потуги казаться таким, невольно начинаешь понимать, что тут что-то неладно.

Я не могу тебе передать свои впечатления; это нужно было видеть собственными глазами. А неладно у Мегги может быть только одно. Я имею в виду, что у нее появились сомнения. В первый раз появились сомнения, — закончила миссис Ассингем, — правильно ли она представляет себе наш чудесный и замечательный мир.

Картина, нарисованная Фанни, впечатляла, и полковник, сам как будто взволнованный ее словами, снова прошелся по комнате.

— Сомнения в верности… сомнения в дружбе! Бедная малышка! Тяжеленько ей придется. Но она все свалит на Шарлотту, — заключил Боб

Ассингем.

Миссис Ассингем, все еще пребывающая в мрачной задумчивости, покачала головой.

— Она не станет ничего ни на кого сваливать, не сделает ничего, что сделали бы другие на ее месте. Она все возьмет на себя.

— Ты хочешь сказать, она представит дело так, что это, мол, ее же вина?

— Да. Уж как-нибудь она найдет способ это устроить.

— Ну, тогда, — провозгласил полковник, — она действительно молоток!

— Ах, — отозвалась жена, — ты еще увидишь, как все это будет! — Она сказала это словно в каком-то экстазе, и тут же обернулась, как будто почувствовала удивление мужа. — Она и меня сумеет выручить!

— Выручить тебя?..

— Да, меня. Мне ведь хуже всех. — Фанни Ассингем произнесла эти слова с еще большей экзальтацией. — Все это — моих рук дело. Я это признаю, признаю со смирением. Она меня не упрекнет, никогда, ни в чем. Поэтому я положусь на нее. Она меня вытянет. — Полковника поразила непривычная словоохотливость Фанни. — Она всех нас вытянет.

И все-таки ему еще не все было ясно.

— Ты хочешь сказать, что она не будет в обиде? Ну знаешь, любовь моя! — Полковник таращил глаза не без сочувствия. — Так в чем же затруднение?

— Нет никаких затруднений! — объявила Фанни с тем же пылом, что и раньше.

Полковник пристально вгляделся в нее, словно потеряв на мгновение нить.

— А, ты хочешь сказать, никаких затруднений для нас!

Фанни пристально взглянула в глаза мужу, словно его слова отдавали эгоизмом, желанием любой ценой выпутаться из сложной ситуации. Потом она, видимо, решила, что выпутаться — их главная забота, в конце-то концов.

— Да, — сказала Фанни с достоинством, — если только мы не будем терять голову. — Она как будто намекала, что неплохо бы начать прямо сейчас. Что значит обрести в конце концов твердую почву под ногами! — Помнишь, что ты мне сказал в тот вечер, когда я впервые начала беспокоиться всерьез? После приема в министерстве иностранных дел?

— В карете, когда мы возвращались домой? — Да, он припоминает. — Оставить их в покое, и

пусть они сами найдут выход?

— Именно. Практически ты сказал: «Положись на них. У них достаточно ума, и они сумеют соблюсти все условности». И вот я положилась на их ум и предоставила им самим искать выход.

Полковник слегка озадачился.

— Так о чем речь — они этого не сделали?

— Я предоставила их самим себе, — продолжала Фанни, — но, как я теперь поняла, на самом деле, сама того не сознавая, я оставила их на нее.

— На княгинюшку?

— Об этом-то я и говорю, — раздумчиво продолжала миссис Ассингем. — Тут и есть вся суть того, что случилось сегодня, пока я разговарила с нею, — пояснила она. — Мне вдруг стало ясно, что именно это я в действительности сделала.

— А, понимаю.

— Все это время я только зря мучилась. Она взяла их на себя.

Полковник заявил, что все понимает, но при этом таращил глаза с довольно бессмысленным видом.

— Что ж теперь такое с ней приключилось? Почему у нее вдруг открылись глаза?

— Они на самом деле никогда и не были закрыты. Ей его недостает.

— А раньше почему не спохватилась?

О, Фанни и в этом успела разобраться, наблюдая за ними в семейной обстановке и ловя обрывки их домашних горестей.

— Ей и раньше его недоставало, но она не позволяла себе осознать это. Она сама надела себе шоры на глаза. А теперь дело, наконец, дошло до критической точки. Теперь она поняла. И это многое объясняет. Мне, во всяком случае, это многое объяснило, — заключила миссис Ассингем.

Муж внимательно слушал, но немедленным итогом его добросовестности стала лишь еще большая растерянность, от которой полковник укрылся за восклицанием:

— Бедная малышка!

— Ах, нет, не надо ее жалеть!

Но тут уж Боб Ассингем возмутился:

— Так ее и пожалеть нельзя?

— Не сейчас… Во всяком случае, пока. Еще рано… То есть, если еще не слишком поздно. Это зависит… — продолжала миссис Ассингем. — Посмотрим. Можно было пожалеть ее раньше, хоть толку ей от этого было бы немного. Можно было начать жалеть ее какое-то время назад. Но сейчас она наконец начинает жить. И по-моему, по-моему… — Но Фанни снова умолкла, углубив-

шись в собственные мысли.

— Неужели, по-твоему, ей все это понравится?

— Главное, что она будет жить. Главное, что она победит!

Фанни выкрикнула эти слова, пылая пророческим огнем, отчего у ее мужа заметно отлегло от сердца.

— Ну, так значит, нужно ее поддержать!

— Нет! Не нужно ее трогать. Никого из них не нужно трогать. Мы должны продвигаться на цыпочках и держать свои руки при себе. Нужно просто ждать и наблюдать. А тем временем, — сказала миссис Ассингем, — мы должны вынести все, по мере сил. Так нам и надо! Рядом с нами происходит нечто из ряда вон выходящее.

Фанни принялась расхаживать по комнате, словно ведя безмолвный диалог с какими-то неведомыми предзнаменованиями, пока полковник снова не задал вопрос:

— Что же это такое рядом с нами?

— Нечто прекрасное. Может стать прекрасным, если все закончится благополучно.

Она остановилась и стояла неподвижно, пока полковник напряженно думал.

— Ты имеешь в виду, что она сумеет вернуть князя?

Фанни нетерпеливо взмахнула рукой в ответ на столь низменное предположение.

— Речь не о том, чтобы что-то вернуть. Тут не будет вульгарной борьбы. Чтобы «вернуть», нужно потерять, а потерять можно только то, что твое. — Фанни покачала головой. — Как я понимаю, она только сейчас начинает прозревать истину, которая состоит в том, что он и не был ее. Никогда.

— Моя дорогая! — охнул злосчастный полковник.

— Никогда! — непреклонно повторила жена. И безжалостно продолжила: — Помнишь, что я сказала тебе давным-давно, еще до их свадьбы, когда Шарлотта приехала так неожиданно?

Пожалуй, ответную улыбку полковника никак нельзя было назвать жизнерадостной.

— Душа моя, чего ты только не говорила в свое время?

— Уж наверное, так много всего, что раз-другой нечаянно сказала правду! Во всяком случае, я была права, как никогда, утверждая, что Мегги — такое существо, которому просто невозможно сказать о плохом. Ее воображение просто-напросто закрыто для подобных вещей, ее разум наглухо запечатан. А потому, — закончила

Фанни, — именно это теперь и произойдет. Ей придется раскрыть свой разум.

— Понимаю, — кивнул полковник. — Открыть его плохому. — Он опять кивнул, можно сказать — кивнул бодро, как будто успокаивая ребенка или сумасшедшего. — Очень, очень плохому.

Но его жена, раз воспарив духом, сумела не только удержаться в заоблачной выси, но и подняться еще выше.

— Впервые в жизни она откроет для себя Зло с большой буквы, познает его, ощутит во всей его неприглядности. — По такому случаю Фанни не пожалела красок: — Его грубое прикосновение, его неотступное леденящее дыхание. Разве только, — сделала оговорку миссис Ассингем, — разве только пока это всего лишь подозрения и страх (если дело не пойдет дальше). Посмотрим, довольно ли будет небольшой дозы тревог и беспокойства.

Полковник раскинул мозгами.

— Довольно для чего? Для того, чтобы разбить ей сердце?

— Для того, чтобы встряхнуть ее! — несколько непонятно отвечала миссис Ассингем. — Ровно настолько, насколько ей нужно, разумеется. От встряски нужной силы ее сердце не разобьется.

Просто это заставит ее, — пояснила Фанни, — заставит ее раз в жизни что-то понять.

— Но разве не жаль, — заметил полковник, — что именно это что-то будет для нее особенно неприятно?

— Ах, «неприятно»! И должно быть неприятно, чтобы она хоть чуть-чуть начала соображать, что к чему. Должно быть неприятно, чтобы она очнулась от спячки. Должно быть неприятно, чтобы она решилась жить!

Боб Ассингем стоял теперь у окна, тогда как его жена медленно прохаживалась взад-вперед. Он раскурил сигару, дабы поддержать убывающий запас терпения, и как будто старался попасть в такт Фанни, следуя взглядом за ее перемещениями по комнате. В то же время он не мог не признать, что она наконец-то добилась небывалой ясности изложения, и выразил свое восхищение, возведя глаза к скрывающемуся в сумраке потолку, как бы от полноты чувств. Подумав, полковник измыслил ответ, какой, по его мнению, предполагали слова жены.

— Решилась жить… Ах да, ради ребенка…

— Да ну его, этого ребенка! — воскликнула Фанни, внезапно останавливаясь. Никогда еще полковника так не осаживали. — Жить ради отца,

бедненький ты мой дурачок, а это совсем другое дело! — Миссис Ассингем вся просияла, и даже ее многочисленные украшения засверкали, словно озаренные блеском истины, воссиявшей после стольких трудов и мучительных поисков. — Жить ради ребенка всякий болван сумеет. Ее мотивы будут куда оригинальнее. Посмотрим, что у нее получится. Она должна будет спасти его.

— Кого «спасти»?

— Спасти своего отца, чтобы он не узнал то, что знает она. Вот это задача! — Фанни как будто воочию увидала вышеозначенную задачу в глазах собственного мужа и на этой драматической ноте закончила разговор: — Спокойной ночи!

Но что-то в ее манере или, по крайней мере, в последнем великолепном рассуждении, вдруг разом вознесло ее мужа на равную ей высоту, и он догнал ее на лестничной площадке с взволнованным возгласом:

— Знаешь, это прямо-таки здорово!

— «Здорово»? — переспросила она, обернувшись у первой ступеньки.

— Я хотел сказать, прямо-таки прелестно.

— «Прелестно»?

Все-таки еще и сейчас между ними действовал тот же закон: она воплощала собой трагическое,

он — комическое.

— Я хочу сказать, это довольно-таки прекрасно. Ты же сама говорила… Только, — прибавил он в порыве вдохновения, как будто эта мысль внезапно осветила прежде неясные для него логические связи, — только я не совсем понимаю: если уж она из заботы о нем пускается на такие штуки, что всем это кажется «чудно́», почему из той же самой заботы она раньше не сообразила, что происходит?

— Ах, то-то и оно! Именно об этом я и сама себя все время спрашивала. — Фанни внимательно рассматривала ковер, но потом снова подняла глаза и проговорила, глядя мужу прямо в лицо: — Вот ведь какая тупость!

— Тупость?

— Да, я была очень тупа во многих отношениях, ведь в последнее время я так часто задавала себе этот вопрос! Тебе простительно, ты задал его сегодня впервые. А я только сегодня увидела ответ, хотя он все время был у меня прямо перед носом!

— И что же это за ответ?

— Ответ как раз и есть ее необыкновенная совестливость во всем, что касается отца, ее страстная, безоглядная преданность. Так уж это у нее выражается, — объяснила миссис Ассин-

гем, — и я готова согласиться, что это «чудно», чуднее некуда. Но все и началось по-чудному. Ведь он, золотко наше, женился, лишь бы у дочери стало легче на душе, а получилось совсем наоборот, просто как назло!

Заново переживая это роковое стечение обстоятельств, Фанни могла лишь пожать в отчаянии плечами.

— Понимаю, — раздумчиво посочувствовал полковник. — Начало и впрямь чудное.

Фанни всплеснула руками, словно после его слов происходящее стало совсем невыносимым.

— Да, так оно и есть! И все из-за меня! — воскликнула она. — Не знаю, что на меня нашло, но я все это спланировала, я всячески уговаривала его! — Но Фанни тут же взяла себя в руки. — Вернее сказать, я знаю, что на меня нашло. Разве не осаждали его со всех сторон алчные женщины, и разве не просил он о помощи так трогательно, не показывал всеми средствами, что ему необходима защита? У Мегги была теперь своя жизнь, — продолжала миссис Ассингем со вновь обретенной ясностью, — она уже не могла всю себя посвящать ему, как раньше, оберегать его, отгонять от него надоедливых дам. Видя все это, разве можно было не пожалеть его? — От умилен-

ных воспоминаний Фанни в сотый раз отвлекли тревожные раздумья о дне сегодняшнем. — Глупо, наверное, было соваться не в свое дело. Так всегда бывает, когда думаешь, будто со стороны чужая жизнь виднее. Но все-таки у меня есть одно оправдание — они-то явно совсем ничего не понимали в своей жизни. Просто больно было видеть, какой материал пропадает совершенно без всякого толку. Они не умели жить. Разве можно было спокойно смотреть на это, если они тебе небезразличны? За это я теперь и расплачиваюсь. — И бедная женщина, видимо чувствуя, как никогда, духовную близость с мужем, обрушила на него все муки своей измученной души: — Мне всегда рано или поздно приходится расплачиваться за свое неравнодушие, за свой проклятый, никому не нужный интерес к людям. И помимо всего прочего мне, конечно, понадобилось заинтересоваться еще и Шарлоттой — Шарлоттой, которая обреталась где-то на окраинах нашей жизни, если не считать тех моментов, когда она мимолетно являлась к нам, такая прекрасная, чуточку загадочная, и которая тоже пропадала зря, как и Мегги, и мистер Вервер. И вот бессонными ночами мне все чаще стало приходить в голову, что Шарлотта — как раз тот человек, кто мог бы

успешно отражать атаки алчных женщин, сама не будучи одной из них в том же вульгарном смысле слова, и что такое занятие могло бы составить для нее прекрасное будущее. Было, конечно, одно соображение, которое могло бы меня удержать; ты знаешь, что я имею в виду, по глазам вижу! — простонала Фанни Ассингем. — Одно могу сказать: это меня не остановило. Я просто влюбилась в свой чудесный, такой симметричный план и была уверена, что Мегги примет Шарлотту, и притом я просто не могла себе представить, чтобы она согласилась принять другую женщину, женщину другого рода.

— Понимаю, понимаю. — Фанни сделала паузу. По ходу своей речи она воспламенялась все больше под действием воспоминаний. Полковник внимательно слушал и, видимо, не прочь был внести успокаивающую ноту. — Все это вполне можно понять, душа моя.

Но его слова не развеяли ее мрачного настроения.

— Естественно, я вижу, любовь моя, что ты все понимаешь; опять-таки, это видно по глазам. Ты понимаешь, что я поняла, что Мегги примет ее во всей беззащитности своего неведения. Да, любимый, — Фанни снова овладела суровая

прямота, — тебе осталось только заявить, что сознание этого и стало причиной всех моих действий. Разве я смогу тебе возразить? Я и не возражаю, как видишь! — вскричала она, неукротимо встряхнув головой. — Сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь! И все-таки, — немедленно прибавила она, — есть одна мелочь, которая меня спасает. — Она не заставила его долго дожидаться разъяснений. — Они вполне могли, и даже наверняка, сделать кое-что похуже.

Полковник напряженно думал.

— Хуже, чем чтобы Шарлотта?..

— Ах, не говори мне, — вскрикнула Фанни, — что хуже ничего быть не может. Могло быть очень и очень многое. Шарлотта по-своему тоже необыкновенная.

— Необыкновенная! — подхватил полковник почти в один голос с нею.

— Она блюдет условности, — сказала Фанни Ассингем.

— По отношению к князю?

— Ради князя! И по отношению к другим, — продолжала Фанни. — По отношению к мистеру Верверу — просто замечательно! Но прежде всего — по отношению к Мегги. А ведь условности, — она была готова даже им отдать должное, — это

две трети этики. Допустим, он женился бы на женщине, которая плевать хотела на условности.

Полковник так и вздрогнул:

— Душа моя, я этого ни в коем случае не допускаю!

— Допустим, — не отступалась Фанни, — он бы женился на женщине, которую князь любил бы по-настоящему.

— Стало быть, Шарлотту он не любит?..

Это был совершенно новый взгляд на вещи, и полковник, по-видимому, хотел на всякий случай удостовериться, что подобный поворот стоит затраченных на него умственных усилий. Жена дала ему время как следует проникнуться, после чего просто ответила:

— Нет!

— Тогда чем они там вообще занимаются?

Но Фанни только молча смотрела на него. Постояв немного перед ней, засунув руки в карманы, полковник рискнул задать еще один вопрос:

— Эти «условности», о которых ты говоришь, которые две трети этики… По-твоему, они помешают ей явиться вместе с ним домой под утро?

— Да. Безусловно. Их собственные условности.

— Собственные?..

— Собственные правила поведения Мегги и ми-

стера Вервера, которые они невольно передают и Шарлотте с князем. Те самые правила, — пояснила она свою мысль, — которые по какому-то капризу судьбы, как я уже говорила, оказались самыми правильными.

Полковник задумался… Но в результате только опечалился еще больше.

— Вот как раз этого твоего «каприза судьбы» я никак не могу понять, душа моя. Существующее положение дел не выросло за одну ночь, как грибы на поляне. По крайней мере, то что с ними теперь будет — результат их собственных поступков. Что они, беспомощные жертвы рока, что ли?

Фанни наконец набралась мужества признать это.

— Да, так и есть! Быть такими беспросветно невинными — это и значит быть жертвами рока.

— А князь и Шарлотта — они тоже беспросветно невинные?

Понадобилась целая минута, но все-таки Фанни снова оказалась на высоте.

— Да. То есть они такими были, по-своему, не меньше, чем те двое. У всех у них были прекрасные намерения. У князя с Шарлоттой намерения были прекрасные, в это я верю всей душой. Были, и за это я пойду на костер! В противном слу-

чае, — прибавила Фанни, — я была бы настоящей мерзавкой. А я не мерзавка. Я всего лишь отъявленная ослица.

— Ну, если так, кто же тогда выходят они? — поинтересовался полковник.

— Они просто чересчур заботились друг о друге. Называй как хочешь; во всяком случае, их ошибка именно в этом.

И это показывает, какое несчастье — быть слишком уж замечательными, — торжественно провозгласила миссис Ассингем.

Это тоже следовало обмозговать, но полковник постарался не ударить в грязь лицом.

— Да, но это смотря к кому... По отношению к кому князь с Шарлоттой были такими замечательными?

— Прежде всего, само собой, по отношению друг к другу. Ну, и оба вместе — по отношению к Мегги.

— К Мегги? — озадаченно переспросил полковник.

— К Мегги. — Фанни все уже было кристально ясно. — Потому что они с самого начала так наивно — да, так наивно! — приняли наивную идею Мегги сохранить за отцом прежнее место в ее жизни.

— Ну, так если по-человечески и если этот самый отец не пьет горькую, если вы с ним не ссорились и средства позволяют, почему бы и не оставить престарелому родителю место в своей жизни?

— Разумеется, если только нет особых причин, препятствующих этому. В том-то и мораль всей этой истории, что такой причиной не обязательно должно быть его пьянство. И прежде всего, мистер Вервер не престарелый.

Полковник ненадолго прервал артобстрел, но очень скоро последовал новый залп.

— Тогда почему он — золотко наше! — ведет себя, как дряхлый старик?

Это озадачило на мгновение его супругу.

— Откуда ты знаешь, как он себя ведет?

— Любовь моя, мы же видим, как себя ведет Шарлотта!

Снова миссис Ассингем запнулась и снова оказалась на высоте.

— Ах, но ведь я о том только и толкую, как он очарователен по отношению к ней!

— А не зависит ли это отчасти от того, что сама Шарлотта считает очаровательным?

Фанни восприняла вопрос как легкомысленный и отмела его прочь надменным движением

головы.

— На самом деле мистер Вервер молод; из них двоих Шарлотта куда старше. И к тому же все это никак не влияет на то, о чем я говорила!

— Ты говорила, — признал полковник, — что они все очень наивные.

— Так оно и было. Вначале все они были наивными, просто необыкновенно. Потому и не увидели, что, полагая, будто могут остаться такими же близкими, как прежде, на самом деле все больше отдалялись друг от друга. Потому что, повторяю, — продолжала Фанни, — я верю, Шарлотта с князем совершенно искренне решили поначалу, что их спасет уважение к мистеру Верверу — а они его уважают всерьез, да оно и неудивительно.

— Понимаю. — Полковник слегка наклонил голову. — И его спасет.

— Это, по сути, одно и то же!

— Тогда — спасет Мегги.

— А вот это уже немножечко другое, — сказала миссис Ассингем. — Потому что Мегги сделала больше всех.

— Что ты называешь «больше всех»? — переспросил полковник.

— С нее все началось, она создала этот пороч-

ный круг. От этого и пошли все их беды, хотя ты можешь сколько угодно делать круглые глаза, когда я применяю к Мегги слово «порочный». Вся эта бездна разверзлась из-за их всепоглощающей заботы друг о друге, и они безнадежно запутались только оттого, что все они такие немыслимо хорошие.

— О да, по-своему! — усмехнулся полковник.

— И прежде всего — по образу и подобию Мегги. — Фанни уже были нипочем любые насмешки мужа. — Во-первых, Мегги понадобилось непременно искупить свою вину перед отцом, состоящую в том, что она позволила себе до такой степени погрузиться в собственное замужество — так она считала, бедняжка. Затем ей потребовалось искупить вину перед мужем за то, что она столько времени тратит на заботу о мистере Вервере, которое могла бы проводить с ним. Для возмещения этой потери она позволила князю искать утешения, ободрения — называй как хочешь — у Шарлотты, которая скрашивала его жизненный путь, в то время как сама Мегги пеклась о благополучии своего отца. Но это, в свою очередь, означало, — продолжала свои объяснения миссис Ассингем, — что она все чаще лишала мистера Вервера общества своей молодой мачe-

хи, а это тоже необходимо было возместить. В итоге, нетрудно видеть, она взвалила на себя еще дополнительные обязательства по отношению к отцу, а все из-за ее злосчастного, хотя и совершенно героического чувства справедливости. Вначале она хотела доказать отцу, что замужество ни в коем случае не послужит ей предлогом, чтобы забросить его, какие бы соблазны блаженства с князем ее ни искушали. Желание остаться все той же страстно преданной дочерью заставило ее отчасти забросить князя, и теперь уже потребовалось доказать ему, что она это сознает и понимает. Я глубоко убеждена, — заметила в виде небольшого отступления Фанни с несвойственной ей категоричностью, — что человек, как правило, не способен одновременно испытывать больше одной страсти — я имею в виду нежную страсть. Но это не относится к древним, первобытным инстинктам, к так называемому «голосу крови» — как, например, любовь к родителям или к брату. Такая любовь может быть очень сильной и в то же время не исключать другого сильного чувства, и ты со мной согласишься, душа моя, если вспомнишь, как долго я

продолжала, tout battement[43], обожать свою матушку, которую ты совсем не обожал, еще долгие годы после того, как я начала обожать тебя. Так вот, — Фанни вернулась к своим объяснениям, — Мегги сейчас находится в том же положении, что и я тогда, плюс еще различные осложнения, от которых я, слава богу, была избавлена, да плюс еще то главное осложнение, что она, в отличие от меня, вовсе и не замечает никаких осложнений. Во всяком случае, не успела Мегги опомниться, как своей совестливостью, своей хитроумной прозорливостью, — а на самом деле блаженной слепотой, — своим пламенным чувством справедливости, о котором я уже говорила, свела тех двоих вместе вернее, чем любыми, самыми чудовищными и неблаговидными поступками. И вот теперь она знает: что-то произошло — но до сих пор не догадывалась, что именно. Она, бедненькая, только продолжала громоздить одну на другую все те же искупительные меры, которые с самого начала себе придумала и возвела в принцип, хотя на самом деле эти принципы давным-давно следовало пересмотреть. А для нее только одно изменилось — стало еще важнее не

[43] Примечания: 43
Чрезвычайно глупо (*фр.*).

допустить, как бы отец, не дай бог, не задумался: а так ли хороша эта их совместная жизнь? Теперь ей, как никогда, необходимо, чтобы ему не закралась в голову мысль о том, что в сложившейся ситуации есть нечто не совсем приятное, нечто не совсем обычное с точки зрения общепринятой морали. Ей приходится изо дня в день прилагать огромные усилия, чтобы для него все выглядело нормальным и естественным, так что она уже стала — Господи, прости за такое сравнение! — совсем как та бабка, что на старости лет увлеклась живописью и с годами кладет краски все гуще, все более толстым слоем. — Фанни застыла в восхищении от созданного ею самой образа. — Мне нравится представлять себе, как Мегги учится быть дерзкой и безрассудной, лишь бы как-то сгладить ситуацию. Она бы могла стать такой ради этой священной цели. Я верю, она сможет, и уж если возьмется, то сделается сущим дьяволом. Ведь как только милый мистер Вервер увидит, что все это одни румяна!.. — Она умолкла, захваченная пророческим видением.

Картина, открывшаяся перед ее мысленным взором, передалась и Бобу.

— Вот тут-то и пойдет веселье! — Но Фанни сурово глянула на него, и он поторопился изме-

нить формулировку: — Ты хочешь сказать, в этом случае славная девочка погибнет?

Фанни еще чуть-чуть помолчала.

— Я уже говорила тебе раньше, она не погибнет, если ее отец спасется. Для нее этого будет достаточно.

Полковник проникся.

— Ну, тогда она настоящая маленькая героиня!

— Еще бы! Конечно, она маленькая героиня. А главное, — прибавила миссис Ассингем, — их спасет его невинность.

Тут полковник снова задумался о невинности мистера Вервера.

— Она у него жутко оригинальная.

— Разумеется, она жутко оригинальная! Они и сами жутко оригинальные, в духе нашей милой старосветской оригинальности. Я сейчас говорю не о нас с тобой, а о своих прелестных сельских родичах, от которых я, увы, ушла так далеко, и совсем не в лучшую сторону. Оттого-то они мне сразу так и понравились. И конечно, они еще успеют проявить свою оригинальность, — прибавила Фанни удрученно, — прежде, чем окончательно со мной разделаются!

Такая перспектива представлялась вполне реальной, но не это больше всего беспокоило

полковника.

— Ты так веришь в невинность мистера Вервера, после двух лет с Шарлоттой?

Фанни широко раскрыла глаза:

— В том-то и дело, что по-настоящему не было у него этих двух лет с Шарлоттой.

— Так же, как у Мегги, по твоей теории, не было «по-настоящему» четырех лет с князем? Это объясняет, почему в ней тоже осталось столько невинности, что просто дух захватывает, — согласился полковник.

Фанни пропустила его слова мимо ушей — это тоже могла быть грубая шутка.

— Чтобы объяснить Мегги, нужно очень много всякого разного. Одно можно сказать наверняка: как ни странно, до сих пор ее старания по поводу отца достигали своей цели. Она добилась того, что он воспринимает их довольно странные отношения как нечто, отвечающее правилам игры. У нее за спиной он в полной безопасности, его оберегают, развлекают, можно сказать — по доброте душевной морочат ему голову, в том числе и при содействии Принчипино, которого мистер Вервер обожает, а он и рад, и считает, что именно такую жизнь и планировал в своей возвышенной душе. Он ведь не продумывал заранее всех

деталей, точно так же, как и я, несчастная! А тут вся странность как раз в деталях. Он уверен, что таким и должен быть брак с Шарлоттой. А они оба помогают, — закончила Фанни.

— «Оба»?..

— Я хочу сказать, если Мегги постоянно бросается на амбразуру, убеждая отца, что все обстоит просто идеально, то и Шарлотта вносит свой вклад не менее добросовестно. А ее вклад очень велик. Шарлотта работает как лошадь, — заявила Фанни.

Теперь все было сказано. Полковник несколько минут созерцал предложенную ему картину.

— А как кто работает князь?

Фанни взглянула на мужа в упор:

— Как князь!

Засим она двинулась вверх по лестнице, являя взору полковника спину в пышном одеянии, на котором то там, то тут в живописном беспорядке посверкивали рубин или гранат, топаз или бирюза, скрепляющие между собой отдельные элементы сложной конструкции, словно бледные символы острого ума, соединившего в единое целое атласные лоскутки ее аргументов.

Полковник смотрел ей вслед, потрясенный ее способностью разбираться в подобных тонкостях,

словно главная суть разворачивающейся у них на глазах драмы заключалась в том, что у него такая умная жена, умело справляющаяся со всеми сложностями жизни — в тех узких пределах, до которых съежилась нынче его жизнь. Налюбовавшись ее величественным отступлением, полковник выключил слабенькую электрическую лампочку, при свете которой проходила их беседа, и стал подниматься следом за ней, насколько позволяли складки ее длинного шлейфа, вздымавшиеся легко и свободно, под стать парению ее духа, вдохновленного достигнутой в конце концов ясностью. Но, поднявшись на верхнюю площадку, где Фанни уже успела коснуться металлической кнопки, вызывающей свет, полковник вдруг почувствовал, что жена не столько утолила, сколько, напротив, заронила в его душу зерно любопытства. Он задержал ее еще на минуту — в пироге оставалась одна последняя изюминка.

— Ты сейчас сказала, что он не любит Шарлотту; что ты имела в виду?

— Князь-то? Что не любит «по-настоящему»? — довольно милостиво отозвалась миссис Ассингем. — Я имела в виду, что мужчины не любят по-настоящему то, что дается слишком

легко. В девяти случаях из десяти именно так они относятся к женщине, которая ради них рисковала жизнью. Ты спрашивал, как он работает, — прибавила Фанни. — Спросил бы лучше, как он играет.

Полковник немедленно исправил упущение:

— Как князь?

— Как князь. Он и есть князь до мозга костей. А это очень редко встречается, — сказала она с чувством, — даже в высших кругах, хотя там многие претендуют… Вот почему он такое сокровище. Наверное, один из последних. Последний из настоящих. Так что мы должны принимать его целиком, таким, какой он есть.

Полковник что-то прикинул в уме.

— А как должна его принимать Шарлотта?

От такого вопроса Фанни запнулась на мгновение; не сводя глаз с мужа, она положила руку ему на локоть, и в ее пожатии он ясно прочел ответ. Никогда еще он не получал от нее такого решительного, глубокого и прочувствованного запрета.

— Что бы там ни было, ничего не произойдет. Ничего не произошло. Ничего не происходит.

Боб Ассингем протянул чуть разочарованно:

— Понимаю. Для нас.

— Для нас. Для кого же еще? — И он буквально физически ощутил ее желание заставить его понять. — Мы ровным счетом ничего не знаем!

Это был манифест, который полковнику надлежало подписать.

И он расписался:

— Мы ровным счетом ничего не знаем.

Словно караульные обменялись паролями в ночи.

— Мы невинны, — с тем же выражением проговорила она, — как младенцы.

— Почему не сказать, — осведомился полковник, — как они сами?

— О, по самой веской причине! Потому что мы гораздо более невинны, чем они.

Полковник изумился:

— Но как же мы можем быть еще более…

— Ради них-то? С легкостью! Мы можем быть какими угодно.

— Что же, полными идиотами?

— Полными идиотами! Ах, — выдохнула Фанни, — как это укрепит наши позиции!

Судя по выражению лица полковника, он решил, что в этом что-то есть.

— А если они догадаются, что это не так?

Фанни ответила почти без колебаний:

— Шарлотта и князь считают нас кромешными дураками, и это большое достижение. Мистер Вервер верит, что мы разумны, но он не в счет.

— А Мегги? Она разве не знает?..

— Что мы способны видеть дальше собственного носа? — Да, на это так сразу не ответишь. — Если даже она и догадывается, то виду не покажет. Так что получается то же самое.

Полковник поднял брови:

— Получается, что мы не сможем ей помочь?

— Этим мы ей и поможем.

— Тем, что будем выглядеть круглыми болванами?

Фанни всплеснула руками:

— Да ей самой только и нужно, что выглядеть еще глупее нас! И все тут! — Заручившись поддержкой мужа, миссис Ассингем отмела проблему прочь. Но что-то еще удерживало ее. Фанни осенил последний всплеск ясновидения. — Теперь понятно! — воскликнула она. — Помнишь, ты спросил, откуда я знаю, что Мегги наконец проснулась? Я это поняла, когда увидела их вдвоем.

— Увидела Мегги с отцом? — Снова полковник не поспевал за полетом ее мысли. — Но ведь ты и раньше часто видела их вместе.

— Я смотрела другими глазами! До сих пор еще не случалось такого испытания, ни разу те двое не уезжали так надолго.

— Может быть… Но если они с мистером Вервером сами на этом настояли?..

— Почему тогда это — испытание? Да потому, что оно стало таким вопреки их воле. Ситуация, так сказать, испортилась у них на глазах.

— Прокисла, значит? — заметил полковник.

— Какое ужасное слово! Скажи лучше: изменилась. Возможно, — продолжала миссис Ассингем, — Мегги действительно хотела проверить, сколько она сумеет выдержать. В таком случае она это увидела. Кстати сказать, на их поездке настаивала одна только Мегги. Ее отец никогда ни на чем не настаивает. А она наблюдает за ним.

— Наблюдает за ним? — поразился полковник.

— Не появились ли первые признаки… Я хочу сказать — признаки, что он что-то замечает. Конечно, ничего такого нет и следа. Но Мегги всегда настороже. И я это почувствовала, — прибавила Фанни. — Я, можно сказать, застигла ее врасплох. От меня она не могла скрыть, хоть и оставила нарочно свой пост, поехала провожать меня, чтобы отвести глаза. Я не подавала виду,

но именно после этого мне все стало ясно. — И на этих беспримерных по своей прямоте словах Фанни приблизилась к двери в свою комнату. — К счастью, мне стало ясно и то, насколько успешно у нее все получается. Нет ни малейших признаков… у него.

— Ты так уверена?

— Уверена. И не будет. Спокойной ночи, — сказала Фанни Ассингем. — Она скорее умрет.

Часть вторая
Княгинюшка

1

Много дней прошло, прежде чем княгинюшка примирилась с мыслью о том, что она сделала нечто, чего никогда не делала прежде, прислушалась к внутреннему голосу, говорившему с какой-то новой интонацией. Она инстинктивно медлила обдумывать это — быть может, оттого, что размышления и сопоставления уже начали свою глубинную работу, и главным толчком к ним послужило ощущение, что в определенный момент одним движением руки она сумела изменить ситуацию, которую так долго считала практически недоступной какому бы то ни было вмешательству. Многие месяцы ситуация эта занимала центральное место в саду ее жизни, возвышаясь, словно причудливая башня из слоновой кости или удивительно красивая, но безнадежно чужеземная пагода — строение, облицованное разноцветными фарфоровыми изразцами, украшенное затейливыми фигурками, с серебряными колокольчиками по краю кровли, что так чудесно позванивают от легчайшего дуновения ветерка. А Мегги продолжала существовать на оставшемся свободном про-

странстве, которое иногда казалось достаточно просторным, а иногда — чересчур тесным. Она запрокидывала голову, чтобы полюбоваться прекрасным зданием, величественно вознося-щимся ввысь, но так и не могла понять, удастся ли ей войти внутрь, если у нее появится такое желание. До сих пор, как ни странно, подобного желания не возникало; и, безусловно, не менее странно, что, хотя она как будто различала высо-ко вверху в стенах загадочного строения нечто, похожее на окна или бойницы, на уровне сада не было заметно ни одной двери. Обширная, богато декорированная поверхность оставалась абсолютно непроницаемой. Теперь же Мегги как будто прекратила свое бесконечное кружение, перестала беспомощно смотреть и изумляться со стороны; она ловила себя на том, что сперва начала останавливаться, затем подолгу задержи-ваться на одном и том же месте и мало-помалу подступила чуть ли не вплотную. Прежде она держалась в почтительном отдалении, словно перед нею была мусульманская мечеть, к которой неверным не позволено приближаться. Вступая в нее, следует оставить туфли у входа, а можно даже и поплатиться жизнью за незаконное втор-жение. Разумеется, Мегги не приходило в голову

расплачиваться жизнью за какие-либо свои действия, но все же она, фигурально выражаясь, осторожно простукала узорные плитки изразцов. Короче говоря, она постучалась, сама не зная зачем, — прося впустить ее или что-нибудь еще? Она коснулась рукой холодного гладкого фарфора и стала ждать, что случится дальше. И кое-что действительно случилось; словно в ответ на свой стук она услыхала какие-то звуки за стеной, сигнализирующие о том, что ее заметили.

Впрочем, если этот образ может быть использован для передачи впечатлений нашей молодой дамы от перемены в ее жизни, — перемены, свершившейся всего лишь несколько дней назад, — необходимо в то же время отметить, что она сразу же возобновила свое кружение, как я это назвал, спасаясь от мысли о возможном возмездии. Пагода посреди цветущего сада символизировала ту схему вещей — как еще назвать? — при которой Мегги получила удивительную возможность выйти замуж, не порывая при этом со своим прошлым, — именно такую формулировку она предпочитала. Она отдала себя мужу безусловно, безоглядно, и все-таки ни на один самый крошечный дюйм не отступилась от отца. Для довершения ее счастья мужчины

замечательно поладили друг с другом, и Мегги в замужестве больше всего радовало то, что старший, более одинокий из двух, благодаря ее браку приобрел нового друга. И что еще приятнее, женитьба мистера Вервера, как и ее собственная, не потребовала чрезмерной платы. Отец также решился на великий шаг, но от этого дочь не стала занимать меньше места в его жизни.

Мегги отлично сознавала, как это удивительно, что они смогли одновременно и разделиться, и быть по-прежнему вместе; оба они с самого начала не переставали удивляться, и это вдохновляло их и поддерживало. Много было такого, что отнюдь не приводило их в восхищение: внезапные вспышки остроумия, дерзновения, оригинальности — все это было совсем не в духе славного мистера Вервера и его дочери; но им нравилось думать, что они сумели обогатить свою жизнь, построив ее с такой широтой взглядов, какая вряд ли была бы под силу другим семействам, семейным парам и тем более — парам семейных пар. Последняя истина сделалась им особенно ясна при виде откровенной зависти большинства друзей — те без конца твердили, какие у них замечательные отношения, которые непременно нужно сохранить, причем, конечно же, с равным

усердием превозносили и Америго с Шарлоттой. Отцу и дочери приятно было выслушивать столь бурные похвалы — а кому это не было бы приятно? Тем более что по характеру они были настолько не склонны к самолюбованию, что, пожалуй, и не уверовали бы в свой триумф, не будь у них перед глазами его внешних проявлений. Итак, их блаженство росло, и башня из слоновой кости мало-помалу воздвигалась все выше, этаж за этажом, будучи хорошо видна и, без сомнения, весьма эффектна с любой точки газона, именуемого высшим светом. А следовательно, нынешнее нежелание Мегги уяснить для себя, почему это зрелище больше ее не радует, представляло собой нарушение той идеальной гармонии, которая практически неизменно составляла основу ее душевного благополучия. Ради сохранения гармонии Мегги всегда умела идти на более или менее значительные уступки.

Впервые в жизни на Мегги упала зловещая тень возможности оказаться в ложном положении, и появились смутные догадки, что следовало бы либо изо всех сил поддерживать в себе уверенность в собственной правоте, либо уж признать, что не права. Впрочем, реакция Мегги напоминала действия шелковистого спаниеля, который

вылез из пруда и отряхивается, разбрызгивая воду во все стороны. Примерно так же и она то и дело встряхивала головой; к тому же в ее распоряжении имелся еще один способ дать выход эмоциям, недоступный для спаниэля с его грубым тявканьем, — время от времени она принималась вполголоса напевать какую-нибудь песенку в знак того, что с нею решительно ничего не случилось.

Фигурально выражаясь, она не упала в воду, не ушиблась и не промокла насквозь; по крайней мере, видимость такой версии событий она старательно поддерживала, пока к ней в душу не закрались опасения: не подхватила ли она, часом, простуду, пусть даже совсем незаметно для постороннего глаза? Как бы то ни было, насколько Мегги могла припомнить, еще никогда в жизни ей не приходилось так волноваться, да к тому же — еще один, совершенно особенный аспект дела — никогда еще ей не приходилось так тщательно скрывать свое волнение. В ней зародилась небывалая целеустремленность, необычайно захватывающая именно благодаря тому, что требовалась немалая изобретательность, дабы утаить новорожденную от окружающих. Изобретение различных ухищрений для этой цели

сделалось для нее сугубо личным и чрезвычайно увлекательным занятием. Если позволительно прибегнуть к еще одной метафоре, я сравнил бы ее с юной матерью незаконнорожденного ребенка, которая полна испуга и в то же время крепко прижимает к себе свое дитя.

Если следовать этой новой аналогии, идея, овладевшая Мегги, могла послужить доказательством ее проступка, являясь в то же время символом отношений, которые были ей дороже всего на свете. Мегги уже успела убедиться на собственном опыте, что всякое сильное чувство таит в себе не только радости, но и муки, а также, что тревоги и страдания лишь заставляют острее ощущать свою страсть. Она ни на минуту не сомневалась в силе своей любви к мужу, а внезапное напряжение чувств, если вдуматься, всего-навсего означало, что Мегги в полной мере ощутила всю силу страсти, как сплошь и рядом случается с тысячами женщин. А почему бы и нет? Она имеет полное право! Если, по зрелом размышлении, у нее не возникнет никаких соображений против этого? Наиболее весомым доводом против могла быть возможность каких-либо неудобств или неприятностей для других, особенно для тех других, что никогда не причи-

няли неудобств ей самой своими эгоистическими страстями; но ведь можно принять меры, исключающие риск подобных последствий, стоит только не терять головы и правильно разыграть свою роль.

Княгине мало-помалу становилось все яснее, что она давно уже не использует в полной мере свои умственные способности. То же, что и с танцами: когда-то она любила танцевать, но давно не бывала на балах и теперь лишь очень смутно могла припомнить знакомые движения. Грубо говоря, нужно снова начать ездить на балы, вот лучшее лекарство. Нужно вытащить из укромных уголков убранные на хранение драгоценные безделушки, достойные торжественного выхода в свет, — а их запас, без ложной скромности, был у нее не из самых маленьких. Нетрудно представить себе, как Мегги, улучив минутку и прикрывая от сквозняка ладонью огонек свечи, пробирается на цыпочках к своему тайнику и видит, что ее сокровища вновь засверкали робким, но отчетливо различимым блеском. Собственно говоря, эта картина как нельзя лучше отражает то, что происходило сейчас в душе Мегги, всячески старавшейся обуздать свои взволнованные чувства и в то же время находившей известное

удовольствие в необходимости справляться с кризисом собственными силами.

Нужно, однако, отметить, что Мегги было бы трудно — во всяком случае, поначалу — определить, проявлением ли самоконтроля или, напротив, открытым выражением чувств следовало считать ее поступок в день возвращения мужа с его спутницей после поездки в Мэтчем. Ибо это был, безусловно, поступок. Америго наверняка покажется странным, что она предприняла какие-то немедленные действия, пусть даже нарушение традиций состояло лишь в том, что он, вопреки ожиданиям, не застанет ее на Итон-сквер. Ему, как ни странно, придется ехать домой, чтобы увидеть ее и обнаружить, что она дожидается его почти что демонстративно, и уж во всяком случае нетерпеливо и независимо. Всего лишь мелкие изменения, робкие попытки интриги, но для Мегги, как мы видели, они были окрашены сильнейшей целеустремленностью. На поверхностный взгляд жена, поджидающая у камина возвращения мужа из недолгой поездки, может показаться самой естественной картиной на свете — что же еще ей делать? Простое дело, и все же омраченному воображению Мегги представлялось, что она сумела выполнить все

поставленные перед самою собой задачи.

Она проверила свою мысль, и проверка подтвердила остроту ее мысли. В том-то и вся суть: она больше не играет тупыми, никчемными инструментами, которые ничего не режут. По десять раз на дню перед ее мысленным взором возникал образ сверкающего клинка, заставляя пуще прежнего зажмуривать глаза, внушая отчаянное желание обмануть себя шумом и движением. Она всего-навсего прокатилась однажды в среду на Портленд-Плейс вместо того, чтобы остаться на Итон-сквер, твердила Мегги про себя снова и снова, совершенно нет причин придавать столь обыденному событию глобальное историческое значение. Но она ничего не могла с собой поделать; в мозгу у нее занозой засело, что ни один из совершенных в прошлом поступков не повлияет так сильно на всю ее дальнейшую жизнь каким-то невыясненным доселе образом, — в том числе, может быть, даже тот, совершенный некогда в золотом Риме, когда она ответила согласием на предложение Америго.

И все же, припадая к земле испуганной тигрицей, Мегги не планировала никаких безрассудств, ничего бесповоротного, ничего потрясающего основы; она сама придумывала для своего пове-

дения издевательские клички, высмеивала саму себя, всячески стараясь принизить значение случившегося. Просто ей захотелось приблизиться к чему-то, что она даже наедине с собой не могла, не хотела определить словами; а уж насколько ей удастся подступиться к этому загадочному нечто, никак нельзя было вычислить заранее. И пусть сколько угодно множатся смятение и умолчания, это не мешает ей проживать заново любую — на выбор — из прошедших минут, смакуя непривычную свежесть отношений, достигнутую таким простым способом — она всего только впервые в жизни сумела удивить своего мужа. Скромное достижение, зато ее собственное, и весь этот пассаж так и стоял у нее перед глазами, словно огромная картина на стене будничной повседневности: любуйся, сколько душа пожелает.

В ретроспективе картина распадалась на ряд отдельных моментов, и каждый из них можно было рассматривать сам по себе, примерно так, как зритель в ложе созерцает понравившуюся пьесу. Некоторые моменты выступали особенно ярко, и Мегги перебирала их, словно твердые жемчужины, нанизанные на нитку — именно те, что имели место перед самым обедом, который состоялся очень поздно, уже около девяти, поскольку

Америго все-таки сильно задержался с возвращением. В этот промежуток времени произошло, на самом деле, довольно много разных событий, и Мегги в воспоминаниях четко отделяла одно от другого. Много времени спустя она говорила, что все предыдущее слилось для нее в сплошное пятно, как бывает в часовне при рассеянном свете лампадки, едва пробивающемся сквозь пелену благовонных курений. Несомненно, чаще всего вспоминался главный, самый первый момент: странная короткая тщательно отмеренная пауза, которую она совершенно не планировала, но — как долго? узнает ли она когда-нибудь, как долго? — никакими силами не могла прервать. Мегги находилась в маленькой гостиной, где она всегда «сидела».

Вернувшись наконец домой, она с расчетом переоделась к обеду. Просто удивительно, сколько всего она делала с расчетом в течение этого маленького инцидента, которому придавала такое безмерное значение. Он приедет поздно… Он приедет очень поздно — это одно Мегги знала наверняка. Оставалась еще и такая возможность: приехав с Шарлоттой прямо на Итон-сквер и узнав, что Мегги уехала, он решит остаться там. Мегги не стала оставлять для него записки на этот

случай: вот еще один из тончайших нюансов ее решительности, хотя в результате возвращение Америго могло задержаться еще больше. Он мог подумать, что она уже пообедала; мог остаться там специально, чтобы доставить удовольствие ее отцу накопившимися рассказами. Ему и раньше случалось идти на жертвы ради этой благой цели, иногда даже лишая себя возможности лишний раз переодеться.

Сама Мегги на этот раз воздержалась от подобных жертв. За время, оказавшееся в ее распоряжении, она позволила себе принарядиться, приняв вид возмутительно свежий и прямотаки элегантный, отчего ожидание сделалось еще более напряженным — потому эти минуты впоследствии и связывались для нее с образом притаившегося хищника. Мегги прилагала все усилия, чтобы ее душевное состояние никак не проявлялось внешне. Она не могла читать бесцветный роман — о, это уж было выше ее сил! — но могла, по крайней мере, устроиться с книгой у лампы, в новом, ни разу не надеванном платье, которое топорщилось вокруг нее пышными складками, быть может даже чересчур пышное и парадное для скромного домашнего платья, но все же, как Мегги робко надеялась, не

лишенное бесспорных достоинств. Она часто поглядывала на часы, но не стала расхаживать взад и вперед по комнате — проявила силу воли, хотя и знала, что ходьба по натертому до блеска паркету и шуршание развевающихся юбок помогли бы ей почувствовать себя еще более нарядной. Беда в том, что это же заставило бы ее еще острее ощутить свое волнение, а это-то как раз было совсем ни к чему.

Беспокойство отпускало ее лишь в редкие минуты, когда Мегги опускала глаза и с удовольствием окидывала взглядом свое платье — это позволяло ненадолго отвлечься от тревожных мыслей, особенно если удавалось задержать внимание достаточно долго, чтобы успеть подумать: интересно, настолько ли оно хорошо, чтобы его, наконец, одобрила Шарлотта? Мегги терялась и робела во всем, что касается одежды, а последний год прожила в постоянном страхе беспощадной критики Шарлотты, которую невозможно было предугадать заранее. Сама Шарлотта умела одеться так оригинально и с таким шармом, как ни одна женщина в мире; получив в свое распоряжение практически неограниченные средства, она могла наконец проявить свои таланты в этой области, и, таким образом, справедливость вос-

торжествовала. Зато Мегги, по ее собственному выражению, «разрывалась на части», сознавая, с одной стороны, что подражать подруге бесполезно, а с другой — что узнать ее истинное мнение невозможно. Да, она, скорее всего, так и сойдет в могилу, не зная, что на самом деле думала Шарлотта о внешности своей падчерицы и о ее неумелых попытках одеться поинтереснее. Она всегда очень мило отзывалась о смелых экспериментах вышеупомянутой падчерицы, но Мегги в глубине души каждый раз подозревала, что Шарлотта не вполне искренна и хвалит ее исключительно из жалости. Если бы удалось докопаться до правды, разве не оказалось бы, что Шарлотта, с ее безупречным вкусом, давно считает Мегги безнадежной и потому оценивает ее наряды по иным, заниженным стандартам, раз уж тут ничего больше не поделаешь? Иными словами, возможно, она смирилась со смешным и нелепым обликом Мегги, втайне отчаиваясь и даже, может быть, раздражаясь? А стало быть, остается мечтать, самое большее, о том, чтобы хоть изредка удивлять ее неверной менее обычного нотой.

Приблизительно с такими мыслями Мегги осматривала свое тщательно продуманное оде-

яние, коротая затянувшееся ожидание, но ее вопросы таяли в воздухе; неразгаданные загадки накапливались, атмосфера сгущалась. Нерешенные вопросы теснились, словно беспорядочно расставленные по комнате безделушки, которые никто так и не удосужился «разобрать»; вот уже какое-то время Мегги натыкалась на эту комнату, проходя коридором своей жизни. Она старалась проходить мимо, не отворяя дверь, но порой поворачивала ключ в замке, чтобы запрятать в комнату очередную ненужную вещь, которая мигом находила себе место в общей куче, словно следуя безошибочному инстинкту. Мегги нужно было лишь отпереть дверь опытной рукой. Вот и сейчас она подбросила в комнату новый предмет — то, что она никогда не узнает о мыслях Шарлотты. Вновь прибывшему не будет одиноко, он быстро найдет себе компанию, а Мегги на этот раз задержалась в дверях чуть дольше, успев заметить, как последнее добавление аккуратно уместилось в углу. Не будь она так погружена в свои переживания, наверняка ее поразило бы это зрелище: разнокалиберная масса бесполезных вещей, постоянно поджидающих пополнения. Но она отвернулась, судорожно переводя дыхание, — и тут события внешнего мира заслонили

внутреннюю картину. Отворилась совсем другая дверь, и появился муж.

Все было так странно, вспоминалось ей впоследствии; оттого и стало поворотным пунктом в ее жизни: он вернулся, приехал следом за ней из того дома, охваченный неуверенностью — в первую минуту это было написано у него на лице большими буквами. Секунда, другая — и все исчезло, как только они заговорили; но это было, было несомненно. Мегги сама не знала, чего ждала, но уж во всяком случае не ожидала никакой неловкости. Неловкость — Мегги так это называла, сразу выбирая наихудший вариант, чтобы потом можно было утешить себя, — неловкость возникла из-за бросающегося в глаза желания Америго понять, в каком настроении он найдет жену. Почему именно в первую минуту? Этот вопрос позднее постоянно приходил ей на ум, словно в нем крылся ключ ко всем загадкам. А в тот момент у нее вдруг появилось захватывающее ощущение собственной значимости и острой необходимости немедленно заставить его почувствовать эту ее значимость, хотя вначале у нее вовсе не было столь воинственных намерений. Даже и тогда она сознавала, что он легко может превратить ее в безвольную дурочку

— по крайней мере, на время. Секунд десять она всерьез боялась подобного оборота; так неуверенность в его лице превратилась в неуверенность, витающую в воздухе. Два-три нетерпеливых слова, произнесенных достаточно громко, нечто вроде «Что это ты тут затеяла?» или «Что все это значит?» — и она была бы повержена во прах, тем более что и сама, видит бог, не собиралась заноситься чересчур высоко. Ведь это была такая малость — на крошечный шажок отступить от традиций или, вернее, нарушить ожидания мужа; масштабы его изумления сами по себе уже составляли осложнение, на которое трудно было закрыть глаза. Что-то это значило для него (Мегги не умела сообразить, что именно) — что она ждала его дома, одна, а не там, вместе с другими; позднее Мегги снова и снова приходило на ум, что в этой его минутной растерянности можно было бы при желании усмотреть глубокий смысл, можно даже сказать — историческое значение. Разумеется, она не могла бы предположить, не сходя с места, что именно ему хотелось бы увидеть; для предположений, не говоря уже о сильно забившемся сердце, довольно и того, что он увидел, а увидел он свою жену в ее собственной гостиной в тот час, когда ей было как нельзя

более уместно там находиться.

Правда, он не стал делать ей упреков. Мегги не сомневалась, что сперва ему привиделось нечто преднамеренное и демонстративное в ее позе и наряде, но эти мгновения прошли, и вот он приблизился к ней, улыбаясь, улыбаясь, и наконец без колебаний заключил ее в свои объятия. Колебания были вначале, и теперь Мегги убедилась, что он сумел справиться с ними без ее помощи. Помогать ему она не стала. С одной стороны, колебания ее не привлекали, но, с другой стороны, она не могла бы объяснить, — тем более, что он и не спрашивал, — отчего она так взволнована. Она знала это вся, с головы до пят, знала с новой силой и остротой в его присутствии, и прозвучи сейчас хоть один вопрос, тугая пружина безрассудства разом распрямилась бы в ней. Довольно странно, что самая естественная вещь, которую она могла сказать мужу, имела бы такой вид, но Мегги пуще прежнего сознавала, что любые ее слова в конечном итоге отразятся на жизни ее отца, сейчас такой тихой и спокойной, но стоит его сознанию хоть немного измениться, пусть даже в сторону большей живости, как хрупкое равновесие мигом нарушится. Вот о чем Мегги не забывала ни на минуту: равновесие — это все,

и оно очень неустойчиво, довольно пылинки, чтобы перевесить чашу весов. Равновесие или, по крайней мере, осознанный страх за него заставлял сердце Мегги биться чуть ли не в самом горле, и тот же страх сквозил в безмолвных взглядах, которыми обменялись Мегги и Америго. Счастливый баланс, требующий столь неусыпной заботы, — поистине деликатная материя; оказывается, ее муж тоже не чужд привычной тревоги и осторожности, и это их сближает. Во имя равновесия, во имя ее радости при виде их единодушия, как прекрасно Мегги могла бы говорить, если бы позволила себе произнести вслух правду о своем сегодняшнем поступке — об этом бедном, жалком поступке, представляющем собой столь незначительное отклонение от повседневной нормы.

«Почему, почему я сегодня так старательно добивалась, чтобы нам не обедать всем вместе? Да просто я весь день так мечтала побыть с тобой вдвоем, что в конце концов уже не могла больше этого выносить и к тому же не видела причин продолжать мучиться, хоть это и может показаться странным, если вспомнить, сколько мы привыкли выносить в заботе друг о друге. В последние дни ты кажешься каким-то… не знаю — отсутствующим, что ли. Раньше ты был

другим. Так больше невозможно. У нас все очень хорошо, я вижу, все совершенно прекрасно, но в конце концов приходит день, и что-то ломается, и полная чаша переливается через край. Это и произошло со мной: ты был мне так нужен весь день, я больше не могла нести эту чашу. Вот и выплеснула ее на тебя — по той самой причине, ради которой я живу. Наверное, нет необходимости объяснять, что я влюблена в тебя так же сильно, как в самую первую минуту, только в иные минуты — я всегда знаю, когда это происходит, потому что это меня почти пугает, — в иные минуты я понимаю, что люблю тебя еще сильнее. Это происходит само собой, и — ах, так часто! Все-таки, все-таки…»

Эти или очень похожие слова так и не прозвучали, но впечатление было такое, будто они начали произноситься и угасли, не успев отзвучать до конца. Позволь им князь вырваться на свободу, они бы рухнули под собственной тяжестью. Но Америго не стал доводить дело до такой крайности. Он и без того понял все, что ему требовалось понять: своим поступком жена желает показать, что обожает его, скучает без него, стремится к нему всей душой. Говоря ее же словами, «все-таки, все-таки» она права. Соответственно этому и

следовало реагировать. Теперь, когда, как было сказано, он «понял», следовало относиться к этому как к самой важной вещи на свете. Он обнял жену и крепко прижал к себе в знак их единения — вполне естественный способ выразить это. Он потерся щекой о ее щеку, нежно и невнятно что-то пробормотав — другую щеку, не ту, что была прижата к его груди. Вот еще один, не менее очевидный способ; словом, способов нашлось достаточно, и князь применил их все со свойственной ему легкостью импровизации, с тем веселым добродушием, которое Мегги впоследствии определила для себя как беспредельную тактичность. Вопрос такта возник примерно по прошествии четверти часа — все это время Америго непринужденно рассказывал, а Мегги бесхитростно расспрашивала. Он рассказал ей о том, как прошел день, об удачной идее совершить на обратном пути небольшую экскурсию вместе с Шарлоттой, о том, как они отправились на поиски собора и как это оказалось несколько более хлопотным делом, нежели они себе представляли. Мораль сего повествования сводилась к тому, что он страшно устал и должен немедленно принять ванну и переодеться, в связи с чем и просит его извинить, совсем-совсем ненадолго. И тут,

как позже вспоминала Мегги, что-то произошло между ними — в то мгновение, когда он оглянулся на нее, уже стоя у двери, а она спросила, сперва неуверенно, а потом разом решившись, не может ли она чем-нибудь помочь, поднявшись вместе с ним. Он тоже как будто на секунду заколебался, но потом отклонил ее предложение, а она, как я уже говорил, долго хранила воспоминание о его улыбке, когда он заметил, что они все равно не сядут обедать раньше десяти и что ему будет проще и быстрее справиться одному. Вот я и говорю: эти вещи вспоминались ей позднее, мелькая на фоне общей картины наподобие бликов, пробегающих по отражению, и все дальнейшие события не могли их заслонить. Одним из таких дальнейших событий стало для нее второе ожидание мужа, довольно продолжительное по более поздним умозрительным оценкам. Вполне возможно, поднимись Мегги с наилучшими намерениями наверх, она скорее помешала бы своему мужу — в спешке люди всегда успевают лучше, если им никто не помогает.

Но ей казалось, он не шел так долго, что вряд ли с нею мог бы потратить еще больше времени, хотя, я должен заметить, дух нашей маленькой мыслительницы был теперь вполне свободен от

столь низменного чувства, как простое нетерпение. Что-то изменилось после того, как она увидела мужа своими глазами и ее оставил страх, что он рассердится на нее за вынужденную лишнюю поездку из одного дома в другой. С точки зрения Мегги, избавление от страха в первый момент всегда воспринималось как нечто очень хорошее, и притом давно уже в ее жизни не случалось ничего настолько хорошего, как этот новый оттенок, в который эмоции сегодняшнего вечера окрасили для нее чувство обладания.

2

Снова Америго отсутствовал, а она сидела, ходила по комнате без него — теперь, когда он был в доме, она уже не запрещала себе двигаться. Все равно ее не покидало ощущение, что он рядом и что она словно заново увидела его — довольно странный эффект для людей давно женатых.

Всего пять дней прошло с тех пор, как они виделись в последний раз, но когда он только что стоял перед ней, Мегги казалось, будто он возвратился из каких-то далеких стран, из долгого путешествия, полного опасностей и невзгод. Он всегда по-новому интересен ей — что же это значит? Попросту говоря, то, что ей посчастливилось выйти замуж за человека, ослепительного во всех отношениях. Старая, старая история, но для Мегги она светилась правдой, словно чудесная фамильная реликвия, портрет далекого предка, на который после долгого перерыва смотришь почти с удивлением. Ослепительный находился на верхнем этаже, Мегги — на нижнем; были и другие тонкости выбора и принятия решений, которых потребовал ее сегодняшний демарш, притом и равновесие требовало неусыпной забо-

ты… И все-таки никогда еще она не чувствовала себя настолько всепоглощающе замужней, с бесконечной покорностью осознающей присутствие властелина своей судьбы. Он может делать с нею все, что хочет; собственно говоря, именно это и происходило в настоящую минуту. «Что он хочет»… что он на самом деле хочет — вот, пожалуй, единственная неизвестная величина среди высокой гармонии, знакомых имен и привычных обсуждений. Для Мегги довольно было одного: чего бы он ни хотел, он это наверняка получит. С полнейшей покорностью, без тени сомнения Мегги отдавала себе отчет в том, что он только что одним-единственным намеком сумел привести ее в состояние трепетного восторга. Если возвратился домой усталый после долгого дня, то ведь трудился он в буквальном смысле слова ради нее и ее отца. Они вдвоем сидели спокойно дома, рядышком с Принчипино, все трудности жизни решались без них, скучные дела отсеивались, в доме царил покой именно потому, что другие держали оборону и сражались с ураганами. Америго никогда не жаловался — как, собственно, и Шарлотта, — но сегодня Мегги вдруг поняла, чего не понимала прежде: добросовестное выполнение ими, соглас-

но их представлению о подобных вещах, своих светски-представительских функций означало жизнь в упряжке без минуты отдыха. Ей вспомнилось, как Фанни Ассингем когда-то говорила, что они с отцом вовсе не живут, не знают, что с собой делать и что другие могут сделать за них, и вместе с этим до нее словно долетело эхо давнего разговора в «Фоунз» долгим сентябрьским днем, под деревьями, когда она процитировала отцу авторитетное суждение Фанни.

Ей и раньше приходило в голову, что тот случай можно считать первым шагом к более разумному устройству их жизни. Именно с этой минуты отчетливо прослеживалась цепочка причин и следствий. Так много разных событий, и в первую голову — женитьба отца, проистекли из приезда Шарлотты в «Фоунз», а ее приезд, в свою очередь, проистек из того памятного разговора. Но что, пожалуй, в свете этих сопоставлений выступало ярче всего, так это впечатление, что Шарлотту словно бы «принаняли», как говорят слуги о временно приглашенных помощниках по дому, поскольку они с отцом пошли на поводу постороннего мнения — мол, если их семейная повозка поскрипывает и застревает на ухабах, то лишь по причине отсутствия полного комплекта

колес. На трех колесах, так сказать, далеко не уедешь, а Шарлотта с первой же минуты своего появления взяла на себя и замечательно успешно выполняла роль четвертого колеса.

И сразу же экипаж покатился необыкновенно гладко, а теперь еще, для довершения картины, Мегги стало окончательно ясно, что с нее самой была снята всякая нагрузка. От нее в качестве колеса требовалось одно: оставаться на своем месте; всю работу выполняли другие, она же совершенно не чувствовала груза и даже, нужно признаться, почти совсем не вращалась. Мегги задержалась перед очагом, может быть созерцая открывшееся ей видение, принявшее в конце концов абсурдную, фантастическую форму. Возможно, ей бросилось в глаза, что одни лишь Америго с Шарлоттой тянут семейную карету, в то время как они с отцом вместо того, чтобы подталкивать сзади, удобно расположились внутри и тетешкают Принчипино, указывая ему из окна на окружающие пейзажи и демонстрируя его самого, словно маленького инфанта королевской крови, а все труды переложив на плечи других. Эти образы смущали Мегги; снова и снова останавливалась она перед огнем и каждый раз после этого резким движением срывалась с

места, как человек, которого осенило внезапное озарение. Наконец, пристально вглядываясь в воображаемую картину, Мегги увидела, как сама она неожиданно выпрыгивает из кареты — от такого удивительного зрелища глаза ее широко раскрылись и сердце сделало перебой. Она смотрела, словно поступившая так — не она, а какая-то совсем другая девушка, и напряженно ждала, что же последует дальше. Незнакомая особа приняла решение — очевидно, в ней давно уже накапливался некий импульс, в конце концов потребовавший разрядки. Но как осуществить принятое решение? И в частности, как поступит незнакомка на картине? Мегги огляделась, стоя посреди комнаты, как будто вышеописанные события разворачивались именно здесь. Тут снова отворилась дверь, и для Мегги стала ясна по крайней мере форма, в какой явилась первая возможность для каких бы то ни было поступков.

Вошел муж, он опять стоял перед ней, свежий, прямо-таки сияющий — весьма утешительное зрелище. Изысканно одетый, умащенный благовониями, полностью готовый к обеду, он улыбался, словно радуясь окончанию досадной задержки. Было так, словно ее последующие действия зависели от того, как он будет выглядеть, и

теперь она видела, что — хорошо. Оставалось еще какое-то крошечное напряжение, но оно прошло еще быстрее, чем при первом его появлении. Он уже протягивал руки ей навстречу.

Миновало несколько часов. Мегги все это время словно возносилась ввысь на волне теплого прибоя, скрывшей от глаз всяческие камни преткновения. Источником этого чувства было то, что она на какое-то время снова обрела уверенность, она знала, что ей следует делать. Весь следующий день и еще следующий ей казалось, что она знает. У нее был план, и она радовалась своему плану, в основе которого лежало озарение, ставшее кульминацией ее тревожных раздумий возле очага. Оно пришло к ней в виде вопроса: «А что, если это я покинула их? Что, если я чересчур пассивно принимала наш причудливый образ жизни?» Теперь она будет вести себя совсем иначе по отношению к Америго и Шарлотте, она найдет для этого способ, никак не связанный с их способом трудиться на благо семьи. Едва возникнув, такое решение совершенно очаровало Мегги своей простотой; как глупо, что она не догадалась раньше! И, кажется, ей уже начал сопутствовать успех. Стоило лишь потрудиться что-то сделать самой, и мгновенно приходит отклик. Вот это

ощущение отклика от мужа и поднимало ее упругой, захватывающей дух волной. Он «сделал ответный шаг», так она это для себя сформулировала, ответил ей тем, что так великодушно и, главное, таким веселым вернулся к ней, готовый к обеду; эту минуту она хранила в своей груди, словно символ их общего спасения от чего-то не вполне определенного, но, очевидно, далеко не столь хорошего. В сущности, уже в этот момент ее план начал работать; когда Америго вошел, такой жизнерадостный, она как раз приступила к исполнению своего замысла, словно сорвала в саду своих размышлений пышно распустившийся цветок, чтобы не сходя с места поднести его мужу. Так вот, это был цветок участия, и она преподнесла его, не откладывая, воплотив в жизнь свою мысль, так нелепо и ненужно ускользавшую прежде от ее сознания — мысль о том, что нужно просто делить с ним все, и радостное, и интересное, и весь жизненный опыт, с ним, и, соответственно, с Шарлоттой.

За обедом Мегги так и набросилась на мельчайшие подробности их недавней поездки, показывая ему тем самым, как ей хочется услышать обо всем, и особенно о Шарлотте, о ее мнении по поводу Мэтчема, о ее внешности, о ее успехах, о

произведенном ею эффекте, о ее неподражаемых нарядах, о ее изысканном остроумии, о ее светском блеске — словом, темам для расспросов не было конца. Мало того, Мегги расспрашивала, от души радуясь, что им пришла в голову такая блестящая идея — посетить собор, Америго же с полным добродушием рассказывал о приятных результатах этой идеи, вплоть до холодной говядины и бутербродов с сыром в немыслимой старинной таверне со своеобразным затхлым запахом и грязными скатертями. Он то и дело поглядывал на жену через стол, как будто растроганный смирением, с которым она принимала впечатления из вторых рук, чужие развлечения, свободу, доступную другим, — как будто признавал, что в этом смирении есть своя особая утонченная прелесть. Когда они в конце концов остались одни, прежде, чем Мегги позвонила, вызывая служанку, Америго снова дал почувствовать свое великодушное прощение ее маленького проступка. Они вместе поднялись из-за стола, намереваясь отправиться наверх; Америго рассказывал о разных людях, и под самый конец — о леди Каслдин и мистере Блинте, после чего Мегги снова затронула тему «атмосферы» Глостера. На это Америго, обойдя вокруг стола, ответил

еще одним многозначащим взглядом, в котором читалось нескрываемое восхищение, но вместе с тем и довольно заметное недоумение, какое он уже и прежде выказывал в ответ на ее чарующее любопытство. Словно он в какое-то мгновение готов был сказать: «Не нужно так притворяться, дорогая, не считай себя обязанной проявлять такую уж заинтересованность!» Казалось, нечто в этом роде, нечто ласково-успокаивающее вот-вот готово было сорваться с его губ. Ответ у нее уже был готов — она нисколечко не притворяется! Он взял ее руку, а Мегги смотрела на него снизу вверх, и в глазах у нее светился ее прозрачный маленький план. Ей хотелось, чтобы он понял: отныне она снова с ним, с ними обоими, как не было уже очень давно — наверное, с самого начала «странных» перемен — иначе, право, не назовешь. В заботе друг о друге они слишком уж легко и плавно поддались этим переменам. Они почему-то считали само собой разумеющимся, что их совместная жизнь требует, как принято говорить в Лондоне, соблюдения особых «условностей»; все это очень хорошо, пока условности соблюдаются только для посторонних, а между собой им придают не больше значения, чем красивой глазури для торта, которую, желая

добраться до съедобной сердцевины, без колебаний проламывают ложкой. Это она готова была произнести вслух при первом удобном случае; ей хотелось, чтобы он понял, что в ее план включена также и Шарлотта, и признайся он открыто в том, в чем, кажется, уже готов был признаться, — что он уловил ее отважную идею во благо общего дела, — она в ответ не отстала бы от него по части прямоты и даже красноречия.

Но получилось не так. Еще замирая в ожидании, Мегги вдруг почувствовала, что в его душе происходят некие процессы, куда более глубинные, нежели, на первый взгляд, оправдывают обстоятельства. Он что-то мысленно взвешивал, прикидывал, принимал и отвергал какие-то решения. Он догадался, что у нее имеется мысль, что из-за этой мысли она и находится сейчас здесь, но, как ни странно, именно эта догадка остановила в последний миг готовые вырваться слова. Мегги утвердилась в своих выводах, видя, что он смотрит на нее пристальнее, чем прежде, так что она чуть ли не начала сомневаться, точно ли он правильно представляет себе ее идею. Чуть ли — потому что он уже взял ее руки в свои и склонился к ней, очень нежно, словно желая лучше понять и, может быть, больше дать ей — она

не знала, что именно, а в итоге оказалась, как она сказала бы сама, целиком в его власти. Мегги сдалась, позабыла о своей идее, позабыла обо всем на свете и сознавала только одно — она снова в его объятиях. Лишь позднее, обдумывая случившееся, она почувствовала, что действие заменило ему слова, так и оставшиеся непроизнесенными, — возможно, по его мнению, подобное действие лучше всяких слов и вообще всегда лучше чего бы то ни было другого. Позже она вспоминала, как покорилась ему, как потянулась к нему, неизбежно, обреченно, словно подтверждая тем самым правильность его предположения, будто такой исход все объясняет, на все дает ответ, да и причина ее нынешнего поведения — не что иное, как желание спровоцировать его именно на такую реакцию. Во всяком случае, вот уже третий раз с момента своего возвращения он привлек ее к груди; и теперь, выходя из комнаты, продолжал крепко прижимать к себе всю дорогу через холл и во все время медленного подъема по лестнице. Он был прав, всепоглощающе прав по поводу того, какую радость доставляет ей его ласка и насколько она чувствительна к подобным вещам, но даже в ту минуту, когда эти ощущения сметали и уносили прочь все остальное, Мегги

ужаснула собственная слабость. Ей по-прежнему было ясно, что она обязана что-то сделать, а для этого нельзя быть слабой, для этого нужно быть сильной. Но еще много часов она оставалась слабой — если то была слабость; но при этом не отказывалась от мысли о достигнутом успехе: все-таки ее взволнованная попытка, безусловно, нашла отклик.

В целом, к ней довольно быстро вернулось ощущение, что нужно еще заняться Шарлоттой — ведь Шарлотта, как бы она ни отнеслась к попытке Мегги, во всяком случае должна будет проявить это совсем иначе. Какой же может быть ее реакция? Это Мегги могла проверить на деле, обратившись к Шарлотте на следующее утро после ее возвращения из Мэтчема с тем же простодушным желанием услышать ее рассказ. Ей, как и накануне, непременно хотелось узнать все подробности, и для этой цели — ни для чего иного! — она почти демонстративно отправилась на Итон-сквер, без князя, и к этой теме возвращалась без конца, как в присутствии Шарлоттиного мужа, так и в те редкие моменты, когда они оставались вдвоем. При отце Мегги инстинктивно принимала за аксиому, что ему не меньше, чем ей самой, интересны воспоминания

путешественников — разумеется, за вычетом уже рассказанного ему женой накануне. Мегги явилась к ним сразу после завтрака, горя желанием поскорее заняться дальнейшим осуществлением своей идеи, и, застав их еще в утренней столовой, первым делом в присутствии отца объявила о своем сожалении по поводу упущенных рассказов и о своей надежде, что Шарлотта еще припомнит одно-два забавных происшествия, дабы она могла подобрать хотя бы крохи. Шарлотта была одета для выхода, в то время как ее муж совершенно явно никуда не собирался; он уже встал из-за стола, но тут же снова уселся у огня, разложив на специальной полочке рядом с собой две-три утренние газеты и прочую корреспонденцию, поступившую со второй и третьей почтой. Мельком глянув в ту сторону, Мегги убедилась, что сегодня перед ним было даже больше обычного всевозможных каталогов, циркуляров, рекламных объявлений, извещений об аукционах и заграничных конвертов, надписанных заграничным почерком, который можно распознать так же безошибочно, как и заграничное платье. Шарлотта стояла у окна и рассматривала боковую улочку, выходящую на Итон-сквер. Можно было подумать, что она караулила здесь свою гостью.

Для Мегги это впечатление было окрашено странным цветным светом, как бывает в живописи, от которого все предметы приобрели новые, неочевидные прежде оттенки. Снова сказывалась ее обострившаяся чувствительность: она знала, что перед ней опять стоит проблема, требующая решения, на которое предстоит затратить немало труда; недавно зародившиеся мысли накануне временно присмирели и затихли, но стоило ей выйти из дома и пройтись чуть ли не через весь город (она пришла с Портленд-Плейс пешком), как они вновь обрели дыхание.

И это дыхание вырвалось наружу единым вздохом, легким и никем не услышанным — так Мегги, прежде чем заговорить, отдала дань грозной реальности, проступающей сквозь золотой туман, уже заметно начинавший редеть. Окружающая действительность ненадолго уступила место вышеупомянутому туману, но вот она вновь обрела четкие очертания, и в последующие четверть часа Мегги могла бы, кажется, пересчитать на пальцах все составляющие этой действительности. С особой остротой она заново убеждалась в том, что отец безоговорочно принимает сложившуюся ситуацию; долгое время она полагала, будто отношение отца к таким вещам

сродни ее собственному, но теперь приходилось заключить со всей определенностью, что для него необходим отдельный подход. До сих пор позиция отца не казалась ей чем-то экстраординарным, оттого и стало возможным смешать ее с собственной точкой зрения, которая лишь совсем недавно начала понемногу меняться. Впрочем, Мегги тут же стало ясно, что она ничем не может проявить свои новые взгляды, не привлекая в той или иной мере внимания мистера Вервера, не вызвав, чего доброго, его удивления и не изменив тем самым существующее положение вещей, затрагивающее их обоих. Весьма наглядная картина послужила ей предостережением, и сразу же ей показалось, что Шарлотта вглядывается в ее лицо, как будто проверяя, не отразится ли на нем это предостережение. Мегги исправно поцеловала мачеху, затем, подойдя сзади к отцу, обхватила его за шею и прижалась щекой; раньше эти маленькие знаки внимания как бы символизировали собой смену караула; такое сравнение придумала Шарлотта — впрочем, вполне беззлобно, — имея в виду процесс передачи мистера Вервера с рук на руки. Мегги при этом отводилась роль сменщика, заступающего на дежурство, и вся процедура так гладко катилась

по накатанной колее, что ее напарница вполне могла и на этот раз, опознав привычный пароль, немедленно удалиться, не теряя времени на постороннюю болтовню, строго говоря не слишком подобающую часовым.

Тем не менее этого не случилось. Пускай наша юная дама, подхваченная прибоем, отказалась от своего первого побуждения разрушить чары одним решительным ударом — сегодня ей потребовалось не больше мгновения, чтобы рискнуть опробовать в действии ту интонацию, которую она так долго репетировала наедине с собой. Если вчера за обедом Мегги уже испробовала ее на Америго, то тем яснее для нее было, как подступиться к миссис Вервер. В этом ей очень помогла возможность сослаться на то, что князь накануне не столько утолил, сколько раззадорил ее любопытство. Она пришла спросить, весело и искренне, — спросить об их достижениях за время необычно затянувшейся кампании. Она, признаться, уже вытянула из мужа все, что только смогла, но мужья — такие люди, они не умеют толком отвечать на подобные вопросы. Он только разжег ее любознательность, и вот она приехала с утра пораньше, чтобы по возможности ничего не упустить из Шарлоттиных рассказов.

— Жены, папочка, — провозгласила она, — всегда рассказывают гораздо лучше, хотя, не буду скрывать, — прибавила она, обращаясь к Шарлотте, — отцы в этом смысле немногим лучше мужей. Вот он, — улыбнулась Мегги, — никогда не расскажет мне и десятой части того, что ты рассказываешь ему. Поэтому я очень надеюсь, что ты еще не все ему рассказала, иначе окажется, что я наверняка пропустила все самое интересное.

Мегги говорила, говорила… Она чувствовала, что ее заносит, она напоминала самой себе театральную актрису, которая выучила роль назубок, но, оказавшись на сцене, в свете рампы, вдруг пустилась лепить отсебятину, произнося строчки, напрочь отсутствующие в тексте пьесы. Именно ощущение сцены и рампы поддерживало Мегги, поднимало ее все выше — ощущение действа, требующего для себя неких подмостков; Мегги лицедействовала в первый раз в жизни — вернее, учитывая вчерашнее, во второй. В течение трех или четырех дней она прочно ощущала у себя под ногами вышеупомянутые подмостки, и вместе с ними пришло вдохновение, способность к удивительной, поистине героической импровизации. Предварительной подготовки и репетиций хватило ненадолго; роль все росла вширь, и Мегги

ежеминутно приходилось придумывать самой, что говорить и что делать. В искусстве она знала лишь одно правило: не выходить из рамок и не терять головы; что ж, можно выдержать так недельку и посмотреть, куда это ее заведет. В своем приподнятом настроении Мегги говорила себе, что это чрезвычайно просто: понемногу, шаг за шагом переломить ситуацию, так, чтобы никто из троих, и прежде всего — отец, даже не заподозрил, что это ее рук дело. Если они заподозрят, то захотят узнать причину, а унизительная правда состояла в том, что у Мегги не было в наличии причины — по крайней мере, такой, какую она могла бы назвать разумной. Она инстинктивно тешила себя мыслью, что всю жизнь, следуя примеру отца, руководствовалась в своих поступках исключительно разумными причинами; и теперь ей было бы в высшей степени стыдно предъявить ему какой-нибудь убогий заменитель. Она не может сослаться в свое оправдание на чувство неудовлетворенности, не сославшись при этом на чувство ревности. Второе неизбежно вытекает из первого, в противном случае вся аргументация рухнет. Итак, все дело чудеснейшим образом решилось за нее: в распоряжении Мегги имелась одна карта, с которой можно

пойти, но стоит только разыграть ее, как вся игра закончится. Мегги представлялось, что они с отцом — партнеры по игре за столиком, крытом зеленым сукном, с высокими старинными серебряными подсвечниками и аккуратными рядами фишек, и она постоянно напоминала себе, что задать хоть один вопрос, заронить хоть тень сомнения, сделать малейшее замечание по поводу игры остальных участников значило бы немедленно разбить чары. Слово «чары» невольно приходило Мегги на ум, ибо ее отец благодаря такому волшебству был постоянно занят, уютно устроен и вполне доволен жизнью. Попросту говоря, сказав хоть одно слово, пришлось бы объяснить, почему она ревнует; только лишь наедине с собой Мегги могла затуманенным взором рассматривать такой немыслимый вариант.

К концу недели, ведущей свой отсчет от утра на Итон-сквер, проведенного в компании отца и его жены, мысль о том, как великодушно все к ней относятся, заслонила для Мегги все остальные соображения. Более того, я должен добавить, что она под конец начала даже задавать себе довольно неожиданный вопрос: а могло ли что-нибудь быть важнее? Реакция Шарлотты на эксперимент Мегги, состоявший в том, чтобы

им проводить больше времени вместе, казалось бы, свидетельствовала об успехе этого смелого опыта, и если успех ощущался на деле не таким весомым, каким поначалу представлялся в воображении, то здесь отчасти прослеживалась аналогия с целенаправленно-демонстративным поведением самого Америго, оставившим некий осадок в сознании нашей юной дамы. По правде говоря, не от одного только этого воспоминания у нее остался горький привкус. Раз уж у нас зашла речь о впечатлениях, накопившихся у Мегги с той минуты, как она столь коварно открыла военные действия, следует особо упомянуть неуверенность, подмеченную Мегги в поведении Шарлотты. Разумеется, по Мегги было видно, — не могло не быть видно, — что она пришла с определенной идеей; точно так же накануне она не смогла скрыть от своего мужа, что дожидается его с определенным чувством.

Эта аналогия не давала Мегги забыть сходство в выражении двух лиц — как видно, ее поступки вызвали у них одинаковые чувства, которые оба одинаково хорошо скрывали; более глубоких выводов Мегги до поры себе не позволяла. Для Мегги провести подобное сравнение значило возвращаться к нему снова и снова, обдумывать

его со всех сторон, выжимать до последней капли — словом, вертеть его туда и сюда, как могла бы она вертеть в руках медальон, заключавший в себе два бесценных миниатюрных портрета и висевший у Мегги на шее на золотой цепочке, такой прочной, что никаким усилием ее невозможно было порвать. Изображенные на портретах смотрели в разные стороны, но Мегги мысленно видела их неизменно рядом и, переводя взгляд с одного любимого лица на другое, находила в глазах Шарлотты вопрос, так мимолетно мелькнувший тогда в глазах князя: «Что ей на самом деле нужно?» И точно так же Мегги снова видела совсем иной свет, вспыхнувший ярким сиянием на Итон-сквер, как и на Портленд-Плейс, едва только она дала понять, что не желает ничего плохого — то бишь ничего более страшного, как выезжать в свет вместе с Шарлоттой. Вышеупомянутый процесс Мегги наблюдала воочию, словно любой другой мелкий домашний инцидент — скажем, подвешивание новой картины на стенку или примерку первых брючек Принчипино.

Соответственно, всю следующую неделю они провели вместе, и миссис Вервер только приветствовала ее общество с неизменной любезностью. Шарлотте довольно было намека, а в чем же

еще заключалась суть того пассажа в утренней столовой, выдержанного в приглушенных тонах, но тем не менее незабываемого, как не в том, что она именно восприняла намек? Мало того, нельзя сказать, чтобы намек был воспринят с неохотой или с какими-либо оговорками; нет, Шарлотта ухватилась за него жадно, с благодарностью, с благородной отзывчивостью, делающей излишними всякие объяснения. Такая готовность пойти навстречу желаниям Мегги сама по себе могла служить своего рода объяснением: похоже, княгинюшку давно уже считали взбалмошной особой, соглашаясь из деликатности принимать ее капризы как закон. Очередной каприз требует, чтобы появление на людях одной из дам непременно сопровождалось появлением другой, до тех пор, пока причуда не переменится; и лозунг текущего момента, начертанный яркими буквами, состоит в том, что миссис Вервер всего только хочет знать, чего от нее ждут, и ожидает получения четких инструкций, дабы выполнять их как можно лучше. В тот период молодые дамы снова стали неразлучны, совсем как в те давние дни, когда Шарлотта приезжала гостить к восторженной и благополучной Мегги, когда обе они были равны только лишь благодаря

врожденной способности Мегги не замечать собственных преимуществ. Возродились прежние привычки, частые встречи, задушевные беседы, нежность, восхищение, доверие; каждую из подруг еще больше украшали постоянные старания доставить радость другой, и все это вместе еще усугублялось — или умерялось, кто знает? — непривычным оттенком дипломатии, почти доходящей до тревоги и особенно заметной со стороны Шарлотты; она так бдительно следила за настроением княгинюшки, так неустанно ей угождала, словно пыталась вновь затеять игру в неравенство, пускай на этот раз с большей утонченностью. Иными словами, в обращении Шарлотты с падчерицей порой наблюдался избыток учтивости, скромности и самоотречения — возможно, так выражалось у нее понимание своего долга «не упускать из виду» социальных различий. Мегги это особенно поражало в те минуты, когда они оказывались наедине; даже тогда подруга скрупулезно соблюдала свои правила: неизменно пропускать Мегги вперед, ни в коем случае не садиться, пока Мегги не сядет, не перебивать, пока Мегги не даст понять, что разрешает это, не допускать никаких фамильярностей и постоянно помнить, что Мегги не

только знатна, но и легко ранима… Такая стойкая приверженность к формальному этикету словно набрасывала на их встречи серебристую вуаль благопристойности. Эта вуаль висела над ними величавым балдахином, не позволяя забывать, что, как бы ни было прочно положение любимой фрейлины государыни, но маленькая королева, даже самая добросердечная на свете, — все-таки маленькая королева и может в любую минуту об этом напомнить.

Вот и еще один из спутников лихорадочного ощущения успеха во весь этот период: впечатление, что вторая участница происходящего всеми средствами старается облегчить ей задачу. Готовность Шарлотты пойти ей навстречу обернулась и другой стороной: она занимала время Мегги как раз тогда, когда ее муж начал всячески показывать, что он, как говорится, всегда под рукой, и Мегги — опять-таки, как говорится, — стоит только свистнуть. Ей случалось слышать от него это выражение: «стоит только свистнуть», — когда ему приходило настроение подшучивать над английским сленгом, проявляя свою замечательную способность к ассимиляции, способность, достойную значительно лучшего применения; свою позицию он строил, исходя из поступков

Мегги, когда в свете первого чувства облегчения время как будто растянулось. Но тут же, пусть слегка поверхностно, совершилась определенная перестройка взаимоотношений, и Мегги, по сути, снова отчасти оказалась жертвой. «Я должна сделать все, — говорила она, — так, чтобы папочка не видел, что я делаю — по крайней мере до тех пор, пока все не будет сделано!» Но она плохо представляла себе, как отвести глаза этому важному действующему лицу своей жизни хотя бы на ближайшие несколько дней. На самом же деле, как Мегги очень скоро поняла, случилось вот что: если мачеха в порыве благородства занялась ею и тем самым отняла у мужа, в то же самое время у княгини появился очаровательный помощник на Итон-сквер. По возвращении домой после очередного показательного выхода в свет с Шарлоттой, целью коего являлось продемонстрировать всему миру, что у них нет ровно никаких причин утаивать свою тесную дружбу от общества, — каждый раз оказывалось, что Америго приехал посидеть с ее отцом в отсутствие обеих леди, тем самым столь же наглядно утверждая полное благолепие их семейной жизни. При одной мысли об этом Мегги вся таяла и рассыпалась на части — вернее сказать, рассыпались любые ее поползновения

усомниться в идеальном совершенстве их общего уклада. Правда, такой оборот дела снова разлучал их. Снова семья распадалась на отдельные пары, будто подчиняясь властному чувству равновесия; словно Америго с нею наравне следил и заботился об этом. Зато отец, благодаря Америго, не скучал без нее, а лучшей услуги им обоим оказать было невозможно. Словом, князь путем внимательных наблюдений нашел для себя руководство к действию; ему было довольно увидеть легкую перемену в поведении жены, и вот уже присущий ему тончайший инстинкт человеческих отношений подсказал, что следует подстроиться под эту перемену, каким-то образом сыграть ей в тон. Вот что значит выйти замуж за истинного джентльмена! Сейчас Мегги ощущала это с новой остротой. И хотя ей совсем не хотелось перелагать все их тонкости на грубый язык обычной беседы, на Портленд-Плейс у нее то и дело вырывалось: «Знаешь, если бы я не любила тебя за тебя самого, то за это все равно бы полюбила». После подобных высказываний князь смотрел на нее примерно так, как смотрела Шарлотта на Итон-сквер, когда Мегги принималась расхваливать ей его доброту: со смутной, почти недоуменной улыбкой, как бы полагая, что при-

чуды его жены, пускай вполне безобидные, все же требуют определенного внимания. «Но, бедное дитя, — казалось, готова была ответить на это Шарлотта, — все хорошие люди такие, чему же тут удивляться? Все мы здесь очень хорошие — а почему нам быть другими? Будь мы другими, мы бы немногого достигли, а мы, по-моему, достигли очень даже немало. Отчего ты так „трепыхаешься“, как будто сама — не самая расчудесная лапочка на свете, которая умеет быть доброй, как никто? Как будто ты не выросла в атмосфере доброты, которую я всегда чувствовала вокруг тебя и которая теперь, благодаря вам обоим, стала и моей тоже». Может быть, миссис Вервер была недалека от того, чтобы высказать еще и другую мысль, очаровательно естественную для нее как благодарной и безупречной жены: «Совсем не так уж удивительно, позволь тебе напомнить, что твой муж пользуется всяким случаем повидаться с моим мужем, это для него далеко не худшее времяпрепровождение. Я, душа моя, между прочим, высоко ценю своего мужа и ничуть не удивляюсь, что его знакомством дорожат и его общества добиваются».

Радующие душу замечания подобного рода витали в воздухе, но, как мы видели, в воздухе

витал также дух перемен, в основе которых лежало как раз стремление любой ценой избегать любых дискуссий и препирательств. Временами это ощущалось очень сильно и может нам быть интересно тем, что подтолкнуло Мегги на еще одну, последнюю догадку, вспыхнувшую огромным цветком, распустившимся в ночи. И сразу же его свет удивительно отчетливо озарил определенные вещи, заставив Мегги спросить себя, как могли они хоть три дня оставаться в тени. Решительно, блестящий успех ее затеи стал чем-то вроде незнакомого берега, куда ее доставили на пароме и где ее теперь бросало в дрожь от страха при одной мысли, что судно может снова уйти и бросить ее. Слово, обозначившее ситуацию, слово, вспыхнувшее ослепительным светом, было — что они заботятся о ней, что они ведут себя с нею, да и с ее отцом, если уж на то пошло, в соответствии с разработанным ими планом, точной копией ее собственного. Не она служит им примером, — эта мысль особенно потрясла Мегги, — они берут пример друг с друга, и притом с таким единодушием, с таким точным совпадением в мельчайших движениях души, что, раз догадавшись, Мегги начала видеть признаки этого буквально во всем, вплоть до одинаковых

выражений лица, одинаковых интонаций. У них был свой взгляд на то положение, в котором оказалась Мегги, и на возможные формы осознания ею своего положения — их взгляд определила совершившаяся в ней перемена, которую они со свойственной им тонкостью чувств успели уловить, вернувшись из Мэтчема. Они не могли не прочесть в этом крошечном, практически полностью задавленном отклонении немого комментария — они сами толком не знали, по какому поводу — и, разумеется, не могли не обсудить между собой своих наблюдений; теперь понимание этого возносилось сводом величественного купола над головою Мегги. Как мы говорили, новое видение пестрело для нее разнообразными удивительными открытиями, но мелькали и нерешенные вопросы — например, почему их мгновенная согласованность должна иметь такое значение. О, процесс прозрения мало-помалу набирал ход, и скоро дело пошло веселее; Мегги, можно сказать, находила алмазы, выметая пыль из своего аккуратного, ухоженного домика. В увлечении склонялась она над мусорной корзинкой, тщательно перебирая все отходы своей невинной домашней экономии. И вот тут-то забытый на время образ Америго

в тот вечер, замершего в дверях ее salottino[44], каким она увидела его из своего кресла, — тут-то это грандиозное воспоминаньице и показало себя в полной силе. Если уж говорить о дверях, Мегги, как она теперь понимала, закрыла перед ним двери своего сознания, заперлась от него, сохранив в неприкосновенности только факт возвращения мужа и полноту чувств, рожденную его присутствием. В конце концов, именно это заслонило от нее все остальное. Пока она смотрела на него тогда, теплая волна подхватила ее и вынесла на берег. Мегги не могла сосчитать, сколько часов прожила после этого в дурмане, в чаду, в сумятице чувств — буквально в подводных глубинах, где все ей виделось сквозь стены из изумруда и перламутра; хоть она и вынырнула на поверхность глотнуть воздуха, встретившись на следующее утро с Шарлоттой на Итон-сквер. Но первое, непосредственное впечатление никуда не делось, так и караулило за запертой дверью, подобно служанке, подглядывающей в замочную скважину, выжидая малейшего предлога, чтобы снова перешагнуть порог и дать свои показания. Такой предлог оно, как видно, обрело в подме-

[44] Примечания: 44
Маленькая гостиная (*ит.*).

ченной нами у Мегги потребности сравнивать — сравнивать очевидные точки соприкосновения в новой манере мужа и мачехи «обращаться» с нею. С показаниями этого свидетеля или без оных, во всяком случае, у Мегги сложилось ощущение, что те двое действуют с определенной, весьма серьезной целью и притом в полной гармонии. И тогда наступило облегчение в ночи цепляющихся одна за другую догадок, и для Мегги забрезжил рассвет.

Они разработали свой план, чтобы не причинить ей боль, чтобы поступить благородно по отношению к ней, и каким-то образом уговорили друг друга принять в нем участие, а это доказывало, по крайней мере, что они думали о ней. Заметив некий тревожный сигнал, они — скорей, скорей, пока не ранили ее случайно, не замечая того — сумели передать друг другу свою хитроумную идею, которая все эти дни так способствовала осуществлению ее идеи. Они окружили ее своей заботой, словно стеной — оттого и взметнулись над нею тяжелые своды, и вот теперь она сидит в непроницаемой камере собственной беспомощности, будто в ванне, наполненной искусно приготовленным раствором искренней доброжелательности, и едва-едва выглядывает через

край, изо всех сил вытягивая шею. Купаться в доброжелательности — это, конечно, прекрасно, но обычно человека не погружают в ванну без его просьбы, если это не пациент — к примеру, нервнобольной — или заблудившийся ребенок.

Она-то ведь не просила окунать ее в ванну! Она хлопала крылышками, умоляя о полете, а не о новой позолоченной клетке и не о прибавке рафинада в рационе. А главное, она ни на что не жаловалась, даже полсловечка жалобы не проронила, так какой такой раны, по их мнению, она опасается? Какие у нее раны — о которых она бы с ними говорила?

Если бы она хныкала или грустила, еще была бы какая-то причина, но пусть ее повесят (в разговоре с собой Мегги позволила себе довольно крепкие выражения), если она с начала и до конца не вела себя предельно кротко и уступчиво. Стало быть, причина в них самих; они считают необходимым принять определенные меры предосторожности.

Они усадили Мегги в ванну и теперь вынуждены держать ее там, чтобы не противоречить себе — то есть друг другу.

В таком состоянии она не сможет помешать им проводить ту линию, какую они для себя уста-

новили. Мегги напряженно обдумывала все это. Временами ее мысль останавливалась и замирала в страхе, но каждый раз вслед за этим делала новый рывок. Немало было пройдено к тому моменту, когда Мегги заключила, что ее муж и его напарница непосредственно заинтересованы в том, чтобы лишить ее свободы передвижения. Какая бы там ни была у них линия поведения, их собственное положение уже устоялось, и было необходимо обуздывать Мегги, чтобы она его невзначай не пошатнула. Теперь, когда Мегги придумала для них мотив, все идеально сходилось одно с другим; а раньше ей и в голову не приходило, что их цели и ее хоть в чем-то различаются — сейчас Мегги удивлялась собственной недогадливости.

Конечно, все они четверо как бы по взаимному соглашению занимали устоявшиеся позиции, но на чем же и основывалась их жизнь, как не на взаимном согласии? Ах! Оказывается, Америго и Шарлотта заключили соглашение между собой, она же — если говорить исключительно о ней — осталась в стороне. Мегги вдруг разом осмыслила это, и тут же на нее обрушилась новая волна, та, что возникла десять дней тому назад; и поскольку отец, видимо, не замечал, что его дочь, едва

опомнившись от своего прозрения, отчаянно пытается нашарить его спасительную руку, то Мегги чувствовала себя очень, очень одинокой.

3

Давным-давно, с самого Рождества, у отца с дочерью было задумано «устроить себе что-нибудь очень приятное». Время от времени они возвращались к своему плану, пестовали его и обсуждали чисто теоретически, не позволяя ему до поры ступить на грешную землю. Самое большее, их питомцу дозволялось сделать несколько робких шажков по ковру в гостиной, между тем как вокруг него непрерывно хлопотали и суетились, оберегая несмышленыша от грозящих ему падений и ушибов. Также и другие двое неизменно присутствовали при этих попытках, следили за ними с веселым сочувствием и, как теперь понимала Мегги, аплодировали энергичнее всего, когда проект-младенец принимался брыкаться особенно буйно, заносился, расшалившись, через Ла-Манш и половину континента, перескакивал через Пиренеи и в невинности своей лепетал какое-нибудь звучное испанское название. Вспоминая, Мегги спрашивала себя, «вправду» ли они с отцом верили, что для подобной эскапады достаточно всего-навсего улучить удобный момент, или это была лишь игрушка, которой

они тешили друг друга, рассуждая о том, чтобы сбежать от жены и от мужа, взглянуть еще разок, «пока живы», на мадридские картины, а также хоть чуть-чуть еще повременить с принятием решения по поводу трех-четырех произведений искусства, предложенных им частным порядком, с приложением авторитетных заключений и большого количества фотографий, и до сих пор терпеливо ожидающих их прибытия в неведомых потаенных уголках далеких стран. Полет воображения ненастными днями на Итон-сквер постепенно увеличил срок, отпущенный на всю авантюру, до трех или даже четырех весенних недель, трех-четырех недель, в сущности, не так уж отличающихся от их привычной, размеренной жизни: они и без того сплошь и рядом проводили вместе утро, день и вечер, вместе ходили гулять, ездили кататься, вместе «заглядывали» в антикварные лавки, надеясь на нежданные находки, а главное — постоянно ощущали тот социальный комфорт, то ощущение удобного и уважаемого дома, которое отличалось совершенством покупной вещи, но, в целом, «обходилось» настолько дешево, что воспринималось отцом и дочерью как даровое. Сейчас Мегги уже сама не знала, была ли она искренней, когда строились

эти планы, согласилась ли бы в самом деле ехать, даже если бы ничего не случилось.

Сейчас она точно знала — не поедет, и это показывает, насколько сильно было у нее ощущение, что произошло решительно все. Ее отношение к каждому из близких людей непоправимо изменилось, и потому Мегги говорила себе, что поступить так, как она поступила бы до этого, означало бы последнюю степень лицемерия по отношению к Америго и Шарлотте. Для нее стало наконец ясно, что путешествие с отцом за границу сводилось прежде всего к наивысшему выражению предельного доверия — именно этим, собственно, и привлекало их обоих. День за днем Мегги все медлила «заговорить», как она весьма емко называла это про себя, подразумевая — заговорить об этих вещах с отцом; отчего-то ей хотелось, чтобы он первым нарушил молчание. Она давала ему время: подожду еще сегодняшнее утро… до полудня… до вечера… и еще завтра… и еще… Мегги решила даже так: если он и дальше будет молчать, это окончательно доказывает, что у него тоже неспокойно на душе. Значит, все они дружно пускают друг другу пыль в глаза, и в конце концов придется всем отвернуть лица, коль скоро серебряный туман, защищавший их

до сих пор, уже ощутимо рассеивается. И вот на исходе апреля Мегги сказала себе — если в ближайшие двадцать четыре часа он ничего не скажет, это нужно понимать в том смысле, что все пропало (по собственному выражению Мегги); было бы совсем уж неискренне строить планы путешествия в Испанию на пороге лета, которое уже сейчас обещало стать очень жарким. В устах отца такой преувеличенный оптимизм был бы по-своему последовательным, поскольку признать, что на самом деле ему не хочется никуда уезжать, во всяком случае дальше все того же «Фоунз», означало бы только одно: что-то его точит. Впрочем, возможность испытать его намерения представилась как раз вовремя, чтобы придать Мегги новые силы. Они с мужем обедали на Итон-сквер по случаю небольшого приема, устроенного мистером и миссис Вервер для лорда и леди Каслдин. Необходимость приглашения давно уже назрела, оставалось неясным лишь, который из двух домов первым выполнит свой светский долг. Вопрос решился очень легко, как и все вопросы, решение которых хоть в малой степени зависело от Америго и Шарлотты. Очевидно, проявить инициативу следовало миссис Вервер, которая гостила в Мэтчеме, в то время

как Мегги сидела дома. Особо личный оттенок приему на Итон-сквер придавало то обстоятельство, что обед был задуман в «интимном» духе. Всего шестеро гостей, не считая владельцев Мэтчема, и каждый из них был интересен Мегги в связи с пресловутым пасхальным сборищем, которое она могла лишь рисовать себе в мыслях. Все они дружно и с удовольствием вспоминали ту поездку, очевидно оставившую по себе неизгладимые впечатления, причем гости были значительно менее сдержанны в своих восторгах, нежели Америго с Шарлоттой. Общие воспоминания сплотили их в тесную группу, о которую воображение нашей юной дамы разбивалось бессильной маленькой волной.

Не в том дело, чтобы ей хотелось принадлежать к компании вспоминающих и разделять их тайны; их тайны были ей не нужны — в настоящую минуту она была просто не в состоянии заниматься какими бы то ни было тайнами, кроме своих собственных. Просто ей вдруг открылось, что ее собственные тайны нуждаются в дополнительной пище, которую можно в изобилии получить от этих людей, нужно только найти способ. По этому случаю Мегги охватило желание использовать гостей в своих целях, вплоть до того,

чтобы дерзко игнорировать их любопытство по отношению к себе самой и даже нахально эксплуатировать его, втайне наслаждаясь собственным коварством. Едва Мегги успела осмыслить свое мимолетное впечатление и понять, что она для них представляет любопытную диковинку, так же как и они для нее, — и уж тут ее хитроумным планам просто не было предела. Стоило ей только начать, и вот она уже снова понеслась, не разбирая дороги, как в то утро, когда зрелище отца и его жены, ожидающих ее в утренней столовой, подтолкнуло Мегги к решительным действиям. На этот раз решающим фактором послужила леди Каслдин, ставшая источником света или, во всяком случае, жара, и невыносимо действовавшая на нервы. Удивительное дело — леди Каслдин страшно не понравилась Мегги, несмотря на свои бесчисленные достоинства, на самые крупные бриллианты в самых белокурых волосах, самые длинные ресницы над самыми красивыми лживыми глазами, самое строгое лицо над самым фиолетовым бархатным платьем, самые скромные манеры при самых нескромных притязаниях. Ее светлость претендовала на то, что в любой момент обладает неоспоримыми преимуществами по сравнению с окружающими,

и это придавало ей необыкновенную мягкость и снисходительность в общении; взирая свысока на более мелких общественных насекомых, леди Каслдин не давала себе труда отличать их выпученные глазки от декоративных пятнышек на тельце и крылышках. За время жизни в Лондоне столько раз случалось, что Мегги нравились люди, которых поначалу она считала необходимым бояться и даже осуждать, что теперь ее особенно взволновало такое нелогичное чувство неприязни. А повод-то, в сущности, пустяковый: всего-навсего красивая очаровательная женщина заинтересовалась ею — как женой Америго — и притом заинтересовалась крайне доброжелательно и непосредственно до изумления.

Суть дела заключалась в том, какой смысл Мегги вкладывала в их пристальное внимание к своей особе. Все восемь гостей хотели что-то объяснить для себя в отношении Америго, а ее, Мегги, передавали по кругу, словно нарядную куклу, очень бережно, держа по всем правилам, — за талию, туго набитую опилками, — и словно искали в ней разгадку тайны. Может быть, куколка даст ответ, если нажать посильнее на животик? Может быть, проговорит, искусно подражая живой речи: «О да, я здесь, налицо, я

по-своему вполне настоящая, и, между прочим, стоила кучу денег; то есть мой папа заплатил кучу денег за мои платьица, а сколько муж потратил труда на мое воспитание, этого никакими деньгами не измерить». Ну что ж, она им ответит, если на то пошло! Мегги воплотила свою идею в действие сразу же после обеда, прежде, чем гости разошлись, пригласив всю компанию к себе на Портленд-Плейс, пригласив настойчиво, с полным пренебрежением к общепринятым правилам приличий, и именно в том же составе, если они ничего не имеют против — ей хочется видеть у себя точно тех же людей. О да, она снова чувствовала, что ее заносит; примерно так же могло бы выглядеть, если бы она вдруг чихнула десять раз подряд или ни с того ни с сего принялась распевать комические куплеты. Логические пробелы в ее поступках ощущались как перебои в физическом движении. Мегги сама пока толком не понимала, для чего эти люди ей понадобились и что ей, собственно говоря, с ними делать, но, сохраняя благопристойную сдержанность, Мегги внутренне прыгала от восторга при одной мысли о том, что она наконец-то кое-что предприняла. Ей чрезвычайно понравилось чувствовать себя в центре внимания, средоточием всеобщего изум-

ленного интереса. Не так уж и много значил для нее их интерес — их, смущенных и растерянных шестерых гостей; Мегги вдруг пришло в голову, что она, пожалуй, способна погнать их, куда захочет, словно стадо испуганных овец. Нет, вся острота ситуации, весь смак заключался в том, что ей удалось, что называется, переключить на себя внимание Америго и Шарлотты, хотя она на них ни разу даже не взглянула. Она приравняла их к тем шестерым, смешала с общей массой; на несколько минут они полностью перестали выполнять свои функции — словом, в потрясении и ошеломлении покинули свой боевой пост. «Они оцепенели, оцепенели!» — ликовала Мегги про себя. Ее страхи отступили при виде того, как потерялись эти двое.

Как видим, восприятие внешних проявлений сильно опережало у Мегги понимание причин, но она тут же и решила, что, если бы удалось разобраться во внешних сложностях, распихать их по своим местам, сразу вышли бы на свет и причины, скрывающиеся за ними и трудноразличимые из-за внешнего беспорядка. Разумеется, нельзя сказать, что князь и миссис Вервер поразились, видя, как она проявляет учтивость по отношению к гостям. Ее приглашение было как

раз далеко не учтивым. Мегги так бесцеремонно обошлась без освященных временем тактичных оговорок, бесконечных «если» и «как получится», что приглашенные вполне могли, если бы захотели, ответить отказом. Но вся выгода ее плана, ради выполнения которого она пошла на такие беспрецедентные меры, состояла в том, что приглашенные — именно те люди, какие они есть. В том, что она вдруг так расхрабрилась перед людьми, которых прежде боялась. Некоторое время спустя, заметим мимоходом, Мегги перестала придавать значение тому, что они за люди, но в настоящую минуту, пригласив домой именно эту группу знакомых, она с упоением ощущала, что ей удалось разбить лед в точности там, где он лежал особенно толстым слоем. И что еще более неожиданно, то же самое ощущение возникло, видимо, у ее отца; во всяком случае, как только все ушли, он сделал то, чего она уже не чаяла дождаться, и сделал это, как делал все, за что брался, настолько просто, что не осталось места ни для каких дальнейших расспросов, никакой возможности выискивать, как он сам выражался, «заднюю мысль». Он высказался напрямик, коротко и ясно, и совершенно без всякой связи с предыдущим разговором, если не считать

намека на возможность что-то упустить, покинув здешние пределы:

— Пожалуй, мы с тобой все-таки никуда не поедем, правда, Мег? Здесь как раз стало так приятно.

Вот и все, без всяких предисловий. Его слова очень сильно подействовали на Мегги, а еще сильнее — на Америго и Шарлотту, за которыми Мегги потихоньку наблюдала, едва дыша. Для нее теперь все настолько встало на свои места, что она была способна оценить реакцию этой парочки, несмотря на то, что по-прежнему не поднимала на них глаз. Итак, несколько головокружительных минут Мегги, не глядя, различала их по обеим сторонам от себя — огромные фигуры, больше, чем в жизни, больше мысли, больше любой опасности или безопасности. Итак, несколько захватывающих дух мгновений она обращала на них не больше внимания, чем если бы их совсем не было в комнате.

Никогда еще она не поступала с ними подобным образом, даже вот только что, когда пробовала свои силы на мэтчемской компании. Теперь она отгородилась от них еще полнее, и воздух звенел от их молчания, пока Мегги болтала с отцом, словно ей больше ни до кого и дела не

было. Он замечательно задал тон своими словами о приятности, — приятности того же разряда, что и его удавшийся обед, — которая может послужить оправданием их отказа от задуманного путешествия. Выходило, что ими движет исключительно эгоистическое желание еще и еще раз насладиться подобным времяпрепровождением. Мегги с удвоенной энергией бросилась в беседу, удерживая внимание отца; она улыбалась, болтала и все это время не переставала спрашивать себя: «К чему он это сказал? Вот в чем вопрос: к чему он это сказал?» Она снова и снова искала в нем те признаки, к которым ее приучили тревоги последних дней, и считала минуты потрясенного молчания тех двоих. Именно это молчание, чувствовала она, и делало их такими огромными. Вспоминая тот день, Мегги не могла определить точно, сколько времени продолжалось молчание, но оно тянулось и тянулось, словно она сама натягивала веревку до последней невозможности — право, в более простой ситуации такой момент назвали бы неловким. Однако десять минут спустя, направляясь домой в карете, куда князь поспешил усесться, едва только объявили его экипаж, десять минут спустя Мегги еще сильнее натянула веревку, так что та едва не

лопнула. Князь не дал ей задержаться у дверей, как задерживаются обычно за сплетнями при окончании подобных вечеров; Мегги со своей новообретенной восприимчивостью истолковала это следующим образом: ему не терпится смягчить для нее странное впечатление от того, что ни он, ни Шарлотта не поддержали решения, обсуждавшегося или, вернее сказать, принятого у них на глазах. У него было время понять, как это могло выглядеть со стороны, и, чуть ли не силком усаживая ее в карету, он, видимо, считал необходимым предпринять какие-то действия по этому поводу. Наверняка его мучила некая неопределенность, связанная с нею, но он уже собрался что-то сглаживать и исправлять, и Мегги, со своей стороны, довольно ясно представляла себе, что это могло быть. Но, усаживаясь в карету, она уже была готова, чему, по правде сказать, и сама немало удивлялась. Тянуть было нельзя, и она сразу же перешла прямо к делу.

— Я была уверена, что папа именно это скажет, если я не буду его тормошить. Я и не тормошила, и ты видишь, что получилось. Он совсем разлюбил куда-нибудь ездить — ему слишком нравится быть с нами. Но если ты видишь последствия, — отважно продолжала Мегги, — то, может быть,

не видишь причин. А причина, мой дорогой… просто прелесть, что за причина.

Америго, заняв свое место в экипаже рядом с женой, минуту или две держал ее в напряженном ожидании, не произнося ни слова. Ей казалось, он выжидает, обдумывает, приходит к какому-то решению. Но еще прежде, чем заговорить, он — так восприняла это Мегги — перешел к решительным действиям. Он обнял ее и притянул к себе — крепко обхватил одной рукой, прижав к себе ее всю, что, собственно, само собой напрашивается в подобных случаях. И вот, устроившись в его объятиях, ощущая его невысказанную мольбу, Мегги произнесла то, что собиралась сказать, твердо зная, что в этом она должна контролировать себя, что бы он ни делал. Да, он крепко обнимает ее, но так же крепко ее держит чувство взятой на себя ответственности, и, что удивительнее всего, из этих двух острых ощущений второе очень скоро оказалось сильнее. Америго, видимо, тянул время, но все же в некотором роде откликнулся на ее слова.

— Причина, почему твой отец решил не ехать?

— Да, и почему я хотела, чтобы решение пришло к нему само собой, без моей подсказки.

В страшном напряжении, наподобие туго свер-

нутой пружины, Мегги сделала еще одну паузу, ощущая собственное молчание словно яростное сопротивление. Ей самой это было странно, и уж совсем непривычным было чувство, будто у нее неким чудесным образом оказалось какое-то неведомое преимущество, и вот здесь, сейчас, в карете, должно решиться, откажется она от него или сохранит. Странно, неописуемо странно — так ясно Мегги видела, что, отказавшись от этого преимущества, она откажется от всего и навсегда. И всем своим существом, до самых костей она ощущала истинный смысл объятия своего мужа: она должна отказаться, ради этого он и воспользовался сейчас своим безотказным магическим средством. О, это он умел! В последнее время Мегги больше прежнего узнала о его щедрости в любви; это была неотъемлемая часть его натуры, которую Мегги ни на минуту не переставала считать истинно княжеской — одно из проявлений его великолепной непринужденности, его таланта общения, таланта очаровывать, таланта жить. И нужно всего-навсего особым движением положить голову ему на плечо… Он поймет, что она больше не сопротивляется. Карета катилась вперед, и все в Мегги толкало ее покориться — но в самой глубине души еще жила иная, более

важная потребность узнать наконец, «на каком она свете». А потому она все-таки высказала свою идею до конца, сохранив остатки здравого смысла и намереваясь сохранять их и дальше. Но в то же время, упорно глядя в окно кареты, Мегги не могла удержать слез — к счастью, их не было видно в темноте. То, что она делала, причиняло ей невероятную боль, и поскольку кричать было нельзя, оставалось только беззвучно плакать. Но и сквозь слезы, сквозь квадратное окошко экипажа, сквозь панораму серой лондонской ночи Мегги не теряла из виду свою цель, и губы ее не подвели, сумели заговорить весело и беспечно.

— Причина в том, чтобы не расставаться с тобой, милый. Ради этого он готов пожертвовать чем угодно. И точно так же, знаешь, он поехал бы куда угодно, по-моему, если бы ты поехал с ним. Я хочу сказать — если бы вы поехали только вдвоем, — закончила Мегги, не отводя глаз от окна.

И снова Америго ответил не сразу.

— Добрая он душа! Ты хочешь, чтобы я ему предложил что-то в этом духе?

— Да, если тебе это будет не слишком скучно.

— И оставить вас с Шарлоттой одних? — спросил князь.

— Почему нет? — Мегги тоже не сразу собралась

с силами, но когда заговорила, слова ее прозвучали звонко и ясно. — Может быть, Шарлотта — одна из моих причин? Может, мне не хочется разлучаться с ней? Она всегда была ко мне очень добра, добрее всех на свете, но никогда еще не относилась ко мне так чудесно, как в последнее время. Мы как будто еще больше сблизились, только друг о дружке и думаем, совсем как в доброе старое время. — И Мегги прибавила под конец завершающий штрих: — Мы как будто соскучились одна по другой, как будто ненадолго отдалились, хотя и были рядом. Но хорошие минуты приходят сами собой, нужно только уметь ждать, — поспешно добавила она. — Да ты и сам это знаешь, ты так чудесно заботишься за нас о папе. Ты замечательный, ты чувствуешь все нюансы, тебе не приходится все растолковывать, потому что доброта и чуткость у тебя в крови. Но ты, конечно, видел, что мы с ним глубоко тебе благодарны за помощь, за то, что благодаря тебе он не оставался один, всеми покинутый, и не думал, что я его забросила. Вот за это, — воскликнула Мегги, — я всегда буду благословлять тебя; ты много хорошего для меня сделал, но это лучше всего! — Она продолжала объяснять, как бы ради чистого удовольствия говорить об

этом, хотя и понимала, что Америго прекрасно знает собственные заслуги — это тоже было в его характере. — То, что ты в последнее время сам отвозишь к нему малыша и каждый раз сам приезжаешь за ним — ничто на свете не могло так порадовать папу. И потом, ты же знаешь, ему всегда нравилось с тобой общаться, и ты так мило умел показать, что и тебе нравится его общество. Но в эти несколько недель ты как будто старался заново напомнить ему об этом, просто чтобы сделать ему приятное. Так что все получилось из-за тебя, — подвела итог Мегги. — Ты добился, что ему не хочется провести даже один-два месяца вдали от тебя. Он не хочет, конечно, докучать или надоедать тебе, — я думаю, он никогда этого и не делал. Дай мне только время, и я снова возьму его на себя. Но ему необходимо, чтобы ты постоянно был в поле его зрения.

Она все говорила и говорила, нагнетая доводы и дифирамбы, нагромождая их один на другой, и притом безо всякого труда, ведь каждое слово вполне соответствовало тому, что она привыкла чувствовать, чем долгое время была полна до краев. Она создала весьма убедительную картину и подсунула князю под нос, даже припомнила очень кстати, как он в одно из своих появлений

на Итон-сквер при активной поддержке Принчипино зашел так далеко, что предложил сводить в зоопарк как старшего, так и младшего своего родственника, объясняя этому последнему, что прогулка затевается с целью познакомить дедушку, чрезвычайно испуганного подобной перспективой, с тиграми и львами, разгуливающими практически на свободе. Штрих за штрихом она рисовала безмолвствующему мужу, какой он добрый и хороший, и сама невольно удивлялась, как это она до сих пор не согласилась уступить такому превосходному человеку. Сдаться было бы так просто, довольно легкой вибрации одного-единственного нерва, едва заметного движения одного-единственного мускула; но оттого-то происходящее и наполнялось таким глубоким смыслом, что Мегги ни разу не шевельнулась, только все продолжала говорить — говорить такие вещи, которые при обычном положении дел должны бы самым естественным образом излиться порывом нежности. С каждой уходящей минутой Мегги понимала все яснее, что Америго мог бы сейчас одним-единственным верно выбранным словом победить ее настороженность, и слово это, бесконечно далекое от изломанной реальности, стало бы для нее таким

подарком, при всей своей блаженной непоследовательности! «А давай мы поедем с тобой, уедем куда-нибудь вдвоем, и тогда нам не нужно будет ни говорить, ни даже думать о ком-нибудь еще» — два-три словечка в таком духе сломили бы ее в один миг. Ничто другое не годилось. Мегги ждала этих слов, и на какое-то упоительное мгновение почувствовала, что они зародились в его сердце и уже дрожат на губах. Но они так и не прозвучали, и оттого Мегги стала наблюдать за ним еще пристальнее. И вот она заметила, что он тоже следит за нею, заметила и то, как сильно он ждал чего-то, чего, он знает теперь, уже не дождется. Да, не дождется, и не дождался бы, даже если бы ответил, но ответил неправильно. Если бы только он сумел сказать то, что нужно! Все висело на волоске, все могло еще исправиться, он мог вернуть их счастье одним мановением руки. Примерно секунд пятьдесят эта сверкающая возможность пылала перед Мегги, а потом потухла, остыла, и Мегги снова ощутила холод реальности и, прижатая к его сердцу, чувствуя его дыхание на своей щеке, знала, что внутри у нее все застыло. Под конец в разговоре начали возникать паузы, беспощадные, словно ожесточенная борьба, хотя князь ощутимо пытался истолковать

ее безудержные хвалы как своеобразную ласку. Небу известно, это было совсем не так! Если на то пошло, Мегги умела ласкать куда лучше. Вдруг ей что-то пришло в голову, и она сказала, вполне в духе всего, что наговорила раньше:

— Только, знаешь, если говорить о поездках, он охотно съездил бы куда-нибудь с тобой. Правда-правда, я думаю, он был бы рад на время получить тебя в свое полное распоряжение.

— Ты хочешь сказать, он собирается предложить такую поездку? — осторожно осведомился князь после минутного молчания.

— О, нет! Как ты мог заметить, он никогда ни о чем не просит. Но, по-моему, он, что называется, помчался бы не раздумывая, если бы ты это предложил.

Мегги знала, что ее слова прозвучали как ультиматум, и, еще не успев договорить, гадала, не уберет ли он теперь свою руку. Он не убрал, и Мегги поняла, что заставила его задуматься, задуматься так сильно, что ничему другому он просто не мог уделить внимания. И через минуту Америго это доказал. На первый взгляд его слова могли показаться неожиданными, но Мегги увидела, что он старается выиграть время. Видимо, ее предостережение все-таки оказалось для

них с Шарлоттой слишком внезапным. Она не сомневалась, что они попытаются перегруппировать свои силы, но для этого требуется отсрочка. Америго сейчас делал именно то, что было ему совсем не по вкусу, а Мегги, не скрываясь, наблюдала за ним.

— А что твой отец думает в этом году насчет «Фоунз»? Поедет после Троицы и останется на какое-то время?

Мегги сделала вид, будто размышляет.

— Полагаю, он поступит так, как поступал уже много раз по самым разным поводам: сделает то, что будет приятнее тебе. Ну и, конечно, Шарлотту тоже не нужно забывать. Но если они и поедут в «Фоунз», — сказала Мегги, — это не значит, что нам с тобой тоже нужно ехать.

— А, — эхом отозвался Америго, — это не значит, что нам с тобой тоже нужно ехать?

— Мы можем делать, что захотим. Незачем подстраиваться под них, ведь они, слава богу, счастливы вдвоем.

— О, — возразил князь, — твой отец никогда не бывает вполне счастлив, если тебя нет рядом, чтобы радоваться за него.

— Ах, я могу радоваться за него, — парировала Мегги, — но не я — причина его счастья.

— Ты причина практически всего хорошего, что у нас есть, — объявил ее муж.

Но Мегги приняла комплимент в молчании, и через минуту князь заговорил снова:

— Раз уж миссис Вервер задолжала тебе по части общения, вряд ли ей — или тебе — удастся возместить долг, если мы с тобой пустимся в бега.

— Я понимаю твою мысль, — произнесла Мегги задумчиво.

Америго дал ей время осмыслить это, потом спросил:

— Что же, я так прямо ни с того ни с сего предложу ему отправиться путешествовать?

Мегги пришлось соображать очень быстро, но плоды раздумий не замедлили явиться.

— Тут есть еще и то преимущество, что Шарлотта в этом случае сможет гораздо чаще бывать со мной. Если я уеду именно сейчас, то покажусь бессовестной и неблагодарной, как будто я не отвечаю ей, как будто я хочу от нее отделаться. А так я, наоборот, отвечу ей самым лучшим образом — целый месяц проведу с ней вдвоем.

— А тебе понравится провести целый месяц с ней вдвоем?

— Мне это будет очень и очень приятно. Мы

могли бы даже съездить вдвоем в «Фоунз», — весело сказала Мегги.

— И ты так спокойно обойдешься без меня? — обронил князь.

— Да, мой любимый, если ты сможешь побыть в это время с папой. Это придаст мне силы. Я могу погостить у Шарлотты, — продолжала Мегги, — или, еще того лучше, она может пожить на Портленд-Плейс.

— Ого! — промолвил князь жизнерадостно, но несколько туманно.

— Понимаешь, — объяснила Мегги, — я буду чувствовать, что мы оба делаем одно и то же доброе дело.

Снова Америго задумался.

— Мы оба? Мы с Шарлоттой?

Мегги опять ответила не сразу.

— Мы с тобой, милый.

— Понимаю, понимаю, — быстро проговорил князь. — А что мне сказать в объяснение? Я имею в виду, что сказать твоему отцу?

— Как объяснить, почему ты его приглашаешь? Да очень просто, если только это будет от души. Скажи, что хочешь сделать ему приятное. Только и всего.

Почему-то такой ответ снова поверг ее мужа в

задумчивость.

— «От души»? С чего ты взяла, что это будет не от души? Ты же сама говоришь, что он не слишком удивится. Уж во всяком случае, он должен понимать, что я ни в коем случае не захочу причинить ему боль.

А, вот опять! Нота, уже подмеченная Мегги, — забота о том, как бы не причинить боли. Откуда такая осторожность, вновь спросила она саму себя, ведь папа, как и я, ни на что не жалуется? Мы оба не проронили ни звука, отчего же нас так стараются щадить? Внутренним взором Мегги снова увидела это ясно и отчетливо, и в поведении своего мужа, и в поведении Шарлотты. Занятая своими мыслями, Мегги безотчетно повторила последние слова Америго:

— Ты ни в коем случае не захочешь причинить ему боль.

Она услышала себя как будто со стороны, тем более что в следующую минуту почувствовала, как муж смотрит ей в лицо, очень близко, так близко, что она не могла его толком разглядеть. Он смотрел на нее, потому что был поражен, смотрел очень пристально, хотя ответил достаточно прямо.

— А разве мы сейчас не об этом говорим? Ты

сама сказала, что я всячески забочусь о его удобствах и удовольствиях. Он мог бы показать, что заметил это, — продолжал князь, — первым предложив мне путешествие.

— А ты бы поехал с ним? — немедленно спросила Мегги.

Князь примолк не больше чем на мгновение.

— Per Dio!

Мегги тоже на минутку примолкла, но затем заговорила опять с веселой улыбкой — ведь веселье так и играло в воздухе.

— Ты ничем не рискуешь, ведь первым он ни за что не предложит.

Позднее она не могла бы рассказать, да и сама толком не понимала, как получилось, что к концу поездки между ними установилась некая дистанция, почти объявленная вслух. Мегги почувствовала это по тону, когда Америго повторил вслед за ней:

— «Не рискую»?..

— Риск в том, чтобы тебе не пришлось провести с ним слишком много времени. Он такой человек, что непременно подумает, как бы не надоесть тебе. Поэтому и не предложит, — сказала Мегги. — Папа слишком скромен.

Снова их взгляды скрестились в тесном про-

странстве кареты.

— Ах, эта ваша скромность!.. — Но все же князь улыбался. — Значит, если я не стану настаивать…

— Просто все останется, как есть.

— Ну, то, что есть сейчас, совершенно замечательно, — ответил Америго, хотя и далеко не с той убедительностью, как если бы не было их безмолвной борьбы, попытки взятия в плен и успешного бегства. Однако Мегги не стала опровергать его слов, и через минуту князю пришла в голову еще одна мысль. — Не знаю, хорошо ли это будет. Я имею в виду, хорошо ли мне лезть в их дела…

— «Лезть в их дела»?

— Становиться между твоим отцом и его женой. Но тут есть выход: можно попросить Шарлотту поговорить с ним. — И поскольку Мегги молчала в недоумении, Америго повторил еще раз: — Мы можем попросить Шарлотту, чтобы она предложила ему позволить мне свозить его куда-нибудь.

— О! — сказала Мегги.

— А уж если он станет спрашивать, с чего я это предлагаю, она сможет объяснить ему причину.

Карета замедлила ход, и лакей, соскочив с запя-

ток, уже звонил у двери дома.

— Объяснить, что, по-твоему, это будет просто чудесно?

— Что, по-моему, это будет просто чудесно. То, что нам удалось уговорить ее, убедит и его.

— Понимаю, — отозвалась Мегги. Лакей вернулся, чтобы выпустить их из кареты. — Понимаю, — повторила она, хотя в глубине души несколько растерялась. Ей вдруг подумалось, что мачеха может представить дело так, будто именно она, Мегги, больше всех настаивает на этом путешествии, а ведь главная ее цель — чтобы отец не заподозрил, что она хоть как-то заинтересована в чем бы то ни было.

В следующее мгновение Мегги вышла из экипажа, смутно сознавая, что потерпела поражение. Муж вышел первым, чтобы дать ей дорогу, и теперь дожидался, стоя на краю низкой террасы, высотой в одну ступеньку, перед открытым входом в дом, по обе стороны которого застыли навытяжку слуги. Мегги вдруг охватило ощущение чудовищно формализованной, застывшей жизни. Об этом напоминало и нечто в лице Америго, вновь смотревшего ей прямо в глаза в сумрачном свете уличных фонарей. Он только что дал ей вполне ясный ответ. Больше, похоже,

говорить было не о чем. Как будто она планировала оставить за собой последнее слово, и вдруг увидела, что он опередил ее и наслаждается этим. Как будто — как это ни покажется невероятно — он отплатил ей минутным неприятным чувством, маленькой новой тревогой за то, что она ускользнула от него там, в карете.

4

Возможно, новые тревоги Мегги успели бы развеяться ввиду того, что за последующие несколько дней она ни разу не замечала ничего в подтверждение их, и более того, ее поразило обилие разнообразных свидетельств той перемены, которой она добивалась с таким упорством. К концу недели Мегги стало ясно: если ее в каком-то смысле «накрыло волной», то и с ее отцом случилось то же самое, а в результате ее муж и его жена взяли их в кольцо и вся четверка вела теперь жизнь стадную и оттого почти отрадную, если верить беспечальной видимости. Возможно, это произошло случайно, в силу простого совпадения — по крайней мере, так Мегги говорила себе поначалу; но с течением времени непрестанно появлялись все новые обстоятельства, как бы случайные, приятные поводы — о, безусловно, лишь самые приятные, какими Америго, в частности, умел их сделать, — поводы для разнообразных совместных развлечений и увлекательных приключений. Как-то само собой каждый раз оказывалось, к общей радости, что все хотят одного и того же и в одно и то же

время. Все это казалось довольно забавным, если вспомнить, что отец с дочерью доселе так редко высказывали какие бы то ни было пожелания. Впрочем, было не столь уж противоестественно, если Америго и Шарлотта наконец слегка утомились обществом друг друга, и им в поисках отдохновения не спускаться вновь на более низкий уровень внутрисемейного общения, а, напротив, стремиться втянуть своих спутников жизни в скоростной поезд, где они сами так прочно обосновались. «Мы в поезде, — твердила про себя Мегги после обеда с леди Каслдин на Итон-сквер. — Мы с отцом вдруг проснулись и увидели, что мчимся куда-то вдаль, как будто нас сонных перенесли в вагон; погрузили, точно пару тюков в товарный вагон.

Я же хотела „сдвинуться с места“, вот и двигаюсь, ничего не скажешь, — могла бы она прибавить. — Еду безо всяких хлопот. Они все делают за нас. Просто удивительно, как они все понимают и как им все блестяще удается». Именно это Мегги заметила прежде всего: жить квартетом получалось у них не менее успешно, чем прежде — двумя отдельными парами. Как же они раньше-то не догадались? Одна только маленькая деталь чуточку омрачала общее бла-

голепие: время от времени Мегги неудержимо хотелось уцепиться за руку отца, когда поезд начинал слишком уж раскачиваться на поворотах. Вот в такие минуты — от этого никуда не денешься — их глаза встречались; тем самым отец с дочерью словно сами совершали некий антиобщественный поступок, нарушающий дух всеобщего единения или, по крайней мере, идущий вразрез с тенденцией перемен, ради которых Мегги и затеяла все это предприятие.

Перемены, безусловно, достигли своего апогея в тот день, когда компания из Мэтчема явилась обедать на Портленд-Плейс. Пожалуй, в этот день Мегги достигла вершины своего социального величия в том смысле, что прием был устроен ею, и только ею, а все остальные участники словно сговорились сделать ее героиней вечера. Даже отец Мегги, всегда чувствовавший себя более свободно в роли гостя, а не хозяина дома, принял участие в заговоре; сыграло свою роль и присутствие Ассингемов; их после некоторого затишья тоже подхватил вихрь проносящегося экспресса, и Фанни, во всяком случае, всеми силами поддерживала Мегги и без устали ею восхищалась. На предыдущем обеде Фанни не присутствовала, — так пожелала Шарлотта, — но теперь она

явилась во всем блеске нового оранжевого бархата, расшитого бирюзой, наверстывая упущенное в Мэтчеме, где ей поневоле пришлось отступить на второй план. Мегги была рада, что ей представляется случай восстановить справедливость — это вполне гармонировало с общим планом исправления ошибок. Мегги нравилось, что на горной вершине Портленд-Плейс, далекой от любых проявлений завистливого соперничества, ее подруга может чувствовать себя «не хуже других» и даже порой играть почти главенствующую роль, лишь бы это способствовало пущему блеску княгинюшки. В этом, насколько Мегги могла заметить, Фанни была неутомима. По правде говоря, отчасти именно благодаря ее помощи, принятой с благодарностью, в Мегги проснулась княгиня и вышла на свет божий. Мегги не могла точно сказать, как это случилось, но она впервые в жизни ощущала, что находится на высоте своего общественного положения, вполне оправдывая ожидания окружающих; в то же время она не переставала удивляться в глубине души причудливому стечению обстоятельств, в силу которых выразителями общественного мнения по поводу ее скромной персоны оказались великие мира сего, какими она считала Каслдинов

и им подобных. Право, Фанни Ассингем выполняла здесь работу униформиста на цирковой арене, которому доверено следить, чтобы лошадь шла ровно, пока очаровательная барышня в коротенькой юбочке с блестками выделывает кульбиты у нее на спине. Большего и не требовалось; Мегги на время позабыла, попросту не давала себе труда быть княгиней в доступном для нее масштабе, но теперь, когда общество так охотно подало ей руку помощи, она легко смогла выпорхнуть на свет прожекторов. Застенчивой Мегги представлялось даже, что розовые чулочки слишком выставлены напоказ, а белоснежная юбочка с пышными оборками чересчур коротка. Чуть приподняв изящно изогнутые брови, Мегги, кажется, начинала понимать, в чем была ее главная ошибка.

После обеда она пригласила прийти еще гостей, целый список, куда входили чуть ли не все ее лондонские знакомые: опять-таки вполне в духе маленькой княгини, для которой разные княжеские штучки — дело привычное и естественное. Вот этому она и должна научиться: легко и естественно выполнять то, чего от нее ждут, быть такой, какой ее видят. И невзирая на смутное ощущение, что урок проходит не совсем

гладко, сегодня у нее была великолепнейшая возможность попрактиковаться всласть. Особенно удачно получилось у нее с леди Каслдин, на которую Мегги повела методичное наступление, приведя в конце концов эту гордую даму в состояние беспрецедентной пассивности. Такое блестящее достижение вызвало румянец радости на щеки миссис Ассингем. Как она сияла и сверкала, глядя на свою юную подругу! Положительно, можно было подумать, будто ее юная подруга сама каким-то необыкновенным, сверхизощренным способом пришла ей на помощь в трудную минуту, подобно ангелу мщения. Все эти нюансы, опять-таки неким неуловимым и труднообъяснимым образом, отражались и на Америго с Шарлоттой, с одним лишь нежелательным побочным эффектом (постоянная забота Мегги): все это могло еще сильнее сказаться на отце.

Эта опасность в последующие дни временами словно притягивала ее. Осторожность куда-то уходила, и Мегги чувствовала, что этот человек ей ближе всех других. Ему не могло не передаться, что происходит нечто не совсем обычное, повторяла она без конца, и эта мысль несла в себе не меньше утешения, чем угрозы. Мегги представлялось, что оба они хоть и хранят молчание,

но, обмениваясь красноречивыми взглядами, связанные взаимной нежностью как никогда прежде, ищут на ощупь некую свободу, некую иллюзию, некую воображаемую отвагу, которая позволит им, наконец, осмелиться говорить об этом. Неизбежно должен был наступить момент, — и он наступил, пронзительный, как звук электрического звонка после нажатия кнопки, — когда Мегги вдруг пришло в голову наименее благоприятное толкование созданного ею самой переполоха. В очень поверхностном изложении дело обстояло так: долгое время все они как семья пребывали в состоянии незамутненного счастья, теперь же им открылся новый источник радости, к которой оба, и отец, и сама Мегги, слава богу, не утратили ни вкуса, ни благодарности. Весь этот непривычно оживленный стиль жизни нет-нет да и пробуждал у мистера Вервера уже замеченное нами инстинктивное желание за что-нибудь ухватиться; он будто говорил ей, раз уж она сама так и не захотела нарушить молчание: «Все прекрасно и замечательно, не правда ли? Но где же мы все-таки находимся? Несемся в пространстве на воздушном шаре или погружаемся в глубины земли по сверкающим штольням золотого рудника?» Драгоценное равновесие со-

хранилось и восторжествовало, несмотря на все перестановки; перераспределение тяжести не нарушило идеально выверенную балансировку — именно поэтому Мегги была не вправе проводить рискованные эксперименты по отношению к своему партнеру по приключениям. Взялась держать равновесие, так уж держи! И это лишало ее всякой возможности каким бы то ни было хитроумным способом дознаться, о чем он думает.

Зато у нее бывали минуты восхитительного ощущения общности с отцом в жестких рамках ими же созданного закона; а стоило Мегги подумать о том, что он, быть может, тем временем старается всеми силами щадить ее, как сама видимость отсутствия у них «личных» тем для разговора становилась особенно трогательной и щемящей, какой не была для нее даже страстная тоска по мужу. Но Мегги была бессильна и только еще больше притихла после своего озарения, когда ей так хотелось сказать ему: «Да, с виду у нас сейчас лучшее время, но разве ты не видишь, как они вместе добиваются этого? Ведь даже мой успех, успех моей затеи построить заново нашу прекрасную гармонию на иной основе, оказывается в итоге прежде всего их успехом — победой их ума, их обаяния, их способности держаться до

последнего, короче говоря — их полной власти над всей нашей жизнью?» А как могла она это сказать, не сказав вместе с тем гораздо, гораздо больше? Не сказав: «Они сделают для нас что угодно, кроме только одного: ни за что они не примут такой линии поведения, которая разлучила бы их друг с другом». Как могла она даже в мыслях обмолвиться об этом, не вложив тем самым в его уста именно те слова, которые так страшилась услышать? «Разлучила друг с другом, душа моя? Ты хочешь разлучить их друг с другом? Так ты хочешь, чтобы и мы с тобой расстались? Разве можно разделить их, не разделив нас?» Вот какой вопрос со страхом слышала она в мыслях, а за ним тянулся целый шлейф других подобных вопросов. Им с отцом разлучиться, разумеется, возможно, но единственно по какой-нибудь совсем уж серьезной причине. Что ж, самой что ни на есть серьезной причиной могло бы стать такое положение дел, когда они уже не смогут, так сказать, позволить своим жене и мужу и дальше «водить» их такой компактной группой. А если они, предположим, сочтут, что подобный момент уже наступил, и в соответствии с этим решатся на разлуку, не встанут ли над разделяющей их пропастью бледные призраки непогребенного

прошлого, протягивая к ним руки с укором и мольбой?

Пока, во всяком случае, Мегги приходилось говорить себе, что успокаивающие слова и попытки восполнить нечто упущенное, возможно, таят в себе более глубокое предательство. Снова она чувствовала себя страшно одинокой, совсем как тогда, после напряженной сцены с мужем на обратном пути после встречи с Каслдинами на Итон-сквер. После того вечера она тревожилась еще сильнее, чем сейчас, но затем наступило затишье: все-таки нужно было еще доказать, что для тревоги имеются основания. И вот неотвратимо наступил тот час, когда Мегги поняла, холодея, чего она боялась и почему. Должен был пройти целый месяц, пока этот час настал, но когда он наконец наступил, все ей стало ясно до последней черточки. Теперь она знала, что имел в виду Америго, говоря о том, чтобы воспользоваться помощью Шарлотты для восстановления гармонии и благополучия между ними. Чем больше Мегги вспоминала, с какой интонацией он упомянул об этой счастливой возможности, тем яснее ей становилось, что слова мужа были частью сознательного и очень искусного манипулирования ею. В ту минуту им двигало великое

множество самых разных побуждений, и среди прочего, в немалой степени, — желание, а стало быть, и потребность выяснить, как Мегги поступит при таких-то и таких-то обстоятельствах. Обстоятельства же, насколько Мегги могла понять, заключались в том, что она в некоторой мере окажется под угрозой, как ни чудовищно приписывать ему намерения, ассоциирующиеся с этим словом. Завести разговор о возможном участии ее мачехи в деле, которое, на первый взгляд, не касалось никого, кроме них самих, — вещь настолько привычная и простая, почему же Мегги почудилось в этом нечто угрожающее?

Поначалу Мегги воспринимала эту странность безо всякой связи с реальностью, как бесцельный полет воображения.

Несомненно, именно поэтому она сумела заставить себя ждать неделю за неделей, довольно убедительно — а вернее, чересчур убедительно — симулируя безмятежное спокойствие духа. За двусмысленным предложением князя не последовало немедленного продолжения, а значит, необходимо было быть терпеливой. И все же много дней спустя Мегги пришлось признать, что хлеб, брошенный ее мужем на воду, приплыл обратно к ним, а значит, можно с полным

правом вернуться к прежним страхам. А это, в свою очередь, означало новые болезненные воспоминания о его маленькой хитрости. Хитрить с нею — что же за этим кроется, что только за этим не кроется, ведь она ни разу за все время их знакомства не давала ему ни малейшего повода щадить ее, сомневаться в ней, опасаться ее, вообще каким бы то ни было образом принимать ее в расчет? Хитрость крылась в его простых словах о том, чтобы воспользоваться помощью Шарлотты, словно ее помощь относилась в равной степени к ним обоим, и в этой простоте заключалось его торжество.

Не могла же Мегги — и он это знал — сказать правду: «О, ты „используешь“ ее, и я ее использую, если угодно; да, но мы используем ее совершенно по-разному, по отдельности и совсем не в одном и том же смысле. Вместе мы никого не можем использовать, кроме только самих себя, ты разве не понимаешь? Я хочу сказать, во всем, где наши интересы совпадают, я прекрасно могу сделать все, что требуется тебе, а ты можешь прекрасно сделать все, что требуется мне. Каждому из нас никто не нужен, кроме второго. Зачем же приплетать сюда Шарлотту, как будто так и надо?»

Мегги не могла открыто бросить ему вызов,

потому что — от этой мысли ее словно парализовало — тем самым она задала бы тон. Его слух мгновенно уловил бы ревность, и отзвуки мало-помалу достигли бы отца пронзительным криком, разрывающим в клочья тишину его мирного сна. Вот уже много дней Мегги было сложно улучить хоть двадцать минут наедине с отцом — почти настолько же сложно, насколько раньше было легко. Собственно говоря, раньше — удивительно, это время уже казалось далеким прошлым! — они постоянно подолгу оставались вдвоем, и в этом постоянстве, в предсказуемости повседневной жизни была своя особенная, домашняя красота. А теперь с ними рядом почти всегда оказывалась Шарлотта, которую Американо все время привозил на Портленд-Плейс, и сам Американо почти всегда оказывался на Итон-сквер, куда его все время привозила Шарлотта. Случайные обрывочные встречи с глазу на глаз давали мало возможностей поговорить по душам, поскольку долгая привычка к неспешному общению не позволяла им обсуждать глубокие темы на скорую руку. Если и удавалось иной раз поболтать четверть часика, они не заводили разговор об основополагающих вещах; они молча прогуливались по пустым пространствам огром-

ного притихшего дома; они замечательно умели молчать вдвоем — это было приятнее, чем объясняться впопыхах. Право же, в последнее время им, кажется, даже лучше удавалось общаться без слов. Может быть, обращаясь к двум другим собеседникам, они на самом деле говорили «друг для друга», но, во всяком случае, ничем иным не показывали, что их отношения вступили в новую фазу. Вот некоторые из причин, почему Мегги начала подозревать, что основополагающие вещи, как я их назвал, постепенно поднимаются из глубин на поверхность. Подозрения появились у нее однажды утром в конце мая, когда мистер Вервер неожиданно прибыл на Портленд-Плейс в одиночестве. Разумеется, у него был повод: за два дня до того у Принчипино были замечены симптомы простуды, к счастью не подтвердившиеся, и посему малыш был вынужден провести эти два дня, не выходя из дома. Это давало более чем достаточные основания приехать справиться о его здоровье, но Мегги тут же поймала себя на мысли, что не было ровным счетом никаких оснований приезжать без жены — при нынешнем их распорядке ее отсутствие было весьма необычно. Муж Мегги совершенно случайно отсутствовал тоже. Своеобразие момента станет окончательно

ясно, когда я скажу, что, вспоминая сейчас, как князь заглянул к ней предупредить, что уходит, княгинюшка задавала себе довольно затейливый вопрос: а не встречаются ли где-нибудь в эту минуту их супруги, — и при этом, как ни странно, даже надеялась, что они займутся друг другом и на время оставят ее с отцом в покое. Удивительно, но Мегги было иногда необходимо думать, что они не придают особенного значения отказу от устоявшейся практики, которая всего лишь несколько недель назад казалась такой незыблемой. Впрочем, «отказ» — не вполне подходящее слово; до этого, слава богу, еще не дошло. Разве поведение самой Мегги не свидетельствовало об обратном? Когда она открыто признает, что боится оставаться наедине с отцом, боится того, что он может ей сказать — о, как она страшилась этой его неторопливой, мучительной обстоятельности! — вот тогда настанет время и Америго с Шарлоттой признаться, что они не хотят, чтобы кто-то думал, будто они встречаются.

Нынче утром Мегги удивительно ясно сознавала, что смертельно боится услышать от отца некий вопрос, и вместе с тем чувствует в себе силы всем своим обликом, когда этот вопрос прозвучит, решительно пресечь любые возможные

мысли мистера Вервера по поводу значения этого вопроса. День был ясный и теплый, все вокруг дышало летом, и потому они сперва заговорили о «Фоунз», о том, как тянет за город. Мегги соглашалась с отцом, делая вид, будто поездка в «Фоунз» была бы одинаково заманчива для обеих пар, и чувствовала при этом, как ее губы, сложенные в фальшивую улыбку, прямо-таки сводит судорогой. Вот она, правда, и, признав ее, Мегги почувствовала даже некоторое облегчение: она уже фальшивит, обманывает отца, из чистой необходимости. Никогда в жизни она не врала отцу, а теперь врет очертя голову. В этой просторной, неярко освещенной комнате, где мистер Вервер, почему-то не пожелав присесть, расхаживал взад-вперед, ступая по следам Американо, Мегги ощущала, как необходимость обмана смыкается вокруг нее, будто в силу самой их нежности, самой искренности их прежних отношений, так простодушно вернувшихся вновь, в силу их привычной привязанности, уютной, точно чуть выцветший диван с ковровой обивкой, на котором они столько раз сиживали рядышком, довольные жизнью и друг другом. В эту минуту ей стало яснее ясного, что она обязана неукоснительно, ни на миг не ослабляя бдительности,

выполнять свое отважное решение: доказать отцу, что с нею абсолютно ничего не случилось. Все, что Мегги могла сказать или сделать, виделось ей в свете этой задачи, сплетавшейся со множеством других, порой весьма отдаленных материй. Например, она была убеждена, что действует в интересах все той же цели, когда предложила отцу отправиться на прогулку в Риджентс-парк, раз уж выдалась свободная минутка и стоит такая прекрасная погода. Парк был совсем близко, рукой подать, вплотную примыкая к Портленд-Плейс, и Принчипино, восхитительно здоровенький, уже отправился туда в сопровождении почетного эскорта, и все эти обстоятельства Мегги включила в свой оборонительный план, методически продолжая разрабатывать тщательно составленный сценарий.

Оставив отца на минутку в гостиной, Мегги поднялась наверх набросить что-нибудь для выхода на улицу, и там вдруг остановилась в оцепенении, представляя себе, как он ждет ее внизу, один в пустом доме. Ей то и дело случалось замирать вот так, с гребешком воображения в руке, перед зеркалом — иначе говоря, перед мысленной картиной перемен, которые женитьба привнесла в жизнь ее отца. И главной из перемен

казалась в такие минуты потеря прежней свободы, когда им обоим не приходилось думать ни о чем и ни о ком, кроме друг друга. Ее замужество не изменило этого; когда Мегги вышла замуж, им и в голову не приходило, что отныне нужно быть дипломатичными, считаться с присутствием другого человека, пусть даже это ее муж. Мегги застонала. Пустые, напрасные мысли! «Зачем он женился? О, зачем только он женился?» И снова она вспомнила, как чудесно было втроем, как Америго ничем не нарушал привычного образа их жизни, пока в нее не вошла Шарлотта. И снова Мегги увидела перед собою свой долг перед Америго в виде длинного столбца цифр или, лучше сказать, в виде карточного домика; ее отец своим неожиданным поступком разрушил хрупкую постройку, и оттого теперь итог никак не хочет сходиться. И едва она повторила: «Зачем? О, зачем?» — на нее нахлынуло, сбивая с ног, внезапное понимание причины. «Ради меня, он сделал это ради меня! — горестно воскликнула Мегги. — Он для того и пошел на это, чтобы свободы у нас стало больше, а на самом деле он думал только лишь о моей свободе, чудесный, любимый! Он хотел по доброте своей освободить меня, насколько возможно, от заботы

о нем!» Хоть Мегги и спешила, она нашла время, как находила уже много раз, чтобы подивиться очередной вспышке ясновидения, и, как всегда в таких случаях, растерянно заморгала. Ей даже пришло в голову: не будет ли самым лучшим решением, если она сделает именно то, ради чего отец пошел на такие жертвы, а именно, и впрямь заставит себя поменьше «заботиться» о нем. Таким образом, вся тяжесть ситуации снова ложилась на ее плечи, а первопричина ее мучений была совершенно очевидна. Все оттого, что она не смогла перестать беспокоиться, не думать о том, что станет с отцом, не смогла отпустить его на волю и позволить ему жить собственной жизнью на свой страх и риск. Из этого беспокойства она сделала себе дурацкого маленького божка, идола, и теперь, втыкая несколько криво длинную шпильку в свою изящную шляпку, — она только что в нетерпении отпустила горничную, недавно поступившую на службу и, похоже, безнадежную неумеху, — теперь она пыталась измыслить хоть какую-нибудь возможность найти взаимопонимание с отцом, в результате которого он смог бы наконец вырваться на волю.

Найдешь тут возможность, как же! Такая мысль тоже успела пронестись в ее голове, пока Мегги

окончательно приготовилась к прогулке. Эти хлопоты оттого и были ей так дороги, так трепетно милы, что напоминали прежние времена, когда все было проще, когда она бесчисленное количество раз вот так же готовилась к выходу из дому вместе с отцом. Собралась она быстро, несмотря на поток мыслей, от которых временами у нее перехватывало дыхание. Осталось еще время приостановиться на верхней площадке лестницы и спросить себя, не получается ли, с чисто практической точки зрения, что она должна попросту принести отца в жертву? Мегги не стала разбирать в подробностях, что означает в данном случае «принести в жертву», да в этом и не было надобности, настолько отчетливо она представила себе, в одном из своих тревожных озарений, как он дожидается ее внизу, расхаживая по гостиной, где всюду расставлены цветы и через открытые окна льется теплый, душистый ветерок, как медленно и рассеянно он двигается, такой стройный, моложавый и такой смирный с виду, похожий — если позволить себе несколько вольную метафору — скорее на ее ребенка, чем на родителя. Очень может быть — с него станется! — он и приехал-то затем, чтобы так прямо и сказать ей всеми словами: «Принеси меня в жертву, ду-

шечка моя! Пожертвуй мною, пожертвуй, очень тебя прошу!» Если сильно захотеть, можно добиться, чтобы он высказал все это вслух, нежным и заботливым голосом, похожим на жалобное блеяние белоснежного и чрезвычайно разумного агнца, обреченного на заклание. Усилием воли Мегги отогнала необыкновенно яркое видение и двинулась дальше, вниз по лестнице. Когда Мегги спустилась в гостиную и увидела отца, сердце у нее сжалось от мысли, что привидевшийся ей выход невозможен, невозможен именно потому, что отец все понимает и что намерения его настолько прозрачны. Она помнила об этом, улыбаясь ему все той же лицемерной улыбкой, помнила, натягивая перчатки, помнила, когда отвлеклась от перчаток, сперва — чтобы чуточку элегантнее повязать ему галстук, потом — чтобы по давней привычке потереться носом о его щеку, словно прося прощения за свое тайное безумие. Как только она окончательно убедится в его намерении, дело будет закрыто раз и навсегда, и лицемерие придется удвоить. Пожертвовать отцом можно было лишь при одном условии: если бы он не догадывался, ради чего им пожертвовали. Мегги поцеловала его, поправила ему галстук, о чем-то говорила, вышла с ним из дома, взяв его

под руку (чтобы вести, не для того, чтобы он ее вел) примерно таким жестом, каким в детстве прижимала к себе свою любимую неразлучную куклу — и все это с одной-единственной целью: не дать ему хотя бы отдаленно догадаться, ради чего все это делается.

5

Казалось, ее старания были вполне успешны, пока они не добрались до парка, где мистер Вервер совершенно неожиданно для Мегги не проявил ни малейшего желания отправиться разыскивать Принчипино. Это было видно из того, как они присели погреться на солнышке, выбрав себе пару стульев, стоящих на отшибе, и как отец вдруг умолк, будто ожидая, чтобы Мегги наконец заговорила о чем-то более содержательном. От этого она только острее ощутила, насколько запретны для нее любые содержательные темы; о чем ни подумаешь — заговорить об этом все равно что спустить с поводка собаку, идущую по горячему следу. Мигом разнюхает правду (Мегги глубоко верила, что все ее догадки — чистая правда), на которую даже и намекать невозможно. По крайней мере, именно так дело виделось Мегги с ее страстью к осторожности. Ей мерещился грозный смысл решительно во всем, что попадалось на глаза, но нужно было смотреть, не дрогнув, ничем не выдав себя. Несколько раз, пока они сидели в парке, могло показаться, что мистер Вервер наблюдает за тем, как Мегги

обдумывает каждое слово, старательно обходя подводные камни. То и дело наступала пауза, когда Мегги, словно за ожесточенной карточной игрой на деньги, как будто вызывала его рискнуть и обвинить ее в мошенничестве. Позднее, воскрешая в памяти тот день, она положительно гордилась своим великолепным представлением. Когда по прошествии часа отец и дочь направились домой и застали там дожидавшихся их Америго и Шарлотту, Мегги могла с чистой совестью сказать себе, что она выполнила свой план полностью, хоть и поставила себе исключительно трудную задачу: добиться, чтобы их взаимоотношения ничем не уступали высокому стандарту того эпизода далекого, невозвратного прошлого, что постоянно стоял у нее перед глазами, словно оправленная в раму картина в музее, на которой изображена наивысшая точка их былого счастья — летний вечер в «Фоунз», когда они сидели рядышком под деревьями, совсем как сейчас, погруженные в золотую дрему, с безоблачной верой в свою счастливую звезду. Может быть, даже разговор о переезде в «Фоунз» таит в себе ловушку? Ведь она не предложила этого первой, хотя отец словно нарочно медлил, выжидая, что она скажет. А она втайне говорила самой себе:

«Возможно ли нам снова поселиться там, в нашем нынешнем виде? Могу ли я отважиться на это? В деревне будет еще труднее поддерживать видимость благополучия, справлюсь ли я?» Терзаясь этими внутренними сомнениями, она ничего не замечала вокруг — так, по крайней мере, вспоминалось ей впоследствии. Вспоминалось и то, что ее спутник, хоть и не проявляя сколько-нибудь заметной настойчивости, первым разбил лед, примерно как в тот вечер на Итон-сквер, после приема в честь Каслдинов.

Мыслями она была сейчас далеко, пытаясь представить себе, чем может обернуться лето в «Фоунз» с Америго и Шарлоттой, чье присутствие станет еще более ощутимым под теми бездонными небесами. А что, если отец только притворяется, что всерьез говорит об этом? Точно так же, как она только притворяется, что слушает? Во всяком случае, мистер Вервер в конце концов оставил эту тему. Но в разговор после этого как бы невольно вторглась новая нотка. Мегги внезапно оторвалась от своих размышлений, ощутив, что отец как будто нарочно подражает золотой интонации их прежних чудесных разговоров. И под конец он вдруг спросил — ни больше ни меньше! — не считает ли она, что будет очень

хорошо, просто очень даже хорошо, если он на несколько недель под каким-нибудь предлогом увезет князя из Англии. Тогда Мегги поняла, что ее муж все-таки не оставил своей «угрозы», ведь сейчас перед нею, очевидно, был результат. О, этот результат занял все оставшееся время прогулки, не покидал их ни на минуту и вместе с ними возвратился домой, не говоря уже о том, что теперь они никак не могли делать вид, будто явились в парк в поисках малыша. Правда, через пять минут Мегги не выдержала и ухватилась за эту идею как за соломинку. Мальчика они должным образом нашли и были весьма рады его видеть, с обязательным приложением в лице гувернантки, которой тоже требовалось уделить внимание, что позволяло замять любую возможную неловкость. Ибо суть происходящего сводилась к одному: славный мистер Вервер испытывал свою дочь, точно так же, как перед тем Шарлотта испытывала его, заведя речь о заграничном путешествии двоих мужчин. Княгинюшка мгновенно уловила эту суть; она так и слышала, как ее отец с женой обсуждают удивительную идею. «Князь говорил мне, что Мегги придумала какой-то невероятный план, чтобы ты поехал с ним куда-нибудь за границу, а поскольку ему всегда хочется того же,

что и ей, он предложил мне поговорить с тобой, потому что так ты скорее согласишься. Вот я и говорю, видишь? Ведь для меня, как ты знаешь, важнее всего на свете, чтобы Мегги была довольна. Только мне не совсем понятно, что такое на этот раз у нее на уме. Почему ей вдруг именно сейчас захотелось отправить вас обоих бог весть куда, а самой остаться здесь со мной? Для меня это, конечно, очень лестно; словом, решай, как хочешь. Князь, видимо, готов исполнить все, что от него требуется, но это уж тебе нужно будет выяснить у него. То есть у нее». Нечто в этом роде Мегги слышала мысленно. Вот отец подождал, и поскольку она не заговорила первой, принялся выяснять. Что ж, повторяла она про себя весь остаток дня, они все и выяснили, пока сидели в парке на стульях, — насколько для них теперь возможно выяснить что бы то ни было. Одно, по крайней мере, действительно стало ясно: каждый из них будет сражаться до конца, чтобы защитить другого. Мегги с неизменной неискренней улыбкой на устах, глядя отцу прямо в глаза так же ласково, как он смотрел на нее, призналась не моргнув глазом, что ей действительно подумалось, что ему, должно быть, приятно будет совершить такую вот авантюру вдвоем с зятем,

ведь оба они в последнее время совсем погрязли в семейной жизни. На Мегги снизошло вдохновение, и, заломив в воображении шляпу наберкень, она прозрачно намекнула отцу, что двое молодых духом людей, вырвавшихся после долгого заточения в широкий мир, вполне могут найти там много новых и увлекательных развлечений. Целых пятьдесят секунд, глядя в глаза собеседнику своими лживыми глазами, Мегги чувствовала себя нестерпимо вульгарной. Но ей было все равно. Счастье еще, если удастся добиться своей цели столь малой ценой.

— И я подумала, — сказала Мегги, — что Америго, наверное, будет приятнее поехать с тобой, чем одному.

— Как это понимать — он что, не поедет, если я не поеду?

Никогда в жизни Мегги не приходилось так быстро и напряженно соображать. Если ответить утвердительно, Америго может, чего доброго, опровергнуть ее слова, а тогда отец еще больше задумается, еще и спросит напрямик, зачем ей понадобилось оказывать на него давление. Разумеется, нельзя допустить, чтобы он хоть на минуту заподозрил, что на него оказывают давление, и потому она была вынуждена ответить:

— Ну, это, видимо, тебе нужно будет выяснить у него?

— Безусловно — если он обратится ко мне с таким предложением. Но он пока еще не обращался.

И снова Мегги мучительно ощутила, как отвратительна ее игривая улыбка.

— Может быть, он стесняется!

— Оттого, что ты уверена, что ему хочется поехать со мной?

— Я думаю, он думал, тебе это будет приятно.

— О, еще как! — Но говоря это, мистер Вервер отвел глаза, и Мегги затаила дыхание: сейчас он спросит, хочет ли она, чтобы он спросил об этом у самого Америго, или — очень ли она будет разочарована, если из всей этой истории так ничего и не выйдет. У нее, как она называла это про себя, «отлегло от сердца», когда он не сказал ни того ни другого и таким образом избежал опасности, которая им грозила, начни он доискиваться причин. С другой стороны, словно желая смягчить впечатление, будто он намеренно уклоняется от откровенного разговора, мистер Вервер сам предложил Мегги причину, избавив ее от необходимости спрашивать, не думает ли он, что Шарлотта не одобрила ее идеи. Он все взял на

себя — потому-то у Мегги и отлегло от сердца. Еще чуть-чуть — и вот она поняла, как много он на себя взвалил. Довод мистера Вервера заключался в том, что ему не хочется так далеко и надолго уезжать от своей жены. Не настолько он с ней несчастлив — и Мегги врезалась в память отечески-нежная улыбка сквозь очки, служившие ему своего рода щитом, когда он так легко говорил об этом — чтобы ему потребовалась увольнительная. А стало быть, если только это не ради самого князя…

— О, я не думаю, что самому Американо это нужно. Мы с Американо живем душа в душу, — проговорила Мегги.

— Ну, значит, так тому и быть.

— Понимаю… — И Мегги вновь с готовностью согласилась с отцом: — Так тому и быть.

— Мы с Шарлоттой, — весело продолжал отец, — тоже живем душа в душу. — Тут он немного помедлил. — И это еще слабо сказано! — прибавил он с воодушевлением. — Это еще слабо сказано!

Мистер Вервер как бы намекал, что мог бы высказаться и сильнее, но на этот случай и так сойдет. Сознательно или бессознательно он сыграл на руку Шарлотте, и оттого Мегги было

втрое тяжелее думать о Шарлоттиных планах. Жена мистера Вервера добилась того, чего хотела, — этого же хотел и Америго. Она не позволила Мегги довести задуманную проверку до конца, и вместо этого сама устроила им испытание. Можно подумать, она знала заранее, что ее падчерица побоится прямого вопроса: зачем ей нужны перемены? Нашей юной леди даже пришла в голову еще более чудовищная мысль, будто ее отец оказался способен на такую же расчетливость, будто и для него было важно не допустить такой ситуации, когда ему пришлось бы спросить у дочери, что с нею происходит. Иначе почему он не спросил, ведь случай был как раз подходящий? Все расчеты, расчеты — вот почему. Он струсил оттого, что до смерти боялся услышать в ответ: «Если уж на то пошло, что с тобою происходит, милый папочка?» Когда минуту спустя он прибавил к своим предыдущим словам еще один-два штриха, нацеленные на то, чтобы окончательно изгнать призрак малейшей аномалии, Мегги уж никак не могла бы ответить откровенно на подобный вопрос.

— Мы живем, словно в заколдованном царстве, тебе не кажется? А в последнее время чары словно окрепли, словно кто-то вдохнул в них новую

силу. Может быть, это нехорошо, эгоистично — жить вот так, в свое удовольствие, как будто мы сгребли, захапали все сокровища мира, вплоть до самого последнего экспоната из самой последней витрины в самом дальнем уголке, оставшегося от моей последней выставки. Вот это, пожалуй, единственное, что беспокоит: вдруг мы чуточку обленились. Возлежим словно боги, и совсем забыли о человечестве.

— Ты считаешь, мы обленились? — Мегги ухватилась за такую форму ответа, поскольку это было проще всего. — Ты считаешь, мы забыли о человечестве? Да ведь мы живем среди огромной толпы народа, целыми днями только и бегаем туда-сюда — то мы за кем-то гонимся, то кто-то за нами.

Мистер Вервер задумался и думал несколько дольше, чем планировала Мегги. Но в конце концов он, так сказать, вынырнул снова с улыбкой на лице.

— Я, право, не знаю. Мы ведь ничего не делаем, просто радуемся жизни, правда?

— Правда, — поспешно согласилась Мегги. — Конечно, мы просто радуемся жизни.

— И это у нас прекрасно получается, — заметил мистер Вервер.

— Это у нас прекрасно получается. — Мегги и не подумала отрицать. — Я понимаю, о чем ты.

— Я говорю еще и о том, — продолжал ее отец, — что мы, несомненно, достаточно ощущаем ее сложность.

— Достаточно ощущаем? Достаточно для чего?

— Для того, чтобы не быть эгоистами.

— По-моему, ты вовсе не эгоист, — возразила Мегги и сумела сделать так, чтобы это не прозвучало мучительным воплем.

— Я говорю не о себе в отдельности, и не о тебе, не о Шарлотте или Америго. Но все вместе мы ведем себя как эгоисты — как единая эгоистичная масса. Сама видишь, мы всегда хотим одного и того же, и это нас объединяет, сплавляет вместе. Мы нуждаемся друг в друге, — пояснил он, — только каждому нужен другой не ради себя, а ради этого другого. Вот это я и называю волшебными чарами, но… может быть, это немножко… безнравственно.

— Безнравственно? — эхом отозвалась Мегги.

— О, сами по себе мы невероятно нравственны — то есть по отношению друг к другу. Не стану притворяться, будто я могу точно сказать, за чей конкретно счет мы с тобой, например, так счастливы. Просто есть какая-то заноза… как

будто это не совсем естественно — чувствовать себя постоянно счастливыми и довольными, как будто мы лучше других. Или это только у меня такое фантастическое ощущение? — довольно бессвязно продолжал мистер Вервер. — Во всяком случае, я хотел сказать одно: мы «как бы» слишком успокоились. Валяемся, так сказать, на восточном диване, сами все с косицами[45], покуриваем опиум да любуемся видениями. «Встанем, други, и за дело!», или как там говорит Лонгфелло? Нужна какая-то встряска, вроде полицейской облавы в нашем опиумном притоне. Но самая-то красота в том, что мы на самом деле все-таки делаем дело — то самое, ради которого и затеяли все это. Мы живем, реализуем нашу жизнь, наш счастливый случай, называй, как хочешь, — каким все это виделось нам с самого начала. Мы осуществили то, что задумали, чего же больше? По-моему, например, уже очень немало, что я сделал Шарлотту счастливой, — закончил мистер Вервер. — Она полностью довольна жизнью. В тебе-то я, конечно, давно уверен — я имею в виду, уверен, что у тебя все в порядке, так что, не стану

[45] Примечания: 45

Имеется в виду стандартная для того времени прическа китайцев — владельцев и частых посетителей притонов для курильщиков опиума.

скрывать, с тех пор я был занят преимущественно тем, чтобы добиться того же для Шарлотты, и не только ради нее самой, но и ради тебя. Если нам удалось сделать свою жизнь, воплотить свою идею, как я говорил, — по крайней мере, если я могу сидеть здесь и говорить, что я свою долю работы выполнил, — так тут не последнее место занимает благополучие Шарлотты. Это больше всего и успокаивает, отсюда и клубятся облака голубого дыма, или что там еще бывает, когда курят опиум. Ты можешь себе представить, как хороши бы мы были, если бы Шарлотта осталась неудовлетворенной? — И мистер Вервер заключил, обернувшись к Мегги, словно собирался высказать мысль, совершенно новую для нее: — Ты, дорогая, первая стала бы страдать, обернись дело таким образом, в этом я глубоко уверен.

— Страдать?.. — В поисках спасения Мегги притворилась непонимающей.

— Страдать оттого, что нам не удалось осуществить свои благие намерения. А я, надо думать, страдал бы за тебя сильнее, чем за себя самого.

— Так значит, ты все-таки сделал это ради меня!

Мистер Вервер замялся, но не больше, чем на мгновение.

— Я этого не говорил.

— Зато Шарлотта очень скоро мне об этом сказала.

— Но я и ей не говорил, — возразил отец.

— Ты уверен? — спросила Мегги, помолчав.

— Что ж, мне приятно думать о том, как я был ею очарован, и не зря, и как удачно, что я послушался этого чувства. Я ей сказал, что очень хорошо о ней думаю.

— В таком случае, — ответила Мегги, — вот тебе еще одна ее хорошая черта — она понимает.

— Да, она все понимает.

— Все — и в том числе все твои резоны. Я сразу это поняла, когда она мне сказала.

Они сидели, повернувшись друг к другу, и Мегги увидела, что от ее слов кровь бросилась отцу в лицо, словно в ее глазах он видел воочию их беседу с Шарлоттой, о которой сейчас слышал впервые и по поводу которой было бы естественно расспросить дочь подробнее. Воздержавшись от расспросов, он только выдал бы свои страхи.

— Что ей больше всего нравится, — сказал он наконец, — это то, что все у нас так хорошо получилось.

— Твоя женитьба?

— Да… Вообще, вся моя идея. Что я, как ока-

залось, поступил правильно. Она этому очень радуется. Если бы она была несчастлива…

Но об этом даже не стоило говорить, и мистер Вервер сказал совсем о другом:

— Так ты думаешь, можно рискнуть поехать в «Фоунз»?

— Рискнуть?

— Ну, в нравственном смысле. О чем я сейчас говорил — как бы нам не впасть в спячку еще хуже прежнего. Мне почему-то кажется, что там мы больше всего становимся эгоистами.

Мегги решила доставить ему удовольствие, не вступая в спор по этому поводу, и просто спросила:

— А Шарлотта действительно готова к этому?

— О да, если готовы мы с тобой и Америго. Когда от Шарлотты добьешься наконец ответа, — продолжал мистер Вервер неторопливо, — каждый раз оказывается, что она хочет только одного — узнать, чего мы хотим. Для этого мы ее и взяли!

— Для этого мы ее и взяли, совершенно верно!

На том пока и остановились, хотя и с легким ощущением, что в их благополучие вкралась некоторая несообразность. Вернулись же к этой теме, когда Мегги заметила, как все-таки удивительно, что ее мачеха согласна в разгар сезона

променять шумное общество на практически полное одиночество в деревне.

— А, — отвечал мистер Вервер, — это оттого, что она, кажется, предполагает на этот раз собрать в поместье побольше гостей. Помнишь, мы ведь для этого ее пригласили тогда?

— Ах да, чтобы она немного оживила наше общество. — Мегги сделала вид, будто старательно припоминает, и свет их былой взаимной откровенности, засияв из далекого прошлого, вдруг так странно озарил некоторые вещи, что Мегги, пораженная, поднялась со стула. — Что же, спорить не приходится — «Фоунз» и впрямь не повредит немного оживления.

Мистер Вервер остался сидеть, а Мегги смотрела вдаль поверх его головы; картина, представлявшаяся ее мысленному взору, неожиданно дрогнула, словно тряхнуло невидимый мистический поезд, в котором ехали Мегги с отцом. На этот раз ей пришлось сделать паузу, чтобы взять себя в руки, прежде чем встретить его взгляд. Теперь ей была вполне ясна разница между поездкой в «Фоунз», которая, как выяснилось, была желанна всем, и путешествием ее мужа и отца вдвоем за границу, которое, насколько удалось установить, не нужно было никому. «Побольше

гостей» в поместье — вот, значит, в каком ключе намерены действовать отец с мачехой. В самом деле, теперь они вольны принимать неограниченное количество гостей, ведь никто уже не сможет преследовать мистера Вервера брачными домогательствами. То, о чем он сейчас говорил, представляло собой, по сути, прямое обоснование предложенного им переезда в загородное поместье, а что такое его предложение переезда, как не акт подчинения Шарлотте? Он смотрел в настороженные глаза дочери, сидя на стуле, но через минуту тоже поднялся, и тут-то оба спохватились, что хотели отыскать в парке малыша. Когда они наконец воссоединились с ребенком и сопровождающей его гувернанткой, все четверо отправились домой, не слишком торопясь и беседуя ни о чем. Впрочем, это не помешало Мегги вернуться на минутку к волновавшему ее вопросу.

— Если мы в деревне действительно будем приглашать гостей, знаешь, кого мне хотелось бы позвать в первую очередь? Может быть, тебе это покажется смешным… Каслдинов!

— Понимаю. Но почему мне это должно показаться смешным?

— Да потому, что мне и самой смешно. Я ведь

ее не очень люблю, и все-таки мне хочется повидаться с нею. «Чудно́», как говорит Америго.

— Но, согласись, она замечательно красива, — сказал мистер Вервер.

— Да, но дело не в этом.

— В чем же?

— Просто мне хочется, чтобы она была там, присутствовала, и ничего больше. Как будто она что-то значит; как будто из нее может что-нибудь выйти. Понятия не имею, что именно. Иногда она меня раздражает. Честно говоря, я даже не знаю, почему. Может быть, пойму, если мы будем достаточно часто видеться.

— А разве это так важно? — спросил отец, шагая рядом с ней.

Мегги ответила не сразу:

— Ты спрашиваешь, потому что она тебе нравится?

Мистер Вервер тоже помолчал немного, но затем подтвердил:

— Да, она мне, пожалуй, нравится.

На памяти Мегги это был первый случай, когда они с отцом разошлись во мнениях об одном и том же человеке. Объяснить это можно только одним: отец притворяется. Но идти на попятный было уже поздно, и Мегги, продолжая имитиро-

вать беззаботное веселье, заметила, что хотела бы также видеть в «Фоунз» Ассингемов, хоть они и далеко не новые знакомые. Тут уж не требовалось никаких объяснений; но все-таки удивительно, насколько ей было необходимо присутствие в «Фоунз» милой Фанни, как они ее называли между собой. Поразительная вещь: миссис Ассингем словно могла каким-то образом смягчить для Мегги постоянное ощущение Шарлотты рядом с собой. Как будто эти две дамы уравновешивали друг друга — вот она опять, навязчивая идея равновесия! Можно подумать, Мегги собралась посадить Фанни в качестве довеска на ту чашу весов, где находились они с отцом. На другой чаше будут Америго и Шарлотта. Выходит, требуются три человека, чтобы перевесить тех двоих. Пока эти невнятные мысли проносились у нее в мозгу, голос отца неожиданно ворвался в полумрак лучом сияющего света:

— Верно, верно! Давай пригласим Ассингемов.

— Пусть погостят подольше, как в старое доброе время, — прибавила Мегги. — Фанни говорила — «на правах постоянных жильцов». То есть если они захотят.

— На правах постоянных жильцов, как в старое доброе время, мне тоже это было бы очень прият-

но. Думаю, они захотят.

Мистер Вервер, как показалось Мегги, сказал это многозначительным тоном. И главное значение, видимо, заключалось в том, что ему их присутствие необходимо не меньше, чем ей. Он согласился, что обстоятельства переменились — значит, он признает, что нечто все-таки случилось и что миссис Ассингем, испытывая естественный интерес к ситуации, созданию которой активно способствовала, захочет принять участие в дальнейших событиях. В сущности, его неосторожные слова означают: Мегги должна радоваться, что ей есть на кого опереться. Короче говоря, если Мегги хотела потихоньку «прозондировать» отца, то сейчас он полностью раскрылся; пускай вначале она была еще не вполне уверена, теперь сомнений уже не оставалось. Возвращаясь домой, мистер Вервер держал внука за руку, раскачивая ее на ходу; ему никогда не надоедали бесчисленные пискливые вопросы, которыми малыш выстреливал, словно толстенький дикобраз иголками, и Мегги вдруг подумалось: может быть, равновесие было бы куда более реальным и не было бы нужды в этих невероятных ухищрениях, если бы судьба позволила Шарлотте подарить ему собственного маленького Прин-

чипино? Тем временем Мегги завладела второй рукой мистера Вервера, на этот раз — словно пытаясь потихонечку оттащить его назад, вернуть к тому, от чего они весь этот час всеми силами старались отдалиться; мистер Вервер, в свою очередь, тянул за собой малыша, а рослая мисс Богль, шествовавшая слева от них и служившая олицетворением семейных обязанностей, преисполненная сознания собственной значимости, тянула самое Мегги. Когда впереди показался дом на Портленд-Плейс, семейные обязанности предстали перед ними еще более наглядно. Пока они гуляли в парке, вернулись Америго и Шарлотта — вернее, это Америго вернулся, Шарлотта же, напротив, приехала с визитом — и оба стояли на балконе.

Он был с непокрытой головой, она успела сбросить манто, накидку или что бы ни было, но осталась в шикарной и дерзкой шляпке, вполне под стать ослепительному весеннему деньку — Мегги сразу же «учуяла», что шляпка новая, впервые надетая, но, как всегда, неподражаемо оригинальная и притом гармонично сочетается с остальным костюмом. Очевидно, они высматривали с балкона возвращающихся прогульщиков, дабы со всей возможной пунктуальностью вновь

принять их под свою опеку. Они были веселы, они были беззаботны в это восхитительное утро; они перегнулись через перила, окликая идущих внизу, нарушая скучное однообразие тяжеловесного черного дома и тем чуть ли не шокируя всю благопристойную Портленд-Плейс. А те, стоя на тротуаре, запрокинули головы вверх. Так смотрят на бастионы осажденного замка. Даже мисс Богль, превосходившая всех ростом, чуточку приоткрыла рот, словно взирая на некие высшие существа. Едва ли эта улица видела столько раскрытых ртов с тех самых пор, как маленькие оборвыши пели здесь жалобные песни на Рождество, выпрашивая пенни; тогда еще Америго, обожавший старинные английские обычаи, выбежал из дома, воскликнув: «Santissima Vergine![46]» — полюбоваться на юных хранителей традиций, а заодно и откупиться от них. Что касается Мегги, она сейчас раскрыла рот, поражаясь неутомимому трудолюбию этой деятельной парочки.

---

[46] Примечания: 46
Пресвятая Дева! (*ит.*)

6

Вот уже несколько недель миссис Ассингем не случалось наносить столь результативных визитов Мегги, но это упущение не замедлили исправить, как только начала обсуждаться дата всеобщего переселения в «Фоунз», более или менее одновременного для обоих домов. Мегги очень скоро сообразила, что возобновление прежних отношений со старинной подругой, о чем она говорила с отцом, — единственное, что не слишком ее выдаст. Даже отец, который всегда, как он выражался, верил в их старинную союзницу, не обязательно заподозрит, что ей требуется помощь Фанни для достижения какой-то определенной цели, особенно если Фанни будет держать себя так, как умеет только она. Миссис Ассингем, пожалуй, могла бы встревожиться, знай она, насколько безоговорочно Мегги полагается на ее способности. Собственно говоря, она и встревожилась, хотя чаяния Мегги открылись ей не вдруг, а сравнительно постепенно.

Среди прочего наша юная дама полагала, что ее путь к спасению, возможность защитить себя от подозрений в том, что у нее самой имеются

подозрения, находится в руках Фанни, поскольку та может служить своего рода внешним проявлением отношения Мегги к сложившемуся у них образу жизни. Это была, что называется, нелегкая задача, но ведь миссис Ассингем существовала в основном для заботы о Мегги, во всяком случае, ее можно было убедить посвятить себя такому служению. Мегги глубоко верила, что дело обстоит именно так, и эта вера была лучшим, прекраснейшим цветком из сорванных ею в пышно разросшемся саду всевозможных догадок и озарений, связанных с приемом на Портленд-Плейс в честь мэтчемской компании. В тот вечер миссис Ассингем, воспрянув от уныния, была полна отваги и сочувствия. Тогда-то она и показала (может быть, несколько неосторожно) свою осведомленность о существовании мрачных подводных глубин, и теперь уже было поздно пытаться исправить этот промах. И вот княгинюшка подступила к ней с таким видом, словно готова была высказать вслух все эти истины. Несомненно, Мегги была достаточно щепетильна, чтобы с самого начала намекнуть приятельнице, чего от нее ждут, однако объявила напрямик, что ничуть не стыдится, замечая у миссис Ассингем явное опасение по поводу возможных необыч-

ных просьб. В самом деле, Мегги сразу же начала говорить ей удивительные вещи, к примеру:

«Знаете, дорогая, вы можете мне помочь, как никто другой не сможет» или: «Клянусь, мне бы отчасти хотелось, чтобы с вами случилось что-нибудь ужасное, чтобы вы лишились своего состояния, или здоровья, или репутации (не обижайтесь, душечка!) — тогда я могла бы почаще бывать с вами или держать вас при себе, и никто бы этому не удивлялся, а говорили бы только, что такая доброта вполне в моем духе». У каждого из нас есть свои способы борьбы с собственным самоотречением, и Мегги, совсем не думавшая о себе, когда речь шла о муже или отце, или думавшая совсем чуть-чуть, слабо и неуверенно, когда речь шла о ее мачехе, в эту критическую минуту готова была без малейших угрызений совести принести в жертву личную жизнь и свободу миссис Ассингем.

Такая позиция заставляла Мегги с особым интересом приглядываться к внешнему облику и движениям души своей жертвы. У нее сложилось впечатление, что миссис Ассингем приготовилась к худшему и, пускай без шумных протестов, с тревогой пытается разузнать, чего же она, Мегги, добивается. И в конечном итоге — который был

на самом деле не так уж далек — выяснить это не составило для нее большого труда. Мегги почти неприкрыто дала ей понять, что считает ее ответственной за что-то; не стала сразу расставлять все точки над і, а всего лишь ненавязчиво выразила старшей подруге трогательное доверие. Как-то само собой получалось, что Фанни находится здесь, чтобы видеть и понимать, помогать и поддерживать. Как видно, добрая женщина полагала, что уже давно оказывает влияние на судьбу этой семьи и что любой поворот в их взаимоотношениях так или иначе проистекает из ее дружеского участия. И вот теперь на глазах нашей милой дамы ее юная приятельница воздвигла целую башню на фундаменте этого самого дружеского участия, примерно так же, как проказливый ребенок строит на полу шаткое сооружение из кубиков, не забывая поглядывать краешком глаза на взрослых, исподтишка наблюдающих за ним. Кубики то и дело обрушиваются, ибо это в природе кубиков, но придет время, постройка вознесется так высоко, что старшие будут вынуждены обратить на нее внимание и похвалить маленького строителя. Между тем миссис Ассингем, проявляя безоговорочную готовность всю себя отдать заботе о благополучии своих друзей, тщательно

избегала любых конкретных признаний.

С вниманием почти тревожным она была целиком поглощена очевидным счастьем своей подруги. По-видимому, Фанни считала само собой разумеющимся, что последние события неким не вполне понятным образом еще больше способствовали этому прекрасному состоянию души. Если княгинюшка в данную минуту находилась в свободном полете, Фанни готова была объявить всему миру, что видит ее полет, что всегда это предчувствовала и что в такой момент даже зов о помощи непременно содержит в себе триумфальную нотку. По правде говоря, в ее прекраснодушии угадывалась некоторая растерянность, а ее всепоглощающая веселость порой переходила границы разумного. Усиленная жизнерадостность была особенно заметна, когда им случалось, ненадолго расставшись, встретиться вновь. При таких встречах Мегги в первую минуту иногда приходили на ум совсем другие лица с совсем другим выражением, и прежде всего два воспоминания, до сих пор не потерявших яркости: потрясенное лицо мужа (Мегги наконец-то позволила себе признать, что это было именно потрясение), когда он впервые увидел ее после возвращения из Мэтчема, и изумление в пре-

красных, бесстрашных, нерешительных глазах Шарлотты на следующее утро, когда эта давняя подруга повернулась к ней лицом, стоя у окна в доме на Итон-сквер.

Если бы Мегги осмелилась думать об этих вещах грубо и прямо, она сказала бы, что Фанни боится ее, боится того, что она может сказать или сделать, точно так же, как боялись Америго и Шарлотта в течение нескольких коротких мгновений. Страх — вот что было общего в выражении трех лиц. Однако имелось и различие: у милой Фанни это необыкновенное выражение мелькало многократно, в то время как у тех двоих оно больше не появлялось ни разу. Его место заняли другие выражения, другие взгляды, спокойные и лучистые, достигшие высшей точки всего несколько дней назад, в то утро, когда парочка поднялась на балкон ее дома, посмотреть, чем они заняты с отцом; когда их красивые, радостные лица словно обогрели все вокруг своим дружелюбным интересом, обещая привет и защиту. Они слились в едином порыве не делать ничего, что могло бы удивить или испугать ее, и в силу долгой практики уже почти не опасались неудачи. Миссис Ассингем, со своей стороны, также не страшилась подобного исхода,

но чувствовала себя менее уверенно, поскольку меньше контролировала ситуацию. А потому ее безмерное оживление и осторожные улыбки, неизменно предшествующие ее появлению, подобно передовому стрелковому отряду, или как там называются эти подразделения, идущие впереди эшелона с ценным грузом, — словом, все эти маневры в течение последующих двух недель раз десять вызывали у нашей молодой дамы жгучее желание облегчить душу вызывающей репликой, которую у нее все же хватило ума придержать до более подходящего случая. «Вы до смерти боитесь, как бы я не начала жаловаться, и оттого звоните во все колокола, чтобы заглушить мой голос. Дорогая, не нужно плакать, пока вас не бьют! А главное, спросите себя, неужели я могу быть настолько вредной, чтобы пожаловаться? Подумайте, во имя всего, что есть невероятного на свете, на что же мне жаловаться?» До поры до времени княгинюшке удавалось удерживаться от подобных вопросов, и в этом ей немало помогла следующая мысль: не производит ли она сама на своего отца приблизительно такого же впечатления, как на нее — ее бесценная подруга? Как бы ей понравилось, обратись он к ней с такими же речами, какие она, щадя миссис Ассингем, день

ото дня оставляет непроизнесенными? Памятуя об этом, Мегги старалась обходиться со своей приятельницей поласковее, подобно тому, как мистер Вервер — святой человек, бесконечно терпеливый, но и абсолютно непостижимый, — обходился со своей дочерью. Все-таки она вырвала у миссис Ассингем обещание насчет длительного пребывания в «Фоунз», если не будет возражений со стороны полковника. Ей показалось особенно интересным и поучительным, что ее собеседница даже не подумала заметить, что, когда речь идет о длительном пребывании гостей, пусть даже это такие давние и преданные друзья, было бы неплохо поинтересоваться мнением Шарлотты.

Княгинюшка совершенно ясно видела, как Фанни отшатнулась от подобного намека, словно от края пропасти, и это опять-таки лишний раз напомнило нашей юной даме, что ей самой постоянно грозит опасность неосторожно приоткрыть окружающим тончайшие процессы, происходящие в ее душе. То, что Шарлотта начала возражать против присутствия Ассингемов, чего никогда не случалось прежде (по множеству вполне очевидных причин), уже само по себе много значило для Мегги, а бросающееся в глаза молчание Фанни придавало этому факту

еще более глубокий смысл. Особую пикантность происходящее приобретало в свете того обстоятельства, что необходимость вступиться за друзей вынуждала Мегги к активному противостоянию с мачехой, чего еще ни разу не случалось прежде. В то же время это давало миссис Вервер отличную возможность обратиться за объяснениями к мужу. О, с той минуты, как Мегги недвусмысленно уличат в противостоянии, возможности Шарлотты умножатся многократно! Что же будет с отцом, затравленно спрашивала себя Мегги, если с одной стороны на него поведет наступление жена, требуя призвать дочку к порядку, а с другой — сила многолетней привычки (чтобы не сказать больше) будет не менее неодолимо склонять беднягу доверять этой молодой особе во что бы то ни стало? Вот положение! Причин у Мегги столько, что от них деваться некуда, а рассказать о них невозможно — во всяком случае, отцу. Дом в деревне принадлежит ему, а следовательно, и Шарлотте; Мегги и Америго распряжаются им лишь благодаря щедрому гостеприимству истинных хозяев. Щедрость и гостеприимство отца, само собой разумеется, не знают границ, чего нельзя сказать с уверенностью в отношении миссис Вервер; да, если уж говорить начистоту,

было бы даже отчасти непорядочно навязывать Шарлотте гостей, которые ей не по вкусу. Впрочем, в иные минуты Мегги чувствовала, что готова принять бой, если бы только битва могла состояться без свидетелей.

Но об этом, к сожалению, не могло быть и речи. Одно соображение придавало Мегги силы: если Шарлотта «не захочет» Ассингемов, ей тоже придется привести какие-то основания. У Мегги все-таки был один безотказный способ парировать любые возражения и жалобы со стороны Шарлотты. Если отец спросит: «Какие у тебя причины, душечка?» — она всегда может ответить: «А у нее какие, любовь моя? Не лучше ли будет спросить об этом? Возможно, ей не хочется видеть возле себя людей, которые знают о ней кое-что, о чем она предпочла бы не осведомлять окружающих?» Исходя из чистой логики, можно бы пойти с этой отвратительной карты — к этому времени Мегги, успевшая за короткий срок проделать невероятно длинный путь, была способна узнать на ощупь любую карту в своей колоде. Но сделать такой ход возможно только при условии принесения отца в жертву, а это — запретная тема; настолько запретная, что у Мегги не хватало духа даже попытаться выяс-

нить, действительно ли он бы согласился быть пожертвованным. Она должна сделать то, что необходимо сделать, оставив отца в неприкосновенности. Подобная щепетильность не очень-то вязалась с упомянутой выше готовностью Мегги безжалостно манипулировать своими покладистыми друзьями. Сделавшись необыкновенно проницательной во всем, что касалось других, по отношению к себе самой княгинюшка была далеко не объективна. В противном случае она, пожалуй, могла бы посмеяться над собственной способностью наделять друзей таким ценным свойством, как толстокожесть. Получается, если она в состоянии притащить Ассингемов в «Фоунз» вопреки желанию Шарлотты, значит, и они как-нибудь выдержат. Словом, они должны не только найти в себе достаточный запас лицемерия и нахальства, но и позаимствовать у Мегги изрядную толику этих душевных качеств. А что времени им оставлено совсем немного, стало ясно однажды на Портленд-Плейс, когда у Мегги вырвались слова, которые только на первый взгляд могли показаться ни к чему не относящимися:

— Боже правый, да что же такое ужасное произошло между ними? Что тебе известно, скажи мне?

О, если судить по тому, как внезапно побелело лицо ее гостьи, такое начало могло завести бог знает куда! Но несмотря на бледность Фанни, что-то в ее глазах, в выражении лица только утвердило Мегги в мысли, что ее подруга ожидала услышать нечто подобное. Эта минута давно уже назрела, и теперь, когда первая судорога позади, между ними должны установиться более реалистичные отношения. Момент истины наступил потому, что было воскресенье и они сидели вдвоем за ланчем; по случаю скверной погоды, необычного для июня холодного дождя; из-за всех накопившихся сложностей и недоговоренностей, среди которых Мегги с трудом прокладывала себе дорогу. Америго и Шарлотта снова проводили уик-энд у знакомых. Этот визит Мегги с поистине адским коварством подстроила сама, желая посмотреть, отважатся ли они на этот раз поехать, а Фанни она, напротив, отговорила от запланированного визита и взамен заставила явиться к ней на скучный, бессмысленный, никому не нужный ланч; а все в честь того, что князь и миссис Вервер наконец-то предоставили ей возможность сказать о них чистую правду. На деле, впрочем, оказалось, что нужно еще понять, в чем состоит эта самая правда, хотя, с другой стороны,

в тот краткий промежуток времени, пока Фанни собиралась с мыслями для ответа, все вокруг словно кричало об этом — и время, и место, и вся обстановка, и прежде всего — непонимающие, наивно распахнутые глаза гостьи.

— «Между ними»? О чем ты?

— Да обо всем, чему не следует быть, чего не должно было быть все это время. По-твоему, что-то есть — или как ты думаешь?

Фанни, очевидно, думала в первую очередь о том, что ее юная приятельница изумила ее до потери дыхания; но она по-прежнему смотрела Мегги прямо в глаза и притом очень пристально.

— У тебя есть какие-то подозрения?

— Я уже совсем измучилась, потому и говорю об этих вещах. Прости, у меня как-то невольно вырвалось. Вот уже чуть ли не целый год я думаю и думаю. Мне не к кому кинуться, никто не может мне помочь разобраться в происходящем. Понимаешь, мне даже не с кем сравнить свои впечатления!

— Ты думаешь чуть ли не целый год? — поразилась миссис Ассингем. — Но, дорогая Мегги, что же такое ты думаешь?

— О, страшные вещи! Наверное, я просто маленькая дрянь. Что они, может быть, что-то

скрывают… Что-то нехорошее, чудовищное…

Румянец начинал понемногу возвращаться на щеки старшей из приятельниц. Хоть и с видимым усилием, она сумела побороть свое изумление.

— Бедное дитя, ты вообразила, что они влюблены? Вот в чем дело?

Но Мегги целую минуту лишь молча смотрела на нее вместо ответа.

— Помоги мне понять, что же я вообразила. Я ничего не знаю, только на душе все время так неспокойно! А у тебя?

Ты понимаешь, о чем я говорю? Если ты ответишь честно, у меня, по крайней мере, появится хоть какая-то определенность.

Взгляд Фанни сделался необыкновенно торжественным, как бы от полноты чувств.

— Значит, ты просто-напросто ревнуешь к Шарлотте?

— Ты хочешь знать, чувствую ли я к ней ненависть? — Мегги задумалась. — Нет, что касается отца, я ее ни в чем не виню.

— Ах, — возразила миссис Ассингем, — мне это и в голову не приходило. Я спрашиваю, ревнуешь ли ты по поводу своего мужа.

— Что ж, — ответила Мегги, помолчав, — возможно, в этом все дело. Я несчастна, вот и ревную;

по сути, наверное, это одно и то же. Во всяком случае, с тобой я не боюсь этого слова. Разве ты не понимаешь? Я мучаюсь, и больше всего — от беспомощности. И оттого, что я так беспомощна и измучена, остается только кусать носовой платок. Этим я и занимаюсь день и ночь, чтобы никто не услышал моих неприличных стенаний. Но сейчас, с тобой, я не могу больше сдерживаться и кричу от боли. Они далеко, — закончила Мегги, — они не услышат. Мне просто чудом удалось устроить так, чтобы отца не было с нами за ланчем. Вся моя жизнь — сплошные чудеса всяческих уловок и ухищрений, причем, признаюсь, половина из них — моих собственных рук дело. Я хожу на цыпочках, слежу за каждым словом, ловлю каждый вздох и при этом стараюсь казаться безмятежной, как кусок старого атласа, выкрашенный в розовый цвет. Тебе никогда не приходило в голову, какие чувства я испытываю на самом деле?

Ее собеседница демонстративно уточнила на случай возможных недоразумений:

— Ревность, страдание, боль? Нет, никогда, — ответила миссис Ассингем. — Но в то же время (можешь поднять меня на смех!), должна сознаться, я никогда еще не была настолько уверена,

что хорошо тебя знаю. Какая же ты, оказывается, скрытная! Я и вообразить не могла, что твое существование отравлено, и раз уж тебе захотелось узнать, что я думаю на этот счет, я тебе немедленно отвечу. На мой взгляд, ты терзаешься совершенно напрасно!

С минуту они смотрели друг другу в глаза. Мегги вскочила, подруга же ее продолжала сидеть как бы на троне и, сделав несколько беспокойных движений, застыла в неподвижности, купаясь в лучах света, пролитого ею самой на сложившуюся ситуацию. Эти лучи озарили пышную фигуру миссис Ассингем, и даже нашей юной даме как будто стало легче дышать в их благодатном сиянии.

— По-твоему, все последние месяцы и особенно в последние недели я была спокойной, естественной и непринужденной?

На этот вопрос ответить с ходу было явно нелегко.

— Я считаю и считала с самой первой минуты нашего с тобой знакомства, что ты необыкновенно хорошая, милая и к тому же красавица. И ни на кого не похожа, — прибавила миссис Ассингем почти ласкающим тоном. — Я всегда была уверена, что ты стоишь в стороне от уродливых

явлений жизни, даже не подозреваешь, что на свете существуют фальшь, грубость и жестокость, и оттого они ни в коем случае не могут тебя коснуться. Я никогда не соединяла тебя в мыслях с такими вещами; это всегда успеется, если что-то в таком духе посмеет приблизиться к тебе. Но пока ничего подобного нет и в помине, если ты именно об этом хотела узнать.

— Так ты считала, что я всем довольна, потому что глупа?

Этот смелый ход, замаскированный под легкую шутку, лишь вызвал у миссис Ассингем невозмутимую улыбку.

— Если бы я считала тебя глупой, ты была бы мне неинтересна, и тогда меня бы нисколько не занимало, «знаю» я тебя или нет. В одном я всегда была уверена: что в тебе скрыта немалая сила, и даже довольно большая для такой субтильной девушки, — улыбнулась Фанни. — Вот только я все-таки недооценила тебя, потому что ты никогда не выставляла напоказ свою силу, и я так и не смогла толком разобрать, где же она скрывается. Я могла лишь сказать — где-то в глубине, вроде того маленького серебряного крестика, — ты мне однажды показывала, — который благословил его святейшество и который ты всегда носишь

под платьем. Я лишь мельком сподобилась лицезреть эту реликвию, — продолжала Фанни, призывая себе в помощники право на юмор. — Но свою, скажем так, золотую сокровенную сущность, которую, я уверена, благословил Тот, кто выше самого папы, ты ни разу не соизволила показать мне. Да, наверное, и никому другому. Ты вообще чересчур скромна.

Мегги так старалась уследить за ходом мысли миссис Ассингем, что на ее гладком лбу чуть было не появилась маленькая складка.

— Я и сейчас кажусь тебе скромной, когда набрасываюсь на тебя с криками и воплями?

— О, признаю, крики и вопли — это, действительно, что-то новенькое. Нужно как-нибудь пристроить их к месту. Да вот беда — они, проклятые, никак не пристраиваются. Уж не хочешь ли ты прицепить их к тому факту, что наши двое друзей со вчерашнего до завтрашнего дня пробудут в таком месте, где смогут более или менее бесконтрольно встречаться? — Фанни задала этот вопрос с таким видом, словно она намеренно выбрала худшую из возможных формулировок. — Ты думаешь о том, что они там одни? Что они согласились на эту поездку?

Так и не дождавшись от Мегги ответа, Фанни

продолжала:

— Но ведь, когда в одиннадцатом часу ты сказала, что на этот раз решила не ехать, они хотели остаться?

— Да, конечно, они хотели остаться. Но я настояла, чтобы они поехали.

— В чем же тогда дело, мое дорогое дитя?

— Я хотела проверить, поедут ли они. А им пришлось, — пояснила Мегги. — У них не было другого выхода.

Фанни Ассингем, видимо, не совсем ее поняла.

— Пришлось поехать, потому что вы с отцом оба отказались?

— О, я говорю не о том, что они поехали из вежливости по отношению к тем людям. Нет, они поехали из-за нас с папой. Потому что теперь они знают.

— Они «знают»? — дрожащим голосом переспросила миссис Ассингем.

— Что я уже некоторое время назад начала обращать внимание на разные странности в нашей жизни.

Мегги видела, что ее собеседница готова была спросить, что это за странности, но в следующую минуту миссис Ассингем отринула столь амбициозный гамбит и выбрала другой, который,

видимо, показался ей лучшим.

— Так ты для того и сделала это? Я хочу сказать — отказалась от поездки.

— Я для того и сделала это. Чтобы предоставить их самим себе — а им этого все меньше и меньше хочется, или, во всяком случае, они все реже и реже решаются на это. Но иногда им приходится, — продолжала княгинюшка, — ведь они так долго всем заправляли у нас. — И так как миссис Ассингем, ошеломленная такой прямотой, не решилась ничего на это сказать, Мегги осведомилась: — Ну как, ты и теперь считаешь меня скромной?

Но Фанни всегда умела найтись с ответом, дайте только время.

— По-моему, ты ошибаешься. Я говорю тебе это потому, что на твой вопрос, безусловно, нужно отвечать с полной откровенностью. Я не вижу ровно ничего «ужасного» и ничего такого не подозреваю. Меня очень огорчает, — прибавила она, — что тебе приходят в голову подобные мысли.

Мегги снова одарила ее долгим взглядом.

— Тебе ничего похожего даже не мерещилось?

— Боже сохрани! Ведь я именно говорю как человек с воображением. Мне всю жизнь по-

стоянно что-нибудь мерещится. Потому-то, моя дорогая, я и вижу, что твой муж, которого ты считаешь увлеченным твоей мачехой, на самом деле непритворно и нежно интересуется лишь своей обворожительной, обожаемой женой. — Миссис Ассингем сделала паузу, давая Мегги возможность оценить силу ее аргумента, но так как Мегги промолчала, бедная женщина сделала довольно неуклюжую попытку увенчать свои рассуждения решающим доводом: — Он не допустит, чтобы у тебя хоть волосок с головы упал!

При этих словах на лице у Мегги появилось чрезвычайно странное выражение, долженствовавшее, по-видимому, означать улыбку.

— Ах, вот оно!

Но ее гостья уже неслась дальше:

— И я абсолютно убеждена, что Шарлотта тоже этого не допустит!

Княгинюшка так и осталась стоять перед ней все с той же причудливой гримасой.

— Да-да, Шарлотта тоже не допустит. Потому им и пришлось снова поехать вдвоем. Они боялись отказаться, боялись, что это меня встревожит, расстроит, как-то мне повредит. Я настаивала, твердила, что кто-то из нас обязан ехать, хотя папа с Шарлоттой на самом деле не приняли

приглашение наверняка. Вот они и испугались: если покажут, что боятся ехать вдвоем, то им грозит еще большая опасность, как бы я не почувствовала себя обиженной. Для них безопаснее всего по-прежнему жить заведенным порядком, с которым я как будто свыклась и против которого никогда не возражала. Удивительно, но они обо всем догадались, хотя я ни звуком, ни знаком не выдала себя, можешь себе представить? Во всяком случае, как я тебе говорила, их со всех сторон окружают опасности. Опасно действовать слишком смело, но опасно также, если у них не хватит духу действовать, так сказать, достаточно смело. — Пожалуй, к этому времени голос Мегги тоже сделался странен, под стать улыбке, которая проступила еще более явственно, когда Мегги закончила: — Вот так-то я теперь и заставляю их делать все, что я захочу!

Ее речь произвела сильное впечатление на миссис Ассингем.

— Мое дорогое дитя, ты меня изумляешь!

— Изумляю?

— Ты пугаешь меня!

Мегги задумчиво покачала головой.

— Нет, я совсем не страшная, и ты меня нисколько не боишься. Ну, конечно, удивляешься

немного, но удивляться нужно только моему терпению. Потому что — разве ты не видишь? — я очень терпеливая. Я все могу вынести.

— Ах, «вынести»! — пропела миссис Ассингем.

— Ради любви, — сказала княгинюшка.

Фанни переспросила неуверенно:

— К отцу?

— Ради любви, — повторила Мегги.

Такое недвусмысленное высказывание, по-видимому, поставило Фанни перед необходимостью выбрать одну из двух или трех возможных реплик, сильно отличающихся друг от друга. Впрочем, мал или велик был выбор, но ответ миссис Ассингем являл собою истинный шедевр.

— Так, значит, ради этой своей любви ты взялась доказывать мне, будто между твоим мужем и женой твоего отца существует любовная связь? — Княгинюшка молчала. — И такое обвинение, по-твоему, свидетельствует о терпеливом и кротком характере?

— О, я же не говорила, что буду кротка и терпелива с тобой. Но ты сама должна была видеть, как я терпелива и снисходительна по отношению к ним.

Миссис Ассингем снова возмутилась:

— По-твоему, это так называется, когда ты их

запугиваешь и заставляешь плясать под твою дудку?

— Ах, им нечего было бы бояться, если бы нечего было скрывать.

На этот раз миссис Ассингем прямо и твердо посмотрела ей в глаза.

— Ты хорошо понимаешь, что ты говоришь, душенька моя?

— Я говорю, что я растеряна, измучена, и мне не к кому обратиться за советом, кроме тебя. Я подумала, я даже была уверена, что ты и сама это заметила. Поэтому я надеялась, что ты меня поддержишь.

— Поддержу? Каким образом? Обвинив двух старинных друзей, которых я много лет всей душой любила и уважала и о которых не могу сказать ничего дурного?

Мегги взглянула на нее широко раскрытыми глазами.

— Нет, лучше обвини меня, чем обвинять их! Обвини меня, прошу тебя, если только это у тебя получится! — Похоже, она уже не раз об этом думала. — Если ты сможешь, не кривя душой, обвинить меня, разоблачить, доказать, что я просто низкая, подлая свинья…

— Что же тогда? — осведомилась миссис Ас-

сингем.

— Тогда, наверное, я буду спасена!

Но Фанни ответила не сразу. Целую минуту она сидела молча, устремив задумчивый, глубокомысленный взор в пространство поверх головы Мегги.

— Ты говоришь, что тебе не с кем поговорить, и утверждаешь, что сумела скрыть от всех свои чувства — как ты выразилась, ничем не выдать себя. А тебе не приходило в голову, что ты не только вправе, но даже и обязана, раз уж так получилось, поговорить с мужем?

— Я с ним говорила, — сказала Мегги.

Миссис Ассингем, пораженная, воззрилась на нее.

— Ага, значит, это неправда, что ты не показала ни словом, ни знаком…

Мегги помолчала немного.

— Я не устраивала сцен. Я не вставала в позу. Я не обвиняла его, не упрекала. Ты мне скажешь, что и при этих условиях можно наговорить немало гадостей.

— О! — вырвалось у Фанни, словно она никакими силами не могла удержаться.

— Но, по-моему, как ни странно, он не считает меня такой уж гадкой. Мне кажется, и это самое

странное, — проговорила княгинюшка, — в глубине души он жалеет меня. Да, я думаю, что в самой глубине души ему меня жаль.

Фанни снова была в недоумении.

— Жаль, потому что ты довела себя до такого состояния?

— Потому, что я несчастна, когда у меня есть столько причин быть счастливой.

— У тебя есть все, — живо откликнулась миссис Ассингем. Но она не сразу отважилась на следующую попытку. — Все-таки я не понимаю, каким образом, если ты ничего не делала…

Мегги нетерпеливо прервала ее:

— Не то чтобы я совсем ничего не делала…

— Что же тогда?

— Видишь ли, — ответила Мегги, помолчав, — он знает, что я сделала.

Ее слова вкупе с тоном, каким они были произнесены, и со всем обликом Мегги заставили миссис Ассингем надолго умолкнуть, тем самым невольно как бы признавшись, что она прекрасно поняла их значение.

— И что он сделал?

Снова Мегги выдержала минутную паузу.

— Он повел себя просто великолепно.

— Великолепно? Тогда чего же ты еще хочешь?

— Ну, как же! — воскликнула Мегги. — Чтобы можно было не бояться.

Вновь ее гостья запнулась в недоумении.

— Не бояться говорить?

— Не бояться не говорить.

Миссис Ассингем глубоко задумалась.

— Даже с Шарлоттой?

Мегги только глянула на нее и быстро отвернулась — это был жест такого отчаяния, что Фанни примолкла и лишь с болью смотрела, как ее младшая подруга остановилась у окна, выходящего на скучную улицу. Казалось, она потеряла последнюю свою надежду, надежду на понимание и сочувствие своего верного друга. Но уже через мгновение миссис Ассингем снова заговорила весьма решительным тоном, как бы обещая, что ничто еще не потеряно.

— Вижу, понимаю. Тебе пришлось бы учитывать слишком много разных вещей. — Княгинюшка стремительно обернулась к ней. Убедившись, что именно этой понимающей нотки она так ждала, Фанни пошла дальше: — Можешь не бояться.

Мегги поймала ее реплику на лету и тут же доказала это своим ответом:

— Благодарю тебя!

Как и следовало ожидать, это придало Фанни

смелости преподать ей еще несколько советов.

— Твоя идея подразумевает, что они поддерживают преступную связь день ото дня, среди полнейшего доверия и симпатии, мало того что у тебя на глазах, но и на глазах твоего отца. Я ни на минуту не могу в это поверить!

— Ах, вот именно этого я от тебя и ждала!

— На здоровье, душечка моя! — вздохнула миссис Ассингем.

— И ты никогда даже не думала ничего такого? — настаивала Мегги.

— Ни на мгновение! — ответила Фанни с высоко поднятой головой.

Но Мегги этого все-таки было недостаточно.

— Прости меня, что я такая гадкая. Но… ты можешь поклясться всем, что для тебя свято?

Миссис Ассингем посмотрела ей прямо в глаза.

— Моя дорогая, слово честной женщины!

— Спасибо тебе за это, — сказала княгинюшка.

Обе помолчали немного, потом Фанни спросила:

— Теперь ты веришь, душечка?

— Я верю тебе.

— Ну а я верю в них, так что итог один и тот же.

На это Мегги снова как будто призадумалась,

но в конце концов согласилась:

— Итог один и тот же.

— Значит, ты больше не чувствуешь себя несчастной? — улыбнулась гостья, подходя к ней поближе.

— Наверное, на какое-то время.

Но теперь пришел черед миссис Ассингем не удовлетвориться услышанным.

— Я ведь убедила тебя, что это невозможно?

Она раскрыла объятия, и через мгновение Мегги бросилась ей на шею, проявив свое облегчение несколько необычным способом.

— Невозможно, невозможно! — отвечала она более чем выразительно, но сразу вслед за тем разразилась слезами, словно оплакивая эту невозможность. Она цеплялась за свою подругу, крепко обнимая ее и горестно всхлипывая, так что вскоре та и сама заплакала в голос, безутешно и необъяснимо.

7

Как-то само собой решилось, что полковник с женой прибудут в «Фоунз» около середины июля с тем, чтобы «погостить всласть». Мегги добилась от отца обещания как можно дольше удерживать их. Решено было также, что в начале месяца, менее чем через неделю после собственного прибытия, чета с Итон-сквер будет ожидать приезда пары с Портленд-Плейс.

— Ах, мы должны дать вам время перевести дух! — заметила по этому поводу Фанни с невинной веселостью, обращаясь по очереди к каждому из участников описываемых событий.

Она как будто обретала опору и поддержку, подчеркивая ассингемовскую пунктуальность с уверенностью, доходящей до дружелюбного цинизма. Фанни предпочла в данном случае создать видимость корыстного расчета со своей стороны, всячески напирая на то обстоятельство, что гостеприимное приглашение Верверов пришлось очень кстати, ибо по причине прискорбной небрежности полковника сама она лишена сельского приюта под сенью струй, куда могла бы удалиться на время, пока в Лондоне за-

тихает светская жизнь. У себя дома она без устали рассказывала и пересказывала мужу все подробности своего — или, как она теперь называла, их — затруднительного положения. Когда супругам уже нечем было заняться на Кадоган-Плейс, они всегда могли вернуться к обсуждению удивительной крошки Мегги, с захватывающим и даже несколько зловещим интересом наблюдая, как разворачивается ее жизнь — эта тема осталась далеко не исчерпанной после исторической полночной беседы, коей мы были свидетелями. Она возникала с непреодолимой силой, стоило супругам остаться наедине, словно они вдвоем посадили деревце, которое теперь росло и крепло день ото дня, так что, увлекшись восхищенным созерцанием, они почти совсем позабыли о своей ответственности. В такие минуты миссис Ассингем утверждала, что за эту чудесную малышку готова стоять горой, и пусть целый свет, даже сам князь, также, впрочем, вызывавший у нее непомерное, беззастенчивое восхищение, считают ее вульгарной, назойливой старухой, на склоне лет окончательно утратившей всякое понятие о деликатности. Полковник, как мы видели, в кои-то веки заинтересовался переживаниями своей жены, но не потому, что сочувствовал ей, твердила

Фанни, не потому, что его волнуют ее заботы и горести, а потому, что, коль скоро она открыла ему глаза, он уже не мог отвести свой зачарованный и сделавшийся даже почти осмысленным взор от княгинюшки. Если теперь он влюбился в нее, что ж, тем лучше; это поможет ему, не дрогнув, перенести все, что они обязаны для нее сделать. Миссис Ассингем возвращалась к этому доводу при малейшей жалобе со стороны полковника. Невзирая ни на какие соблазны (а маленький демарш Мегги, безусловно, представлял собой соблазн), Фанни не позволяла мужу отвлечься от суровой реальности стоящей перед ними задачи.

— Говорю тебе, нам придется лгать ради нее, лгать до посинения.

— Лгать ради нее? — В такие минуты у полковника случались рецидивы былой непонятливости, поскольку он пока еще не совсем научился распознавать приметы старинного рыцарства в новом обличье.

— Лгать ей, лгать напропалую — это, по сути, все равно. Да и другим лгать придется тоже. Нужно убедить князя, будто мы доверяем ему, Шарлотту — будто мы доверяем ей, милого, славного мистера Вервера — будто мы доверяем всем и каждому. Словом, работы нам хватит, и самая большая

ложь — будто нам все это страшно нравится. А нам это ненавистно! Я бы рада была струсить, не думать о других, оставить все, как есть, вместо того, чтобы отказаться от всех общепринятых норм и представлений о человеческой порядочности! Я говорю только за себя, — прибавила она. — Тебе я дала прекрасную возможность влюбиться в Мегги, так что ты, конечно, будешь рад случаю оказаться поближе к ней.

— А как насчет того, — невозмутимо отвечал на подобные нападки полковник, — что у тебя тоже появился отличный повод оказаться поближе к князю? Ты сама признавалась, что увлечена им, а я, между прочим, никогда тебя этим не попрекал.

В самом деле, Фанни часто с удовольствием вспоминала о своем нежном чувстве к князю.

— Мне труднее, разве ты не видишь? Ведь я из преданности Мегги неизбежно вынуждена настроить его против себя.

— Как у тебя только получается: помогаешь скрывать его грешки и еще называешь это «преданностью Мегги»?

— Ах, тут многое можно было бы сказать. Такого рода грехи всегда интереснее любых других, по крайней мере, этого у них не отнимешь. Но

вообще говоря, все, что я делаю, я делаю из преданности Мегги. И важнее всего сейчас — помочь ей с отцом. Вот что ей особенно необходимо.

Полковник слышал это и раньше, но был неизменно готов продолжить обсуждение этой темы.

— Помочь «ей с отцом»?

— Ну, против отца, если угодно. Мы ведь с тобой об этом уже говорили. Главное, чтобы между ними не было сказано вслух о том, что у него появились сомнения. Здесь моя роль очевидна. Я должна поддерживать Мегги, поддерживать ее до конца. — Эту несложную мысль миссис Ассингем всегда изрекала в порыве возвышенного вдохновения, но сразу же неизменно делала оговорку. — Когда я говорю, что мой долг очевиден, я хочу сказать, что он абсолютен; а вот как ухитриться выполнить его, как поддерживать видимость изо дня в день, несмотря ни на какие трудности — это уже совсем другое дело, тут я готова с тобой согласиться. К счастью, у меня есть одно преимущество. Я всегда могу рассчитывать на нее.

В этот момент полковник, как правило не сдержав волнения, невольно приходил к ней на помощь.

— Можешь рассчитывать на то, что она не за-

метит твоего вранья?

— На то, что она меня не подведет, что бы ни заметила. Если только я, с Божьей помощью и в их общих интересах, ее не подведу, насколько мне позволяют мои слабые силы, то уж она-то будет стоять за меня насмерть. Она меня не выдаст. А ведь могла бы, ты же понимаешь. Для нее это было бы очень просто.

Это был самый зловещий участок их привычной, много раз хоженой дороги, но Боб Ассингем неизменно реагировал, словно впервые:

— Просто?

— Она могла бы совершенно опозорить меня перед отцом. Достаточно было бы дать ему понять, что еще до его женитьбы, и даже до ее замужества, я знала о тех отношениях, что существовали раньше между его женой и ее мужем.

— А как она может это сделать, если, по твоим же словам, она сама до сих пор не знает, что тебе об этом было известно?

На этот вопрос миссис Ассингем благодаря долгой практике умела ответить даже с изрядной долей величия. Пожалуй, уместнее всего ей было бы сказать, что тут-то и кроется самая большая ложь. Но она каждый раз говорила совсем другое, говорила звонко и ясно, как бы торжествуя над

грубой приземленностью полковника:

— Если бы Мегги сразу начала действовать под влиянием слепой обиды, как поступили бы на ее месте девяносто девять женщин из ста, и тем заставила бы мистера Вервера, в свою очередь, действовать, исходя из таких же естественных побуждений, естественных для девяноста девяти мужчин из сотни. Им стоит только объединиться против меня, — воскликнула бедняжка, — обоим счесть себя обиженными и обманутыми, обвинить меня друг перед другом в гнусной, лживой низости — и я погибла безвозвратно! В действительности, разумеется, я сама обманута, обманута князем и Шарлоттой, но они ведь не обязаны этому верить, они вообще никому из нас ничем не обязаны. Они вправе считать, что все мы были заодно, все дружно сговорились против них, и, при наличии хоть нескольких подтверждающих фактов, выгнать всех нас вон раз и навсегда.

Картина худшего из возможных исходов была так ужасна, что никакие повторения не могли смягчить жаркого румянца, вспыхивавшего на щеках миссис Ассингем при созерцании как отдельных фрагментов всей истории, так и ее уродливого целого, и ее недолгого эфемерно-благополучного периода. Фанни доставляло большое

удовольствие объяснять мужу, насколько реальна опасность, и, встречаясь с ним взглядом, видеть, как он чуть ли не бледнеет при мысли об их совместной компрометации. Главная же красота заключалась вот в чем: милый, обожаемый простофиля-полковник отзывался короткой тревожной нотой, как бывает, когда коснешься одной из клавиш слоновой кости у самого левого края фортепьяно.

— Сговорились… Да зачем тебе было сговариваться?

— Это же очевидно! Для того, чтобы обеспечить князю жену — ценой спокойной жизни Мегги. А потом обеспечить Шарлотте мужа — ценой спокойной жизни мистера Вервера.

— О да, небольшая дружеская услуга, которая, как оказалось, повлекла за собой некоторые осложнения. Но ведь ты-то старалась не ради этих осложнений, так что же тут плохого?

Фанни всегда поражало, что полковник со временем научился оправдывать ее даже лучше, чем она сама, терявшаяся перед ею же нарисованной картиной ужасного исхода, «худшего из всех возможных». Это ее неизменно забавляло, несмотря на все тревоги.

— Ах, дело совсем не в том, с какой целью я

вмешивалась — хотя нужно еще доказать, что я действительно вмешивалась. Но тут еще важно, как это истолкуют Мегги и мистер Вервер. Они вполне могут подумать, что я пожертвовала ими ради других, более близких друзей. — Решительно, ей доставляло удовольствие растравлять себя. — Разве они не могут подумать, что я старалась услужить князю любой ценой, прежде всего заботилась о его благе, иными словами — о том, чтобы обеспечить его в денежном отношении? Может быть, они видят во всей этой истории самую обыкновенную преступную сделку, нечто абсолютно мерзкое, нечто louche?[47]

Бедный полковник неизбежно отзывался, словно эхо:

— «Louche», душа моя?

— А разве не ты сам говорил об этом? Не ты первым указал на эту ужасную возможность?

Она говорила о его удачных высказываниях таким тоном, что полковнику и самому было приятно о них вспоминать.

— Это когда я говорил, что ты «увлеклась»?..

— Да-да, увлеклась человеком, которому я так старалась помочь. С непредвзятой точки зре-

---

[47] Примечания: 47
Нечистоплотное (*фр.*).

ния, это могло быть разве только материнское чувство, но в данную минуту нас не волнуют непредвзятые точки зрения. Перед нами два хороших, наивных человека, глубоко потрясенных отвратительным открытием; а такие люди почти всегда видят действительность в более мрачных красках по сравнению с теми, кто с самого начала трезво смотрит на жизнь. Вот с такой точки зрения, что могла я получить от своего приятеля в обмен на столь ценную услугу? Уж наверное, у меня был какой-то свой расчет. — Тут Фанни с мучительным удовлетворением довершала начатую картину: — И раньше бывали случаи, когда женщина, к которой мужчина равнодушен, которая нужна ему разве лишь в деловом плане, настолько теряет голову от страсти, что соглашается помочь ему добиться успеха у другой, только бы не терять его из вида, не расстаться с ним насовсем. Cela c'est vu[48], мой дорогой; случаются и более странные вещи — не мне тебе рассказывать! Что ж, очень хорошо, — завершала она свою речь, — поведение твоей женушки вполне можно истолковать именно в таком духе. Говорю тебе, ни у кого воображение не работает так бурно,

[48] Примечания: 48
Такое случается (*фр.*).

как у агнцев, пробудившихся от своих грез. Львы — ничто по сравнению с ними, ведь львов с самого начала приучают охотиться и перегрызать глотки, они закалены и не столь восприимчивы к превратностям нашей жизни. Признайся, тут есть о чем задуматься! К счастью, на самом деле, по-моему, все обстоит несколько иначе.

К этому времени полковник был уже полностью осведомлен о том, как именно, по мнению жены, обстоит дело, но он тоже был не прочь слегка развлечься. Если бы при этих милых семейных сценках присутствовал сторонний наблюдатель, полковник напомнил бы ему ребенка, который в двадцатый раз слушает любимую сказку и простодушно радуется, зная, что последует дальше.

— Если у них все-таки окажется чуть меньше воображения, чем ты предполагаешь, им, пожалуй, будет затруднительно придумать, какая тебе была выгода выдавать замуж Шарлотту. В нее-то ты не была влюблена!

— Ах, — неизменно отвечала на это миссис Ассингем, — это легко можно объяснить тем, что мне хотелось сделать приятное ему.

— Мистеру Верверу?

— Князю! Иначе она вполне могла выйти замуж за другого, с кем было бы далеко не так легко

и просто. Я сблизила их, предоставила им возможность встречаться, чего никогда не могло бы случиться, останься она незамужней или стань женой другого человека.

— В такой милой интерпретации получается, что ты намеренно помогла ей стать его любовницей?

— В такой милой интерпретации получается, что я намеренно помогла ей стать его любовницей. — Фанни поистине величественно изрекла эти слова — столь сильное впечатление они каждый раз производили и на нее саму, и, сколько можно судить, на ее мужа. — Благодаря неповторимым особенностям данной ситуации условия для этого сложились просто идеальные.

— Вплоть до того, что ты с полным самоотречением предоставила ему сразу двух прекрасных женщин.

— Даже вплоть до этого, такие уж чудовищные формы принимает мое безрассудство. Только насчет «двух» ты ошибся. Одну прекрасную женщину — и одно прекрасное состояние. Вот какие обвинения навлекает на себя чистое и добродетельное существо, когда слишком безоглядно отдается своей чистой добродетели, бескорыстному состраданию и сердечной заботе о других.

Voilà![49]

— Понял. Вот, значит, какого Верверы о тебе мнения.

— Вот какого Верверы мнения обо мне. Вернее, как они могли бы выставить меня друг перед другом, не будь Мегги таким божественным созданием.

— Она тебя помиловала?

Полковник всякий раз с предельной дотошностью выяснял все до конца, потому и стал так тонко разбираться в сокровенных мыслях жены.

— Она меня помиловала. Чтобы теперь, ужаснувшись тому, что я наделала, я могла помочь ей справиться с ситуацией. И мистер Вервер тоже меня помиловал, — прибавляла обычно Фанни с большим чувством.

— Так, по-твоему, он знает?

В этом месте миссис Ассингем делала многозначительную паузу, надолго погрузившись в свои мысли.

— Думаю, он помиловал бы меня, если бы и знал, — чтобы я могла помочь ему справиться с ситуацией. Или, вернее сказать, — поправлялась она, — чтобы я могла помочь Мегги. Это была

---

[49] Примечания: 49
Вот так! (*фр.*)

бы его главная цель, его непременное условие прощения. Точно так же, как ее главная цель, ее условие — чтобы я помогла ей уберечь отца. Но меня сейчас непосредственно занимает одна только Мегги. Ручаюсь тебе, от самого мистера Вервера мне ничего не приходится ожидать, ни слова, ни взгляда, ни вздоха. Таким образом, я, вероятно, каким-то чудом сумею избежать наказания за свои преступления.

— В том смысле, что тебя не будут винить?

— В том смысле, что меня не будут винить. А это непременно случилось бы, не окажись Мегги таким брильянтом.

— Таким брильянтом, чтобы стать на твою сторону?

— Да, да, на мою сторону. Мы с ней поняли друг друга вполне, все решено и подписано. — И, снова впадая в мрачную задумчивость, миссис Ассингем восклицала: — Мы заключили с ней договор на высшем уровне. Она дала торжественную клятву.

— Словами?

— О да, и словами тоже, без них ведь тут не обойтись. Пока я лгу ради нее, она будет лгать ради меня.

— Что значит «она будет лгать»?

— Делать вид, будто она верит мне. Верит, что они невиновны.

— Значит, она положительно убеждена в их виновности? Сделала такой вывод окончательно и бесповоротно, без всяких доказательств?

И вот здесь-то Фанни Ассингем каждый раз приходила в нерешительность, но в конце концов с тяжелым вздохом находила удовлетворительное решение.

— Это не вопрос веры, и доказательства здесь ни при чем, есть ли они, нет ли их. Для Мегги важнее всего природное чутье, непреодолимое чувство. Она просто знает, что между ними что-то есть, и все тут. Но она не делала никаких выводов, как ты выражаешься, она наотрез отказывается этим заниматься. Она шарахается от любых рассуждений именно для того, чтобы, не дай бог, не прийти к каким-нибудь выводам. Уводит корабль в открытое море, подальше от прибрежных рифов, а от меня ей нужно, чтобы я держалась рядом. А мне того и нужно, я и сама боюсь этих рифов как огня. — После чего Фанни неукоснительно разъясняла полковнику все тонкости. — Доказательства ей не нужны. А были бы нужны — мое согласие сражаться на ее стороне уже послужило бы доказательством. Нет, ей

хочется, чтобы ее догадки опровергли. И в то же время она старается заручиться моей помощью, вот что самое поразительное! Если вдуматься, это и в самом деле великолепное решение. Если я буду достаточно нагло покрывать тех двоих, порхая вокруг них беззаботно, как птичка, Мегги, со своей стороны, сделает все, что сможет. Одним словом, если я их усмирю, это позволит Мегги выиграть время и чего-нибудь в конце концов добиться. В частности, если я возьму на себя Шарлотту, Мегги позаботится о князе. Тут-то ей и понадобится время, и все это просто чудесно и удивительно, трогательно и возвышенно до последней степени.

— Но какое «время» она имеет в виду, бедная малышка?

— Для начала — нынешнее лето в «Фоунз». Разумеется, Мегги сейчас каждую минуту ходит по краю, но, видимо, она считает, что в «Фоунз», где на первый взгляд риск кажется больше, на самом деле она будет лучше защищена. Там любовникам — если только они любовники! — придется вести себя осмотрительнее. Они сами это почувствуют, если еще не совсем потеряли голову.

— А они еще не совсем потеряли голову?

При этом вопросе бедняжка Фанни каждый раз

приходила в растерянность, но в конце концов изрекала в ответ таким тоном, будто отдавала свой последний шиллинг на покупку некой совершенно необходимой вещи:

— Нет!

А полковник каждый раз умехался:

— Это уже вранье?

— Неужели ты считаешь себя настолько значительным лицом, чтобы тебе стоило лгать? Не будь это правдой для меня, я бы не согласилась ехать в «Фоунз». Я уверена, что сумею держать в узде этих несчастных.

— Но как — если дойдет до худшего?

— О, не говори мне о худшем! В лучшем случае их должно удержать уже одно то, что мы будем рядом. Наше присутствие будет действовать на них само по себе, неделя за неделей. Вот увидишь.

Полковник был вполне готов увидеть, но все-таки желал бы окончательных гарантий.

— А если не получится?

— Опять ты говоришь о худшем случае!

Что было вполне возможно. Потому они и разговаривали с утра до ночи в эти трудные дни?

— А остальных кто удержит?

— Остальных?

— Их-то кто заставит молчать? Если у твоей

парочки в самом деле были какие-то совместные дела, наверняка не обошлось совсем без свидетелей. Кто-то должен был им помогать. Пусть всего несколько человек, но кто-то об этом знает или хотя бы догадывается. Они должны были где-то встречаться, скрываться, как-то устраиваться, и при этом чем-то выдали себя; а иначе из-за чего и волноваться? Значит, если где-то в Лондоне имеются улики…

— То должны быть и люди, которые держат эти улики в руках? Ах, и совсем не обязательно только в Лондоне, — неизменно спохватывалась Фанни. — Естественно, что-то должно было быть и в других местах — кто знает, что за странные приключения, уловки и утайки? Но что бы ни было, все прямо на месте похоронено и забыто. О, они это умеют, слишком даже хорошо умеют! И все равно, ничто из этого не нашло бы дорогу к Мегги само по себе.

— Считаешь, каждому, кто мог бы что-то ей рассказать, так или иначе заткнули рот? — Полковник не давал жене времени ответить — он с таким наслаждением предвкушал этот момент! — Что, например, могло заткнуть рот леди Каслдин?

Но Фанни отвечала без запинки:

— Сознание, что не следует швыряться камнями в чужие окна, когда у тебя у самой хватает забот охранять собственные стеклянные стены. Этим она и занималась в то последнее утро в Мэтчеме, когда мы все уехали, а она задержала князя с Шарлоттой. Она им помогла просто для того, чтобы помочь себе — а не то так даже этому своему ничтожному мистеру Блинту, с нее станется! В тот день они и сговорились, прямо под самым ее носом. Ведь мы знаем, в тот день они снова появились на людях только к вечеру. — Над этим историческим обстоятельством миссис Ассингем всегда готова была пригорюниться, но, погрустив, добавляла с неизменной религиозной истовостью: — Но больше нам ничего не известно, и слава Богу!

Полковник не столь бурно выражал благодарность Провидению.

— И чем же они занимались с той минуты, как вырвались на свободу, до того времени (ты, кажется, говорила, уже поздним вечером?), когда появились каждый у себя дома?

— Вот уж это тебя не касается!

— Да я и не говорю, что меня касается, но это очень даже касается их. В Англии всегда можно выследить человека, если понадобится. Рано или

поздно что-нибудь да случится, кто-нибудь рано или поздно нарушит тишь да благодать. Убийство не скроешь.

— Убийство — да, но здесь у нас не убийство. Может быть, совсем напротив! Право, я убеждена, — замечала Фанни иной раз, — ты бы предпочел, чтобы прогремел взрыв, тебя бы это развлекло.

Но намек Боб Ассингем обычно пропускал мимо ушей. Чаще всего он спокойно курил, после чего, очнувшись от созерцательного настроения, высказывал неожиданную мысль, от которой его так и не отвратили не раз повторенные неопровержимые доводы.

— Чего я никак не могу понять, это — что ты все-таки думаешь про старикана?

— До невозможности нелепого и чуточку тронутого умом мужа Шарлотты? Ничего я о нем не думаю.

— Прошу прощения! Сама только что проговорилась. Ты его иначе и не представляешь, как до невозможности нелепым и чуточку тронувшимся умом.

— Что же делать, он такой и есть, — неизменно признавала Фанни. — То есть, может быть, он и великий человек. Но это не мое мнение, а просто

слабое выражение моей потребности увидеть в нем какие-то неведомые глубины. А это тоже не мнение. Видишь ли, он может оказаться и просто глупым.

— Точно! Вот то-то и оно.

— Но с другой стороны, — неумолимо возражала Фанни, — он может оказаться необыкновенно замечательным, даже еще лучше Мегги. Возможно, уже и оказался. Но этого мы никогда не узнаем. — В голосе Фанни прорывалось легкое сожаление, хотя такая возможность для нее означала избавление. — В чем в чем, а в этом я отдаю себе отчет.

— Ну, знаешь ли… — Даже сам полковник невольно начинал чувствовать себя обделенным.

— Я даже не уверена, узнает ли Шарлотта.

— Ах, душа моя, чтобы Шарлотта да чего-нибудь не знала!

Но Фанни упорно хмурила брови.

— Я даже не уверена, узнает ли князь. Словом, оба они остались обездоленными. Они будут гадать, мучиться, ломать себе голову. Но они ничего не будут знать наверное. Это и будет их наказание, — говорила Фанни Ассингем. И заканчивала с не меньшим пафосом: — И мое тоже,

если только мне удастся отделаться так легко.

— А в чем же мое наказание? — спрашивал ее муж.

— Ни в чем. Ты недостоин наказания. Наказание — в том, что мы чувствуем. Мы умеем чувствовать, потому и будем наказаны. — Она была великолепна, когда тоном вещей прорицательницы роняла это «мы». — И отмерять наказание будет сама Мегги, собственной рукой.

— Мегги?..

— Она-то все будет знать о своем отце. Все до точки. Все, — еще раз повторяла Фанни. И с неимоверным отчаянием отворачивала лицо свое от пророческого видения. — Но она ни за что нам не расскажет.

8

Если бы Мегги не приняла твердого решения никому, даже лучшей своей подруге, не рассказывать больше, чем нужно, об отце, то она бы сильно рисковала поддаться искушению в течение недели, которую провела с мужем в Лондоне после того, как остальные двое переселились на лето в «Фоунз». Дело в том, что весь прежний уклад их жизни придавал сложившейся ситуации некий противоестественный оттенок. Сама Мегги, конечно, к этому времени привыкла иметь дело с различными странностями, но с трудом обретенный шаткий душевный покой мгновенно покидал ее, стоило подумать о том, что ничего не ведающий родитель остался с ними наедине, то бишь — наедине с Шарлоттой. В представлении Мегги эти вещи были равнозначны, как ни странно, хотя она вполне отдавала должное умению Шарлотты не только поддерживать видимость благополучия, но и значительно приукрашивать ее. Именно этим Шарлотта занималась — правда, в несопоставимо менее трудных условиях — все долгие месяцы пребывания супругов Вервер за пределами Англии, прежде чем обе пары вос-

соединились вновь в целях наиболее полного проявления их многочисленных и разносторонних достоинств, принесшего — во всяком случае, с точки зрения падчерицы миссис Вервер — такие удивительные плоды. Теперь искусству Шарлотты предстояло выдержать тяжелое испытание, ибо, хотя период времени на этот раз был чрезвычайно краток, зато условия задачи радикально изменились. Княгинюшка время от времени одергивала себя, вспоминая, что истинные «отношения» между отцом и его женой ей неизвестны, да, строго говоря, ее и не касаются. И все-таки она не могла, по ее собственному выражению, спокойно смотреть на воображаемую картину их показной идиллии в уединении загородного поместья. Какой уж тут покой, когда в душе шевелится довольно странное желание, временами вытесняющее другое, гораздо более естественное. Если Шарлотта взялась грешить, пусть бы уж грешила пострашнее! Отчего-то именно такая мысль являлась у Мегги вместо того, чтобы ей пожелать Шарлотте вести себя получше. Как это ни удивительно, но Мегги было бы легче, если бы перед ней не маячил образ мачехи среди прекрасных лесов и милого старого сада, в ореоле доверия пятидесяти разных сортов

и двадцати видов нежности, никак не меньше. Нежность и доверие — чего же еще и ждать от очаровательной женщины по отношению к мужу? Но тончайшая ткань убаюкивающей безмятежности, сотканная руками этой леди, прочно опутавшей ею своего спутника жизни, представлялась Мегги удушливым покрывалом, из-под которого мистер Вервер то и дело устремлял свой взор на дочь. Издали его взгляд казался еще более красноречивым. Там, за городом, совсем один, он яснее сознавал собственные подозрения, он чувствовал, что его намеренно стараются не потревожить, не причинить боль. Мегги и сама уже много недель не сморгнув наблюдала за ходом сего человеколюбивого процесса; она гордилась тем, что сумела вынести это, не подавая вида, но все ее усилия окажутся напрасными, если миссис Вервер повторит с отцом ту же ошибку, которую допустила с дочерью — потеряет чувство меры, бросаясь из крайности в крайность в своих стараниях исправить прошлые ошибки. Впрочем, согреши бедная женщина хуже, кто может сказать с уверенностью, что мужу ее от этого было бы лучше?

Среди подобных вопросов приходится пробираться ощупью, наугад. Княгинюшка не могла

даже утверждать наверное, что ее собственный Америго, оставшись в городе с нею вдвоем, сумел найти золотую середину не слишком преувеличенной галантности, какая, по его расчетам, должна была окончательно смести оставшиеся сомнения. По правде говоря, ее осаждали тысячи разнообразных страхов. Бывали минуты, когда ей казалось, что все эти дни — всего лишь бесконечное повторение той ночной поездки в карете, несколько недель назад, когда он пытался воспользоваться своей колдовской властью над нею и заставить сдаться, отбросив всякую логику. Признаться, оставаясь с ним наедине, она рано или поздно неизбежно спрашивала себя: что там еще осталось от ее логики? И все-таки, пока Мегги не проронила ни единого звука, который можно было бы истолковать как обвинение, она еще могла цепляться за спасительные остатки внешнего благополучия, охранявшие ее от прямого наступления. Вот чего она страшилась больше всего; вздумай он повести наступление всерьез, она отнюдь не была уверена, что не поддастся слабости, не даст ему в руки неотразимого средства, которое он сможет применять снова и снова. Итак, поскольку Мегги пока не давала ему ни малейшего повода утверждать, будто она перестала

доверять ему или будто чаша ее счастья стала хоть на пушинку менее полновесной, у Америго оказывалось громадное преимущество, несмотря на все ее потуги. В настоящее время ей было совсем не нужно, чтобы он пытался «загладить» какие бы то ни было провинности. Кто знает, в какие дебри это может завести, на какие безрассудства покорной, губительной слепоты толкнуть ее? Она все еще была слишком беззащитна перед своей любовью, и потому не могла допустить, чтобы он вел себя с нею так, словно один из них чем-то провинился перед другим. В порыве минутного эгоизма что-нибудь или кто-нибудь непременно падет жертвой, и кто же именно из них из всех? Нет, сейчас, как никогда, ей необходимо было точно знать, на каком она находится свете. Знание! Знание манило ее и завораживало. И вот еще одна странность: страх, что он внезапно обратится к ней с какими-нибудь расплывчатыми заверениями, смешивался у Мегги с настоятельной потребностью простить его, успокоить, откликнуться на его призыв, и причины этого были ей вполне ясны. Чтобы действовать, необходимо понимать, для чего все делается; но в то же время это означало понимание ужасной правды и о другом. Америго мог бы рассказать ей

лишь то, что ему нужно, что поможет ее растрогать, и тогда она в полной беспомощности сдастся на милость победителя. А значит, ее непрочная безопасность, весь ее недолгий успех зависит от того, чтобы Америго не заметил, не догадался, как близка она к капитуляции. Это следовало скрывать любыми средствами, буквально каждый час, каждую минуту — теперь, когда они постоянно были на глазах друг у друга. Каждый час, каждую минуту Мегги ожидала увидеть по какому-нибудь незначительному признаку, что он изготовился к броску. «Да-да, все было так, как ты и подумала. Я ненадолго уклонился в сторону, вообразил себя свободным, щедро раздаривал себя направо и налево, потому что думал, ты не такая — не такая, какой я сейчас тебя вижу. Все случилось только потому, что я не знал. Но, согласись, ты почти ничем не помогла мне. Я хочу сказать — не помогла избежать этой ошибки, в которой я сознаюсь, в которой раскаиваюсь, за которую готов понести самую изощренную кару и которую с твоей помощью, я верю, я знаю, смогу навсегда оставить в прошлом».

Мегги, постоянно настороже, так и слышала, как он произносит эти слова. Но еще один день подходил к концу, и еще следующий, а ничего

не было сказано, и напряжение достигло такого накала, что даже капитулировать стало уже невозможно. Мегги держала себя в руках, памятуя о своей цели, и тяжкий труд постоянного самоконтроля вкупе с непрестанными усилиями скрыть эту борьбу скреплял их обоих вместе стальными обручами, по сравнению с которыми простая, бесхитростная страсть показалась бы всего-навсего напрасным сотрясением воздуха. Самой грозной опасностью или, по крайней мере, самой большой заботой представлялась Мегги неотвязная мысль: если он действительно что-то подозревает, то ее значение должно неминуемо вырасти в его глазах. Пытаясь определить для себя пределы необходимого лицемерия по отношению к Америго, как раньше — к отцу, Мегги видела, среди прочего, что обязана вопреки всему доказывать собственную незначительность. Одно-единственное прикосновение Америго — о, она должна отдавать себе в этом отчет, на всякий случай, если такое случится! — легчайшее касание его руки, его губ, его голоса, вызванное подлинным интересом к ее особе, без связи с ее нынешней печалью, — и она пропала отдана ему во власть, связанная по рукам и ногам. Следовательно, чтобы сохранить свою свободу, потеряв

которую она самым презренным образом подведет отца, необходимо скрывать эту значимость, непомерно увеличившуюся даже в ее собственных глазах, сгибалась под ее непосильным грузом, подобно какой-нибудь крошечной букашке, изнемогающей под тяжестью песчинки.

У нее еще доставало сил кое-как перемогаться в надежде, что скоро все изменится, ведь навечно ее не хватит! А потому неделя ничем не разбавленной конфронтации, изобилующая новыми вехами, принесла весьма неожиданный результат: Мегги уже с нетерпением ожидала воссоединения с привычными спутниками, надеясь, что ей станет хоть немного легче, как только они снова соберутся вместе. С каждой минутой Мегги становилась все более искусной мастерицей полутонов — ведь чем чаще они с мужем оказывались вдвоем, тем больше было возможностей для вспышки, озаряющей все вокруг; но ей приходилось иметь дело с противником, который тоже был мастером полутонов, и стоило Мегги хоть на мгновение утратить бдительность, она ненароком открыла бы ему глаза на истинную природу этой борьбы. Собственно говоря, думая о нем, как о своем противнике в этих тонких материях, о том, что он и сам может ощутить себя

таковым, — одним словом, противопоставляя его себе хотя бы в мыслях, Мегги с трудом сдерживала рвущийся наружу крик ужаса. Да стоит ему только догадаться, что между ними происходит незримая битва и что битву эту затеяла и ведет с необыкновенным размахом сама Мегги, которую все привыкли считать глупенькой малышкой… Если он только догадается об этом прежде, чем они уедут из города, она действительно пропала.

В «Фоунз» можно будет чуточку перевести дух, ведь там так много отвлекающих факторов, которые неизбежно притупят наблюдательность Америго, хотя бы уже потому, что отец Мегги с всегдашней своей невероятной доброжелательностью наверняка предъявит права на значительную долю времени и внимания зятя. К тому же его будет отвлекать и сама Шарлотта. Безусловно, Шарлотта снова примется помогать ему ловить малейшие многозначительные симптомы, но Мегги видела, что это может скорее в какой-то мере способствовать сохранению тайны ее собственных подспудных переживаний. Не так уж неправдоподобно было бы даже предположить, что Мегги различила блеснувший вдали луч утешения, засиявший еще ярче при мысли о том, как может подействовать

на князя с его восприимчивостью, с его тонкой нервной организацией постоянная близость неотразимого тактического гения миссис Вервер. В сущности, говорила себе Мегги, у него просто снова появится возможность понаблюдать, как эта леди наблюдает за самою Мегги. Что ж, очень хорошо; учитывая его собственный внутренний разлад, долго ли ему будет доставлять удовольствие оставаться простым зрителем? К этому времени Мегги успела убедиться в том, что в присутствии Шарлотты князь уступал сторожевые обязанности ее мачехе, как более изощренной в этом нелегком деле. Не утомит ли его — чтобы не сказать больше — постоянное созерцание Шарлотты на крепостном валу, неизменно прямой и элегантной, держащей кружевной зонтик то сложенным по команде «Смирно!», то раскрытым по команде «На плечо!» и бодро марширующей размеренным шагом на фоне блистающего зарей востока или запада? Право, дело далеко зашло, если Мегги приходили в голову подобные мысли; впрочем, она сразу же одергивала себя напоминанием, что цыплят по осени считают. Многое еще предстоит выяснить и уладить, прежде чем она увидит скучающее выражение на лице Америго и верно угадает причину этой скуки!

А тем временем Мегги пустила в ход еще одну уловку, чтобы немного разрядить напряжение. Она под любыми мало-мальски правдоподобными предлогами привлекала миссис Ассингем к участию в их совместных развлечениях; скажем, приглашала ее поехать вместе с ними осматривать какие-либо достопримечательности, которые они посещали так же неукоснительно, как члены королевской семьи — благотворительные базары. Ближе к вечеру также осуществлялись различные хитроумные комбинации; к примеру, Мегги вдруг приходил каприз пригласить дорогую Фанни, а заодно и полковника в оперу, а кто поет — не имело значения; или у нее ни с того ни с сего пробуждался жгучий интерес к развитию британского драматического искусства. Добросердечная чета с Кадоган-Плейс по первому требованию безропотно являлась к ним обедать, а после обеда покорно отправлялась на любые светские мероприятия, которые княгинюшка, расхрабрившись, взяла за правило украшать своим присутствием. В таких случаях Мегги, так сказать, срывала мимоходом цветы ярких впечатлений и нервно теребила в руках свой скромный букетик, собранный в окружавшем ее дремучем лесу, усердно создавая для своих спутников и

прежде всего — для мужа видимость беззаботной прогулки. Были у нее свои никому не видимые моменты, полные захватывающего интереса, доходящего до восторга; в частности, временами ее глубоко изумляло, а иногда и смешило сознание, что она вовсю использует свою подругу и притом еще может позволить себе роскошь обходиться без каких-либо объяснений. Никогда, никогда больше ей не придется ничего объяснять Фанни Ассингем — пусть бедняжка сама все объясняет хоть всю свою жизнь, ведь она гораздо изобретательнее. Мегги переложила бремя объяснений на плечи Фанни, предоставив этой милой даме испытать на себе его тяжесть. Великолепная в своем невинном эгоизме, Мегги не задавала ей вопросов и тем лишь подчеркивала, какую потрясающую возможность она ей дарит. Ее ничуть не заботило, что Ассингемы, возможно, уже «ангажированы» на тот или иной вечер; для Мегги это были мелочи, и душа ее не содрогалась при мысли о том, на какие мучительные извинения и перестроения она их обрекает. И ведь все сходило ей с рук! В те дни княгинюшка при всей своей лихорадке сохраняла твердость алмаза — такого маленького алмазика с острыми гранями, в которых порой сверкающими искрами вспыхивало

сознание собственной власти творить и созидать. В любую минуту она могла по своей прихоти представить и себя, и мужа в таком свете, что для них становилось абсолютно естественным появляться всюду в сопровождении избранных придворных. Чему же, как не этому, научила ее Шарлотта в течение предыдущих долгих недель, старательно исполняя добровольно взятую на себя роль свиты при царственных особах?

Итак, прецедент был установлен раз и навсегда. А там пускай миссис Ассингем — за столом ли, на лестнице, в карете или оперной ложе, со своим вечным пристрастием к излишне выразительным жестам, особенно если в дело замешан мужчина, — сколько угодно поглядывает на Америго со значением; этого Мегги нисколько не боялась. Пусть предостерегает его, пусть корит, пусть утешает. Пусть даже влюбится в него — как будто вообще возможно в него не влюбиться! Даже это было ей позволено, поскольку касалось только их двоих. Лишь бы Фанни выполняла свою задачу, большего от нее не требовалось. Собственно, желая показать, что благодарна ей за помощь, Мегги однажды высказала вслух идею, которую втайне давно лелеяла — непреодолимо притягательную, чарующую идею нанести визит

в музей, к мистеру Крайтону. Мистер Крайтон, как сразу же припомнила миссис Ассингем, был самым образованным, самым обязательным из должностных лиц; он знал всех, и все знали его, и в частности, именно он по доброте душевной, а также из любви к искусству и истории, стал в свое время одним из путеводных огней в изобилующем опасностями путешествии мистера Вервера. Будучи хранителем одного из богатейших отделов великого национального собрания бесценных экспонатов, мистер Крайтон искренне сочувствовал одержимости частного коллекционера, охотно направлял его и поддерживал, даже когда приходилось смотреть, как тот забирает себе лучшие трофеи, павшие жертвой скудости государственного финансирования. В своем дружелюбии он доходил даже до таких высказываний: если уж Лондон из-за мелочной экономии то и дело упускает редчайшие находки, можно почти утешиться, глядя, как эти заблудшие овечки, дразняще позвякивая своими серебряными колокольцами, рано или поздно уплывают одна за другой к берегам Миссисипи, в волшебную долину чудес, уже успевшую прославиться на весь мир. Его «почти» были по-своему неотразимо обаятельны, и перед ними невозможно было

устоять, особенно после того, как Мегги и мистер Вервер убедились — или опять-таки почти убедились — что обладают монополией на эти приятные уверения. Итак, зависть музейного хранителя переродилась в симпатию под влиянием более близкого знакомства с отцом и дочерью, и в результате мистер Крайтон занял почетное и ответственное место в обоих домах, но особенно на Итон-сквер. По его приглашению, вспомнила Фанни, Мегги однажды, давным-давно и при ее, Фанни, непосредственном участии, а также ввиду славного имени, которое теперь носила, совершила паломничество в одно из главных святилищ верховного музейного храма — альков со стеллажами, полными увесистых томов в золотисто-коричневых старинных итальянских переплетах, отделанных золотом и слоновой костью, и все эти тома были посвящены генеалогическим записям древнего княжеского рода, к которому принадлежал Америго. По крайней мере, такое впечатление возникало при первом взгляде на них и держалось необыкновенно прочно, хотя в силу суровой необходимости так и осталось поверхностным, по каковому поводу у Мегги вырвался совершенно очаровательный вздох огорчения. Она решила непременно как-

нибудь прийти туда еще, порыться получше, не торопясь и со вкусом, но миссис Ассингем что-то не могла припомнить ни одного повторного визита. В счастливой жизни Мегги он постоянно уступал место разнообразным другим визитам, каждый из которых по-своему служил подтверждением высокой степени благородства крови Америго, ее богатого состава и многочисленных замечательных родственных связей; ну а позднее, очевидно, благочестивый порыв несколько ослаб, следуя руслу общей растерянности.

Тем не менее, как выяснилось, недавний разговор с мистером Крайтоном вдохнул новую жизнь в увядшие было планы, и Мегги теперь говорила о них так, словно они были составлены ею совершенно самостоятельно, без всякой подсказки со стороны. Осуществлению этих планов она и задумала посвятить утро. Визиты изысканных дам, доверивших себя покровительству мистера Крайтона, в глазах этого, может быть, самого большого любителя цветов и медового нектара во всем гигантском улье Блумсбери, озаряли розовым сиянием его тесные ячейки и закоулки; и хотя отдел, составлявший предмет устремлений прелестной гостьи, находился не в его ведении, ничто не могло быть проще, чем

немедленно доставить ей знакомство с тамошним начальством. На том и порешили, и на этот раз Мегги предстояло обойтись без общества Америго. Фанни впоследствии вспоминала, что сперва ей почудилось, будто Мегги намерена остаться дома, так как в эти смутные дни присутствие мужа неизбежно должно было внести изрядную долю иронии в изучение свидетельств доставшегося ему по наследству величия. Но уже в следующую минуту у нее отлегло от сердца — Фанни поняла, что Мегги специально спланировала для себя этот клочок свободы, чтобы заново пробудить в своей душе остатки гордости и надежды. Фанни сердечно поздравила свою приятельницу как с тем, что ей предстоит столь восхитительное времяпрепровождение, так и с тем, что настроение ее столь восхитительно с ним гармонирует. Дальнейшие события подтвердили, что Фанни была права в своем оптимизме; вечером ей было поведано, что княгинюшка значительно расширила свой кругозор и преисполнилась небывалого душевного подъема, проведя час в свете настольных ламп, среди анналов и иллюстраций, пергаментов и портретов, украшенных гербами фолиантов и негромких пояснений музейного работника. Несколько дней

назад Мегги сказала ей очень ласково, но твердо: «Пригласи нас, пожалуйста, в пятницу к обеду, а другие гости пусть будут, каких ты захочешь, не имеет значения». И вот уже супружеская пара с Кадоган-Плейс исправно выполняет приказ, нимало не смущаясь его безапелляционностью.

Значит, еще один вечер удалось занять — так Мегги на это смотрела и подтвердила свою точку зрения, почти не скрывая от подруги, что для нее это совершенно новое и непривычное приключение. В самом деле, угощение, которое славные Ассингемы вкушали в обоих дружеских домах, было настолько несоизмеримо с их собственным скудным семейным бюджетом, что невольно представлялось чрезвычайно забавным посмотреть, как же они питаются у себя дома и как справятся с неожиданно возникшей необходимостью накормить гостей. Словом, Мегги явилась к ним обедать и привезла с собою мужа с таким видом, словно оба они — венценосные монархи, вздумавшие в минуту шаловливого веселья, свойственного юным суверенам в расцвете своего царствования, посетить убогое жилище пары преданных подданных. Мегги соизволила проявить интерес к их домашнему хозяйству и чуть ли даже не принялась расспрашивать об их

методах семейной экономии. Хозяйка дома — что называется, вполне естественно — приписала ее снисходительный тон и свободу обращения впечатлению от уроков, полученных в то утро у алтаря далекого прошлого. Не могла она разве уяснить для себя из одного-двух исторических анекдотов, предложенных ее вниманию, что для княгини столь древнего и прославленного рода открыты самые разные способы сделаться центром общества? И вот сегодня Мегги решила удивить всех своей необыкновенной общительностью. Безусловно, ее поведение в тот вечер нельзя было назвать развязным, и, хотя миссис Ассингем, весьма великодушный критик, никогда не сомевалась в том, что Мегги умеет быть любезной, все-таки ей никогда еще не случалось видеть, чтобы та была настолько, если можно так выразиться, напористо любезной. В глубине души Фанни могла лишь порадоваться этому с тайным сердечным трепетом. Ее гостья выглядела счастливой, словно случилось что-то очень хорошее, не забывая, однако, следить за тем, чтобы ни один из переливов ее смеха не пропал даром для князя, хотя, возможно, минутами этот смех не мог не показаться ему несколько глупым. А князь был не такой человек, чтобы позволить своей жене

прослыть в свете глупой сверх определенного предела, и потому их общая приятельница смутно опасалась возможной последующей сцены между ними, в карете или уже дома, с вопросами, отмеченными легким сарказмом, и требованиями немедленных объяснений. Такая сцена могла иметь далекоидущие последствия — или не иметь, в зависимости от того, как Мегги проведет свою роль. Но самым захватывающим во всем этом был элемент тайны; очевидно, и для самого Америго было тайной, что за неведомый случай так своеобразно повлиял на княгинюшку?

Впрочем, не прошло и трех дней, как леди с Кадоган-Плейс несколько глубже проникла в суть вещей. Новая страница открылась для нее накануне того дня, когда ее юная конфидантка должна была покинуть Лондон. Долгожданный переезд в «Фоунз» был намечен на следующее утро, а тем временем, как было известно миссис Ассингем, их дружной компании из четырех человек предстояло отобедать в американском посольстве, в составе более многолюдного сборища, а посему старшая из дам была изрядно удивлена, получив от младшей телеграмму, отправленную в шесть часов вечера, с просьбой немедленно приехать. «Прошу тебя, приезжай как можно скорее; ес-

ли будет необходимо, заранее оденься к обеду, чтобы выиграть время; экипаж, заказанный для нас, завезет тебя домой». Миссис Ассингем, поразмыслив, оделась на скорую руку и к семи часам была на Портленд-Плейс, где княгинюшка, о которой ей было сообщено, что она «наверху и переодевается», незамедлительно соизволила принять ее. И с первого же взгляда злосчастная Фанни поняла, как она позднее рассказывала полковнику, что критический момент наступил, словно спустили пружину, — пришел тот грозный час, которого она так боялась. Этот грозный час был час, когда должно было открыться, что Фанни издавна знала куда больше, чем говорила. Еще когда миссис Ассингем со страхом представляла себе эту минуту, она была уверена, что приближающаяся гроза даст о себе знать ледяным дуновением, как если в морозную ветреную ночь неожиданно распахнется окно в комнате. Пускай перед этим вы безмятежно грелись у камелька; стекло разлетается вдребезги и ледяной воздух наполняет помещение. Так вот, когда миссис Ассингем поднялась в комнату Мегги, если там и не стоял арктический холод, то, во всяком случае, атмосфера заметно отличалась от той, которую они привыкли ощущать в обществе друг

друга. Княгинюшка, как заметила Фанни, была уже полностью одета. Мегги словно специально поторопилась покончить с этим, расчищая себе поле действия, и теперь в парадном облачении ожидала, пока приятельница явится на ее зов. Горничная уже удалилась, и Мегги, одна в просторной светлой комнате, где все было достойно восхищения, но не было ничего лишнего, впервые в жизни выглядела «расфуфыренной». Может, это оттого, что она слишком много всего на себя навешала, перегрузила себя драгоценными каменьями — в частности, прикрепила их больше обычного к волосам, и к тому же более крупных? Гостья вынуждена была ответить на этот вопрос отрицательно, объяснив для себя непривычный вид Мегги наличием двух ярко-красных пятен у нее на щеках, полыхающих алым огнем, словно чудовищные рубины. Для миссис Ассингем эти две новые детали облика ее юной подруги стали источником прозрения. Она пришла к выводу, что у нее перед глазами жалкая и трогательная попытка Мегги скрыть свое волнение и обрести иллюзорную защиту при помощи роскошного наряда, пышного почти до нелепости. Очевидно, она очень следила за тем, как бы не выдать себя, допустив небрежность в костюме, чего с нею ни

разу еще не случалось. И вот она причесана и наряжена безупречно, как всегда, и в этом по-своему проявилось характерное для нее стремление к совершенству. Она и прежде отличалась тем, что во всех случаях жизни неизменно оказывалась готовой: все шнурки до единого завязаны, все аксессуары укреплены на своих местах, ненужные детали туалета убраны с глаз долой, и вся она напоминала собственную чисто выметенную гостиную, роскошно обставленную, но все же тяготеющую к вышивкам и безделушкам; по виду этой комнаты можно было угадать пристрастие хозяйки к порядку и симметрии, укоренившуюся привычку расставлять мебель вдоль стен и даже отдаленный намек на американских прабабушек из Новой Англии, истово и собственноручно вытиравших пыль и начищавших столовое серебро. Если обстановка в доме и была истинно «княжеской», то Мегги в ясном свете медлившего угаснуть дня выглядела так, словно ее перенесли сюда уже одетой и убранной, подобно святой иконе в процессии крестного хода, и поставили посреди комнаты с целью посмотреть, какие чудеса она способна сотворить в случае острой необходимости. Ее подруга — да и могло ли быть иначе? — чувствовала себя точь-в-точь как ис-

тинно набожный священник перед началом праздничного молебствия, замерший в благоговении перед чудотворным образом Божьей Матери. Богослужение — всегда как нельзя более серьезное дело, но сегодня — особый случай; так много зависит от того, что священник сможет дать своим прихожанам.

9

— Случилось нечто очень странное, и я думаю, что ты должна об этом знать. Мегги произнесла это внешне спокойно, но гостья в который уже раз испытала на себе, как трудно хоть в чем-либо ей противиться. Так уж между ними было заведено: что Фанни знает, то в своей несокрушимой вере сумеет оправдать. И через пять минут Фанни уже знала, отчего Мегги столь необычно вела себя на днях, и как получилось, что начало всему положил тот поучительный час, проведенный Мегги в музее под чутким руководством мистера Крайтона. Мистер Крайтон с присущей ему любезностью помимо чудесной экскурсии, помимо предложенного после нее угощения в его жилище, расположенном тут же, в здании музея, порывался еще и проводить свою подопечную до дома, особенно когда заметил, выйдя вместе с нею на широкое каменное крыльцо, что она отпустила экипаж; а Мегги, сказать по правде, сделала это ради удовольствия прогуляться в одиночестве. Она предугадывала, что, проведя час в столь вдохновляющих занятиях, будет в несколько приподнятом настроении, а в таком состоянии

нет ничего лучше, как пройтись по лондонским улицам, побродить на свободе, пресытившись волнующими впечатлениями, без необходимости о чем-либо заботиться или с кем-нибудь разговаривать; если захочется — любоваться витринами, которых вокруг, весьма кстати, великое множество. Видимо, ее натуре были свойственны подобные низменные наклонности, которые она в последнее время по многим причинам не имела возможности потешить.

Итак, Мегги с благодарностью отклонила учтивое предложение мистера Крайтона, объяснив, что знает дорогу; по правде говоря, у нее была даже робкая надежда пойти домой не самым прямым путем. Чуточку заблудиться было бы по-настоящему забавно; и вот, стараясь держаться подальше от Оксфорд-стрит и выбирая как можно менее знакомые места, Мегги в конце концов отыскала то, что хотела, три-четыре лавчонки: магазинчик торговца старыми книгами, другой — торговца старыми гравюрами, парочку заведений с антикварными вещицами за мутными стеклами витрин. Здесь было совсем не похоже на другие магазины, скажем, на Слоун-стрит, где бессмысленное показное великолепие давно уже не трогает душу. К тому же и Шарлотта несколько

месяцев назад разожгла ее воображение несколькими мимоходом оброненными фразами по поводу того, что есть, мол, в Блумсбери такие занятные очаровательные магазинчики и в них даже попадаются иногда неожиданные находки. Возникшее у Мегги чувство чуть ли не романтического приключения ярче, чем что-либо другое, показывает, как глубоко врезались ей в память любые, даже самые небрежные слова Шарлотты. И вдруг Мегги отчего-то стало так легко, как не случалось уже давным-давно. Она сама не знала, почему посещение музея так на нее подействовало. Мегги словно вдруг подумалось: не может быть, что она породнилась с этим прекрасным знатным родом, а через нее — и ее маленький сын, и даже отец, — только для того, чтобы все это рассыпалось прахом, обернулось пустыми мечтами, сомнениями, а то и еще того хуже.

— Я снова поверила в него, поверила еще крепче, чем раньше, — говорила она с неподвижным взглядом ярко блестевших глаз. — Я шла и чувствовала, что верю в него, и это словно поднимало меня ввысь; мне так хорошо было одной — не нужно гадать, не нужно следить; можно вообще почти ни о чем не думать.

Ей вдруг стало казаться, что все уладится, — на-

столько, что она вспомнила о дне рождения отца и решила сегодня же выбрать ему подарок. Можно будет пока что хранить его в «Фоунз», как они делали раньше, — день рождения приходился на двадцать первое число этого же месяца, и другого случая что-нибудь найти могло и не представиться. Конечно, невероятно трудно отыскать что-то «хорошее», что не попадалось бы ему раньше в его скитаниях по антикварным салонам, но было забраковано. Впрочем, это старая история; мистеру Верверу вообще нельзя было бы ничего дарить, не будь у него теории, согласно которой подарок от истинного друга всегда ущербен с точки зрения искусства в силу непреложного закона природы, и чем больше ущербность, тем сильнее сам подарок выражает дружеские чувства дарящего и тем больше дорожишь им за это. Художественная примитивность равнозначна искренней привязанности, грубое происхождение — утонченной симпатии; самые уродливые вещи, вообще говоря, лучше всех, с ними связаны самые приятные воспоминания, и держат их отдельно от прочих, в особом стеклянном шкафу, ибо они достойны дома, но не храма, будучи посвящены гримасничающим божкам, а не ясноликим божествам. Разумеется, за минувшие годы

в этом шкафу скопилось немало подношений, в том числе и от самой Мегги, до сих пор любившей прижаться носом к стеклу, лишний раз убеждаясь, что они по-прежнему стоят на своих местах, эти свидетельства прошлых именин, которые она выискивала год за годом в тщетной надежде, что отец хотя бы притворится, будто находит их более или менее любопытными. И сейчас Мегги была готова попробовать вновь; эта игра доставляла обоим огромное удовольствие. И потому по дороге домой Мегги то и дело останавливалась, заглядывая в подвернувшиеся лавчонки. Старые книги и старые гравюры не смогли ей предложить ничего хоть мало-мальски подходящего, но, как это ни покажется странно и нелогично, в очередном магазинчике чудной иностранец, мелкий торговец антиквариатом, показал ей вещицу, производившую впечатление настоящей редкости. Мегги решила, что по сравнению с кое-какими из ее прежних находок эта вещь очень даже недурна, и купила ее — купила, если уж на то пошло, за весьма немалые деньги.

— А получается, дарить-то ее нельзя, — сказала Мегги. — Как потом оказалось, об этом и речи быть не может. Всего один день я ей порадовалась, но в то же время, вот я смотрю на нее — ни

за что на свете я не хотела бы ее упустить.

С самой первой минуты их встречи Мегги говорила вполне внятно и членораздельно; голос ее чуть дрожал — так усиленно она изображала спокойствие. Но через каждые несколько секунд она задерживала дыхание, как бы обдумывая свои слова и, видимо, желая доказать, что у нее не перехватывает горло. Фанни видела в этом лишь признак глубокого волнения. Забота Мегги об отце, ее старания раздобыть подарок, способный его позабавить, намек на его несгибаемость по части критической оценки даримых близкими произведений искусства — все это было рассказано очень просто, без нажима, но слушательница живо отозвалась на повествование подруги, с пониманием и сочувствием разделяя ее воспоминания о том, что служило для них когда-то предметом множества шуток. Воображение Фанни с готовностью дорисовало милую сердцу картину. По крайней мере, Мегги во всеоружии; она знает, что делает, и у нее имеется план, который требует «не показывать вида». В соответствии с этим она отправится на обед, не позволив себе ни покрасневших глаз, ни искаженного лица, ни малейшей небрежности в туалете — ничего, что могло бы вызвать вопросы.

Но для того, чтобы выдержать все это и не сорваться, ей не хватает еще какого-то знания, и это знание она желает и твердо намерена получить. И вот перед мысленным взором миссис Ассингем зловещими сполохами беззвучных молний заиграло устрашающее открытие: именно ей, ценой бог знает каких жертв и риска, выпало на долю обеспечить Мегги тем, что ей необходимо. Все инстинкты милой дамы подсказывали ей воздержаться от этого, пока обстановка хоть сколько-нибудь не прояснится. Она не ступит и шагу навстречу Мегги, пока не будет в состоянии сделать этот шаг осмысленно. И пускай она чувствует себя довольно неловко, бледнеет и кривит лицо, лепеча что-то невразумительное; немного же от нее толку, если до сих пор не сумела угадать, к чему может вести такое многообещающее начало! Впрочем, подумав немного, она ухватилась за слова Мегги об утраченном покое.

— Ты говоришь о том, что в понедельник, когда ты обедала у нас, на душе у тебя было легко?

— В тот день я была очень счастлива, — сказала Мегги.

— Да, мы заметили, что ты была весела и вся искрилась. — Фанни почувствовала, что это сказано недостаточно сильно, но не отступила. — Мы так

радовались, что ты счастлива!

Мегги ответила не сразу, глядя на гостью в упор.

— Вы думали, у меня все в порядке, так?

— Конечно, солнышко. Мы думали, что у тебя все в порядке.

— Что ж, наверное, это было естественно. А на самом деле все было очень плохо, так плохо, как никогда в жизни. Если угодно, тогда это уже приближалось.

— «Это»? — Миссис Ассингем позволила себе сомнительную роскошь проявить непонятливость.

— Вот это! — ответила княгинюшка, и тут наша приятельница заметила, что ее взгляд направлен на некий предмет, стоящий на каминной полке и до сих пор остававшийся незамеченным среди множества других сокровищ. Верверы, где бы ни оказались, неизменно окружали себя бесценными старинными безделушками.

— Ты говоришь о позолоченной чаше?

— Я говорю о позолоченной чаше.

Вещица, которую, как Фанни теперь поняла, она никогда не видела раньше, представляла собой довольно вместительный сосуд старинного с виду, поразительно желтого золота, на короткой ножке с тяжелым основанием, занимавший цен-

тральное место над камином, откуда, расчищая ему место, убрали несколько других предметов, в том числе часы эпохи Людовика Шестнадцатого, составлявшие единый ансамбль с канделябрами. Часы в настоящее время тикали на мраморной крышке комода, не уступавшего им по части роскоши и стиля. Миссис Ассингем нашла чашу весьма изящной, но речь, очевидно, шла не об объективных достоинствах вещи, и Фанни не стала подходить ближе, ограничившись взглядом издалека.

— Но при чем тут?..

— При всем. Сейчас ты поймешь. — И Мегги снова устремила на свою гостью странный застывший взор широко раскрытых глаз. — Он знал ее раньше… Еще до того, как познакомился со мной.

— Он знал?.. — Фанни, судорожно отыскивая недостающие звенья логической цепи, могла лишь эхом повторить слова княгинюшки.

— Америго знал Шарлотту. Знал так близко, как мне и в голову не могло прийти.

Тут Фанни почувствовала, что и ее взгляд застыл, не хуже, чем у княгинюшки.

— Но ведь ты знала, конечно, что они знакомы.

— Я не понимала. Я слишком многого не знала.

— Неужели ты не понимаешь, о чем я говорю?

Миссис Ассингем отнюдь не была уверена в том, что Мегги так уж много знает даже теперь; она заметила, что та говорит необыкновенно мягко. Уяснив, наконец, что перед нею не вспышка гнева, не жар обманутой души, но всего лишь откровенное признание в прошлом неведении, пусть даже способном вызвать насмешку, старшая из дам в первую минуту едва смела поверить своему счастью; она впитывала это сознание, словно аромат нагретого солнцем цветка — дивный аромат уверенности, что все-таки не пришел еще ее судный день. Судить ее не будет никто, кроме нее самой, но это уж ее дело и ее беда. В следующее мгновение, однако, она внутренне залилась краской стыда — но не за свое минутное малодушие; она сперва подумала о себе, о том, что для нее дело пока «обошлось», а не о мольбе Мегги — отчаянной, неприкрытой мольбе.

— В общем и целом — да, дорогая моя крошка. Но не… м-м… не в связи с тем, о чем ты мне рассказала.

— Они были близки, понимаешь? Близки, — сказала княгинюшка.

Фанни вглядывалась в ее взволнованные глаза,

выискивая в них подробности той давней истории, бледные и неясные, несмотря на страстную убедительность рассказчицы.

— Это еще смотря что считать…

— Что считать близостью? О, я теперь хорошо знаю, что я считаю близостью, — сказала Мегги. — Такой близостью, что ее приходится скрывать от меня.

Она произнесла это очень тихо, но Фанни Ассингем так и вздрогнула.

— Но не от меня, это ты хочешь сказать? — спросила она, помолчав, и снова оглянулась на новое украшение каминной полки; пользуясь этим предлогом, чтобы спрятать глаза, она в то же время ломала голову над неведомым ей значением этой безделушки.

— Душенька, есть много разных вещей, о которых мне ровно ничего не известно.

— Они бывали вместе в разных местах, их видели вместе, не только «до», но и «после».

— «После»? — переспросила Фанни Ассингем.

— Раньше, чем мы поженились, да, но уже после нашей помолвки.

— Ах, я ничего не знала об этом! — Фанни заметно приободрилась, с радостью ухватившись за новую для себя деталь.

— Вот эта чаша, — продолжала Мегги, — доказательство тому, хоть это и очень странно, так странно, что почти невозможно поверить. Они все время продолжали встречаться, до самой нашей свадьбы. Помнишь, как она тогда совершенно неожиданно приехала из Америки?

Ее вопрос, осознанно, нет ли, растрогал Фанни своей удивительной простотой.

— О да, душа моя, конечно, я помню, как она вернулась из Америки и поселилась у нас и как все это тогда выглядело.

Мегги по-прежнему не сводила с нее пристального взгляда. На какое-то мгновение вдруг показалось, что она вот-вот вспыхнет, вот-вот обрушится на свою жертву с вопросом: как же все-таки «это» выглядело? Целую минуту Фанни смотрела опасности в лицо, но скоро ей стало ясно, что никакой угрозы нет — княгинюшка, несмотря на всю свою боль, не захотела нарушить их странную и возвышенную сделку, предпочтя отказаться от нечаянно подвернувшейся возможности вонзить в подругу кинжал укоризны. Фанни воочию видела, — или ей это только казалось, — как Мегги внимательно рассмотрела свой нежданный шанс и, рассмотрев, отринула его. Миссис Ассингем даже оробела, испытав чувство,

близкое к благоговению, перед ясностью высокой цели, которую никакое горе не может заслонить и никакое открытие — ибо тут, очевидно, дело шло о каком-то невыясненном пока открытии — не может отодвинуть на второй план. Эти краткие секунды быстро пролетели, но они длились достаточно, чтобы вернуть нашей приятельнице сознание собственной нелегкой задачи, сознание ответственности, заново возложенной на нее страстной откровенностью Мегги. Ей напомнили о том, на каких условиях у нее все «обошлось» — масштабы помилования явственно прозвучали в упоминании о ее роли при тогдашнем появлении Шарлотты, а в самой глубине впечатления мерцало — о, каким, сказать по правде, возвышающим огнем! — неизменно ясное и четкое понимание побудительных мотивов собеседницы. Княгинюшка словно приносила еще одну жертву во имя будущей великой победы. «Только поддержи меня сейчас, помоги справиться с этим, несмотря ни на что, и я отпущу тебя на волю безо всяких оговорок!» Невесть откуда взявшийся страх — а вернее, по всей видимости, знание — немедля заставило Мегги обратиться мыслями к отцу, придав силу страсти стремлению защитить его или, иными словами, защитить его неведение

— в этом, как и прежде, содержался ключ ко всем ее решениям. Не скрывая панического ужаса, она цеплялась за эти решения подобно тому, как всадник стискивает коленями бока взбесившейся лошади; очень возможно, Мегги сейчас пыталась внушить своей гостье, что еще способна удержаться в седле, если только им больше не встретится никаких «неожиданностей». Фанни, все еще не зная, в чем, собственно, состояла последняя неожиданность, внутренне восхищалась силой духа своей приятельницы и потому, не произнеся ни слова, одним лишь полным жалости взглядом поклялась прокладывать ей дорогу, предупреждая об опасностях, освещая фонариком темные перекрестки и давая отмашку постороннему транспорту. Соответственно, и Мегги не замедлила с ответом.

— Они провели вместе несколько часов — целое утро, не меньше. Тогда я об этом не догадывалась, но теперь знаю наверняка. Вот эта чаша стала свидетельницей, по самой удивительной случайности. Я потому и поставила ее здесь, на виду, специально для мужа; пусть увидит ее сразу, как войдет в комнату. Я хочу, чтобы она встретила его, — продолжала Мегги, — а он встретил ее и чтобы я присутствовала при встрече. Но пока

этого еще не случилось, хоть он в последнее время часто заходит сюда, ко мне… Да, особенно в последнее время. Но сегодня еще не показывался. — Мегги заставляла себя говорить все более спокойным тоном; видимо, это помогало ей следить за своей речью и выражением лица. Она находила опору и, вследствие того, какую-то жуткую гармонию в методичном изложении фактов, но это же вынуждало ее идти дальше. — Как будто почуял… Словно что-то его насторожило. Естественно, он не понимает, что произошло, но ведь он такой умный и, наверное, догадывается, что нечто все-таки произошло, вот и не спешит столкнуться с этим вплотную. На всякий случай держится в стороне, хотя и не знает точно, чего он боится.

— Но все-таки он в доме?

— Не имею представления. Сегодня, в виде исключения, я не видела его с самого ланча. Он мне рассказывал, — охотно пояснила княгинюшка, — о каких-то выборах, очень важных, где-то в клубе — выбирают, кажется, одного из его друзей, который, насколько я поняла, рискует проиграть.

Поэтому он решил поехать в клуб на ланч и постараться перетянуть общественные симпатии на сторону своего друга. Ты же знаешь, он

это умеет, — заметила Мегги с улыбкой, которая проникла Фанни прямо в сердце. — Во многих отношениях он самый добрый из людей. Но с тех пор прошло уже несколько часов.

Миссис Ассингем задумалась.

— Тем больше риска, что он придет и застанет меня здесь. Видишь ли, я не знаю, что тебе, по-твоему, удалось установить и какое отношение к этому имеет произведение прикладного искусства, которому ты приписываешь какие-то невероятные разоблачительные свойства. — Фанни задержала взгляд на странном приобретении, отвела глаза, взглянула опять и вновь стала смотреть в другую сторону. Чаша была непроницаема в своей несколько глуповатой элегантности, и все же каким-то непостижимым образом сумела занять господствующее положение в интерьере. Фанни уже не могла не обращать на нее внимания, как невозможно не обратить внимания на рождественскую елку с зажженными свечами; тревожно и безрезультатно она искала в памяти хоть мимолетного воспоминания об этой вещи. И хотя поиски не принесли ровно никаких плодов, Фанни явственно ощутила то же мистическое предчувствие, что удерживало князя вдали от гостиной. Чем больше она думала о чаше, тем

заметнее это изделие обретало упрямую, несгибаемую индивидуальность; пусть и не лишенное чисто декоративного изящества, в качестве «документа» оно было неописуемо уродливо. — Если он увидит меня здесь, рядом с этой вещью, может выйти большая неловкость — для всех нас, которая тебе совсем ни к чему и вряд ли может улучшить положение. Да и мне требуется время, чтобы понять, что все это означает.

— О, здесь тебе ничто не грозит, — возразила Мегги. — Можешь мне поверить, он не придет. Будет дожидаться внизу, пока я спущусь садиться в карету.

Фанни Ассингем поверила ей на слово, и даже более того.

— Значит, мы должны будем сидеть рядышком в гостях у посла, или, по крайней мере, вы двое будете сидеть рядом, когда между вами висит это новое осложнение, так и оставшееся без всякого объяснения? С каким лицом вы будете смотреть друг другу в глаза и притворяться, будто не замечаете этого кошмара?

Мегги обратила к ней именно такое лицо, какое, вполне возможно, приготовила для сегодняшнего вечера.

— «Без объяснения», душечка? Как раз напро-

тив, все объяснено, объяснено полностью, до конца, до последней точки — ни прибавить, ни убавить. Золотце ты мое, — продолжала Мегги, все сильнее воспламеняясь, — мне не нужно больше никаких объяснений! Того, что я получила, более чем достаточно.

Фанни Ассингем стояла перед ней в недоумении. Ей по-прежнему недоставало нескольких звеньев логической цепи, и, как это ни удивительно, наименее труднопереносимым из ее ощущений в эту минуту был ледяной страх приближающейся истины.

— А когда вы вернетесь домой? Я хочу сказать, он же поднимется с тобою наверх. Разве тогда он ее не увидит?

На мгновение стало заметно, что Мегги напряженно думает, но затем она медленно покачала головой с очень странным выражением лица.

— Н-не знаю… Может быть, он никогда ее не увидит… Если она будет дожидаться его здесь. Может быть, он никогда больше не войдет в эту комнату, — сказала княгинюшка.

Фанни изумилась пуще прежнего.

— Никогда больше? О!

— Да, может быть. Откуда мне знать? С этим! — тихо прибавила она.

Она не взглянула на обвиняющий предмет, но ее приятельницу поразило, сколько она сумела вложить в одно коротенькое слово, выразив им одним всю сложившуюся ситуацию.

— Так ты не намерена поговорить с ним?..

Мегги напрасно ждала продолжения.

— «Поговорить»?

— Ну как же, о том, что она теперь у тебя, и о том, что она, по-твоему, означает.

— Ах, не знаю, буду ли я говорить… Если он не заговорит сам… Но то, что он не приходит сюда из-за нее — разве можно было высказаться яснее? Не мне начинать этот разговор, — прибавила Мегги с совершенно другой интонацией, одной из тех, что еще раньше пронзили сердце ее слушательницы. — Мое дело — выслушать его.

Миссис Ассингем обдумала ее слова.

— Выходит, все зависит от этой вещи, которую ты почему-то считаешь уликой?

— Для меня все зависит от нее. Я уже не могу от нее отмахнуться, — сказала Мегги.

Миссис Ассингем подошла к чаше, стоявшей на камине, весьма довольная тем, что, сделав это, удалось спрятать лицо от собеседницы. Она окинула взглядом драгоценную вещицу — если та и в самом деле была драгоценна. А если ска-

зать точнее, так и впилась в нее глазами, словно желая вырвать у нее ее тайну вместо того, чтобы позволить Мегги навязать ей свое знание. Чаша выглядела отменно — уверенного, смелого рисунка, богато украшенная, с вместительным углублением; если бы не все эти мучительные загадки, Фанни Ассингем со своей любовью к желтому цвету могла бы от души восхититься безделушкой, считая ее завидным приобретением. Она не прикоснулась к чаше, но через минуту вдруг порывисто отвернулась от нее, необъяснимо испугавшись, что не выдержит и прикоснется.

— Итак, все теперь зависит от чаши? Я имею в виду, твое будущее? Насколько я поняла, речь идет именно об этом.

— Речь идет вот о чем, — ответила Мегги после минутного молчания. — Эта вещь, можно сказать, чудом, открыла мне, как далеко все зашло между ними с самого начала. Если уж раньше было так много, так теперь наверняка еще больше, иначе просто быть не может. — Мегги продолжала, неотвратимо перечисляя по пунктам свои соображения. — Если такое происходило между ними уже тогда, не приходится сомневаться, что могло быть после. Если бы прежде ничего не было, еще

могло быть какое-то объяснение… Но теперь уж слишком многое пришлось бы объяснить. То есть оправдать, — сказала Мегги.

Фанни Ассингем для того и находилась здесь, чтобы оправдывать; она вполне понимала свою задачу. По крайней мере, так обстояло дело до сих пор. Но в свете сказанного Мегги, при всей неопределенности ее намеков, дело могло показаться трудным как никогда. Вдобавок даже и в столь неопределенном рассказе Фанни с каждой минутой все явственнее ощущала то, что видела сама Мегги. Сама Мегги видела правду. Именно потому они и стоят здесь так долго, чтобы и миссис Ассингем смогла это почувствовать. В словах княгинюшки звучала такая сила, что подробности ее открытия уже не имели основополагающего значения. В самом деле, Фанни на мгновение стало стыдно оттого, что ей необходимо выяснить по крайней мере одну деталь.

— Не стану отпираться, — заговорила она, помолчав, — я тоже обращала внимание на разные мелочи, о которых, как я понимаю, ты говоришь. Точно так же, как не могу забыть, что любой возможный для меня образ действий таил в себе множество трудностей и опасностей. Я старалась, я очень старалась сделать как лучше. И, знаешь

ли, — продолжала Фанни, к которой при звуках собственного голоса понемногу возвращалось мужество и даже слабый проблеск убежденности, — знаешь ли, я уверена, в конце концов окажется, что так оно и вышло.

За этим изречением последовала пауза, в течение которой княгинюшка и ее гостья не прерывали своего разговора, наоборот, понимали друг друга лучше прежнего, но в полном молчании, обмениваясь лишь долгими взглядами, исполненными глубокого смысла, и все это в конце концов было освящено словами Мегги:

— Не сомневаюсь, ты старалась сделать как лучше.

На это Фанни Ассингем снова не сразу нашла в себе силы ответить:

— Золотко, я всегда знала, что ты ангел.

Впрочем, проку от этого было маловато!

— Ты понимаешь, все продолжалось почти до самой свадьбы, — продолжала княгинюшка. — Еще за два-три дня до нашего венчания. Уж это, знаешь ли! — Она умолкла со странной улыбкой на устах.

— Да, да, я уже говорила, она в то время жила у меня. Но я ничего не знала, — сказала Фанни Ассингем. — То есть не знала ничего опреде-

ленного. — Она сама понимала, что это очень слабо сказано, и поторопилась с объяснениями: — Я хочу сказать, что и сейчас не знаю ничего такого, чего не знала бы тогда. Я в полном неведении, — продолжала она барахтаться, увязая все глубже. — То есть тогда была в неведении.

— А разве это на деле не одно и то же, что ты знала тогда и что знаешь теперь? — спросила Мегги.

В словах старшей подруги ей послышались крайне неуместные в настоящую минуту интонации их недавнего соглашения, заключенного в ту пору, когда ничего не требовалось опровергать, поскольку ничего еще не было доказано. Ситуация изменилась, теперь в ней — как бы сказать? — присутствовал элемент определенности, и это, по крайней мере, придавало Мегги силы быть твердой. И голос ее прозвучал достаточно твердо:

— У них все было в самом разгаре, когда мы с Америго поженились. — На этих словах взгляд Мегги снова обратился в сторону компрометирующей чаши. — В разгаре, в самом разгаре! — Но она опять обернулась к своей гостье. — И в самом разгаре всего отец женился на ней.

Гостья достойно встретила удар.

— Уверяю тебя, они вступили в брак с самыми лучшими намерениями!

— Отец — да, безусловно! — при воспоминании об этом на Мегги снова нахлынуло волнение. — Принести такое в нашу жизнь, продолжать это здесь, при нас, день за днем, день за днем, за все, что он!.. С ним, с ним поступить вот так!

Фанни нерешительно подала голос:

— Значит, ты больше всего страдаешь из-за него?

Княгинюшка только глянула на нее и, отвернувшись, быстро прошлась по комнате, отчего вопрос почему-то показался бестактным.

— Я спросила, — продолжала миссис Ассингем, — потому что, мне думается, все это, все, о чем мы сейчас говорим, может быть, для него не существует… можно сделать так, чтобы для него этого как бы и не существовало.

Но Мегги уже стремительно обернулась, словно не слышала ее слов.

— Отец сделал это для меня! Он пошел на это только ради меня!

Миссис Ассингем порывисто вскинула голову, начала говорить, но опять запнулась.

— Да как же!..

Она не закончила, но Мегги через секунду до-

казала, что понимает ее вполне.

— Ты хочешь сказать, причина действительно в этом — одна из причин?

Однако Фанни, почуяв ее отклик, сказала вначале не то, что собиралась, а нечто совсем другое.

— Он сделал это для тебя — во всяком случае, в значительной степени. И я тоже вмешалась ради тебя, в меру своих скромных возможностей. Ведь кое-что я все-таки могла, — продолжала миссис Ассингем. — По-моему, я понимала твое благо так же, как и он сам. И благо Шарлотты тоже. Я верила в нее.

— И я в нее верила, — сказала Мегги.

Миссис Ассингем подождала еще немного, затем снова принялась за свои объяснения:

— В то время она и сама в себя верила.

— О? — негромко отозвалась Мегги.

Ее восклицание, совершенное в своей простоте, с легким оттенком страстного желания поддаться убеждению, придало Фанни Ассингем новые силы.

— И князь верил. Непритворно верил. Точно так же, как он верил в себя самого.

Целую минуту Мегги не отвечала ни словом.

— Он верил в себя?

— Как и я в него! Потому что я верила в него,

Мегги, верила абсолютно. — Фанни этим не ограничилась. — И до сих пор верю. Я хочу сказать, — прибавила она напоследок, — вот верю, и все тут!

Мегги снова смолчала и беспокойно заходила по комнате. Потом остановилась:

— В Шарлотту ты тоже веришь до сих пор?

Миссис Ассингем сочла, что по этому вопросу может позволить себе некоторую уклончивость.

— О Шарлотте мы с тобой поговорим как-нибудь в другой раз. Во всяком случае, оба они в то время были уверены, что опасности нет.

— Тогда почему они скрыли от меня все, что я могла бы узнать?

Приятельница взглянула на нее с кротостью во взоре:

— А я сама почему тебе ничего не рассказала?

— Ах, тебя честь не обязывала!

— Мегги, радость моя! — возопила несчастная. — Ты просто божественна!

— Они притворялись, что любят меня, — настаивала княгинюшка. — Притворялись, что любят его!

— А я разве не притворялась?

— По крайней мере, ты не делала вид, будто я тебе так же дорога, как Америго и Шарлотта. И это

вполне естественно, ведь они такие интересные люди, не то что я. Разве ты могла не привязаться к Америго?

Этого миссис Ассингем не вынесла.

— Разве я могла, о, разве я могла! — И с благородной откровенностью Фанни не стала останавливаться на полпути. — Разве я могу! Разве я могу!

Тут уж широко раскрытые глаза Мегги снова остановились на ней.

— Понимаю… Понимаю! Что ж, это прекрасно, что ты способна… И, конечно, — прибавила княгинюшка, — ты хотела помочь Шарлотте.

— Да, — задумчиво согласилась Фанни. — Я хотела помочь Шарлотте. Но, видишь ли, я хотела помочь и тебе тоже. Потому и не стала ворошить прошлое, ведь с тех пор случилось столько всякого, я была убеждена, что старое похоронено и забыто. Я хотела помочь всем, — с пафосом провозгласила она, — и теперь хочу!

После этих слов Мегги снова сорвалась с места, но ее метания вскоре вновь разрешились стремительной репликой:

— Значит, я во многом виновата сама, если все начиналось так замечательно?

Фанни Ассингем попыталась возразить:

— Ты виновата только в том, что была слишком хороша! Ты всего лишь слишком много думала о…

Но княгинюшка уже зацепилась за одно из ее слов.

— Да, я слишком много думала! — На целую минуту она замолчала, погрузившись в созерцание этого своего недостатка. — О нем, моем дорогом, хорошем… О нем!

Ее подруга, увидев в этих словах образ отца Мегги, насторожилась вновь. Вот где может скрываться путь к спасению! Вот он, луч света в непроглядном мраке!

— Он тоже верил — о, как великодушно он верил в Шарлотту!

— Да, и это я заставила его поверить. Я тогда не особенно и хотела, ведь я не имела представления о том, что из этого выйдет. Но я это сделала, я это сделала! — воскликнула княгинюшка.

— Великодушно, и ты тоже — так великодушна! — не сдавалась миссис Ассингем.

Но Мегги смотрела на дело по-другому.

— Главное, что он заставил ее подумать, будто это может быть.

Фанни снова озадачилась:

— Князь заставил ее подумать?..

Мегги удивленно взглянула на нее — она-то говорила о своем отце. Но немедленно восприняла и новую возможность.

— Они оба заставили ее так думать. Если бы не они, она бы не решилась.

— Но намерения у Америго были самые честные, — настаивала миссис Ассингем. — А уж о твоем отце и говорить нечего.

Мегги на мгновение замерла в неподвижности.

— Нечего… Может быть. Кроме того, что он знал, что она знала.

— Знала?..

— Что он делал это прежде всего ради меня. Как ты думаешь, — спросила она вдруг, — насколько он отдавал себе отчет в том, что она знает?

— Ах, кто может сказать, что происходит между мужем и женой? Мы можем быть уверены только в одном: он был неизменно великодушен. — И миссис Ассингем улыбнулась, как бы ставя точку. — Несомненно, он знал ровно столько, сколько было лучше для него.

— То есть лучше для нее.

— Ну, хорошо, лучше для нее. Главное, — объявила Фанни, — сколько бы он ни знал, намерения у него были самые прекрасные.

Мегги не сводила с гостьи глаз, а та как будто выжидала следующего ее шага.

— Разве не главное, — во всяком случае, важнее многого другого, — что его намерения наверняка определялись верой в то, что я для нее значу почти так же много, как для него?

Фанни Ассингем ответила, подумав:

— Он знал о вашей давней дружбе, понимал и принимал это. Но он не подозревал ее в каких-либо эгоистических побуждениях.

— Да, — согласилась Мегги, задумавшись еще глубже. — Он считал, что эгоизма в ней почти так же мало, как в нем самом.

— Совершенно верно!

— Очень хорошо, — продолжала Мегги, — раз в нем самом эгоизма не было вовсе, он и от нее ожидал того же. А она, может быть, узнала об этом только потом.

— Потом? — удивилась миссис Ассингем.

— А он заметил, что она знает. — Мегги не позволила сбить себя с мысли. — Что она догадалась, уже после свадьбы, как много от нее требуется — гораздо больше, чем она думала вначале. Может быть, ему в конце концов стало ясно, что надолго ее не хватит.

— Может быть очень много разных вещей, —

откликнулась миссис Ассингем, — но в одном я уверена твердо: он никогда не требовал от нее даже четверти того, что готов был ей дать, и она наверняка это понимала.

— Было бы очень интересно узнать, — протянула Мегги, — что на самом деле понимает Шарлотта. Но она ни разу не говорила об этом со мной.

— Со мною тоже, так что мы этого, скорее всего, никогда не узнаем. Будем считать, что это не наше дело. Много есть на свете такого, — сказала миссис Ассингем, — чего мы никогда не узнаем.

— Никогда, — задумчиво отозвалась Мегги.

— Но есть и другие вещи, на самом виду, — продолжала ее приятельница, — и этого для нас должно быть достаточно, какие бы ужасные трудности тебе ни мерещились. Твой отец все это время вел себя просто необыкновенно.

Мегги, казалось, ощупью выискивала дорогу, но на эти слова отозвалась с большой поспешностью:

— Необыкновенно!

— Бесподобно, — сказала миссис Ассингем.

— Бесподобно, — подтвердила княгинюшка.

— Значит, он сам сделает все, что понадобится. За что взялся ради тебя, то он доведет до конца.

Он не для того за это брался, чтобы сорваться на полдороге. С его терпением, с его необыкновенной душой, разве он хоть когда-нибудь позволял себе срывы? В жизни еще не случалось, чтобы он провалил какое-нибудь дело, и на этот раз не допустит ничего такого.

— Ах, на этот раз!.. — Мегги снова вспомнила обо всем, и у нее вырвался вопль отчаяния. — Да могу ли я быть уверена, что он хотя бы знает, о чем речь? А можно ли быть уверенной, что он не знает?

— Если не знает, так тем лучше. Оставь его в покое.

— Ты предлагаешь мне махнуть на него рукой?

— Оставь ее в покое, — уточнила миссис Ассингем. — Предоставь ее ему.

Мегги устремила на нее мрачный взгляд.

— В смысле — предоставить его ей? После вот этого?

— После всего. Ведь они теперь все-таки близкие люди.

— Близкие? Откуда мне знать?

Но Фанни не отступалась.

— А вы с мужем — разве нет, вопреки всему?

Глаза Мегги расширились еще больше, если только это было возможно.

— Это еще нужно выяснить!

— Если нет, где же тогда твоя вера?

— В мужа?

Миссис Ассингем замялась лишь на мгновение.

— В отца. По сути, все сводится к этому. Положись на него.

— На то, что он ничего не знает?

И снова Фанни не сдалась.

— На то, что он сможет тебе предложить. Не привередничай, бери, что дают.

— Брать, что дают?.. — растерялась Мегги.

Миссис Ассингем вскинула голову:

— И будь благодарна за это.

Она выдержала паузу, глядя прямо в лицо княгинюшке.

— Понимаешь меня?

— Понимаю, — ответила наконец Мегги.

— Вот то-то и оно!

Но Мегги отвернулась и отошла к окну, словно пряча некое выражение в лице. Так она и стояла, глядя на улицу, а миссис Ассингем тем временем снова принялась разглядывать предмет, стоявший на каминной полке и принесший с собою столько сложностей. Ее изумляла собственная реакция на эту вещь — смесь стойкого восхи-

щения со столь же стойким чувством протеста. Она подошла ближе, заново осмотрела чашу и на сей раз уступила необъяснимому желанию ощутить ее в своих руках. Она сняла чашу с полки, поразившись ее тяжести — ей никогда еще не приходилось держать в руках такой массивный кусок золота. Это ощущение каким-то непонятным образом придало ей смелости, и вскоре Фанни сказала:

— Знаешь, мне все-таки не верится.

Мегги порывисто обернулась:

— Не верится? Поверишь, когда я тебе расскажу!

— Ах, не рассказывай мне ничего! Не желаю слушать! — воскликнула миссис Ассингем.

Она по-прежнему держала чашу в руке, подняв ее повыше, и вдруг заметила, что Мегги смотрит на нее с каким-то особым вниманием. У нее явилась странная мысль, что Мегги видит в ее движении некий умысел; выражение глаз княгинюшки стало еще понятнее после ее предостерегающих слов:

— Она довольно дорогая. Но, как мне объяснили, могла быть еще дороже, если бы не трещина.

— Золото с трещиной?!

— Это не золото. — Мегги странно улыбну-

лась. — В том-то все и дело.

— Что же это тогда?

— Стекло, и треснутое к тому же, как я сказала. Только сверху позолота.

— Стекло? Такое тяжелое?

— Она хрустальная, — пояснила Мегги, — и, наверное, когда-то была очень ценной. Но что ты с ней хочешь сделать? — спросила княгинюшка.

Она снова отошла от окна, одного из трех окон просторной комнаты, хоть и расположенной в задней половине дома, но с великолепным видом на западную часть небосвода в отблесках вечерней зари. Миссис Ассингем, вооружившись чашей, равно как и новыми сведениями о наличии изъяна, подошла к другому окну, чтобы воспользоваться последними остатками неспешно гаснущего света. Она потерла пальцем занятную вещицу, взвесила ее на руке, поворачивая так и этак, и вдруг заговорила, поддавшись непреодолимому порыву:

— Трещина? Значит, и вся твоя идея ущербна.

Мегги, стоявшая в эту минуту в нескольких шагах от нее, на мгновение замешкалась с ответом.

— Если под «моей идеей» ты подразумеваешь то, что я узнала…

Но Фанни решительно перебила ее:

— Мы знаем только одну действительно важную вещь, один-единственный факт, который что-то для нас значит.

— Это который же?

— Тот факт, что твой муж никогда, никогда, никогда!.. — Она на мгновение умолкла от чрезмерной торжественности своих слов и лишь молча воззрилась на подругу через всю комнату.

— Что именно никогда?

— Никогда и вполовину не интересовался тобою так, как теперь. Неужели ты в самом деле этого не чувствуешь, душенька?

Мегги не торопилась отвечать.

— Пожалуй, мне помогает почувствовать это все то, о чем я тебе сейчас рассказывала. То, что сегодня он бросил даже соблюдать внешние приличия, откровенно избегает меня, ни разу не зашел… — Она покачала головой, словно отвергая всякую возможность благоприятного толкования. — Это, знаешь ли, все потому же.

— А коли так!..

Фанни Ассингем отчаянно искала выход, и внезапно на нее снизошло озарение. Она подняла чашу, держа ее двумя руками, высоко над головой и улыбнулась из-под нее княгинюшке, как бы давая понять, что действует с обдуманным

намерением. На мгновение замерла, преисполнившись сознанием своей мысли и своего деяния, поддерживая в воздухе драгоценный сосуд, а потом, приняв в расчет полоску свободного от ковра, твердого лакированного паркета в нише окна, возле которого она стояла, резким движением обрушила чашу вниз и с дрожью восторга увидела, как та ударилась об пол и раскололась на части. Миссис Ассингем вся раскраснелась от сделанного усилия, а Мегги — от изумления, и целую минуту между ними ничего более не происходило. А затем:

— Что такое эта чаша означала для тебя, я теперь и знать не желаю; этого больше нет! — объявила миссис Ассингем.

— А что, интересно знать, она означала, моя дорогая?

Звучный голос раздался в тишине, словно поступок Фанни спустил невидимую пружину. Обеих дам, целиком захваченных происходящим и позабывших обо всем на свете, он поразил почти так же сильно, как звон разбившегося хрусталя. Они и не заметили, как отворилась дверь комнаты, пропуская князя. Мало того: он, видимо, успел застать завершение подвига Фанни и сейчас неотрывно смотрел на сверкающие

осколки у ног этой леди, ничем не заслоненные от его взора. Вопрос князя был адресован жене, но взгляд его от разбитой чаши немедленно обратился к лицу гостьи. Та ответила ему таким же прямым взглядом; надо думать, им не случалось настолько исчерпывающе понимать друг друга без слов с тех самых пор, как он появился на Кадоган-Плейс накануне своей свадьбы, в тот день, когда приехала Шарлотта. Каким-то образом напряжение, сгустившееся в комнате, позволило им вновь вернуться к тогдашнему общению душ — может быть, во исполнение данных в тот раз обетов. Стремительная игра безмолвного призыва и завуалированного отклика продолжалась достаточно долго, чтобы повлечь за собою сразу несколько следствий; во всяком случае, достаточно долго для того, чтобы миссис Ассингем могла оценить, с какой быстротой Америго справился с потрясением, мгновенно разгадав значение открывшихся ему вещественных свидетельств вдохновенного поступка Фанни — поистине, вдохновенного свыше, поняла она теперь, глядя на князя. Она смотрела на него и смотрела. Так много хотелось ей сказать! Но Мегги смотрела тоже, смотрела на них обоих; и потому из многого старшей дамой было сказано только лишь одно.

Нужно было ответить на его вопрос, в силу их взаимного молчания так и повисший в воздухе. Уже собираясь уходить, оставив на полу золотую чашу, расколотую на три куска, Фанни попросту переадресовала вопрос князя его жене. Скоро все они встретятся снова, сказала она, обернувшись от двери, а насчет того, что означала чаша для Мегги… Несомненно, Мегги уже и сама готова ему рассказать.

10

Оставшись наедине с мужем, Мегги, однако, заговорила не сразу. В ту минуту у нее было одно желание — не смотреть на него, пока он не успеет привести свое лицо в порядок. Она видела вполне достаточно в минуту первого изумления сразу после того, как он вошел, и это определило ее следующее движение. Тогда она поняла, как глубоко и прочно, научив быстро и верно угадывать его смысл, врезалось ей в память другое его выражение, озарившее ярким светом ее взволнованную душу в вечер его позднего возвращения из Мэтчема. Пусть в тот раз оно лишь промелькнуло и мгновенно исчезло; но Мегги открылись возможные его значения, и одно из них, самое уместное в данном случае, весьма вероятно, пришло ей на ум, и времени раскрыть для себя его смысл вполне хватило, пока Фанни выходила из комнаты. Смысл, открывшийся Мегги, заключался в открытии, сделанном князем, в том, что его внимание невольно привлекли экзальтация их гостьи и не успевшее еще отзвучать эхо ее слов, буквально кричавшие о происшествии, случившемся в самый миг его неожиданного

выхода на сцену. Не так уж противоестественно, что князь не связал это происшествие с тремя осколками некоего предмета, по-видимому, довольно ценного, которые лежали на полу и, хотя он смотрел на них через всю комнату, сохраняя дистанцию, все же смутно, но явственно напоминали о чем-то страшно знакомом. Это была всего лишь боль, всего лишь непроизвольная реакция на шок — словно неистовый поступок Фанни физически подействовал на князя, как действует удар по лицу, заставляя горячую кровь прихлынуть к щекам. Мегги отвернулась, отчетливо сознавая, что не хочет видеть его боль; ей нужна была всего лишь простая уверенность, а вовсе не разоблачающая красная отметина, пылавшая на его красивом лице. Если бы можно было продолжать разговор с завязанными глазами, Мегги предпочла бы поступить именно так; если уж необходимо сказать то, что она сейчас скажет, и выслушать то, что он ей на это ответит, то слепота в подобном случае могла бы оказаться истинным благодеянием.

Молча Мегги подошла туда, где ее подруга, — которая никогда не была ей таким настоящим другом, как в ту минуту, — отважилась на столь удивительное деяние. Под взглядом Американо

Мегги собрала с пола блестящие осколки.

Шуршащий шелком наряд и многочисленные драгоценные украшения не помешали ей смиренным поклоном отдать дань бережно соблюдаемому порядку. Но оказалось, что она может удержать в руках одновременно лишь два осколка. Мегги отнесла их к каминной полке и аккуратно положила на почетное место, где стояла сама чаша, прежде чем попала в руки Фанни. Затем Мегги вернулась, чтобы подобрать отломленную ножку с увесистой подставкой, отнесла ее все к тому же камину, очень старательно установила в самом центре и сделала попытку приложить на место отколотые куски. Благодаря скрытой трещине раскол получился таким четким и ровным, что, будь возможно каким-то образом скрепить их вместе, чаша все еще смотрелась бы очень красиво и на расстоянии нескольких шагов вполне могла сойти за целую. Но поскольку скрепить их было нечем, кроме ладоней Мегги в те несколько мгновений, пока они были приложены к чаше, оставалось только аккуратно пристроить почти равные половинки сосуда рядом с его подножием и предоставить им лежать так, на глазах у ее мужа. Она выполнила все это без единого слова, но как бы с целью

произвести определенное впечатление — хоть ей и показалось, что это несложное действие заняло невероятно много времени. Америго тоже молчал; впрочем, его молчание как бы отражало угрозу, скрытую в действиях княгинюшки. Всем своим поведением она словно приказывала ему наблюдать за нею с особым вниманием. У него не должно остаться ни малейших сомнений: она знает; но в планы Мегги совершенно не входила ненужная трата слов. Ему необходимо подумать, это она сознавала яснее всего; пока для нее было важно лишь одно — чтобы он догадался, как обстоит дело.

Весь этот день Мегги была уверена, что он уже догадался или, по крайней мере, инстиктивно насторожился, она даже поделилась с Фанни Ассингем своими соображениями на этот счет. Но она оказалась не совсем права в своих прогнозах касательно результатов его беспокойства. Страх остаться в стороне перевесил даже страх приблизиться к жене; князь все-таки пришел, даже рискуя принести свои страхи с собой — ах, какие еще нужны доказательства, когда она в первую же минуту безошибочно почувствовала, что он действительно принес с собою свой страх, как ни крепился, как ни готовился к тому, чтобы не вы-

дать себя ни единым неверным словом, и теперь его страх метался между ними, не находя выхода, и секунды лихорадочно бились под его тяжестью, словно пульс больного в жару под рукою врача.

И оттого в присутствии мужа Мегги не могла избавиться от ощущения, что, хоть чаша и разбита, причина по-прежнему цела, та причина, почему она приняла свое решение, та, для которой она вызвала сегодня подругу, та, ради которой она продемонстрировала мужу осколки; все это была одна и та же причина, и Мегги своим донельзя напряженным сознанием понимала, что поступок Фанни, так испугавший ее мужа, никоим образом не повлиял на нее саму, а исключительно и непосредственно на князя — ему и справляться с этим по мере сил. Поэтому Мегги необходимо было выиграть время — не для себя, для Американо, сама она давно уже — как ей казалось, много, много часов — измеряла время вечностью, и вечностью ей предстояло жить отныне. Ей хотелось сказать мужу: «Бери его, бери, сколько тебе нужно; устрой как-нибудь так, чтобы страдать не так сильно или, по крайней мере, чтобы страдание не исказило, не обезобразило твое лицо. Главное — постарайся понять, увидеть то, что я вижу, и на этой новой основе решай, не

торопясь. Посоветуйся с Шарлоттой, скоро у тебя будет такая возможность, ведь тогда ты сумеешь сделать все гораздо лучше, гораздо удобнее для нас обоих. И самое главное — не показывай мне свое лицо, пока не справишься с ним вполне, пока не уберешь с него уродливую растерянность и чудовищное смущение, пока не восстановишь нарушенное моим поступком несравненное совершенство». Методично расставляя безделушки на каминной полке, она, по правде сказать, была на волосок от того, чтобы обратиться к князю с подобной мольбой; впрочем, ей уже было ясно, что весь этот случай уже почти остался позади, что им нужно ехать в посольство, а князь еще не одет, а сама она хоть и одета, но наверняка ужасно раскраснелась, и весь ее взволнованный облик может вызвать у гостей посла множество нежелательных предположений, так что следует провести несколько минут перед зеркалом, дабы хоть отчасти поправить дело.

Тем временем Америго все-таки уловил ее невысказанную мольбу об отсрочке; передвигая с места на место статуэтки на камине, она как бы упрашивала его подождать, пока она будет в состоянии высказаться, как обещала за нее миссис Ассингем. Пауза стала новым испытанием

для силы духа Мегги, хотя заговорила она в конце концов совсем не потому, что не выдержала напряжения. Старательно пряча от мужа глаза, она тем не менее все настоятельнее ощущала, как напряженно работает его мозг. Была даже минута, когда, повернувшись к Америго спиной, Мегги вновь испытала в высшей степени странное желание пощадить его, уже раз коснувшееся ее среди всех ее забот крылом дикой птицы, влетевшей по нечаянности в темную шахту колодца и заслонившей на миг крошечный кружок далекого неба.

Удивительно, право, но Мегги вместо того, чтобы ожесточиться при мысли о нанесенной ей обиде, напротив, понемногу смягчалась, и чем больше думала об этом, тем изумлялась сильнее. Дело оборачивалось страннее некуда: вот она наконец уверилась вполне, в ее распоряжении факты во всей их неприглядности, так что и прибавить нечего, а она, только лишь оттого, что находится рядом с ним в полном молчании, уже начинает ощущать разрыв между сознанием и действием. Невероятно, но они уже не связаны воедино; вернее сказать, сознание не желает уступить ни дюйма, прочно врывшись ногами в почву, зато действие понемногу начи-

нает колебаться, подобно некой обширной, но невесомой сущности, возбуждаемой собственной способностью возноситься над землей. Оно жаждет свободы, оно жаждет независимости, оно жаждет — не правда ли? — отправиться на поиски собственных чудесных и увлекательных приключений. А обрекает его, так сказать, взять на себя ответственность свободы — как тотчас же угадала Мегги — растущая с каждым уходящим мгновением возможность, что теперь она станет мужу более необходима, чем прежде, что эта новая необходимость зарождается между ними прямо сейчас, вот в эту самую минуту. Настолько новая, подумалось Мегги, что ничего подобного ему до сих пор не приходилось испытывать; в сущности, только теперь она впервые стала нужна ему по-настоящему. Нет-нет, он использовал ее и раньше, и даже получал от этого немалое удовольствие, но он не нуждался в ней, а теперь ситуация начинает стремительно меняться. И огромное преимущество такого поворота событий заключается в том, что ей уже не придется больше хитрить, притворяться, что-то подстраивать; достаточно лишь держаться неизменно просто и прямо. Все еще стоя к нему спиной, Мегги сосредоточенно размышляла, как бы получше

это осуществить, но вот ей все разом стало ясно, и она обернулась, дабы немедленно воплотить свою идею в жизнь.

— Фанни Ассингем разбила ее, когда узнала, что в ней трещина и что она расколется, если ударить посильнее. Я ей об этом рассказала, и она решила, что так будет лучше всего. Это только ее мнение, я этого не думала, просто не успела сообразить, что она собирается сделать. А я, как раз наоборот, — объяснила княгинюшка, — поставила ее здесь специально, чтобы ты на нее посмотрел.

Князь стоял, засунув руки в карманы, разглядывая осколки, лежащие на камине, и Мегги почудилось, будто она различает явственные признаки облегчения, несомненную нечаянную радость, с какой он воспринял предложенную ею точку зрения на результат энергического вмешательства их приятельницы — ведь для него теперь каждая лишняя минута отсрочки была ценна вдвойне. Наконец, Мегги открылась до последней черточки драгоценная истина: помогая ему, что называется, помочь себе, она в то же время поможет ему помочь и ей. Разве не рискнула она войти вместе с ним в лабиринт? Разве не стоит сейчас рядом с ним в самом центре, в самом сердце этого лабиринта, откуда может,

руководствуясь безошибочным инстинктом, вывести его к свету и безопасности? Вот уж никак не мог он ожидать от нее подобной поддержки и, по правде говоря, довольно долго приглядывался, пока в конце концов не поверил, что тут не кроется никакой предательской ловушки. Мегги так и чувствовала, как ему слышится: «Да, смотри, смотри!» — хотя слова, произнесенные ею на самом деле, звучали совсем не так. «Смотри, смотри на правду, что еще живет в этих уличающих обломках, смотри и на другую, еще более потрясающую новость: оказывается, я далеко не та глупенькая дурочка, какой ты привык меня считать. А если я действительно не такая, так, может, что-то еще возможно для нас с тобой, если только ты поможешь мне вытащить это на свет божий. Конечно, тебе следует хорошенько обдумать, какую цену нужно за это заплатить, от чего придется отказаться… от кого придется отказаться, чтобы эта возможность стала реальностью. Знай, по крайней мере, одно: у тебя есть еще шанс, если только ты по слепоте своей не испортишь его». Америго подошел чуть ближе к осколкам и теперь уже заметно меньше старался скрыть, что узнает их; Мегги, наблюдая за ним, различала в этой перемене признаки происходя-

щего в нем процесса. И заговорила она не совсем о том, что он мог расслышать между строк сказанного ею раньше.

— Это, знаешь ли, золотая чаша. Ты видел ее давным-давно в антикварной лавочке в Блумсбери, когда ходил туда с Шарлоттой, когда провел с ней целое утро и ничего не сказал мне об этом, за два или три дня до нашей свадьбы. Вам предложили эту чашу, но ты ее не взял. Ты оставил ее мне, и вот я ее нашла, когда нечаянно заглянула в этот магазинчик по дороге домой — искала какой-нибудь старинный пустячок к папиному дню рождения, как раз после музея, помнишь, я тебе рассказывала, как была там с мистером Крайтоном? Мне показали чашу, она мне очень понравилась, и я ее взяла; я тогда еще ничего о ней не знала. Узнала уже после, узнала сегодня, каких-нибудь два часа назад, и, само собой, меня это довольно сильно поразило. И вот перед тобой три куска. Можешь взять их в руки, не бойся, — убедись, если хочешь, что это именно та самая вещь, которую вы смотрели вместе с Шарлоттой. Теперь она разбита — от этого пострадала ее красота, ее художественная ценность, но больше ничего не изменилось. Другая ее ценность осталась прежней — я имею в виду, что она открыла

мне правду о тебе. Поэтому для меня не имеет особенного значения, что с нею теперь станет, — разве что тебе она на что-нибудь пригодится? В таком случае, — закончила Мегги свою речь, — будет совсем не сложно захватить обломки с собой, когда поедем в «Фоунз».

Удивительное дело: одолев наконец этот трудный перевал, Мегги почувствовала, что в самом деле чего-то добилась, что перед нею открываются какие-то новые, чуточку более просторные перспективы. Она сделала то, что подсказывал инстинкт: заложила фундамент, который может стать не сиюминутной, прочной основой, объединяющей ее с мужем. Когда он в конце концов повернул к ней голову, эта же мысль блеснула и в его взгляде. Но была в этом взгляде и растерянность, и даже как будто вопрос. Еще целую минуту он не решался довериться словам, и все это время между ними держалось небывалое взаимопонимание, под общим руководством более ясного в этот момент сознания Мегги. Впрочем, когда он наконец решился, первые его слова прозвучали не слишком миропотрясающе.

— А какое отношение, скажи на милость, имеет к этому Фанни Ассингем?

Мегги чуть было не улыбнулась, несмотря на

скрытую душевную рану. Своим вопросом он так наивно отдавал ей инициативу! Теперь оставалось только идти напролом.

— Такое отношение, что я сразу же послала за ней, и она сразу же приехала. Я хотела прежде всего повидаться с ней, поскольку была уверена, что она наверняка знает. Я хочу сказать, знает больше, чем мне удастся выяснить без нее. Я, конечно, выяснила все, что только могла, это тоже нужно было сделать, но все-таки получилось не так уж и много, а она мне очень помогла. Не настолько, как ей хотелось, бедняжке, но она очень старалась. Она сделала для тебя все, что было в ее силах, — никогда не забывай об этом! — и меня тоже необыкновенно поддержала, без нее мне было бы намного сложнее. Она помогла мне выиграть время. А это главное. Эти три месяца — разве ты не видишь? — все и решили.

Она намеренно сказала: «Разве ты не видишь?» — и через минуту поняла, что добилась желаемого эффекта.

— Эти три месяца? — переспросил князь.

— Считая с того вечера, когда ты так поздно вернулся домой из Мэтчема. С того дня, который ты провел с Шарлоттой в Глостере. С вашей экскурсии в глостерский собор, которую ты, конечно, не

преминул описать во всех подробностях. Именно тогда у меня появилась уверенность. Прежде я еще сомневалась, — пояснила Мегги. — А с тех пор окончательно уверилась, что ты давно уже поддерживаешь двойные отношения с Шарлоттой.

Князь несколько растерялся.

— Двойные?..

Задавая этот вопрос, князь имел удивительно глупый вид, и Мегги вдруг подумала — видимо, отчасти в том и состоит наказание за нехороший поступок, что даже самый умный человек обречен выглядеть смешным.

— Да я не о количестве говорю! Их могло быть хоть пятьдесят! Я говорю об отношениях разного рода, а их число, в сущности, не имеет значения, главное — что они были не одного только рода, как думали мы с отцом. Один-то был у нас перед глазами, и мы, как ты видел, приняли его без возражений. Нам и в голову не приходило, что между вами есть еще какие-то отношения, которые вы от нас скрываете. Но после того вечера я поняла, что было что-то еще. Я же говорю, у меня и раньше случались разные мысли — а ты и не догадывался. С того дня эти мысли стали более определенными, и вы с ней тоже почувствовали

перемену — правда, очень смутно. Но окончательно все мне стало ясно в последние несколько часов, и поскольку я делилась с Фанни Ассингем моими сомнениями, то мне и захотелось, чтобы она узнала теперь о моей уверенности. Хотя ты должен понимать, что эта уверенность у меня не от нее, ни в коем случае. Она всегда тебя защищает, — заметила Мегги.

Князь слушал ее с неослабным вниманием, и Мегги по-прежнему казалось, что он словно просит у нее еще немного времени — только лишь времени, в этом она была убеждена, и еще у нее возникло чрезвычайно странное впечатление, будто ему нравится слушать то, что она говорит, пусть даже это будет стоить ему потери практически всего. Можно подумать, он ждал чего-то еще худшего и хотел дать ей возможность высказаться до конца — вдруг всплывет еще какой-нибудь факт, нечто более конкретное, ведь он тоже вправе знать, как обстоит дело. Он слушал ее, следил за ее лицом и, видимо, испытывал сильное желание взять то, что она протягивала ему, но не решался коснуться так сразу. Ему очень хотелось воспользоваться предложенным, но пока приходилось держать руки при себе по причинам, которые к этому времени уже были

ему вполне ясны. Мучительная невозможность сделать это причиняла князю почти физическое страдание, отражавшееся в глазах лихорадочным блеском, нестерпимым ознобом сокрушительного понимания.

Мегги говорила как будто и от имени своего отца, и Америго взглядом словно пытался загипнотизировать ее, заставить ответить, не принуждая его задавать вопрос. «У него тоже бывали такие мысли и знает ли он теперь столько же, сколько ты?» — вот слова, которые Америго удерживал из последних сил, но Мегги пока не собиралась облегчать ему эту задачу. С затаенным трепетом наблюдала она, каким стесненным и связанным он себя ощущает, и испытывала к нему острую жалость, прекрасно сочетавшуюся, однако, с вполне осознанным намерением оставить его в этом состоянии еще на некоторое время. Заговорить о ее отце сейчас, в контексте тревоги и раскаяния, было невозможно, немыслимо, означало бы ни больше ни меньше как окончательно выдать Шарлотту. От этого Америго отшатнулся зримо, ощутимо, попятился, словно от пропасти, внезапно разверзшейся прямо под ногами — даже странно, что это стало для него такой неожиданностью, как, впрочем,

и многое, многое другое. Мегги как будто видела собственными глазами историю строительства могучей башни их уверенности в полной своей безнаказанности. Эти двое возвели поистине грандиозное здание, основав его на своем глубочайшем убеждении, что Мегги, будучи по характеру склонна простодушно верить всему на свете, так всю жизнь и будет полагать, будто они благородно щадят ее. Во всяком случае, Америго сейчас ощущал острую необходимость всячески избегать одной конкретной безобразной трудности; захваченный врасплох, он оказался почти так же неподготовлен к происходящему, как если бы сам был, подобно своей жене, беспросветным простачком. А она, при всей своей беспросветной простоте, различала и кое-что еще: пусть он вынужден покоряться ей во многом, в то время как она восхитительно свободна, — но он ни за что не назовет, просто не в состоянии будет упомянуть имя Шарлотты. В эту минуту миссис Вервер, жена его тестя, встала между ними грозным и величественным призраком; защищать ее, заступаться за нее, объясняться за нее означало бы по меньшей мере включить ее в разговор — и, тем самым, включить в разговор также ее мужа. А это была как раз та дверь, которую Мегги не

собиралась открывать. И по этому случаю секунду спустя Мегги невольно подумала: пожалуй, ошарашенный и смущенный, Америго корчится сейчас от боли. И если так, значит, ему пришлось корчиться еще около минуты, пока он не решил для себя, наконец, что ему можно и чего нельзя.

— Ты, видимо, сделала какие-то невероятные выводы из сущего пустяка. Не покажется ли тебе, что ты чересчур легко торжествуешь победу, или как еще это назвать, — если я скажу, что нисколько не скрываю, мне действительно вспоминается эта твоя разбитая чаша? Откровенно сознаюсь, был такой случай, и я в самом деле не хотел говорить тебе об этом тогда. Мы договорились встретиться и провели вместе два или три часа, дело было и правда накануне моей свадьбы, как ты и говорила. Но ведь и накануне твоей свадьбы тоже, любовь моя, а это самое главное. Все было затеяно ради того, чтобы в последнюю минуту отыскать для тебя маленький свадебный подарок, моя дорогая, достойный тебя, но в то же время подходящий по другим параметрам, и в этом, как предполагалось, я мог помочь. Естественно, тебе рассказывать было нельзя — ведь для тебя все и делалось. Мы поехали вдвоем, долго искали, заглядывали в разные лавчонки и,

помнится, еще называли это «рыскать» по городу. Не отрицаю, попалась нам и эта хрустальная чаша. Честно говоря, жаль, что Фанни Ассингем обошлась с нею так сурово, хоть бы и из самых лучших побуждений. — Князь по-прежнему держал руки в карманах и теперь снова, но уже более спокойно взглянул на руины драгоценного сосуда. Мегги ощутила его долгий удовлетворенный вздох: все-таки удалось без запинки произнести подобную речь. Несмотря ни на что, ему почему-то стало легче, как только он смог заговорить, что-то объяснить ей, и, кажется, он старался доказать самому себе, что в состоянии говорить с нею. — Мы наткнулись на нее в одном маленьком магазинчике в Блумсбери. Мне кажется, я и сейчас бы его нашел. Помню, владелец понимал по-итальянски; ему ужасно хотелось сбыть с рук эту посудину. Но меня она не вдохновила, и мы не стали ее брать.

Мегги слушала с выражением искреннего интереса.

— О да, вы оставили ее мне. А что же вы взяли?

Князь воззрился на нее — сперва как будто стараясь припомнить, потом как будто стараясь забыть.

— Кажется, в том месте мы так ничего и не

купили.

— А в другом месте вы что-нибудь купили? Какой подарок вы приготовили мне к свадьбе — вы ведь для этого встретились тогда?

— Разве мы ничего тебе не подарили? — удивился князь, продолжая добросовестно припоминать.

Мегги выдержала небольшую паузу. Уже некоторое время она не сводила глаз с Америго, но теперь обратила взгляд к осколкам на камине.

— Нет, ничего. В конце концов все-таки получилось так, что вы подарили мне эту чашу. Мне было суждено самой набрести на нее по самой удивительной случайности. Я нашла ее в том же самом магазинчике, и меня уговорил ее взять тот же самый забавный человечек, который, как ты говоришь, понимает по-итальянски. Меня, видишь ли, чаша «вдохновила» — должно быть, я инстинктивно в нее поверила, потому что купила сразу, как только увидела. Хотя в тот момент я совершенно не знала, что беру вместе с ней.

У князя хватило такта сделать вид, будто он пытается угадать, что бы это такое могло быть.

— Согласен, совпадение просто необыкновенное, обычно такое случается в романах и театральных пьесах. Но все-таки, позволь заме-

тить, я не вижу никакого особенного значения…

— В том, что я приобрела вещь, которую ты когда-то не купил? — подхватила Мегги, но продолжила, уже следуя ходу своих собственных мыслей и снова обратив взгляд на Америго: — Странность совсем не в том, что я четыре года спустя зашла в тот же самый магазинчик; такие совпадения в Лондоне случаются каждый день. Странность в том, — раздельно проговорила она, — что эта покупка открыла мне уже после того, как я принесла ее домой. Открыла благодаря тому, что у меня, как это ни удивительно, нашелся замечательный друг.

— Замечательный друг? — Князь, очевидно, также нашел это удивительным.

— Тот человечек из антикварной лавки. Надо признать, он сам не знал, что он для меня сделал. Он почувствовал ко мне интерес, — объяснила Мегги, — вспомнил ваш прошлый визит и рассказал об этом мне.

Князь отвечал ей скептической улыбкой.

— Душа моя, если каждый, у кого ты вызвала интерес, станет рассказывать тебе всякие басни…

— У меня начнется очень беспокойная жизнь? Но я в самом деле необыкновенно ему понравилась. Иначе я никак не могу объяснить то, что

он снова дал о себе знать. Собственно говоря, он и сам так объяснил мне сегодня, — продолжала Мегги, — так прямо и сказал, что причина в этом.

— Сегодня? — эхом отозвался князь.

Но Мегги не позволила себя сбить с намеченной линии — эта способность была ей «дарована свыше», как она потом себе говорила.

— Я была ему симпатична, ни больше ни меньше! Но поразительнее всего, что ему удалось выразить свою симпатию таким образом, который оказался для меня очень полезен. Это-то и есть самое странное, — задумчиво продолжала княгинюшка, — что я, в полном неведении, попала именно к нему.

Князь понял, что Мегги не свернет с пути, оставалось лишь отойти в сторонку и дать ей дорогу. Он все-таки попытался слабо возразить — получилось что-то вроде беспомощного взмаха руками.

— Не хотелось бы говорить плохо о твоих друзьях, да и времени столько прошло, а мне до сих пор было незачем возвращаться к этому. Но, насколько я помню, тот человек производил впечательние редкостной канальи.

Мегги медленно покачала головой: нет, эта

лазейка никуда не приведет.

— По-моему, он просто добрый человек, ведь выгоды он никакой не получил. Наоборот, мог только понести убытки. Для этого он и пришел: сказать, что запросил с меня слишком высокую цену, что вещь на самом деле столько не стоит. В ней имеется изъян, о котором он мне не сказал, а потом раскаялся и написал мне письмо, просил позволения встретиться со мной снова, и в таких выражениях, что я согласилась повидаться с ним здесь, нынче после полудня.

— Здесь? — Князь огляделся по сторонам.

— Внизу, в маленькой красной гостиной. Ожидая меня, он стал рассматривать фотографии, которые там стоят, и две из них узнал. Хоть это было очень давно, он запомнил, как его магазин посетили леди и джентльмен, изображенные на снимках, и связал их со мной. И я тоже смогла многое связать воедино, потому что он все вспомнил и все мне рассказал. Видишь ли, ты тоже произвел на него впечатление, только, в отличие от тебя, он о тебе вспоминал. Он рассказал мне, что вы хотели купить друг для друга подарки, но так ничего и не выбрали. Леди была очарована той самой чашей, которую я у него приобрела, но ты не захотел принять от нее такой сувенир, и не

зря. Если бы он видел нас сейчас, — прибавила Мегги, — то еще больше бы убедился, насколько ты был прав, как верно угадал дефект и как легко оказалось разбить чашу. Он знал, что я тоже купила чашу для подарка, и его стала мучить совесть, особенно после того, как я заплатила такую цену.

Мегги на мгновение прервала свой рассказ, который продвигался вперед как бы толчками, между которыми рассказчице приходилось делать паузы, заново собираясь с силами. Таким образом, князь получил возможность вставить слово. Но сказал он очень странную вещь.

— И сколько же ты заплатила, скажи, пожалуйста?

Мегги чуть помолчала.

— Дороговато, конечно, для этих обломков. Вот я гляжу на них — и стыдно сказать.

Тут и князь снова взглянул на осколки, как бы понемногу привыкая к этому зрелищу.

— Но ты хоть получишь деньги обратно?

— О, я не собираюсь требовать их обратно. Я их потратила недаром. — И прежде, чем он успел ответить, Мегги резко сменила тему: — По-моему, самое замечательное — что в тот день вы так и не купили для меня подарка. Если такая и была ваша

цель, во всяком случае, она не была достигнута.

— Значит, ты ничего не получила? — Князь смотрел серьезно и озадаченно, словно бы запоздало негодуя.

— Ничего, кроме извинения за приход с пустыми руками по причине пустых карманов. Извинение было принесено очень мило, искренне и трогательно. Как будто оно хоть что-нибудь значило!

Америго выслушал Мегги с интересом, но и с некоторой растерянностью.

— Но ты ведь не могла обидеться на это! — Решительно, он уже заметно оправился от первого смущения. Видимо, решил, что слишком сильно смущаться нет необходимости, ибо момент выбран не самый подходящий для семейной сцены, поскольку им вот-вот предстоит появиться вместе на людях. Взглянул на часы: он ни на минуту не забывал о назначенном визите. — Знаешь, я не совсем понимаю, какие обвинения по моему адресу ты выводишь…

— Из всего, о чем сейчас рассказала? Да из этого все и вытекает! То, что ты давно и успешно обманывал меня. Конечно, было бы просто очаровательно отправиться искать для меня какой-нибудь милый сувенир, но вы в то утро

встретились совсем не за этим. Вы просто не могли ничего с собой поделать, — сказала Мегги. — Как увидели друг друга, так уже и не могли удержаться. По той самой причине, что прежде вас связывало очень многое — прежде, чем я встала между вами.

В последние несколько минут князь расхаживал взад и вперед по комнате, но при этих словах застыл на месте, словно желая скрыть свое нетерпение.

— В тот день ты была для меня священна, как ни в какой другой — кроме разве что сегодняшнего дня.

Мегги заметила, что уверенность князя вновь подняла голову; он так решительно и твердо встретился с ней глазами, что на нее словно вдруг дохнуло невообразимым холодом из безмерной дали его непостижимой логики. Но Мегги и тут не потеряла нить.

— Ах, я как нельзя лучше знаю, что вы никогда не планировали нас обидеть. Напротив, вы очень старались обойтись без этого, каких только предосторожностей не придумывали! Именно поэтому я и поняла, — прибавила она.

— «Поняла»? — повторил он, чуть помедлив.

— Поняла. Поняла, что ты с ней знаком гораздо

дольше и гораздо, гораздо ближе, чем я могла предположить, когда выходила за тебя замуж. Поняла, что есть вещи, о которых мне не рассказывают, и это постепенно помогло мне разглядеть смысл других вещей, которые были прямо передо мной.

— А если бы ты знала, — спросил вдруг князь, — это что-нибудь изменило бы в отношении нашей свадьбы?

Мегги задумалась.

— Ты прав, не изменило бы. В отношении нашей свадьбы. — И когда князь снова устремил на нее взгляд, полный жестокой тоски, с которой не мог совладать, она продолжила: — Но ведь тут затронуто намного больше. Ты должен понимать — то, что я знаю, придает всему особое значение. — Это его проняло: повторное упоминание о связи сделанного ею открытия с различными другими обстоятельствами, о которых он пока не решался пускаться в рассуждения. Он не смог скрыть, как действует на него, безжалостно царапая нервы, само бесконечно повторяемое слово «знаю, знаю». Даже сейчас Мегги была в состоянии пожалеть его нервы, ведь они ему понадобятся на предстоящем обеде, мероприятии весьма важном и ответственном, хотя и бездуш-

ном. Но это не должно помешать ей предельно эффективно использовать эту уникальную возможность добиться наконец полной ясности. — Я, если вспомнишь, не навязывалась тебе с этим. Если бы ты сюда не вошел, скорее всего, ничего бы и не случилось.

— А, — сказал князь, — я, знаешь ли, должен был сюда прийти.

— А я думала, что сегодня ты не придешь.

— Почему же нет?

— Да так, — отвечала Мегги. — У тебя много разных долгов, самого разного свойства. — Вдруг ей вспомнилось, о чем она говорила с Фанни Ассингем. — И потом, в тебе скрываются такие глубины…

Как отменно ни владел он своим лицом, но тут по нему пробежала тень гримасы, чрезвычайно характерной для людей его нации.

— Это в тебе, cara[50], скрываются глубины.

Подумав с минутку, Мегги с ним согласилась; она и сама чувствовала, что это правда.

— И мне это очень понадобится.

Но Америго уже задавал следующий вопрос:

— А что бы ты стала делать, если бы я так и не

---

[50] Примечания: 50
Дорогая (*ит.*).

пришел?

— Не знаю… А ты? — наобум спросила Мегги.

— Ах, io![51]Не обо мне речь. Я лишь следую за тобой. Ты завела бы этот разговор завтра?

— Думаю, я бы предпочла подождать.

— Зачем ждать? — поинтересовался он.

— Чтобы посмотреть, что изменилось для меня самой. Я имею в виду, после того, как я обо всем узнала.

— О! — сказал князь.

— Во всяком случае, сейчас, — продолжала Мегги, — меня интересует только одно: что все это меняет для тебя? С той минуты, как ты вошел, я хотела только, чтобы ты знал. Ничего кроме этого. — И она повторила еще раз; пускай послушает: — Чтобы ты знал, что я теперь… — Мегги, умолкнув на полуфразе, буквально вынудила его переспросить:

— Ты теперь?..

— Не такая, как была — ничего не ведающая.

Вот и снова ему пришлось молча проглотить ее слова. Но странно: ему как будто все еще было мало. Он колебался, но в конце концов все-таки не выдержал.

---

[51] Примечания: 51
Я (*ит.*).

— А еще кто-нибудь знает?

Ближе он не в силах был подойти к тому, чтобы назвать ее отца, и Мегги не стала помогать ему сократить расстояние.

— Кто-нибудь?

— Я хотел сказать — кто-нибудь помимо Фанни Ассингем?

— По-моему, у тебя есть свои способы выяснить это. Не понимаю, почему ты спрашиваешь меня, — сказала княгинюшка.

Он понял ее не сразу — Мегги видела это совершенно ясно. Как ни странно, это помогло ей сделать еще одно открытие: как видно, Шарлотте известно не больше, чем до этого ему самому. И от этой мысли перед нею вспыхнуло видение: двое наедине в «Фоунз», и Шарлотта, одна из двоих, принуждена продвигаться ощупью, ничего, совсем ничего не зная наверняка! Картина мгновенно окрасилась главным своим оттенком — возможного совпадения побудительных мотивов отца с мотивами самой Мегги. В нем, как выразился Америго, «скрываются глубины», и все ради того, чтобы малейшее дуновение ветерка не коснулось его любимой дочери; точно так же и она заслужила подобную характеристику тем, что неукоснительно оберегала отца, да и

в будущем, коли на то пошло, собиралась его оберегать от любых треволнений; во всяком случае, стараться хранить в неприкосновенности твердую внешнюю оболочку его достоинства, эту идеально гладкую эмаль — высший закон для нее. И вот еще странность, более удивительная, нежели все предыдущее: следующие слова мужа были произнесены как будто для того, чтобы помочь ей в этом.

— Я знаю только то, что ты мне рассказала.

— А я рассказала все, что хотела рассказать. Об остальном ты можешь дознаться…

— Дознаться?..

Он ждал.

С минуту она не отвечала — ровно столько понадобилось ей, чтобы собраться с духом и продолжить. Все глубинные, подводные течения всколыхнулись в ней, пока она смотрела ему в лицо, но почему-то опять лишь подняли ее ввысь вместо того, чтобы утянуть в бездну. Несмотря ни на что, у нее все-таки была твердая почва под ногами; а вот князя носило по бурному морю без руля и без ветрил. Мегги еще прочнее уперлась ногами в землю. Она подошла к камину, взяла с каминной полки колокольчик и позвонила, не оставив у мужа никаких сомнений в том, что

вызывает свою горничную. Это означало, что разговор временно окончен, а ему предлагается идти переодеваться к обеду. Но Мегги все же закончила фразу:

— Об остальном ты можешь дознаться сам!

11

Когда их тесный кружок вновь собрался вместе в «Фоунз» — а на это ушло, в общей сложности, дней десять, — Мегги, вполне естественно, все еще была переполнена событиями, случившимися перед ее отъездом из Лондона. Ей постоянно вспоминалось одно выражение времен их жизни в Америке; согласно этому выражению, она за последнее время «повеселилась на славу». Мегги знала это по неутихающему ощущению полноты жизни, которое временами становилось настолько сильно, что его невозможно было ни скрыть, ни признать открыто. Ярче всего было чувство, словно она откуда-то вышла — из темного тунеля, из густой чащи леса или хотя бы просто из накуренной комнаты, и наконец-то может глотнуть воздуху. Похоже, она наконец пожинала плоды своего терпения. То ли терпения у Мегги было больше, чем она сознавала сама, то ли все долго длилось; теперь же вся перспектива вокруг нее переменилась, как меняется вид в объективе, если изменить положение подзорной трубы всего лишь на дюйм. Собственно говоря, изменение состояло в том, что у ее подзорной

трубы значительно увеличился сектор обзора — и главная опасность, соответственно, заключалась в возможности самой оказаться под наблюдением аналогичного оптического устройства, причем находящегося в руках более увлеченного, а следовательно, и более опрометчивого зрителя. Для Мегги стало непреложным правилом ни при каких обстоятельствах не извлекать сей инструмент на публике, однако трудности двойной жизни отнюдь не уменьшались с течением времени, тогда как необходимость лицедейства неуклонно возрастала.

Морочить голову отцу удавалось сравнительно легко, пока речь шла не более как о сомнениях, но теперь дело обстояло куда серьезнее. Ощущения Мегги можно отчасти сравнить с переживаниями начинающей актрисы, которая с грехом пополам вызубрила доверенную ей маленькую роль, и вдруг ее вводят в спектакль в качестве главной героини, обязанной появляться на сцене во всех пяти актах. Накануне вечером, разговаривая с мужем, Мегги столько распространялась о своем «знании», а между тем применения этому знанию не могло быть ровно никакого. Его можно было только скрывать — еще одна ответственность на ее голову; все равно что взять на хранение нечто

чрезвычайно ценное и хрупкое. И помочь ей в этом не мог никто, даже Фанни Ассингем. После ее кульминационного выступления на Портленд-Плейс роль милой дамы упростилась до предела.

Она еще могла, конечно, пригодиться — о да, тысячу раз! — но только в одном; ее задача отныне — не касаться ни словом (по крайней мере, в разговорах с Мегги) той темы, которую они тогда обсуждали. Присутствие Фанни имело огромное значение, заключавшееся в огульном отрицании всего на свете. Она служила абстрактным символом всеобщего благолепия, и эту довольно-таки трудную роль должна была выдерживать, бедняжка, в меру своих слабых сил. Если станет совсем уж невмоготу, можно позволить себе короткую передышку наедине с Америго или же с Шарлоттой, но, разумеется, никак не с хозяином дома. Подобные передышки — ее личное дело; Мегги в настоящее время было совсем не до того. Впрочем, нужно заметить, Фанни тщательно скрывала эти минуты слабости от своей юной подруги, так что с той самой минуты, как они с полковником подкатили к крыльцу загородного дома, в отношениях между двумя дамами царила тишь да гладь. Не Фанни разве в тот последний вечер соединила мужа и жену, как ничто уже,

казалось, не могло их соединить? А посему было бы в высшей степени нескромно с ее стороны пытаться прибавить еще новые достижения к своему грандиозному успеху. Она лишь поставила бы под сомнение благие результаты своих трудов. И потому миссис Ассингем пребывала в состоянии нерушимой гармонии, без устали распространяя вокруг себя мир и покой — чрезвычайно агрессивный покой, вполне, впрочем, совместимый с прочным и основательным спокойствием «Фоунз»: своего рода Pax Britannica[52]в шлеме и с трезубцем в поднятой руке.

Вышеупомянутый покой, прибавим, с течением дней сделался весьма оживленным благодаря наплыву гостей, составлявших, как давно уже поняла Мегги, наилучшее средство для поддержания видимости нормальной жизни. В настоящий момент это средство совершенно явно и неприкрыто отвечало нуждам абсолютно всех обитателей поместья. Каждый будто надеялся спрятаться от остальных в толпе, прикрываясь путаницей вымышленных дел и надуманных вза-

[52] Примечания: 52

Дословно: Британский мир (*лат.*); по смыслу: Британская империя, по аналогии с античным выражением pax Romana — Римская империя. Автор проводит аналогию с общепринятым в то время аллегорическим изображением Британской империи.

имоотношений. Дошло до того, что вся компания дружным вздохом облегчения приветствовала известие о возвращении к здешним берегам миссис Рэнс и барышень Латч, по-прежнему выступающих единым фронтом, невзирая на всю свою разобщенность. Оба семейства вполне благосклонно отнеслись к причудливой идее пригласить их «как-нибудь на уик-энд». В глазах Мегги это стало показателем того, какое значительное расстояние все они прошли с незабвенного сентябрьского воскресенья, не так уж много лет назад определившего их судьбу. Тогда они сидели с отцом на скамеечке в парке, как бы в память былого жизненного уклада и былых опасностей, и Мегги предложила отцу «пригласить» Шарлотту, как приглашают врача к инвалидному креслу тяжелобольного. Ведь это, как-никак, говорит о многом, если уж они, хватаясь за соломинку, готовы искать развлечения в обществе Китти и Дотти, которых когда-то от души презирали. По правде говоря, Мегги уже успела перед отъездом из города заручиться обещанием приехать погостить от Каслдинов и еще нескольких участников исторической мэтчемской недели, причем приглашала она их не без задней мысли — с некоторых пор она вообще

не обращалась к ним без задней мысли, и этот мрачноватый элемент в их отношениях проявлялся чем дальше, тем заметнее. В последние же дни он и вовсе разгорелся ярким пламенем, озаряя разнообразные возможные последствия увеселений, проистекающих из возрождения старых семейных традиций — что само по себе служило оправданием тайных мотивов Мегги и возводило ее дипломатические ухищрения в ранг священнодействия. С помощью этих людей ей уже удалось отчасти добиться задуманного эффекта, доказав остальным: то, что годится им, «сойдет» и для нее, и нет ровно никакой необходимости им отказываться ради нее от чего-либо или от кого-либо. Мегги получала большое удовольствие, собирая вокруг себя шумное общество, так как это откровенно подчеркивало истину, которую ей особенно хотелось продемонстрировать: никаким нежелательным симптомам не пробиться на поверхность ее нынешней жизни, безупречно гладкую, не ведающую ни тени сомнения и густо засеянную пышными цветами усердного и целенаправленного труда. Мегги как бы вынудила обе стороны бесконечно служить друг другу прикрытием, будучи не в состоянии отделаться от этой надоевшей роли. Словом, с

точки зрения Мегги, дело представлялось так: Америго и Шарлотта, боясь разоблачения, принуждены скрепя сердце одобрять приятелей леди Каслдин, а тем, в свою очередь, приходится своим присутствием как бы служить вещественным доказательством чего-то не вполне ясного им самим и оставляющего у них, при всем их врожденном жизнелюбии, ощущение легкой растерянности, чтобы не сказать — легкого испуга. Тем не менее они исправно выполняли свою задачу, оживляя многолюдьем, шумом и движением обстановку тяжелого кризиса, который, несомненно, угадывался ими, витая незримо в глубине темных коридоров, подобно почтенному (в силу своей древности) привидению, отзываясь скорее затаенной угрозой, нежели явной опасностью в образе докучливого гостя, которого никак не удается выкурить из гостиной или из-за обеденного стола. А если бы даже княгинюшка не сумела извлечь практической пользы из своей затеи, она могла по крайней мере с сочувствием наблюдать, как Фанни Ассингем, сообразив все преимущества сложившейся ситуации, залечивает старые раны. Вот когда верная подруга взяла реванш за все свои злоключения в Мэтчеме, где она совсем потерялась на фоне других гостей!

Зато в «Фоунз» она ориентировалась как нельзя лучше и безошибочно умела взять верный тон. Мщение славной леди приняло форму великодушного и самую чуточку снисходительного покровительства, вполне осознанного и совершенно неотразимого.

В этом доме, как бы говорила торжествующая Фанни, она является лицом столь значительным, что может, пожалуй, поделиться своей значимостью с бестолковыми гостями, не способными без посторонней помощи разобраться, что к чему. Мегги все прекрасно видела и понимала, и это каким-то образом сближало ее с миссис Ассингем. Может быть, поэтому она как-то вечером в порыве неясного чувства решилась вернуться к прежней откровенности и прямоте. Они вдвоем задержались дольше других в нижнем этаже. Остальные дамы уже удалились, поодиночке или парочками, вверх по парадной лестнице, на которой их приходы и уходы выглядели чрезвычайно живописно, если смотреть со стороны не менее парадного вестибюля. Мужчины, по-видимому, отправились в курительную комнату, а княгинюшка медлила уходить, как бы любуясь редкостным зрелищем. Вскоре она заметила, что и миссис Ассингем немного отстала от прочих,

словно залюбовавшись Мегги. Так они и смотрели друг на друга, стоя по разные стороны обширного помещения, пока старшая из дам довольно нерешительно не подошла ближе. Фанни как будто спрашивала, не может ли она сделать еще что-нибудь. И она получила ответ на свой вопрос, когда, сократив разделяющее их расстояние, вновь испытала чувство, пережитое ею на Портленд-Плейс, куда она явилась после категорического вызова Мегги. В эту минуту взаимопонимание между ними полностью восстановилось, точно и не было никакого перерыва.

— Он так и не рассказал ей, что я все знаю. В этом я окончательно уверилась. — Миссис Ассингем сделала большие глаза, и Мегги пояснила: — Когда мы приехали сюда, я была в полном неведении, не представляла, как он поступил и как собирается поступить, не могла угадать, что произошло между ними. Но через день-другой у меня появились кое-какие подозрения, а нынче вечером, по разным причинам, — о, их слишком много, чтобы сейчас обо всех рассказывать, — я убедилась вполне, потому что это все объясняет. Произошло то, что между ними ничего не произошло. И это объясняет, — пылко повторила княгинюшка, — все, все объясняет!

Позднее, рассказывая об этом разговоре полковнику, Фанни высказалась о состоянии своей юной подруги довольно своеобразно, назвав его «тихим экстазом». Княгинюшка вновь отвернулась к камину, где по случаю сырого дня и холодной ночи от жарко пылавших дров остались чуть тлеющие угли. Мегги напряженно вглядывалась в какое-то неведомое видение, а Фанни Ассингем жадно ловила каждое ее слово. В самом деле, столь удивительный факт способен объяснить многое, и даже куда больше, чем ее приятельница в состоянии заглотить в один присест, при том что охоты ей не занимать. Впрочем, княгинюшка тут же доказала, что и ей доступно не так уж мало по части доверия и всепрощения.

— Он не сказал ей, что я узнала, и, видимо, не собирается. Он так решил: ничего не говорить. А поскольку самой ей узнать неоткуда, она и не догадывается, как много мне на самом деле известно. Она думает, — сказала Мегги, — то есть, как ей кажется, точно знает, что мне вовсе ничего не известно. И у меня почему-то такое чувство, что от этого мне может быть огромная польза.

— Огромная, душенька! — поддакнула миссис Ассингем, хотя пока еще не понимая всего до конца. — Так он молчит намеренно?

— Намеренно. — Сияющие глаза Мегги видели сейчас дальше, чем когда-либо. — Он уже никогда ей не скажет!

Фанни не могла придумать, что и ответить на это. Преобладающим ее чувством в этот момент было восхищение своей маленькой подружкой, окрыленной поистине пророческим вдохновением. Она стояла перед Фанни в полной боевой экипировке, точно маленький, но прямой, как стрела, офицер, командующий осадой вражеской крепости, неожиданно получивший известие чрезвычайной важности, сообщающее о бунте, о расколе в рядах осажденных. Сознание великого значения полученных новостей передалось и миссис Ассингем.

— Стало быть, у тебя теперь все в порядке?

— Ах, «все в порядке» — это все-таки слишком сильно сказано. Но, по крайней мере, теперь я знаю, на каком я свете; раньше и этого не было.

Фанни погрузилась в раздумье. Еще один момент оставался для нее по-прежнему неясен.

— Ты узнала об этом от него? Твой муж сам тебе сказал?..

— Сказал?..

— Да как же, о том, о чем ты сейчас говорила. Он подтвердил твою догадку?

Мегги уставилась на нее во все глаза.

— Боже мой, нет! Неужели ты думаешь, я стала просить у него подтверждения?

— Ах, не стала? — улыбнулась ее приятельница. — А я было подумала… О чем же тогда, душенька моя?..

— Я просила его? Ни о чем я его не просила.

Тут пришла очередь Фанни смотреть во все глаза.

— Выходит, в тот вечер, когда вы были на обеде в посольстве, между вами ничего не произошло?

— Напротив, все произошло.

— Все?..

— Все. Я сказала ему, что знаю, и сказала, откуда я это знаю.

Миссис Ассингем подождала немного.

— И все?

— А разве этого мало?

— Душенька моя, — возмутилась Фанни, — это уж тебе судить!

— Я и рассудила, — сказала Мегги. — Я убедилась, что он меня понял, а потом оставила его в покое.

Миссис Ассингем изумилась.

— Но разве он не объяснил?..

— Нет, он, слава богу, не стал ничего объяс-

нять! — Мегги вскинула голову, словно ужаснувшись подобной мысли, и тут же прибавила: — И я тоже не стала ничего объяснять.

Спокойное и гордое достоинство засияло в этих словах холодным светом, но как бы с высоты горного пика, у подножия которого с трудом переводила дух ее собеседница.

— Так он не признался и не отрицал?..

— Он сделал то, что в тысячу раз лучше — предоставил меня самой себе. Я знала, что он так сделает; теперь я понимаю, что была в этом абсолютно уверена. Он предоставил меня самой себе.

Фанни Ассингем обдумала ее слова.

— Тогда откуда же ты знаешь, как говоришь, на каком ты свете?

— Да именно оттуда. Я дала ему увидеть разницу, увидеть, как все изменилось оттого, что я все-таки оказалась не такой уж дурочкой, чтобы не узнать, хоть мне, конечно, и помог удивительный случай. Он должен был понять, что ко мне теперь нужно относиться по-другому, совсем не так, как он давно уже привык. Оставался только вопрос, сумеет ли он осознать все это, — и, насколько я теперь вижу, он сумел.

Фанни изо всех сил старалась уследить за ходом мысли княгинюшки.

— И доказывает это тем, что предоставляет тебя, как ты выразилась, самой себе?

Мегги ответила долгим взглядом.

— И ее тоже.

Миссис Ассингем напрягла все силы, стараясь охватить мысленным взором этот новый довод, но тут же отвлеклась, ибо на нее снизошло озарение — насколько это было возможно в столь разреженном высокогорном воздухе.

— Ах, но вот Шарлотта предоставит ли его самому себе?

— О, это совсем другое дело, и меня оно практически не касается. Думаю, что вряд ли. — Вопрос Фанни вызвал к жизни новое видение, на которое княгинюшка смотрела с еще более далекого расстояния. — Собственно говоря, я не представляю, как это было бы возможно. Но для меня важнее всего, что он понимает.

— Да-а, — вкрадчиво откликнулась Фанни Ассингем. — Понимает?..

— Ну да, понимает, что мне нужно. Мне нужно счастье, в котором не зияет дырка такого размера, что в нее можно просунуть палец.

— Вижу: тебе требуется идеальная сверкающая поверхность, по крайней мере для начала.

— Золотая чаша — какой она должна была

быть. — И Мегги вдруг задумалась об этом произведении искусства, бесповоротно оставшемся в прошлом. — Счастье — чаша, полная до краев. И без единой трещины.

Ее сравнение поразило миссис Ассингем. Перед мысленным взором этой дамы тоже засверкало драгоценное изделие, вновь обретшее убедительно-презентабельный вид. И все-таки, кажется, не хватает еще одного кусочка?

— Но если он предоставляет тебя самой себе, и ты предоставляешь его самому себе…

— О чем ты хотела спросить? Не станут ли обращать на это внимание? Не выдаст ли это нас? Что же — мы надеемся, что нет. Мы стараемся, мы постоянно остерегаемся. Только мы одни знаем о том, что между нами происходит, да еще вот ты. С тех пор, как ты приехала, разве ты не замечала, как ловко мы притворяемся?

— Перед отцом? — нерешительно уточнила подруга.

Но тут Мегги и сама заколебалась. Она не станет прямо говорить об отце!

— Перед всеми. Перед нею — ведь ты теперь все знаешь, перед тобой больше не нужно притворяться.

Бедняжка Фанни снова удивилась:

— Перед Шарлоттой… Да, конечно. Если все это для вас имеет такой глубокий смысл, и если вы в самом деле так спланировали… Тогда все сходится, и вы опять получаетесь вместе. Таких, как ты, просто и на свете больше нет! Ты необыкновенная! — восхищенно выдохнула она.

Мегги ответила очень сдержанно:

— Нет, во мне нет ничего необыкновенного, я просто умею молчать, если нужно.

— Это же и есть самое необыкновенное! Я, например, не умею молчать, в этом смысле мне до тебя далеко. — И миссис Ассингем вновь, не скрываясь, погрузилась в мрачное раздумье. — Ты говоришь, теперь я все знаю, но кое-что я никак понять не могу. — Ее собеседница не произносила ни слова, дожидаясь продолжения, и Фанни продолжила: — Как все-таки может быть, чтобы Шарлотта не обратилась к нему за разъяснениями, не воззвала к его чести, не спросила, в конце концов, напрямик, знаешь ты или нет?

— Как могла она не спросить? — повторила княгинюшка своим чистым голосом. — Конечно, она наверняка спросила!

— Но тогда?..

— Ты думаешь, тогда он бы непременно ей рассказал? Но ведь я об этом и говорю, — сказала

Мегги. — Он ничего такого не сделает, совсем наоборот.

Фанни Ассингем мысленно взвесила это утверждение.

— Если она прямо попросит сказать ей правду?

— Если она прямо попросит сказать ей правду.

— Взяв с него честное слово?

— Взяв с него честное слово. О чем я тебе и толкую.

Фанни Ассингем собрала остатки храбрости.

— Попросит, чтобы он сказал ей правду?

— Да кому угодно.

Лицо миссис Ассингем просветлело.

— Он просто-напросто беззастенчиво солжет?

Мегги подтвердила, даже не запнувшись:

— Он просто-напросто беззастенчиво солжет.

Ее собеседница так и застыла, но уже в следующую секунду от избытка чувств бросилась Мегги на шею.

— Ах, если бы ты только знала, как у меня отлегло от сердца!

Мегги было приятно просветить подругу в пределах возможного, но скоро она сообразила, что пределы эти, если вдуматься, весьма ограничены, далее же начинаются бездны, недоступные пониманию славной леди. Да это и неудивительно,

ведь даже сама княгинюшка, как мы знаем, лишь совсем недавно сумела измерить их глубину. Мегги ни на минуту не забывала, что полностью открыться нельзя даже такому испытанному другу, как миссис Ассингем; притом для нее самой процесс освоения неизведанной территории еще далеко не завершился. В настоящий момент можно было только сказать, что раньше эти сумрачные закоулки ее воображения были наполнены еще более непроглядной тьмой. Мегги бросила туда беглый взгляд накануне своего отъезда за город, но углубляться не стала. В тот день, да и в последующие дни, она узнала немного; вот разве лишь то удивительное обстоятельство, что кризис в их отношениях, существование которого в конце концов пришлось признать ее мужу, не ознаменовался сколько-нибудь заметными сдвигами в их «личной» жизни, и неизвестно было, надолго ли сохранится такое положение дел. Наутро после сцены в комнате Мегги у них состоялся еще один разговор с глазу на глаз по поводу вышеупомянутого кризиса, но очень недолгий и закончившийся довольно странно. Мегги попросту переложила все проблемы на плечи мужа. Он же поступил с ними так, словно ему вручили связку ключей или список поку-

пок: внимательно выслушав все инструкции, аккуратно спрятал в карман. Полученные инструкции, казалось, никак не повлияли на его повседневное поведение, не сделали его ни более разговорчивым, ни более молчаливым. Плоды решительных действий княгинюшки пока что заставляли себя ждать. Словом, в тот раз, перед поездкой в посольство, князь получил от Мегги все, что она была в состоянии ему уделить, а на следующий день попросил еще, как будто за ночь она каким-то образом пополнила свои запасы, вид же имел при этом самый что ни на есть отрешенный и невозмутимый. Собственно говоря, если бы Мегги была способна отозваться о своем муже в вульгарных выражениях, она назвала бы его манеру нахальной, тогда как сам он, столкнувшись с подобным обращением со стороны другого человека, назвал бы его хамством. Сущность его тогдашней манеры можно было выразить так: поверь мне хотя бы из-за этого, если уж не хочешь поверить, исходя из общих соображений.

И слова Америго, и его молчание в эту минуту, казалось, подразумевали не больше, чем обычно в последнее время; но если бы Мегги не исключала так безоговорочно саму возможность того, чтобы он сознательно захотел причинить ей

боль, она могла бы увидеть за его непоколебимым самообладанием ту дерзкую надменность, с помощью которой великие мира сего, люди того же класса и того же типа, что ее муж, всегда умеют восстановить нарушенный порядок вещей.

Счастье Мегги, если она была настолько уверена в том, что он не собирается воспользоваться этим приемом — по крайней мере, против нее. Хотя князь вел себя довольно загадочно, ничего не отрицал, ничего не объяснял, не отвечал на вопросы и не просил прощения, все же он каким-то непонятным образом ухитрился внушить жене, что ведет себя так вовсе не из желания «отмахнуться» от нее. Оба раза он слушал ее с большим вниманием, хотя и с чрезвычайной сдержанностью; впрочем, не следует также забывать, что во время их второго, краткого разговора на Портленд-Плейс, уже в самом конце, князь настолько поступился своей сдержанностью, что практически предложил Мегги заключить временное соглашение. По сути, тут было всего лишь нечто затаенное в глубине его глаз, обращенных к Мегги, но чем дольше она смотрела, тем отчетливее читала в них безмолвный проект договора о сотрудничестве. «Оставь мне право на молчание, не отказывай мне в этом. Понимаешь, ведь

больше у меня ничего не осталось. Если ты позволишь мне хранить молчание столько времени, сколько мне потребуется, обещаю — что-нибудь да созреет в тишине, хоть я пока плохо представляю, что именно. И это будет тебе наградой за терпение». Мегги отвернулась; эти или подобные им слова звучали у нее в ушах. Ей и в самом деле приходилось напоминать себе об этом призыве, мысленно прислушиваться к нему снова и снова — иначе никак не получалось объяснить, отчего она так терпелива. Ведь он даже пропустил мимо ушей ее признание в полном неведении касательно того, с какого времени, еще до женитьбы, началось его близкое знакомство с Шарлоттой. А между тем ее неосведомленность по этому поводу непосредственно затрагивала интересы князя и Шарлотты; оба они в течение нескольких лет всячески способствовали поддержанию ее неведения, и докажи князь своим ответом, что не стремится продолжать такое утаивание, это вполне могло бы стать первым доводом в его защиту. Но Америго удостоил упомянутую тему лишь долгого взгляда с невысказанной просьбой об отсрочке. Мегги была бы совершенно уничтожена, если бы не нашла опору в своей новообретенной способности хотя бы временно

примириться с той главой семейной истории, от одной мысли о которой всего неделю назад ее обдавало смертельным холодом. Она уже начала привыкать к тому, что поле ее зрения распахивается все шире буквально с каждым часом. Когда, оказавшись в «Фоунз», она спросила себя, дал ли он более или менее определенный ответ хотя бы на одно из обвинений, высказанных ею в Лондоне, то показалась самой себе подобием усталой маленькой танцовщицы, с трудом переводящей дух после выполнения трудного пируэта на ярко освещенной сцене пустого театра перед одним-единственным зрителем, небрежно раскинувшимся в ложе.

Только теперь, вспоминая все происшедшее, она по-настоящему поняла, насколько успешно сумел Америго ничем не скомпрометировать себя, расспрашивая ее в тот единственный раз, когда они вернулись к этому разговору — в сущности, он затем и спровоцировал ее на возобновление разговора, чтобы расспросить как следует. Он заставил ее еще раз рассказать о неожиданной встрече в собственном доме с маленьким антикваром из Блумсбери. Не приходится удивляться, что его интересовали подробности этой встречи. Он чуть ли не устроил жене настоящий допрос

с пристрастием. Труднее всего было понять, что заставило этого чудака написать покаянное письмо даме, с которой он только что заключил выгодную сделку, а потом еще и явиться самому, дабы лично принести ей свои извинения. Мегги сознавала, как неубедительны ее объяснения, но поскольку все именно так и было, она не могла предложить ничего другого. Оставшись наедине с собой после продажи золотой чаши, которую, как он знал, покупательница намеревалась подарить отцу на день его рождения, — Мегги призналась, что болтала с владельцем лавчонки вполне по-дружески, — торговец поддался укорам совести, а это большая редкость среди торговцев вообще и практически никогда не встречается у бережливых сынов Израилевых. Ему очень не понравился собственный поступок, и еще больше не понравилось, как доволен он был, радуясь успешно проведенной прибыльной операции. При мысли о том, что его очаровательная доверчивая посетительница преподнесет горячо любимому родителю подарок с изъяном, придающим ему смысл недоброго предзнаменования, он не устоял перед суеверными страхами и отважился на неслыханное чудачество — несомненно, еще более поразительное для его собственного

коммерческого ума по той причине, что ничего подобного у него никогда в жизни не случалось с другими покупателями. Мегги вполне понимала всю странность происшествия и не пыталась ее скрыть. С другой стороны, она нисколько не сомневалась, что, не задень эта история Америго за живое, он, скорее всего, просто посмеялся бы над ней. У него вырвался какой-то необыкновенный звук, нечто среднее между смехом и стоном, когда Мегги сказала (а она не преминула это сделать): «Ах, само собой, он говорил, что пришел из „симпатии“ ко мне!» Впрочем, она так и не смогла решить, чем именно был вызван этот нечленораздельный комментарий — фамильярностью ли, которую Мегги допустила в разговоре с торговцем, или же фамильярностью, которую ей пришлось от него стерпеть. С той же откровенностью она сообщила князю, что антиквар, по-видимому, жаждал увидеться с нею еще раз и воспользовался для этого первым подвернувшимся предлогом, что ее это нисколько не шокирует и торговца она не осуждает, а, напротив, испытывает к нему искреннюю признательность. Он всерьез пытался вернуть ей часть денег, но она отказалась наотрез, и тогда он выразил надежду, что она хотя бы еще не успела осуществить

свое прекрасное намерение относительно хрустальной чаши, о котором, к великому счастью, соизволила рассказать ему. Нельзя дарить такую вещь человеку, которого любишь, ведь не хочет же леди навлечь на него несчастье. Он все думал об этом, места себе не находил, а теперь вот поговорил с ней, и ему сразу стало легче. Ему стыдно, что он чуть было не позволил ей совершить по неведению роковую ошибку, и если прекрасная госпожа великодушно извинит его за такую смелость, она может делать с чашей все, что ей будет угодно, кроме только одного этого.

Вот тогда-то и случилось самое необыкновенное: торговец указал на два фотографических снимка, заметив, что этих людей он знает и, что удивительнее всего, имел случай познакомиться с ними несколько лет тому назад именно по поводу этой самой чаши. В тот раз даме пришла фантазия преподнести чашу джентльмену, но джентльмен догадался о трещине и ловко уклонился от подарка, заявив, что ни за что на свете не примет столь сомнительной вещи. Маленький антиквар признался, что тех людей ему нисколько не было бы жаль, но он не забыл их лиц и того разговора и, если хотите знать, его, может, больше всего расстроило то, что очарователь-

ная леди по незнанию согласилась взять вещь, которая оказалась недостаточно хороша для других покупателей. Кроме того, его до глубины души поразило такое удивительное совпадение: выходит, они и с нею тоже давние друзья! Они с тех пор не появлялись в его магазине, и сейчас он впервые узнал о них нечто новое. Он весь раскраснелся от воспоминаний, от сознания своей ответственности, и твердил, что ее знакомство с ними наверняка имеет какую-то мистическую связь с посетившим его благим порывом. Мегги, стоя лицом к лицу с мужем, не скрывала, как сильно была потрясена таким неожиданным оборотом дела. В тот момент она приняла удар, изо всех сил постаравшись не выдать своих чувств, но не может утверждать наверное, что подумал о ее волнении поставщик этих необычайных сведений — нет, она даже и пытаться не станет.

Пусть его думает, что хочет. Во всяком случае, в первые три-четыре минуты это было ей решительно все равно, и она засыпала антиквара вопросами. Он отвечал вполне охотно, с восторгом рассказывал о том, какие «отношения» существовали, на его взгляд, между теми давними посетителями. Несмотря на все их предосторожности, у торговца осталось отчетли-

вое впечатление, что эти люди были близки друг другу. Он наблюдал, делал выводы, и он ничего не забыл; наверняка это были очень знатные люди, но они, безусловно, не вызывали у него той «симпатии», что Signora Principessa[53]. Да, конечно, — Мегги не оставила ни малейшей неясности по этому вопросу, — он спросил у нее имя и адрес, чтобы знать, куда доставить чашу и счет. Но про тех двоих он мог только гадать, будучи уверен, что они никогда больше к нему не заглянут. Что до того, когда именно они его посетили, он может ответить с точностью, поскольку в тот день, всего несколько часов спустя, ему удалось провернуть чрезвычайно крупную сделку, о которой осталась запись в его бухгалтерских книгах. Словом, он более чем искупил свой не совсем честный поступок, оказав ей столь неожиданную услугу, чему, уходя, от души радовался. А радовался он потому, — ты только подумай, Америго! — что успел по-человечески заинтересоваться ее красотой, добротой, изящными манерами и чарующей простотой в обращении. Свой разговор с мужем Мегги бесконечно повторяла про себя, заново вспоминая рассказанную ею несложную историю

---

[53] Примечания: 53
Госпожа княгиня (*um.*).

и пытаясь понять, не допустила ли она какой-нибудь оплошности в минутном ослеплении страстной тоски и боли. Можно себе представить, какую головоломку она задала князю.

Тем временем Каслдины отбыли вместе со своими приятелями, а до приезда миссис Рэнс и барышень Латч оставалось еще дня три-четыре. Вот когда Мегги пришлось потрудиться, чтобы сохранить свою тайну! Именно теперь княгинюшка ощутила всю силу истины, которую несколько дней назад доверила милой Фанни Ассингем. Она заранее знала, еще когда дом был полон гостей, она предчувствовала: Шарлотта что-то замышляет и только ждет удобного случая, когда в доме останется поменьше народа. Это смутное ощущение и заставляло Мегги собирать вокруг себя как можно больше свидетелей. Временами она попросту пряталась от своей молодой мачехи, почти не скрывая своего нежелания встречаться с нею, и со страхом перебирала в уме доступные той способы воздействия — их могло быть не менее двух или трех. Тот факт, что Америго «не рассказал» Шарлотте о пассаже, случившемся между ними, позволял Мегги совершенно по-новому представить себе нынешнее состояние Шарлотты — представить с тревогой,

с удивлением и, сколь это ни покажется странным, иногда даже с сочувствием. Княгинюшка пыталась разгадать, — ибо чувствовала, что это в ее силах, — с какой целью он оставил соучастницу своего проступка в полном неведении по вопросу, так близко ее касающемуся, и каковы были его планы по отношению к этому очевидно недоумевающему персонажу. Чего он добивался по отношению к самой Мегги, вообразить было нетрудно: самых разнообразных вещей, обусловленных чисто формальными причинами и идущих от души, вызванных жалостью или соображениями собственной безопасности. Прежде всего он, вероятно, стремился избежать любых изменений в общении между двумя дамами, которые мог бы подметить его тесть и пожелать выяснить причины. Учитывая, однако, как близки они были с Шарлоттой, он вполне мог найти другое средство избежать этой опасности; по правде говоря, гораздо благоразумнее, казалось бы, предупредить ее, предостеречь, объяснить, как рискованно вызывать сейчас какие-либо подозрения и как важно любой ценой сохранять видимость мирного сосуществования. А он вместо того, чтобы предостеречь, обманул Шарлотту, усыпил ее бдительность, так что наша юная леди,

по природе своей всю жизнь больше всего на свете боявшаяся навредить другим, словно считая, что в этом и состоит главная ловушка судьбы, невольно начала задумываться с совсем неожиданной стороны о положении двоих уличенных преступников и о том, что по крайней мере одному из них, кому повезет меньше, неизбежно придется пострадать.

В те дни, стоило ей только подумать о возможных намерениях Америго, как вместе с этим тотчас являлась мысль: каковы бы ни были его планы, еще больше он оставляет на долю ее собственной изобретательности. На деле он помогал ей единственно тем, что являл в глазах восхищенных зрителей безупречную, может быть, даже чересчур изысканную учтивость по отношению к жене. Такого рода дипломатия, безусловно, заслуживала похвалы, однако носила исключительно пассивный характер. Держался он прекрасно, как Мегги и говорила милой Фанни Ассингем; если бы он, вдобавок ко всему прочему, еще и вел себя неправильно, ситуация стала бы непредсказуемой. Временами Мегги охватывал безмолвный восторг — во всем происходящем ей виделась немая клятва Америго принять любое ее решение, не задавая вопросов. В такие мину-

ты дыхание у нее перехватывало от радостного трепета, и она чувствовала, что способна практически на все. Казалось, за какой-то невероятно краткий промежуток времени она, бывшая для него ничем, вдруг сделалась всем; казалось, каждый поворот его головы, каждая интонация его голоса могла быть истолкована в том смысле, что это — единственная линия поведения, которую может избрать для себя гордый человек, оказавшись в унизительном положении. Когда образ мужа представлялся Мегги в таком свете, ей невольно думалось, что все это слишком прекрасно, а цена, которую ей пришлось заплатить, слишком уж мала. Лишь бы знать наверняка, что ей не померещилась эта красота, сияющая сквозь унижение, и это унижение, затаившееся в глубине его горделивого облика, — за это Мегги была готова заплатить и больше, заплатить такими трудностями и тревогами, по сравнению с которыми все ее нынешние треволнения покажутся сущими пустяками, вроде головной боли или дождливой погоды.

Впрочем, восторги мгновенно заканчивались, как только ей приходило в голову, что в случае усугубления трудностей весьма серьезно встал бы вопрос о ее собственной платежеспособности.

Право, сложностей и без того более чем хватало, они требовали постоянного внимания, то находчивости, то величия духа, и пока Мегги удавалось с ними справляться, Шарлотте оставалось лишь бесплодно гадать, без всякой надежды проникнуть в ее тайну. И вот любопытная вещь: благодаря этой уверенности Мегги все больше волновали разные мелкие подробности. Например, ее очень интересовало, как именно Америго, встречаясь урывками с Шарлоттой, отводит глаза несчастному загнанному созданию фальшивыми объяснениями, опровергает ее догадки и уклоняется — если он действительно уклоняется! — от ответа на прямые вопросы. Даже будучи глубоко убеждена в том, что Шарлотта только дожидается подходящего случая, чтобы обрушить все свои затруднения на голову жены своего любовника, Мегги все же была способна увидеть мысленным взором позолоченные прутья и поломанные крылья, увидеть пусть просторную, но все-таки клетку, подвешенную за кольцо, в которой, не зная покоя, мечется и бьется обессиленная мысль, нигде не находящая выхода. Эта клетка — неведение и обман, а Мегги, знакомая с неведением и обманом, — да еще как! — очень хорошо понимала, что значит жить в клетке.

Клетку Шарлотты она с превеликой осторожностью обходила стороной; когда же им все-таки приходилось разговаривать, чувствовала, что находится снаружи клетки, на лоне природы, а лицо собеседницы чудилось ей лицом узника, выглядывающего из-за решетки. И вот из-за этой решетки, пускай позолоченной, но чрезвычайно прочной, хотя и возникшей так незаметно, Шарлотта сделала попытку нанести удар, и княгинюшка инстинктивно отшатнулась, словно дверцы клетки внезапно открылись изнутри.

12

В тот вечер они были дома одни — одни вшестером, и четверо из этих шестерых после обеда уселись играть в бридж в курительной комнате. Перешли туда сразу же после обеда, все вместе, поскольку Шарлотта и миссис Ассингем всегда терпимо относились к запаху табака и даже, честно говоря, вдыхали его с удовольствием. По словам Фанни, если бы не строгий запрет полковника, опасавшегося за сохранность своих сигар, она и сама непременно курила бы все подряд, за исключением разве что короткой трубки. Очень скоро карты утвердили свое обычное владычество; как случалось чаще всего, партию составили мистер Вервер с миссис Ассингем против князя и миссис Вервер. Полковник испросил позволения у Мегги расправиться с одним-двумя письмами, которые ему хотелось отправить на следующий день первой утренней почтой, и приступил к выполнению этой задачи, удалившись в дальний конец комнаты, а тем временем сама княгинюшка радовалась возможности посидеть в относительной тишине — ибо игроки в бридж были молчаливы и сосредоточенны. Так усталая

актриса, в отличие от своих коллег не занятая в очередной сцене, торопится прикорнуть за кулисами на диванчике из реквизита. Мегги, устроившись возле лампы с последним номером французского журнала в обложке нежного оранжево-розового цвета сомон, уже готова была предаться душевной, если не телесной, дремоте, но и в этом глотке свободы ей было отказано.

Как оказалось, о том, чтобы закрыть глаза и уйти от всех, нечего было и помышлять; глаза Мегги снова открылись сами собой. Не меняя позы, она то и дело выглядывала поверх обложки «Ревю», не в силах углубиться в изысканные рассуждения высокоумных критиков, коими изобиловали его страницы. Нет, вся она была там, рядом с игроками — в эту минуту более, чем когда-либо, словно все их страсти и на редкость запутанные взаимоотношения вдруг настоятельно потребовали ее внимания. В первый раз они остались вечером без посторонних. Миссис Рэнс с барышнями Латч ожидались на следующий день, а пока все обстоятельства сложившейся ситуации восседали прямо перед Мегги за столиком, покрытым зеленой скатертью, на котором горели свечи в серебряном шандале: любовник отцовской жены напротив своей любовницы,

между ними — отец Мегги, ничего не ведающий и оттого безмятежно спокойный; Шарлотта все продолжает, все продолжает свою игру через стол, не оглядываясь на мужа, сидящего рядом с ней, а Фанни Ассингем, чудная, несравненная Фанни, сидит против всех троих и ведь знает о каждом больше, чем сами они знают друг о друге. И над их головами сверкающим острием нависает самое главное обстоятельство: отношения всех участников этой группы, совместно и поодиночке, к самой Мегги, временно находящейся в стороне, но, скорее всего, занимающей мысли картежников значительно больше, нежели предстоящий ход.

Да, так они и сидели, и Мегги казалось — все они, несмотря на старательно поддерживаемую видимость честной игры, втайне опасаются, не следит ли она за ними из своего уголка и не держит ли их, фигурально выражаясь, в горсти. В конце концов Мегги начала удивляться, как они только это выносят. Она совершенно не разбиралась в картах и не понимала ни единого хода, потому и оказывалась в таких случаях исключенной из числа играющих, но, насколько она могла судить, все участники выступали сегодня с подобающей серьезностью, ничем

не нарушая строгих канонов игры. Отец, Мегги знала, был адептом высокого класса, одним из величайших; тупость Мегги в этой области оказалась для него горьким разочарованием — единственным разочарованием, которое она ему доставила. Америго с легкостью овладел сим трудным искусством, как и любым другим способом убить время. Миссис Ассингем и Шарлотта считались недурными игроками, насколько это вообще доступно слабому полу, не способному на более значительные достижения в благородной игре. И все сегодня играют в полную силу — значит, не просто притворяются, перед Мегги ли, перед самими ли собой. Столь безупречное владение внешними условностями говорило о счастливой или, по крайней мере, достаточно прочной уверенности наших любителей бриджа в собственной безопасности, и это почему-то необыкновенно раздражало княгинюшку. Минут пять почти против воли Мегги щекотала себе нервы, раздумывая о том, что, будь она другим человеком — о, совсем, совсем другим! — все это благолепие висело бы сейчас на волоске. В эти головокружительные моменты ею овладел соблазн чудовищной возможности, то обаяние злодейства, которому мы так часто даем выход,

чтобы оно не уползло дальше, в неведомые углы и закоулки.

Мегги представляла себе, что было бы, вскочи она сейчас с места и выскажи вслух свою обиду. Как бы все они обернулись к ней, дрожа и бледнея! В ее власти объявить им приговор одной лишь фразой, которую так легко было бы выбрать среди нескольких леденящих душу фраз. Видение вспыхнуло перед ней ослепительным светом и тотчас погасло, сменившись непроницаемой чернотой. Мегги поднялась, отложила журнал и медленно прошлась по комнате, останавливаясь за спиной у каждого из игроков по очереди. Безмолвно и сдержанно она обращала к ним неопределенно-ласковое лицо, как бы говоря, что, хотя и не понимает их сложных дел, но желает им всем только добра. И каждый из них, подняв голову от карт, отвечал ей серьезным до торжественности взглядом; взгляды эти несколько минут спустя она унесла с собой на террасу. Отец и муж, Фанни Ассингем и Шарлотта ровно ничего не сделали, всего лишь посмотрели ей в глаза, но настолько по-разному, что каждый из взглядов представлял собою отдельный эпизод, и это особенно удивительно, поскольку было и нечто общее во всех представших перед нею

лицах — каждое из них хранило свой секрет, и все они смотрели на нее как бы сквозь свою тайну, существование которой тщетно пытались отрицать.

От всего этого у Мегги осталось самое странное впечатление. Никогда еще не ощущала она с такой силой обращенную к ней мольбу; положительно, в четырех парах глаз светилась вера в то, что она сумеет что-нибудь придумать, как-то повернуть свои отношения с каждым из присутствующих таким образом, чтобы избавить его или ее от опасности, таящейся в его (или ее) нынешних отношениях с остальными. Они безмолвно возлагали на нее задачу преодоления грозящих им сложностей, и Мегги скоро поняла, почему: ей была уготована роль старинного козла отпущения. Ей как-то случилось видеть такую страшную картинку — на козла нагрузили грехи целого народа и прогнали его в пустыню погибать под непосильным бременем. Разумеется, они не планировали, да это и не в их интересах, чтобы она рухнула под своей тяжкой ношей; напротив, они хотят, чтобы она нашла в себе силы жить, жить дальше им всем на пользу, и по возможности поближе к ним, чтобы ежедневно доказывать вновь и вновь, что они действительно спасены,

а она всегда рядом и всегда готова все упростить. Идея о том, что она способна все упростить и что все они могут объединить усилия в борьбе, была пока еще очень смутной, но постепенно приобретала более четкие очертания, подталкивая принять предложенные условия игры, и Мегги никак не могла отогнать ее от себя, прогуливаясь по террасе, где летняя ночь дышала теплом, и даже легкая шаль, которую княгинюшка прихватила с собой, была, пожалуй, совсем не нужна. Сюда выходили несколько высоких освещенных окон, некоторые из них стояли настежь, и полосы света лежали на старых, истертых до гладкости каменных плитах. Вечер был безлунный и беззвездный, воздух тяжелый и неподвижный, поэтому Мегги в своем вечернем платье могла, не боясь прохлады, отойти подальше от дома, в тьму внешнюю, спасаясь от искушения, напавшего на нее внутри, на диване, подобно хищному зверю, норовя вцепиться в горло.

И вот еще странность — по прошествии некоторого времени Мегги заметила, глядя через окно на играющих, что они как будто расправили плечи, почувствовав, что опасность отступила, и от души благодарны ей за это. Очаровательные люди в прекрасно обставленной комнате, а уж Шар-

лотта, как всегда, блистает горделивой красотой, но все они удивительно напоминают фигурки, разыгрывающие спектакль, причем автор пьесы — она сама. Пожалуй, с такими замечательными фигурками пьеса удалась бы у любого автора, тем более что все они великолепные актеры. Им нетрудно представить любую загадку, какую только пожелается. А главное, ключ к загадке, позволяющий без сучка без задоринки заводить и снова ослаблять пружину действия, этот ключ находится здесь, у нее в кармане — а вернее, в столь критическую минуту крепко стиснут в руке, которую она, расхаживая взад-вперед, прижимает к груди. Мегги дошла до конца террасы, скрывающегося во мраке, затем вернулась и застала остальных на тех же самых местах; обошла вокруг дома, заглянула в гостиную, тоже освещенную, но пустую и оттого словно еще громче кричавшую о разнообразных возможностях, находившихся сейчас во власти княгинюшки. Просторное помещение с роскошным убранством напоминало сцену, ожидающую, когда на ней развернется драма, и сцену эту Мегги могла простым нажатием пружины населить безмятежной ясностью, порядочностью и достоинством — или, наоборот, ужасом, позором, разрушением, таки-

ми же безобразными, как бесформенные осколки золотой чаши, которые она из последних сил старалась соединить вновь.

Мегги то ходила, то останавливалась; остановилась опять, заглянув в курительную. На этот раз — как будто это впечатление и остановило ее — в отсутствие соблазна, от которого бежала так поспешно, княгинюшка поняла очень ясно, словно увидела на картинке, почему ей с самого начала удалось не поддаться вульгарному чувству обиды. Глядя на них, она, возможно, пожалела о такой потере; ей хотелось сейчас этой откровенной мстительности, права на гнев, на буйные припадки ревности, на бурю страстей — все эти чувства много значат для других женщин, но для жены ее мужа, дочери ее отца они были так же нереальны, как если бы перед нею вдруг явился пестрый восточный караван, грубо-яркий в лучах палящего солнца, с пронзительными воплями труб, с острыми копьями, воздетыми к небу, так и зовущий присоединиться к общему дикарскому ликованию, но в последнюю минуту сворачивающий в сторону и исчезающий в неведомой дали. По крайней мере, теперь она поняла, почему главный ужас ее почти не затронул — ужас, который, казалось бы, должен исторгнуть крик боли из са-

мой глубины ее потрясенного существа: при виде того, как зло преспокойно расположилось там, где прежде она могла вообразить только добро, как оно прячется позади всего, что притворялось благородством, умом, нежностью. Впервые в жизни ее коснулась фальшь — все равно что наткнуться на незнакомца со зверской физиономией в одном из устланных коврами коридоров собственного дома тихим воскресным полднем. Да-да, невероятно, но она сумела посмотреть в лицо ужасу и омерзению и отринуть их горько-сладкую заманчивую новизну. Зрелище группы людей по ту сторону окна безжалостно назвало все своими именами, обозначив напрямик то единственно возможное иное отношение к происходящему, которое тяжким бременем легло на ее плечи. Удивительное дело: Мегги вдруг сделалось совершенно ясно, что поведи она себя, как любая оскорбленная невинность, поддайся первому естественному порыву отвести душу — и она потеряла бы их навсегда, а об этом, как ни странно, невозможно даже подумать. Никогда, с тех самых пор, как она впервые убедилась вполне, ей ни разу не пришло в голову отказаться от них; тем более не приходило и теперь. А еще через минуту все это стало уже совсем очевидно.

Она продолжила свою прогулку — тянула время, то и дело останавливалась, опершись о холодную каменную балюстраду, и вскоре снова оказалась перед освещенным окном пустой гостиной, и снова остановилась, пораженная тем, что увидела и почувствовала.

Впрочем, что именно это было, стало понятно не сразу. Но скоро Мегги различила, что посреди комнаты стоит Шарлотта, прямая и настороженная, оглядываясь по сторонам. По-видимому, она только что отошла от карточного стола и ожидала застать здесь свою падчерицу. Она застыла как вкопанная при виде пустой комнаты — ведь никто из игроков не заметил, как Мегги прошла мимо них. А на Мегги произвело глубокое впечатление, что ради нее прервана партия в бридж или, по крайней мере, изменился состав играющих. Поза Шарлотты заставляла преположить целеустремленность ее поисков, прерванных так неожиданно, а следующее ее движение придало всему еще более многозначительный смысл. Смысл состоял в том, что Шарлотта, очевидно, в начале вечера остро ощущала присутствие Мегги и для какой-то причины так сильно хотела застать княгинюшку наедине, что, скорее всего, попросила Боба Ассингема заменить ее в

игре. Он занял ее место за столом, дав ей возможность отойти ненадолго. На взгляд Мегги, такие сложные манипуляции доказывали, что мачеха настроена серьезно. Хотя в компании обычных людей, не наблюдающих неотрывно друг за другом, подобный поступок был бы явлением вполне заурядным, нашей юной приятельницей он воспринимался как побег заключенного из каземата. Великолепное гибкое сверкающее существо, разбив все запоры, вырвалось на свободу. Теперь на повестке дня стоял довольно смешной вопрос: нельзя ли как-нибудь заманить ее обратно, пока она не успела отойти далеко, и поскорее снова заколотить дверь. В данном случае это означало бы — закрыть все окна и поднять тревогу. Хоть бедняжка Мегги ведать не ведала, что нужно от нее Шарлотте, но у этой твердой руки явно имелась некая цель — одного этого было довольно, чтобы перепугаться насмерть, не говоря уже о незамедлительно последовавшем продолжении в виде стремительного бегства в дальний конец террасы, пусть даже такое постыдное отступление не пристало разгневанной супруге. Именно так и поступила разгневанная супруга; во всяком случае, можно сказать в ее оправдание, что она остановилась в темноте, справившись с

малодушным желанием пробраться в дом через другой вход и забиться к себе в комнату. Она буквально схватила саму себя за руку, запретив себе подобные низкие увертки, и тут же окончательно поняла, чего боялась больше всего все это время.

Она боялась открытого столкновения с Шарлоттой, которое могло толкнуть миссис Вервер откровенно объясниться с мужем, чего до сих пор, судя по всему, еще не произошло, изложить ему свою обиду, назвать вслух то гнусное прегрешение, в котором ее, по-видимому, подозревают. Вздумай она отважиться на такое, то не иначе, как опираясь на некий свой расчет, одна мысль о котором потянула за собой множество других мыслей и возможностей. Получается, Шарлотта достаточно уверена в своем влиянии на мужа, чтобы считать, что в случае прямого столкновения, если на кон будет поставлено слово Мегги против ее слова, исход дела далеко не предрешен в пользу Мегги. Несомненно, у нее имеются свои причины для подобной уверенности — причины, основанные на опыте, о котором никто, кроме нее, не может знать. Эта мимолетная мысль мгновенно развернулась в широкую картину — ведь, если отношения старшей пары все еще настолько прочны, если видимость благополучия так

успешно удалось сохранить в неприкосновенности, значит, ничего и не разбито, кроме только золотой чаши, какой Мегги ее когда-то знала. Ничего непоправимого не произошло для торжествующей троицы, вот только ее отношение к ним обрело новые, уродливые черты. Мегги, само собой, не могла так прямо, не сходя с места, определить, как именно это меняет ее положение, и ее по-прежнему тревожило то обстоятельство, что, не решись она благоразумия ради удовлетворить нетерпеливое любопытство Шарлотты по поводу многих вещей, невысказанных и невыразимых словами, но постоянно и весьма прозрачно подразумеваемых, то ее отцу будет без дальнейших церемоний настоятельно предложено самому потребовать у нее ответа. Но и вся самоуверенность Шарлотты, любые скрытые дерзости, какие она могла держать про запас, учитывая ее огромные таланты по этой части, — предстали в миг озарения перед Мегги новой путеводной звездой; здесь вполне можно было найти почву под ногами и руководство к дальнейшим действиям. В следующую минуту сердце Мегги сжалось при мысли о том, в чем, скорее всего, будет состоять дальнейший образ действий, а эта мысль пришла к ней чуть ли не раньше, чем она заметила, что ее

страхи оправдываются. Шарлотта, расширившая область своих поисков, уже смутно нарисовалась в отдалении. Еще миг — и вот уже сомнений не осталось, ибо, свет, падавший из окон курительной, рассеивал густую тьму, помогая разглядеть приближавшуюся фигуру. Лучшая подруга медленно вступила в круг света — очевидно, она, в свою очередь, уже обнаружила Мегги на террасе. Мегги видела издали, как та помедлила перед одним из окон, глядя на группу, расположившуюся в комнате, а затем подошла чуть ближе и снова остановилась. Между ними все еще оставалось порядочное расстояние.

Да, Шарлотта видела, что княгинюшка наблюдает за нею со своего конца террасы, и остановилась, испытывая ее терпение. Ее лицо было обращено к Мегги. Она была пленницей, вырвавшейся из клетки, но все же во всех ее движениях, смутно различимых в темноте, угадывалось своего рода зловещее спокойствие. Она покинула узилище с некой целью, и намерения ее отнюдь не становились менее определенными оттого, что могли быть осуществлены их тихими методами. Впрочем, обе дамы оставались неподвижны лишь первые несколько минут, глядя друг другу в лицо через разделяющее их

пространство, не сделав ни единого жеста; их напряженные взгляды словно пронизывали ночь, и Мегги внезапно вздрогнула, сообразив, что непозволительно поддалась сомнениям, страху, неуверенности, что такое долгое колебание выдает ее с головой, сделав ненужными любые другие доказательства. Сколько времени простояла она в оцепенении? Минуту, пять? Во всяком случае, вполне достаточно для того, чтобы принять от мачехи нечто, что та хотела ей навязать посредством этого молчания, этого выжидательного внимательного взгляда, рассчитывая на ее испуг и нерешительность. Было совершенно очевидно, что своим трусливым промедлением княгинюшка напрочь опровергла все прежнее притворство, и, когда она наконец двинулась вперед, Шарлотта встретила ее с полным сознанием огромного стратегического преимущества. Мегги шла, держа свое сердце в ладонях, с отчетливым, словно тиканье часов, ощущением надвигающейся судьбы, немыслимо жестокой и беспощадной, которой она взглянула в лицо широко раскрытыми глазами, и покорно склонила голову. Шарлотта без слова, без движения позволила ей приблизиться, и к тому времени, как Мегги оказалась рядом, голова ее уже лежала на плахе и мысль

о том, что все пропало, мешала ей понять, упал уже топор палача или только еще занесен над ее головой. Ах, воистину преимущество было на стороне миссис Вервер; разве Мегги не чувствовала с самого начала, что сбита с ног и валяется на земле с переломанной шеей, беспомощно глядя вверх? Отсюда и мучительная гримаса слабости и боли в ответ на полное достоинства вступление Шарлотты:

— А я шла к тебе; я так и думала, что ты где-нибудь здесь.

— Ах да, я здесь, — услышала Мегги свой собственный, немного сдавленный голос. — В комнатах очень душно.

— Очень; но и здесь тоже душно. — Шарлотта говорила негромко и серьезно. Даже слова о погоде прозвучали у нее внушительно, почти торжественно, и Мегги, в растерянности подняв глаза к небу, не глядя ощущала ее неумолимую решимость.

— Воздух такой тяжелый. Я думаю, будет гроза.

Мегги проговорила это с намерением хоть чуть-чуть сгладить неловкость, игравшую на руку ее противнице, но пауза, последовавшая за ее репликой, отнюдь не уменьшила неловкости. Шарлотта ничего не сказала в ответ. Застывшее,

мрачное выражение запечатлелось на ее челе, а гордая осанка, красивая головка и длинная стройная шея даже в полумраке утверждали непоправимое совершенство ее благородного изящества. Казалось, то, ради чего она пришла сюда, уже началось, и, когда Мегги беспомощно спросила:

— Тебе не холодно? Хочешь мою шаль? — почудилось, что все вокруг сейчас рассыплется в прах от убожества этой попытки.

Миссис Вервер отвергла ее предложение одним коротким взмахом руки, как бы давая понять, что они встретились не для обмена праздными словами, и в ее смутно различимом серьезном лице отразилось удовлетворение, с каким она наблюдала точное попадание своей мысли в цель. Дамы направились в ту сторону, откуда появилась Шарлотта, но она остановила Мегги против окна курительной комнаты и заставила встать так, чтобы той была видна вся компания, занятая игрой. Минуты три, стоя бок о бок, они созерцали эту прелестную, мирную картину и ее, так сказать, глубинное значение — хотя, как Мегги теперь понимала, значение, в конце концов, зависит от интерпретации, а следовательно, может быть различным для разных интерпретаторов. Когда

Мегги четверть часа назад рассматривала то же самое сборище, было бы вполне уместно указать на него Шарлотте, указать с праведной иронией, с упреком, слишком суровым, чтобы его можно было высказать иначе, как в молчании. А теперь ей самой указывают на него, и указывает именно Шарлотта, и очень скоро Мегги поняла: в каком духе Шарлотта указывает, в таком и следует, по крайней мере для вида, все это воспринимать.

Остальные, занятые игрой, ничего не замечали вокруг. Обдумывали следующий ход, роняли какие-то замечания, но на террасе их не было слышно. Наша юная приятельница смотрела прежде всего на отца — в его спокойном лице не было заметно и признака тех материй, которые смущали душу его дочери. Жена и дочь — обе внимательно наблюдали за ним. Знай он об этом, к которой первым делом обратил бы свой взор? Чье душевное спокойствие было важнее для его внутреннего равновесия? Впервые со времени его женитьбы Мегги с такой остротой и с таким страхом осознала, что прежнее ее безраздельное владычество над ним пошатнулось и уже не является бесспорным. Сейчас она смотрела на отца с разрешения Шарлотты, по ее прямому указанию, точно ей было предписано, каким образом

следует на него смотреть, точно ей запрещали смотреть на него по-другому. Понимала она и то, что запрет направлен вовсе не на защиту его интересов, а долженствует в срочном порядке защитить интересы Шарлотты, обеспечить ей безопасность любой ценой. Право, своей немой демонстрацией она будто объявляла Мегги цену, словно бы назначала выкуп. Она должна остаться в безопасности, а Мегги должна заплатить — а чем она будет платить, это уж ее личное дело.

Итак, княгинюшка почувствовала вновь, что все ложится на ее плечи, и на какую-то минуту, на один-единственный умопомрачительный миг ее охватило неистовое желание, чтобы отец поднял глаза и посмотрел на нее. Готовая на любой риск, она мысленно умоляла его взглянуть и увидеть их, как они стоят рядышком в темноте. Может быть, тогда он что-то почувствует и подаст какой-нибудь знак, который неким неведомым образом спасет ее, спасет от необходимости расплачиваться за всех. Может, он все-таки найдет способ различить их, показать, которая ему дороже; может, сжалится и даст знать, что ей нет нужды так надрываться ради него. Только в этот единственный раз Мегги дрогнула, на одно только это мгновение отклонилась от своего

пути. И почти в ту же минуту все закончилось ничем, поскольку отец так и не поднял глаз, а Шарлотта, ловко подхватив падчерицу под локоть, уже решительно тащила ее прочь — словно и она тоже неожиданно уяснила возможность неоднозначного впечатления от их появления за окном. Снова они прошли вдоль всей террасы, завернули за угол и вскоре поравнялись с окнами другой комнаты, роскошной парадной гостиной, по-прежнему освещенной и по-прежнему пустой. Здесь Шарлотта еще раз остановилась, как бы вновь указывая Мегги нечто, уже замеченное тою раньше. Самый вид комнаты, казалось, громко говорил о чем-то в тишине; все ее пышное убранство, застывшее в строгом и величественном порядке, как будто предназначило сие помещение для проведения парадных приемов и заключения высоких договоров, для дел поистине государственных. Воспользовавшись случаем, Мегги снова посмотрела в лицо своей спутнице и прочла в нем то же, что и прежде; Шарлотта ясно давала понять, что терраса и глухая ночь составляют чересчур скудный антураж для завершения ее плана. Итак, очень скоро они оказались в комнате, под сенью венецианской люстры, под взглядами величественных портретов, при-

близительно ровесников люстры, нашедших на стенах «Фоунз» окончание своих дальних странствий. И вот наконец перед изумленной и даже поначалу задохнувшейся Мегги предстал непомерно громадный итог, сложившийся из суммы всех отдельных вопросов, когда-либо заданных миссис Вервер княгинюшке в какой бы то ни было форме.

— Ты, может быть, удивишься, но я давно уже хочу кое о чем тебя спросить, вот только случая все не было. Возможно, все было бы гораздо проще, если бы ты предоставила мне такой случай. Как видишь, мне пришлось воспользоваться тем, который подвернулся сам.

Они стояли в центре огромной комнаты, и Мегги чувствовала, что воображаемая сцена, какой она представлялась ей двадцать минут назад, теперь населена вполне. Несколько откровенных слов Шарлотты наполнили ее до краев, и в равной мере сознание Мегги было переполнено тем, какую роль ей предстоит сыграть в сегодняшнем спектакле. Шарлотта сразу вышла на середину, волоча за собою шлейф; она стояла, прекрасная и свободная, всем своим видом и каждым жестом подтверждая решительность своих слов. На плечах Мегги все еще была шаль, которую

она захватила, выходя в сад, — княгинюшка нервно куталась в нее, словно ища укрытия, словно прикрываясь от своего унижения. Она выглядывала из-под этого импровизированного капюшона, похожего на головной убор нищенки, побирающейся у дверей богатой гордячки; она и стояла, словно нищенка, и в глазах у нее светились признания, с которыми она была не в силах совладать. Она попыталась слабо откликнуться:

— О чем же спросить? — но весь ее облик, с ног до головы, выдавал Шарлотте, что она знает.

Мегги слишком хорошо сознавала, что это видно. Бесполезно было пытаться спасти жалкие остатки достоинства, оставалось только одно — любой ценой, хоть бы даже в нарушение всякой логики, попытаться сделать вид, что ей не страшно. Если бы только удалось притвориться, будто ей ни капельки не страшно, можно было бы также сделать вид, будто ей и не очень стыдно — не стыдно бояться; это единственная разновидность стыда, которую можно было ей приписать, а в основе все-таки лежал страх. Впрочем, ее вызов, ее изумление и ужас, слившиеся в единое размытое пятно, очень скоро лишились всякого значения, так как подавляющее превосходство Шарлотты стало к этому времени настолько очевидно, что

даже следующие ее слова почти ничего не могли к нему прибавить.

— У тебя есть какие-то основания жаловаться на меня? Ты считаешь, что я тебя чем-то обидела? Я, наконец, имею право спросить тебя об этом.

Так они и стояли, глаза в глаза, и стояли довольно долго. Мегги не отвела взгляд; хоть этого позора удалось избежать.

— Почему ты спрашиваешь?

— Просто хочется понять. Ты так долго пренебрегала этим моим естественным желанием.

Мегги выждала полминутки.

— Так долго? Значит, ты подумала…

— Я хочу сказать, моя дорогая, что я видела. Неделю за неделей я наблюдала, как ты, по всей видимости, о чем-то думаешь. Что-то тебя беспокоит. Я в какой-то мере ответственна за это?

Мегги собрала последние силы.

— Боже мой, что же это такое может быть?

— О, этого уж я не могу себе представить! Очень не хотелось бы делать какие-то предположения. Насколько мне известно, я ни в чем перед тобой не провинилась, — сказала Шарлотта, — и ни перед кем из тех, кто тебе достаточно дорог. Если я и сделала что-то не так, то это случилось нечаянно, и я очень прошу тебя честно мне сказать. Мне

показалось, в последнее время ты стала вести себя со мной совсем по-другому, но, конечно, я могу и ошибаться. Если так — тем лучше. Я была бы очень этому рада.

Мегги заметила, что она говорит все более и более непринужденно, как будто с каждой минутой все больше обретает уверенность, слыша звуки собственного голоса и видя, как воспринимаются ее слова. Шарлотта поняла, что взяла верный тон, что, обдумывая этот разговор заранее, пожалуй, преувеличила трудность своей задачи. Трудности-то не так уж велики, и все уменьшаются по мере того, как съеживается ее противница. Мало того что она получила возможность делать то, что задумано, — она уже и сделала это, и подвела черту. От всего этого Мегги только острее сознавала, насколько важно ей продержаться до конца.

— Ты сказала: «я могу и ошибаться»? — Голос княгинюшки почти не дрожал. — Ты и в самом деле ошибаешься.

Шарлотта ответила великолепным бестрепетным взглядом.

— Ты совершенно уверена, что ошибаюсь только я одна?

— Я могу только сказать, что у тебя сложилось ложное впечатление.

— Вот как! Ну что же, тем лучше. Но раз уж оно сложилось, необходимо было поговорить об этом рано или поздно. Такое у меня правило, видишь ли. А теперь я рада, что заговорила, — прибавила Шарлотта. — Я тебе очень благодарна.

Как странно — с этой минуты Мегги тоже вдруг начало казаться, что трудности рассеиваются прямо на глазах. Шарлотта приняла ее объяснение, как будто дала слово не ухудшать дело больше, чем нужно. С этим Мегги стало гораздо легче возводить здание вранья, и она не замедлила уложить на место еще один кирпичик.

— Видимо, тебе как-то нечаянно почудилось что-то такое, о чем я совсем не думала. У меня никогда и в мыслях не бывало, будто ты меня чем-то обидела.

— Неужели подобная вещь могла прийти мне в голову? — осведомилась Шарлотта.

Мегги даже не пыталась ответить, но смотрела на Шарлотту уже намного спокойнее. Помолчав, она высказалась по существу дела:

— Я тебя… Я тебя ни в чем не обвиняю.

— Какое счастье!

Эти слова Шарлотта произнесла чрезвычайно выразительно, чуть ли даже не со смехом, и Мегги не смогла бы продолжать, если бы не

подумала в эту минуту об Америго — ему ведь тоже пришлось лгать Шарлотте, он пошел на это ради своей жены, значит, выдержит и она. Ему тоже, наверное, было трудно. Образ Америго, сражающегося с этим ослепительным существом, как сражалась сейчас Мегги, стоял у нее перед глазами, и где-то вдали вдруг забрезжил прямой и сильный луч, озаривший все вокруг до самых потаенных уголков. Америго подал ей пример, и она, как говорят, «не подвела». Значит, они опять вместе, они заодно, а Шарлотта, хоть и стоит перед ней, сверкая горделивым великолепием, на самом-то деле затеряна где-то там, в темноте, ее терзает одиночество и изматывают заботы. У княгинюшки сердце так и взыграло, несмотря на только что пережитое унижение: все-таки она не сбилась с верного пути, и за это будет ей награда, подобная редкостному цветку, сорванному на немыслимой крутизне у самого края пропасти. Все было сделано правильно, пусть и пришлось сжульничать, как выразилась про себя Мегги. Теперь главное — ни на волос не уклониться в сторону правды. Мегги ощутила в себе новые силы.

— Уверяю тебя, тут одно только сплошное недоразумение. Уверяю тебя, мне ни на минуту даже

не мерещилось, будто я могу как-нибудь пострадать из-за тебя. — Поразительно — ей удалось не только удержаться на прежнем уровне вранья, но еще и приукрасить его. — Уверяю тебя, я всегда считала тебя самой красивой, самой доброй и замечательной подругой, чего же больше?

Шарлотта удержала княгинюшку еще на мгновение. Последнее слово должно остаться за ней, иначе ее демарш выродится в простую бестактность.

— Это уже гораздо больше, чем я смела надеяться. Я просто хотела услышать от тебя, что ничего такого нет.

— Что ж, ты это услышала.

— Честное слово?

— Честное слово.

Наша юная приятельница не сделала попытки уйти первой. Шаль, уже не стискиваемая судорожной рукой, свободно свисала с ее плеча, сама же она стояла неподвижно, как бы ожидая, не потребуется ли что-нибудь еще, пока с нее не снимут груз. И очень скоро она поняла, что ее испытание еще не закончено. Она увидела это в лице Шарлотты, почувствовала холодок в воздухе, довершивший ледяной холод их взаимного клятвопреступления.

— Тогда давай поцелуемся?

Она не смогла сказать «да», но не сказала и «нет». Застыв на месте, она в глубине души поражалась тому, как далеко отступила Шарлотта с занимаемых позиций. Но тут было и что-то другое, и в тот самый миг, когда этот противоестественный поцелуй коснулся ее щеки, она поняла, что именно: в дальнем конце комнаты отворилась дверь, и игроки в бридж, забросившие свои карты, остановились на пороге при виде трогательной картины. Отец Мегги и ее муж шли впереди и первыми увидели, как Шарлотта обнимает ее — что с их точки зрения выглядело совершенно так же, как если бы она обнимала Шарлотту.

13

Три дня спустя, в минуту затишья, отец спросил Мегги, что она думает о вновь прибывших гостях — Дотти и Китти, ставших теперь еще более рьяными, чем прежде, и о некогда такой устрашающей миссис Рэнс. Результатом этого вопроса стало то, что отец с дочерью, отделившись от остальной компании, углубились в парк, совсем как в прошлый приезд этих милых особ, которые когда-то волновали их значительно больше. В тот раз дело закончилось долгой беседой на уединенной скамье под вековыми деревьями, в ходе которой и возник некий вопрос, ставший, по мнению Мегги, «исходной точкой» всей нынешней ситуации. Итак, карусель времени совершила полный оборот, и вот они снова стоят лицом к лицу, пока остальные попивают чаек на террасе. Снова они «улизнули» от всех, как выразился в обычной своей непринужденной манере мистер Вервер, уступив тому же побуждению, что и в тот далекий осенний день, когда они переживали свои давно уже позабытые тревоги.

Могло показаться очень забавным, что когда-то у них вызывали тревогу миссис Рэнс и барышни

Латч (при том, что в то время пугающие симптомы были выражены у этих очаровательных особ куда меньше). Могло также показаться забавным, что эти безобидные, в сущности, дамы представлялись им настолько опасными, что потребовали принятия срочных оборонительных мер. Отец и дочь с удовольствием обсуждали свои впечатления от их повторного приезда; в последнее время Мегги стала замечать, что они при всякой встрече с огромным увлечением беседуют о людях, которые их на самом деле нисколько не интересуют, — а таких людей вокруг них собрались уже положительно несметные толпы. Вот и сейчас они азартно воскрешали прошлое, находя, что три обаятельные дамы позволяют куда лучше имитировать заинтересованность разговором, нежели, скажем, Каслдины с их приятелями. Каслдины им были пока в новинку, к ним еще нужно было приладиться, — опять-таки, как представлялось Мегги, — тогда как компания из Детройта и Провиденса навевала множество воспоминаний о Детройте и Провиденсе, давая обильную пищу для разговора и веселого подтрунивания.

Помимо всего прочего, в этот день отцу с дочерью отчего-то вдруг нестерпимо захотелось

побыть вдвоем, словно бы отдохнуть от долгого и тяжкого, но никогда не называемого вслух труда; побродить по парку рука в руке, закрыв печальные и — какие же, если не донельзя усталые? — глаза, чтобы другая пара глаз не увидела этой безмерной усталости. Словом, им захотелось хоть на полчаса вновь изведать счастье быть просто отцом и дочерью, и они ухватились за первый попавшийся удобный предлог. Теперь один из них еще и муж, другая — жена (ого, и еще как!), они прочно связаны с другими людьми, но стоило только присесть на старую скамью, зная, что общество на террасе, как и в тот раз, обогащенное присутствием соседей, прекрасно обойдется без них, — и вот уже они как будто отплыли в лодке, оставив на берегу жен, и мужей, и все невероятные сложности, распустившиеся пышным цветом в жаркой и влажной атмосфере тропического острова. Здесь, в лодке, они снова отец и дочь, а горемычные Китти и Дотти служат им не то веслами, не то парусами. Мегги вдруг пришло в голову: почему бы им не жить постоянно в этой лодке, хотя бы в том, что касается их двоих? И вместе с этим вопросом на нее повеяло дыхание новой надежды: нужно просто-напросто в будущем общаться друг с другом, не затрагивая

брачных отношений каждого. В тот прошлый чудесный вечер на этом же самом месте отец был до последней степени холостяком, и это обстоятельство, так сказать, умеряло произошедшие в их семье перемены. Так пусть же сегодняшний чудесный вечер напоминает тот прошлый чудесный вечер; можно с уверенностью предсказать, что это будет необыкновенно приятно и освежающе. В конце концов, что бы ни случилось, они всегда есть друг у друга; в этом и заключается их тайное сокровище и спасительная правда. Кто может сказать, чего только они не совершат вместе?

Тем временем дело приближалось к шести часам, золотистый июльский вечер лежал над обступившими поместье лесами Кента, а отец с дочерью успели проанализировать социальную эволюцию своих старинных приятельниц, которые, сколько можно судить, по-прежнему рвутся к недостижимому, так и не выйдя за пределы родных городов в отношении своего нравственного, финансового, разговорного — как бы это назвать? — снаряжения, и неизменно появляются вновь и вновь, словно кочующее

племя Вечных Жидовок[54]. В конце концов наша парочка истощила свое остроумие, всесторонне обсудив своих милых подружек, — чтобы не сказать зверушек, — и Мегги после короткой паузы заговорила совсем о другом; вернее сказать, связь между двумя темами имелась, но ее трудно было заметить с первого взгляда.

— Я сейчас не показалась тебе смешной, когда удивлялась, чего ради некоторые люди так стараются? Ты не считаешь, что это был… ну, дурацкий вопрос, что ли?

— Дурацкий? — удивился мистер Вервер.

— Я хотела сказать — слишком надменный, будто бы с высоты нашего счастья. Или вообще нашего положения в целом, это я имела в виду. — Мегги говорила как бы из обычной своей совестливости, заставлявшей ее постоянно подводить счета в книге человеческих отношений. — Я вовсе не хочу «чваниться» своим положением в обществе, — пояснила она.

Отец выслушал ее с таким видом, словно его еще могли удивить подобные проявления ее щепетильности и привычной заботы о других — не

[54] Примечания: 54

Вечный Жид, Агасфер — апокрифический библейский персонаж, в наказание за грехи обреченный вечно странствовать, нигде не находя покоя.

говоря уже об очаровательной деликатности и красоте. Он как будто не прочь был посмотреть, как далеко она способна зайти в своем великодушии, к полной радости отцовского сердца. Но Мегги вдруг замолчала, словно испуганная тем, как много зависит для него от того, что она скажет. Они все время избегали говорить о серьезном, упорно сторонились реальности и, словно стараясь скрыть собственные предосторожности, то и дело снова впадали в тон того, давнего разговора, происходившего в этом же укромном уголке. Наконец она заговорила опять.

— Помнишь, когда они приезжали в прошлый раз, я сказала тебе, что не совсем уверена, есть ли оно у нас на самом деле?

Мистер Вервер добросовестно напряг память.

— Ты имела в виду положение в обществе?

— Да. Как раз тогда Фанни Ассингем объяснила мне, что, если мы будем по-прежнему жить, как жили, то ничего не добьемся в свете.

— Это и навело нас на мысль пригласить Шарлотту?

О да, нетрудно было вспомнить — они достаточно часто говорили об этом.

Мегги еще немного помолчала. Значит, он уже в состоянии понять и признать, что в тот

критический момент их «навели» на мысль пригласить Шарлотту. Казалось, им было необходимо выяснить между собой этот вопрос как основу честного мнения о достигнутых успехах.

— Что же, — снова заговорила Мегги, — когда я вспоминаю свое отношение к Китти и Дотти, то я считаю, даже если в то время мы не занимали такого высокого положения, как сейчас, или как там это называется, все равно было непростительно думать, что другие не должны тянуться за мной, а обязаны смирненько довольствоваться своей участью. А ведь мы именно так и думали, — закончила она.

— О да, — философически отвечал мистер Вервер. — Я помню, что мы тогда думали.

Мегги как будто пыталась задним числом оправдать барышень Латч.

— Достаточно плохо смотреть на людей свысока, если сам занимаешь высокое положение. Но еще хуже быть высокомерным, — а я очень боюсь, что я такой была, да и теперь осталась, — когда на самом деле ты не настолько уж выше других. — Мегги говорила почти поучительным тоном, что с ней, признаться, случалось нередко даже и теперь. — Всегда нужно стараться войти в положение другого человека, представить

себе, чего ему, может быть, не хватает в жизни. Правда, Китти и Дотти вряд ли могли бы себе представить, что нам чего-нибудь в жизни не хватает! — прибавила она. — А уж теперь-то, теперь! — И Мегги умолкла, как бы извиняя их завистливое изумление.

— А теперь они еще лучше могут убедиться в том, что можно иметь все, все сохранить и все-таки не загордиться.

— Нет, мы не загордились, — ответила Мегги, чуть помолчав. — Пожалуй, нам даже капельку не хватает гордости.

Но она тут же вновь переменила тему. Сделать это можно было, только вернувшись опять к прошлому, которое притягивало ее словно по волшебству. Возможно, этим она пыталась удержать отца рядом с собой, не дать ему снова погрузиться в реку времени.

— Мы уже говорили об этом, говорили! Ты не помнишь, а я хорошо помню. Ты тоже ни о чем не догадывался, потому что ты такой хороший. Совсем как Китти и Дотти, ты думал, что мы занимаем достаточно высокое положение, и очень удивлялся, когда я говорила, мол, нужно бы честно сказать им, что мы не делаем того, что они думают. В сущности, мы и сейчас этого не делаем.

Мы ведь на самом деле не вводим их в свет, не знакомим с людьми, с которыми им хотелось бы познакомиться.

— А как же те люди, с которыми они сейчас пьют чай?

Мегги круто обернулась.

— Вот точно то же самое ты спросил в тот раз — тогда у нас тоже были гости к чаю. А я сказала тебе, что они тут совершенно ни при чем.

— Помню, помню. Ты сказала, что такие, как они, — люди, которых мы с таким удовольствием принимали, — на самом деле «не в счет» и что Фанни Ассингем разбирается в таких вещах. — Дочь сумела пробудить в мистере Вервере эхо воспоминаний, и он, совсем как прежде, усмехнулся, наклонив голову и в то же время беспокойно покачивая ногой. — Да, те гости годились только для нас. Помню, — повторил он, — так оно все и получилось.

— Так, именно так! И еще ты спрашивал меня, — прибавила Мегги, — не думаю ли я, что нужно им об этом сказать. Например, объяснить миссис Рэнс, что мы ввели ее в заблуждение.

— Верно, верно. Но ты сказала, что она не поймет.

— А ты ответил, что в этом случае ты такой же,

как она. Ты тоже не мог понять.

— Не мог. Но помню, ты просто-таки раздавила меня, объяснив, что мы, сами того не зная, не занимаем ровно никакого положения в свете.

— Ну, тогда, — воскликнула Мегги восторженно, — я снова тебя раздавлю! Я говорила тебе, что ты, сам по себе, безусловно, занимаешь определенное положение, то же, что и всегда, в отличие от меня.

— А тогда я тебя спросил, — подхватил мистер Вервер, — почему же в таком случае твое положение изменилось?

— Да уж, так ты и спросил. — Она еще прежде повернулась к отцу, а теперь не отводила глаз и вся сияла оттого, что они хотя бы в разговоре могут снова быть вместе. — И я тебе ответила, что лишилась положения в обществе из-за своего замужества. Возврата к прежнему не будет — помню, я это очень хорошо понимала. Каким-то образом я сама была в этом виновата. Я как будто своими руками отдала то, что имела, и — как мне тогда казалось — ничего не получила взамен. Милая Фанни уверяла меня, что я вполне могу все получить, нужно только проснуться. Вот я и старалась проснуться, понимаешь, старалась изо всех сил.

— Да-а; и в какой-то степени тебе это удалось. Да ты и меня разбудила. Но очень уж ты беспокоилась по поводу той трудности, о которой ты поведала. Собственно говоря, это единственный случай на моей памяти, когда ты беспокоилась из-за трудностей.

Мегги пристально посмотрела на него.

— Из-за того, что я была так счастлива?

— Из-за того, что ты была так счастлива.

— Ну что же, ты тогда сам признал, что это большая трудность, — не отступалась Мегги. — Ты согласился, что наша жизнь прекрасна.

Мистер Вервер задумался на мгновение.

— Да, я вполне мог с этим согласиться. Видишь ли, в то время мне действительно так казалось. — Но он тут же обезопасил себя своей легкой рассеянной улыбкой. — А к чему ты теперь затеяла этот разговор?

— К тому, что мы в то время часто задумывались, нет ли в такой жизни капельки эгоизма.

Адам Вервер не торопясь обдумал и это.

— Потому что так считала Фанни Ассингем?

— О нет, она никогда так не считала, она и не могла подумать ничего похожего, если бы даже очень захотела. Она только считает иногда, что кто-нибудь ведет себя глупо, — пояснила Мегги

свою мысль, — но она как-то не задумывается о том, что человек, может быть, просто поступает неправильно; «неправильно» в смысле «нехорошо». — Княгинюшка отважилась на большее. — Ее не особенно беспокоит, если люди поступают нехорошо.

— Понятно, понятно. — Но дочь мистера Вервера далеко не была уверена, что ему все так уж понятно. — Значит, она просто считала нас дураками?

— Ох, нет, этого я не говорила! Я говорила об эгоизме.

— А это, стало быть, из числа тех пороков, которые Фанни извиняет?

— О, я не говорила, что она извиняет! — Щепетильность Мегги подняла голову. — Кроме того, я сейчас говорю о том, как все было прежде.

Впрочем, ее отец тут же доказал, что ему недоступно столь тонкое различие. Одна мысль крепко его зацепила, и он не позволил себя отвлечь.

— Послушай-ка, Мег, — сказал он задумчиво. — Я не эгоист. Не эгоист, и все тут, вот провалиться мне на этом месте!

Ну что ж, если так, Мегги тоже может сказать свое слово.

— Значит, это я эгоистка, папа.

— Чушь собачья! — сказал Адам Вервер, имевший обыкновение в минуты глубочайшей искренности возвращаться к жаргону своей молодости. И прибавил: — Я этому поверю только тогда, когда Америго на тебя пожалуется.

— Ах, но ведь в нем-то и заключается весь мой эгоизм! Я, что называется, эгоистка ради него. Я хочу сказать, — продолжала Мегги, — все, что я делаю, я делаю ради него.

Что-что, а это ее отец вполне мог понять по собственному опыту.

— Разве уж не дозволено быть эгоисткой по поводу собственного мужа?

— Я совсем не хотела сказать, что ревную его, — заметила Мегги, не отвечая на вопрос. — Но это ведь его заслуга, не моя.

Мистер Вервер снова усмехнулся:

— А не то бы ты стала?

— Как я могу говорить про «а не то»? К счастью, на самом деле есть именно «то», что есть. Если бы все было по-другому, — обстоятельно растолковала она, — тогда уж все было бы по-другому. — И снова прибавила, будто этого было недостаточно: — Я думаю так: если любишь чуть-чуть, тогда, естественно, не ревнуешь, а если и ревнуешь,

так тоже только чуть-чуть, это не страшно. А вот если любишь глубоко и сильно, то и ревнуешь сильнее и, наверное, более жестоко. Но если любишь совсем уже без памяти, так, что и сказать нельзя, — вот тогда ты уже по ту сторону, и ничто не может стянуть тебя вниз.

Мистер Вервер слушал с таким видом, словно на эти возвышенные слова возразить ему было нечего.

— Стало быть, ты любишь именно так?

Мегги на целую минуту лишилась дара речи, но в конце концов ответила:

— Я совсем не об этом собиралась говорить. Но я и в самом деле чувствую себя «по ту сторону», и вследствие этого, — попыталась она пошутить, — наверное, иногда не вполне четко сознаю, на каком я свете.

В ее словах чуть приметно билась страсть, подобно тому, как какое-нибудь морское существо ныряет и нежится в волнах теплого летнего моря; это существо, созданное из блистающего сапфира и серебра, взлелеянное океанскими глубинами, беспечно скользит среди множества опасностей, ему неведомы безумие и страх, и оно просто не может пойти ко дну иначе как в шутку. Мистер Вервер смотрел застенчиво и как-то робко, слов-

но изведанные его дочерью восторги самому ему очень редко случалось дарить или принимать от кого-нибудь в своей жизни. Он внезапно притих, точно пристыженный, и к тому же не впервые; впрочем, он, скорее, думал о том, чем судьба одарила ее, нежели о том, чего лишен он сам. Помимо всего прочего, кто, кроме самого мистера Вервера, мог знать, чего он лишен или не лишен? Во всяком случае, радуясь ее счастью, он, должно быть, чувствовал: пусть для него дни плавания прошли, все-таки перед ним море, его блеск, и плеск, и благоуханный воздух, и все это тоже дарит наслаждение. Значит, он еще не всего лишен. Пускай сам он не окунается в воду и даже не сидит на песке, а все-таки, можно сказать, дышит морским бризом. А кроме того, еще и знает — знает, что без него ничего бы этого не было; так о каких же лишениях может идти речь!

— Мне думается, я никогда не был ревнив, — промолвил он наконец.

И сразу же заметил, что Мегги услышала в его словах больше, чем он намеревался высказать. Она распрямилась, словно туго сжатая пружина, и бросила на него взгляд, выражавший, казалось, множество разных вещей, о которых она не могла говорить.

Но Мегги попыталась высказать по крайней мере одну из них.

— Знаешь, папа, по-моему, это ты у нас «по ту сторону»! Тебя ничто не может стянуть с небес на землю.

Мистер Вервер ответил ей дружеским взглядом, хотя на этот раз к нему невольно примешивалась доля серьезности. Возможно, мистеру Верверу тоже пришло в голову несколько разных вещей, которые можно было сказать в эту минуту, и еще больше — о чем лучше было промолчать. В конце концов он ограничился тем, что произнес очевидное:

— Выходит, мы с тобой два сапога пара. Стало быть, все в порядке!

— Ах, конечно, все в порядке!

Мало того что Мегги изрекла это со всей силой убежденности, она еще и подкрепила свои слова, решительно поднявшись с места, словно цель их маленькой прогулки была достигнута и оставаться здесь долее не имело никакого смысла. Они миновали прибрежные отмели и благополучно достигли входа в гавань. Но тут случилась заминка — единственное напоминание о том, что идти им приходилось против ветра. Отец остался сидеть. Получилось, что Мегги первой вошла

в тихие воды порта и остановилась, поджидая, пока корабль сопровождения последует за ней. Все в порядке — значит все в порядке, что же он колеблется, как будто ждет еще каких-то слов? Он многозначительно смотрел ей в глаза, но она только улыбалась в ответ, улыбалась так упорно, что он, в конце концов, заговорил, не вставая со скамьи, откинувшись на спинку, запрокинув к дочери лицо и устало вытянув ноги, а руками ухватившись за сиденье по обе стороны от себя. Долго сражались они с неумолимым ветром, а Мегги все еще свежа, как ни в чем не бывало; долго сражались они с неумолимым ветром, а он, кого бури потрепали сильнее, лишь самую малость приспустил паруса. Но во время их затянувшегося молчания Мегги как будто звала его за собой, и он, пожалуй, уже почти приблизился к ней борт о борт, когда спустя еще минуту нашел наконец слова.

— Вот только чтоб я еще раз услышал, как ты обзываешь себя эгоисткой!..

Тут уж Мегги помогла ему:

— Ты этого не допустишь?

— Я этого не допущу.

— Конечно, ты всегда такой! Но это ничего не значит и доказывает только одно… Не важно, что

это доказывает. В настоящую минуту, — объявила она, — я просто насквозь пропитана эгоизмом.

Отец продолжал смотреть на нее все с тем же странным выражением. Эта неожиданная остановка словно выражала примирение с невысказанным или, по крайней мере, служила намеком на него. Они как будто почти отбросили всякое притворство, как будто решились наконец на что-то такое, от чего их удерживал непереносимый ужас, от чего-то пугающего, но одновременно и притягивающего, точно так же, как признание в собственном страхе означало в то же время вполне определенный намек. И вот мистер Вервер рванулся вперед очертя голову.

— Когда у человека такой характер, какой ты сейчас описывала, от этого неизбежно страдают другие люди. Но, по сути, ты просто перечислила, что ты могла бы стерпеть от своего мужа, буде возникла бы такая необходимость.

— Ах, я вовсе не о нем говорила!

— Тогда о ком же ты говорила?

Ответ и встречный вопрос последовали друг за другом с невероятной скоростью; вслед за этим Мегги примолкла. Но она не собиралась прерывать разговор. Отец не сводил с нее глаз, и Мегги, раздумывая о том, не ожидает ли он услы-

шать, как она назовет имя его жены, лицемерно заявляя, будто той приходится расплачиваться за безоблачное счастье его дочери, вдруг наткнулась на идею, показавшуюся ей значительно более удачной.

— Я говорила о тебе.

— Хочешь сказать, я — твоя жертва?

— Конечно, ты моя жертва! Разве ты хоть раз в жизни делал что-нибудь не ради меня?

— Много раз, все и не припомнишь. Подумай сама. Куда ты денешь все то, что я делал ради себя самого?

— Ты — ради себя самого? — рассмеялась Мегги.

— А то, что я сделал для Американ-Сити, что ты об этом скажешь?

Мегги растерялась не больше чем на мгновение.

— Я говорю не о твоей общественной деятельности. Я говорю о твоей личной жизни.

— Ну как же, Американ-Сити — это тоже очень личное, коли на то пошло. А что ты скажешь о том, что я делал ради укрепления своей репутации?

— Твоей репутации там? Да ты ее отдал на растерзание тем жутким людям, причем совер-

шенно задаром, а они еще и высмеивают тебя в своих чудовищно вульгарных шуточках.

— Ах, душа моя, мне и дела нет до их вульгарных шуточек, — простодушно возразил мистер Вервер.

— Вот то-то и оно! — с торжеством воскликнула Мегги. — Все, что тебя ни коснется, все, кто тебя окружают, начинают жить за твой счет, пользуясь твоим замечательным бескорыстием и твоим неописуемым всепрощением.

Мистер Вервер еще несколько мгновений смотрел на дочь со своей скамьи, затем медленно поднялся, рассеянно сунул руки в карманы и остановился перед ней.

— Конечно, ты живешь за мой счет, душа моя. У меня никогда и в мыслях не было заставить тебя зарабатывать на жизнь, — улыбнулся он. — Мне бы этого вовсе не хотелось. — Еще несколько времени они стояли молча, лицом к лицу. — Ну, положим, я и в самом деле не лишен отцовских чувств. Почему из-за этого я становлюсь жертвой?

— Потому что я жертвую тобой.

— Чему жертвуешь-то?

Мегги вдруг сообразила, что ей еще ни разу не представлялось возможности сказать отцу об

этом, и сердце у нее сжалось при виде напряженной улыбки, с какой он испытывал ее, скрывая свое беспокойство. Вот именно в эту минуту между ними все висело на волоске, и тонкая перегородка могла обрушиться от легчайшего неверного прикосновения. Эта невидимая стена уже колебалась от одного только их дыхания; сделана она была из легчайшей ткани, натянутой на раму, и стоило дохнуть посильнее, как она повалилась бы набок в ту или другую сторону. Мегги задержала дыхание, поняв по его глазам, свет которых он никакими силами не мог притушить, что отец вполне сознательно проверяет ее — проверяет, уверена ли она так же твердо, как и он. Узнать это было для него сейчас важнее всего, и это само по себе убедило ее окончательно. На какие-то полминуты она зашаталась, балансируя на острие под его неотступным взглядом. Можно сказать, она воплощала собою то самое равновесие, которое оба они пытались спасти, каждый по-своему. И это им удавалось! Да-да, по крайней мере, удавалось ей; дело пока еще не безнадежно, говорила сама себе Мегги, чувствуя, как отступает головокружение. Она покрепче взяла себя в руки; необходимо покончить с этим прямо сейчас, не сходя с места. Столько всего вместилось в эти

краткие мгновения, что Мегги уже понимала — она сумела не потерять головы. Сумела, благодаря предостережению, которое прочла в его глазах, а теперь уж и подавно не потеряет — она понимала, как и почему, и если от подобных мыслей вдруг стало холодно, так именно это ей и помогло. Отец сейчас думает: «Она не выдержит и назовет имя Америго, она скажет, что жертвует мною ради него, и это вместе со многим, многим другим окончательно и бесповоротно подтвердит мои подозрения». Он следит за ее губами, ловя первые признаки зарождающегося слова. Нужно только, чтобы эти признаки не посмели явиться на свет, и ничего он тогда не получит, кроме того, что она пожелает ему предложить. Собственно говоря, Мегги уже настолько пришла в себя, что ей, казалось, было бы проще заставить его назвать имя своей жены, нежели чтобы он заставил ее назвать имя мужа.

Таким образом, если только суметь сделать так, чтобы он забыл остерегаться, как бы не сказать: «Шарлотта, Шарлотта», — то он непременно выдаст себя. Но для Мегги довольно было этой уверенности; с каждым уходящим мгновением она все яснее понимала, чем они оба сейчас заняты. Отец делает именно то, к чему и вел все это

время: он практически предлагает, просто-таки навязывает себя в жертву; так уж он решил для себя, что это для нее наилучший выход, — а что же и дало ей силы выстоять во все последние дни и недели, если не внутренняя готовность принять такое предложение? Холодно, ах, как холодно сознавать, что она видит и понимает его самоотверженную решимость, и все-таки не дрогнет! Настойчивость отца развеяла последние ее сомнения, ведь если бы ничего ужасного на самом деле не случилось, не потребовалось бы им обоим делать такие ужасные вещи. К тому же у Мегги имелось несомненное преимущество — она вполне могла назвать имя Шарлотты, нисколько не скомпрометировав себя, что и доказала в следующую минуту.

— Да как же, я жертвую тобой чему ни попадя, направо и налево! Принимаю как должное все последствия твоей женитьбы.

Отец вскинул голову, одной рукой поправляя пенсне.

— О каких последствиях ты говоришь, душа моя?

— О твоей жизни, какой она стала с тех пор, как ты женился.

— А разве не этого мы и хотели?

Мегги заколебалась и вдруг снова ощутила твердую почву под ногами, куда тверже, чем могла надеяться.

— Да… Именно этого я и хотела.

Взгляд отца был по-прежнему устремлен на нее сквозь стекла пенсне, теперь уже прямо и ровно сидящего на носу, и, судя по застывшей улыбке, он понимал, что его дочь осенило вдохновение.

— А я чего хотел, по-твоему?

— Думаю, что ничего такого особенного. Не больше, чем получил. Так ведь о том и речь! Я не стараюсь чего-нибудь добиться, мне просто никогда не приходилось этого делать. Я беру от тебя все, чем ты меня обеспечиваешь, а тебя бросаю справляться со своими собственными нуждами, как получится. Я даже не делаю вид, будто меня заботит…

— Тебя заботит?.. — Он внимательно посмотрел на запнувшуюся Мегги, а она на этот раз отвела глаза.

— Что с тобой на самом деле стало. Как будто мы с тобой с самого начала договорились не вникать в такие вещи. Для меня это, конечно, весьма удобно. Ты не можешь сказать, что я со своей стороны хоть раз нарушила эту договоренность.

Он и не сказал, хотя возможность у него была, —

Мегги снова остановилась перевести дыхание. Вместо того он сказал:

— Ах ты боже мой!

Но это ничего не изменило, хоть Мегги и угадала в его восклицании скрытый намек на прошлое, такое недавнее и в то же время такое далекое. Она повторила вновь, словно предостерегая его, в свою очередь, не портить правды ее слов.

— Я никогда ни во что не вникала и не вникаю, сам видишь. Я по-прежнему тебя обожаю, но как же иначе и относиться порядочной дочери к такому отцу, как ты? Просто удобнее жить двумя, тремя домами, а не одним (ты мог бы их устроить хоть пятьдесят, если бы я захотела!). Что такого, если я стараюсь, чтобы для тебя было несложно видеться с малышом? Ты же не станешь, надеюсь, утверждать, будто бы самым естественным с моей стороны было сплавить тебя в Америку, как только ты тоже обзавелся собственной семьей?

Эти прямые вопросы звонко раздавались в тихом лесном воздухе, и Адам Вервер сперва ответил на них глубокой задумчивостью. Но очень скоро он, как видно, додумался до подходящего ответа.

— Знаешь, Мег, что мне приходит в голову, когда ты так говоришь?

Он еще чуть-чуть подождал. Мегги явственно ощущала, как нечто, дотоле таившееся в тени, потихоньку выходит на свет, осторожно нащупывая дорогу.

— Я, знаешь ли, всерьез начинаю жалеть, что в самом деле не уплыл обратно в Американ-Сити. Когда ты принимаешься за свои штучки… — Но он удержался и не договорил.

— Да, когда я принимаюсь за свои штучки?..

— Так и хочется самому вскочить на корабль. Прямо-таки само собой начинает казаться, что лучше всего нам было бы переехать в Американ-Сити.

Мегги так вся и затрепетала.

— «Нам»?

— Нам с Шарлоттой. А что, возьмем да и удерем от вас — вот тебе! — С этими словами мистер Вервер улыбнулся. Боже, он улыбнулся! — Если будешь еще продолжать в том же духе, мы и вправду сядем на корабль.

И тогда чаша ее уверенности, без того уже наполненная доверху, перелилась через край от единого толчка. Вон что, оказывается, он придумал! Мегги едва не ослепла от невыносимой ясности его идеи. В сиянии размытого светового пятна резко выступающим сгустком черноты

перед ней предстала Шарлотта и тут же замерцала, стремительно, обреченно уплывая прочь. И все-таки он произнес имя Шарлотты, произнес его вслух, это она, Мегги, его заставила, и больше ей ничего не нужно. Как будто она поднесла к огню чистый листок бумаги, и вдруг на нем проступили буквы, крупные и четкие, какие она и не мечтала увидеть. Несколько секунд потребовалось, чтобы это осознать, но когда Мегги снова заговорила, драгоценный листочек был уже прочитан, сложен и снова убран в карман.

— Так ведь причиной твоего отъезда буду тоже я, и даже еще больше, чем раньше. Я нисколько не сомневаюсь, что ты на такое способен, если вообразишь, что мне от этого будет какая-то польза, хотя бы маленькое удовольствие, как ты сейчас выразился, «продолжить в том же духе», — рассмеялась она. — Порадовать меня любой ценой — это я и называю принесением тебя в жертву.

Мегги перевела дух. Она заставила отца все сделать за нее, сама осветила ему дорогу, а он так ни разу и не назвал имени ее мужа. Это умолчание звучало громче самого резкого, самого неумолимого звука. И как-то в тон ему оказалось неожиданное выражение, появившееся на лице мистера Вервера, словно Мегги наконец созна-

лась в чем-то, равно как и последовавший за этим вопрос:

— Думаешь, я не способен сам позаботиться о себе?

— Ах, но ведь в этом-то все и дело! Если бы не это…

Мегги умолкла. Всего лишь еще несколько мгновений они продолжали стоять друг против друга.

— Душа моя, если мне вдруг покажется, что ты начинаешь приносить меня в жертву, я тебе непременно об этом сообщу.

— Начинаю? — с горькой иронией переспросила Мегги.

— Для меня это случится в тот день, когда ты перестанешь доверять мне.

С этими словами, по-прежнему нацелив на нее стекла своего пенсне, держа руки в карманах и сдвинув шляпу на затылок, чуть пошире расставив ноги, мистер Вервер как будто принял боевую стойку, готовясь угостить ее еще одним уверением, которое, на его взгляд, все-таки следовало произнести, за неимением лучшего, прежде чем они переменят тему. Для Мегги это стало своего рода напоминанием — напоминанием о том, каким он был, обо всем, что он для нее

сделал, о том, как много он значил для нее, о том, что он, помимо того, что был всегда идеальным папочкой, представляет собой в глазах обоих полушарий Земли; наверное, он хотел напомнить ей обо всем этом и — как это называется? — не без оснований. «Преуспевающий» бизнесмен, щедрый меценат, очаровательный оригинал, бесстрашный и своенравный, великий гражданин своей страны, самозабвенный коллекционер и непогрешимый авторитет в области изящных искусств — таким он был, и таким его сейчас увидела Мегги, пораженная внезапной мыслью: ведь все это тоже необходимо принимать в расчет, когда думаешь о нем, не важно, с жалостью или с восхищенной завистью. Он вдруг словно показался ей выше ростом. У нее и прежде не раз случались такие озарения, но никогда они не бывали такими яркими и почти укоризненными. Отчасти причиной тому его тихая молчаливость, неотъемлемая составная часть всех сторон его жизни — его успеха, его оригинальности, его скромности, его неподражаемого равнодушия к светскому обществу, его непостижимой неисчерпаемой энергии; возможно, именно благодаря этой своей особенности — тем более что в данном случае она являлась результатом сознательного

усилия — мистер Вервер занимал в глазах дочери такое место, какого в собственных его глазах не занимало ни одно, даже самое бесценное произведение искусства. Несколько долгих мгновений впечатление Мегги становилось все сильнее, как это бывает с типичным ценителем древностей в тиши музейного зала при созерцании освященного временем экспоната, гордости всего каталога, украшенного табличкой с названием и датой. Просто удивительно, сколько разных качеств открылось ей в нем при этом внимательном взгляде. Он силен — это самое главное. Он уверен — уверен в себе всегда и неизменно, о чем бы ни шла речь. Почему-то особенно сейчас это качество представилось неотделимым от другого его свойства, которое ему не раз случалось доказывать — безошибочного чутья на все редкое и подлинное. Но что более всего бросалось в глаза — то, как он потрясающе молод; вот что венчало в ту минуту впечатление Мегги, да иначе и быть не могло. Не успела Мегги опомниться, как ее подхватило и вознесло куда-то ввысь сознание того, что он попросту великий, и глубокий, и возвышенный маленький человек, и что любить его с нежностью означает не больше и не меньше, как любить его с гордостью. И вместе с этим к ней

пришло странное чувство внезапного и безмерного облегчения. Ее отец — никакой не неудачник и никогда им не будет; эта мысль очистила происходящее от всей налипшей мерзости, словно оба они вышли из своего испытания преображенными, но по-прежнему едиными, по-прежнему с улыбкой, в которой почти не было боли. Как будто новое доверие утвердилось между ними, и еще через минуту Мегги стало ясно, почему. Не потому ли, что на этот раз он и сам думал о ней как о своей дочери и в эти безмолвные секунды испытывал ее — в самом ли деле она плоть от плоти его и кость от кости? Ну а тогда, если она в самом деле не дитя слабости, вместе со своей маленькой и вполне осознанной страстью, на что только у нее не хватит сил? Эта мысль все росла, поднимала ее все выше и выше. Значит, и она никакая не неудачница, совсем даже наоборот; его сила — ее сила, ее гордость — его гордость, и оба они вместе порядочные люди и полностью в своем праве. И когда она наконец ответила ему, все это уместилось в ее ответе.

— Я верю тебе больше, чем кому угодно другому.

— Вообще кому угодно другому?

Мегги заколебалась — это могло значить так

много! Но ведь сомнений нет, тысячу раз нет!

— Вообще кому угодно другому.

Теперь ей нечего было скрывать, и она прямо взглянула ему в глаза; потом продолжала:

— И я думаю, ты веришь мне точно так же.

Целую минуту он молча смотрел на нее, но когда наконец заговорил, то с единственно верной интонацией.

— Да, примерно так же.

— Ну, тогда?..

Она как будто предлагала закончить этот разговор раз и навсегда и никогда больше к нему не возвращаться.

— Ну, тогда!..

Он протянул к ней обе руки, и, когда она схватила их в свои, он притянул ее к своей груди и крепко обнял. Так он держал ее долго, и она изо всех сил прижималась к нему; но как ни тесно было их объятие, царственное и почти суровое, оно не было омрачено такой отвратительной нелепостью, как слезы.

14

Вспоминая тот разговор в парке, Мегги не раз задумывалась о том, что справиться с ним помогло им обоим происшествие, случившееся за несколько дней до этого, когда ее застали в нежных и дружеских объятиях мачехи. Отец вернулся в гостиную как раз вовремя, чтобы увидеть это проявление чувств. Не остались также в стороне ее муж и Ассингемы, которые вышли из бильярдной одновременно с мистером Вервером, прервав на время партию в карты. Мегги уже тогда понимала, как много может значить такое обилие свидетелей для успеха ее замыслов; тем более что в первый момент никто из них не решился как-либо прокомментировать увиденное, и, таким образом, весь эпизод приобрел оттенок священной церемонии, совершающейся в глубоком и единодушном молчании. В конце концов, пожалуй, вышла даже маленькая неловкость — заметив, что на них смотрят, Мегги отскочила от Шарлотты, точно их застали за каким-то нелепым и смешным занятием. С другой стороны, зрители, судя по их виду, никак не ожидали от обеих дам подобных взаимных излияний, несмот-

ря на их близкое родство, и, разрываясь между сочувствием и насмешкой, вероятно, пришли к выводу, что любое замечание по этому поводу, выраженное словами или смехом, неизбежно покажется вульгарным, если только не будет умно свыше всякой меры. Как видно, сценка с участием двух молодых жен напоминала бурное примирение рассорившихся подружек, какое принято считать обычным делом, особенно если подружки эти непробиваемо глупы; но выкажи отец, Америго или Фанни Ассингем радость по случаю восстановления мира, это подразумевало бы их осведомленность о наличии каких-либо оснований для ссоры. Каждый из наблюдающих увидел что-то свое в этом инциденте, увидел даже слишком много, но ни один не мог ничего сказать без явственно звучащего подтекста: «Посмотрите на наших милых душечек — слава богу, они больше не ссорятся!» «Ссориться? Да разве мы ссорились?» — принуждены были бы ответить милые душечки, после чего всем присутствующим пришлось бы основательно поломать голову над тем, как им всем выйти из создавшегося положения. Едва ли у кого-нибудь хватило бы полета фантазии, чтобы тут же на месте изобрести мнимую причину размолвки

вместо истинной, которая давно уже была совершенно очевидна для всякого, кто наделен мало-мальски тонким восприятием; вот все и сделали вид, будто не заметили ничего из ряда вон выходящего.

Тем не менее от Мегги не ускользнуло, что каждый из присутствующих сделал свои выводы и в буквальном смысле слова вздохнул с облегчением, и не в последнюю очередь — Шарлотта. Каждый истолковал увиденное по-своему, но все воспрянули духом и с новыми силами взялись за общий труд, в последнее время заметно более успешный — выглядеть, ходить и говорить так, как будто ничего не случилось. Но Мегги, заглядывая в зеркало воспоминаний, прежде всего пыталась разобрать, какую пользу извлекла из происшедшего Шарлотта. Мегги догадывалась, как внутренне вздрогнул ее отец, как втайне изумился ее муж, как встрепенулась, незаметно для других, Фанни Ассингем, — но сильнее всего ей передалось ощущение огромной выгоды, доставшейся на долю второй участницы спектакля. Мегги каждой своей жилкой ощущала, какие чувства испытывала тогда Шарлотта и насколько та нуждалась в зрителях, чтобы окончательно сокрушить ее, Мегги. Это был последний, завер-

шающий штрих, больше ей желать было нечего — и надо отдать ей должное, с того дня миссис Вервер всеми мыслимыми средствами старалась показать, что прекрасно это понимает. Мегги ловила себя на том, что снова и снова проживает про себя те решающие минуты, так что весь тогдашний вечер начал представляться ей творением некой оккультной силы. Эта сила, к примеру, не позволила четверым игрокам в бридж усидеть на месте, заставила их именно в нужную минуту бросить свою игру и в едином порыве, по образцу Шарлотты, отправиться на поиски Мегги, чей уход не остался незамеченным, хоть все присутствующие очень старательно прикидывались слепыми и глухими.

Но если миссис Вервер, по мнению Мегги, действовала в тот вечер вполне целенаправленно, добившись наконец полного успеха благодаря удачному — для нее — стечению обстоятельств, в то же время наша юная приятельница не преминула заметить и другую истину: все-таки мачеха не совсем еще успокоилась. Ошибки быть не могло: Шарлотта всячески старалась использовать свое преимущество до конца и, по всей видимости, решила, что лучше всего будет сделать это, доказав, что уверения, которые она

вырвала у Мегги в мерцании серебра и хрусталя роскошной холодной гостиной, не только пролили масло на взволнованные воды ее сомнений, но и пропитали этим благотворным веществом все их взаимоотношения насквозь. Признаться, она даже перешла границы разумного, всячески демонстрируя свою способность отплатить с лихвой за оказанную услугу. «Что же за такая особенная услуга?» — могла бы спросить Мегги; ведь если Шарлотта говорила правду, то услуга выходит не такая уж и большая. В самом деле, если все обстоит именно так, как утверждает Шарлотта, то слово правды, сорвавшееся невзначай с губ княгинюшки, ничему помешать не может. Право, будь Мегги сейчас в состоянии подмечать смешное, она бы немало повеселилась, видя, как ее умница-мачеха запуталась в собственных хитростях. По-видимому, в представлении Шарлотты держаться с падчерицей по-дружески означало всеми доступными способами намекать, что Мегги одним своим словом разрушила все недоразумения, благодаря чему между ними снова установились самые безоблачные отношения. Все улажено, и даже призрак размолвки больше не встанет из могилы. Версия, безусловно, отрадная, но ведь, пожалуй, и самую капельку

опрометчивая? И действительно, в течение недели у Мегги появились подозрения, что ее дорогая подруга несколько опомнилась. Несомненно, муж Мегги уже подал Шарлотте благой пример, да и уверения самой Мегги в неизменном доверии к его любовнице пришлись как нельзя более кстати, но все же она в воображении невольно пыталась объяснить любые внешние перемены в поведении мачехи скрытым влиянием Америго. Как известно, княгинюшка нечасто давала волю фантазии, но уж в том, что касалось отношений между этими двумя, она не знала удержу. Закрытое от всех пространство, не заполненное какими бы то ни было подробностями, Мегги населяла самыми невероятными образами; они толпились, словно группы неведомых существ, притаившихся в сумрачной чаще леса, то проступая из темноты, то снова растворяясь во мраке. Одно отличало их всех — они постоянно пребывали в движении. Мало-помалу Мегги совершенно оставила свои прежние представления о блаженстве, которое становится непрочным просто в силу своей чрезмерности. Ей уже не мерещилась парочка пылких возлюбленных из какой-нибудь оперы Вагнера (эти сравнения являлись из самой глубины ее души), сплетенных в страстном объятии

посреди зачарованного леса, на романтической зеленой полянке, какие рисуются нам в мечтах о лесных чащобах старой Германии. Напротив, теперь картина затянулась туманной дымкой, в которой смутно угадывались вереницы неясных фигур, растерявших, увы, всю свою прежнюю уверенность.

Вследствие этого, хотя в те дни они с Америго даже почти и не пытались создать видимость непринужденного общения (Мегги с самого начала предчувствовала, что так будет), она по-прежнему была убеждена, что он ничем не защищен в случае, если Шарлотте вздумается осуществить свое личное неотъемлемое право перейти в наступление. А потому она мысленно все еще видела его приводящим в движение всевозможные рычаги, переключающим ток, а вернее сказать — прилагающим все усилия к тому, чтобы смягчить, приглушить ситуацию, настойчиво направляя свою сообщницу к какому-то совершенно новому повороту дороги. Что касается его отношения к самой Мегги, день ото дня становилось заметнее, что ее муж проявляет поразительную изобретательность в своих стараниях возместить ей недостаток той неподдельной искренности, от которой им пришлось

отказаться столь радикальным образом. Возможно, и у него самого губы уже потрескались от жажды, иссушившей горло княгинюшки, и он познал мучения пилигрима, который заблудился в пустыне и прислушивается с тоской: возможно, раздастся среди песков невозможный плеск воды. Именно таким представляла его Мегги, когда особенно нуждалась в поддержке, чтобы сохранить достоинство в жестокой борьбе с собственной тихой, но неумолимой страстью, которую никакие его прегрешения так и не смогли задушить. Много было одиноких часов, когда Мегги оставляла всякую заботу о собственном достоинстве; были и другие, когда княгинюшка, пробираясь легкокрылой пчелкой в потаенный улей своего сердца, заполняла его кладовые запасами нежности, словно медовым нектаром, собранным с луговых цветов. Со стороны могло показаться, что Америго не отходит от нее ни на шаг, на самом же деле он затерялся в ровной серой мгле, беспомощно шаря вокруг в поисках выхода, и продолжаться это могло до бесконечности. Было мучительно видеть его таким, но из этого тупика он мог выйти только сам. Мегги ничего больше не могла для него сделать; она и так уже сделала все, что было в ее силах.

Но от этого было ничуть не легче выносить мысли о Шарлотте, которая затеряна вместе с ним в этих обманчивых глубинах и у него ищет совета и руководства, пусть даже с привкусом горечи. Приходится заключить, что, услышав от нее рассказ об успокоительном заверении его жены, Америго поторопился предупредить Шарлотту, чтобы та не выражала слишком бурно свою радость и тем не выдала своего прежнего страха. Мегги дала ему время узнать о том, как беззаветно она лгала ради него, после чего целый день дожидалась, пока это знание отзовется в ней бог весть каким отраженным светом. Кто знает, говорила она себе в эти минуты, а вдруг бедняжка Шарлотта, сама того не желая, только ускорила события? Итак, миссис Вервер снова была в глазах Мегги «бедняжка Шарлотта», несмотря на то, что самой Мегги как будто пришлось склонить перед ней голову; а причиной тому — неотступные картины, преследовавшие нашу юную приятельницу. Вот Шарлотта наедине с князем, он строго отчитывает ее, перечисляя осложнения, какие могут воспоследовать для них обоих. Мегги так и слышала раздраженный вопрос Шарлотты: как же ей, во имя всего святого, держать себя, если ее смелость его не устраивает? И в пророческом

порыве Мегги слышала также ответ Америго, произнесенный его чудесным голосом, каждая интонация которого была такой знакомой и родной: нужно все-таки остерегаться хоть немного, каждому за себя. И тогда княгинюшку вчуже пробирал холод, как и саму Шарлотту; как будто Мегги стояла у нее за спиной, когда та бросалась то в одну, то в другую сторону, нигде не находя покоя и отдыха. Любопытно было посмотреть, как Мегги, предаваясь подобным фантазиям, мечется по комнате, будто и впрямь следует невидимкой по пятам Шарлотты, пересчитывая ее бесполезные, напрасные попытки, отмечая про себя каждую ее остановку перед очередным препятствием.

Несколько дней подобных размышлений произвели значительную перемену в представлениях Мегги о предвкушаемом будущем торжестве, торжестве великодушном и невозмутимом, которое грезилось нашей юной приятельнице со времени вечерней сцены на террасе. Как мы знаем, ей тогда явилось видение погнутых золоченых прутьев, клетки с распахнутой дверцей и вырвавшегося на волю пленного существа; свободные движения этого существа были даже по-своему красивы, но очень скоро завиделся

им предел, причем совершенно с неожиданной стороны, а случилось это во время недавнего разговора Мегги с отцом под огромными старыми деревьями. Именно тогда, вообразив лицо его жены, с печалью обращенное в ту сторону, куда отец смотрел так многозначительно, Мегги увидела, как бледнеет это лицо, и словно вдруг поняла, отчего после пугающих слов отца мысленно назвала Шарлотту «обреченной». Повторю: как бы ни кружило и ни металось в те дни ее воображение, Мегги то и дело останавливалась, замирая, словно смотрела на все происходящее серьезными глазами Шарлотты. А видела она при этом неизменно одно и то же: фигуру невысокого, тихого джентльмена, как правило в соломенной шляпе и белом жилете с синим галстуком, с сигарой в зубах и руками в карманах; чаще всего он был виден со спины, задумчиво и неторопливо мерявший шагами уходящую вдаль перспективу парка. В течение недели или двух Мегги не раз случалось красться на цыпочках за своей мачехой из комнаты в комнату, от окна к окну, по всему огромному дому, но та и тут, и там, и везде лишь озиралась тревожно, словно вопрошая судьбу. Нет сомнения, ей пришлось столкнуться с чем-то совершенно непривычным, с каким-то

новым затруднением и началом новой заботы, которые она носила с собой в узелке, свернутом из тряпицы упрека, покорно принятого ею от возлюбленного, — носила с собой и повсюду искала, но не находила уголка, где бы можно было без опаски оставить свою ношу. Тщательно скрываемая серьезность этих долгих и бесплодных поисков могла показаться до смешного нелепой на более иронический взгляд, но Мегги, как мы видели, и всегда-то была мало склонна к иронии, теперь же запасы этого ценного продукта у нее почти совсем истощились. Бывали минуты, когда от одного взгляда на мачеху из какого-нибудь укромного уголка у Мегги перехватывало горло, и она едва удерживалась, чтобы не сказать ей: «Держись, бедненькая моя, не бойся так сильно, все как-нибудь уладится».

Впрочем, размышляла Мегги, на это Шарлотта могла бы ответить, что ей легко говорить; даже такие слова почти ничего не значат, пока задумчивый человечек в соломенной шляпе маячит вдали и точно все колдует, все плетет свои чары. Куда ни посмотришь, вечно он тут как тут и неизменно погружен все в то же занятие; и вот удивительная вещь — Мегги раз или два ловила довольно ясные намеки на то, что он и

сам понимает, какое производит впечатление. Только уже какое-то время спустя после того долгого разговора в парке Мегги начала сознавать, насколько глубоким и откровенным было в тот раз их общение, насколько они раскрылись друг перед другом. Из-за этого они теперь сильно напоминали пару приятелей-забулдыг, только что отвалившихся от стола, на который за минуту перед тем опирались локтями и над которым осушили до последней капли свои налитые до краев кружки. Кружки все еще стоят на столе, но они перевернуты кверху дном, и дружным собутыльникам не остается ничего другого, как подтвердить своим благодушным молчанием, что выпивка и впрямь была что надо. Положительно, Мегги с отцом расстались тогда, так сказать, упившись до предела, и все, что происходило между ними потом, по мере того, как июль приближался к концу, только подкрепляло подобную аллегорию. Собственно говоря, между ними ничего и не происходило, кроме разве того, что они смотрели друг на друга с бесконечным доверием; слова были уже не нужны, и когда отец с дочерью встречались бездонными летними днями, хотя бы даже без свидетелей, когда целовались, увидевшись утром или прощаясь на ночь,

или при любом удобном случае, ведь встреча друг с другом всегда приносила им радость, которую они выражали нимало не стесняясь, — да скорее птицы небесные стали бы огорчать друг друга, напоминая о мирских заботах, нежели мистер Вервер и Мегги в такие минуты. Вот и внутри дома, где на этот раз собралось больше обычного сокровищ, дожидающихся отправки за океан, Мегги иной раз только издали глядела на отца, — к примеру, из конца в конец большой галереи, гордости поместья, — будто она — юная интеллектуалка, странствующая по залам музея с «Бедекером»[55]в руках, а он — невежественный джентльмен, которому и «Бедекер» незнаком. У него всегда была привычка время от времени осматривать свои приобретения, проверяя их состояние сохранности, но теперь он просто-таки не в меру пристрастился к этому занятию. Если Мегги случалось пройти мимо, он оборачивался и улыбался ей, и неизменная мелодия, которую он мычал себе под нос, рассматривая произведения искусства, обретала вдруг — или это только казалось Мегги? — особую глубину. Словно он на ходу

[55] Примечания: 55
Известный путеводитель.

напевал сам себе песенку sotto voce[56], — а иногда возникало также впечатление, будто Шарлотта держится где-то поблизости, прислушивается к его пению, но из-за некоего оттенка этого пения не решается подойти.

С самого первого дня замужества Шарлотта оказывала мистеру Верверу различные знаки внимания и в первую очередь проявляла интерес к собранным им редкостям, всячески показывала, как ценит его вкус, не сдерживала своей прирожденной страсти к красивым вещам и с благодарностью принимала все, чему он мог ее научить по этой части.

Мегги в свое время отлично заметила, как та вовсю «разрабатывает» этот — к счастью, вполне естественный — источник теплых чувств. Шарлотта проявляла огромное рвение в этой области, можно даже подумать — чрезмерное, словно это была для них с мужем единственная возможная точка соприкосновения и только этим разреженным воздухом они могли дышать совместно. Мегги порой приходило на ум, не слишком ли Шарлотта ограничивает его, своими неумеренными похвалами побуждая замыкаться

---

[56] Примечания: 56
Вполголоса (*ит.*).

в одной-единственной сфере. Впрочем, мистер Вервер, разговаривая с дочерью, никогда на это не жаловался. Одного у Шарлотты не отнимешь: руководствуясь замечательно верным инстинктом, она умела не отставать от него в восприятии искусства и ни разу не допустила грубой ошибки или же откровенной глупости. В те летние дни Мегги невольно иной раз приходила в голову весьма странная мысль — а ведь, пожалуй, именно такой и должна быть идеальная жена. Особенно настойчиво эта мысль преследовала Мегги в те редкие моменты, когда под сводчатыми потолками «Фоунз» навстречу ей попадались sposi, как называл их Америго, совершающие свой ежедневный обход так единодушно и в то же время настолько порознь. Шарлотта шла чуть поотстав, рассматривая экспонаты с преувеличенным вниманием; останавливалась, когда останавливался ее муж, но на расстоянии одной-двух витрин или чего бы там ни было; если представить себе мистера Вервера держащим в руке, что скрывалась в кармане, невидимый шелковый поводок, накинутый на ее прекрасную шею, сравнение, пожалуй, оказалось бы не так далеко от истины. Мистер Вервер ни разу не дернул незримую нить, но поводок тем не

менее наличествовал; мистер Вервер не тянул ее к себе, но Шарлотта шла за ним, не отставая. Присутствие жены ни в коей мере не мешало ему расточать дочери упомянутые нами мимические приветствия, которые княгинюшка находила такими трогательными, равно как и дочери, заметим, присутствие мачехи нисколько не мешало краснеть от удовольствия при таком проявлении отцовских чувств. Пусть это были всего лишь безмолвные, бессловесные улыбки, но каждая улыбка равнялась легкому потряхиванию крученого шелкового шнура, и Мегги переводила их в слова, которые удерживала в груди, словно кто-нибудь мог их подслушать, до тех пор, пока не отойдет подальше, пока за нею не закроется дверь, и только тогда произносила мысленно воображаемую отцовскую реплику. «Да, вот видишь, теперь я вожу ее на веревочке. Я веду ее навстречу ее судьбе, а она даже и знать не знает, что это за судьба, хотя в сердце у нее затаился страх. Будь у тебя возможность, какая есть у меня, ее мужа, приложить свое ухо, ты услышала бы, как гулко стучит ее сердце: тук-тук-тук. Она думает, что судьбой ее может оказаться то ужасное место, там, за океаном, — ужасное для нее; но она боится спросить, понимаешь ли ты?

Боится и не спрашивать. И всего-то на свете она боится, со всех сторон видит опасности и грозные предзнаменования. Но она узнает — когда придет время».

А между тем единственной возможностью хоть на время принять вид той горделивой уверенности, которая так ей удавалась и так шла ее твердой и обаятельной манере, было для Шарлотты присутствие гостей, которые сменяли друг друга почти без перерывов. Собственно говоря, в доме постоянно толпилось множество народа — кто являлся к ланчу, кто к чаю, кто приезжал посмотреть дом, успевший прославиться обилием прекрасных вещей, так что Мегги все это «общество» снова начало казаться чем-то вроде водной струи, бесперебойно поступающей в бассейн, где плавает вся их компания наподобие резвых золотых рыбок. Безусловно, это помогало им одолевать трудную задачу общения друг с другом, ведь не будь гостей, их разговоры состояли бы преимущественно из пауз. Временами благотворное влияние визитеров приводило Мегги в восторг и изумление, а одним из наиболее ярких результатов стало то, что каждый из обитателей «Фоунз» мог оценить, какой глубокий смысл скрывается порой в самых поверхностных

вещах. Изо дня в день они жили и дышали одной только поверхностью, пребывали в поверхностном целыми часами. В конце концов их жизнь стала напоминать просторную центральную залу в каком-нибудь доме с привидениями, этакую ротонду с высокими арками и застекленным потолком; пусть в зале царит веселье и смех, но многочисленные двери, открывающиеся из нее, ведут в зловещие кривые закоулки. Здесь обитатели дома встречаются друг с другом, прогнав со своих лиц всякое выражение, чтобы скрыть гложущее их беспокойство, и наглухо закрывают за собою двери — все, кроме одной, через которую по прямому коридору, затянутому тентом, еще возможна связь с внешним миром, откуда приходят гости, подобно тому, как цирковые артисты попадают по специальному проходу на арену цирка шапито. От Мегги не ускользнуло, что миссис Вервер весьма пригодились предыдущие успехи в свете; она приглашала погостить «личных друзей» (в Лондоне личные друзья Шарлотты служили обоим семействам постоянной темой для шуток), и те заметно скрашивали ее одиночество в эти тяжелые дни. Нетрудно было угадать, что лучше всего она чувствовала себя, когда ее на время отпускал страх наскучить им,

истощив все припасенные приманки для их любознательности. Пускай их любознательность зачастую отдавала дремучим невежеством, зато гостеприимная хозяйка была умна и устраивала им бесконечные экскурсии по дому, ничего не пропуская, словно ее хлеб насущный зависел от количества полукрон, собранных за день от посетителей. Мегги встречала ее в галерее в самые неурочные часы во главе очередной компании гостей, видела, как та всеми средствами растягивает свою лекцию и с надменной улыбкой отметает прочь недоуменные взгляды, без которых в последнее время почти не обходилось дело. Глядя на это, наша юная приятельница, сама безвозвратно очарованная коллекцией, заново изумлялась про себя: как можно, чтобы женщина, такая правильная в некоторых отношениях, в других оказывалась такой скверной? Когда отец Мегги бродил по дому, жена неизменно держалась позади, но мистер Вервер скромно отступал на второй план, если Шарлотта выступала в роли чичероне[57]; может быть, именно в эти минуты, тихо обретаясь на задворках своей выставки, он особенно напоминал посвященным колдуна,

[57] Примечания: 57
Гид, экскурсовод (*ит.*).

плетущего свои чары. Блестящие светские дамы обращались к нему с невнятными излияниями восторженных чувств, но он отвечал так сдержанно и односложно, словно какой-нибудь музейный служитель, вся обязанность которого заключается в том, чтобы после ухода посетителей навести в залах порядок да запереть витрины и шкафы.

Однажды утром, незадолго до второго завтрака и вскоре после приезда очередных соседей, живших за десять миль от «Фоунз», которых взяла на себя миссис Вервер, Мегги, собиравшаяся пройти через галерею, задержалась на пороге, ошеломленная выражением лица мистера Вервера, показавшегося из противоположной двери. Шарлотта находилась на середине разделявшего их расстояния. Было что-то чуть ли не строгое в любезных пояснениях, с какими она удерживала вокруг себя кучку довольно испуганных (когда дошло до дела!) посетителей — но ведь они сами объявили телеграммой о своем желании насладиться и просветиться, так что теперь уж отступать не приходилось. Голос миссис Вервер, высокий, звонкий, чуточку жесткий, доносился до ее мужа и падчерицы, убеждая в том, что она весело и охотно выполняет взятую на себя обязанность. Она говорила звучно и раздельно, чтобы

ее было слышно как можно лучше, а притихшие слушатели внимали с таким почтением, словно дело происходило в церкви и кругом горели тонкие восковые свечи, а Шарлотта принимала участие в исполнении хвалебного псалма. Фанни Ассингем не отводила от нее преданных глаз. Фанни Ассингем не оставила в беде и эту свою подругу, как не могла она оставить ни хозяина дома, ни княгинюшку, ни князя, ни Принчипино. В подобных случаях она неукоснительно следовала за Шарлоттой, потихонечку давая ей знать о своем присутствии. Мегги заколебалась в первую минуту, но потом двинулась вперед, заметив при этом серьезное, сосредоточенное выражение лица Фанни, ее напряженно-внимательный взгляд, в котором трудно было бы застать врасплох то или иное чувство. И все-таки она не удержалась, на мгновение метнула взор в сторону приближающейся Мегги, словно отважившись послать ей безмолвную мольбу. «Ты понимаешь ведь, не займи она себя таким образом, один Бог ведает, что она могла бы натворить?» Миссис Ассингем, не скупясь, поделилась этой мыслью со своей юной подругой, и та, растроганная против воли, снова остановилась в нерешительности, вслед за чем, не желая выставлять напоказ свои колеба-

ния, — а вернее, желая вовсе их скрыть, а с ними заодно и кое-что другое, — отвернулась к одному из окон галереи, где и стояла теперь в неловком, бесцельном ожидании.

— Самая крупная из трех статуэток обладает чрезвычайно редкой особенностью: цветочные гирлянды, обвивающие ее и выполненные, как видите, из тончайшего vieux Saxe[58], относятся к другому периоду, имеют другое происхождение и, как они ни хороши, все-таки не отличаются тем же безупречным вкусом. Они были приделаны позже, при помощи особого технологического процесса; подобных примеров известно очень немного, а тот, который сейчас находится перед вами, поистине уникален. Таким образом, хотя в целом вещь несколько барочная[59], ее историко-художественная ценность практически неизмерима.

Высокий голос звенел, разносился над головами разинувших рты соседей, как будто обращаясь к кому-то совсем другому; говорившая не жалела сил, — не останавливалась ни перед чем, сказали

---

[58] Примечания: 58

Старинный саксонский фарфор (*фр.*).

[59] Примечания: 59

Барокко — направление в изобразительном искусстве второй половины XVII в.

бы менее заинтересованные судьи, — в своих стараниях оправдать оказанное ей высокое доверие. Тем временем Мегги, замершая у окна, почувствовала, что с нею творится нечто очень странное: она вдруг тихо заплакала; во всяком случае, светлый прямоугольник оконного стекла внезапно расплылся и затуманился. Высокий голос все продолжал звенеть, и дрожь в нем была заметна разве что для слуха посвященных, но, право же, на какие-то полминуты нашей юной приятельнице померещился в нем мучительный вопль истерзанной души. Еще чуть-чуть — и голос сорвется. Мегги, вздрогнув, неожиданно для себя самой обернулась к отцу. «Не пора ли ее остановить? Неужели этого мало?» Что-то в этом духе она позволила себе мысленно попросить отца угадать в ее взгляде. И вдруг через половину длинной галереи, — потому что отец так и не сдвинулся с места, — Мегги разглядела и у него на глазах слезы, будто признание в таком же точно удивительном чувстве. «Бедняжка, бедняжка, — так и послышалось Мегги, — нечего сказать, довели человека». Словно скованные вместе этими словами, они выдержали еще одну тягостную минуту, а потом стыд, жалость, глубокое понимание, подавленный протест и

даже угаданная боль оказались сильнее отца; он покраснел до корней волос и резким движением отвернулся. Всего несколько беззвучных мгновений, обрывок тайной сопричастности, но Мегги словно парила в воздухе. Теперь ей тоже было о чем подумать. Честное слово, все ужасно запуталось. После таких вот эпизодов (как нам уже случалось видеть) перед Мегги раскрывалась самая глубокая бездна: худшее из всех наказаний — когда нельзя знать с уверенностью, не покажутся ли со стороны смешными все твои судороги и корчи. Америго, к примеру, в это утро блистательно отсутствовал — да он и всегда в подобных случаях всемерно подчеркивал свое отсутствие. Он уехал в Лондон, намереваясь провести там весь день и всю ночь; в последнее время у него часто возникала надобность в таких поездках, да еще как раз тогда, когда в доме были гости, — целая вереница красивых женщин, которыми князь, по общему мнению, особенно интересовался. Жене его и в голову не приходило подозревать, что это делается с умыслом, но вот наконец однажды туманным августовским утром она проснулась на рассвете и больше не могла уснуть, а когда, беспокойно расхаживая по комнате, приблизилась к окну и вдохнула

свежесть лесного простора, вместе с розовеющей на востоке зарей к ней пришло и другое озарение, почти равное первому по своей волшебной красоте. Розовое сияние разлилось у нее перед глазами: оказывается, ее муж, — да-да, такой, какой он есть, — тоже грешит иногда излишним простодушием. Иначе он не выставил бы причиной своей сегодняшней отлучки необходимость разобрать книги на Портленд-Плейс. В последнее время он накупил их чрезвычайно много; также из Рима ему прислали большое количество книг с чудесными старинными гравюрами, весьма интересовавшими ее отца. Но, следуя за ним в воображении в душный, пыльный город, в дом, где все окна занавешены, а мебель закутана в белые чехлы, где нет ни души, и только сторож да кухонная девчонка властвуют безраздельно, княгинюшка никак не могла увидеть Америго с засученными рукавами за распаковыванием потрепанных долгой дорогой ящиков.

По правде говоря, он представлялся ей совсем в ином виде. Вот он бродит как неприкаянный по полутемным комнатам или часами полулежит на диване, глядя в пространство сквозь дым нескончаемых сигарет. Должно быть, сейчас ему чаще всего хочется остаться наедине со своими

мыслями. А поскольку его мысли, несомненно, связаны с княгинюшкой, получается, что он как будто проводит время наедине с ней. Наверное, так он отдыхает от постоянного давления поверхностного, от которого в «Фоунз» ему некуда деваться; и какое жалкое впечатление произвела на Мегги изобретенная им альтернатива! Это все равно что отбывать наказание самого что ни на есть низкого сорта — как если бы его посадили в тюрьму или, скажем, лишили денежного содержания.

Пожалуй, нетрудно было даже представить себе, что его лишили хлеба насущного. Он ведь легко мог бы удрать, отправиться в путешествие за границу; он вправе сделать столько разных вещей, недоумевала Мегги, а он кругом себя ограничивает! Секрет, разумеется, заключался в том, что в «Фоунз» он не знал ни минуты покоя, постоянно вынужденный призывать себе на помощь последние остатки тайной гордости, пуская в ход невидимые пружины, какие знакомы разве только истинно светским людям. Почему-то именно в это утро, любуясь рассветом, Мегги необыкновенно отчетливо поняла, отчего он вынужден хвататься за любой предлог, лишь бы вырваться отсюда. Все вдруг стало ей предельно

ясно: он бежит, спасаясь от звука. Этот звук и сейчас еще раздавался в ушах у самой княгинюшки — высокий, сдавленный, вздрагивающий голос Шарлотты перед застекленными шкафчиками в притихшей галерее; голос, пронзивший накануне и саму княгинюшку отзвуком невыносимого страдания, от которого Мегги кинулась к окну, расплывшемуся от слез у нее перед глазами.

Теперь, когда ей так много стало понятно, удивительным казалось совсем другое — как еще ему не потребовались стены потолще и перерывы подольше? Над этим Мегги тоже думала и раздумывала, невольно придавая особый смысл не только тому, что делал Америго, но и тому, чего он не делал; ей виделось тут некое намерение, неясное, но оттого не менее восхитительное. Все равно как если выглянуть ночью из окошка в сад: ничего не разглядишь в путанице ветвей, но весь воздух напоен невнятным благоуханием цветов, скрывающихся в зарослях. Ему необходимы передышки, но все-таки он не трус; он будет ждать, чем все разрешится, там же, где и совершил то, что совершил. Мегги рухнула на колени, уронила руку на широкий и низкий подоконник, словно закрываясь от ослепительной вспышки; объяснение могло быть только одно: он решил ждать

рядом с ней, чем бы ни закончилось дело. Прижав руки к глазам, Мегги чувствовала, что он совсем близко; это продолжалось долго, и лишь когда из галереи снова донеслось неумолимое эхо все того же бесконечно повторяющегося протяжного вопля, она увидела, как побледнело и застыло его лицо.

15

Княгинюшка не сразу заметила сходство, выйдя в слепящую жару августовского воскресенья — всего лишь второе воскресенье за все лето они проводили без посторонних, вшестером, а точнее, всемером, считая и Принчипино; но, едва увидев Шарлотту, сидевшую, как она и ожидала, в стороне от других, Мегги невольно подумала — не чувствует ли та в настоящую минуту приблизительно то же, что испытывала она сама на вечерней террасе, когда миссис Вервер преследовала ее так неотступно? Роли переменились; теперь Шарлотта затравленно смотрит на нее в лучах неторопливого полдня, точно так же, как смотрела она сама на Шарлотту, грозно приближающуюся к ней в темноте беззвездной ночи. Был момент, когда Мегги приостановилась и взгляды их встретились, — повисла пауза, столь же безмолвная и насыщенная подспудным смыслом, как и в том, другом случае.

Главным же отличием было то, что участницы поменялись ролями: на этот раз Мегги увидела в окно, как мачеха вышла из дома прогуляться по саду или в роще в такое неподходящее время, три

часа пополудни в разгар августовских каникул. Княгинюшка не смогла усидеть на месте, в точности как миссис Вервер тремя неделями раньше. Был самый жаркий день за весь летний сезон, и людям, не отягощенным заботами, несомненно, полагалось сейчас отдыхать в тени задернутых занавесей; но нашей юной приятельнице, возможно, пока еще не приходило в голову, что подобная утонченная сиеста в их случае равнялась пустующему месту на праздничном пиру. Это особенно бросалось в глаза, поскольку пир в самом деле только что состоялся в просторной затененной столовой — нечто вроде холодного, церемонного второго завтрака. Миссис Вервер на пиру не присутствовала, сославшись на сильную головную боль, причем о недомогании собравшемуся обществу стало известно не от ее мужа, а было объявлено при всех самому мистеру Вервер горничной, которая была послана специально для этой цели и добросовестно выполнила поручение.

Мегги высидела вместе с остальными, пока на столе не появились охлажденные разными хитроумными способами деликатесы и не двинулись в свой неспешный путь кувшины, нежно позвякивающие кусочками льда. Разговор не

клеился. Даже бедная Фанни Ассингем не смела высунуть носа из тесной норки безопасных тем, где эта милая дама нашла себе прибежище. Все словно сговорились помалкивать — уж не из общего ли для всех страха? Томительные паузы отваживался нарушить лишь отец Митчелл, славный, изрядно проголодавшийся священник из Лондона, вечно загруженный непосильной работой, верный друг и советчик, который взялся исполнять в течение одной-двух недель менее обременительные обязанности пастора в местном приходе, пользовавшемся щедрым покровительством Мегги, а посему получил приглашение располагать всеми удобствами усадьбы. Он-то болтал без умолку, довольствуясь в качестве ответа рассеянно-неопределенными улыбками сотрапезников.

Княгинюшка находила, что отец Митчелл — истинный дар небес, хотя и сознавала с легким чувством неловкости, что все это время она справлялась со своими затруднениями, не обращаясь к его духовному руководству. Порой она спрашивала себя, подозревает ли он, с каким изощренным коварством его оставили в стороне; то ей казалось, что он наверняка угадал большую часть событий, то вдруг являлась уверенность в

том, что он ровно ни о чем не догадывается. Впрочем, возможно, он потому так учтиво заполнял пробелы в разговоре, что инстинкт, более проницательный, нежели выражение лица, помог ему заметить тонкий лед под ногами и непроходящую натянутость в воздухе, какая не принята в тех кругах, где роскошь приравнивают к добродетели. Когда-нибудь, в более счастливые времена, Мегги покается ему в том, что раньше не каялась, хотя взяла на себя так много; но сейчас она несла в своей слабой, онемевшей от напряжения руке кубок, полный до краев, из которого поклялась не пролить ни капли. Страшно ей было дыхание высшей мудрости, прикосновение священного света и даже сама помощь небес; а уж нынче, как никогда прежде, пришлось вдохнуть тяжелой, гнетущей атмосферы.

Где-то и как-то случилось что-то очень серьезное. Богу известно, у Мегги был большой выбор разнообразных предположений. С остановившимся сердцем раздумывала она, уж не лопнула ли в конце концов туго натянутая нить между ее мужем и отцом. Княгинюшка горестно зажмурилась от одной только возможности подобного пассажа, но и с закрытыми глазами продолжала видеть, какие уродливые формы могло принять

такое событие. «Можешь дознаться сам!» — бросила она Америго в тот вечер, когда разбилась чаша, на его вопрос о том, кто еще «знает». Мегги льстила себя надеждой, что с тех пор не помогла ему ни на йоту приблизиться к решению загадки. Она дала ему занятие на все эти недели, а сама ночи напролет лежала без сна, мучительно ощущая, как страдает его самолюбие от этой безжалостной, непобедимой неуверенности. Она отдала его на растерзание неизвестности, которую он не мог даже и пытаться переносить равнодушно, не мог и перевести в чистую, окончательную несомненность. Чем достойнее вел себя Америго, тем сильнее вгрызалась неизвестность в его душу, и Мегги не раз говорила себе, что он, неровен час, совершит какую-нибудь ужасную ошибку, лишь бы разбить эти чары, скрепленные непроницаемым, словно полированная слоновая кость, поведением ее отца, — начнет буйствовать, разобьет, чего доброго, окно, истомившись по глотку свежего воздуха, так что в конце концов ему изменит даже неизменный хороший вкус. И тогда он разом погубит все: один-единственный неверный шаг разрушит безупречное совершенство его обычной манеры.

Так тени вокруг княгинюшки то сгущались,

то рассеивались, а тем временем отец Митчелл продолжал разглагольствовать как ни в чем не бывало. Были и другие тени; они нависали над Шарлоттой, свидетельствуя о том, что и ее терзают подобные опасения, и в особенности мысль о перемене в отношениях между обоими мужчинами — мысль, которую она не осмеливалась додумать до конца. Существовали, по мнению Мегги, и другие возможности, слишком много разных возможностей, одна страшнее другой, но нервы уже совершили все, что было в их силах, и ты остаешься совсем одна в темноте, где рыщут бесчисленные опасности, — примерно в таком же положении оказывается ночной дозорный в местности, населенной хищными зверями, да еще не имея средств развести костер. В таком состоянии Мегги способна была ожидать чего угодно от кого угодно, чуть ли даже не от Боба Ассингема, обреченного пребывать вечным наблюдателем и глубокомысленно смаковать вино из запасов мистера Вервера; да-да, даже и от добродушного священника, который откинулся, наконец, на спинку стула, сложив на животе толстенькие ручки и вращая большими пальцами.

Добродушный священник все смотрел на графины и блюда с изысканными десертами,

поглядывал на них искоса, будто именно их предпочел бы сегодня в собеседники сравнительно с любым из присутствующих. Но и с ним не было княгинюшке покоя. Ей вдруг пришла новая фантазия: вдруг отец Митчелл уже говорил с Шарлоттой? Может быть, еще сегодня утром он укорял миссис Вервер по случаю появившегося у нее в последнее время небрежения к делам благочестия. Из такого упущения пастор в невинности своей мог все же сделать некие выводы, принять его за признак скрытых душевных неполадок и, естественно, не преминул бы указать ей на то, что отказ от величайшего из всех лекарств никак не способствует выходу из подобных затруднений. Скорее всего, он предписал ей искреннее покаяние, — во всяком случае, он способствовал укреплению той ложной успокоенности, которую сумела ей внушить наша юная приятельница. В этой фальшивке таилась западня, по сравнению с которой любые обвинения в измене, пусть даже и подтвержденные, могли показаться ложем из роз. Это звучит странно, но, сознайся Шарлотта — и Мегги уже ничего больше не нужно будет предпринимать, можно просто предаться упоительному бездействию. А удержавшись от обвинений, она взвалила все на свои плечи, тем

более что речь-то шла преимущественно о доверии. Она ежедневно должна была подтверждать свою правоту, справедливость принятого ею решения. А значит, нескрываемая озабоченность отца Митчелла оказывалась, в сущности, едкой насмешкой над ее успехом?

Вопрос этот получил, по крайней мере, предварительный ответ к тому времени, когда начали расходиться из-за стола, и Мегги, точь-в-точь повторяя действия миссис Вервер во время карточного сборища, воспользовалась таким же предлогом, чтобы укрыться от насмешки. Прежде, чем им со священником разойтись в разные стороны, глаза их встретились, и вот ведь какой удивительный народ эти священники — Мегги на мгновение показалось, что он готов сказать ей с беспредельной добротой: «Ступай к миссис Вервер, дитя мое; увидишь, ты сможешь ей помочь». Впрочем, слова эти так и не прозвучали; ничего не было сказано, только пастор вновь принялся вертеть пальцами поверх туго набитого животика и с комической серьезностью рассуждать о том, как отменно готовят в «Фоунз» семгу под майонезом. Ничего не было сказано, только видны были удаляющиеся спины каждого из участников завтрака, и в особенности — чуть сутулые

плечи ее отца, который, казалось, продолжал все так же усердно плести свои чары, несмотря на отсутствие жены, просто в силу привычки.

Муж Мегги на этот раз присутствовал и, должно быть, испытывал все те ощущения, какие полагалось ему испытывать в подобной ситуации, — возможно, именно поэтому сей персонаж поспешил последовать примеру тестя и поскорее «смыться». У него тоже были свои занятия — может быть, и в «Фоунз» имелись книги, какие требовалось разобрать; да и мысль о сиесте напрашивалась сама собой. Как бы то ни было, Мегги на минуту осталась наедине с миссис Ассингем, а та, дождавшись безопасного момента, кажется, собиралась с духом для какой-то демонстрации. Стадия «обсуждений» для них давно уже миновала; теперь они общались лишь в самом крайнем случае, но Фанни желала дать понять, что от ее внимания ничто не ускользает. Она сильно напоминала добросердечную даму, которая задерживается в цирке, пока прочие зрители толпой валят к выходу, и заводит разговор с усталой маленькой воздушной гимнасткой, — вероятно, поддерживающей своим акробатическим ремеслом строгих и чуть стыдящихся ее родителей, — причем посетительница от всей души

заверяет в своем благосклонном интересе к безвестной артистке, достойной всяческого поощрения. У нашей юной приятельницы никогда не было ни малейших сомнений в том, что в случае чего она одна останется заслонять собой амбразуру. Для того она и находится здесь, чтобы нести на себе груз постоянных околичностей и недомолвок, чем предстоит заниматься и сегодня, с одним только утешением — миссис Ассингем все-таки ее не бросила. Миссис Ассингем намекает, что и она пока стоит на бастионе, — хотя ее отвага, как выяснилось в следующую же минуту, в значительной мере обусловлена неуемным любопытством. Осмотревшись, Фанни убедилась, что остальные уже отошли далеко и не услышат их разговора.

— Ты в самом деле не хочешь, чтобы мы уехали?

Мегги слабо улыбнулась.

— А тебе в самом деле хочется уехать?

Приятельница залилась краской.

— По правде говоря… нет. Но мы готовы, ты ведь знаешь, по первому твоему знаку. Мигом соберемся — и прощай. Мы готовы на жертву!

— Ах, не надо жертв, — отозвалась Мегги. — Будь со мной до конца.

— Ну и хорошо, большего мне и не нужно. Было бы низостью с моей стороны… К тому же, — прибавила Фанни, — ты просто великолепна!

— Великолепна?

— Великолепна. И, знаешь ли, конец уже близок. Ты почти победила, — сказала миссис Ассингем.

Но Мегги ответила вопросом:

— Чего же я, по-твоему, добилась?

— Того, чего и хотела. Они уедут.

Мегги по-прежнему смотрела на нее в упор.

— Разве я этого хотела?

— О, не тебе говорить об этом. Это ему решать.

— Моему отцу? — спросила Мегги после короткого колебания.

— Твоему отцу. Он сделал выбор — и она уже знает. Теперь ей все стало ясно, но она не может ничего возразить, не может отказаться, не может и пальцем шевельнуть. Вот потому-то с ней такое творится, — сказала Фанни Ассингем.

Почему-то от ее слов перед мысленным взором княгинюшки возникла яркая картина — так всегда у нее бывало, чужие слова всегда воспринимались ярче, чем свои собственные. Она увидела вокруг себя лучи беспощадного солнца, пробивающиеся сквозь щели в шторах, и где-то

там, снаружи, затерянную среди равнодушной природы Шарлотту, которой отказано даже в последнем милосердии спасительной правды. Вот она блуждает в одиночестве, без всякой помощи, бледная и безмолвная, покорившись судьбе.

— Она тебе говорила? — спросила Мегги.

Ее собеседница снисходительно улыбнулась:

— Мне не нужно ничего говорить — вот еще! Слава богу, я и сама кое-что вижу, каждый день вижу. — И пояснила на случай, если Мегги пожелает узнать, что именно: — Я вижу долгие мили океана и ужасную громадную страну, эти бесчисленные штаты, которые никогда еще не казались мне такими огромными и страшными. И наконец, я вижу: они продвигаются вглубь этой страны, день за днем, шаг за шагом, все дальше и дальше, и никогда не вернутся назад. Вот так просто — никогда. Я вижу то замечательное «интересное» место, где, как ты знаешь, в жизни своей не бывала, и еще совершенно точно вижу, что от нее потребуют интересоваться им всерьез.

— Так и будет, — задумчиво ответила Мегги.

— Действительно потребуют?

— Она действительно будет интересоваться.

Несколько времени после этих слов они смотрели друг другу в глаза, затем Фанни сказала:

— Она… Да, она будет такой, какой потребуется. И ведь навсегда, не правда ли? — Фанни говорила крайне доверительным тоном, но Мегги только молча смотрела на нее. Слова Фанни были огромны, и вызванные ими видения тоже были огромны, и все росли и росли. Однако миссис Ассингем, стоя посреди этих громад, продолжала довольно бодро: — Когда я говорю о том, что ты знаешь, я вовсе не хочу этим сказать, что у тебя есть на это какое-то особое право. Ты знаешь, потому что понимаешь, — а я его совсем не понимаю. Ничего не разберу, — призналась она почти грубо.

Мегги снова не торопилась отвечать.

— Ты говоришь об Америго?

Но Фанни покачала головой, как будто загадка Америго, вопреки всему, не требовала таких уж невероятных умственных усилий и ее давно заслонила другая. Мегги наконец поняла намек, которому следующие ее слова придадут еще более глубокий смысл. Она не собиралась называть больше никаких имен, миссис Ассингем сразу это увидела по ее глазам, но все-таки не удержалась от несколько нескромного замечания:

— Ты знаешь, что он сейчас чувствует.

На это Мегги медленно покачала головой, по-

вторив недавний жест Фанни.

— Я ничего не знаю.

— Ты знаешь, как чувствовала бы себя на его месте.

Но Мегги снова ответила отрицательно:

— Ничего я не знаю. Если бы знала!

— Что же тогда? — подсказала Фанни, когда Мегги остановилась.

Но у Мегги уже не было сил продолжать этот разговор.

— Я бы умерла, — ответила она и быстро вышла из комнаты.

Через весь затихший дом Мегги направилась к себе; обошла зачем-то спальню, без всякой надобности переменила веер, после чего решила навестить затененные апартаменты, где в этот час Принчипино наслаждался послеполуденным сном. Мегги прошла через первую, пустую комнату, дневную детскую и остановилась у открытой двери. В просторной дальней комнате было прохладно, полутемно и так же тихо, как в первой. Главным предметом обстановки здесь была стоящая в самом центре роскошная историческая колыбель древних королей, которая, по рассказам, охраняла священный сон длинной череды престолонаследников и была подарена

сыну Мегги в самом начале его жизненного пути любящим дедушкой. Тишина стояла такая, что почти можно было различить дыхание спящего ребенка. Первейший страж его снов находился тут же: отец Мегги устроился в кресле, сидел почти без движения, откинув голову и прикрыв глаза. Стройная сухощавая лодыжка, так часто выдававшая его волнение, покоилась на колене другой ноги, а непостижимое сердце скрывалось под неизменным безупречно свежим белым жилетом, проймы которого охотно служили опорой для прочно зацепившихся за них больших пальцев обеих рук. Миссис Нобль соизволила величественно удалиться, и все в комнате говорило о ее временном отречении, но ситуация была вполне обычная, и Мегги задержалась лишь затем, чтобы посмотреть. Она смотрела поверх своего веера, прижатого к лицу, смотрела так долго, что успела задать себе вопрос: спит ли отец или, заслышав ее шаги, нарочно сидит не шевелясь. В самом ли деле его глаза следят за ней из-под полуприкрытых век? Он ни о чем не спрашивает, и как же это следует понимать — так ли, что он предоставляет все решать ей? С минуту она наблюдала его неподвижность, и вдруг, словно вновь покорившись неизбежному,

тихо вернулась в свою комнату.

Ее охватил довольно странный порыв — но это не было желание переложить хотя бы часть груза на кого-нибудь другого. Мегги не могла уснуть, как и в то утро, несколько дней назад, когда она смотрела на восход из своего окна. Эта сторона комнаты, обращенная на восток, сейчас находилась в тени, обе створки окна были распахнуты — Мегги всегда нравилось глядеть отсюда, сверху, будто с башни замка, примостившегося на скале. Стоя здесь, она словно парила над садом, над лесом, дремавшими в этот час в нестерпимо ярком сиянии солнечных лучей. Тенистые рощи казались разомлевшими от жары, цветочные клумбы точно потускнели; павлины расселись по балюстрадам, вяло свесив хвосты, а мелкие пташки забились под защиту листьев. Ничего живого как будто не было видно в сверкающей пустоте, но, уже собираясь отвернуться от окна, Мегги заметила движущееся пятнышко — ярко-зеленый зонтик, спускающийся по ступенькам террасы. Вот он спустился и начал удаляться, становясь все меньше и меньше; естественно, зонтик скрывал голову и плечи той, которая его несла, но Мегги сразу узнала белое платье и особую походку бесстрашной путницы — не кто-нибудь, а именно

Шарлотта выбрала этот палящий полдень для прогулки по саду и направлялась не иначе как в какой-нибудь неисследованный дальний уголок или даже за пределы сада, в намеченное заранее убежище. Несколько минут княгинюшка провожала ее взглядом и по ее целеустремленности, по некоторым особенностям походки угадала, что прогулка по сути представляет собою бегство, после чего тут же и поняла, почему им обеим не сидится на месте. Ей смутно припомнилась старинная притча, нечто насчет Ио, гонимой оводом, не то Ариадны, одиноко блуждающей на морском берегу. Вместе с тем у Мегги явилось и ощущение собственной цели, требующей незамедлительных действий; она тоже словно была сейчас одной из древних героинь, осаждаемых бесчисленными бедствиями, вот только роль, которую ей предстояло сыграть, не знала прецедента в захватывающей истории прошлого. Она вдруг поняла, что все это время, пока она сидела вместе с остальными, ей хотелось пойти прямо к той, что отделилась от всех, и каким-то образом в последний раз поддержать ее. Не хватало лишь предлога; чуть подумав, Мегги отыскала и его.

Прежде чем миссис Вервер окончательно скрылась из виду, княгинюшка разглядела у нее в руке

книгу — между складками белого платья выглядывала темная обложка томика, прихваченного на случай, если придется объяснять цель своей прогулки при какой-нибудь случайной встрече; а собрат этого томика лежал в настоящую минуту на столике в комнате Мегги. Это был старинный роман в оригинальном трехтомном издании; пару дней назад княгинюшка упомянула о том, что привезла его с Портленд-Плейс. Шарлотта, чрезвычайно обрадовавшись такой возможности, выразила желание прочесть его, и наша юная приятельница на следующее же утро велела своей горничной отнести книгу в апартаменты миссис Вервер. Позднее она обратила внимание на то, что посланница то ли по неразумию, то ли по небрежности передала только один из трех томов, и к тому же не первый по порядку. Таким образом, первый том все еще оставался у Мегги, в то время как Шарлотта, по странной прихоти так несвоевременно вознамерившаяся заниматься чтением на природе, вооружилась вторым, от которого ей не могло быть никакого толку. Мегги немедленно приготовилась броситься на подмогу. Нужный том да зонтик от солнца — больше ничего и не требуется, если, конечно, не считать смелости, необходимой для исполнения ее

дерзкого замысла. Никем не остановленная, она прошла через весь дом и очутилась на террасе, вдоль которой и отправилась дальше, прячась в тени и неотступно сознавая уже отмеченную нами зеркальность ситуации. Мегги спустилась в сад и двинулась на поиски, но миссис Вервер успела уйти еще дальше — как все-таки странно, что она променяла свою прохладную комнату на эти сжигаемые солнцем открытые пространства. К счастью, погоня в конце концов снова привела Мегги в благословенную тень; сюда, как видно, и стремилась несчастная бесприютная странница, а именно — к нескольким широким аллеям, чрезвычайно длинным и закрытым сверху густыми зарослями вьющихся роз и жимолости. Зеленые тоннели аллей сходились к некоему подобию тенистого храма, древней ротонде с колоннами и статуями, с нишами и сводчатой крышей; ее древность не подверглась ни малейшей реставрации, как и все остальные старинные вещи в «Фоунз», не знавшие покушений в настоящем и не опасавшиеся таковых в будущем. Здесь Шарлотта прервала свое исступленное бегство или что бы там ни было; место было вполне подходящее для отдыха, и вот Шарлотта сидела, уставившись в пространство, на скамье, на которую, видимо,

только что опустилась, ничего не подозревая, как раз в ту минуту, когда Мегги показалась в начале одной из аллей.

И снова, еще более похоже, повторялся тот вечер на террасе. На таком расстоянии Мегги не могла быть абсолютно уверена, что ее заметили, и выжидала сейчас, медля приступить к выполнению своего намерения, точно так же, как медлила тогда Шарлотта; вот только намерение было другое — о, совершенно другое! Мегги помнила об этом неизменно, и оттого сделалась нетерпелива; она понемногу двинулась вперед, оказавшись в поле зрения глаз, которые смотрели совершенно в другую сторону, но через минуту вынуждены были обратиться к ней. Очевидно, никак не ожидавшая, что за ней последуют, Шарлотта смотрела со страхом и вся инстинктивно напряглась, приготовившись к обороне. Мегги это ясно видела, равно как и то, что, бросив второй раз взгляд на приближающуюся подругу, Шарлотта переменила позу. Княгинюшка подошла ближе, торжественно и молча, но остановилась вновь, давая той время приготовиться, как ей вздумается. Пусть приготовится, как хочет, как может, — Мегги только этого и надо; ей прежде всего хотелось сделать эту встречу по возможно-

сти менее тяжелой для Шарлотты. Совсем не того хотелось в прошлый раз Шарлотте, но сейчас это не имело значения; главное, чтобы Шарлотта могла ощущать, что право выбора осталось за ней. Вначале она заметно испугалась, сразу же сообразив, что преследуют ее наверняка не без причины, да и могла она разве не вспомнить в эту минуту, как сама преследовала свою падчерицу, отнюдь не скрывая своей цели и своей решимости? Мегги тогда очень почувствовала ее жестокое упорство, и миссис Вервер тоже чувствовала, и видела, и слышала, что ее многозначительное появление попало прямо в цель. Несомненно, она еще не забыла своей успешной атаки. Но теперь в ее взгляде ясно читался страх: ведь сокровище, добытое неправедным путем и глубоко зарытое в потаенном месте, которым как нельзя лучше послужило застывшее лицо падчерицы, — это сокровище того и гляди снова выберется на поверхность и снова окажется у нее на руках. Положительно, в эти минуты княгинюшка могла даже разглядеть главную причину ее тревоги. «Она не выдержала, не стерпела, не могла стерпеть своей лжи, и теперь пришла взять свои слова обратно, пришла отказаться от всего, бросить правду мне в лицо». Одно мгновение,

вместившее целую вечность, Мегги явственно слышала испуганный вздох — но почувствовала только жалость к униженному состоянию Шарлотты. Сама она старалась подходить как можно тише, держа на виду книгу, прилагая все силы к тому, чтобы выглядеть безопасной, доброй и мягкой, насколько возможно, и невольно вспоминала сцены из читанных когда-то романов о приключениях на Диком Западе, когда герой поднимает руки вверх, показывая, что у него нет при себе револьвера.

— Я видела в окно, как ты вышла из дома, и просто не могла допустить, чтобы ты оказалась тут с книгой без начала. Вот, здесь начало: у тебя не тот том, я принесла тебе, какой нужно.

Сказав это, Мегги осталась стоять, не двигаясь с места. Она как будто явилась на переговоры с потенциальным противником, и ее напряженная, взволнованная улыбка словно испрашивала формального дозволения приблизиться. «Можно мне теперь подойти?» — казалось, говорила она; но ответ Шарлотты потерялся в довольно странных изменениях, произошедших в несколько этапов, которые Мегги имела полную возможность наблюдать поочередно, один за другим. Выражение смертельного страха понемногу сошло с лица

мачехи, хотя она явно не могла поверить, что ее так провели. Если уж провели, то наверняка с какой-нибудь целью, и цель эта, несомненно, опасная. Но, глядя на Мегги, невозможно было не понять, что она не замышляет ничего опасного. Три минуты спустя это понимание утвердилось окончательно, принеся с собою неимоверное облегчение, и тогда все удивительным образом переменилось. На самом деле Мегги пришла к ней потому, что знала — Шарлотта обречена, обречена на разлуку, которая для нее как нож в сердце. От одного взгляда на то, как она мечется, физически не находя себе покоя, Мегги снова увидела перед собой нарисованную Фанни Ассингем картину ее мрачного будущего по ту сторону великого океана и великого континента. Она и ушла-то сюда, сжигая за собой корабли всякого притворства, чтобы без свидетелей вглядеться в предстоящий ей ужас, и даже после того, как Мегги продемонстрировала безобидный смысл своего прихода, ошибиться было невозможно — по всем признакам, это было существо, доведенное до последней крайности. Нельзя также сказать, чтобы признаки эти хоть сколько-нибудь скрашивало обычное для миссис Вервер изящество; неприкрытые почти до пол-

ного бесстыдства, они произвели трагическое впечатление на княгинюшку, хотя Шарлотта, быстро придя в себя, немедленно вернулась к прежнему притворству. Как трагично выглядела сама эта поспешная перемена, эта мгновенно распрямившаяся пружина гордости — если не для нападения, так хотя бы для попытки защиты!

В самом деле, именно гордостью, словно плащом, окутала себя Шарлотта, упрямо продолжая отрицать малейшее ограничение своей свободы. В ее случае грозная судьба была более чем заслуженной, и следовательно, признать, что она несчастна, значило в то же самое время признаться в обмане. Она не признается, нет, тысячу раз нет! Она яростно, не скрываясь, искала какого-нибудь иного объяснения своему побегу из темницы. Глаза ее расширились, грудь тяжело вздымалась, и Мегги от души желала ей помочь. Вскоре Шарлотта поднялась с места, как бы говоря: «Ах, оставайся, если угодно!» После того, как она прошлась взад-вперед, глядя вдаль, глядя куда угодно, только не на вновь прибывшую, обронила пару слов о погоде, заметив, что обожает жару, поблагодарила за книгу, которую, начав со второго тома, нашла несколько бессвязной и не такой умной, как ожидала; после того, как поз-

волила Мегги подойти достаточно близко, чтобы положить принесенный том на скамью, где он и остался лежать нетронутым, и заботливо забрать вместо него ненужный экземпляр, — после того, как Шарлотта совершила все эти действия, она уселась немного в стороне, более или менее овладев собой и своей ролью. За все время своих приключений наша юная приятельница не переживала такой странной минуты; мало того что Шарлотта, видимо, согласилась принимать ее за ту беспомощную дурочку, какой ей в последнее время так легко было притворяться, но Мегги, втайне ликуя, начала даже задумываться: нельзя ли изобрести еще какое-нибудь сверхсмиренное уничижение? Вначале смутная, такая возможность понемногу проступала все сильнее и ярче. В конце концов самой Шарлотте стало вполне очевидно, что Мегги снова явилась к ней пресмыкаться (есть такое выражение). Тут уж сцена раздвинулась до необычайных размеров! В тот момент каждая из двух видела перед собой ослепительные перспективы.

— Я рада, что мы оказались наедине. Я хотела кое о чем поговорить с тобой. Я устала, — сказала миссис Вервер. — Как я устала!

— Устала?..

Сказано было, по-видимому, не все — нельзя же сразу; но Мегги уже догадалась, что сейчас будет, и от этой догадки лицо ее залилось румянцем.

— Устала от этой жизни, которую мы здесь ведем. Знаю, тебе это нравится, но я мечтала совсем о другом.

Шарлотта вскинула голову; глаза ее засверкали торжеством; она нашла свой путь и смело пошла вперед. Мегги сидела смирно и смотрела. Сейчас Шарлотта пытается что-то спасти, ей одной ведомо, что именно, и хотя княгинюшка пришла сюда специально ради того, чтобы принести жертву, ей вдруг показалось, что Шарлотта у нее на глазах бросилась с прочных прибрежных скал в ненадежные, а может быть, и предательские глубины.

— Я поняла еще одну вещь, — продолжала та. — У меня появилась идея, которая мне необычайно полюбилась. Я давно уже об этом думаю. Меня вдруг осенило: мы живем неправильно. Наша настоящая жизнь не здесь.

Мегги затаила дыхание.

— Наша?..

— Наша с мужем. О тебе я не говорю.

— О! — сказала Мегги, молясь про себя об одном: только не сглупить, не показаться понимающей

даже на самую маленькую секундочку!

— Я говорю от нашего имени. Я говорю от его имени, — решилась Шарлотта.

— От имени моего отца.

— Твоего отца. Кого же еще?

Теперь они пристально смотрели друг на друга, но Мегги скрыла свои чувства, замаскировав их под искренний интерес. К тому же она все-таки не была настолько глупа, чтобы вообразить, будто вопрос ее собеседницы нуждается в ответе. Она предпочла тактично промолчать, и в следующую же минуту получила полное подтверждение своей правоты.

— Боюсь, ты будешь считать меня эгоисткой, ведь ты же понимаешь, что из этого следует. С твоего разрешения, признаю — я эгоистка. Для меня муж важнее всего.

— Что ж, — сказала Мегги, улыбаясь, — поскольку и для меня тоже…

— Значит, ты на меня не в обиде? Ну, тем лучше, потому что мой план уже совершенно оформился, — все выше заносилась Шарлотта.

Мегги чуть-чуть подождала. Мерцающая возможность блеснула ярче — вот, вот, она уже совсем близко. Страшно только, как бы не испортить, она ведь и сама ходит по краю пропасти.

— Что же у тебя за план, позволь спросить?

Затишье не более как на десять секунд, и вдруг залп!

— Увезти его домой. Туда, где он действительно что-то значит. И немедленно.

— Ты хочешь сказать… Сейчас, летом?

— Сейчас, а зачем ждать? И можно уж сразу тебе сказать — я хочу увезти его надолго. Я хочу, наконец, — сказала Шарлотта, — получить возможность ни с кем его не делить. Возможно, тебе это покажется странным, — веско прибавила она, — но я хочу сохранить свой брак. А для этого, видимо, я должна действовать.

Мегги, все еще толком не зная, как ей следует держаться, почувствовала, что краснеет до ушей.

— Немедленно? — переспросила она с глубокомысленным видом.

— Как только мы сможем отправиться. В конце концов, перевозка вещей — это мелочи. Это всегда можно устроить. С деньгами, да при том, что он их тратит не глядя, все можно устроить. Я хочу только одного, — объявила Шарлотта, — покончить с прежним раз и навсегда. И сделать это нужно сейчас. Ах, — прибавила она, — я понимаю, как это трудно!

Мегги ловила каждое слово, но где-то на заднем

плане, невесть в каких сокровенных глубинах, ее наконец осенило вдохновение и в следующий миг прозвучало вслух:

— Ты хочешь сказать, тебе трудно из-за меня?

— Из-за вас с ним вместе — ведь вы всегда вместе. Но, если хочешь знать, эта трудность меня не пугает. Я сумею ее преодолеть. Сама понимаешь, эта борьба не доставляет мне никакого удовольствия. Если уж говорить начистоту, порой бывают очень странные и неприятные моменты. Но я верю, что добьюсь успеха.

Тут миссис Вервер поднялась и отошла прочь на несколько шагов для пущего эффекта, а Мегги какое-то время сидела неподвижно и только смотрела на нее.

— Ты хочешь отнять у меня отца?

Жалобный, почти первобытный вопль заставил Шарлотту обернуться, и это движение убедило княгинюшку в том, как удачно она притворяется. Снова у Мегги сжалось сердце, как в тот вечер, когда она стояла в роскошно убранной гостиной и лгала Шарлотте прямо в глаза, будто нисколько не страдает. Она была готова лгать снова, пусть только представится такая возможность. Тогда она будет знать, что сделала все. Шарлотта испытующе смотрела на нее, словно сравнивая ее

горестный возглас с выражением лица. Мегги почувствовала это и обратила к ней лицо, которое вполне можно было счесть выражающим сознание поражения.

— Я хочу, чтобы он был только моим, — сказала миссис Вервер. — И между прочим, я уверена, он стоит того, чтобы за него побороться.

Мегги встала ей навстречу.

— О, еще бы не стоит! — воскликнула она с удивительной экспрессией.

И сразу увидела, что ее тон подействовал, как нужно: Шарлотта так и полыхнула горделивым огнем; похоже, она и в самом деле поверила этому показному взрыву чувств.

— Так ты тоже знала, чего он стоит?

— Конечно, душечка, и сейчас, по-моему, знаю.

Мегги ответила без запинки и снова попала в цель. С минуту Шарлотта только смотрела на нее, а потом хлынули слова, — Мегги знала, что они придут, она сама и нажала пружину.

— О, ты была всей душой против нашей свадьбы! Как я это теперь понимаю!

— Ты спрашиваешь меня об этом? — осведомилась Мегги, выдержав короткую паузу.

Шарлотта огляделась, подняла кружевной зонтик, валявшийся на скамейке, машинально взяла

в руки один из поменявшихся местами томиков и тут же, опомнившись, снова бросила. Очевидно, она собиралась с духом, желая оставить за собой последнее слово. Зонтик со щелчком раскрылся; Шарлотта надменно крутила его, держа на плече.

— Спрашивать тебя? Разве в этом есть необходимость? Как я теперь понимаю! — выпалила она вдруг. — Ты все время работала против меня!

— Ах, ах! — вскрикнула княгинюшка.

Шарлотта направилась прочь, достигла уже одной из арок, но тут вдруг обернулась, сверкая глазами.

— Скажешь, нет?

Мегги даже зажмурилась на мгновение, словно прижимая обеими руками к груди трепещущую пойманную птичку. Потом открыла глаза и заговорила:

— Какое это теперь имеет значение… раз уж мне ничего не удалось?

— Так ты признаешь, что не удалось? — потребовала ответа Шарлотта, остановившись на пороге.

Мегги ответила не сразу. Так же, как прежде Шарлотта, она бросила взгляд на две книги, лежавшие на сиденье, аккуратно сложила их

вместе и снова положила на скамью. Затем наконец решилась.

— Не удалось! — воскликнула она в ту самую минуту, когда Шарлотта, выждав несколько времени, двинулась прочь.

Мегги смотрела, как она уходит все дальше, стройная, надменная. Потом без сил опустилась на скамью. Да, она сделала все.

16

— Я сделаю так, как ты захочешь, — сказала она мужу в один из последних дней августа, — если, по-твоему, оставаться здесь в такое время глупо, или неудобно, или вообще невозможно. Давай не будем ждать, попрощаемся с ними сейчас или вернемся дня за три до их отъезда. Я поеду с тобой за границу, только скажи. В Швейцарию, в Тироль, в Итальянские Альпы, к твоим любимым горным вершинам — какие из них тебе больше хочется повидать? Ты часто мне рассказывал, как там красиво и как тебе там было хорошо после Рима.

В ту минуту, когда прозвучали эти слова, Мегги и Америго находились именно там, где казалось особенно нелепым задерживаться с приближением затхлого лондонского сентября. Пустыня Портленд-Плейс никогда еще не выглядела такой безжизненной, и сонный кебмен, окидывая взглядом горизонт в слабой надежде высмотреть клиента, мог часами не трогаться с места, нисколько не опасаясь столкновений с другими транспортными средствами. Но, странное дело — Америго отчего-то придерживался мнения, что

ничего лучшего им не найти, и даже не дал себе труда ответить для проформы — мол, если они и сдвинутся с места, так только ради Мегги, буде здешнее житье окажется слишком уж суровым испытанием для ее терпения. Несомненно, отчасти это объяснялось тем, что князь стремился до последнего не допускать такой слабости, как признание присутствия в их жизни чего-либо, хоть отдаленно напоминающего испытание. Никакие ловушки обстоятельств, никакие минуты откровенности, никакие случайные вспышки раздражения не могли толкнуть его на такую оплошность. Право, жена его могла бы, пожалуй, заметить, что он просто-напросто блюдет ту личину, которую придумал себе с самого начала, — блюдет слишком даже неукоснительно, и к тому же за ее счет; вот только княгинюшка была совсем не такого сорта человек, чтобы сделать нечто подобное.

Их странный молчаливый договор был основан на осознанном сопоставлении, на вполне отчетливом сравнении разного рода терпения, свойственного каждому из двоих. Она поддержит его в трудной ситуации, он же обязуется бороться и победить, если только она его поддержит. Такое соглашение без единого слова возобновлялось

между ними еженедельно и по мере того, как проходили неделя за неделей, было уже, можно сказать, освящено временем; но все-таки вряд ли стоило специально подчеркивать, что она поддерживает его не на своих, а на его условиях, — иными словами, она должна позволить ему действовать по-своему, без всяких объяснений и предупреждений, так как это единственный практически возможный путь. Если этот путь по обычному для него везению, которого князь пока еще не вовсе лишился, отводил ему скорее роль скучающего, нежели наскучившего, роль человека, который великодушно уступает другим вместо того, чтобы быть обязанным окружающим за их уступки, — что же означало такое искаженное представление истинного состояния дел? Всего лишь отражение того простого факта, что Мегги была связана взятым на себя обязательством. Оставь она за собой право задавать вопросы, выражать сомнение, вмешиваться в ход событий — не было бы и никакого обязательства; а между тем до сих пор в их жизни случались и, безусловно, случатся еще не раз долгие и тягостные периоды, когда исход дела зависит исключительно от ее возможного, ее невозможного отступничества. Она должна держаться до

последнего, не смеет и на три минуты отлучиться со своего боевого поста; только так она сможет показать, что она с ним, а не против него.

Поразительно, но она почти не требовала от мужа никаких внешних проявлений того, что он «на ее стороне».

Нельзя сказать, чтобы такая мысль совсем не приходила ей в голову в эти дни напряженного ожидания; думая об этом, Мегги понимала, что она и тут «сделала все», все взяла на себя, хлопотала не покладая рук, а он тем временем пребывал в полной неподвижности, ни дать ни взять — изваяние какого-нибудь из его же собственных далеких предков. А это как будто означает, говорила сама себе Мегги в часы уединенных размышлений, что у него все-таки есть свое место, принадлежащее ему неоспоримо, и пренебречь этим невозможно. Поэтому всем прочим, при условии, что им от него что-нибудь нужно, приходится делать лишние шаги, обходить его кругом, словом — воплощать в жизнь известную поговорку насчет горы и Магомета. Довольно странно, если вдуматься, но место, предназначенное Америго, было словно подготовлено для него заранее, обусловлено бесчисленным множеством фактов, главным образом из разряда тех, что именуются

историческими, связанных с разного рода предками, прецедентами, традициями, привычками; в то время как место, занимаемое Мегги, имело вид всего лишь импровизированного «поста», из тех, что называют аванпостами, что придавало ей сходство с каким-нибудь поселенцем или первопроходцем в незнакомой местности, или даже с какой-нибудь индийской скво с младенцем за спиной, торгующей варварскими украшениями из бисера.

Словом, нынешнее положение Мегги напрасно было бы искать даже в самой примитивной схеме общественных отношений как таковых. Найти его можно было единственно на географической карте основополагающих страстей. Во всяком случае, ожидаемая «победа», до которой следовало продержаться князю, выражалась предстоящим отъездом в Америку его тестя вместе с миссис Вервер; именно это запланированное событие сделало желательным, из соображений деликатности, поспешное перемещение младшей четы в город, не говоря уже об устранении из «Фоунз» всех посторонних гостей в преддверии великих перемен. Усадьбу на целый месяц заполонили носильщики, плотники и упаковщики всех мастей, командовать которы-

ми было доверено Шарлотте, о чем сообщалось весьма широковещательно — по крайней мере, на Портленд-Плейс. В чудовищном размахе тамошней деятельности Мегги убедилась особенно наглядно, когда в ее тихий уголок заглянули милейшие Ассингемы, обсыпанные с ног до головы опилками и бледные, будто только что своими глазами увидели разрушение храма Самсоном. Во всяком случае, они видели то, чего не видела она, видели много неясного и многозначительного, и в трепете бежали от увиденного; Мегги же сейчас не различала ничего вокруг, кроме только циферблата часов, отмеривающих минуты ее мужу, или, вернее, кроме зеркала, в котором отражался он сам, считающий минуты той пары в загородном поместье. Во всяком случае, с прибавкой дружественной четы с Кадоган-Плейс ничем не заполненные паузы в их жизни обрели своеобразный эффект резонанса, выражавшийся, в частности, в оживленном обмене взаимными расспросами между миссис Ассингем и княгинюшкой. По случаю состоявшегося в «Фоунз» предыдущего разговора этой заботливой души с ее юной подругой уже было отмечено, что она после долгого периода самоограничения вновь позволила толике любопытства примешаться к

дружескому сочувствию; в особенности не могла она себя сдержать в том, что касалось вопроса о последней «причуде» наших выдающихся оригиналов.

— Что ты говоришь, неужели вы действительно так и застрянете в городе? — И, не давая Мегги времени ответить: — Что же вы будете делать вечерами?

Мегги помолчала минутку. Она еще сумела осторожно улыбнуться.

— Когда станет известно, что мы здесь, — а уж газеты, конечно, раззвонят об этом, — к нам мигом слетятся тучи народа. Вот и вы с полковником тут как тут, сама видишь. Что же касается вечеров, вряд ли они будут как-нибудь особенно отличаться от всего остального. Например, от утреннего и дневного времени. Разве что вы, хорошие мои, поможете иногда провести время. Я предлагала ему поехать куда-нибудь, — прибавила она, — нанять дом, если ему захочется. Но Америго решил сидеть здесь, только здесь и нигде больше. Вчера он определил словами то, что у нас тут происходит. Сказал, это самое точное и исчерпывающее определение. Так что, сама видишь, — и княгинюшка снова позволила себе улыбку, которая не играла у нее на губах, а,

так сказать, тяжко трудилась, — сама видишь, в нашем безумии есть система.

— Что же это за определение? — заинтересовалась миссис Ассингем.

— «Приведение нашего основного занятия к его наипростейшему выражению» — вот как он все это назвал. Раз уж мы сейчас ничем не заняты, то следует делает это в наиболее усугубленной форме, так он считает. — И Мегги прибавила: — Само собой, я его понимаю.

— Я тоже! — выдохнула, капельку подумав, гостья. — Вам пришлось удалиться из поместья, это было неизбежно. Но уж отсюда он не сбежит.

Наша юная приятельница не стала придираться к словам.

— Отсюда он не сбежит.

Фанни была удовлетворена лишь наполовину и задумчиво подняла брови.

— Это, конечно, замечательно, но чего же тут, собственно, можно бояться? Разве что, как бы Шарлотта сюда не приехала. Как бы она до него не добралась, если ты мне простишь столь вульгарное выражение. Может быть, для него это важно, — предположила милая дама.

Но ее слова не застали княгинюшку врасплох.

— Пусть явится сюда, если ей угодно. Пусть

«добирается» до него. Пускай приезжает.

— Пускай? — усомнилась Фанни Ассингем.

— А разве нет? — возразила Мегги.

На мгновение приятельницы заглянули глубоко в глаза друг другу. Затем старшая из дам заметила:

— Я имела в виду встречу наедине.

— Я тоже, — сказала княгинюшка.

Тут Фанни, не сдержавшись, улыбнулась каким-то своим мыслям.

— Ах, если он для этого остается…

— Он остается, — я уже все-все поняла, — чтобы справиться со всем, что только может на него обрушиться. Даже и с этим. — Мегги сказала подруге точно теми же словами, какими в конце концов объяснила загадку себе самой: — Он остается из порядочности.

— Из порядочности? — эхом отозвалась миссис Ассингем.

— Из порядочности. Если она все-таки попробует!..

— То? — подсказала миссис Ассингем.

— То… Я очень на это надеюсь!

— Надеешься, что они увидятся?

Однако Мегги заколебалась и не дала прямого ответа.

— Бесполезно надеяться, — сказала она, помолчав. — Она не станет. Но он бы должен…

Недавнее выражение миссис Ассингем, которое та, извиняясь, назвала вульгарным, все еще звенело в ушах княгинюшки, пронзительно, как электрический звонок, когда его прижмут и долго не отпускают. Если говорить совсем просто, разве это не жутко, что для Шарлотты оказывается под сомнением даже сама возможность «добраться» до человека, который столько времени любил ее? А самое странное здесь, несомненно, — ее забота по поводу того, что могло бы этому способствовать или же, наоборот, воспрепятствовать; и еще страннее, что она порой начинала мысленно примериваться, не заговорить ли ей об этом напрямик с мужем. Очень ли будет чудовищно, если она вдруг ни с того ни с сего обратится к нему, как бы в тревоге оттого, что время уходит: «Тебе не кажется, что честь обязывает тебя сделать что-нибудь для нее, прежде чем они уедут?» Мегги то и дело принималась взвешивать, чем грозит подобный рискованный вопрос ее спокойствию, и даже беседуя, как, например, сейчас, с той, кому больше всех доверяла, вдруг уходила в себя, целиком погрузившись в свои мысли. Правда, миссис Ассингем в такие минуты умела отчасти восста-

новить равновесие, ибо нельзя сказать, чтобы эта дама совсем не догадывалась, о чем думает ее юная подруга. Впрочем, мысль Мегги в настоящий момент имела не одну только грань, а целый ряд граней, сменяющих друг друга. Самые разные возможности открывались перед Мегги, когда она задумывалась о том, на какую компенсацию может еще рассчитывать миссис Вервер. В конце концов, всегда оставалась возможность, что она все-таки попытается до него добраться, а может быть, уже попыталась, и даже не один раз. Против этого не было никаких аргументов, кроме явной убежденности Фанни Ассингем в том, что этого не произошло — то ли по причине усиленной самодисциплины Шарлотты, то ли вследствие безвыходности ее положения; не говоря уже о том, что и сама княгинюшка за прошедшие более чем три месяца пришла к такому же мнению.

Разумеется, их предположения могли оказаться и необоснованными, тем более что Америго не привык отчитываться в том, как он проводит время, и привычки этой не изменил даже для виду. Притом же и Шарлотте, как было отлично известно обитателям Портленд-Плейс, приходилось бывать на Итон-сквер, где сейчас происходила упаковка огромного количества ее личных ве-

щей. Она не появлялась на Портленд-Плейс, не заезжала даже к ланчу в тех двух случаях, когда, как им было точно известно, проводила целый день в Лондоне. Мегги было противно, оскорбительно сравнивать времена и вероятности, высчитывать, не было ли в течение тех двух дней удобного момента, идеально подходящего для тайного свидания, благо в такое время года в городе почти не встретишь любопытных глаз. Но в том-то отчасти и было дело, что в воображении Мегги почти не оставалось места ни для каких иных картин, все оно было занято неотступным образом бедняжки Шарлотты, которая, собрав последние остатки мужества, упорно оберегает от всех тайну своей неутоленной печали. А иная картина могла быть, например, такая: что бережно охраняемая тайна, совершенно напротив, относится к печали, в конце концов утоленной тем или иным способом, — и разница между двумя тайнами была чересчур велика, чтобы позволить себе ошибиться на этот счет. Нет, Шарлотта скрывает не гордость и не радость, она скрывает свое унижение; потому-то нежное сердце княгинюшки, мало приспособленное для мстительного торжества, больно ранилось об острые стеклянные края так и не высказанного

вопроса.

Там, за стеклом, затаилась вся история их отношений, которую Мегги, тщетно расплющивая нос о гладкую поверхность, безуспешно пыталась разглядеть. А миссис Вервер, очень возможно, колотилась сейчас об это же стекло изнутри, не в силах удержаться от последней отчаянной мольбы. После встречи с мачехой в саду Мегги самодовольно решила про себя, что больше от нее ничего не требуется и можно отныне сидеть сложа руки. А кто, собственно, сказал, что ничего больше нельзя сделать? Разве с точки зрения личной гордости невозможно пресмыкаться еще более смиренно? Почему не взять на себя роль посланницы, не рассказать мужу о мучениях подруги, о том, что она нуждается в помощи? То, что я назвал стуком в стекло изнутри, можно было выразить на языке пятидесяти разных способов, и самый лучший перевод, пожалуй, мог иметь форму напоминания, проникающего в самую глубину души. «Ты не знаешь, что это значит, когда любишь, а потом разрыв. С тобою этого не случилось. Не было у тебя такого уж сильного чувства, нечего было и разрывать. А ведь наша любовь была истинной, сознающей себя, словно чаша, полная до краев; так неужели она совсем ничего

не значила, неужели она была только для того, чтобы ты отравил ее своим дыханием? И почему на мою долю достался один лишь обман? За что через два коротких года ее золотое пламя — ах, ее золотое пламя! — обратилось в горстку черного пепла?» Мало-помалу наша юная приятельница настолько поддалась влиянию заведомо обреченных на неудачу измышлений собственной жалости, что порой начинала ощущать на себе груз некоего нового долга — долга высказаться, прежде чем разлука разверзнет свою бездну, умолить о последней милости, которую изгнанница сможет увезти с собой, подобно нищей эмигрантке, сохранившей одну-единственную стоящую вещь, драгоценность, завернутую в лоскуток старого шелка, чтобы когда-нибудь продать ее на рынке черной беды.

Эта воображаемая услуга женщине, которая уже не в состоянии помочь себе сама, сделалась западней, поджидающей Мегги на каждом повороте дороги. Раз за разом ловушка захлопывалась, и пленница начинала рваться прочь из тисков, беспомощно хлопая крыльями, так что, как говорится, только перья летели. Дело в том, что эти порывы сострадания очень быстро сталкивались с препятствием, останавливав-

шим их полет, хотя и не способным вернуть их с небес на землю. Останавливало их одно и то же зрелище — далекий, удивительно четкий силуэт, проходивший неторопливо и размеренно в глубине любой перспективы «Фоунз». Как знать, или как не знать, воспользовалась ли Шарлотта действительной необходимостью съездить на Итон-сквер также и в других целях, и если да, то в каких именно? Во всяком случае, все это неизбежно становилось предметом обстоятельных раздумий, вошедших в последнее время в привычку у неутомимого маленького человека. Они стали такой же неотъемлемой его принадлежностью, как и вечная соломенная шляпа, как белый жилет и манера держать руки в карманах, как неторопливая походка и рассеянный взгляд сквозь пенсне, прочно сидящее на переносице. И еще одна деталь неизменно присутствовала на картине — отблеск шелкового шнура, нематериальной удавки, на которой он водил свою жену и постоянное присутствие которой Мегги так остро ощущала в свой последний месяц в поместье. Стройная шея миссис Вервер никоим образом не могла выскользнуть из петли, а другой конец длинной веревки — о, конечно, достаточно длинной, чтобы не стеснять движений! — был

зацеплен за большой палец руки, крепко сжатой в кулак и спрятанной в глубоком кармане. Заметив существование этой тоненькой нити, можно было подивиться, какая магия ее сплела, каким веретеном ее спряли, но никак нельзя было усомниться в ее пригодности для выполнения назначенной ей задачи, а также в ее идеальной прочности. При одном только воспоминании у княгинюшки дух занимался. Сколько же ее отцу известно такого, чего она и до сих пор не знает!

Во время разговора с миссис Ассингем все это промелькнуло у нее в мозгу стремительными вибрациями. Ее мысль еще не завершила свой круговорот, когда Мегги обмолвилась о том, на что, по ее мнению, «должен» быть способен Америго в сложившихся обстоятельствах, и тут же почувствовала на себе изумленный взгляд своей приятельницы. Но Мегги не отступила.

— Он должен хотеть увидеться с нею, — я хочу сказать, отдельно от всех, как бывало раньше, — в случае, если она сама сможет это устроить. Он должен быть к этому готов, — сказала Мегги с мужеством глубокой убежденности, — он должен быть счастлив, он должен считать себя как бы под присягой, да и того еще было бы слишком мало для завершения такой истории! Иначе выходит,

что он хочет отделаться совсем уже даром.

Миссис Ассингем почтительно возразила:

— Но зачем же, по-твоему, им непременно нужно снова встречаться отдельно от всех? Для какой цели?

— Для любой цели, для какой им будет угодно. Это их дело.

Фанни Ассингем звонко расхохоталась, после чего, не в силах сдержать восторга, выпалила свое неизменное:

— Нет, ты великолепна! Совершенно великолепна!

На что княгинюшка нетерпеливо встряхнула головой, как бы прося избавить ее от подобных эпитетов. Фанни согласилась внести поправку:

— А если и нет, так это потому, что ты настолько в нем уверена.

— Ах, в нем я как раз совсем не так уверена. Будь я в нем уверена, не было бы и сомнений… — Но Мегги смолкла, не находя слов.

— Каких сомнений? — добивалась ответа Фанни.

— Да уж таких… Он же все-таки должен чувствовать, что она расплачивается куда дороже его, и из-за этого он, наверное, постоянно о ней вспоминает.

Миссис Ассингем, подумав лишь мгновение, сумела и на это ответить улыбкой.

— Можешь не сомневаться, душенька, он о ней вспоминает! Но не сомневайся и в другом: он ни за что не станет искать встречи. Предоставь ему действовать по-своему.

— Я все ему предоставлю, — сказала Мегги. — Просто… Ты же знаешь мой характер — я все время думаю.

— Ты слишком много думаешь, — отважилась Фанни Ассингем; вышло чуточку грубовато.

Но ее слова лишь подвигли княгинюшку на новый акт того самого процесса, который Фанни только что осудила.

— Может быть. Но если бы я не думала!..

— Хочешь сказать, ты не добилась бы того, чего добилась?

— Да, потому что они-то ведь все учли, кроме только одного этого. Они подумали обо всем, но им и в голову не пришло, что я тоже способна думать.

— И что твой отец на это способен! — подхватила Фанни, что-то уж чересчур легкомысленно.

Но Мегги с ней не согласилась.

— Нет, это бы их не остановило. Ведь они знали, что для него первой заботой будет, как бы я не

начала задумываться. А так, — закончила Мегги, — это стало его последней заботой.

Фанни Ассингем посерьезнела и тут же пришла к следующему громогласно заявленному выводу:

— Значит, это он великолепен!

Она говорила почти со злостью. Вот до чего дошло — слова сказать не дают!

— О, это сколько тебе угодно!

На том Мегги хотела и закончить разговор, но тон ее реплики вызвал ответную реакцию старшей подруги.

— Вы оба ужасно много думаете, и все молчком, молчком. Но именно это вас и спасает.

— О, — откликнулась Мегги, — это их спасает с той самой минуты, как они догадались, что мы вообще умеем думать. Ведь это они обретают спасение, — продолжала она. — А мы, наоборот, теряем.

— Теряете?

— Мы с отцом теряем друг друга.

Фанни, кажется, собиралась спорить, но Мегги объявила совершенно твердо:

— О да, мы теряем друг друга, и нам гораздо хуже, чем Америго и Шарлотте, ведь они-то это заслужили, для них это справедливо, а для нас просто очень грустно, и странно, и совсем не по

нашей вине. Впрочем, не знаю, почему я говорю о себе. На самом деле хуже всех пришлось отцу. Я позволяю ему уехать, — сказала Мегги.

— Позволяешь, но ведь не заставляешь!

— Я принимаю его жертву, — ответила Мегги.

— А что еще ты можешь сделать?

— Я принимаю его жертву, — повторила Мегги. — Я с самого начала знала, что так будет. Сама выкрутилась, а его бросила на произвол судьбы.

— Но если он первый тебя бросил? — осмелилась возразить миссис Ассингем. — Да к тому же, — вопросила она, — разве не затем он и женился, чтобы дать тебе свободу?

Мегги долго смотрела на нее.

— Да… в этом я ему помогла.

Миссис Ассингем замялась, но вдруг храбро бросилась вперед.

— Так почему не сказать прямо, что он добился полного успеха?

— Только это мне и остается, — согласилась Мегги.

— Добился успеха, — продожала хитроумная Фанни, — а ты всего лишь ему не мешала. — И как бы желая показать, что говорила с подобающей серьезностью, миссис Ассингем пошла еще дальше. — Он добился успеха для них обоих!

— Ах, вот оно что! — задумчиво отозвалась Мегги. — Да, — прибавила она через минуту, — поэтому, значит, Америго остается.

— Скажем больше — поэтому Шарлотта уезжает. — Миссис Ассингем, осмелев, решилась улыбнуться. — Так он знает?..

Но тут Мегги проявила малодушие.

— Америго?

Впрочем, она сразу же покраснела, что не ускользнуло от ее зоркой приятельницы.

— Твой отец. Он знает, что ты знаешь? То есть я хотела сказать… — замялась Фанни. — Словом, много ли он знает?

Молчание Мегги и выражение ее глаз запрещали настаивать на своем вопросе, но и бросить его неоконченным казалось как-то нелогично.

— Я, вернее, хотела спросить, знает он, много ли… — И снова получается неловко. — Много ли там было… Как далеко у них зашло дело? — поправилась миссис Ассингем.

Мегги терпеливо выслушала ее сбивчивую речь, но ответила тоже вопросом:

— Ты думаешь, он знает?

— Хоть что-нибудь? О, про него я ничего не могу сказать. Он мне не по зубам, — высказалась Фанни Ассингем.

— А сама ты откуда знаешь?

— Много ли?..

— Много ли.

— Как далеко?..

— Как далеко.

Фанни добросовестно уточнила вопрос, но тут вдруг ей кое-что вспомнилось, и как раз вовремя; она даже улыбнулась.

— Я тебе уже говорила — я ровно ничего не знаю.

— Так ведь и я тоже, — сказала княгинюшка.

Ее подруга снова замялась.

— Значит, никто не знает? Я о том, много ли знает твой отец, — пояснила миссис Ассингем.

О, Мегги тут же доказала, что прекрасно ее поняла.

— Никто.

— Даже Шарлотта… совсем чуть-чуть?

— Чуть-чуть? — эхом откликнулась княгинюшка. — Для нее знать хоть что-нибудь было бы уже достаточно.

— Стало быть, она и того не знает?

— Если бы она знала, — ответила Мегги, — знал бы и Америго.

— Вот, значит, как… Он не знает?

— Значит, так, — проникновенно сказала кня-

гинюшка.

Миссис Ассингем призадумалась.

— Что же в таком случае держит Шарлотту?

— Именно это и держит.

— Незнание?

— Незнание.

— Пытка? — изумилась Фанни.

— Пытка, — подтвердила Мегги со слезами на глазах.

Ее подруга приметила и слезы.

— А как же тогда князь?

— Что его держит? — переспросила Мегги.

— Что его держит.

— О! Этого я не могу тебе сказать!

И княгинюшка быстро ушла.

17

Рано утром принесли телеграмму за подписью Шарлотты: «Приезжаем, приглашаем на чай в пять часов, если это вам удобно. Телеграфируем Ассингемам приглашение на ланч».

Этот документ, в котором можно было вычитать множество самых разных значений, Мегги немедленно показала мужу, заметив при этом, что отец с женой, видимо, приехали накануне ночью или же в этот день с утра и остановились в гостинице.

Князь был в «своей» комнате, где ему теперь часто случалось сиживать в одиночестве. Вокруг него было разбросано с полдюжины раскрытых газет, среди которых видное место занимала «Фигаро», а также «Таймс», но сам он с сигарой в зубах и тучей на челе был занят тем, что расхаживал взад и вперед. В последнее время Мегги несколько раз заглядывала к нему сюда по той или иной надобности, но никогда еще он не производил на княгинюшку такого сильного впечатления, как сейчас, когда стремительно обернулся к ней. Причиной тому отчасти было его лицо, пылавшее, точно в лихорадке, и невольно напомнившее Мег-

ги упрек Фанни Ассингем, высказанный недавно под этой самой крышей, что она слишком много «думает», не давая никому возможности угадать ее мысли. Мегги не забыла этих слов, но думать от этого стала только больше, и потому, стоя перед Америго, в первую минуту почувствовала себя виноватой, что ненамеренно вывела его из себя. Она и сама знала, что в последние три месяца, разговаривая с мужем, постоянно имела в виду определенную идею, которую, впрочем, прямо не высказывала, а закончилось все тем, что он порой поглядывал на нее с таким видом, точно подозревал у нее не одну идею, а по меньшей мере пятьдесят, направленных на самые разнообразные цели, с которыми необходимо было считаться. Мегги ощутила вдруг странную радость оттого, что пришла к нему сейчас по такому абстрактному поводу, как телеграмма. Но, вступив под столь благовидным предлогом в его тюрьму и обводя глазами стены, замыкавшие в себе его беспокойные метания, она мысленно сравнила его положение с состоянием Шарлотты, еще в начале лета, в просторном и красивом доме, производившей впечатление существа, запертого в золотую клетку. Вот и Америго выглядел сейчас человеком в клетке, и у Мегги невольно

защемило сердце, когда он инстинктивно рванулся к двери, которую она не совсем плотно прикрыла за собой. Все это время он не находил себе места от нетерпения, понятного только ему одному, и, когда Мегги оказалась перед ним, это было, словно она принесла свет или пищу в его более чем монашескую келью. Впрочем, его тюремное заключение несколько отличалось от Шарлоттиного; разница состояла в том, что он заперся в четырех стенах по собственной воле и по своему собственному выбору, что отразилось и в том, как он вздрогнул, когда она вошла, словно это тоже было своего рода вторжение. Тут она и почувствовала, как он боится ее пятидесяти идей. Почему-то ей сразу захотелось оправдаться, и это было до того чудесно, что и сказать нельзя. Как будто она вдруг достигла значительно большего, чем намеревалась. В такие минуты она подозревала, что Америго преувеличивает, приписывая ей слишком уж коварные замыслы. Год назад, когда все только начиналось, она спрашивала себя, как заставить его больше думать о ней; а теперь о чем же он и думает? Он не сводил глаз с телеграммы, перечел ее несколько раз подряд, несмотря на ее необычайную простоту, хоть и при наличии явно умоляющего подтекста. Мегги

наблюдала чуть ли не с трепетом, и как тогда, в саду с Шарлоттой, ей мучительно хотелось каким-то образом подать знак, что она пришла безоружной. Не было у нее множества зловредных намерений; глядя сейчас на Америго, она сама не знала, куда подевалось то единственное намерение, с которым она сюда направлялась. Ничего у нее не осталось, одна только прежняя идея, все та же, хорошо ему известная, ни тени других. А когда протекли еще четыре или пять минут, не осталось, похоже, даже и одной. Америго вернул ей листок, осведомившись, должен ли он что-то сделать по этому поводу.

Мегги стояла и смотрела на него, затаив дыхание, держа в руке аккуратно сложенную телеграмму, словно некую драгоценность. Из-за этих нескольких напечатанных слов случилась вдруг совершенно необыкновенная вещь. Как-то вдруг почувствовалось, что он на ее стороне, он принадлежит ей так полно, сильно и глубоко, что это ощущение казалось новым и непривычным, будто принесенным морским приливом, расшатавшим его, завязшего в прибрежном иле, и вынесшим на поверхность. Что удержало ее в эту минуту, что помешало протянуть руки ему навстречу, припасть к нему? Вот так же в прошлом,

при мысли о них с Шарлоттой, ей столько раз хотелось броситься к отцу. Но она не позволила себе такой неосторожности, хотя сама не могла бы сказать, откуда взялись у нее силы. Сложив наконец телеграмму, она сказала только то, что было необходимо.

— Я просто хотела, чтобы ты знал. Чтобы как-нибудь случайно не разминулся с ними. Ведь это в последний раз, — сказала Мегги.

— В последний раз?

— Как я поняла, они собираются попрощаться. — И Мегги улыбнулась, это ведь всегда можно. — Они приехали на официальную церемонию прощания. Хотят все сделать, как полагается. Завтра они уезжают в Саутгемптон.

— Если они хотят все сделать, как полагается, — заметил князь, помолчав, — почему не придут хотя бы пообедать?

Чуть помедлив, Мегги все-таки без особого труда справилась с ответом:

— Конечно, мы их пригласим. Тебе это не будет тяжело. Но они ведь так заняты!

Князь выразил удивление:

— Так сильно заняты, что не могут… Что твой отец не может посвятить тебе свой последний вечер в Англии?

На это ответить было сложнее; но у Мегги было припасено свое средство на такой случай.

— Возможно, они как раз и собираются предложить что-нибудь в этом роде — чтобы нам всем вместе куда-нибудь пойти. Но только для полной завершенности нужно бы еще позвать Фанни с полковником. Она ясно дает понять, что не хочет звать их к чаю и намерена отделаться от бедняжек с утра пораньше. Они хотят увидеться с нами совсем без чужих, а что приглашают всего-навсего к чаю, — прибавила Мегги, — так же, как Фанни с полковником — всего-навсего на ланч, так, может быть, это потому, что последний вечер в Лондоне оставляют друг для друга?

Мегги говорила то, что приходило ей на ум. Она была не в силах промолчать, хоть и чувствовала, что словно бросается в омут очертя голову. Но, может быть, так и нужно, если хочешь разделить с любимым последний день его тюремного заключения? С каждой минутой она все сильнее ощущала, что словно бы живет вместе с ним в его темнице. Немного похоже на то, как арестованные французские аристократы во времена террора в ожидании казни устраивали пирушку или затевали возвышенную беседу. Если она позабыла всякую осторожность, так

бдительно соблюдавшуюся в прошедшие месяцы, это надо понимать очень просто: слишком уж близка цель, ради которой она трудилась, вот и стало невозможно сохранять ясность мыслей. Возможно, муж и впрямь подумает, что она совсем потеряла голову, ведь он не знает, что неожиданная свобода ее речи — всего лишь отражение сосредоточенного желания броситься ему на шею. Не знает он и того, что Мегги, оказавшись рядом с ним, таким рискованным образом пытается обмануть тревогу ожидания. В эпоху Французской революции у осужденных на казнь не было этой неизвестности, эшафот ждал их наверняка, а телеграмма от Шарлотты, напротив, обещала освобождение, если только не случится какой-нибудь непредвиденной ошибки. Но все дело в том, что князю это было далеко не так ясно, как ей; Мегги столько сил положила, добиваясь этой ясности, прорываясь к свету, что теперь видела воочию падающие сквозь прутья решетки лучи, окруженные множеством ангельских головок, какие являются в бредовых видениях несчастным закованным узникам. Мегги знала, что завтра же будет с раскаянием вспоминать, как гулко забилось ее сердце в предвкушении: скоро они наконец-то останутся одни. Позже,

на досуге она будет судить свою торопливую готовность отмахнуться от любых затруднений, помимо присутствия тех двоих, которому все никак не придет конец. Да уже и в следующую минуту, заметив выражение лица мужа, Мегги поняла, что чересчур упрощает. Да и было чему удивляться, слушая ее речи о том, что те двое якобы нуждаются в уединении.

— Но ведь… разве… они ведь не друг с другом расстаются? — спросил Америго.

— Ах, нет! Друг с другом они не расстаются. Просто для них заканчивается очень интересный жизненный этап, и неизвестно, повторится ли он когда-нибудь снова. — Да, Мегги была в состоянии рассуждать об этом «этапе»; что-то как будто придавало ей сил, до того даже, что она решилась перейти в наступление. — Наверное, у них есть свои причины; возможно, какие-нибудь дела, кто может это знать? А может быть, он мне предложит провести эти последние часы вдвоем; я имею в виду — нам с ним вдвоем. Возможно, он захочет свозить меня куда-нибудь пообедать, в память о прежних днях. Я имею в виду настоящие прежние дни, — объяснила княгинюшка, — до того, как у меня появился такой замечательный муж и, уж конечно, до того, как у него появилась

такая замечательная жена. Как нам тогда было хорошо! Он только-только начал интересоваться теми вещами, которые с тех пор заполнили его жизнь, только еще строил планы, оценивал разные возможности, радовался первым находкам и удачным приобретениям. Мы с ним засиживались допоздна в его любимых иностранных ресторанчиках во всех городах Европы, пока не погасят почти все лампы, и, опершись локтями о стол, обсуждали все, что перевидали за день, о чем слышали, что ему удалось купить, от чего он отказался, что у него перехватили другие покупатели. Где только я с ним не побывала, ты себе не представляешь! Ведь ему не с кем было меня оставить, разве что со слугами. Если бы он мог сегодня сходить со мной на выставку в Эрлз-Корт, это было чуточку похоже на приключения наших юных дней — самую-самую чуточку. — После этих слов Америго стал пристально смотреть на нее, и, наверное, из-за этого Мегги снова осенило вдохновение. Если он удивляется — что же она скажет еще, так у нее найдется что сказать. — В таком случае тебе придется позаботиться о Шарлотте в наше отсутствие. Нужно будет тебе тоже куда-нибудь ее сводить в последний вечер; или, может быть, захочешь пригласить ее сюда? Я

позабочусь о том, чтобы вам приготовили обед и все прочее. Словом, делай так, как считаешь нужным.

Она не была уверена заранее в его реакции, да и не могла быть, но, закончив говорить, прежде всего увидела: он очень старается показать, что воспринял ее слова не как блажь или насмешку и не как результат забычивости. Право, ничто и никогда в жизни не доставляло ей такой радости, как вид Америго, напускающего на себя усиленную серьезность, чтобы она невзначай не сделала никакой ошибки на этот счет. Она его встревожила — что вовсе не входило в ее планы; она его озадачила, чего никоим образом не могла избежать, да это ее не особенно и беспокоило; и вдруг ее поразила неожиданная догадка — все-таки в нем тоже было много простодушия, на что она уж никак не смела рассчитывать. Это было настоящее открытие — совсем непохожее на то, другое открытие, а скорее напоминающее глоток свежего воздуха. И тут Мегги словно заново поняла, что он считает ее способной держать в голове огромное количество разных идей. Разгадать их он, очевидно, не умел, но, по крайней мере, за прошедшие месяцы начал смутно сознавать, что в них, скорее всего, кое-что есть. И вот он стоял

перед ней, красивый и мрачный, и хмуро пытался рассмотреть, что же, собственно, она ему предлагает. Мегги не сомневалась, что у него имеются и свои соображения, с которыми он постоянно сверяется, с того самого вечера, несколько недель назад, когда после очной ставки с чашей из Блумсбери она бросила ему в лицо, на вопрос о том, много ли известно ее отцу: «Можешь дознаться сам!» Она отдавала себе отчет в том, что все эти месяцы он пытался дознаться, нисколько не скрывая, что не прочь получить сведения и со стороны, в какой бы грубой или язвительной форме они ни явились. Но узнать ему ничего не удалось; ничего полезного для себя он не смог извлечь даже из довольно внезапного сообщения об отбытии старшей четы. Шарлотта страдала и мучилась, но он и сам подал ей достаточный повод к этому; в остальном же, что касалось ее обязательства сопровождать мужа, этот последний и Мегги общими усилиями так запрятали все концы, что связь между причиной и следствием стала напоминать какую-нибудь знаменитую стихотворную строку на мертвом языке, допускающую самые различные толкования. И уж совсем сбивало с толку неожиданное предложение от имени их обоих дать ему возможность

расстаться с миссис Вервер по всем правилам. А он, несчастный, не мог даже гордо отвергнуть это предложение из соображений хорошего вкуса. Вкус, самый надежный критерий, наотрез отказывался ему служить. Кто знает, может, одна из ее пятидесяти идей, а то и целых сорок девять как раз и заключаются в том, что сам по себе вкус, которым он всю жизнь руководствовался, ровным счетом ничего не значит? Но если уж он поверил, что она говорит серьезно, тем больше причин воспользоваться этим, ведь такого случая может больше не представиться. Мегги как раз обдумывала это, когда князь, отвечая на ее последние слова, произнес нечто такое, что, будучи вполне разумным и справедливым, тем не менее произвело на нее поначалу чрезвычайно странное впечатление.

— Знаешь, они поступают очень разумно. Если уж они вообще были намерены ехать…

И он взглянул на жену поверх своей сигары.

Если уж они были намерены ехать, то сейчас самое время, ведь отец Мегги уже немолод, а Шарлотте необходимо знакомиться с делом, да и задача им предстоит нелегкая — «вживаться» в свое ни на что не похожее будущее, так что пора, пора собраться с духом. Таков был очевидный

смысл его слов, но это не остановило княгинюшку, которая быстро нашла способ бросить ему вызов.

— А разве ты не будешь немножко скучать по ней? Она такая умница и красавица, а теперь вот — у меня такое чувство, как будто она должна умереть. Не на самом деле, конечно, не физически, — продолжала Мегги, — она полна жизни и совершенно неподражаема. Но она умрет для нас… для нас с тобой. Мы будем чувствовать это еще сильнее оттого, что на самом деле она еще очень даже живая.

Целую минуту князь усиленно курил.

— Ты права, она неподражаема и очень даже живая — и всегда будет такой. Но — ты снова права — для других.

— И все-таки, мне кажется, — отозвалась княгинюшка, — мы не расстаемся с ней окончательно. Разве мы сможем совсем не думать о ней? Как будто это было нам необходимо, чтобы она была несчастлива. Как будто только такой ценой что-то могло начаться для нас.

Князь задумался, но ответил прямым вопросом:

— Почему ты говоришь, что жена твоего отца несчастлива?

Они обменялись долгим взглядом — таким долгим, что Мегги успела найти ответ:

— Потому что, если не говорить о ней…

— Что тогда?

— Тогда пришлось бы говорить о нем. А я не могу о нем говорить, — сказала Мегги.

— Не можешь?

— Не могу. — Она как бы давала понять, что высказалась окончательно и больше повторять не будет. И все-таки добавила: — Тут слишком много всего. Он слишком хороший!

Князь внимательно осмотрел кончик своей сигары и, снова сунув ее в рот, поинтересовался:

— Слишком хороший для кого?

Мегги растерялась, а он сказал:

— Не для тебя, душа моя, только не для тебя. Для меня — сколько угодно.

— А я как раз и хотела сказать, что для меня. Я знаю, почему я так считаю, этого довольно.

Он снова взглянул на нее с изумлением и, кажется, готов был уже спросить, почему она так считает. Но в глазах Мегги был запрет, и князь произнес совсем другое:

— Главное — что ты его дочь. Этого никто не отнимет. И я могу, по крайней мере, сказать, что я это глубоко ценю.

— О да, это ты можешь сказать. Я и сама это очень ценю.

Князь обдумал и эти слова и пришел к совершенно неожиданному выводу.

— Жаль, что она тебя так и не узнала. Теперь я это вижу. Она могла бы лучше тебя понять.

— Лучше, чем ты?

— Да, — серьезно подтвердил он. — Лучше, чем я. А она на самом деле вовсе тебя не знала. И теперь не знает.

— Ну нет, теперь-то знает! — сказала Мегги.

Но Америго покачал головой. Он знал, о чем говорил.

— Мало того, что она не понимает тебя лучше, чем я, — она понимает тебя гораздо хуже. Хотя даже и я…

— Даже и ты? — подсказала Мегги, поскольку он замолчал.

— Даже я, даже теперь!..

Снова он замолчал, и молчание заковало их в свои цепи.

Но Мегги в конце концов вырвалась из пут.

— Если Шарлотта не понимает меня, так это потому, что я сама ей помешала. Я обманывала ее и лгала ей. Я сама так решила.

Князь не сводил глаз с жены.

— Я знаю, как ты решила. Но и я решил так же.

— Да, — ответила Мегги после короткой паузы. — Я сделала свой выбор, как только угадала твой. Но ты хочешь сказать, что тебя она понимает? — спросила Мегги.

— Невелика трудность!

— Ты так уверен? — настаивала Мегги.

— Вполне уверен. Но это не имеет значения. — Он подождал чуть-чуть и снова взглянул на жену сквозь клубы табачного дыма. — Она глупа, — заявил он ни с того ни с сего.

— О-о! — протестующе вскрикнула Мегги.

По правде сказать, князь слегка покраснел.

— Я хотел сказать, что она не так несчастна, как ты утверждаешь. — К нему снова вернулась способность рассуждать логически. — С чего ей быть несчастной, если она не знает?

— Не знает?.. — Мегги попыталась усложнить ему задачу.

— Не знает, что ты знаешь.

Он так это сказал, что Мегги сразу пришли в голову три или четыре возможных ответа. Но сказала она сначала вот что:

— По-твоему, этого достаточно? — И прежде чем он успел ответить, Мегги воскликнула: — Она знает, знает!

— Что же именно?

Но Мегги вскинула голову и отвернулась с нетерпеливым жестом.

— Нет нужды говорить! Она знает довольно. Кроме того, — прибавила Мегги, — она нам не доверяет.

Князь широко раскрыл глаза.

— Не слишком ли много она хочет!

Мегги снова что-то простонала в виде возражения, и князь вдруг высказал новую мысль:

— Она не стерпит, чтобы ты считала ее несчастной.

— Ах, это уж мне лучше судить, что она от меня стерпит!

— Очень хорошо, — сказал Америго. — Увидишь.

— Я знаю, что увижу настоящие чудеса. Я уже их много видела, и теперь готова ко всему. — Вдруг нахлынули воспоминания, и эти воспоминания заставили ее снова заговорить: — Все это ужасно. Я вижу, что для женщины всегда все бывает ужасно.

Князь смотрел на нее сверху вниз с прежней серьезностью.

— Все ужасно, cara, в сердце мужчины. Она сейчас заново налаживает свою жизнь. И она ее

наладит.

Мегги снова повернулась к мужу. За это время она отошла к одному из столиков и принялась рассеянно переставлять на нем безделушки.

— Занимаясь этим, она заодно наладит и нашу.

Князь быстро поднял глаза и встретился с нею взглядом. Мегги удержала его взгляд и высказала наконец то, что уже несколько минут ее мучило:

— Ты только что сказал, что Шарлотта не узнала от тебя о том, что я «знаю». Следует ли это понимать так, что ты об этом знаешь и признаешь?

Америго отдал должное вопросу, взвесив его со всей серьезностью и так же основательно обдумав ответ.

— Ты считаешь, что я мог бы выразить это в более учтивой форме?

— Учтивость тут ни при чем, — сказала Мегги. — Тут важна правда.

— Ах, правда! — пробормотал князь многозначительно, хотя и несколько неопределенно.

— Да, это само по себе важно. Но есть еще и такая вещь, как искреннее намерение.

— Конечно, есть! — поспешно ответил князь. И прибавил уже медленнее: — Если у кого-нибудь когда-нибудь, с начала времен, было искреннее

намерение…

Но он умолк, не докончив фразы.

Словно золотая пыль повисла в воздухе, а когда она улеглась, Мегги своим ответом постаралась показать, что приняла его слова так же глубоко и удивительно, как они были сказаны.

— Я понимаю. — Она вложила в эту формулу столько значения, сколько только было возможно. — Я понимаю.

И значение это показалось ему божественным.

— Душа моя, душа моя!.. — только и мог он сказать.

Впрочем, Мегги не собиралась вдаваться в подробности.

— Ты так долго молчал!

— Да, да, знаю, знаю. Сделаешь ли ты для меня еще одну вещь? — спросил он.

Мегги, за эти несколько минут отвыкшая постоянно держать себя в руках, разом побледнела.

— Неужели еще что-то осталось?

— Ах, любовь моя, душа моя! — Снова он не находил слов.

Но княгинюшку слова уже не пугали.

— Я все сделаю, только скажи мне, что нужно.

— Тогда подожди. — Его итальянская рука взметнулась вверх с предостерегающим дви-

жением пальцев — никогда еще она не делала такого выразительного жеста. Он понизил голос, с такой интонацией!.. — Подожди, — повторил Америго. — Подожди.

Мегги поняла, но ей хотелось услышать это от него.

— Пока они не побывают здесь?

— Да, пока они не уедут. Пока не уедут совсем.

Мегги не отступала:

— Совсем уедут из Англии?

Она не отрывала от него глаз. Ей хотелось полной ясности. Здесь требовалось обещание; и ответ Америго, по сути, содержал в себе обещание.

— Пока мы не расстанемся с ними — дай боже, чтобы надолго! Пока мы не останемся по-настоящему одни.

— О, если только это!..

Наконец она добилась хоть какой-то определенности. Мегги ощутила дыхание чего-то близкого, такого знакомого и родного, чего так долго была лишена. Она снова отвернулась и взялась за дверную ручку. Но рука ее лежала безвольно, не делая попытки отворить дверь. Ей еще оставалось сделать одно усилие — заставить себя уйти от него, а сделать это было вдвойне трудно из-за всего, что только что произошло между

ними. Что-то во всем этом было… она и сама не могла бы точно сказать, что именно. Как будто они вдвоем, не выходя из комнаты, побывали где-то очень далеко, и поэтому просто расстаться с ним означало вернуться к чему-то давно прошедшему и позабытому. То, что она принесла сюда с собой, растаяло и ушло за эти десять минут, и особенно за последние три-четыре из них. Не правда ли, бесполезно делать вид, будто пытаешься снова это найти? Сказать по правде, эта мысль причинила ей боль, и на одну долгую минуту Мегги замерла в шатком равновесии и чуть ли не в ужасе от собственной беспредельной уступчивости. Стоило ему только чуть нажать, и вот она уже отступает, дюйм за дюймом, и в эту минуту, глядя на него сквозь какое-то облако, отлично сознает, что ему достаточно протянуть руку, чтобы забрать у нее эту драгоценную тайну. Ощущение было необыкновенное; ее слабость, ее желание — ведь она не была еще спасена — расцветали перед нею светом и тьмой. Она искала слов, чтобы заслониться от этого, и схватилась за идею чая, как будто раньше им не предстояло встретиться.

— Значит, около пяти. Я на тебя рассчитываю.

Но на него тоже что-то такое снизошло, и ее

слова дали ему именно тот шанс, какой был ему нужен.

— О, но мы же увидимся!.. Нет? — спросил он, подходя ближе.

Она все еще держалась рукой за дверную ручку, прислонившись к двери спиной. Чтобы скрыться от него, требовалось сделать меньше шага, и все же она даже ради спасения жизни не могла бы оттолкнуть его сейчас свободной рукой. Он подошел так близко, что можно было коснуться его, ощутить его вкус, его запах, поцеловать, обнять… Он подошел вплотную, и его лицо, полное нежности, нахмуренное, улыбающееся, она сама не знала, какое, только — прекрасное и незнакомое, склонилось над ней, сделавшись вдруг очень большим, как бывает во сне. Она закрыла глаза и в следующее мгновение, сама того не желая, протянула вперед руку, которую он поймал и удержал в своей. И тогда из-за зажмуренных глаз пришло нужное слово.

— Подожди!

Это было его собственное слово, произнесенное с печалью и мольбой, и это было все, что у них осталось, — спасительный плот посреди бескрайнего моря. Они не разнимали рук, и, стоя так, Мегги повторила вновь:

— Подожди. Подожди.

Глаза ее были закрыты, но рука, она знала, помогла ей выразить свою мысль, а еще через минуту она почувствовала, как его рука приняла эту мысль в себя. Он отпустил ее… отвернулся… Когда Мегги увидела его снова, он стоял к ней спиной и слепо смотрел в окно. Она была спасена и ушла без потерь.

18

В тот же день, ближе к вечеру, перед приездом старшей пары, они снова встретились в большой гостиной, обращенной окнами на восток. Встреча их имела вид замечательный, напоминая экстренное совещание перед каким-нибудь сугубо официальным приемом. В беспокойном уме Мегги мелькали даже какие-то игривые мысли в этом духе. Просторная прохладная комната, во второй половине дня находившаяся в тени, раскрытые от чехлов старинные гобелены, идеально натертый пол, в котором отражались вазы со срезанными цветами, серебро и нарядные скатерти чайного стола — все это выразилось в следующем замечании Мегги, равно как и нечто особенное в движениях князя, медленно прохаживавшегося по комнате:

— Мы с тобой настоящие буржуа! — бросила она с оттенком суровости, словно эхом их прежней общности взглядов. Впрочем, постороннему зрителю они могли показаться именно той знатной парой, какой слыли повсюду, но только в ожидании визита царствующих особ. Казалось, они готовы были по первому слову дружно напра-

виться к подножию парадной лестницы — князь чуть-чуть впереди, и даже дойдет до раскрытых дверей, и даже, при всем своем княжеском достоинстве, спустится с крыльца, дабы встретить высокого гостя при выходе из колесницы. Время, надо признаться, было совсем неподходящее для столь торжественных событий: сентябрьское затишье, конец скучного дня. Несколько высоких окон стояли настежь — из тех, что выходили на балкон, с которого открывался вид на унылую пустую улицу. С этого балкона однажды весной Америго и Шарлотта смотрели, как Мегги возвращается из Риджентс-парка вместе с отцом, Принчипино и мисс Богль. Америго и теперь, в своем пунктуальном нетерпении, выходил на него раза два, после чего возвращался в комнату, без слов докладывая, что никого пока не видно, и явно не зная, чем себя занять. Княгинюшка делала вид, будто читает; Америго оглядывался на нее, проходя мимо. Мегги невольно вспоминала другие случаи, когда она вот так же прикрывала волнение книгой. Наконец, Мегги почувствовала, что он остановился перед ней; она подняла глаза.

— Помнишь, сегодня утром, когда ты рассказала мне об их приходе, я спросил, не нужно ли мне

сделать что-нибудь по этому поводу? Ты сказала, чтобы я был дома, но это само собой разумеется. Ты говорила кое-что еще, — продолжал он. Мегги положила книгу на колени и смотрела на него снизу вверх. — Мне почти хочется, чтобы это случилось на самом деле. Ты говорила о том, чтобы нам с ней увидеться наедине. Знаешь, для чего мне это нужно? — спросил Америго. Мегги молчала, и тогда он сказал: — Я-то знаю, для чего.

— Ах, теперь это только твое дело! — сказала его жена. Но не усидела на месте и поднялась.

— Мое, и я его сделаю, — ответил он. — Я скажу, что лгал ей.

— Не надо! — воскликнула Мегги.

— И что ты ей лгала.

Она снова покачала головой:

— Этого тем более не надо!

Они стояли друг против друга. Князь гордо вскинул голову, увенчанную, словно короной, его замечательной выдумкой.

— Как же тогда она узнает?

— Не нужно ей ничего знать.

— Пусть и дальше думает, что ты ни сном ни духом?..

— И что я все такая же дурочка? Пусть думает, что хочет, — сказала Мегги.

— И я должен это стерпеть?

Княгинюшка повела плечом:

— А тебе что за дело?

— Разве мне нельзя ее поправить?

Мегги молчала, пока не затих последний отзвук этого вопроса; молчала долго, чтобы сам Америго мог его как следует расслышать, и только после этого заговорила:

— «Поправить» ее? — Теперь уже ее вопрос прозвенел, отдаваясь по комнате. — Не забываешь ли ты, кто она такая?

Князь широко раскрыл глаза — он впервые увидел свою жену по-настоящему величественной. А Мегги отшвырнула книгу и предостерегающе подняла руку:

— Карета. Идем!

Это «Идем!» своей прямотой и решительностью не уступало всем остальным речам Мегги, а когда они спустились в холл, не менее решительное «Иди!» бросило Америго вперед, через раскрытые двери, между рядами торжественно выстроившихся слуг. С непокрытой головой он встретил царственных гостей в лице мистера и миссис Вервер, выходивших из экипажа. Мегги ждала на пороге, чтобы приветствовать их и ввести в свой дом. Чуть позже, после того, как все поднялись на-

верх, сама княгинюшка словно заново ощутила непреодолимость того барьера, о существовании которого только что напомнила мужу. За чаем, в присутствии Шарлотты — а она, как никто, умела утвердить свое присутствие — Мегги потихоньку протяжно вздохнула с облегчением. Чрезвычайно странно, но самым ярким впечатлением за эти полчаса стала непринужденность мистера и миссис Вервер. Они словно сговорились держаться как можно более беззаботно; Мегги еще не приходилось видеть такого единодушия между ними. Америго тоже это заметил и не смог удержаться, чтобы не переглянуться с женой. Вопрос о том, в какой степени Шарлотта доступна исправлению, снова поднял было голову, но тут же сник — так мастерски Шарлотта умела выразить полнейшее свое безразличие к каким бы то ни было вопросам, так безупречно сохраняла невозмутимую безмятежность. Ее уверенная красота носила чуточку официальный оттенок, не покидавший ее ни на минуту; это было ее прохладное убежище, глубокая сводчатая ниша, хранящая в себе иконописный позолоченный образ, здесь Шарлотта улыбалась, выжидала, пила чай, обменивалась репликами с мужем, постоянно помня о своей миссии. Ее миссия к этому времени окончательно

оформилась, приняв облик величайшей возможности всей ее жизни: она будет заниматься распространением изящных искусств среди далекого, погрязшего в невежестве американского народа. Десять минут тому назад Мегги внушала князю, что их приятельница не позволит себя жалеть, но теперь возникла другая трудность — как выбрать нужный вариант восхищения ее возвышенными качествами. Грубо выражаясь, Шарлотта держалась молодцом, и Мегги следила за ней как зачарованная в течение четверти часа, так что почти даже и не замечала ее спутника, совсем отступившего в тень. Адам Вервер, как всегда, даже с собственной дочерью, следовал своему весьма полезному принципу не занимать какой-либо ярко выраженной позиции; находясь с ним в одной комнате, Мегги лишь смутно ощущала, что он по-прежнему плетет свою паутину, поигрывая длинным шелковым шнурком, точно так же, как это было в «Фоунз». У нашего милого добряка была привычка, войдя в комнату, бесшумно прохаживаться по ней, осматривая ее содержимое; то же самое он проделал и сейчас, хотя все предметы здешней обстановки были ему знакомы как нельзя лучше, — этим он как будто подчеркивал, что предоставляет жену самой

себе. И даже больше того — стоило княгинюшке обратить на него внимание, как ей стало ясно по его задумчиво-созерцательному хмыканью, что он вполне сознает, насколько его жена способна справиться со своей задачей без посторонней помощи.

Шарлотта занимала место между хозяином и хозяйкой дома, подобно царице на престоле. Едва заняв свое место, она озарила всю сцену особым, спокойным сиянием. Гармония была хотя и чисто внешняя, но оттого не менее прочная; единственный раз по ней пробежала трещинка, когда Америго, поднявшись и простояв так достаточно долго, чтобы дать возможность тестю обратиться к нему с каким-нибудь замечанием, но так и не дождавшись этого, взял со стола тарелку с птифурами[60], намереваясь предложить их гостю. Мегги следила, — если это можно назвать слежкой, — как ее муж подносит угощение мистеру Верверу; она видела, как виртуозно — иначе не скажешь! — Шарлотта сохраняет на лице бесстрастную улыбку, словно и не замечая происходящего. Прошла минута, другая. Постепенно Мегги начала проникаться сознанием сцены,

[60] Примечания: 60
Мелкое печенье (*фр.*).

разыгрывавшейся на другом конце комнаты, где ее отец остановился перед одной из картин — раннефлорентийским произведением на сюжет из Священного писания, которое он подарил ей на свадьбу. Может быть, он про себя прощался с картиной, — Мегги знала, что он ею безмерно восхищался. Как же он меня любит, подумала княгинюшка, если согласился пожертвовать таким сокровищем! Эта мысль была частью великого, неувядающего целого; красота его жертвы сливалась с красотою целой жизни, и рамка картины словно вдруг сделалась рамой окна, через которое на Мегги смотрело духовное лицо этого удивительного человека. Возможно, в ту минуту она говорила себе, что, оставляя картину в ее отчаянно стиснутых руках, отец, насколько это в его силах, оставляет ей частицу себя. Она положила руку ему на плечо, и глаза их встретились с неизменной радостной нежностью. Они улыбнулись друг другу одинаковой рассеянной улыбкой, словно слова уже не могли им служить, потому что они зашли слишком далеко. Мегги почти ожидала неловких пауз в разговоре, как бывает у старых друзей, встретившихся вновь и слишком помнящих друг друга прежними, неизменившимися.

— Неплохо, скажи?

— Милый! Не то слово!

Он относил свой вопрос к картине, и Мегги ответила тоже будто о картине, но в их словах отразилась вдруг какая-то иная правда, и они невольно огляделись по сторонам в подтверждение такого расширенного толкования. Мегги просунула руку ему под локоть. Все прочие предметы в комнате: другие картины, диваны, кресла, столики, шкафчики, «выдающиеся» произведения декоративного искусства — словно стояли и ждали, пока их оценят и похвалят. Отец и дочь переводили взгляд с предмета на предмет, любуясь их благородной красотой. Отец, казалось, выверял по ним мудрость своих прежних представлений. Двое величавых персонажей, погруженных в беседу за чаем, вполне вписывались в картину общей гармонии: миссис Вервер с князем, сами того не сознавая, заняли место человеческой мебели, необходимого атрибута подобных сцен с эстетической точки зрения. Они идеально гармонировали с декоративными элементами обстановки, замечательным образом подтверждая, сколь удачно был сделан выбор. Впрочем, на внимательный взгляд, несколько более пристальный, нежели требовали обсто-

ятельства, эти двое могли, пожалуй, также служить живым свидетельством редкостной по своему размаху покупательной способности. Право, многое можно было расслышать в тоне следующих слов Адама Вервера, а кто сумел бы сказать, до чего доходил он в мыслях?

— Le compte y est[61]. У тебя есть очень недурные вещи.

Мегги снова оказалась на высоте.

— Ах, правда, они замечательно смотрятся?

Те двое услышали и прервали свой неторопливый разговор, сохраняя неизменную серьезность, как бы подчиняясь необходимости соответствовать окружающему великолепию. Они сидели неподвижно, позволяя собой любоваться, подобно парочке восковых изваяний великих деятелей современности в заведении мадам Тюссо.

— Я так рада, что ты можешь взглянуть на них на прощание.

Эти слова Мегги так и повисли в воздухе. Верная нота была найдена — нота странной окончательности в отношениях между двумя парами, которая могла бы вызвать неловкость, будь в ней хоть малейшая претензия на светский лоск.

---

[61] Примечания: 61
Время подводить итоги (*букв.*: счет подан) (*фр.*).

Да, это-то и есть самое удивительное: ситуация не поддавалась более подробному рассмотрению именно в силу своей огромности, равно как и предстоящая разлука выходила за рамки обычного расставания. Воздать должное такой минуте значило бы в какой-то мере усомниться в ее причинах, а потому все четверо предпочитали оставаться в верхних слоях атмосферы, единодушно сторонясь избыточного давления. Америго и Шарлотта, беседуя в сторонке, очевидно, успешно этого избегали, а уж Мегги подобное и вовсе не грозило. Не сомневалась она и в том, что ее отец также не станет оказывать нажим хоть бы всего лишь носком ботинка; он этого и не сделал, зато Мегги едва осмеливалась дышать, дожидаясь, что же он сделает взамен. Прошло три минуты, и вдруг он сказал:

— Э, Мег, а что же Принчипино?

И сразу показалось по контрасту, что это-то и есть настоящий, твердый голос истины.

Мегги взглянула на часы.

— Я распорядилась, чтобы его «подали» в половине шестого. Видишь, еще не пробило. Не беспокойся, милый, он тебя не подведет.

— Вот уж никак не хотелось бы, чтобы он меня подвел!

В шутливом ответе мистера Вервера крылись такие бездны, что, когда он в нетерпении отошел к одному из высоких окон и скрылся на балконе, Мегги, намереваясь последовать за ним, невольно спрашивала себя — погонится ли реальность за ней по пятам или встретит ее там, снаружи? Разумеется, последовать ей пришлось, ведь отец практически позвал ее за собой. Нужно было ненадолго оставить тех, других наедине, дать им тот самый шанс, о котором Мегги с мужем вели такой фантастический разговор. И вот отец с дочерью стоят на балконе над обширной скучной площадью, в эту минуту почти обретшей цвет, тот причудливый живописный оттенок, напоминающий картины старых мастеров, который присущ лондонским улицам под вечер летнего дня, и Мегги с новой силой ощущает, насколько немыслимой была бы такая минута и как она растерзала бы их в клочья, позволь они всему, что было скрытого в их отношениях, проглянуть хоть на мгновение в глазах. Несомненно, опасность была бы куда более грозной, если бы каждый из них — за себя, по крайней мере, Мегги могла отвечать — не обратился инстинктивно к другим сторонам дела, о которых можно было рассуждать с притворной откровенностью.

— Незачем вам здесь оставаться, знаешь ли, — заметил Адам Вервер, обозревая окрестности. — Разумеется, «Фоунз» в полном вашем распоряжении, пока не закончится срок аренды. Но там сейчас такой разор, — добавил он чуть печально. — Самые лучшие вещи увезли, и половину обстановки тоже, так что вам, пожалуй, там покажется не так уж весело.

— Да, — согласилась Мегги. — Нам будет не хватать лучших вещей. Лучшее, что там было, уже увезли, что верно, то верно. Вернуться туда опять, — воскликнула Мегги, — вернуться опять!.. — И она умолкла от полноты чувств.

— Вернуться опять, когда там уже не осталось ничего хорошего…

Но она больше не колебалась; она все-таки высказала свою мысль.

— Вернуться, когда там больше нет Шарлотты, выше моих сил. — Проговорив это, Мегги улыбнулась отцу и увидела, что он ее понял. Улыбка послужила намеком на все, о чем Мегги не могла сказать вслух. Не могла она в такую минуту говорить о том, каково ей будет без него, в «Фоунз» или где угодно еще. Эта тема была вне круга их разговора, в каком-то смысле — над ним; и что же Мегги оставалось делать, пока они ждали

Принчипино, оставив остальных двоих наедине, что оставалось ей делать, как не предложить довольно смело вполне, впрочем, подходящую замену? Притом, как это ни странно, в словах Мегги послышалась искренняя нотка. Она сама почувствовала эту свою искренность и воспользовалась ею, не задумываясь о ее значении.

— Знаешь, с Шарлоттой никто не сравнится, — сказала Мегги. По истечении тридцати секунд ей стало ясно, что она только что произнесла самые удачные слова за всю свою жизнь. Словно сговорившись, отец и дочь повернулись к улице спиной и прислонились к перилам балкона. Отсюда им было хорошо видно комнату, но князь и миссис Вервер оказались за пределами их поля зрения. Мегги видела, как загорелись его глаза; он никакими силами не мог этого скрыть, хоть и вынул портсигар и сказал прежде всего остального:

— Позвольте, я закурю?

Она ободрила его все тем же:

— Милый!

И пока он чиркал спичкой, успела поволноваться еще минуту; но Мегги не стала тратить эту минуту на бесполезные метания, а повторила твердо и звонко, не заботясь о том, что ее могут услышать те двое в комнате:

— Папа, папа, Шарлотта такая замечательная!

Отец закурил и только тогда снова взглянул на нее.

— Шарлотта замечательная.

На этом можно было бы и закончить. Оба чувствовали, что основа положена. Так они и стояли, исполнившись благодарности, и каждый глазами говорил другому, что под ногами у них отныне твердая почва. Они даже подождали немного, как бы в подтверждение. Отец словно давал ей время понять, пока для скрытых от их взгляда собеседников проходила минута за минутой: вот она — истинная причина!

— Ты увидишь, как я был прав, — заметил вскоре мистер Вервер. — Я хочу сказать, что правильно поступил, когда сделал это для тебя.

— Ну, еще бы! — пробормотала она с той же улыбкой. И сразу прибавила, как бы желая тоже поступить правильно: — Не представляю, что бы ты стал делать без нее.

— Тут главное в другом, — ответил он тихо. — Я не представлял, что ты станешь делать. Но все-таки риск был большой.

— Риск был, — сказала Мегги. — Но я верила, что так нужно. По крайней мере, для меня! — улыбнулась она.

— Ну, а теперь мы это видим, — сказал он, продолжая курить.

— Теперь видим.

— Я лучше ее знаю.

— Ты знаешь ее лучше всех.

— О, естественно!

Его слова прозвучали непреложной истиной — кто знает, может быть, непреложной ее делали именно теперешние обстоятельства, сама возможность этого разговора. Мегги вдруг почувствовала себя совершенно подавленной громадой подразумеваемого значения его слов, хотя сердце у нее затрепетало, как никогда прежде. Это ощущение все росло и росло с каждым мгновением, что они медлили здесь, на балконе. Вскоре он заметил, сделав очередную затяжку, опираясь руками о перила и запрокинув голову, чтобы посмотреть вверх, на серый суровый фасад дома:

— Она прекрасна, просто прекрасна!

Мегги со своей обостренной чувствительностью уловила тень новой ноты в его голосе. Большего она не могла пожелать, ибо нота эта была собственнической и властной; в то же время она, как ничто другое, говорила о реальности расставания. На этой ноте им и предстояло расстаться — восхищаясь ценными качества-

ми Шарлотты, ради свободной игры которых они сейчас очистили комнату и которые князь, со своей стороны, вероятно, получил возможность наблюдать в действии. Если Мегги в эту последнюю минуту хотелось найти некое заключительное определение отцу, поместив его в какую-нибудь из четко разграниченных категорий, она могла бы сделать это сейчас, сведя все к его неподражаемой способности оценить высокое качество. В конце концов, памятуя обо всех ее подарках, ее фантазии, ее талантах, так много еще оставалось с ними от Шарлотты! Что же другое имела в виду и сама Мегги три минуты назад, называя ее замечательной? И он предлагал ей целый огромный мир. Он ни в коем случае не хотел, чтобы она даром потратила свою жизнь. За это Мегги и ухватилась: за мысль о том, что жизнь Шарлотты пройдет не зря. Он затем и вызвал дочь сюда, чтобы сообщить ей об этом. Какое счастье, что она может высказать вслух свою радость! Он не отворачивал лицо, и Мегги сказала, глядя прямо ему в глаза:

— Это успех, папа.

— Это успех. Да и это вот — тоже не сказать чтобы неудача! — прибавил он, когда в комнате послышался тоненький голосок Принчипино.

Они вошли внутрь, поздороваться с мальчиком, которого привела мисс Богль. Шарлотта и князь тоже встали. Мисс Богль, видимо оробев от их внушительного вида, поспешила ретироваться, но присутствие Принчипино уже само по себе разрядило обстановку — ощущение было примерно такое, как бывает, когда вдруг стихнет продолжавшийся долгое время непрерывный грохот. Впрочем, когда князь с княгинюшкой, проводив гостей до кареты, вернулись к себе, можно было скорее сказать, что тишина наступила, нежели что она восстановилась. А стало быть, все дальнейшее неизбежно должно было прозвучать особенно громко. Так обстояло дело и с таким естественным, но в то же время и таким бесполезным движением Мегги, снова вышедшей на балкон, посмотреть, как отъезжает отец. Экипаж к тому времени уже скрылся из виду — слишком долго и торжественно Мегги поднималась по лестнице.

Какое-то время она рассматривала пустое и обширное серое пространство, которое мало-помалу погружалось в сумрак, еще сильнее сгустившийся в комнате. Муж подошел к ней не сразу; он поднялся наверх вместе с малышом. Мальчик цеплялся за его руку и, как обычно,

сыпал изречениями, достойными семейного архива. Затем оба отправились засвидетельствовать свое почтение мисс Богль. Для княгинюшки много значило, что Америго увел сына со сцены вместо того, чтобы передать его матери. Но сейчас все казалось ей преисполненным глубокого значения; Мегги бесцельно ходила по комнате, и неслышный хор гремел у нее в ушах. Но заметнее всего выделялось одно: то, что она находится здесь и ждет своего мужа, то, что теперь они вольны всегда быть вместе. Она стояла среди прохладных сумерек и во всем, что окружало ее, находила оправдание совершенному ею. Теперь, наконец, она знала почему, знала, откуда взялись у нее силы, откуда пришло вдохновение, — все было только ради этого. Вот она, эта минута, этот золотой плод, сиявший ей издалека. Но что же это, в сущности, за награда, если попробуешь ее на вкус, на ощупь? Никогда еще она не подходила так близко к полному пониманию содеянного, и на мгновение ее охватил страх — так всегда бывает, когда после долгой мучительной неизвестности остается только определить итоговую сумму возмещения. Америго-то знал итог. Итог этот был в его руках, и то, что он медлил вернуться, заставляя ее сердце заходиться в лихорадке,

было словно ослепительный свет после безумной ставки в рискованной азартной игре. Мегги бросила игральные кости, но не могла разглядеть, что же ей выпало — Америго прикрыл их рукой.

Наконец дверь открылась — он не отсутствовал и десяти минут. Напряженно глядя на него, она будто вдруг увидела количество очков. Выпало максимальное число, уже хотя бы только потому, что он был здесь, стоял и смотрел на нее. Он еще не успел заговорить, а Мегги уже чувствовала, что получила свою награду. И тут произошла необыкновенная вещь: Мегги вдруг уверовала в полную свою безопасность. Страх отлетел от нее, сменившись сочувствием к тревожному ожиданию Америго, к тому, что скрывалось в самой глубине его души и что открыто отражалось в его прекрасном лице. Если продолжить наше сравнение с «суммой возмещения», можно было бы сказать, что Америго держал в своих руках кошель с деньгами, ей же оставалось только подойти и взять обещанную награду. Но тут Мегги остановила неожиданная мысль: вдруг он полагает, будто она ждет от него исповеди? Снова страх обрушился на нее: если такова цена, лучше уж она обойдется совсем без вознаграждения. Его признание прозвучало бы слишком чудовищно,

да к тому же за счет Шарлотты, которая только что поразила Мегги несравненной элегантностью своего самообладания. Мегги знала одно: ей будет нестерпимо стыдно выслушать произнесенное слово; значит, необходимо покончить с этим раз и навсегда.

— Правда, она замечательная? — просто сказала Мегги, предлагая этим все объяснить и все завершить.

— О да, замечательная!

И князь подошел к ней.

— Видишь, это нам очень помогло, — наставительно прибавила Мегги.

Америго замер, пытаясь понять, что же она сейчас подарила ему с такой удивительной щедростью. Очевидно, он хотел сделать Мегги приятное, ответив ей в тон, но в конце концов, стоя прямо перед ней, совсем близко, положив руки ей на плечи, так что она оказалась как будто в кольце, только отозвался эхом:

— Вижу? Я ничего не вижу, кроме тебя.

И правда этих слов зажгла таким странным светом его глаза, что Мегги, сострадая и ужасаясь, спрятала лицо у него на груди.